А.В. Никитина

РУССКАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ

3-е издание, стереотипное

Москва
Издательство «ФЛИНТА»
2013

УДК 398.41
ББК 82.3(2Рос=Рус)+63.5
Н62

Рецензенты:

д-р филол. наук *В.В. Химик* (С.-Петерб. гос. ун-т);

канд. филол. наук *М.В. Рейли* (Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский дом) РАН)

Никитина А.В.

Н62 Русская демонология [Электронный ресурс]. — 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 400 с.

ISBN 978-5-9765-1767-7

В книге собраны известные и не очень известные персонажи «низшей» мифологии, продолжающие и сегодня «жить» в народных верованиях, - домовому, лешему, водяному, ходячему покойнику, колдунам и прочим представителям нечистой силы. Автор предпринял попытку в облегченном варианте (без основательного погружения в глубины научных исследований с их неизбежной, но необходимой систематикой, скрупулезным анализом и непростой терминологией) познакомить читателя с малой частью сложного многомерного мира народных представлений.

В книге даны не просто отдельные характеристики мифологических персонажей, но цельные их образы: у каждого свои «обязанности», сои привычки, повадки, свой стиль самовыражения. Рассказывается не только о самих «героях», но и о бытовавших с древних времен приемах безопасного сосуществования с ними, а также о сложившейся в народном мировосприятии системе правил и запретов, т.е. о том, что можно и чего нельзя делать, находясь в контакте с этими существами.

Читателям предоставляется возможность погрузиться в удивительный мир народного мифологического рассказа и получить истинное удовольствие от живой народной речи, яркой и емкой, точно передающей переживания самого рассказчика, его искренние чувства.

УДК 398.41
ББК 82.3(2Рос=Рус)+63.5

ISBN 978-5-9765-1767-7

ОТ АВТОРА

Это было в Казани, в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году, в последних числах холодного снежного ноября. Мы — мама, я и моя маленькая сестренка, которой нет и года, — живем у бабушки. Мы приехали из Ленинграда на похороны деда и остались на пару месяцев — вместе в суете легче справляться с горем. Все как в сказке: крепкий деревянный дом, тонущий в сугробах, две большие русские печи с весело пожирающим березовые дрова огнем... Сходство с деревней почти полное: собачий лай по утрам и стук задвигающегося засова в массивных деревянных воротах на ночь, днем скрип снега под валенками местного почтальона Валеньки и гулкое бряканье пустых ведер о гнутое коромысло, когда женщины направляются за водой на колонку...

Наша улица лежит на дне глубокого оврага, и дальний край каждого двора выходит на круто задирающийся вверх овражный склон. По этим склонам тянутся сады — у каждого дома свой. Летом улица утопает в зелени и цветах, но зимой застывшие в снегу черные силуэты разросшихся деревьев выглядят странновато, особенно в густых сумерках.

Сороковой день еще впереди, поэтому зеркала в комнатах завешаны, и повсюду стоит какая-то особенная тишина. У бабушки глаза не просыхают, она медленно бродит по дому и, накрывая на стол, неизменно ставит прибор для дедушки, забывая, что его уже нет...

Каждый вечер перед сном мама берет фонарик, и, закутавшись, мы выходим в холод и темноту посетить находящиеся во дворе удобства. Вот и теперь время уже близится к одиннадцати, и мы, как обычно, выходим на крыльцо, но не успеваем пройти и половины двора, как мама вдруг останавливается, гасит фонарь, разворачивает меня лицом на черную массу деревьев и шепчет: «Слушай!.. Ты слышишь?!». И я слышу — из мрака с замерших ветвей на нас несется птичье пение. Это была какая-то фантастика: зима, стужа, ночь и во всем этом звонкий, чистый голос птицы...

Она пела минут десять-пятнадцать, а мы стояли вдвоем и стыли, не в силах уйти. Наконец, когда совершенно закоченевшие мы ввалились в дом, мама сквозь слезы сказала испуганной бабушке: «Это папа... Это его душа прилетала прощаться с нами...».

Надо сказать, что мама моя была человеком городским, вполне современным и практическим, обладавшим изрядной долей здорового скептицизма, словом, в ней не было ничего, что давало бы повод подозревать у нее присутствие мифологического сознания. Однако найденное ею объяснение и та безапелляционная уверенность, с какой она заявила о том, что это было (кстати, эта уверенность не покидала ее до конца жизни), говорят об обратном. Быть может, мы и в самом деле сами не знаем, что сидит в глубинах нашего «я», а обволакивающий сии глубины цивилизованный «слой» не столь велик и не так уж крепок, как нам кажется.

С позиций мифологических представлений, в наше время оказались разрушенными и стройная система взаимосвязанных оппозиций, на которых держался древний миропорядок, и сама связь, которая обеспечивала сосуществование и контакт разных миров. И если раньше было ясно, что между миром «своим» и миром «чужим» пролегает граница, пусть невидимая, неясная, но человек знал время, когда она становится проницаемой, знал места, где это происходит, и знал средства, которые открывают или держат границу на замке, — ныне везде главенствует хаос. Все смешалось, и то, что принадлежало своему миру, становится чужим, и прочно забыты те правила, которые когда-то обеспечивали порядок и целостность, одним словом, мир постепенно утрачивает смысл и превращается в абсурд — «... если Вселенная внезапно лишается как иллюзий, так и познаний, человек становится в ней посторонним» (А. Камю. Миф о Сизифе).

Похоже, что цивилизованное человечество, наталкиваясь то тут, то там на фрагменты рухнувшего мифологического мира, с одной стороны, уподобляется этакому воробью-солипсисту: «Открою глаза — есть кошка, закрою глаза — нет кошки...» — ведь так удобно рассматривать объект, поставив его в зависимость от собственного восприятия. С другой стороны, судя по всему, у человечества наблюдается ностальгия по тому миру, который оказался утраченным.

И это относится не только к тем, кто продолжает жить непосредственно «на развалинах», о чем свидетельствуют простодушные признания не такого уж давнего времени, сродни записанному в начале XX в. А. Е. Бурцевым: «Вспомнишь про старое-то время, так и загрустуешь: настоящая полная наша жизнь была при леших-то...». Это относится и к тем, кто может считаться абсолютно оторвавшимся — к горожанам, погрязшим в скептицизме, проблемах городского транспорта и ухудшающейся экологии, ушедшим с головой в бесчисленные дела и проводящим за компьютером больше времени, чем, скажем, в семье.

Судя по всему, именно в этой ностальгии кроется причина постоянной оглядки на средневековье, но не на то, о котором пишут серьезные труды историки и археологи, а на некое мифическое средневековье, идеализированное совмещение различных пространств и времен — густое средоточие всего: европейского рыцарства, кельтских обрядов, верований самых разных народов (причем в очень своеобразной смеси язычества и христианства), всевозможной магии и, конечно же, разнообразных мифи-

ческих существ, как происходящих из сонма больших и малых языческих богов, так и порожденных сказочными или литературными фантазиями. Все это современный человек не без удовольствия загружает в свой внутренний мир благодаря возможностям существующих форм искусства, средствам массовой информации и, конечно же, сети Интернет. При этом у него нет ощущения, что тем самым, возможно, он вносит свою посильную лепту в разрегулированность этого мира.

Неудовлетворенность тем, что есть в мире настоящем, вызывает рецидивы обращений к идеализированному утраченному как к своего рода отдушине и даже попытки «вернуть» его, создать некое его подобие для себя и своих единомышленников...

По-видимому, в этом и кроется увлечение молодых (и не очень молодых) людей ролевыми играми: одни играют в индейцев, другие в различных представителей толкиновского Средиземья, третьи напрямую обращаются к язычеству: кто к кельтскому, а кого вполне удовлетворяет свое славянское. Разумеется, предисловие — это не место для рассмотрения, например, «языческих общин города Питера» (статья о таковых была опубликована в «Вечернем Петербурге» от 19 июня 2002 г.), однако стоит подчеркнуть то важное, что не прошло мимо внимания журналиста: «...питерские язычники — это в основном молодежь 16–20 лет, учащаяся в технических вузах. Они смелы, энергичны, стремятся построить жизнь по-своему...».

Думаю, что решительно прав Роберт Фрост в том, что, «увидев человека, забравшегося на ель, вы можете счесть его эскапистом, но, может статься, он хочет там что-то найти...». Уход от действительности и поиск иных смыслов в данном случае — это две стороны одной медали.

Свидетельством явного неравнодушия к забытым верованиям и мифологическим представлениям является и повальное увлечение Гарри Поттером. Не так давно в газете попалась интересная заметка, она совсем короткая, поэтому позволю себе привести ее полностью: «Против Гарри Поттера, в одночасье ставшего популярнее Маугли, Бильбо Бэггинса и Карлсона, ополчилась Церковь, и православная в том числе. Этот интеллигентный очкарик оказался для нее не хуже любого экстремиста. Священнослужителям кажется, что именно из-за книжек Роулинг они теряют свою паству — языческий мир, придуманный английской писательницей, оказался более привлекательным и заразительным, чем того хотелось бы современным богословам. Один из священнослужителей Московской епархии признался, что „некоторым вещам на этом свете нет места. Если кто-то сожжет книгу о Гарри Поттере, я его пойму, человек должен защищаться“. Шутки шутками, но попахивает истерией 30-х годов XX века с их пылающими кострами. Бедный Гарри» (Санкт-Петербургский Курьер. 2002. №24. С. 23).

Оставим в стороне вопрос о том, нуждается ли в сочувствии Гарри Поттер, более важным представляется то, что на книги о нем есть несомненный спрос, и уже вышли на экраны (и не безуспешно) первые порции его школьных приключений, и ожидается продолжение... Кстати, и Джоанн Роулинг продолжает писать, а на пол-

ки отечественных книжных магазинов встают не только горячие переводы книг про Гарри, там множатся разнообразные перепевы его житейских неурядиц — приключения Тани Гроттер и других. Этот своеобразный эффект «отдачи» (от литературы — к экрану — и снова к литературе) можно было наблюдать и с «Властелином колец»: ажиотаж вокруг масштабной экранизации выдал мощную ответную волну обращения к толкиновской трилогии и ко всему проросшему на этой почве. Можно только подивиться всплеску интереса в современной молодежной среде к фактически культовому произведению неформальной «хиппующей» молодежи середины XX в., всплеску, вызванному экранизацией. Отечественное кино тоже пытается не отставать — уже есть «Ночной дозор», а в перспективе «Дневной» с «Сумеречным»...

Кинематография, таким образом, не отстает от литературы, прессы и телевидения. А последнее вообще преуспело, поскольку, не считая самых разнообразных программ и передач в тему, всяк желающий может с головой окунуться в современный мир, наполненный мистикой на любой вкус, который предлагают как зарубежные («Полтергейст», «Твин Пикс», «Зачарованные» и др.), так и подоспевшие отечественные телесериалы («Черный ворон», «Если невеста — ведьма», «Упырь» и т. д.).

Намеренно прохожу лишь по материалу «широкого потребления», который сам попадается на глаза, и не затрагиваю того богатейшего уже существующего в рамках темы фонда литературной, кино- и телепродукции самого разного уровня. В известном смысле, интерес к древним верованиям и мифологии у человечества не преходящ, другое дело, те формы, которые приобретал этот интерес на разных ступенях его развития. Похоже, на сегодняшний день вкусы изменились настолько, что нашему современнику уже недостаточно просто удовлетворить любопытство по этому предмету, но ему не нужна и исчерпывающая информация, мало заботят глубинные связи и объяснение причин. Так что же ему нужно?

В гораздо большей степени, чем его предшественники, наш современник оказывается ленивым потребителем — тем более, что информацию сейчас получить очень просто, ее много, и она легко доступна (о качестве нужен особый разговор). И потому ныне берутся в расчет, как правило, следующие положения:

— полученная информация должна удовлетворить спрос, т. е. извлекается только то, что представляет конкретный интерес (это приводит к поверхностности и фрагментарности);
— информация должна быть четко и компактно сформулирована, следовательно, остается самое главное, отсекаются неясности, убираются полутона (это приводит к упрощению и одномерности);
— в роли ведущего стимула выступает возможность практического применения; причем все происходит на фоне завышенной самооценки (возникает ложное представление, что приобретенных знаний достаточно, чтобы справиться с любой ситуацией).

Не это ли привело к феерическому выбросу в нашу обыденную среду чародеев, магов и целителей в Бог знает каком колене, которые предлагают вернуть все и навсегда, снять любую порчу, родовые проклятия, а заодно и венец безбрачия, запрограммировать на удачу или подкорректировать судьбу?..

О том же растущем внимании к мифологическим персонажам, к магии (и все это желательно к потреблению на игровом уровне) свидетельствует, например, и прелестная рекомендация для тех, кому домовой не дает спокойно работать на компьютере. Открываем газету и читаем: «Чтобы задобрить „домового", хозяйничающего на сайте, нужно в главную папку документов положить хорошенькую картинку, озаглавленную „hhh.gif". Домовой будет разглядывать картинку и перестанет мешать вашей работе» (Приметы компьютерного мира // Санкт-Петербургский Курьер. 2002. №25. С. 22).[1] Чудесно, не правда ли?

Единственное, что может (если может) сойти в данном случае за слабое утешение, это то, что мир болеет сим поветрием сообща. Правда, на трезвый традиционный взгляд случаи, когда человек на возрасте принимался «доигрывать», воспринимались как сбой, нарушение естественной ритмичности жизни — ведь «все идет в свой черед». Следовательно, все то, о чем шла речь выше, может восприниматься как сигналы о явном неблагополучии в развитии современного общества...

В фольклоре любого народа живут рассказы, повествующие о контактах человека с существами, чья сущность с точки зрения современного человека непостижима, а возможности не поддаются объяснению привычными методами. У каждого народа есть свой «набор» таких существ, однако немалая их часть с полным правом могла бы считаться интернациональной и, хоть названия, имена или прозвища разнятся, но, по сути своей, во многом демонстрируют сходство. Все это указывает на сходство бытовавших когда-то у разных народов верований, связанных с окружавшей

[1] Подчеркну еще раз, что газетные материалы, которые здесь приводятся, не подбирались и не отыскивались мною намеренно — никаких «Оракулов», «Не скучай», «Не зевай» или «24 часов» и т. п. Достаточным оказалось пролистать номера приходящего в дом еженедельника «Санкт-Петербургский Курьер» за май и июнь. На мой взгляд, то, что поиск информации не требует усилий, безусловно, свидетельствует о востребованности информации на темы языческих верований и бытовой мифологии, и говорит о существовании постоянного к ним интереса, причем у разных слоев публики. В подтверждение сказанного приведу еще одну попавшуюся на глаза информацию (уже, правда, из «АиФ») о результатах социологического опроса на тему «Верите ли вы в вещие сны?». По данным monitoring.ru — 51% опрошенных ответил положительно, 42% — отрицательно и 2% не знают, что сказать (АиФ. 2002. №26. С. 22). Вот так.

Стоит опять же обратить внимание на то, что информация по опросу была дана в рубрике «На досуге», о домовом, хозяйничающем на сайте, можно было прочитать в развлекательном разделе «Петербургские тайны», а приведенная ранее заметка о гонениях на Поттера хоть и была помещена на страницу «Литературный четверг», однако же без сомнения написана, что называется, в легком жанре. Понятно, что на трех с половиной газетных заметках выводы не делаются, но в данном случае и размещение материала, и его подача, и стиль изложения указывают на весьма поверхностное, проще говоря, легкомысленное к этому материалу отношение.



Рис. 1. Старушка, рассказывающая сказки в зимний вечер.

их природой и окультуренным пространством, с миром мертвых, с магией слова или ритма, с цветом и со многим, многим другим...

Взять хотя бы домашнего духа: шотландский *brownie*, мягко говоря, не совсем то, что немецкий *Hausgeist*, а на русского *домового* он и вовсе не похож... Между двумя последними также проступают существенные различия, заметные, например, в представлениях о происхождении этих духов (в одном нередко видят душу умершего ребенка, другой выступает как первопредок, основатель родового гнезда), но их основные функциональные характеристики во многом совпадают.

«Въ 1132 году, многимъ лицамъ въ гильдесгеймскомъ епископствѣ показывался нѣкоторое время весьма шаловливый духъ. Онъ являлся в видѣ крестьянина в шапкѣ, отчего поселяне звали его на саксонскомъ нарѣчiи Hüdeken (шапочка). Этот духъ любилъ водиться съ людьми, то показываться, то становиться невидимкой, распрашивать и отвѣчать на вопросы. Онъ никого не обижалъ напрасно. Но когда надъ

нимъ насмѣхались или оскорбляли его, онъ отплачивалъ за зло с лихвою...»[2] — перед вами начало фрагмента старинной немецкой хроники, повествующего о домовом духе, что «жил» в XII в. в Гильдесгеймс и оставил по себе немало памятных историй.

Даже те особенности поведения духа Хюдекена, что были только перечислены и не попали под подробное красочное описание хрониста, могут быть охарактеризованы как типические и для русского домового. И пусть в древнерусской литературе домашний дух упоминается как бес-хороможитель, в народных представлениях, дошедших до наших дней, в нем прежде всего видят родича и пращура, звено, связующее живущих и умерших, хранителя данного рода и семьи, и только потом вспоминают о принадлежности домового к миру мертвых и о вытекающих отсюда возможных опасностях для живых. Именно таким он «дошел» в народных рассказах до наших дней. И надо признать, что истории о домовом составляют наиболее обширную развернутую (живую) группу среди рассказов о русских мифологических персонажах.

В самом деле, о многих теперь и не услышать. Прежде, бывало, в каждом овине — овинник, на каждом гумне — гуменник, в воде — водяной, а в лесу — леший... И не то, чтобы все они сошли на нет или попросту «перестали водиться», — все гораздо проще: когда перестают обращать внимание и замечать, когда веру сменяют сомнение и скепсис, а на их место, в свою очередь, приходят равнодушие и безверие, вот тогда наступает забвение и уход в небытие.

Когда-то у бытового мифологического рассказа (иногда предпочитают пользоваться более компактным термином *быличка*) была весьма важная и почетная задача — он на ярких, легко запоминающихся примерах учил искусству сосуществования с окружающим миром. Мир этот, населенный разнообразными сущностями, «жил» по своим законам, и человек, вступая с ним в контакт, должен был знать, что допустимо, а чего категорически нельзя — исход контакта, в большинстве случаев напрямую зависел от подготовленности контактирующего человека. Ибо представители иномирья, будь то природный мир или мир мертвых, по сути своей ни добрые, ни злые, они становятся таковыми в процессе контакта. Следовательно, мифологический рассказ был своего рода сводом правил, норм поведения, и для человека, оказавшегося на перекрестке миров, — а любой контакт с другим миром, как известно, ставит человека в «пороговое» состояние, делает его открытым и беззащитным, — он был, в сущности, единственным руководством к действию.

Надо признать, что народный мифологический рассказ как жанр отличается удивительной живучестью: он жил себе и жил... Причем былина, народная песня, сказка, пословица, примета и многие другие фольклорные жанры и формы находили своих собирателей и исследователей, но не быличка. Она дождалась своей очереди

[2] Текст приводится мною без синтаксических и орфографических изменений в соответствии с изданным в 1881 г. русским переводом сочинения «О Германии. Часть I: Германия до Лютера» Генриха Гейне.

лишь тогда, когда жанр начал себя изживать. Сегодня мы можем смело говорить об утрате мифологическим рассказом своей основной функции — мало кто в наши дни нуждается в рецепте как себя вести и что делать, если, прогуливаясь погожим летним вечером, обнаружишь на парапете набережной русалку... Чего там, ведь даже пятилетний малыш теперь сильно сомневается в существовании Деда Мороза, соответственно для бедной кикиморы шансы вообще равны нулю.

Однако об исчезновении жанра говорить рано и, более того, несправедливо. Быличка жива, и у нее даже нашлось чем восполнить утраченную информативно-обучающую функцию — на первый план вышли теперь эстетика и само искусство рассказа.

Попробуйте-ка рассказать так, чтобы никто из слушающих не усомнился, что все это правда, чтобы мурашки побежали по коже и появился блеск в глазах... Хороший рассказчик — мастер, и прекрасное его ремесло ценилось на вес золота и было нарасхват во все времена.

Читателю придется свыкнуться с тем, что в тексте постоянно приводятся записи народных рассказов, выдержки из них и даже отдельно взятые фразы, выражения и слова. Сделано это, разумеется, намеренно, поскольку предлагаемая книжка имеет своей целью не только познакомить читателя с персонажами бытовой мифологии, но и дать ему возможность почувствовать специфику жанра мифологического народного рассказа. В большинстве приводимых текстов легко ощутима живая речь рассказчика со всей ее изумительной образностью и потрясающими характеристиками, но и это, пожалуй, не самое главное. В этих рассказах, пусть даже не воспринимаемых на слух, как это должно быть, а читаемых, все же присутствует и передается читающему переживание самого рассказчика, они дарят чувство сопричастности к тому, о чем ведется рассказ. И даже такие «издержки» жанра, как часто встречающиеся в рассказах местные топонимы или имена, прозвища и фамилии непосредственных участников того или иного случая, на самом деле не должны восприниматься как элементы мешающие, а как раз наоборот, они призваны усилить впечатление реальности происходившего.

Втайне надеюсь, что получившиеся очерки позволят читателю взглянуть по-новому на упоминаемых на этих страницах персонажей. Возможно, что по прочтении у него даже возникнет желание узнать обо всем этом побольше и поподробнее.

С чувством глубокой признательности упоминаю здесь собирателей и исследователей бытового мифологического рассказа — А. Колчина, А. Е. Бурцева, П. Н. Рыбникова, С. В. Максимова, В. П. Зиновьева, О. А. Черепанову, Н. А. Криничную, М. Н. Власову, Е. С. Ефимову, М. В. Рейли и многих других, тех, чьими трудами и материалами я пользовалась, работая над этой книжкой.

Глава 1

ДОМОВОЙ

locus vivendi; как нас зовут-величают; на зеркало неча пенять... (обличье домового); круг повседневных забот; что можно и чего категорически нельзя; «не перечь, не люблю я этого!..»; если вожжа попала под хвост; семейное положение домового и несколько слов о преемственности; иерархические сложности; в каком угодно виде; дух-обогатитель

Однако помру я скоро, а дом-то оставить некому. Бабка давно померла, сыновья в городе. Мне не столько дом жалко, как домового мово. Куды он без меня? Может, к себе возьмешь?..

В. Софронов. «Бличики» деда Башкура

Говорят, будто нет такого дома, чтобы совсем без домового. Вроде как без души получается... Во всяком случае, раньше так было. Все уходит, забывается, и про домовых теперь не часто услышишь. Хотя, справедливости ради, скажем, что и сегодня популярность домового не маленькая. До сих пор рассказы о нем среди прочих быличек остаются самыми многочисленными и отличаются завидным разнообразием.[1] Значит, жив домовой...

Век домового долог,[2] не то что у человека или деревянной избы. Покидая старый дом, звали его с собой на новое место: «Дедушко-Домоведушка, поехали с нами жить!». Кто в старом лапте, кто в горшке или в пустом мешке, на хлебной лопате или

[1] Свидетельством сказанному могут служить цифры, указывающие на количество записанных текстов той или иной локальной традиции о различных мифологических персонажах. Например, в сборнике В. П. Зиновьева «Мифологические рассказы русского населения Сибири» (1987) указаны 240 текстов быличек про домового, тогда как про русалок представлено 67 текстов, про водяного — 12, про банника — 11.

[2] Похоже, что время для домового течет в ином, отличном от живых, ритме. Век его растягивается на несколько поколений его потомков, живущих в доме. Считается, что каждый раз со смертью «очередного» хозяина он принимает образ покойного (Звонков 1889: 76–77, Тамб.).

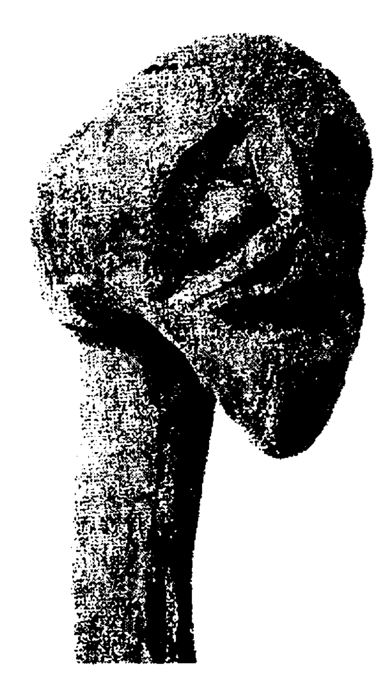


Рис. 2. Резное навершие столба в виде головы предка (Домовой).

на помеле (способов было много) переносили–перевозили домового на новый двор. Оставлять бедолагу нельзя — будет плакать, выть на развалинах, прохожих пугать. В Орловской губернии, например, долго помнили такой случай: «...после пожара целой деревни, домовые так затосковали, что целые ночи были слышны их плач и стоны. Чтобы как-нибудь утешить их, крестьяне вынуждены были сколотить на скорую руку временные шалашики, разбросать подле них ломти посоленного хлеба, и затем пригласить домовых на временное жительство...» (Максимов 1994: 33).

Не позвать домового с собой на новое место — это не только грубое попрание дедовских обычаев, но и, как говорится, «себе дороже», поскольку домовой — известный ретроград, к малейшим нарушениям правил очень чувствителен и, вдобавок, крайне обидчив. На отличившихся «забывчивостью» переселенцев домовой непременно затаит обиду и будет мстить. Тут уж ему под руку не попадайся, от расходившегося дедушки достанется всем без разбору (и своему, и чужому) — как-то очень по-русски у него это выходит. Жизнь в новом доме у переселившихся не заладится, пойдут чередой беды да несчастья, и даже крепкому прежде хозяйству — конец, потому что хорошо известно: «селищчэ без домовика не живе. Если нет домовика, дак и ничего нет ў селишчэ, домовик — это ўсё багатство» (Виноградова 2000: 276, Полесье). А про заброшенное подворье, можно быть уверенным, вскоре поползет худая слава, и всё, почитай, пропало место. Чтобы поселиться там или отстроиться — и думать не моги! С одичалым чужим домовым хозяйства все равно не завести, счастья-удачи не будет: станет насельников выживать, изводить и вредить им всячески. Очень уж домовой к своим и родному месту привязан...

Даже приглашать его к переезду следовало деликатно, чтобы не обидеть, не раздражить. Среди старинных советов, как можно перевезти своего домового в новое жилище, есть, например, такой: хозяин «должен положить для домоваго в подполье новаго дома целый небольшой хлеб и на него соли, да чашку молока. Приготовив это, хозяин ночью в одной сорочке идет в старый дом и говорит: „Кланяюсь тебе, хозяин батюшко, и прошу тебя пожаловать к нам в новыя хоромы: там для тебя и местечко тепленькое, и угощеньицо маленькое сделано“. Без приглашения домовой не пойдет...» (Майков 1994: 159–160, Новг.).

Вот и выходит, перефразируя слова одной старой песни про любовь: жить с домовым не так-то просто, но как на свете без него прожить...

Народ ныне то и дело тянет к забытым «корням», а поправки на неизбежную по ряду причин идеализацию прошлого мало кто делает. Домового это тоже касается. Взять, к примеру, обаятельного домовенка Кузю с его не менее обаятельным приятелем Мафаней из всем известных мультиков — разве не прелесть? И главное: все привлекательное — на виду, а пугающие или настораживающие черты домового в Кузе тщательно сокрыты. Для детского мультфильма или книжки такая подача образа естественна, но первые кузькины поклонники давно уже выросли, а домовой в их представлении так и остался обаятельным Кузенькой, славным таким домашним помощником, без которого даже Бабе Яге трудно обойтись... Поэтому не удивительно, когда выросшего на Кузях обычного городского жителя (скорее, конечно, жительницу) внезапно посещает мысль завести себе домового. В самом деле, почему бы и нет? Ну, а с тем, где и как домовых берут, проблем нет — теперь только ленивому не найти отвечающую запросам литературу с целым ворохом различных рекомендаций.

Итак, завести домового... Что ж, пожалуйста. В одной из книжек по бытовой магии читаем: вечером, накануне именин домового (почему-то авторы считают, что таковые приходятся на ночь с 10 на 11 февраля) накройте на кухне стол для именинника, а из приоткрытого окна спустите конец чистого белого полотенца и произнесите: «По белому мосту, по лунной дороге, светлой тропою, ко мне (свое имя) в дом хозяин-помощник приходи, от всех бед меня (свое имя) навек защити!». До полуночи окно надо обязательно закрыть, чтобы нечисть не вошла вслед за домовым, а полотенце постелить на какой-нибудь стул рядом со столом. Дальше, обращаясь в правый угол, надо трижды произнести «договор» с домовым, трижды низко поклониться и, не оглядываясь, уйти с кухни и до утра не беспокоить (Берегинь 2000: 84, 83).[3] Ну, вот так. Если ничего не напутаете — будет вам домовой. Только перед

[3] Сначала об именинах домового. Они приходятся на день Ефрема Сирина, т. е. на 7 февраля по н. ст., и, следовательно, с 6 на 7 было принято «закармливать» домового — оставляли ему кашу на загнетке — с просьбой беречь скот (Власова 1995: 132, повсем.).

Теперь далее. Та часть предлагаемого ритуала зазывания домового, в которой фигурирует полотенце, вывешиваемое в окно, является искаженным фрагментом ритуального приглашения душ умерших родичей на поминальную трапезу (старинный белорусский обряд «дзяды»). Формулу приглашения оставим без комментариев. Хотелось бы только обратить внимание читателей на следующие моменты.

Во-первых, «дзяды» проводились для умиротворения (нейтрализации) душ умерших родичей, т. е. чтобы мертвые успокоились и не тревожили живых. Призывание же домового в данном случае — это вызов на контакт неизвестно кого, вернее, можно себе представить кого, потому что:

а) домовой — это, в оптимальном варианте, родовой дух, «свой», но «свои» в это время года должны мирно почивать, и беспокоить их — грех; а контакт с беспокойными душами «своих» — к добру не приводит, если только это не происходит в специально отведенное для этого время

тем стоит поразмыслить, так ли уж вам это нужно, и, если да, то зачем? Попробуйте разобраться, кого или что именно вы зазываете, тем более «навек». Велика ли необходимость впускать в без того проблемную городскую квартиру сущность другого мира, которая не связана с вами родством и, следовательно, ничем вам не обязана? Угощение в счет не идет, так как это обычный древний способ закрепления отношений.

Давайте попробуем разобраться. Начнем с того, что уже с древности домовых делили на своих и чужих. И это неспроста. Откуда берутся домовые? Получается, что из людей, бывших конечно.[4]

(именины домового к таковым не относятся); кстати, даже свой родной домовой любые попытки на несанкционированный контакт воспринимает отрицательно;

б) в предлагаемое для проведения ритуала время (февральской ночью) однозначно «витают» только чужие и неупокоенные, с которыми лучше никаких дел не иметь; кроме того, именно в феврале свободно разгуливают вырвавшиеся из нижнего мира нечистые духи;

в) что можно зазвать к себе в дом в многолюдном полисе, где ежедневно совершается немало убийств и где процент умерших и погребенных по всем правилам так невелик?

Наивно полагать, что на ваш зов завернет как раз тот, кого звали (исходя из сказанного выше, вашим дедушкой, т. е. родичем, оно быть не может, и надеяться, что это будет нечто светлое, не стоит).

Во-вторых, в приведенном ритуале зазывания домового дан разумный совет закрыть окно и убрать полотенце до полуночи, «чтобы нечисть не вошла вслед за домовым». А теперь представим: вы открыли окно, вывесили «дорогу» и произнесли формулу-приглашение — вход в ваш дом (в ваш мир) распахнут, защита снята... Откуда иллюзия, будто претендент на должность явится только один, или, что услышавшие зов встанут в чинную очередь «на вход», пропустив вперед дедушку?.. И если да, то когда пора «дверь» закрывать? Что подскажет вам: домовой уже вошел, а остальные еще топчутся снаружи... И как по-настоящему аннулировать «вход», потому что просто убрать полотенце и закрыть окно на задвижку для этого недостаточно. Вопросов, как видите, много... В ритуале «дзядов» души приглашались, угощались и со всей осторожностью выпроваживались. А тут, призывая домового по данному рецепту, вы приглашаете его, как сказано в приведенной формуле — «навек». Добавим к этому только, что и в обычной ситуации изгнать домового чрезвычайно трудно, впустив же в свой дом «жить» чуждую силу, не сетуйте после, что вам жизни нет...

Наконец, в-третьих, надо помнить о том, что во все времена контакт с представителями другого мира воспринимался как действие крайне опасное, ставившее человека на грань жизни и смерти (см. по этому поводу работы Е. Ефимовой, Л. Ивлевой, Д. Зеленина и др.).

[4]Существуют и другие (христианского толка) версии, по которым возникновение домового не связывается с человеком, но имеет прямое отношение к нечистой силе. Так в «Нечистой, неведомой и крестной силе» С. В. Максимов приводит следующую легенду о происхождении домовых: «Когда Господь, при сотворении мира, сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего создателя, на людские жилья тоже попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или уж так случилось, что приселившись поближе к людям, они обжились и обмякли, но только эти духи не сделались злыми врагами, как водяные, лешие или прочие черти, а как бы переродились: превратились в доброхотов и при этом даже оказались с привычками людей веселого и шутливого нрава. Бóльшая часть крестьян так к ним привыкла, так примирилась с ними, что не согласна признавать домовых за чертей и считает их за особую отдельную добрую породу» (Максимов 1994: 29–30). Интересно, что во мнении рассказчиков быличек про домовых в самом деле заметен раскол,

Знаете ли вы, что такое навь? Когда-то этим словом славяне называли «тот», иной мир, а на Руси всех мертвецов без исключения называли *навями*. Для них, по свидетельствам XIII–XIV вв., даже топили специальную баню в Чистый четверг перед Пасхой. На юго-западе России этот день до сих пор называется «навьский великдень», иными словами «Пасха мертвецов». Позднее навями стали именовать лишь мертвецов чужих, зловредных, агрессивных по отношению к живым (для ознакомления достаточно заглянуть в летописное описание бесчинств навей в городе Полоцке в 1092 г.). Но при чем же тут домовой? — спросите вы. При том, что распространенное *домовой* — это только наименование духа по месту обитания, в действительности, оно не указывает на его функциональные особенности, не акцентирует характерных черт. У домового много разных названий, но не все, а лишь некоторые из них можно обозначить как ключевые, которые важны для правильного восприятия этого сложного персонажа. Одно из таких названий — *навной*.[5] Ну вот, теперь вам уже становится понятно, что проглядывает за понятием *домовой*.

Давайте пойдем дальше. Современный человек давно забыл о жертвах, которые некогда обязательно приносились при строительстве, будь то крепость, мост или любая другая постройка. Сначала это были человеческие жертвы, затем их сменили животные и птицы. Не так уж давно, прежде чем въезжать[6] в новый дом и справлять новоселье, пускали в хоромину кота или петуха — обживай![7] И при этом

даже в пределах одной местной традиции. Одни склонны видеть в домовом добрую силу (и даже санкционированную Богом): «У кожном доми есь хазяин. Гасподь его бярегеть...», другие без колебаний относят домового к нечисти: «...Он поганый, етот домовик...», «если хата не сьвечаная, там водяцца дамавики», «домовик — то шчытаецца чорт. Абы влизэ до кого, хто Богу нэ молицца, туды йдэ, а похрэстять, — то вин утикае» (Виноградова 2000: 276, 277, Полесье).

[5] По мнению исследователей, *навной* (в искаженном виде *навпа* или *паопа* (южн. рус., укр.)) — одно из наиболее древних наименований домового (намного древнее самого названия *домовой*, которое появилось не ранее XVII–XVIII вв.), и оно, безусловно указывает на его принадлежность к миру мертвых (см. об этом: Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 120).

[6] Нормой, как правило, считается переезд (или так называемые влазины) «в потемках», и лучше всего — в полнолуние. Именно в ночное время, как указывает С. В. Максимов, было принято и скотину перегонять на новое подворье. «Влазины» старались приурочить к какому-либо празднику: «счастливыми (...) для новоселья считаются двунадесятые праздники, и между ними в особенности Введение во храм Богородицы» (Максимов 1994: 28, 29).

[7] На существование древнего обычая строительной жертвы у русских указывал еще в середине XIX в. А. Н. Афанасьев, описывая, как «хозяин с хозяйкой приходили на место, назначенное для нового жилья, отрубали у петуха голову и зарывали в том месте, где определялось быть переднему углу. Обряд совершался тайно (...) Изба, таким образом, строилась на петушиной голове...» (Дмитриева 1988: 79). Там же С. И. Дмитриева замечает, что археологические находки конских черепов под срубами Древнего Новгорода также считаются свидетельствами принесения жертв при закладке строений.

На живучесть отголосков древних представлений о необходимости «живой жертвы» указывает всем известная примета: чтобы хорошо жилось в новой квартире, надо пустить первой кошку (даже иногда просят «на прокат»); об этом же говорят и современные записи народных верований, например: «В новый дом брали кошку и петуха. Надо, чтобы кошка и петух в новом доме умерли»

говорили: «Окуписи дом головой кошачей, да петушиной» (Адоньева, Овчинникова 1993: 20, Волог.). Мало кто знает, что заменой коту или петуху мог служить маленький ребенок, невинная душа, следом за которой, благословясь, входили старшие... Самое время напомнить известную примету: кто первым в новый дом войдет, тот года не проживет и будет по смерти за этим местом и за живущими тут приглядывать. Ну, а кот да петух, это всем известно, они домовому приятны, сам он частенько принимает их облик (об этом у нас разговор еще впереди).

По тому, как кот или петух себя ведут, обычно примечали, каково жить будет на новом месте. Вот, к примеру, «если петух на стол вспрыгнет да вскукарекает, то жить будет хорошо. А если в углу остановится, то плохо жить будет. У меня петух не взлетел, так хозяин (муж) умер через два года» (там же: 22, №20, Волог.). Так и по коту или кошке судили: останется на новом месте — значит, домовой принял, а если сбежит — плохо дело (там же: 21, Волог.). Бывало, с кошкой в новый-то дом идут, так прямо и приговаривают, просят домового: «Дедушка Адамушка,[8] пусти с серой кошечкой пожити», и, прежде чем в дом запустить, надо кошку у порога трижды против солнца повернуть... (там же: 23, №32, Арх.).

Почти повсеместно бытовало жесткое представление: духом-хранителем дома становится его умерший хозяин (чаще всего, именно тот, кто дом возводил). Получается, что домовой — это дух предка, основателя семейного гнезда. Отсюда и происходят наиболее известные его прозвища — *он, сам, хозяин, большак,* господарь, дедушка, двойник, другая половина* и т. д. О том же говорит и внешность домового: он, как правило, стар, сильно волосат и почти неприметен, поскольку одет в неброскую серую одежку цвета небеленого холста (из какого традиционно кроили и шили саван[9]).

(Адоньева, Овчинникова 1993: №14, Волог.); «...кота первым пускают — пусть он умирает» (там же: №10, Арх.). В объяснениях нередко просматривается особый статус кота или петуха: «Петух, да псалтырь, да распятье — без этого дом не стоит. Кота и в церкву запускали, а собаку нет. Котенок чище. Такая заповедь, наверное, есть» (там же: №8, Арх.); «...говорят: петух споет — Свят Дух проскочит» (там же: №13, Арх.) и т. д.

[8]В заговорных обращениях к домовому, помимо ставшего традиционным поименования его *дедушкой*, имя Адам (первопредок, прародитель) воспринимается как дополнительный штрих, подчеркивающий его статус родоначальника, «набольшего» семьи, чьей естественной задачей является защита своего рода, своих потомков. Интересным в связи с этим представляется упоминание О. А. Черепановой о том, что существуют поверья «о дедках заплечных и бабках запечных»: оберегающий человека мужской предок (дед) находится на его правом плече (сравните с христианским запретом плевать через правое плечо — попадешь в своего ангела-хранителя), бабка запечная — первопредок по женской линии («бабушка Адамушка») — домовая хозяйка (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 119–120).

[9]Бывает, что неброскость костюма домового (это вполне традиционно для внешности представителей «иного» мира) нарушает некая яркая деталь: красный пояс, красная шапка или сапожки. Рассказывают еще, что будто бы перед добрыми событиями одежда домового светлая, а перед бедой она становится темной, чернеет. На самом деле, домовой может быть одет во что угодно (от шубейки до фрака) и любого цвета, особенно если показывается двойником. Встречаются и

Про то, что домовой хозяину двойник, тоже не напрасно говорится – один к одному! Только и спасенья, что редко показывается... Представьте, в темном месте, да в поздний час лицом к лицу с самим собой встать, каково?[10] Думаете, это все «седая старина»? Ничего подобного. В 1988 г. в Вологодской области женщина рассказывала: «Есть хозяева. Я помню, одна была — себя видела. Села на печке, прялкой пряду. В желтом платке — золовка привезла — белой кофте. Пряду. Вижу – сама иду! Идет мимо, тем заулком [показывает] — туда [показывает]. Ну прямо сама иду. В желтом платке, белой кофте. Жуть взяла. Я лампу погасила, на печке в одеяло с головой завернулась — не знаю, как ночь перекоротала» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 41, Волог.).

Существует и менее распространенное представление о том, что сколько живет в доме домочадцев, столько же в нем и домовых. На каждого члена семьи свой имеется. Это уже поровну получается: половина населения дома — живые, а другая половина — духи, тени... Кстати, иногда домового так и называют *тень, стень* или *пастень*, что уводит к древним представлениям о тени, как о воплощении души. Целый мир теней совсем рядом, можно сказать, в самом близком соседстве (понятно, почему домовых еще *суседками* называли?).

Излюбленные местечки домового — запечье или подпечье, под полом. Именно с печью связан другой, тоже хорошо известный, круг его прозвищ: *запечный, подпечник, избной*, голбечник*, сысой**. Перечисленные названия указывают на очень древнюю связь духа дома с домашним очагом и чуть ли не на олицетворение домашнего огня в образе домового.[11]

такие описания, в которых домовой является на глаза вконец поистрепавшимся — лохмотья одни да густая шерсть — не понять даже во что одет. А то и вовсе привидится «в чем мама родила» и вокруг одни свалявшиеся волосья. Все это лишь подчеркивает или дряхлость конкретного домового — совсем обветшал, или древность происхождения персонажа (языческие представления о связи волосатости с богатством). Но это не обязательно. В некоторых локальных традициях, например, считается, что в богатых домах домовой волосат, а в бедных совсем гол (рус., в.-укр.).

Интересными деталями богаты описания внешности домового: кроме отмечаемых обычно горящих глаз и повышенной волосатости (даже стопы и ладони поросли густой шерстью), у него непременно есть борода (дед все-таки), могут обнаружиться рожки и короткий хвостик, но отсутствовать брови. Уши у домового островерхие, «лошадиные», и тоже все заросшие. Иногда рассказчики уверяют, что ухо только одно, за что домовой получил прозвище *карноухий*. Однако все это касается лишь человеческого обличья домового, которое вовсе не является обязательным, так как домовой — оборотень и нередко предстает животным, гадом или даже предметом.

Все слова со звездочкой помещены в «Словарь...» в конце книги.

[10] Увидеть своего двойника – одна из хорошо известных всем европейцам примет скорой смерти. В русском мифологическом рассказе мотив встречи с двойником довольно редок, но несмотря на это, материала оказалось достаточно, чтобы подкорректировать связанную со встречей примету: увидать своего двойника — это к несчастью, смерть ожидает человека только в том случае, если двойник идет впереди, если же он идет сзади — человеку грозит беда (Власова 1995: 135).

[11] Древние представления о связи домового с огнем очага вполне очевидны, однако есть основание говорить о том, что домовой испытывает если не страх, то сильное беспокойство перед

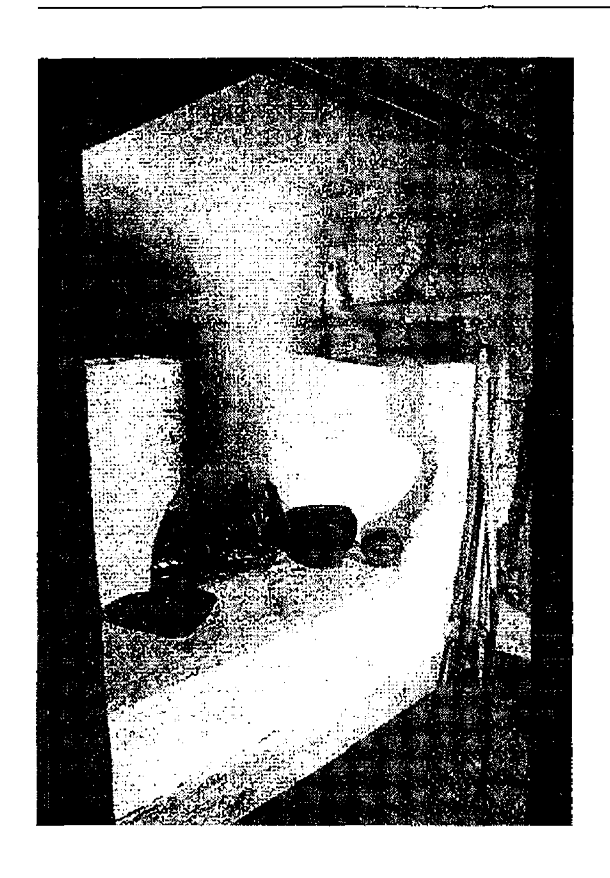


Рис. 3. Топящаяся курная печь (Новгород, конец XIX в.).

Эта связь четко просматривается в одном из наиболее древних способов перенесения домового в новое жилище в горшке с углями. Ритуал начинался с того, что в

стихийным огнем. В западноевропейской традиции (Германия, в Англии — Йоркшир), например, было принято хранить в доме уголек от праздничного костра Летнего солнцестояния или от Чистого огня в качестве защиты от пожара: один огонь будет отгонять другой. Судя по всему, огонь домашнего очага для этой цели не считался достаточным. Русские представления о соотношении огня небесного и домашнего в быличках выражаются обычно только в том, что домовой предупреждает о надвигающемся бедствии. Так, перед пожаром он выходит из дома и воет на выгоне, или стучит в поставце посудой — предупреждает хозяев, пусть следят за очагом, чтоб не летели искры и не выпала бы головешка. Причем сам домовой тоже может стать причиной пожара: говорят, будто пожар приключается от драк и ссор домовых (Русский демонологический словарь 1995: 147). Напрашиваются непроизвольные мысли о связях, существующих между домовым и петухом, и известном выражении «пустить красного петуха», в смысле, устроить пожар. Кроме того, похоже, что существует еще один вид огня, против которого домовой оказывается слаб. Иногда, когда нечистый в образе огненного змея ходит через печь к одинокой солдатке или вдове, домовой пытается оборонить хозяйку, но поле боя, как правило, остается за чертом, «так как домовой боится огня» (Звонков 1889: 76-77, Тамб.).

старом доме в последний раз топили печь (делала это непременно старшая женщина в доме), после чего весь жар выгребался в *печурок** и дожидал там полдня.[12]

Ровно в полдень по солнцу все та же *большуха** перекладывала горячие уголья в специально приготовленный горшок и накрывала его скатертью. Затем, растворив двери, она обращалась к заднему *куту** с такими словами: «Милости просим, дедушка, к нам на новое жилье». После этого она отправлялась с покрытым горшком на новый двор, где дедушку-домового встречали хлебом-солью у растворенных ворот. Несущая горшок с углями стучала им в *верею** и спрашивала: «Рады ли гостям?». Ей с поклонами отвечали: «Милости просим, дедушка, на новое место». Тогда она проходила в дом, прямо к новой печи и ставила горшок на *загнетку.** Сняв с горшка скатерть, она трясла ею по всем углам, будто выпуская домового. После этого женщина высыпала уголья в печурку, а выполнивший свою ритуальную функцию горшок разбивали и зарывали под передним углом дома (Афанасьев 1994).

Описанный ритуал фактически полностью забыт, но жива еще традиция ежегодно на Ефрема Сирина (7 февраля по н. ст.) оставлять домовому по случаю именин горшок каши на загнетке. Ныне такой горшок просто обкладывается со всех сторон горячими углями, а раньше его ставили прямо на раскаленные угли, а еще раньше саму кашу отправляли в огонь. Древняя связь домового с печью и горящим в ней огнем подчеркивается и в быличках. Например, в одной из совсем недавно записанных светящиеся глаза домового следили за непрошенной гостьей из печи сквозь пламя (архив автора, запись 1998 г.).

В быличках домовой частенько появляется из-за или из-под печки и туда же уходит. Если же устраивается на самой печи, то вытягивается на ней вдоль.[13] Поэтому человеку, чтобы домовому не досаждать, полагалось укладываться поперек: «Ты никогда не учись лежать вдоль печки ⟨...⟩ а завсегда лежи поперек. Грелся раз мужик на печке, а лежал-то вдоль ⟨...⟩ Вдруг кто-то приходит в избу, да и идет

---

[12]Время активности домового (в его нормальном состоянии) — ночь, и перевоз домового на новое место жительства ночью является традиционным. Но и неожиданное, на первый взгляд, время — полдень не должно вызывать сомнений, так как 12 часов дня, равно как и 12 часов ночи, считаются сакральным временем. В мифологической модели мировосприятия существуют несчастные дни, недобрые часы и злые минуты, в которые время как бы обретает негативные свойства и «заражает» ими окружающее пространство (Ефимова 1997: 30; Власова 1995: 20–22).

[13]Таким образом, естественным положением домового на печи оказывается как бы соположение с ней (горизонтально вдоль): домовой воспринимается как ее часть, «растворяется» в печи или «выступает» из нее (Власова 1995: 134). По некоторым поверьям, место домового на печи совпадает или находится рядом с местом хозяина: «...[домовой] лежал рядом с хозяином. Для этого пристраивалась (и теперь существует) казенка вдоль печи — место нечистое, куда нельзя класть ни хлеба, ни креста» (там же: 134, Тамб.). По всему дому, по двору, в амбаре и в хлеве у домового проложены свои тропы. Из опасения занять его место или загородить ему дорогу, живущие в доме старались не нарушать установленного порядка: спать укладывались головами к передней стене (где иконы), ничего не ставили на пути к двери и т. п.



Рис. 4. Дедушка-домовой.

прямо на печку. [Домовой] стал на лежанку-то да и видит, что мужик лежит вдоль печи; а уж ему-то пройти и нельзя...» (Власова 1995: 133–134, Новг.). Можно не досказывать, что тому мужику сильно не поздоровилось...

Раз уж зашла речь о том, как правильно надо укладываться спать на печи, то напоминаем — раздеваться[14] обязательно! И вот почему: «...забралась я на печку спать, а плохо, что не разделась, нельзя, домовой приснится. Я забралась и вся легла, как была, и чулки надо было снять, нельзя в чулках спать. И вдруг дверь стукнула, кто-то вошел. Он за ноги меня забрал, за ети чулки, и вдруг как сильно навалился, сдавил, и мне не крикнуть. И решила молитву творить, стала читать, стало ето все отходить. Он, слышу, спустился и потопал к двери (...) А бывает, и задушит, и до смерти может» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 41, №90, Новг.).

[14]Одетым ложиться спать нельзя (домовой приснится), но и совсем без одежды тоже — домовому это не по нраву, как не по нраву ему и неприбранная женская голова. Спать с распущенными волосами или расхаживать по дому и «светить волосом» — домового злить и напрашиваться на неприятности.

Порог -- тоже его место, поэтому с порогом связывается так много разных ритуальных действий: па пороге всякие болезни гиали; новорожденного на порог клали; о порог при выносе слегка ударяли гробом — так умерший прощался с домом; некрещеных младенцев нередко хоронили под порогом; подметая порог, девки просили о женихах: «Сколько через порог ходоков-ездоков, столько на рабой Божьей (имярек) женихов» (Адоньева, Овчинникова 1993: 142, №570, Арх.) и т. д.

Нравятся, судя по всему, домовому и углы избы, и пространство под столом. Раньше, например, при строительстве дома по углам денежку клали — хозяину в дар. Серебряный рубль под большой угол — самое милое дело и, чем рубль старее, тем лучше. Если ж нет рубля, раскидывали мелочь, какая есть, со словами: «Выкупаю квартиру не людям, а деньгам», чтобы не было покойников (там же: 19, Волог.). По издавна заведенному обычаю, при входе в новый дом непременно просились: «Дедушко-доможирушко, пусти нас пожить», да не чинились и во все углы кланялись (там же: 22, Арх.). Не попросишься как надобно, так либо чудить в доме будет и беспокоить, либо вовсе неучтивого гостя выживать начнет — только держись!

Не исчезло еще полностью и старинное верование, что пока за поминальным столом сидят живые родичи, под столешницей незримо пребывают души умерших. Отсюда детям запрет: не болтай ногами, сидя за столом!

Чердак, подполье, *поветь*,* *стайка**, или *хлев*, — все места для домового подходящие. Про чердак (или как называли его южные русские *горище**) вообще разговор особый. Именно с чердака, судя по некоторым рассказам, домовой окликал умирающего, «когда душа никак не могла расстаться с телом», или рождающегося, в случае трудных родов. Если зова все не было, то домочадцы шли на чердак просить домового «позвать хозяина».[15] За честно исполненную работу домового ждал пирог, называвшийся «горешиой *стравой**» (Миролюбов 1996: 537).

Домовой, судя по всему, считает своим долгом приглядывать за живущими в доме: помогать, предостерегать от разного рода опасностей, наказывать, если заслужили. Похоже, что эти «свои» живые, представляют для него часть ведомого им хозяйства.

Как и полюбившейся лошади, домовой заплетает коску молодой хозяйке или хозяйской дочери.[16]

[15]В «Сакральной Руси» Ю. Миролюбова (1996: 537) дается также и следующая ступень ритуала «окликания с чердака», о которой следует сказать несколько слов, так как она представляется довольно интересной. В том случае, когда домовой оставался глух и нем (речь идет о трудной смерти), его функцию выполнял старший сын умирающего хозяина дома. Таким образом он, будущий хозяин, наследник уходящего хозяина, играл ритуальную роль первого хозяина и первопредка. На наш взгляд, здесь отчетливо проступают черты родовой связи по мужской линии обитателей дома с домовым; кроме того, это наглядная иллюстрация механизма преемственности в рамках взаимодействия двух миров.

[16]В быличках нередко рассказывается о том, что домовой заплетает (или зализывает) косичку

Коска, косичка, свитая замусоленная прядка — свидетельство его сердечной привязанности. Она и впрямь выглядит как зализанная, поэтому объяснение: «Волосы это мне доможирко зализал» (Арх.) — самое что ни на есть соответствующее (кстати, вот и еще одно название домового — *лизун* — разъяснилось). Считается, что расплетать и расчесывать такую коску нельзя, можно серьезно захворать, а то и помереть. В одной из быличек конца XIX в., в которой рассказывается о том, как домовой свою лапушку замуж не пустил, такая коса — знак избранности домовым, знак его собственности: «Жила у нас старая девка, незамужняя; звали ее Ольгой. Ну, все и ходил к ней дворовушко спать по ночам, и всякий раз заплетал ей косу и наказывал: «Если ты будешь ее расплетать, да чесать, то я тебя задавлю». Так она и жила нечесой до 35 годов, — и не мыла головы, и гребня у себя не держала. Только выдумала она выйти замуж, и когда настал девичник, пошли девки в баню и ее повели с собой, незамужнюю ту, старую девку, невесту ту. В бане стали ее мыть. Начали расплетать косу и долго не могли ее расчесать: так-то круто закрепил ее дворовушко. На другое утро надо было венчаться — пришли к невесте, а она лежит мертвая, и вся черная: дворовушко ее и задавил» (Максимов 1994: 42, Волог.).

Не так чтобы часто, но встречаются в рассказах указания на то, что домовой не стесняется брать на себя выполнение мужеских обязанностей: «Умьёр у жинки муж. Плакала дуже, аж ей ў ночь пристановляецца, що он пришол хату управлять. А потом к ей ў постель лег, да руками бере ее. То домовик буў» (Виноградова 2000: 279, Полесье). Видно, не напрасно прилепилось к домовому деду нелестное прозвище *батюшко дворовый снохач*[17] (СД, II, 123, рус.).

Только дело тут, пожалуй, не в блудливости домового, а в том, что «порядку нет», ну, по принципу известного народного определения хозяйственного запущения, когда «корова не доена, нива не пахана, баба не ...». Если приглядеться, то домовой навещает или тоскующую вдову, или молодую жену, чей муж в долгой отлучке, или как в приведенной быличке «старую девку», девицу, пребывающую в странном статусе (из девичьего возраста вышла, но осталась не востребована, молодкой не стала, но и в монастырь не ушла ... значит, не понять что); т. е. все случаи исполнения им мужского (супружеского) долга можно расценивать как действия, направленные на восстановление нормы. С этой позиции обретает естественную логику и агрессивное поведение домового по отношению к погуливающим на сторону

не только хозяйке или хозяйской дочери, но и самому хозяину. В ряде случаев было отмечено, что косичка от домового могла появиться у хозяина в бороде, а у южных славян, в частности у болгар, объектом посягательств домового становились хозяйские усы.

[17] Понятие *снохач* непосредственно связано с принятым в семейно-родственных отношениях статусом снохи (так именовалась замужняя женщина по отношению к свекру — отцу мужа, для все прочих родичей — для свекрови, деверей и золовок — она невестка). Осуждающее прозвище *снохач* получал свекор, не дающий снохе проходу, добивающийся или добившийся взаимности.

супругам (иначе с чего бы ему злиться, ежели сам такой): он их давит, щиплет до синяков, «выкусывает», отбивая охоту блудить.

Чувствуя приближающуюся свадьбу, домовой может не только предсказать это событие, но и своеобразно на него реагировать. Так, редкие случаи радости и веселья, когда домовой скачет и смеется, и даже музицирует на гребешке, скорее всего, можно наблюдать в доме будущего жениха (идут рабочие руки в дом и прибыток в хозяйство). А будущую невесту домовой, судя по рассказам, может начать заранее выживать из дома (как потенциальную чужую) или предупреждать о плохом замужестве и пытаться угрозами удержать от брака. В одной семье, рассказывали, «жила девушка, единственная дочка родителей. Нашли ей богатого парня по сердцу, стали готовиться к свадьбе. Все бы хорошо, а матери по ночам слышатся причитания дочери, глухо, как в подушку: „Зачем, матушка, на срам отдасшь?" Мать зажгла свечу, видит — дочь спит спокойно, улыбается. Тосковал по ней „хозяин", беду пророчил. Вышла девка замуж, а через год свекровь умерла. Свекор был еще молод и стал докучать ухаживаниями жене сына. Сын как-то застал жену в объятиях старика-отца, избил обоих и скрылся, с тех пор о нем ни слуху, ни духу, а дочка домой вернулась; истаяла, как свечка, вскоре ее и похоронили» (Русский демонологический словарь 1995: 133, Калуж.).

Домовой присматривает за молодежью, опять же, чтобы не нарушала пределов нормы. В одном из рассказов, например, он в нужный момент удерживает девушку, которая решила напугать мать, сымитировав самоубийство: «...привязала веревку, встала на табуретку и только хотела петлю надеть, как почудилось ей: старичок с белой бородой. Он говорит: „Не балуйся, нельзя!" — И исчез. Она бросила веревку, а тут кто-то за спиной как выбьет у нее табуретку-то из-под ног! Она упала, чуть не умерла со страху. А черт (его не видно) ругается, все тише, тише и не слышно стало» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 105–106, №155).

Все гадания на Святки, связанные с печью, столом, скотиной или домом, в сущности, — это вопрошение домового о будущем, узнавание через него судьбы. Вот две девушки-подружки решили погадать: одна села в большой угол, а другая забралась на печь и стала смотреть сквозь хомут. Видит, появились вдруг двое страшных «черных» мужиков и внесли гроб, да прямо в большой угол его... Девушка так испугалась, что свалилась с печи. А та, что в большом углу сидела, в тот год умерла (Харузин 1889: 123–138; цит. по: ОПСП, 203, Олонец.).

Домовейко — вещун, ему открыто будущее, и он предупреждает о грядущих переменах (в меру возможностей, конечно): сам ли покажется, выть или стучать будет, станет наваливаться, а может и присниться. Вот как об этом рассказывают.

- «Сижу я, спину к печке жму. Зашел вот такой маленький мужичок, немного от пола, и говорит: „Через три дня война кончится". Война и кончилась через три дня. Это домовой был, наверно...».
- «А на скотне все *модовейко** плаце, к плоху это. У сестры доць, с повети



Рис. 5. Дедушка-домовой давит.

спущается, видит: в красных сапожках, в красной тубейке старицок спущается. Бородка узенька, длинна. А после-то дом сгорел. Уж он вещевал...».

• «Мужу похоронной быть, у меня ноцью как камень навалился, вся мокрехонька. По полу как лошадь пошло. Домовейко давил...».

• «Дедушка-то домовой давливает. Сын мой как-то спать повалился, и приснилась ему собака, и лицо грызет. Он завопил: „Мама! Мама!" — Я говорю, что с тобой, а он: „Вот, мне приснилось". Я ему: „Ничего, ничего, спи". Он лег, опеть то жы приснилось. А потом в лес поехали, его и сострелили, из-за девки...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 39–40, № 74, 78, 85, 87, Арх.).

Интересно то, что домовой наваливается, «давит» (за что, кстати, он получил прозвища *жма* и *гнетко*) прежде всего воспринимается не как агрессия, а как знак

его готовности к контакту — «давит к чему-то», что-то хочет сообщить. Следующий «шаг» к общению ожидается уже со стороны человека.[18]

Кроме перечисленных забот о живых людских душах, домовой озабочен и материальным благосостоянием хозяйства: охраняет от чужих дом, сторожит хозяйское добро (в случае кражи, может отправиться в дом вора и выть там в переднем углу, пока не будет возвращено украденное), помогать в поле и на выкосе, а в случае пропажи скота уйти на его поиски и пригнать домой. Очень редко, но встречаются такие былички, в которых домовой выступает существенной поддержкой своему незадачливому хозяину. Он может даже, оставив дом, отправиться с хозяином торговать, и сделает так, что торг будет удачным, и они вернуться с изрядным прибытком.

Как ни крути, дом — это главное для домового. В доме и на подворье он всему голова, всюду ходит, за всем приглядывает. Оттого и величали его *домовитушком,* доможирком,* кормильцем* и просто *хозяином*. То, что и подворье находится «под рукой» (если можно так выразиться) домового, — не оговорка. Сад, огород и двор со всеми постройками — территория дома, семьи, рода, следовательно, они в компетенции домового. Дворовой, чьи действия нередко дублируют функции домового, в ряде местностей воспринимается как его эквивалент. В сущности, дворового (как и хлевного, *ригачника,* овинника** и др.) можно считать производным домового, т. е. произошло своего рода дробление основного образа по конкретным местам обитания и соответствующим функциям: в доме — домовой, который следит за домом и домашними; во дворе дворовой (он же хлевный), который в нем хозяйничает и смотрит за скотиной; в овине — овинный (или овинник), чьей заботой прежде всего является овин, и т. д.[19]

Рачительное хозяйствование всегда было основной заботой домового: чтобы дом богател, чтобы всегда во всем прибыток был, чтобы скотинка велась, чтобы денежка копилась. Про неразменный рубль, слыхали? Это ценное приобретение тоже связывали с домовым. Если в Чистый четверг приготовить домовому угощенье: налить в мису борща, каши и хлеба не пожалеть (все это надо поставить на чердак), то домовой щедро отплатит — оставит неразменный рубль (Афанасьев 1994: II, 69). А с неразменным рублем человек всегда при деньгах. Но, оговоримся сразу, деньги

[18] В древности, судя по всему, обязательное прохождение всех «ступеней» ритуала, открывающего контакт, было для представителей другого мира нормой. В шекспировском «Гамлете», например, точно воспроизводится традиционная модель: дух короля настойчиво привлекает внимание, но он «нем», он ждет, когда с ним заговорят живые, и только получив таким образом разрешение на контакт, начинает говорить. Так и с домовым, чтобы узнать, чего он пришел и зачем давит, необходим вопрос живого: «К добру или к худу?». В современных описаниях контакта модель нередко нарушается, и духи вступают в контакт без ритуального разрешения.

[19] У Ю. Миролюбова (1996) существует впечатляющий пассаж об очень мелком дроблении образа домового по конкретным «аспектам» хозяйственной функции: на чердаке — горешный, в подполе — подпольный, в саду — садовый, в огороде — огородный и т. д., но и это не предел: у огородного в подчинении якобы были капустник, гороховик, огуречник, картошник...

для домового — не главное, главное — скотинка-животинка. Он ведь консерватор и поступает сообразно древним дедовским понятиям. В прежние времена богатство «по животу» исчислялось: если много коров, овец да лошадок, значит, богатый дом, а если всего и есть из скотины, что «два кота лохматые...» Тогда, сами понимаете.

Домовой без устали занимается домашними животными. У хорошего домового скотина всегда здорова и весела, накормлена, напоена, вычищена, и сглаз ей не страшен. Коровы на таком дворе молока дают в избытке (чтобы и телятам и семье достало, и чтобы продать можно было); лошади ногами играют — бока у них круглы, а гривы и хвосты заплетены; на овцах такой рунец, что любо-дорого посмотреть, и т. д. Продолжать можно долго...

Здесь необходимо пояснение: «у хорошего» — это, значит, у такого, который свою скотину любит, потому для нее и старается. Отсюда вывод, что нет для хозяйственного мужика задачи важнее, чтобы скотина домовому полюбилась. Об этом всячески заботились. Например, «...корова растелится, домовейка просят: в чотыре угла плюнуть да три раза сказать: „Дедушко-домовеюшко, полюби моего теленоцка, пой, корми, цисто води, на меня, на хозяюшку, не надейся“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 44, № 108, Арх.). То же самое и при покупке новой скотины. Заводя приобретение на двор, не забудь домового-дворового попросить, чтобы любил и привечал. Формул такой просьбы известно множество, тип один: «Дедушко-домовеюшко, привела тебе скотинку двухкопытную, люби мою коровушку [лошадку, овечку], сам не гоняй, детей унимай, жены воли не давай. Пой-корми сытехонько, гладь гладехонько, местечко стели мягкохонько, сам ложись на край, его вали в середочку» (там же: 47, № 122, Арх.).

Не попросишь — не примет, тогда беда да и только. Вот рассказывали, как купили одни жеребенка, «так он [дворовой] на двор не пустил, ударил по крестцам. Он-то [жеребеночек] сразу и упал. Недолюбил, видно. Он как ударил, у него сразу зад и отнялся. Оттащили его от двора. Вот и ползал на передних ногах. Так отец отвез его к колдуну. Тот как наговорил, то и опять стал ходить. Но дед-то и сказал: „Смотри, чтоб не повторилось. Надо еще искать человека, я слабоват“. Другого-то не нашли. Вторично повел на двор, а он опять не пустил. Привязал его отец к дереву, так и сгинул. У лошади-то черные пятна на крестце, как от удара» (там же: 46, № 120, Новг.). Другой хозяин, который тоже купил лошадь, не приглянувшуюся домовому, вовремя смекнул что к чему и смог удачно разрешить ситуацию: «...домохозяин спрятался в яслях и увидел, как домовой соскочил с сушила, подошел к лошади и давай плевать ей в морду, а левой лапой[20] у нее корм выгребать. Хозяин испугался, а домовой ворчит про себя, но так, что очень слышно: „Купил бы кобылку пегоньку,

[20] В данном случае, безусловно, работает традиционная оппозиция *правый/левый*, и левая лапа соотносится с негативным воздействием (отниманием, обнищанием, уничтожением). Но в связи с этим, интересным представляется верование, будто у домового обе лапы левые, почему и вязали хозяйки в подарок домовому две левые рукавицы из белой овечьей шерсти (Ефимова 1997: 108).

задок беленький!". Послушались его и купили. И опять из-под яслей хозяин видел, как с сушила соскочил домовой в лохматой шапке, в желтой *свитке*,* обошел кругом лошадь, осмотрел ее да и заговорил: „Вот это лошадь! Эту стоит кормить, а то купил какую-то клячу." И домовой стал ее гладить, заплел на гриве косу, и начал под самую морду подгребать ей овес» (Максимов 1994: 35, Влад.).

Это не случайно, что среди быличек, повествующих об уходе домового за скотом, чаще говорится о лошадках. Считается, что домовые питают к лошадям слабость[21] и, правда ли, нет ли, но будто бы «особливо охочи» они до вороных и серых, а вот *соловых** и *буланых** частенько обижают.

В самом деле, получается, что масть животного — для домового определяющая. Так, на прямой хозяйский вопрос «Какую ж тебе надо?», один домовой лаконично ответил: «Хоть старую, да *чалую**». Масть, приходящаяся «ко двору», узнавалась на удивление просто — домовому нравится та скотина, которая ему самому «по шерсти» — какого цвета шерсть у домового, такой масти и животное выбирай. Известно, например, что в Ярославской губ., чтобы угодить домовому, даже котов и кошек держали только соответствующей масти. Бывало, что масть примечали по голубям, которые водятся на дворе: какого цвета голубей живет больше, такую масть скотины и надо разводить (даже голубям не в масть на дворе не быть). Был и другой способ: домовой ведь хозяину дома двойник, вот и соображай...

Умный хозяин вкусы своего домового непременно возьмет на заметку и станет их учитывать и при продаже собственных животных, и при покупке новых. Домовой очень чувствителен к тому, насколько хозяин уважает эти его пристрастия. Вот, к примеру, обменял один мужик своего серого на карьку, привел того и едва на двор загнал — все упиралась скотина, видно чуяла. Домовой ее, бедную, в ясли загнал, поутру еле вытащили. Хозяину тоже сладко спать не пришлось, домовой навалился «и давай душить, да и говорит(...) таково сердито: „Приведи назад домой Серка!"». Мужик еще день–два поупрямился, а потом все же понял, что и покупку не сбережет, и, Бог знает, каких еще неприятностей нажить может, — сдался. Пошел к обменщику, а у того та же беда. Разменялись они обратно. Уже на подходе к дому, «лошадь как заржет, да таково радостно, и сама бросилась во двор...». Запирая ворота, хозяин явственно слышал на дворе довольный голос: «„Милый ты мой Серка, желанный! Воротился!". И слышит: лошадь гладят, а она таково радостно фуркает и ржет. Стала буде шелковая. Так он ее вычистил. И у того мужика [с кем менялся] на дворе тоже стало все благополучно» (Домовые 1993: 16, Новг.).

Любимых лошадок домовой по ночам прибирает: чистит их скребницей, гладит и холит, заплетая гривы и хвосты, подстригая им ушки и щетки. Рассказов об этом

[21] Существует понятие о так называемых двужильных лошадях. Они принадлежат только домовому и работать на них не только нельзя, но и просто невозможно. Кроме того, если в хозяйстве завели такую лошадь, от нее стараются как можно скорее избавиться, так как если двужильная умрет, вся скотина перемрет за ней следом, и целых 12 лет ничего в хозяйстве вестись не будет.

известно множество. Вот, к примеру, такой: «Я еще девчонка была, а помню. Как-то в память все запало. Лошадка у нас тогда была. Наповадился к нам в стайку кто-то ходить да косичку заплетать. Вот как-то однажды дед пошел в сарай — у лошади опять заплетены косички. Он про себя говорит: „Наверное, домовой". А смотрит: старичок сидит. Он и говорит: „Сидишь?". А тот сжался, малюхонький такой стал, да так тихонечко покряхтел. А сам косу-то плетет...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 75, № 100). Домовой для своей животинки на многое способен. Он для нее, если надо, не только на себе воду возить будет, но и на воровство пойдет: станет овес и сено с чужих дворов таскать своим на прокорм. Одна хозяйка заприметила, что стал корм для лошадей пропадать, и решила приглядеть за припасами. Закрестила она *комягу** с кормом, а сама на ночь на лавке у волокового окошка пристроилась. Около полуночи лавка затряслась — дремоту как рукой сняло, глядит хозяйка, а через плетень домовой с чужого двора перевалился и прямиком к комяге. Да только взять ничего не может — закрещено. Повернул назад домовой, проходя мимо бабы, все бормотал: «мало, мало» ... и с тех пор уже не ходил к ним воровать (Колчин 1899: 53–58, Тул.).

Домовой, которому скотина не пришлась ко двору, вовсе не похож на рачительного дедушку. Со своими, но постылыми подопечными он обходится жестоко: скотину мучает, гоняет, щиплет, не раз случалось незадачливым хозяевам поутру вытягивать лошадь или корову из-под яслей чуть живую — домовой ее туда со злости забьет — нате вам! Коня ночью заездит — утром будет весь в мыле, и дрожь не унять; у коров пропадет молоко, и с тела совсем спадут; от бедных овечек и клочка шерсти не жди, весь волос то ли повылез, то ли сострижен (*стрига* — еще одно из прозвищ). Раздраженный домовой их пугает и всячески изводит, к тому же не поит, не кормит, а заданный хозяевами корм отнимает. В одной южнорусской быличке рассказывалось, как домовой даже пошел на сговор с ведьмой и стал помогать ей хитить молоко у коров, правда, чересчур пожадничал и за это поплатился: «Ведьма начала доить молоко, а домовой стал его пить и пил до тех пор, пока лопнул» (Гура 1997: 237, Харьк.). Если хозяевам все знаки домового невдомек, он в запале может весь скот перебить и таким образом за хозяйское к нему невнимание поквитаться. Случалось и так, что разобиженный домовой бросал все и уходил со двора, что также приводило к гибели всей живности и к полному развалу хозяйства. Одним словом, в гневе домовой страшен, и лучше его до крайности не доводить. Назвать домового в таком состоянии «дедушкой-домовеюшком» язык не повернется, это уже *лиходей* или *лихой* домовой, утративший черты доброго духа-хранителя, но приобретший черты демонические. Такой домовой — настоящее бедствие, жизнь в доме он сделает невыносимой, поскольку очень агрессивен по отношению к человеку: бьет, кусает до синяков, душит, утаскивает детей.

Коль скоро у домового такой характер, а без него все одно — никуда, конечно

же были выработаны способы и найдены средства для борьбы с ним или для его умиротворения.

Итак, если приключилась беда, и домовой засбоил, но надежда замириться еще не утрачена, то можно попробовать следующие средства:

— сделать *относ**, проще говоря, поднести подарочек (положить под ясли нюхательного табаку, посоленного хлебца, прошитого красным лоскута, старинной коптилки с изображением Егорья, а то и чашка водки в *подызбицу**);

— в Чистый Четверг воткнуть во дворе можжевельник, или *покурить** можжевельником (ОПСП, 214);

— некоторые льют под верею святую воду, курят ладаном — домовому это очень нравится; можно заодно покропить и обкурить скотину (ОПСП, 215).

Если задобрить домового не удается, а он расходился и становится опасен, тогда пробуют что-нибудь более действенное, например:

— можно отслужить в доме молебен и мелом наставить кресты на притолоках и потолке, однако при этом не стоит забывать, что домовой свободно ходит по дому, где и иконы, и кресты, и молитвы звучат, из чего можно сделать вывод: домовому они — не помеха;

— подвесить в хлеву или на конюшне убитую сороку — не любит этой птицы домовой (Максимов 1994: 40; ОПСП, 19);

— закопать или повесить поблизости от хлева медвежий череп; пожечь медвежьей шерсти около дома или можно обвести вкруг двора живого медведя (позвать *сергача** с ярмарки) (Власова 1995: 131).

— завести на конюшне козла; по одним предположениям, домовой с ним дружит, и потому козел на него действует успокаивающе, по другим — козел домового выгоняет (ОПСП, 19);

— потыкать навозными вилами в нижние бревна двора с приговором: «вот тебе за то-то и за то-то», домовой, как правило, знает за что (Максимов 1994: 41);

— воткнуть нож над дверью или позвать бабку с наговоренной водой (ОПСП, 215);

— иногда сильным средством оказывается лутошка — липовая палка, с которой содрана кора; ею хозяин обмахивает весь двор (там же, 215);

— если домовой не только скотину изводит, но и хозяевам покоя не дает, то можно, говорят, испробовать такое средство, как зеркало; домовой зеркал не любит, и будет избегать мест, где их много (там же, 19);

— если по ночам наваливается, достаточно бывает либо помолиться (действенными оказываются и поминание Господа, Богородицы или святых, и крестное знамение), либо выругаться (рассказывают, правда, что и сам домовой умеет заправски матюгаться);

— можно запастись ниткой из савана мертвеца, вплести ее в ременную плеть-треххвостку и залепить воском; в полночь засветить эту нитку и, держа плеть в

левой руке, бить в хлеву по все углам и под яслями — «авось как-нибудь и попадет в виноватого» (Максимов 1994: 41) и т. д.

Естественно, что перечисленные средства — это далеко не весь известный арсенал для борьбы с домовым. И если следовать мудрым правилам крестьянской жизни и не доводить до конфликта, то и надобности в этих средствах не будет. Благодаря быличкам давно сформулирована большая часть положений связанного с домовым этикета. Их соблюдение являлось для крестьянина основой спокойного сосуществования с домовым. Назовем лишь некоторые, наиболее известные из этих правил, то, что знал любой, живущий в деревне.

• Из дома выходишь или едешь куда — поставь домового в известность: уезжаю, мол, остаешься всему хозяйству голова... Чтобы домовой вслед за хозяином не увязался, а такое тоже случалось, владимирцы, например, печь загораживают ухватом или заслоняют заслонкой (Власова 1995).

Некоторые, те, что с домовым душа в душу живут, при отъезде и дом, и двор хозяину «на догляд» препоручали. Поручат — и все: дом под крепкой защитой стоит, и хозяйство в полном порядке: чужого не пустит, добро сохранит (даже мыши запасов не тронут), а чтобы какая мерзость в доме завелась типа тараканов, — ни-ни!.. По возвращении «доглядщику» за верную службу, ясное дело, гостинчик.

• В хлев, или стайку, собрался — кашляни, прежде чем дверь распахивать, предупреди хозяина, что идешь. Неровен час нос к носу столкнешься, а это не к добру. Ну, и в самом хлеву не стоит ни шуметь, ни излишне суетиться. Вообще мешать домовому в уходе за скотом нельзя: доведет до разорения. Вот, у одного крестьянина заботами домового лошади были — загляденье. И разобрало его любопытство, как это домовой за ними ухаживает. Подсмотрел. Все бы ничего, да только задело его, что домовой воду лошадям возит в кадке, из которой вся семья пьет (нечистая вода, получается). Ну и выбил дно у кадки, чтоб безобразие не повторялось. На следующую ночь отправился домовой по воду, а воды-то и не набрать: лил-лил и все без толку... И так взбеленился, что возок с кадкой — вдребезги, всех лошадок, весь скот перебил и от двора камня на камне не оставил. Взвыл крестьянин, да сделанного не воротишь (Колчин 1899: 29–34, Тул.).

• На столе на ночь нож не оставляй — не по сердцу это домовому. Говорят, может и запустить тем же ножом в хозяина или хозяйку... «А раз со мной была оказия. Начивала я у хатя адна как есть — наши были на поля. Задула свет, легла на печь, лежу и слышу: падшел ен к столу, узял са стола ножик — я, знать, забыла прибрать, ды тах-та ножиком: Дзы-ынь!.. Дзы-ынь!.. А потом как шварсня [швырнет] ножик наземь! А я лежу ни оторопь мине взяла, ни што. Тольки думаю, што ш ста я ножик не прибрала? Утром устаю — ножик наземи... А мне батюшка покойник усигда гаварил: „Няставляй ножик на ночь на столе — грех!..“» (Резанова 1902: 104–107; цит. по: ОПСП, 369, Курск.).

Нож — железо, прошедшее закалку огнем, оно само по себе не по нраву любому

представителю иного мира, этот металл над ними особую силу имеет. Нож, к примеру, нередко использовали для усмирения расходившегося домового, втыкая его над дверью[22] (ОПСП, 215).

• Не оставляй на ночь еду и питье открытыми и без креста. Домовой непременно ими воспользуется, а если не домовой, то (еще того хуже) нечистый. Раз оставлено — значит, для него. А человек запакощенной еды отведает и заболеет, может даже умереть.

• Оставаясь ночевать в гостях или в чужом доме, обязательно просись на постой у домового. Без спросу ночь может оказаться на удивление беспокойной. Вот, недалеко от Нерчинска (это в Сибири), рассказывают, было такое дело. Дом в деревне новый рубили. И «один работник, Швецов Иван, он домой-то не ходил, а в пустом доме приспособился спать. И вот в ночь давай его камнями оттуль понужать...» Вскочил Иван: «Что такое?!» Дом весь обошел, наверх слазил — никого! «Пришел, только лег — опеть! И бормочет, гыт, такой голос грубый, гыт, старика: „Уматывай, гыт, отцель!“ И так этот вечер промучился и убежал домой... бердану притащил. Опеть лег — в полночь опеть поволок его!... Дак он потолок-то исстрелял весь — и никого нету. А уснуть так и не удалось. Ушел... И, главно, дескать: „Уходи!“» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 64–65, №88).[23]

Если попросился как положено, домовой вежливого гостя под защиту взять может и от неожиданных неприятностей оборонить. В тех же местах, у Нерчинска, передавали рассказ охотника по фамилии Стренчев о том, как он раз в охотничьем зимовье ночевал — интересная с ним история вышла: «Прихожу, гыт, остановился ночевать в этом зимовье. Сходил воды принес, затопил печку. Но, прежде всего, попросился, что, хозяин, пусти меня ночевать. — Это как обычай. Сварил чай, попил, покурил... И вот, сколь уж время было — не знаю... Подул ветер, зашумело всё и — залетат... Дверь распахнулась, залетат... „Ага, у тебя человек! Давить будем!“ А этот отвечает: „Нет, не будешь. Он у меня выпросился“, — это хозяин-то, домовой.

[22] В одной из новгородских быличек, повествующей о ходячем покойнике (умерший дед зачастил к своей вдове), именно нож, воткнутый в дверь, служит радикальным отгонным средством: «Ножик, кажется, торкают в стенку, чтоб не ходил-то. Покойник умирает, говорят, что он ходит иногда вот, приходит. Может задавить там или задушить. Вот она (вдова. — *А. Н.*) потом все каждую ночь зааминивала и ножик в дверь торнула там где-то в этот паз. „И, — говорит, — больше ко мне он ходить не стал!“» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 304). В приведенном отрывке привлекает внимание не только единое средство защиты от ходячего покойника — от агрессивного домового, но и отмеченное рассказчицей характерное поведение: покойник, как домовой, давит или душит. К сказанному добавим, что в некоторых местах ходячий покойник идентифицируется с домовым. Так, например, на украино-белорусско-польском пограничье и в украинских Карпатах название *домовик* переносится на ходячего покойника (СД, II, 121).

[23] Текст былички приводится в сокращении, однако отличительные особенности сибирской речи и характерная лексика сохранены (см. запись в сб. «Мифологические рассказы русского населения Сибири» (1987: 64–65)): гыт = говорит, опеть = опять, залетат = залетает, оттуль = оттуда, понужать = принуждать (*зд.* выгонять), и т. д.

И вот они сцепились. Возились, возились — хозяин все-таки того выбросил. И тот засвистел, ветер зашумел... Я, гыт, уж не в себе, думаю: „Ежели бы не попросился, то значит всё — отработал бы!“» (там же: 77–78, №106).

• Не молись слишком рьяно: «...когда хозяйка очень богомольная и подолгу ночью молится, то он вылезет, покажется в образе лысого старика, пройдет тихонько и слова не промолвит, хозяйка уже догадается, что ему не любо ее моленье, и скорее спать заляжет» (Домовые 1993: 24).[24]

• Не ругайся в доме. Можно обидеть домового бранными словами, особенно если ругаешься за едой (ОПСП, 214).

• Живи достойно: склок не заводи, не ссорься... А пуще скандалов, не нравятся домовому гулящие... Вот свидетельство из 1898 года: «У мине невестка, дык уся у синяках, бала [бывало], ходя. Ды дужа [очень] шшипя, ажно кровь почерпея ⟨...⟩ Ды ана балыматная [легкомысленная, пустая] была, нивеска мая: усе, бала, с салдатами, с палюбовниками... Нехорошая баба, Бох с ей. Туго [оттого] ие хозяин и шшипал...» (Резанова 1902: 104–107; цит. по: ОПСП, 367, Курск.).

• За бабой на сносях и особенно за родильницей в доме — приглядывай. Домовому не по нраву присутствие в его хозяйстве существа (а точнее двух существ, поскольку мать, как и новорожденный, считается нечистой) в пороговом состоянии. Судя по всему, домового это беспокоит и раздражает. Чужих он не любит, а они, пока не будут проведены обряды очищения и адаптации, — несомненно чужие. Одна женщина о себе вот что рассказывала: «Я его, конечно, не видела, только чувствовала. За руку поймала. Рука-то мягкая-мягкая... Я родила Вовку в сорок первом году, в апреле, перед войной. Я родила, наверно, часов в одиннадцать, а где-то в двенадцать слышу: с печки спрыгнул кто-то и ко мне идет. Я крикнуть-то хочу и не могу. А потом как-то рукой его схватила... Рука-то моя — как в пух: мягко чё-то тако, пушисто! А я же никакой сроду ни молитвы, ничё не знаю. Лежу, думаю: „Господи!..“ ⟨...⟩ Я так всю ночь пролежала с открытыми глазами. Лампу себе поставила, и [мужа упросила, чтобы] он возле кровати лег. А потом свекрова назавтра-то пришла, я ей и стала рассказывать: мама, мол, так и так... Она: „Ах ты... Что ж ты его не спросила, к добру или к худу...“ Я говорю: „А я испугалась. Мне не приходилось, я и не знала“ ⟨...⟩ Она так на меня посмотрела, но ниче мне не сказала. И, видимо, подсказала, чтоб убрали все зеркала. Дня три, наверное, прошло, я встала, вижу: ни одного зеркала нет. „Где же зеркало-то у нас?“ —

[24] Как уже говорилось, домовой молитв не боится, однако взмолиться или помянуть Господа или кого-нибудь из святых, если давит, — на поверку оказывается действенным средством. Так, одна женщина рассказывала: «Мяня самоё домовой выживал. Вот так. Но я не видала яго. Я ляжала на кровати. И вот ён ето... Так вот ен как пришел, как почал ён тюфяк вот так заворачувать, и со мной, и со мной! Вот так вот ворочить! — „Хосподи помилуй, Иисус Христос, ангелы-хранители, спасите мою душу грешную!“ — И всё табе тут, и бросил...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 236). Иногда, видимо, в тех местах, где домовой идентифицируется с нечистым, указывают в качестве безотказного защитного средства молитву «Да воскреснет Бог...»

„Не знаем". А потом (уж много время прошло) я взглянула в зеркало-то: у меня на шее, на этой стороне три и на этой два, пальцы-то...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 68–69, №94).

• Умей распознавать, что домовой велит. Можно долго жить в доме, а с домовым так ни разу и не пересечься. Домовой хозяин без особой необходимости людям на глаза не попадается — не видать его, не слыхать. Да и ни к чему это, если отношения с домашними отлажены, и нет причин для беспокойства. Другое дело, когда жизнь сбивается с наезженной колеи. Обладая знанием о грядущем, домовой, об этом уже шла речь, пытается предупредить домочадцев о переменах, ожидающих дом. Тут уж он начинает всячески проявлять себя: стучит, воет, все раскидывает да разбрасывает, подкатывается под ноги, наваливается по ночам. Главное — не растеряться и правильно определить, о чем предупреждение. Если хозяин в ноги подкатился или наваливается, люди знающие рекомендуют прямо спросить: «к добру» или «к худу». К добрым вестям, говорят, он на вас теплом дохнет и перестанет возиться. А услышите в ответ похожее на сдавленный кашель «кх-х...» или «кху!..» — ждите несчастий: «...рядом соседка жила. От, говорить, ноччю пришел домовой. Как нажал на мяня! Ой, я кой-как отболталася и говорю: „К худому или к хорошему?" — „К ху! К ху! К худому!" И от бабе сразу худой всё пошло. Мужука застрелили, дочка спилась, померла. И сама заболела... И увезли куда-то яе далече. И умерла. От как к худому! От как! Это домовой всё делаить! От, моя доченька, это уж правда!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 240). Или вот, к примеру, рассказ старого плотника: «У меня было опосля войны. Я пришел с гулянки, будто кто меня душит, и глаз не открыть. Я спросил к плохому или к хорошему. Он только: „кху". Легко мне стало. А через пару дней ушли плотничать, к нам прибегают и говорят, что три дома сломали. Вот тебе и к худому...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 40, №88, Новг.). Так что, домовой заметно лаконичен и многословием не отличается. Говорят, правда, что можно и «на ощупь» догадаться: мохнато и мягко — добрый знак, голо да холодно — знак дурной.

Сметливые люди разработали комплекс примет по поведению домового (на том, кстати, и многие гадания строились). Например:

— скачет, песни играет, смеется — к радости, иногда предупреждает так о свадьбе;

— подергает за волосы — остерегайся жена, не ввязывайся в спор с мужем, отмалчивайся, не то прибьет;

— загремит в поставце посудой — будь внимателен с огнем, не сделался бы пожар;

— плачет и охает — к горю;

— обмочил кого домовой ночью — тому заболеть;

— у трубы на крыше заиграл в заслонку — будет суд из-за какого-нибудь дела или обиды;

— слышится плач домового, да еще в самой избе — к покойнику в доме;

— если явился кому двойником, а хуже того, если прикоснулся — к скорой смерти (см.: Максимов 1994: 36; Иванов 1900: 70–94).

Даже если судить по этому далеко не полному списку, проявления домового в подавляющем большинстве предвещают, выражаясь языком быличек, «худое». Пока все в норме, домового не видно и не слышно, но если появился или начал подавать знаки, значит, «вещевает», и беда не за горами. Правда, бывает, что поданный домовым знак можно толковать двояко: поди-ка разбери, например, к чему домовой косу заплетает (одни говорят, что это хорошо, другие — плохо)... Все-таки оно надежней, когда можно спросить и получить в ответ недвусмысленное «Кху!..».

Человек старательно вникал во все скудные знаки судьбы, предлагаемые домовым, но были и такие, кто пытался вызвать или подстеречь домового, чтобы завязать с ним дружбу и получать предупреждения чаще. Для этого в самую Пасхальную ночь надевали на себя хомут и, покрывшись бороной зубьями на себя, садились на всю ночь в хлеву между теми лошадьми, которых домовой особенно любит. Однако дело это опасное. Если домовой приметит подсматривающего, то может устроить так, что лошади вдруг начинают вскидываться и бить по бороне, случалось, что и забивали любопытствующего насмерть (Максимов 1994: 31).

Пожалуй, можно назвать один день в году, когда буйное поведение домового ну никак не связывалось с его недовольством живыми. 12 апреля (по н. ст.), в день Иоанна Лествичника, он вдруг переставал узнавать своих и впадал в страшную тоску. Поскольку в этот день он бесился с утра до самой ночи (бил, крушил, подкатывался хозяевам под ноги, обижал кошку и мог перекусать всех дворовых собак), предусмотрительные хозяева скотину и птицу запирали еще накануне. К временному помрачению домового крестьяне относились с пониманием, объясняя все тем, что либо дедка трудно линяет (старая шкура никак не спадает), либо почуял весну и его томит желание жениться на ведьме (Власова 1995: 132; Русский демонологический словарь 1995: 149).

Теперь пришло время сказать хотя бы несколько слов о семейном положении и родстве домового. В самом деле, в некоторых местах, например во Владимирской губ., домовых представляли духами «семейственными», и следовательно, рядом с образом хозяина вырисовывался образ хозяйки — *домани, домахи, домовихи, доможирихи* и т. д.[25]

---

[25] В заговорах довольно часто встречается двойное обращение: «Домовой батюшка, домовая матушка, примите... и т. д.», а также упоминается все его семейство, что косвенно подтверждает давнее возникновение верований о наличие у домового семьи (жены, детей и родичей). Может быть, эти верования, в значительной степени, сложились под влиянием более древних представлений о существовании для каждого живого своего домового (хранителя, тени, двойника и т. п.): «...сколько в доме людей, такая же у домового семья: муж, жена и дети» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 44, Арх.). Встречается также мнение, что если в доме есть

Она во всем как баба: «перед несчастьем плачет под полом, перед прибытком хлопочет у *кросон**» (Власова 1995: 125, Арх.). Как и домовой, доманушка особо не показывается и всякую женскую работу делает, по большей части, незримо. Но иногда случается... «Вот я раз ноцью выйтить хотела. Встала, смотрю — месяц светит, а на лавки у окоска домажириха сидит и все прядет, прядет, так и слышно нитка идет: „дзи“ да „дзи“, и меня видала, да не ушла. А я сробела, поклонилась ей, да и говорю: „Спаси Бог, матушка.“ А потом вспомнила как меня мать учила относ делать. Взяла *шанечку** да около ей и положила. А она ничего — все прядет. А собою, как баба, в *повойнике**. Только смотреть все-таки страх берет. А она ницево — все прядет. И много у нас в тот год шерсти было, так мы поправились, даже сруб новый поставили» (Карнаухова 1934: 46–47; цит. по: ОПСП, 371, Волог.).

Явно следуя правилу «муж да жена — одна Сатана», домовая хозяйка может быть и страшной, и агрессивной по отношению к живым, совсем как сам домовой, если те нарушают этикет. В одной новгородской быличке рассказывается, как в поздний вечер доярки ждали в хлеву возвращения коров с пастбища. Пошел дождь, и одна из женщин вышла во двор, прилегла под навес и заснула ⟨...⟩ «И вдруг на мяня налезло! У-у-ух! Хосподи Боже мой! Я проснулась. Как будто комната. Стоить женщина, лицом не воротитца, платье светло-розовое и нячистое. — „Чаго ты мяня давила тут? Хто ты? Чаго давила? К худому или к хорошему?“ А она говорить: „Ни худого, ни хорошего! Не ложись на чужое место.“ — „А чьё ето место?“ — „Моё!“ — „А ты хто?“ — „А я, — говорить, хозяйка!“ Ну вот. А сама от так от ето, всё от так от — никак мне ей лицо не посмотреть! Все она как-то боком ко мне. Да и говорить: „Что ж табе подарить? Подарить бусы — нет, табе бусы не пойдуть. На, — говорить, — табе перстень!“ — „Вот, — я говорю, — ну, спасибо!“ Мне подала етот перстень, я забрала, вот так слышу — кони перяшли сюды вниз. Я коней загнала опять за канаву. Дай я посмотрю, что ж мне даден! И нет ничаго! И рука опухла» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 233).

Где жена, там, стало быть, и дети. Бывает, что совсем малые домовеночки... Тогда живым случается пересечься с домовыми на самой что ни на есть бытовой почве: «Мужик раз лежит себе ночью. Видит вдруг — вошла баба с *зыбкою**. Повесила зыбку, а сама у печки греться стала: „Аа-а-а! — говорит. — Холодно!“ А сама зыбку качает. Испугался мужик, взял да и зажег спичку. Она сейчас в дверь и зыбку с собой взяла. Потушил мужик огонь — лежит. Взошел сам-то домовой — говорит: „Жалко тебе избы стало, что ли? Не пустил бабу обогреться!“ Он муж ее был, знать. Мужик опять зажег спичку и тот в ход пустился» (Власова 1995: 133, Олонец.). С малым дитем и домовой в большей степени уязвим. Так, если в разных углах избы начинают слышать плач ребенка (при этом замечено, что слышит его, как правило,

мужчины, то домовой там будет в мужском обличье, если в доме только женщины — домовой будет в обличье женском (СД, II, 121, рус.). Скорее же всего, эти верования восходят к древней андрогинной природе домового.

кто-то один из домочадцев), надо накрыть то место платом или полотенцем. Тогда домовихе-матери родимого дитяти не видно, и можно расспрашивать ее обо всем — она, бедная, на любые вопросы ответит, только бы найти своего ребеночка (ОПСП, 213).

Встречаются былички, в которых видны родственные связи домовых не с человеком, но с другими духами, с теми, кого уже нельзя назвать своими, например, с полевиком: было дело к вечеру, возвращалась женщина покрай поля домой. Идет, и «вдруг выступил полевик из колосьев и попросил: „*Дорожиха**, скажи *кутихе**, что *стожиха** померла". Дома крестьянка рассказала мужу о случившемся. Тут в подызбице что-то застонало: „Ой, стожихонька!" — и выкатилось: черное, маленькое... и существо с воем выбежало из избы» (Русский демонологический словарь 1995: 463, Новг.).

Ранее уже упоминалось о том, что домовой «живет» долго, дольше, чем человек. Однако и домовой не вечен, и тогда, оказывается, возможна смена одного домового другим. Не так уж давно, в конце 70-х годов XX в., от сибирской крестьянки была записана следующая история: «Мама моя в положении Андреем ходила. Приходить к ней стал по ночам молодой мужичок, небольшой, без бороды. И живот правит — руки-то мягонькие. Сначала она не говорила никому, потом матери своей рассказала. А она ей говорит: „Иди в анбар ⟨...⟩ спать". И сюда он пришел. „Я-то, — говорит, — ваш хозяин. У твоего отца детей много было. Я с тобой в Уктычу ездил венчаться и буду теперь вашим хозяином. Пойдем во двор со мной, посмотри, на кого ваш хозяин похож стал". Ну пошли они. А там дед старый сидит, седой, оборванный... Вот этот небольшой мужичок и говорит: „Он скоро умрет, а я буду на его месте". И еще он на корову белую показал, что она в том углу умрет. И правда, через несколько времени она в том углу сдохла» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 80–81, № 111).[26]

Бывало и так, что в доме по досадной случайности оказывались два домовых, и оба своих, оба с законными притязаниями на хозяйствование. О таком редком случае тоже рассказывает быличка: «Один мужик, перебираясь в новую избу, позвал на новое место и домового. Жена же его еще раньше, переходя с угольком из старого жилища на новое, пригласила себе хозяина. Таким путем у них стало два домовых.

[26] Быличка, приводится по сборнику В. П. Зиновьева, записана от М. Н. Тонких, 1904 г. рождения. Рассказ интересен тем, что повествует не только о смене «поколений» домовых, но и отмечает необычный момент замены одряхлевшего и ослабевшего {= и властью} «мужнина» родового домового молодым и сильным домовым из рода жены. Нетрадиционно в данном случае и само описание заявляющего о себе нового хозяина: «молодой мужичок, небольшой, без бороды». Как было отмечено Е. Ефимовой, борода — знак духа-предка, «родителя», т. е. «чистого» покойника, отсутствие бороды характеризовало покойника, как «заложного» (Ефимова 1997: 108). Объяснение этой странной «молодости» дедушки-домового, судя по всему, следует искать в словах духа о том, что у отца молодухи было много детей (традиционно родителями, т. е. дедами, именовались все умершие, даже если они умерли детьми).

От них не стало мужику с женой покою. Как настанет ночь, так у домовых пойдет ссора и драка, лишь только стон стоит. Жена и спрашивает мужа: верно ты пригласил хозяина с собой, да и я ведь тоже пригласила с угольком хозяина. Теперь у нас их два ⟨...⟩ Домовой бабы выгнал домового, приглашенного мужиком. Настал в доме покой ⟨...⟩ Мужик же потом видел своего выгнанного домового в лесу, где он скинулся котом, ходил вокруг мужика и сильно голосил» (Колчин 1899: 53-58, Тул.).

Как показывает практика, все-таки лучше, чтобы в доме был один хозяин. В большинстве случаев появление в доме нескольких домовых приводит к соперничеству и непременному выяснению между ними отношений: «Дык суседка сама видела двоих [домовых]: один у синей рубахе, другой — у красной, да пириметываютца...» (Резанова 1902: 104–107; цит. по: ОПСП, 368, Курск.). Можно добавить к сказанному, что хозяева вполне могут поучаствовать в «генеральном» сражении на стороне своего домового — заслышав во дворе шум драки, выйти с метлой и бить ею по стене дома, приговаривая: «Бей наш чужого!» (Колчин 1899: 29–34, Тул.). Как правило, после такой поддержки свой домовой одолевал противника, и тот с позором изгонялся. Куда податься такому изгнаннику? Домовой без дома, разве это домовой? Возможно, что и впрямь бродил такой по лесу, «скинувшись котом» или кем-нибудь другим...

В самом деле, домовой может повстречаться не только в человечьем обличье. Рассказы, о том, как домового видели зверем, птицей или гадом, до сих пор живут в разных областях России. Стоит, пожалуй, прямо с кота и начать. С одной стороны, кот для домового — это любимый «мохнатый зверь» в дому. С другой — сам домовой нет-нет, да и покажется в кошачьем обличье: «Иду я из дому, вижу, котанко ускочил, котан серый, хвост пушистый. Зашел на поветь, свернул, да и нет нигде. Я бабушке говорю, что котана-то видела. Она: „Куды котану, домовой то дедка!“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 46, № 118, Арх.). Народное представление нередко переносит на кота основную функцию домового — домоведение, причем указывается, что хозяйство находится в прямой зависимости от кота: «Кут — хозяин хаты. Кут пропадэ и хозяйство пропадэ. Дэ кут вэдэца, там и скотына вэдэца» (Гура 1997: 228, Брест.). Это ведь о домовом слово в слово.

Для старых людей связь кота с домовым очевидна: кто любит устраиваться на печке? кто ночью бродит по дому по своим делам? а кто иной раз хозяина давит? Помню, отец рассказывал, как подростком (не в деревне, а в городской коммуналке) он испытал раз настоящий ночной кошмар: «Просыпаюсь, говорит, посреди ночи оттого, что на груди тяжесть — не продохнуть. Глаза открываю, а на меня прямо в упор смотрит кто-то (и глаза не человеческие)... Жутко: ни крикнуть, ни вздохнуть... и главное, смотрит, не отрываясь, и совсем близко... Начинаю глаза прикрывать — и те глаза вроде как гаснут, открою — смотрит!..» И так каждую ночь. Почти неделю мучился, даже стал бояться ложиться спать. Все объяснилось неожиданно и просто:

кому-то ночью понадобилось выйти... «Как свет зажгли, у меня с груди неспешно так, потягиваясь, поднялся соседский кот... Был он здоровый, черный, пушистый, и гулял, где вздумается...» (Чем не быличка про домового, не правда ли?). Кстати, о кошачьих глазах: поляки говорят, что в них поселился дьявол, когда его в облике мыши съела кошка...

Отношение к коту или кошке в народных представлениях столь же не однозначное, что и к домовому: одни считают кота животным чистым (первым, говорят, в раю умершего хозяина встретит), другие — поганым (даже чихание кота навлекает на дом несчастья, а привидевшийся во сне кот — знак грядущих неприятностей, лжи, и даже смерти (СД, II, 637). Не говоря уж о черных кошках, перебегающих дорогу, и самых разнообразных верованиях, связывающих котов и кошек с магией черной, белой и полосатой... Скажем только, что и в самом деле, трогать кошку «не моги» — всем славянам известен запрет на убийство кота или кошки, нарушив который, навлекаешь на себя и на свой дом всевозможные напасти и беды.

В рассказах о появлении домового в зверином обличье нередко вместо кота называют ласку: «...Татка коня продавать хотел, а мы спим, да на нижнем двори воет: у-у-у — коня жалеет. Брат голову-то спустил вниз, а там на гривы у коня как *ластоцка** сидит, в косу плетет, как котко какой...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 45, № 111, Арх.). Быличек про домового-ласку даже больше, чем про домового-кота, и почти все они о том, как ласка за скотом ходит: косы плетет, шерстит, пугает. Хозяйка одна так рассказывала: «Само-то ведь дед-домовой, это ласка, зверек такой. Ушки черненьки. Она скотину нову не любит, завьет гриву-то. А у меня серых овец не любила, дак все гоняла овец до ноци, не любила. Как двенадцать часов прошло, как рукой сняло, все проходит. Заберется на спину и гоняет. Это-то домовейко и был, ласка-то» (там же: № 112, Арх.).

Встречаются, конечно, рассказы, в которых ласочка называется охранительницей скота, приносящей хозяйству счастье, чуть ли не «спасительным амулетом» (Гура 1997: 227–228, о.-слав.), но намного больше рассказов про то, как ласка гоняет, мучает и изводит скотину: «Яна [ласочка] як нападе, дак ласкочэ [щекочет]. Ласкочэ, и скацина не стаиць, мучиць мокрая так, измучана, не дае спаць ей, проста раса па ей пот такий...» (там же: 241, Гомельск.); «ласица на корову лезет, скубёт шэрсть, корова будет мокра, молока нет. Садицца на спину и шкрэбае, як кут (кот. — *А. Н.*) лапамы, и вона зробицца мокра́а-мокра́а» (там же: 243, Брест.). Одним словом, ведет себя ласка совсем как злой домовой, которому скотина пришлась не ко двору, точнее не «по шерсти». И так же, как по масти домового, так и по масти ласочки, выбирали подходящую для обзаведения животину.

Случается, что ласке, совсем как ведьме, приписывают способность отнимать (высасывать, выдаивать) молоко у коров «...Если молоко у коровы убывае, домовейко не люби. Это по-нонешнему-то лаской зовут. У них лапки, как пальцы, как рука, я видела...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 46–

47, № 122, Арх.). Только чаще этой способностью ласку наделяют народы западной Европы. У славян же больше говорят о порче молока: пробежит ласка под коровой или перескочит через нее — удой и уменьшится, а то и совсем пропадет молоко (Киев., Ровен., Брест. и другие губернии). Такие вот дела.

В каком только виде домовой не покажется:

— медведем (правда, говорят, что будет у того медведя голова человечья);

— зайцем (именно в таком облике домовой впопыхах переселялся раз в новый дом из старого дома, который вскоре сгорел);

— свиньей (была история, как хозяин кнутом да с немалым трудом отбил лошадь у озверевшей хрюшки: та, взобравшись лошади на спину, гоняла бедную и топтала копытцами);

— черным бычком (навещает домовой родное пепелище, тоскует);

— собакой (прохожим приходилось наблюдать, как он лежал у ворот оставленного дома — хозяева забыли с собой позвать);

— крысой или мышью (говорят, будто домовой гуляет в таком виде по двору; даже правило было: «крыса околела — не выноси — плохо со скотом будет»);

— лягушкой или жабой (если вылезет где у дома — не тронь, это хозяин, убьешь — скота не будет);

Это не все, а лишь некоторые из тех обличий, которые принимает домовой хозяин. Но в этом перечне остался неупомянутым его наиболее древний и наиболее известный, если не считать человеческого, облик — змеиный.

В самом деле, большинству славян домовой в таком виде гораздо привычней. Серб, болгарин, чех или поляк, завидев на родной деревенской улице или у себя на дворе змею, судя по всему, не сомневался, что повстречал домового пената. Встреча с ним, с одной стороны, радовала, так как указывала на то, что дом находится под покровительством домового,[27] с другой стороны, это был несомненно дурной знак.

[27] В чешской рукописи 1613 г. приводится весьма изысканное величание домовой (дворовой) змеи, однозначно определяющее ее статус: «...иные, замечая его [гада] во дворе, а особенно когда он большой, называют его счастливым старым хозяином» (Zibrt 1889: 203; цит. по: СД, II, 339). Вообще в большинстве названий, принятых у славян для домовой змеи, либо указывается ее соотнесенность с домом (постоянный эпитет *домовый*): domowy przyjaciel (в.-пол.), domový had (словац.), кућна змија (серб.) и т. д., либо подчеркивается роль хозяина и покровителя дома: gospodarz-wąż (пол.), domowy ochrańca (словац.), стопанка (болг.) и др.

За то, что домовая змея и домовой — «один черт», говорит традиционная трактовка ее происхождения и основные функциональные характеристики. Фактически у всех славян домовая змея связывается или с душой одного из предков, живших в доме, или с душой (тенью, вторым «я») одного из здравствующих членов семьи. Отсюда следует категоричный запрет убивать домовую змею из страха порушить хозяйство или вызвать смерть кого-то из домочадцев. Известно немало историй, свидетельствующих о живучести этих представлений. Сербы, например, рассказывают, как одна женщина обнаружила в постельке спящего сына большую змею, вынесла ее и убила, а когда вернулась, нашла своего дитятю мертвым — убитая змея была домовой змеей, его тенью...
(Ђорђевић 1958: II, 128).

Почему дурной — в пояснениях, думаю, уже нет нужды: как и полагается домовому, в нормальной ситуации домовая змея невидима. Если же она попалась на глаза — это верное предвестье смерти хозяина или хозяйки дома, или кого-нибудь из домашних (по некоторым представлениям, она вообще показывается только тому, кого вскоре ждет смерть). Вот поэтому и было принято в определенные дни (например, на Благовещение) предпринимать особые меры, чтобы не видеть домовую змею: так, в Западной Болгарии с этой целью мазали коровьим навозом двери... снаружи, разумеется (Гура 1997: 310).

У восточных славян привычка «видеть» в домовом «человека» сильно потеснила древние представления о нем как о домовой змее. И все же кое-что из этих представлений сохранилось. Например, не забылся запрет убивать змею, поселившуюся на территории дома: «Кажуть, шо як ты яго зáбьеш, то тобе будить ў доме не шыховáты, нешчастлыво ў доме буде, неспокойно... У нас одын забыў, то уся скотына вúздыхла» (Виноградова 2000: 275, Полесье). В большинстве случаев такое соседство расценивалось как идущее хозяйству на пользу, а змея не только считалась хранителем дома от всякого зла, но думали также, что она приносит достаток и счастье. В Полесье такую змею прямо называли домовиком и говорили: «То наш хозяин, приношчик, он таку силу мае, як жыве в доме, шо все прибывае» (Гура 1997: 307, Овруч.). И у северных русских для домовой змеи сохранилось не менее «прозрачное» название — *жировая змея*. Не правда ли, сразу вспоминается одно из прозвищ домового — *доможирко* (от *жира* — хозяйство).

По бытовавшим в Псковской области представлениям обе ипостаси домового могут уживаться отличнейшим образом: например, ночью домовой расхаживает в человеческом обличье, а днем принимает вид змеи. Более того, рассказывают, будто у этой змеи только тело змеиное, а голова совсем, как у петуха, даже гребешок есть (там же, 308).

Богатство, которое дает домовая змея, прежде всего связывается в славянских представлениях со скотом, и особенно с коровами и коровьим молоком. Почти повсеместно считается, что змея, живущая в хлеву, коровам полезна — они тогда хорошо ведутся, но если убить эту змею, они или станут доиться кровью, или вовсе околеют. А в Польше, вдобавок, в такой змее видят эффективное средство защиты от ведьм, отбирающих у коров молоко (там же: 314, 316). Раз уж зашел разговор, заметим, что змея не просто «приглядывает» за коровами, она их доит... Но обычно в этом не видят ничего общего с отниманием молока, даже наоборот: «если уж сосет корову, она дает много молока» (там же: 314, о.-слав.). Большинству хозяек и в голову не придет мешать змеиной «дойке» — лучше переждать: «Ну, пришла я, значит, доить

Если произошло нечаянное убийство домовой змеи, то ее захоронение в большей степени напоминало захоронение человека, как это было принято в древности (завертывание «тела» в длинное белое полотно, зарывание под терновником, установление на могиле креста, зажигание свеч и т. д.) (Гура 1997: 311, серб.).

корову. Утром рано я. Чёрная корова такая у мяня. Ну, и смотрю: серая клубочком свярнувши как раз от около здесь, вдоль хрябта — и ляжит эта серая гадюга. Ничего я доить не стала. Просто и не то, что побоялась. Но как-то я слышала такое, что во дворе змею бить нельзя. Да. Ну я, значит, ушла домой. Минут двадцать погодила — и всё... Она [гадюка] уже, знать, ушла. И я корову спокойно подоила, и всё» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 278, №282).

Рассказывают, будто коровы так сильно привыкают к своему ползучему «дояру», что иногда даже продавать их приходится в паре: коровку продают и ужа к ней впридачу (чтоб молоко из-за разлуки не пропало). Если же змею убить, корова перестает доиться, сохнет от тоски и дохнет (Кольберг 1961–1985: XVII, 146; цит. по: Гура 1997: 314).

Есть немало историй, в которых рассказывается, как коровы сами ходят «на дойку» к своему змею, но речь в них идет уже не о домовой змее. Судите сами. «В Ёлкини была корова, лысая такая. Сама белая, а голова-то тёмная и лысенька. Как хозяйка пойдёт доить корову — молока не отдаёт! Не отдаёт корова. Оны стали за ей слядить. А раньши такии вот каменья убирали — суборы были большущии... Корова, значит, подходит к етому субору и мычит. Вылязаит змея, корову выдаит — и пошла! Раз, два, три... А потом пришлось корову убить!.. Вылязаит гадюга натуральна! Вот надуськда! В обед, обычно в обед...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 279, №284).

Или был еще такой случай: «Вот, значить, пастуха сильно ругали. Очень большой скандал был даже в дяревне: корова приходила выдоеная ⟨...⟩ „Не знаю, что с вашей коровой, — пастух говорить, — как я пригоняюсь, подходить там обед или что, корова ваша уходить со стада. А потом возвращаетца к стаду". Ну, стали слядить. Значить, сам хозяин. Погналися в поле и стали слядить за коровой ⟨...⟩ корова подходит ко пню. Большущий пень в лясу! К етому пню подходить, проревёть три раза или там сколько... Проревёть, значить, и оттуда выползаить здоровая большущая гадюга. Не гадюга, а даже не знаю как! Страшная! И начинаеть сосать ету корову. Корову ету пососеть, значить — как подоить ей. И опять уползаить в свою нору! ⟨...⟩ Гадюга страшная было, ужас!.. И вот яе и застрелили с ружья, ету гадюгу. И по пожни чохом молоко с етой гадюги!» (там же: 279–280, №285, Новг.).

Когда «своя» домовая змея выдаивает корову — это одно, своя-то худого не сделает, от нее молоко, считается, только прибывает. Но когда дойкой занимается какая-то лесная «гадюга», чужая, со стороны — это уже совсем другое дело.

У горящих в Иванову ночь костров поются разные песни, но нет-нет, а обязательно прозвучит нечто вроде:

Відьма корови доіла...
На Івана темної ночі,
Відьмам повиколюєм очі,
Шоб по ночам не ходили,
І наших коров не доїли...
(Зеленин 1991: 398, укр.)

Представление о том, что ведьма отнимает у коров молоко, хорошо знакомо всем европейцам. В арсенале ведьмовских средств имеется по меньшей мере два «змеиных» способа (оба издавна считались порчей): ведьма сама, обернувшись змеей, может подоить чужих коров, а может и наслать на скотину подвластных ей змей — они для нее подоят... Удивительные о том рассказывают истории. Вот, про змею-молочницу, например, вам что-нибудь известно? Нет? Ну так слушайте: «Мама говорила, гостила у подружки. Прихожу спать в клетушку... В клетушке много горшков наставлено, больших, глиняных, и в кажный горшочек влито по две ложки молока и не покрыто. А мама говорила, на ночь нельзя открытую еду оставлять, черти едят, домовые обедают. Плохие они, после их нельзя есть, заболеешь. Ну вот, а мать подружки была колдунья. Мама моя етого не знала. Но она удивилась, она взяла соломки с крыши натаскала и покрыла все горшочки и говорит: „Господи, благослови" и легла спать. Часов в двенадцать как зашумело под окном, затемнело, и как что вылилось, опять просвистело как змея, котора молоко у чужих коров доит и колдунам приносит. Она у них на службе. После етого мама встала, а пол весь молоком залит. Змея молоко ей принесла, а горшки-то закрыты, вот она и пролила все. Мама-то моя как испугалась, схватила всю одежду и убежала, пять километров ночью. И не ходила туда больше никогда» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 83–84, №319, Новг.). А вот совсем недавнее, свежее свидетельство: «А!.. Так это я слыхивала тоже. Там у одной молока много, у женщины. Да ей змея носит, говорят, это молоко... И выставлено... вона сколько кринок-то стоит на крыльце! Вот она и наливаст молоко...» (Псков., запись лета 2001 г., из архива автора).

Про любовь змей к молоку можно писать трактаты. Они не прочь и корову подоить, и из кринки попить, и кашки молочной поесть: специально для них оставят — благодарствуйте, не оставят — так могут и в сотрапезники набиться... Много ходит историй про домовых змей, пьющих молоко или едящих молочную кашу из одной миски с маленькими детьми. Жадничать в таком случае не рекомендуется, потому что неприятностей потом, сами понимаете, не оберешься. Бывают среди змей и такие любительницы молока, что залезают к младенцам в колыбель и слизывают у них прямо с губ капли материнского молока (Ђорђевић 1958: II, 124, далм.).

За молочко или молочную кашу некоторые змеи готовы платить... Одна хозяйка носила, говорят, змéю в полночь каши, а поутру находила в пустой миске монеты (Гура 1997: 313–314, луж.). Как тут ни вспомнить про неразменный рубль домового: и время (полночь) и место (кашу-то нужно или на чердак носить, или на печь ставить) — все одно к одному сходится.

Не часто, но встречается в рассказах упоминание о странном змее, который носит своему хозяину деньги, его так и называют в некоторых местах *змея-деньгоносица*, *змей-носак* (рус.), *коловерша* (южн. рус.) *спориш* (укр.) и др. В них иногда видят помощников домового (Зеленин 1991: 414), но чаще опасную нечистую силу

(Виноградова 2000: 40). Такого змея-помощника будто бы можно было «высидеть» из петушиного яйца... Главное, чтобы петух был черный или чтобы пяти-семи лет: «Никак более трех лет петуха держать нельзя. У нас задержался на дворе и – чтобы вы думали? – яйцо снес! Бабка Аксинья рассказывала: „Такое длинное, извитое... Бросила я его в печной огонь – не надо оно, не надо..." Одна баба в деревне пожадничала. Курицы у ней не садились, она возьми да и выпари петушье яйцо под мышкой у себя. Змея выпарила! Он все летал и летал к ней, „работу" просил, а она наговоров не знала, не могла дать ему дела. Стала сохнуть, щепка щепкой сделалась, да так и померла...» (Еремеев 1990: 277, Спб.).



Рис. 6. Золотоносный змий.

В общем, польза с такого «помощника», прямо скажем, сомнительная, а опасность явная.[28] В некоторых быличках без обиняков говорится о получении змея-носака от черта «напрокат»: «Если мужик хочет разбогатеть, он должен добыть яйцо от петуха и носить его шесть недель слева, под мышкой, после чего из яйца вылупится змей. Тут на ночь надо лечь в нежилой избе, где нет икон, например, в бане. Во сне черт уступает змея на определенный срок, на известных условиях ⟨...⟩ Когда приходит срок, можно еще спастись, перерезав „змию" жилу под шеей. И мужик, и змий, зная это, борются изо

[28] У поляков, к примеру, в роли змея-носака выступал так называемый klobuk — душа мертворожденного ребенка. Клобук считается домовым, который насильно призван служить хозяину: «Чтобы заполучить духа-обогатителя, люди специально погребали под своим домом выкидыш или мертворожденного ребенка, веря, что через какое-то время его душа превратится в „домовика". ⟨...⟩ Когда его дух через 7 дней (либо 7 месяцев, 7 лет) появится и будет просить окрестить его, то надо сказать: «Будешь клобуком!» — тогда душа ребенка в виде клобука начнет служить хозяину» (Виноградова 2000: 40–41).

всех сил, но редко человек одолевает змея. Чаще он погибает, пронзенный насквозь адским пламенем...» (Власова 1995: 158).

Змей-носак уже мало чем напоминает домовую змею, приносящую в дом достаток и счастье, защищающую его обитателей от всяческих бед. Считается, что «хозяин» в змеиной шкуре не может причинить человеку зло, даже если тот несет ему смерть. В одном доме крестьянин убил домовика — ужа с красными «заушницами». Так убитый уж ему приснился и с укором сказал: «шо я табе зробиў, я тобе кроме хорошаго никого зла не зробиў...» (Виноградова 2000: 387, Полесье).

Глава 2

КИКИМОРА

дух повышенной хлопотливости; про артистизм и дурной характер; каковы шансы на укрощение строптивой; псевдокикимора, и как с такой бороться

— Да видел ли ты кикимору?
-- Нет, грех сказать, не видал...
— Кто ж ее видел?
— Да бог весть! ⟨...⟩

О. М. Сомов. Рассказ русского крестьянина на большой дороге

В самом деле, не любит кикимора показываться, в невидимках ей, видно, сподручнее. По редким свидетельствам, кикимора — вроде как старушка, да такая она вся сухонькая, маленькая, что и на улицу-то глаз не кажет из опасения, как бы ветром не унесло (Власова 1995: 170, Волог.). Бывает, явится обыкновенной бабой (в домотканом сарафане и повойничек на голове), или девицей с длинной косой (это на ощупь, потому как невидима), а то девчонкой-малолеткой привидится. Те, кому все же довелось на кикимору поглядеть, отмечают ее уродливость, даже безобразность — скрюченная вся какая-то.[1] Да и неряшлива она больно: все в рвань да лохмотья одета, и волосы, говорят, не прибраны...

Вредная, странная... Толком и не понять, откуда она берется и куда исчезает. Не вызывает сомнений одно: «корни» у нее древние, а все остальное[2]... Поди,

[1]Есть мнение, что корень *-кик-*, входящий в кикиморино название, следует рассматривать относительно балто-славянского корня -kik-/-kyk-/-kuk-, который несет общее значение скрюченности, горбатости. Подобный дефект, равно как хромота (или беспятость, беспалость), слепота (или одно-, косоглазость) и проч., часто является знаком демонической природы персонажа. Интересно, что среди балтийских и славянских демонов немало таких, в чьих имечках легко просматривается эта основа: *kaukas* — домовой, гном (лит.); *kicimora* — привидение (пол.); *хука* — леший, живущий в бане (рус.) и т. д. (СД, II, 494).

[2]Многими исследователями отмечается многоплановость и размытость образа кикиморы. В


Рис. 7. Кикимора.

к примеру, разберись, кто она: то ли неудавшийся вариант *домахи*, жены домового, то ли сам домовой, пребывающий в непрерывном раздражении, то ли антипод домового...

Прокудливой кикиморе всегда есть, чем заняться: она путает и рвет оставленную без креста пряжу, стучит печной *вьюшкой**, швыряется луковицами из подполья (в сущности, мечет все, что под руку попадется — может и камнями с печи). Воет, пищит, свистит и кричит на разные голоса по ночам, мешая спать; пакостит по мелочам, раскидывает с грохотом лавки, бьет горшки и посуду; мучает щекоткой малышей и стращает подростков; хищнически, «до мяса», стрижет овец и ощипывает кур, а заодно, если под руку подвернется, дерет и из хозяйской бороды (или с макушки) волосы. Все перечисленное — далеко не полный список «подвигов» этой деятельной натуры. Но и из него становится очевидной высокая точность народной оценки: если заведется в доме кикимора, то житья в нем не будет — не мытьем, так катаньем, а выживет, сгонит со двора. В этом она очень похожа на вконец зарвавшегося своего или на «наброжего», чужого домового.

Между прочим, традиционный взгляд на кикимору во многом дублирует известные представления о домовом.

Во-первых, кикимора, как и домовой, есть «в каждой избе»: «Под полом шишимора живет. В каждом доме. Ее и не увидишь, невидимая» (Ефимова 1997: 118); ср.: «У кожному доми е свуй домовык...», «он доужон жыть в каждой хате...»,

разных местах этим названием могут именоваться самые разные (в основном, женские) персонажи мифологических рассказов: жена домового (Олонец., Волог.), жена лешего (Вят.), русалка (Сиб.), полудница (Волог.), оборотень (Новг., Арх.) (СД, II, 494).

«у кожной хати домовик йе!» (Виноградова 2000: 276, Полесье). «Домовые в домах живут. И чучуморы» (Ефимова 1997: 118). Что домовой, что кикимора – оба сильно привязаны к дому, только у одного это проявление его сути как родового духа, первопредка, а другая — домоседка, что называется, по натуре, и в ней отчетливо выражено женское начало (так и хочется упомянуть ее как «бабку запечельную»). Но, если домовой в доме почти всегда воспринимается как добрый и счастливый знак, то кикимора — с точностью до наоборот — почти всегда знак того, что в доме неблагополучно, «нечисто».

Во-вторых, излюбленные местечки кикиморы в доме совпадают с местами, дорогими сердцу домового — прежде всего, с печью и подпольем: она прядет, сидя на голбце (Верхн. Поволжье), живет под полом или на чердаке (рус., белор.), с печи кидается подушками, шубами и даже камнями, а из подполья — луковицами (с.-рус.); появляется из голбца и садится на пороге возле двери (Волог.) и т. д.; но может облюбовать двор, хлев, курятник или пустую хоромину (СД, II, 495).

В-третьих, кикимора, как правило, принимается за проказы ночью, а значит, и в этом они с домовым сходятся. Но если домовой в доме «живет» постоянно, то про непоседливую кикимору говорят разное: одни считают, что куролесит она только во время Святок (до Святок ее место — на улице, а потом и вовсе уходит неизвестно куда (СД, II, 495 Волог.), другие вообще дают ей на всё про всё одну только ночь перед Рождеством, ну, а по большей части, народ подозревал, что для кикиморы все равно, когда резвиться — была бы охота. В нормальной ситуации и домовой, и кикимора человеку невидимы. Но, если у домового нет привычки привлекать к себе внимание без особых на то причин, то кикимора обожает всяческие шумовые эффекты: топот, свист и стук, звук бьющейся посуды или ломающейся утвари, крики, плачь и т. д.[3]

Стуком, например, она даже на вопросы отвечает. Одни вот рассказывали, что у них в доме кикимора творила — цирк да и только! прямо, хоть фокусы показывай: «Как-то [она] узнавала, сколько чужих, сколько наших. Вот спросят: „Сколько чужестранных, из чужой деревни-то, здесь?“ — Стукнет — точно! — „А сколько наших?“ — То же са́мо. А дядя Вася, папкин-то свояк, чудной был: „Но, ты бы хоть взыграла «краковяк» или «коробочку» ⟨...⟩ «Располным-полна коробочка» выигрывала, стуком на половицах-то. Играт и все...“» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 92, № 135).

Воочию кикимора объявляется лишь в особых случаях, и в подавляющем большинстве случаев это расценивается как дурной знак: «...она появляется перед смер-

[3] На привычные кикиморе способы самовыражения указывают и распространенные варианты ее прозвищ. Интересно, что основу первой составляющей названия *кикимора* *-кик-* нередко связывают с глаголом *kykati* , т. е. кричать, издавать резкие звуки; другой известный вариант — *шишимора* возводят к глаголам *шишить*, *шишать*, т. е. копошиться, шевелиться, делать украдкой (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 133).

тью кого-либо из членов семьи, предвещая беду, выходит из подполья...» (СД, II, 495). Совсем как вещун-домовой...

В-четвертых, у кикиморы с домовым общие поведенческие стереотипы.

Например, редко, но встречаются идиллические упоминания того, что кикимора ведет себя совсем как добропорядочный домовой (правда, в женском варианте): помогает хозяйке печь хлебы, качает детей, моет кринки, заботится о скотине и т. д. (с.-рус.).[4] Справедливости ради, заметим, что для кикиморы в традиционном понимании подобное поведение, мягко говоря, не совсем характерно. Обычный ее стиль — это стиль обозленного домового. И здесь кикимора действует в рамках «классики» образа.

Вот, у одних, к примеру, домовой как развлекался — «кирпичи летят с печки-то, ночью. А что ты! Ребятишек еще стукнет?! Кто кирпичи эти ломат? (...) Дак ежели бы в окошко, так сказали бы: „кто там?“ А то ить тут, с печки, сверху. Дуют кирпичи и ваших нет...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 59, №81). Как после оказалось, домовой тот кидался вовсе не со зла — он от нечего делать, с безделья, значит. Цыган в тех местах жеребцов холостил, так он-то им и присоветовал купить карт колоду и в подполье положить. А после сказал: «Заселяйтесь, живите. Ему есть, чем заняться будет... Он... в карты играть будет». И точно, зажили с тех пор люди спокойно.

Так, по примеру домового, которому «шлея попала под... хвост», кикимора занимается тем, что беспокоит и пугает жильцов: «Вот, гыт, лягем спать вечером — то табуретки запляшат, прямо, гыт, запляшат, то столы запляшат, значит. Вот така штука творилась!» (там же: 1987: 90–91, №133, Сиб.); или вот еще: «Только мы это спать легли, забегали по постели ноги, собачьи, кошачьи. Раз, другой... Мы испугались, под одеялы залезли. Вдруг грохот получился — треск, гром. Полетели стекла впереде, заорали кошки — и все тихо стало. Зажгли коптилку, давай искать: ни кошек, ни собак, и стекла все целы» (там же: 88, №128, Сиб.). В самом деле, обычно все, что ночью «чудится» и «блазнит», наутро или при зажженном свете полностью пропадает — как будто ничего и не было. Было раз, попросились в одной деревне солдатики на постой. Дом пустой стоит, а хозяин предупреждает, что ночевать-то там никак нельзя — чудится. А те смеются — их целый взвод — чего бояться, переночуем... Ну, ладно, коли так. Хозяин им открыл. «Мы зашли в его, в этот дом. Но че... *посадом** на полу разлеглись спать и все, значит. Вот теперь, Нил говорит, я ишо не успел уснуть, ребята захрапели сразу... Слышу (а темно, свету-то нету), слышу, говорит, музыка заиграла, пляска поднялась!.. Прямо, гово-

[1] Кикимора с домовым тут фактически не различаются; она воспринимается как его женский вариант или как его жена, домаха. Большинство быличек про добрую кикимору бытовало на Русском Севере (Волог., Олонец.), меньше — в Сибири. Поэтому, например, не вызывает удивления существовавший там запрет вносить в дом чертополох, чтобы не выжить домового и кикимору (СД, II, 495, Волог.).

рит, чечетку выбивают, пляшут... Но, все насторожились, значит, слушам: играт музыка, да прямо так громко, и пляска така, говорит, идет! Мы спички... Чиркнул спичку — нету никого, все спокойно. Зажгли светилку [лампу дал хозяин: на случай, говорит, зажгете...] Вот я лег. Потом, говорит, расстроился — уснуть-то не можем. Вот, пока эта светилка горит — ниче, все спокойно, никого нет. Как, говорит, только угасим светилку, лягем — опеть така штука! И вот до утра даже никто потом не могли глаз с глазом... Никак, говорит, не дали нам...» (там же: 87, 127, Сиб.).

Вошедшая в раж кикимора ночным временем уже не ограничивается и свободно проявляет себя, когда ей заблагорассудится. Иной раз так чудит, что хоть плачь, хоть смейся... В одном доме, например, «как ни сядут за стол, сейчас же кто-то и скажет: „убирайся-ка ты из-за стола-то!", а не послушают — начнет швырять с печи шубами или с полатей подушками...» (Максимов 1994; цит. по: Зеленин 1995: 51, Вят.). А раз у сельского священника такое приключилось, что батюшка и вспомнить не мог без содрогания: «В один из ноябрьских дней, когда священник попросил служанку подбросить в топившуюся печь дров, дым внезапно повалил в комнату... Священник поднялся на чердак и увидел, что дымовое отверстие... заткнуто тряпками. Вечером кто-то расстелил на лестнице пустые мешки и разбросал по комнате обувь... На следующий день из пустого чулана кто-то бросил в комнату большой камень. Служанка пошла разжигать огонь в печи и прибежала к хозяину с криком: „Батюшка, в печи уже горит огонь!" Действительно, в печи полное пламя, там горели шерстяные платки и мотки ниток. Возвратясь из кухни в зал, несчастный священник не поверил своим глазам — на полу были разбросаны платки, гребенки, разные вещи, стояли бывшие до этого на столах лампы и музыкальный ящик, и напротив, цветы с окон поставлены. Испуганный священник бросился на улицу звать соседей, и вскоре все от мала до велика наполнили дом. В присутствии многочисленных свидетелей в печи появлялась и загоралась одежда, которую вытаскивали и заливали водой, но которая вновь появлялась в печи... ручки дверей кто-то обматывал тряпками, а сушившееся в кухне белье очутилось вместе с меховым пальто в тазу с водой. Странные происшествия повергли присутствующих в уныние...» (Домовые 1993: 51–53, Влад.).

Как и домовой, кикимора давит того, кто лег спать в неподходящем, по ее мнению, месте. Одна женщина рассказывала, как в детстве ее кикимора давила. Жила она «в детях» у родственников (т.е. приемыш и, значит, в доме не «своя»), стелили ей явно не на спальном месте — между кроватью взрослых и бочкой с водой: «Пробудилась я. Пробудилась, гляжу: возле бочки стоит девочка...

— Тут кто, — говорит, — спит, девочка или мальчик?

Я молчу лежу. Она второй раз:

— Тут кто, — говорит, — спит, девочка или мальчик?

Я молчу. Третий раз:

— Тут кто лежит, девочка или мальчик? Счас задавлю! — И раз на меня! Я — ни



Рис. 8. Полтергейст (=кикимора)
у священника в Сидвиле (Франция).

вздохнуть, ни охнуть. Ни туда ни сюда. Не могу, никак не могу...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 94, № 137).

Судя по всему, дурную привычку давить спящих домовой перенял как раз от кикиморы. Самое время вспомнить, что другая составляющая названия *кикимора* — основа *-mor-/-mar-/-mr-* — хорошо знакома всем европейцам и имеет то же значение, например: фр. *cauchemare* или англ. *nightmare* (кошмар, ночное видение). И славяне знают *мару* или *мору* (серб. *мора*, пол. *mora*, *mara*, чеш. *müra*), «которая признается за демонического духа, давящего и мучающего по ночам сонных людей» (Афанасьев 1994: II, 101). Единственное, пожалуй, что отличает давящую кикимору от давящего домового, это то, что она давит, что называется, из любви к искусству, и пытаться выведать у нее «к добру» или «к худу» она давит — напрасный труд.

Кикимора не жалует не только своих, но и всех занедших или заезжих. Последних даже в большей степени, что с позиции нелюбви домового к чужим очень даже понятно. Вот случились как-то у одних гости. Так она углями, что для самовара были оставлены, «да средь полу-то как в народ резнет! Которых позвало сразу домой уходить...» А приехавшую погостить тещу та же кикимора – раз! — и ботинками по голове... (Как справедливо заметила рассказчица: «Не знаю, пошто») (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 93, № 135).

Забавно и то, что, будучи сама неряшливой, кикимора частенько выступает ярой поборницей порядка. За малейшее его нарушение она «наказывает»[5] домочадцев на манер хозяйственного домового: все, что брошено, не прибрано или оставлено без пригляду и без молитвы, — она всем попользуется, всего попробует, всюду сунет свой нос или запустит свою мохнатую лапку.

Примером может служить такая история: «Вот сейчас там (в этом доме. — *А. Н.*) клуб в Верхних Ключах... Значит жил там... Кузьма Карпыч Григорьев (...) Вот один раз, говорит, такой был случай... Значит, таз с водой — че-то замывали вечером и оставили этот таз, не вылашшили... И вот, только легли, еще не успели уснуть, вдруг в этим тазу как зашлёпатся, зашлёпатся! — как кто купатся в ём. Ну, соскочили... Кузьма, гыт, соскочил... орет: „Чё бросили там? Кто где купатся? В бочке кто-то утонул, ли че ли?!" Ну... зажгли огонь. И характерно, говорит: кругом таза мокрота, говорит, просто наплескано. И потом разглядели, значит: прямо копытцы маленьки (мокро же, он был мокрый) — и пошел так и за печку ушел...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 90–91, № 133).

Совсем как домовой-дворовой, которому скотина пришлась «не ко двору», кикимора с удовольствием гоняет и мучает лошадь: «Повадилась кикимора у мужика ездить по ночам на кобыле и бывало загоняет ее до того, что оставит в яслях всю в мыле. Изловчился хозяин устеречь ее рано утром на лошади. Сидит небольшая бабенка, в *шамшуре** и ездит вокруг яслей. [Хозяин] ее по голове-то плетью... Соскочила и кричит во все горло: „Не ушиб, не ушиб, только шамшурку сшиб!"» (Максимов 1994: 57, Волог.).

Не без хозяйского размаха кикимора занимается и стрижкой овец. Как считали в Новгородской губернии, происходит это как раз на Святках, ну, вроде как «метит» она скот (как уже говорилось, бывает, что и хозяев пометит).[6]

[5] Подобные действия кикиморы на самом деле не стоит считать наказанием, потому что они совершаются не с воспитательной целью или «в отместку». В сущности, кикимора поступает в полном соответствии с обычным поведением представителей «иного» мира: все, что лежит не на соответствующем месте и не маркировано принятым способом, воспринимается ими, как знак того, что объект предназначается им, отдается в их пользование.

[6] У северных русских считается, что из всего состриженного она готовит подстилку для скота (СД, II, 495, Волог., Олонец.).

Тем самым, по мнению некоторых ученых, кикимора покровительствует овцеводству, прядению и собственно «бабьему хозяйству» (см. об этом: Власова 1995: 171). Она и впрямь будто бы гладит иногда овечек, ухаживает за ними, но чаще — стрижет, жестоко стрижет, «догола»... Так что, не напрасно в некоторых областях ее прозвали *стрижсем* (ср.: домовой *стрига*): «...в хлевах живет и у нелюбимых овец выстригает всю шерсть догола. Этот злодей в виде птицы сыча с крыльями из мягкой кожи, не покрытой перьями» (Максимов 1994: 57, Вят.).[7] Стрижет, заметьте, у нелюбимых овец... То есть, у тех, кто не пришелся ко двору или, как это принято говорить в случае с домовым, кто не «по шерсти»...

Для чего бы это кикиморе шерсть понадобилась?.. Интересный вопрос. Дело в том, что «днем она сидит за печкой, а по ночам выходит проказить с веретеном, прялкой и начатой пряжей. Она берет то и другое и садится прясть, чаще всего на *голубце**. Ночью можно слышать, как свистит... веретено и как свертывается с прялки куделя...» (Балов 1901: 86, Яросл.). Прядение, если угодно, — любимое для кикиморы дело и основная забота. Правда, «стиль» у нее несколько необычный: прядет она, постоянно подпрыгивая (Яросл.), и нитку сучит не слева направо, а наоборот (Костр.). Такое прядение «наобоко» должно иметь особое магическое значение, поскольку «наотмашь», «от себя», наоборот, прялись обычно специальные нити-обереги, игравшие особую роль в бытовой обрядности (Власова 1995: 172; Криничная 2000: 90, 91, 94).[8]

Есть представление, будто бы кикимора появляется и принимается за свои проделки точнехонько на Святки, т. е. в особое, переходное, поворотное время. В период Святок оба мира (и мир живых и мир «иной») открыты для взаимного контакта, в это время определяется и формируется будущее, «ибо в „поворотные“, „переходные“ моменты (полночь, Рождество, Святки) мир может быть правильно (или неправильно) „свит, сплетен, сшит или спряден, соткан“» (Власова 1995: 172). И кикимо-

---

[7] При знакомстве с описанием *стрижса*, хоть и упоминается внешнее сходство с сычом, но возникают ассоциации с летучей мышью (очень уж яркая деталь — голые кожистые крылья), существом тоже нечистым... Интересно, что на Русском Севере летучую мышь называют кикиморой (Гура 1997: 605, Арх.).

[8] На нити, созданные в определенный момент времени (Чистый Четверг, канун свадьбы, «до свету») и при соблюдении определенных условий (левой рукой, вдове нельзя, молча или со словом), смотрели, как на изменяющие судьбу, т. е. влияющие на жизнь, здоровье и благосостояние (причем, как положительно, так и отрицательно). Известен, например, такой заговор: «Как это веретено крутится, пусть скот и овцы выкручиваются из дома моего господина, чтобы стал пустой» (Власова 1995: 172). Вряд ли кикимора, сидя за пряжей и подпрыгивая, еще и бормотала при этом заговоры: судя по всему, никакие слова ей и не нужны — уже само ее появление и прядение (или его звук) воспринимались как знаки судьбы. Помнится, что и домовой мог прясть, и домовиха. Но, домовиха прядет однозначно «к прибытку», а кикимора столь же однозначно — «к убытку», ко всякого рода неприятностям: «видеть ее нежелательно», «показывается она к несчастью», «перед бедой, говорят, это», «если кикимора прядет на передней лавке, то это к смерти кого-либо из домочадцев» и т. п. (Максимов 1994: 56; Власова 1995: 172; Ефимова 1997: 119).

ра, прядущая в момент, когда сплетаются нити судьбы, творится полотно жизни, приобретает черты древней Пряхи.

Образ необычной пряхи вошел в пословицы: «Спи, девушка: кикимора за тебя спрядет, а мать выткет»; ленивой девице, которой это говорилось, было при всем том хорошо известно, что «от кикиморы рубахи не дождешься» (Даль 1881: II, 107). Калужанки, например, еще и верную примету имели: «как погремит [кикимора] самопрялкой, так и будешь одну куделю прясть целый день; пошьет у кого — тот одну рубашку в неделю не кончит: все будет перепарывать» (Максимов 1994: 55). Важный штрих ко всему сказанному: «не возьмет чужой прялки кикимора, не расклокочет на ней кудели, не спутает ниток у пряхи, и не оборвет начатого плетения у кружевниц, если они с молитвой положили на место и прялки с веретенами, и кутузы с коклюхами» (там же: 58). Добавим, что вообще оставлять недоконченную работу плохо: «Вот слыхала-то, что не допряла, кикимора придет и допрядет у тебя хлопок-то. Куделька останется у пряхи, она и спрядет. Как было, так и будет, но все равно, плохо оставлять» (Ефимова 1997: 119), да и ленивых баб, как известно, кикимора не любит (Максимов 1994: 58).

То, что кикимора допрядает за хозяйкой оставленную куделю, — вовсе не помощь, наоборот. Она не только вмешивается в процесс творения женщиной (хозяйкой дома) мира и жизни данного рода, но причиняет еще больший вред, так как мусолит (слюнявит) нити, рвет и спутывает куделю. Все это негативно отражается как на судьбе самой хозяйки, так и на судьбе ее рода (Ефимова 1997: 119).

Пожалуй, как раз на такую роль кикиморы и указывают дошедшие до наших дней странные воспоминания о том, как в прежние времена старухи рядились на Святки «кикиморами»: «Одевались в шаболки (т. е. в рваную одежду) и с длинной заостренной палкой садились на полати, свесив ноги с бруса, и в такой позе пряли. Прялку... они ставили меж ног... Девушки смеялись над шишиморой, хватали ее за ноги, а она била их палкой» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 126).

Существует кое-что еще, что связывает кикимору с женским началом, предками и нечистотой «иного» мира, — кикиморы на Святках рожают... Происходит это, как передают в рассказах, в самое ненастье, причем роженицы «страшно стонут и воют. Новорожденные же их, тотчас по появлении на свет, вылетают из избы в трубу на улицу, где и живут до Крещения» (Максимов 1986: 54, Волог.).

Но и это еще не все.

«Если курица перестает нестись или заболевает, то виновником этого считают дворового или кикимору» (Балов 1901: 86, Яросл.). Вопреки расхожему мнению, что на дворе домовому только куры и не подчинены, у них-де свой бог (Максимов 1994: 41), встречаются рассказы, которые утверждают обратное. «Была бабушка. Она все узнавала и лечила. Я к ей ходила ⟨...⟩ раз пришла, у ей сидят две женщины. Одна женщина говорить:

— Бабушка, поладь мне курочкам. У меня курицы дома не живуть. Как только развидняется, они становятся на насесте на ноги и кудакають, кудакають и кудакають! Вот совсем развидится, они улезуть к соседу и целый день домой не заходють — у соседа. А как вечер, они йдуть домой да вот головы вытягивають, как чего-то видють, как вроде кого-то и боятся. Идуть и кудакають. Вот прямо не с охотой йдуть домой. И взлетають на насест и стоять на ногах, кудакають. Пока уж там ночью они присядуть.

А она, бабушка, начерпла кружку воды, глянула да говорить:

— Вы недавно в селе-то отделилися?

— Да, мы недавно отделилися.

— А почему вы хозяина-то не пригласили с собою. А это у вас он ходить, стонае к вам.

— Бабушка, правда, мы слышим, у нас на дворе кто-то стонае.

— Это хозяин. Он ходить. Он на вас обижается. Вы его позовите. И курочки будут там жить...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 77, № 105). История понятная, и причина неполадок уважительная: домовой мстит за невнимание к своей персоне. А вот с кикиморой все не так просто. Как ни крути, но выходит, что кур она мучает ни за что, ни про что. Рассказывают страшные вещи — будто бы кикимора выщипывает у бедняжек все перья подчистую: « ...начнет с головы и до самого хвоста все выдерет. А остальные курицы стонут...» (Ефимова 1997: 120), а то, бывает, что напустит «вертуна»: курица начинает кружиться как угорелая и падает замертво (Максимов 1994: 58). В общем, кикимора — настоящий куриный бич.[9]

Оберегом от кикиморы в случаях куриного мора служил «куриный бог» — камешек с естественным отверстием, горлышко или ручка от разбитого кувшина, палочка с дырочкой от выпавшего сучка. «Куриного бога» вешали в курятнике, прямо на насест или над ним, и считалось, что с того момента с кикиморой покончено: «А меня научили. Говорят, идешь и найдешь палочку с дырой нечаянно, сучок где выпал. Со святой молитвой вешаешь. У меня не бывало больше [куры не болели]. Я два раза случайно находила» (Ефимова 1997: 120). Не менее сильным защитным средством считался старый лапоть, тоже иногда носивший название «курячьего бога», и который был кикиморе явно не по нраву, впрочем, как и домовому.

Надежной защитой от кикиморы мог стать молебен в доме: «Привели тогда по-

[9]Интересным в этой связи выглядит такое рассуждение: кикимора связана с живущими в доме женщинами и имеет влияние на их судьбу — это раз; курица в народных поверьях и ритуалах нередко выступает метафорической заменой женщины, и связь кикиморы с курами подчеркивает ее соотнесенность с женским началом — это два; и если рассматривать в этом контексте поверье, что если курица не спит на «наседале», то «непременно с женщиной» случится несчастье, возможно, что место там занято кикиморой, и, значит, на крестьянском дворе воцарилась женская смерть — это три (Ефимова 1997: 119).

па, иконы поставили, давай служить... Потом не стало ничего больше» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 86, №126). Хотя бывало, что и молебен не помогал: «Странные происшествия повергли присутствующих в уныние, и тогда было решено провести вечером в доме молебен с иконами. Но и во время молебна таинственные исчезновения и появления различных предметов не прекращались. Священник после молебна во все комнаты поставил сторожей, но и это не помогло: положенные на столе перед иконами крест и Евангелие очутились на полу, а вещи, находившиеся в одной комнате, мгновенно каким-то образом оказывались в другой...» (Домовые 1993: 53 — там текст дан в пересказе; оригинал текста см.: Необычайные явления. Владимир, 1900. С. 1–8).

Защищались от кикиморы и таким испытанным, можно сказать, универсальным средством против всякой нечистой силы, как матерное слово. В уже упоминавшемся рассказе, где кикимора в образе девочки давит сиротку-приемыша, та спасается матом: «...вспомнилось мне: надо материться, по матушке надо сказать, вот так. Я хочу сказать — никак не могу сказать. Но сказала! Она соскочила с меня. Соскочила с меня и — к подполью...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 94, №137).

Найти подход и задобрить кикимору почти невозможно, наверное, поэтому так мало историй, в которых говорится о попытках с ней договориться — слишком уж непредсказуема она и своенравна. И все-таки некоторые приемы борьбы с отдельными проявлениями деятельной кикимориной натуры известны.

Например, если кикимора бралась за горшки, за миски и чашки, била их вдребезги и крушила, считалось достаточным перемыть всю посуду настоем корня папоротника.[10]

Можжевельник тоже был отличным средством от нечистых кикимориных лапок; в некоторых областях им, например, просто обертывали или оплетали солонки, чтобы те лапки в них не запускали (СД, II, 496, Костр.).

К неизменно превосходным результатам приводило использование против кикиморы мужских портов: «Говорят, вставай да бей штанами мужскими, она и уйдет» (Ефимова 1997: 120).

Внимательно следили за тем, чтобы не оставлялись без креста, т. е. не благословленными, пряжа, прялки, веретена, коклюшки.

Если она ощипывала и мучила кур, в курятнике, как уже говорилось, вывешивали «куриного бога»: камешек или палочку с природной дырочкой, горлышко разбитого кувшина, старый лапоть или лоскутик кумача.

[10]Это странный совет: ждать, что кикимора перестанет «играть» с посудой и оставит ее в покое, из-за того, что все перемыто ее любимым папоротником (известно, что кикиморе он очень нравится) (Максимов 1994: 58). Бить, наверное, должна перестать, а вот, чтобы в покое оставить — сомнительно...

Чтобы уберечь от кикиморы скот, в хлеву под яслями клали «свинобойную палку» (Власова 1995: 176).



Рис. 9. Кикимора в виде большой страшной кошки.

От проказящей в доме кикиморы и от той, что давит по ночам, рекомендовалась верблюжья шерсть с ладаном: «...от кикиморъ в домъ положить верблюжью шерсть, когда сусъдка (тож кикимора) давить — лъчба та же, шерсть с *рясным** ладоном клади под шесток» (Лечебник XVIII в.). Возможно, что это одно из первых если не самое первое, упоминание кикиморы под привычным нам наименованием, так как в письменных источниках до XVIII в. оно не встречается. Некоторые исследователи предполагают, что своего рода предшественницей кикиморы была так называемая *качица* (или *катица*), которую упоминали как «пакостную», и судя по всему, не напрасно — известны заговоры на ее изгнание (там же: 170).

Вообще, чтобы изгнать кикимору, звали священника, кропили в доме святой водой, приговаривая: «Ах, ты гой еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома скорее, не то задерут тебя калеными прутьями, сожгут огнем-полымем и черной смолой зальют» (Майков 1994: 161). Можно было поступить и иначе, например так, как присоветовала нищая странница в рассказе О. М. Сомова: «Слушайте ж, добрые люди!.. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой ⟨...⟩ Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь впристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх.

Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: „Честен дом, святые углы! отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и довека. Вон, окаянный!“ Да трижды перебросьте горсть земли через плечо от сеней к дровням, да трижды сплюньте; после того свезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине не будет» (Сомов 1988: 91).

Лишь раз в году, на Герасима Грачевника (17 марта по н. ст.), кикимора вдруг становилась тихой и нежной, как вешняя зорька... Верили, что в этот день изгнание кикиморы должно увенчаться успехом, несмотря на все прежние неудачные попытки.

Есть мнение, что кикимора, как и домовой, будто бы боится медведей. Так, «в одной избе ходила кикимора по полу целые ночи и сильно стучала ногами. Но и того ей [было] мало: стала греметь посудой, звонить чашками, бить горшки и плошки. Избу из-за этого бросили, и стояло то жилье впусте, пока не пришли сергачи с плясуном-медведем. Они поселились в этой пустой избе, и кикимора, сдуру, не зная, с кем связывается, набросилась на медведя. Медведь помял ее так, что она заревела и покинула избу. Тогда перебрались в нее и хозяева, потому что там совсем перестало „манить“ (пугать). Через месяц подошла к дому какая-то женщина и спрашивает у ребят: „Ушла ли от вас кошка?“ — „Кошка жива да котят принесла“, — отвечали ребята. Кикимора повернулась и пошла обратно и сказала на ходу: „Теперь совсем беда: зла была кошка, когда она одна жила, а с котятами до нее и не доступишься“» (Максимов 1994: 56–57).

Редко, но кикимора и сама могла показаться не человеком, а в виде какого-нибудь животного. То собакой придет, «да така кобелина дак о-ё-ёй! — как будто теленок...», «то из-за печки вдруг заяц выскочит, то щенок...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 85, № 124; 86, № 126). Могла чушкой или поросенком по дому прогуливаться да еще и свинячить страшно: «Хозяйка ушла за дровам, а в избе поросенок. Она пришла — он на лавку, на стол, везде... А то оправлялась: то чушка ⟨...⟩ — куча. Уберут, назавтра придут — опеть...» (там же: 85, № 124). В доме, где все пакости шли с печи старинной работы (то хозяйку за подол тянет, то камни на стол летят), когда печку-то разбирать стали и молебен отслужили — кикимора приняла вид утки, которая «вылезла (из-за печки. – *А. Н.*), закрякала и ушла[11]» (там же: 86, № 126).

[11] В этой связи снова вспоминается один из вариантов объяснения этиологии первой части слова *кикимора*, связывающий корень *-кик-* с глаголом *kykati*, т. е. кричать, издавать резкие звуки, и в первую очередь имеются в виду птичьи крики (СД, II, 494). Можно добавить, что *кика* — одно из старых названий утки. Известен старинный женский головной убор с этим названием, означающим «хохол» или «чепец», формой напоминающий птицу (Власова 1995: 176).

Непредсказуемая и загадочная, в чем-то смешная, но по сути своей ужасающая кикимора в народном представлении всегда связывалась с душами умерших и прежде всего с теми, кто находился в «руках» нечистой силы (не то, что происходящий из предков, во всех отношениях свой домовой).

В быличках нередко упоминается, что кикимора была-де «насажена» или «напущена»: «Шел один нищий по этой деревне, зашел к одной хозяйке. Она стирала, че ли. Говорит: „Некогда мне тебя угощать". Ну, он и пошел. Пошел да и сказал: „Попомнишь меня". С этого дня и началось чудиться...»; «...ее [кикимору] цыгане напустили. У матери три девки было, одна-то еще счас живет... Вот он на нее и напустил. Цыган, китаец ли...»; «...вот это наколдовали, это по злобе...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 91, №134; 92, №135; 96, №138) и т.д. Цыган, китаец или нищий странник. По разным причинам они не вписывались в норму, в категорию «своих», и в качестве необычных, «чужих» они должны были обладать особыми знаниями и умениями, сродни колдунам, что делало их опасными: обидишь такого — он и нашлет на тебя по злобе.

Считалось, например, что кикимору можно наслать, как порчу. Человеку знающему и умеющему достаточно в нужное время произнести нужное имя и поймать, что называется, попутный ветер: «Это, просто наговор какой-то, его даже по воздуху пушшали... Вот езли наименное пустят, на имя по воздуху, значит, он на каждого не попадет, а на кого пустят, на того и попадет...» (там же: 148, №207, Сиб.). За кикиморой к тому же давно закрепился весьма характерный эпитет «болотная». А болото, как известно, место специфическое: там обитают неуспокоенные сущности — «души» удавленников, утопленников, опойц, всех тех, кто умер до срока. Не зная покоя, они бродят «не своим духом», т.е. находятся во власти нечистой силы, которая всячески ими пользуется во вред живым.[12] Проще говоря, народ верил, что «опойцы, самоубийцы, а также люди, проклятые отцом или матерью, поступают после смерти ... в распоряжение колдунов, и их будто бы посылают колдуны» (Зеленин 1995: 54, Симб.).

Кикимору совсем не обязательно «напускать» по ветру. Бывало и так, что «на-

[12] В известных случаях, когда кикимору объясняют тем, что под домом «зарыт был когда-то не отпетый покойник или удавленник» (Зеленин 1995: 51), просматривается та же основа. Понятно, что никому в здравом уме не придет в голову ставить дом на нечистом месте, или селиться в доме с печально известной репутацией. Если такое происходит, то ответственность лежит на совести строителей (плотников, каменщиков) или соседей, знавших, но не сказавших.

Те же неблагополучные сущности имеются в виду, когда в кикиморе видят умершего ребенка, тем более, что здесь есть уточнение: «кикиморы — младенцы, умершие некрещеными» (ОПСП, 50). Некрещеные, т.е. умершие сразу по рождении, мертворожденные или выкидыши, такие как игоша, «который особенно много проказит, если не признают его за домовика, не кладут ему за столом ложки и ломтя хлеба и не хотят бросить ему в окно рукавиц и шапки» (Афанасьев 1994: II, 102). Все они являются существами демоническими, причем составляют наиболее опасную и агрессивную группу.

саживали» ее при помощи какого-нибудь предмета, чаще — куколки. Такую куклу-*ерничинку* (Сиб.) тайно «поселяли» прямо в дом или на двор ничего не подозревающим людям, и... пошло-поехало... Хорошо еще, если можно так выразиться, коли *ерничинка* насаживалась с целью просто нервы потрепать, попугать, достаток «пощипать», в общем, чтобы жизнь раем не казалась. Однако известны случаи, когда куколка делалась на конкретного человека с целью его извести...

«У меня племянник был... Идет этот мой парень, племянник-то (с вечерки ночью домой. — *А. Н.*). Дошел до ворот и стал ⟨...⟩ Видит: кукла пляшет ⟨...⟩ Как пройти домой? Кукла пляшет и все. Как она жива! Он: „Ай, черт побери! Че она мне, эта кукла-то?!" Ворота-то открыл, только пошел — она стук ему сюда! В голову. Пришел домой, лег спать. У него жар поднялся. Вот заболел, заболел... Ниче не могли сделать... Высох он, и вот уже осталось ему два дня или три, как помереть. Он сказал: „Мама! Я умру — вы вот этот столб выкопайте и посмотрите, что там есть. Меня кукла раз в голову тут ударила, может, я из-за этого и хвораю..." ⟨...⟩ Мать-то потом узнала: вот, это наколдовали, это по злобе. Один парень только у ней был, больше никого не было. Мы все его звали братка. Он вычах, но прямо одне кости ⟨...⟩ Он сказал: „Мама, эту куклу сожгите". Знаете, вот я стояла, я помню. Эту куклу потом отец выкопал, посмотрели ее — все Сенькино (а его звали Семен), все его: его рубашка, волосы... Они эту куклу взяли в огонь бросили. Знаете, че она там делала?! Она вот так там вилась, прискакивала... Сгорела» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 95–96).



Рис. 10. Куколка.

В самом деле, от такой куколки только и защита — вовремя ее найти и уничтожить. Представьте, каким уважением пользовались те, кто мог распознать такую кикимору и подсказать, где она заложена и как с ней быть. За таким знающим за многие версты сгонять не жалко. Даже если сам не поедет, так надоумить может. У одних, к примеру, был случай. Ну никакого не стало житья от кикиморы, нет покоя и все. И решили они за дедом послать, Кириком Захарычем звали. Не поехал (видно, стар, а ехать далеко), на словах передал: «...в переднем в простенке у колоды



Рис. 11. Глиняная куколка, найденная в середине 60-х годов XX в. в Норфолкс (Англия).

в щели пошарьте-ка. Там ершичинка вот така *большины** подвязана, как куколка, это она фокусит".

Он откуда узнал?!

Возвращаются, забегают: „Дядя Стена, Кирик Захарыч сказал, что в простенке в переднем углу у колоды в щеле куколка заголкана!"

Панка: „Но-ка, пойдемте".

Мама не отпускат: „Не ходи, там бы над тобой ково не наделала эта куколка!"

Хватили — верно. *Тамака.**

А Кирик Захарыч *имя** сказал: найдешь, в ограде наклади костер, когда разгорится, ее наотмашь бросить в костер...» (там же: 93–94, № 135, Сиб.).

Куколка может быть видимым воплощением проклятого, точнее проклятой, потому что чаще насаживаются кикиморами проклятые матерью девицы.[13] Проклятые тоже попадают в распоряжение нечистой силы, а значит, и в распоряжение колдунов, которые пользуются услугами нечистой силы. Между кикиморой из мертвых душ и кикиморой-проклятым есть существенная разница — последняя как бы не те-

[13]Проклятые становятся невидимыми для обычных живых, но ощутить присутствие «невидимки» можно. Считается, что и видеть и общаться с ними легко могут дети. Обычный человек может увидеть проклятого, взглянув в зеркало или на гладкую водную поверхность. Проклятая-«невидимка» обладает удивительными достоинствами: она быстро бегает, далеко видит, не стареет, все знает (Сахаров 1997: 217). Есть способ вернуть кикимору-проклятого в мир живых — если суметь накинуть на нее нательный крестик, то тогда она не сможет уйти, и если выстричь крестообразно волосы на макушке, то она навсегда станет человеком, «но на всю жизнь сохранит какой-нибудь недостаток: кривизну, заикание, слабый ум» (СД, II, 495, белор.).

ряет своей «человечности» и, хоть и беспокоит домочадцев, но может и помогать: «Дом был у одних тут, все девка в доме ходила. Все помогала. Оне уйдут, она чугунки просты возьмет и в печку затолкат. А то и молоть помогала. Тогда же не было здесь мельниц, а жернова крутили. Вот она крутит камень, мелет. А ходила нага. И все делала. А спали раньше на полатях. И вот хозяйка пробудилась, рукой повела и ее учухала. А у ней, у девки, коса — така длинна! Вреда-то не делат им, но опасно! Оне боятся. И давай дом разбирать. И вот нашли куклу в матке. Куклу. Дом перетащили, после этого никого не стало...» (там же: 94, № 136, Спб.).

Проклятый-кикимора, совсем как домовой, за кров и стол может заключить с человеком выгодный тому договор и честно его выполнять. В Самарском крае в XX в. рассказывали про такое дело следующее предание.

Некогда был в одном месте кабак. Стоял он заброшен, потому как ходила про него дурная слава: будто бы ни один *целовальник** не мог в нем долго усидеть — непременно проторгуется и разорится. И вот нашелся один человек, что, вопреки всем рассказам, решил взять этот кабак и торговать в нем. А был он изрядный пьяница и мот, но человек неглупый и отчаянная голова.

В первую же ночь, как улегся он спать, слышит — цедит кто-то из бочки вино. Решил проверить. Свечку зажег, смотрит: все печати целы, а вина в бочке стало меньше, чуть не трех ведер с лишком нет... Удивился он и выругался: что за черт, мол, вина отлил! Покажись, я-де чертей не боюсь! И стало тут из-под пола странное дерево вырастать, все выше и выше. Ну, мужик за топор — хвать! и давай рубить. Но не тут-то было... Будто что держит руку и рубить не даст. Не испугался мужик:

— Пусти, — кричит, — все равно рубить буду...

Тут у него над головой голос раздался, тихий такой. Не руби, говорит, мы с тобой друзьями будем... Ну, раз так, выпили они, и кикимора-невидимка мужику все о себе рассказал: он-де сын богатых родителей, из купеческого роду, да только проклят он еще в материнском чреве — поклялась мать утробой своей в нечестивом деле (сгубили брата родного, отравили, чтобы богатством завладеть)... И вот уж тридцать лет он по свету скитается и нет ему пристанища.

И предложил он мужику такое дело: ты, мол, мне «каждый день в двенадцать часов дня и ночи ставь на заслонку стакан вина и пресную на меду лепешку», а я стану тебе в торговле помогать — «за десять верст ты будешь знать, кто едет и кого к тебе подослали, чтоб тебя поймать в разливе вина». И еще сказал, что уйдет из кабака ровно через год, так чтобы и мужик сразу за ним уходил, чтоб ни дня больше не торговал, потому как не будет ему после торговли.

И зажил, заторговал в старом кабаке новый целовальник всем на зависть и на удивление: никто не мог его уличить, хотя вино он точно разбавлял... А еще он сколько не пил, всё пьян не напивался.

Год прошел. В ночь-полночь слышит целовальник — будит его голос кикиморы: попрощаться пришел да напомнить, чтобы назавтра торг кончал.

Просит тут мужик: покажись мне!

Велел ему кикимора ведро воды принести и смотреть в него. Сделал мужик, как велено: воды принес, свечку взял и глядит... Видит, слева за своим отражением, еще лицо: парень собой — писаный красавец, хоть куда. Так прямо кикиморе и сказал, а тот вздохнул только: не родись, говорит, ни хорош, ни пригож, а родись счастлив...

На следующий день попытался целовальник начать торговать как ни в чем не бывало, да не пошла торговля. А поскольку был он не дурак, то и не стал судьбу искушать, сдал должность. Купил себе вскорости постоялый двор, пить бросил совсем и сделался набожным человеком (текст предания без переложения см.: Сказки и предания Самарского края 1884: 50; цит. по: ОПСП, 375–379).

Напустить кикимору могли не только колдуны, обиженные на жадных или невнимательных хозяев строители, плотники, печники тоже кое-что умели. Историй про такие дела известно немало по всей матушке России. «Отец мой дом строил, и плотников чем-то осердили. Они в последний ряд, под балку, куколку положили. Ночью как давай куáкать: ребенок ревет, аж за душу тянет. Выкочевали. Спать никак не могли в доме. Посудили старики. Пришлось снимать, раскрывать крышу и етот ряд бревен. Нашли там куколку. Ма-аленька така, из тряпочек сшита. Наотмачь ее бросили, а потом в печь. С тех пор все кончилось» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 90, №131). Когда ребенком-то ревёт — это еще что!.. Вот был случай, когда в деревне Иглине, что в Белозерском уезде, у крестьянина Андрея Богомолова плотники уж начудили — так начудили: кто из домашних в новую избу ни войдет, всё в переднем углу покойника видит, а чужой входит — так нет никого... И в первую же ночь сына Михаила с лавки на пол сбросило. В общем, пришлось избу сломать. Вот, говорят, когда стали ломать, нашли в переднем углу, под лавкой, вбитый «гробовой» гвоздь (ну, из тех, какими гроб зáколачивают)...

В другой раз случилось орловским бабам подслушать, как нанятые на строительство владимирские плотники будто бы приговаривали: «Дому не стоянье, дому не житье, кто поживет, тот и помрет», и бревна при этом они тесали не вдоль, а поперек, да после еще напустили червей... И что вы думаете? Долго тот дом не простоял. Едва хозяин в том доме дожил. Как помер, так и дом развалился — все стены черви источили (Максимов 1994: 157).

Недобрая слава, державшаяся за плотниками и печниками, что умеют люди «засадить» в дом и кикимору и всякую другую нечисть, служила им неплохую службу, так как защищала от нечестных и прижимистых хозяев. Если посмотреть, так новоселья справлялись не хуже свадьбы: и хлеб-соль, и подарки, и задушевные пожелания... А задабривать умельцев «начинали далеко загодя: как сговорятся насчет условий — пьют „заручное“, когда положат первый ряд основных бревен — пьют „обложейное“, когда заготовленный сруб перенесут и поставят на указанное место —

опять пьют или „мшат“ хату. Точно также пьют при установке матицы...» и так далее (там же: 160).

Что именно делали мастера и как — все это, разумеется, составляло арсенал профессиональных хитростей. Правда, некоторый опыт со временем все же получил огласку и часть приемов перестала быть тайной: « ...Вот возьмешь в углу дырку просверлишь центровкой-мулевкой. Вставишь битое горлышко, пробочку. Дырки-то делаешь в разных углах, чтобы ветра схватить. Пробочки выдерну — и начинает выть по-собачьи, по-кошачьи и по-всякому разному... Под печь ртуть закладываешь в свинце, чтобы не ушла. Она накаливается, начинает ухать... Если хозяин не напоит, то и делали...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 339; записано от печника Аркадия Семеновича Шамякина, 1921 г. р.).

Вот и выходит, что не стоит с плотниками и печниками в игры не играть, а уж если случилось кому заполучить «кикимору» — лучше поскорее вернуть мастеров и заплатить как договаривались. Есть одна замечательная история про то, как плотников возвращали: «Однажды они не получили сверх расчета обычного угощения пивом и водкой, и, когда ушли, хозяин послал сына посмотреть новую избу. Вернулся тот перепуганным и рассказал отцу про такое диво, что тот сам пошел проверять и увидел тоже самое. Только что вошел он, как выскочила маленькая мышь, за ней — другая побольше и еще больше, а последние стали выбегать ростом в сытую кошку. „Запрягай, сынок, поскорее лошадь, поезжай за тем мастером, зови его на влазины, а в Петрецове (село по дороге. — *А. Н.*) захвати четверть водки!“ Приняли плотника с хлебом-солью и низкими поклонами в новом доме. Выскочила маленькая мышь, а мастер только и сказал ей: „Скажи в стаде, чтобы сейчас убирались вон“. Не успели они выпить по второй, как большие и маленькие мыши труском и вприскочку выбежали из избы мимо них в двери и в поле» (Максимов 1994: 156–157, Волог.).

А теперь попробуйте взглянуть с учетом всего вышеизложенного на печально известных сантехников, водопроводчиков и прочих представителей коммунальных услуг. Похоже, что сами они смотрят на свою работу именно традиционным взглядом...

Ну, а коли не догадлив давший маху хозяин или, еще того хуже, коли он жаден непомерно и в жадности своей упорствует, — тогда, как ни крутись, а «кикимора» из дому все одно выживет... Сибиряки, к примеру, рассказывали, как строили какому-то богатею дом. Договориться договорились, а как до дела дошло, стал хозяин жадничать и на харчах для строителей экономить: творог и тот подсовывает весь с червями... Строители все же стерпели и довели дом до конца. Только, когда стали матицу класть, щепочку под нее одну взяли и положили. Сделали дом, рассчитались, уехали. Хозяин священника позвал, жилье новое освятил. Стали въезжать — «как завоет в избе все! Нет возможности! Они бились, бились. Попа опять привели:

— Но невозможно жить никак.

— А я чего же сделаю? Не знай, че уж — я освятил. Все должно быть в порядке. — А потом и говорит:

— Давайте к мастеру, че он ли ни натворил.

Он туды поехал, хозяин-то, за сорок километров:

— Вот так и так.

— Дак вот так! Ты сначала в твороге своих червей выбросай, а потом, гыт, под маткой щепку выбрось.

А изба уж закрыта. Это же надо поднимать..., потолок разбирать. Тот:

— А вот как хочешь, но я не поеду. Мне не надо никакой платы, а вот под такой-то маткой вытащи щепку. И святить не надо будет. Но сперва выбросай червей из творогу!» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 89–90, № 130).

...Ныне кикимору мало кто вспоминает, и записывать про нее почти нечего. А если и вспомнится, то в качестве бранного словца в адрес домоседа, неряхи или просто человека неприятного: «У-у, кикимора...»

Глава 3

БАННИК

почему боятся банника; что такое баня со всеми отсюда вытекающими; банный кодекс; некоторые штрихи к нраву банного хозяина; чистое ли место — баня?; о банных анчутках; банные «подарочки»

Потрите мне спинку, пожалуйста... Ну что Вам жалко что ли?..

Реплика из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Как малых ребятишек кикиморой пугали: «вот бяка или запецельная мара идет» (Власова 1995: 235, Онеж.), так и банника частенько поминали для детской острастки — «вот банный съест тебя, не балуй!» (там же: 45, Свердл.). Банник, пожалуй, даже пострашней будет, и не только на малолеток может произвести сильное впечатление.

В Калининской области это уже в советское время было — привелось раз одному мужику колхозных телят искать — отбились от стада, разве бросишь. Ходил весь вечер, а когда совсем стемнело, завернул в баню на отшибе, чтобы время не терять и со светом опять пуститься на поиски. В бане темно, хоть глаз выколи. Он на полку устроился и заснул. А в эту баню парочка пришла... Сидят они, шепчутся, темно... И слышно, вроде как вода капает: кап, кап... Вот она и скажи погромче: «Что такое? Всё „кап“ да „кап“...» Мужик-то на полке проснулся, да спросонья, не разобравшись, и отвечает: «Да, я Карп!» (его Карпом звали). Ну, уж как та парочка из бани выбегала! — кто в окно, кто в двери[1]...

Испугаться и в самом деле не мудрено, поскольку банный хозяин собой, мягко говоря, не хорош: «Слышала, банник есть. Шерстяной, говорят, черный...» (Адоньева, Овчинникова 1993: 30, №78, Волог.), и руки у него будто бы большие,

[1]Дается пересказ былички из архива автора, записано летом 2001 г. от Н. М. Шатровой, 1926 г. р., уроженки хутора Хализиха Калининской обл.

железные, да с во-о-от такими когтями: схватит — не вывернешься, и «запарит». Обычно показывается он дядькой или даже дедом: «...дедушка, старик, сидит. Шубой накинулся и сидит... Я его ишо подошла за плечо потрепала: „Ты че, дедушка, сидишь, делаешь тут?" Он мне че-то ответил, мыкнул...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 84, №119); «...сидит маленький старичок! Голова большая, борода зеленая! и смотрит...» (там же: 84, №120, Сиб.). Иной раз и бабой может показаться: «...в этой бани дверь отворена и сидит на средине пола женщина, волос до полу, моэтца. Ну, конешно, от такого видения они испугались...» (Богатырев 1916: 58, Шенкур.), «...волосами-то завесилась, зубы-то длинны, глаза-то широки...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: №196, Арх.).[2]



Рис. 12. Банник.

«Живет» банничек обычно за каменкой — банной печью: «Раньше ведь строили бани по-черному. Ну, вроде *зимовейку** построят и такую примитивную печь из камня. Ну, чтоб стена-то не горела, эту печь *вплоть** не ставят ко стене, а там щель остается, ну примерно, сантиметров где-то двадцать...» (Мифологические рассказы

[2]Понятно, что банник, как и домовой, в нормальной ситуации невидим и напоминает о своем присутствии шумом, но при нарушении нормы он обычно является виновнику на глаза, чтобы разобраться. В большинстве поздних быличек банник предстает в человеческом обличье, чаще — в мужском (*банник, банный, банщик, банный хозяин*), реже и это более характерно для севернорусской традиции — в женском (*обдериха*). Кроме того, встречаются упоминания о его появлении «на людях» котом, собакой, лягушкой и даже белым зайчиком. Его эманациями могут быть уголь, камешек с банной печи, сама каменка (см.: Криничная 1991: 11, 13; Власова 1995: 45). В этом он сходен с домовым, который, если помните, словно «проступает» на печи, воспринимается ее частью, или представляет собой воплощение как самого домашнего очага, так и огня, горящего в нем. Так же и с веником, только один соотносится в данном случае с углами дома и мусором, а другой — с банным паром. А тут и вода, и огонь, и жизненная сила растений — веники-то, как известно, бывают разные: березовые, дубовые, еловые, можжевеловые, крапивные и Бог знает какие еще...

русского населения Сибири 1987: 81, № 112). Вот в этой-то щели, «за каменкой», он и сидит. Впрочем, не только за каменкой, но и под каменкой, и в самой каменке. Одним словом, весь он тут: «Тещa у меня раз приходит в баню. Стала баню затоплять. Она, значит, затычку снимает — дым хоть некоторый выходит. Она раз выдернула затычку — не выходит, другой раз — ни черта. На третий раз выдернула она — а из трубы показались пальцы сизые, длинные» (Криничная 1991: 18–19).

Страшный, черный,[3] обитающий в курной, т.е. по черному топящейся бане, «кровно» связанный с огнем и водой, банный хозяин сильно смахивает на нечистую силу. Добавим к этому, что и нрав у него, прямо скажем, скверный, не зря же говорится: «банник человеку не товарищ» (Власова 1995: 45). Если что не по нему, так начнет камешками постукивать да пощелкивать, кипятком на камни поплескивать, жару поддавать... Бывает, что моется народ, не замечая хозяйских «знаков внимания», и обнаруживает банника, когда тот уже лезет с ревом из-под полка, чтоб хорошенько вымыть-выпарить неугодного ему посетителя. В общем, не удивительно, что в быличках его частенько идентифицируют с чертом (так прямо и называют: *банный черт, шишок** и т.д.), и указывают на исходящую от него опасность.

Отвлечемся от банного хозяина и поговорим о самой бане. Помните пущенное с легкой руки Николая Васильевича Гоголя всем известное «какой же русский не любит быстрой езды!»? Ну вот, то же самое можно было бы заявить и по поводу отношения русского человека к бане. Без нее, родимой, и жизнь не в жизнь, о чем народ прямо заявлял: «Баня — мать вторая или мать родная. Баня парит, баня правит. Коли б не баня, все б мы пропали» (Даль 1881: I, 45, повсем.). Надо сказать, что русский стиль мытья в бане всегда приводил в трепет цивилизованных иноземцев, оставлявших красочные описания сего варварского обычая (за строчками так и проступает классическое: «Что русскому хорошо, то немцу смерть»).[4]

В путевых записях Адама Олеария, секретаря голштинского посольства в Московии в первой трети XVII в., читаем: «Русские могут выносить черезвычайно жар, и в бане, ложась на полках, велят себя бить и тереть свое тело разгоряченными березовыми вениками, чего я никак не мог выносить; затем, когда от такого жара они сделаются все красными и изнемогут до того, что уже не в состоянии оставаться

[3]Чернота банника, которая вроде бы явно указывает на его принадлежность к вредоносной «нечистой» силе, может объясняться (или даже «извиняться»?) тем обстоятельством, что он хозяин и воплощение именно черной, курной бани (см.: Криничная 1991: 11).

[4]Сколь сильным должно было быть впечатление от русской бани, полученное, к примеру, апостолом Андреем Первозванным во время его учительствования в «славянских землях», если по возвращении в Рим из всех его рассказов о том, как он там учил и что видел, особо выделяется именно рассказ об обычае русских «мыться» и «хлестаться». Впоследствии только этот его рассказ попадет в русскую летопись XII в., причем будет цитироваться подробно (по объему цитата занимает почти столько же места, сколько небезызвестное завещание князя Ярослава) и с комментариями (в тексте трижды встречается упоминание об испытанном сначала самим апостолом, а потом и его слушателями удивлении).

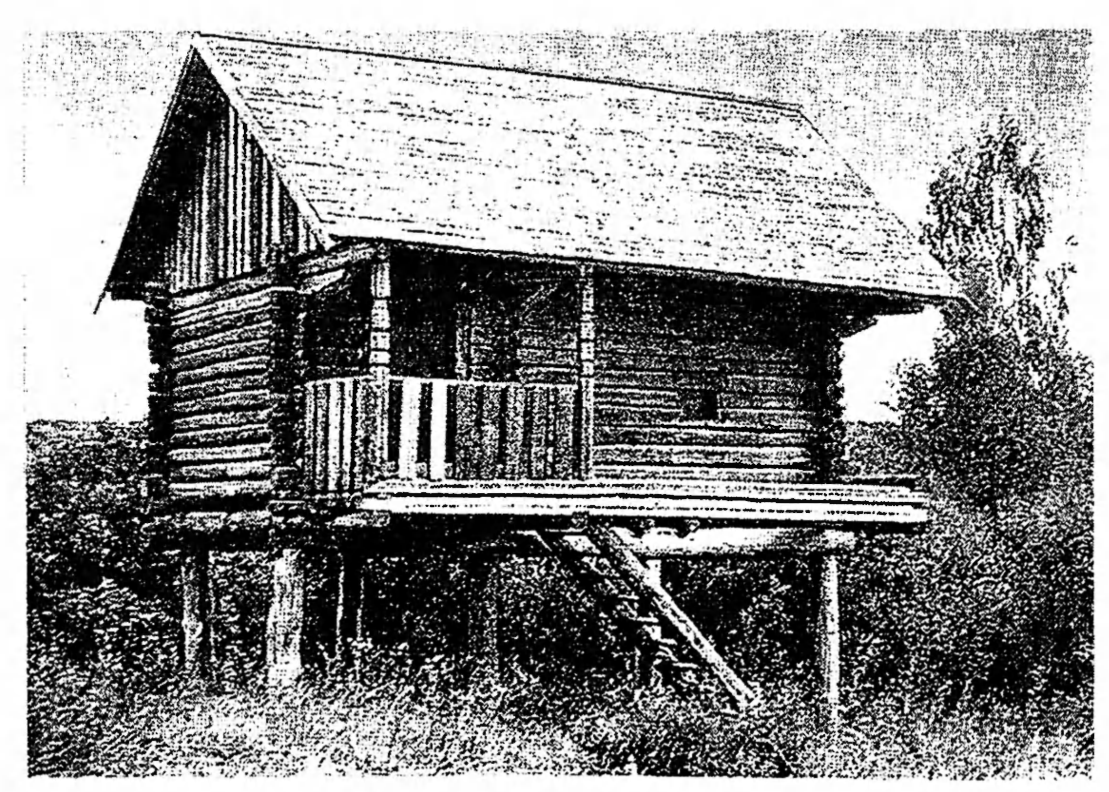


Рис. 13. Черная баня на сваях.

в бане, они выбегают из нее голые, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодною водою; зимою же выскочив из бани, они валяются на снегу, трут им тело, будто мылом, и потом, остывши таким образом, снова входят в жаркую баню» (Олеарий 1870: 201). Ему вторит Юл Юст, датский посланник при Российском дворе начала XVIII в.: «За городом мне случилось видеть, как русские пользуются своими банями. Несмотря на сильный мороз, они выбегали из бани на двор совершенно голые, красные, как вареные раки, и прыгали в протекавшую поблизости реку. Затем, прохладившись вдоволь, вбегали обратно в баню, но, прежде чем одеться, выскакивали еще и долго, играя, бегали нагишом по морозу и ветру. В баню русские приносят березовые веники в листах, скребут и царапают себе тело, чтобы в него лучше проникала теплота и шире отворялись бы поры. В России от всех болезней ⟨...⟩ первый доктор — это русская баня» (Юст 1914: 86). Оба иностранца хорошо понимают, для чего русские так себя «мучают», поскольку один не раз упоминает в своих записках крепкое здоровье московитов, а другой прямо указывает на зави-

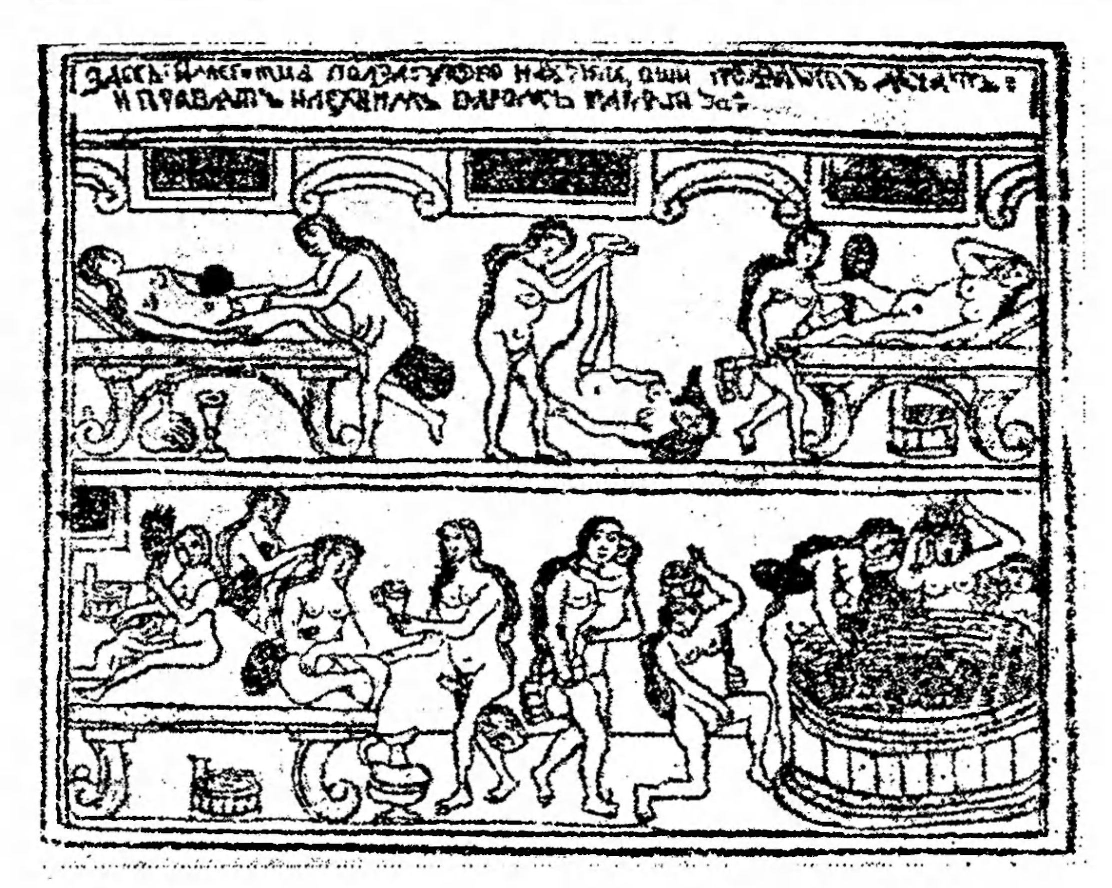


Рис. 14. Женская баня.

симость этого самого здоровья от бани. За гранью их понимания остается другое: почему так?..

Баня совсем не случайно пользовалась в народе глубоким уважением, она «многолика» и очень не проста. Судите сами. Прежде всего, она на самом деле была «первым доктором» на деревне, первым средством от самых разных недугов: от усталости и простуды, от ломоты и лихорадки, от «свярботы» (часотки) и чирьев, от «полуношника» (детской бессонницы), «криксы» или «вопуна» (младенческого плача) и даже от «дура» (нервного или психического расстройства) (Торэн 1996: 13, 17, 184, 223). Одним словом, «баня лечит, баня правит, баня все поправит», надо только натопить ее пожарче, водички принесть вдосталь и веничков душистых припасти, потому как «веник в бане — всему господин»... Вера в целительную силу

русской бани, с паром и вениками, жива и сегодня, и не иссякла даже в городской среде, несмотря на большую популярность финской сауны.

Но баня не только лечит от хвори и в буквальном смысле очищает тело, она еще не так давно использовалась для очищения духовного и ритуального: считалось, что «баня все грехи смоет» (Даль 1881: I, 45). Поскольку в бане сошлись огонь и вода, две древнейшие и мощнейшие очистительные стихии, то вполне закономерным было ее использование не только в ритуалах очищения, но и в обрядах перехода:

— в бане парили роженицу и новорожденного (у северных русских и сами роды традиционно происходили в бане, в связи с чем глагол *банитъ* в XIX в. полностью совпадал с глаголом *бабитъ* (там же), имея значение ‘принимать роды’);

— в дохристианские времена, когда не было еще обряда крещения, именно в бане от повитухи новорожденный получал имя (о чем свидетельствует сохранившееся понятие «банного имени»), а с ним судьбу и социальный статус;

— накануне свадьбы в родовых банях мыли (= парили) невесту и жениха, причем и в том, и в другом случае баня не только «смывала» их прежний статус (девичество или мальчишество), но и все связи с собственным родом вступающих в брак, доводя тем самым их пороговое состояние до своеобразного абсолюта (на Пинеге, например, невесту после бани не пускали в дом, как чужую, и она вынуждена была проситься, чтобы провести последнюю ночь под родной крышей);

— фактически по всей России новоиспеченные супружеские пары шли после первой брачной ночи в специально для них натопленную баню;

— в ряде областей соблюдалась традиция после похорон сначала идти в баню, а уже потом садиться за поминальный стол, чтобы не занести в дом смерть с кладбища;

— в строго определенные дни в году (в Великий Четверг, на Радуницу, накануне Троицы) топили баню для умерших предков — элемент древнерусского поминального обычая, а на другой день после бани, умерших угощали обедом (Зеленин 1994: 224).

Перечисление можно продолжить, но сказанного вполне достаточно, чтобы обозначить главное: баня, кроме особой «зоны» очищения в прямом и переносном смысле, была активной родовой «зоной»,[5] и признанной контактной зоной (проходом в другой мир или из него) и в этом своем качестве была не заменима в моменты перехода.

[5] В самом деле, даже сегодня на Русском Севере частично сохранилось представление о бане как о родовом локусе, причем закрытом, поскольку на ней завязаны все переходные моменты в жизни членов рода, их контакты с родовыми предками и т. д., т. е. баня — «своя». В сущности, этот момент нередко подчеркивается в рассказах и воспоминаниях: «баня в деревне была у каждой семьи своя... у каждой семьи. Случалось, конечно, что топили одну баню на две семьи (...) это договаривались с соседями, но это если дров мало было, дрова берегли...» (Псков. обл., архив автора), и в быту (известны случаи, когда при всем радушии и гостеприимстве чужим помыться в бане отказывали).

А теперь в связи со всем сказанным напрашивается вопрос: откуда бы в бане баннику взяться?

Наиболее распространенной, пожалуй, будет считаться такая версия: «Говорят, как первый раз ребенка в бане вымоешь, так обдериха[6] *завяжется**...»; «Как ребенок родится, его в бане вымоешь, так обдериха. Сколько вымыто, как родились, столько обдерих ⟨...⟩ А то говорят, что обдериха в бане только после сорокового ребенка появляется» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 59, №197; №200, Арх.).

В местных (Арх.) рассказах встречаются и другие, не менее интересные варианты: «Обдериха-то, в новой бани нет ее. Пока невесту не сводят, нету обдерихи. А как невесту заведут, дак заходит. Раньше еще как говорили: если рожаница не сходила в баню, то и обдерихи нет, а если пошла, ну роженица, родит и мыться пойдет, и там после обдерихи» (там же: 59, №199, Арх.). Связь происхождения банника с мытьем роженицы или невесты ни в коем случае не противоречит основной версии, лишь дополняет ее и придает образу своеобразную законченность:

— новорожденный — существо, пришедшее из иного мира, он чужой здесь, и первое его мытье — это не только акт очищения, но и первая ступень адаптации в этом мире, в этом роду, шаг в сторону приобретения статуса «своего»;

— разрешившаяся от бремени женщина также проходит в бане двойной ритуал и очищения и адаптации, поскольку в период родин она находится в «пороговом» (переходном) состоянии и является нечистой, как и родившейся у нее ребенок;

— и невеста, как уже говорилось, моясь «в последни» в родительской бане, и очищается и завершает отход от своего рода, достигает центра «порога», после чего начинается ее вхождение в род мужа и приобретание там статуса «своей», т.е. начинается адаптация.

Происхождение банника, таким образом, народные верования связывают с существами, пребывающими в переходном состоянии, с «чужими». От чужих же ничего хорошего ждать не приходится, поэтому банник воспринимается почти однозначно как сущность демоническая.

Поскольку баня с каменкой — это как бы мини-модель дома с его печью, она, с одной стороны, однозначно принадлежит «своему» (родовому, семейному) пространству, а с другой, располагается на «перекрестке» миров, и, с этой точки зрения, нахождение в ней демонической сущности видится вполне оправданным.

[6] *Обдериха* — одно из наименований банного хозяина. С одной стороны, в нем подчеркивается женское, наиболее древнее начало, скрытая сущность этого персонажа, с другой — его агрессивность; по бытующим на Русском Севере представлениям, злость банника выплескивается иногда в крайне жестокой форме: он обдирает провинившегося живьем и раскладывает его кожу сушиться на каменке. Следовательно, обдериха — прозвище «говорящее», но еще раз подчеркнем, что в ходу оно главным образом у северных русских (в частности, в Архангельской обл.), где больше всего и рассказывают быличек о снятой коже.

Учитывая сказанное, легче объяснить и ту нелюбовь, которую банный хозяин испытывает, в частности, по отношению к тем же роженицам и некрещеным: «В баню-то с некрещеным младенцем не ходи, обдериха задерет...» (там же: 59–60, № 200, Арх.); «В Березнике был слуцай. Раз оставили роженицу в бане, а она в каменицу затянута и ребенок с живота вынут. Мертвы оба. Роженицу нельзя в бане оставить, и с малыми ребятами может что сделать» (там же: 60, № 202, Арх.); «В байнях?! Как же! Ету, родиху-то, бывало, привядуть, а ён, шишок, как камнем *оттуль**, с каменки, шарнет, что не полюбитца ена яму! (родиха не понравится, что какую оны яе привяли неблагословлённую). От такия дяла!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 245, № 213).

Объяснение, будто банник «выгоняет» роженицу, потому что ее привели неблагословленную, в данном случае — это условие, а не причина: неблагословленность здесь — это та же чуждость, нечистота и незащищенность родившей (роженица, как гласит пословица, сорок дней одной ногой в могиле стоит). Помимо такой собственной «открытости», в бане бедная женщина оказывается еще и на особой «открытой» территории. Именно здесь и в этот момент ее легче легкого взять и «утянуть» в мир иной (хорошо известно, как нечистая сила заинтересована в умерших не вовремя и не своей смертью). В действиях банника гораздо сильнее ощутимы, чем в действиях домового (которому, если помните, тоже не нравятся роженицы и новорожденные), агрессия и намерение восстановить норму: свои должны быть со своими, а чужие пусть отправляются к чужим. Все сказанное о роженице в равной степени, если не в большей, относится и к новорожденному. Вот почему фактически повсеместно принимались беспрецедентные меры защиты роженицы и новорожденного до завершения основного периода адаптации, т. е. в течение первых сорока дней.

В этой связи хотелось бы упомянуть так называемую *банную бабушку* или *баянную матушку*, которая, как и банник, обитала, по некоторым представлениям, в бане, но только вела себя в совсем иной манере, не свойственной банному хозяину. Добрая знахарка и повитуха, она, скорее, была воплощением той самой «бани-целительницы», о которой уже шла речь. Нередко ее появление связывалось конкретно с предстоящими родами, поскольку основной заботой банной бабушки были роженица и ребенок. Хотя, судя по рассказам, она вообще лечила от всех болезней и была доброжелательна ко всякому занедужившему. Истории про банную бабушку очень немногочисленны и относятся главным образом к XIX в. (Власова 1995: 44).

На обычную повитуху, помогавшую в родах, а потом и присматривавшую за роженицей и ребенком, в первую очередь ложилась защита ее подопечных от посяганий всяческой нечистой силы и в том числе от банника. До некоторой степени обычная бабушка-повитуха приобретала черты мифической банной бабушки, поскольку в силу своей профессии и возраста она почиталась за человека знающего, владеющего и опытом и разными хитрыми приемами. Так, например, во Владимирской губ., прежде чем вести в баню роженицу, повитуха изгоняла банника, чтобы тот не смог

причинить никакого вреда. Она бросала по углам камни с каменки, приговаривая: «Черту в лоб!» (там же: 45). Эта же связь видна и в старинном заговоре, который повитуха читала, когда парила и правила новорожденного. В нем вообще замечательным образом слились «воедино» христианский образ (Соломонея, легендарная повитуха, принимавшая Христа), языческий (банюшка-паруша = банная бабушка) и самой повитухи, держащей в своих руках новую жизнь: «Бабушка Соломоньюшка Христа парила да и нам парку оставила. Господи, благослови! Ручки, растите, толстейте, ядренейте; ножки, ходите, свое тело носите; язык, говори, свою голову корми! Бабушка Соломоньюшка парила и правила, у Бога милости просила. Не будь седун, будь ходун; банюшки-паруши слушай: пар да баня да вольное дело! Банюшки да воды слушай. Не слушай ни уроков, ни причищев, ни урочищев, не от худых, не от добрых, не от девок пустоволосок. Живи да толстей да ядреней» (Вят.).

Понятно, почему именно банник чаще всех прочих из нечисти посягает на новорожденных — уж очень все подходяще складывается — и место, и ситуация — прямо искушение какое-то... Поэтому, как только представляется случай, он их обменивает. Посему помни, что без присмотра оставлять в бане маленьких детей нельзя! Обмен (подмен или перемен) — настоящий урод: с виду вроде как ребенок, да только и сам не живет (не растет, не развивается), и «родителям» своим жизни не даст — только мучает (беспрестанно качай его, корми да обихаживай). Бьются над ним домашние, маются несколько лет, пока в один прекрасный день не обнаружат в люльке вместо дитяти головешку или банный веник. «А бывает, что и ребенок окажется, но он не такой, как все настоящие. Он всем лошадям и коровам заглядывает под задницу, да руку по локоть в рот запихивает. До пятнадцати лет живет, а потом куда-то девается» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 59, № 197, Арх.).

Есть, конечно, способы, чтобы защититься от обмена. Можно, например, когда маленького мыть идешь, взять с собой иконку — это, конечно, совсем не по правилам, да только не до жиру... (там же). А выходя из бани, не забудь сказать: «Мое, пойдем со мной, чужое в бане оставайся. Аминь» (Ефимова 1997: 121). Но лучше судьбу не искушать и глаз с младенца не спускать ни на минуту. Ну, а коли случилась-таки подмена, говорят, надо бросить обменыша через порог, чтобы получить своего обратно. Да только как рука поднимется? — Ведь с виду-то обмен совсем как настоящий. Вот один случай рассказывали: «Обменили как-то в бане ребенка, обдериха, наверно. Мати оставила, за чем-то убежала, его и обменили. Говорили ей, брось его, через порог, обменится обратно, дак пожалела его, не бросила. Дак глупый был» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 59, № 198, Арх.).

Помятуя о том, какой нелегкий характер у банного хозяина и как скор он в случае чего на расправу, народ со всей серьезностью подошел к созданию свода правил своего поведения в бане и поддержания добрососедских отношений с банником. И

хоть быличек про банника все меньше, баню пока никто не отменял, а значит, и банный кодекс актуальности своей не утратил.

• Итак, правило первое: баню содержи в чистоте. Банник, говорят, и сам в своей *«хотерке»** веником подметает — шумит, стучит. Баня — место такое, чистоты требует.



Рис. 15. Русская Венера.

• Правило второе: идешь мыться — просись, а помылся — не забудь баннику спасибо сказать за пар: «В байну идешь, говоришь, просишься: „Баенна хотерка, баенна хозяйка, пусти нас помыться, погреться, пожариться, попариться". А как помылись, скажешь: „Байна хозяюшка, спасибо за парную байну. Тебе на строеньице, нам на здоровьице"» (там же: 60, №200, Арх.). Можно так, а можно и по-другому: «Банный князь, возьми нашу грязь, дай нам чистое тело». Обратно идут: «Спасибо, банюшка, обмыла...» (Адоньева, Овчинникова 1993: 30–31, №81, Арх.). Ну и, когда моешься, прежде чем на полок завалиться, можно ненавязчиво напомнить: «Крещеный на полок, некрещеный с полка» (Власова 1995: 46, Терский берег Белого моря).

• Правило третье: не суетись. Обстоятельность в бане — не последнее дело. Сам не гони и сотоварищей не торопи. «Так вот, нам всё старики говорили: „Ребятишки, если моетесь в бане, один другого не торопите, а то банник задавит". Вот такой, дескать, случай был. Один мужик мылся, а второй: „Ну, че ты там, скоро или нет?" — Раза три спросил.

А потом из бани-то голос:

— Нет, я его еще обдираю только!

Ну, он сразу это... побоялся, а потом открыл дверь-то; а у того мужика, который мылся, одни ноги торчат! Он его, банник-то, в эту щель (за каменку. — *А. Н.*) прота-

щил. Такая теснота, что голова сплющена. Сам же он не мог бы так полезти, чтобы голова-то сплющилась. Ну, вытащили его. А ободрать-то он (банник. — *А. Н.*) его не успел» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 81, № 112).

• Правило четвертое: один мыться не ходи — не гоже: «А вот с моей подругой дело было. Старики ей говорили, что одной баню замывать нельзя. А она то ли забыла, то ли посмеялась. Пошла в баню-то одна мыться. Последней. В девках еще была. Зашла. Голову намылила да за водой-то нагнулась, глядь: а под лавкой сидит маленький старичок! Голова большая, борода зеленая! И смотрит на нее. Она кричать и выскочила! Нашли ее братья на снегу. Еле откачали...» (там же: 84, № 120, Сиб.). Подруге, надо признать, еще повезло, потому что были истории, которые заканчивались совсем по-другому. «Короче, это было в Макарово, в деревне. От Ушкуна она недалеко, это Макарово. Женщина одна пошла в баню. Ну и потом она оттуда — раз! — выбегат. Ну, голая вся (пока разделась, мылась...). Выбегает, че-то вся в крови, в общем. Прибежала домой, отец на нее: че, мол, получилось?.. Она ни слова, никово не может сказать. Пока водой ее отпаивали... Этот отец в баню забежал. Ну, ждут час, два — нету его, три — нету. Раз! — опять туда забегают: там шкура на каменке натянута, а его самого нету ⟨...⟩ Это банник! Вот, он, короче, побежал: он с ружьем, раза два успел выстрелить. Ну а, видать, рассердил его шибко... Ну, и шкура, говорит, там натянута на каменке...» (там же: 82, № 113, Сиб.).

• Правило пятое: в бане нельзя громко говорить и шуметь (тем более стрелять, если иметь в виду окончание предыдущей истории), чтобы не рассердить банника. В лучшем случае будет просто пугать, ну а в худшем... уже знаете. «В баню две девки побежали и в бане хохотали. И вдруг конина голова. И-и-и... И не мылись! Они домой! А голова укатилась...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 59, № 198, Арх.).

Говорить, да еще громко, не стоит, а слушать никто не запрещает. Совсем не лишне помнить, что банник — существо раздражительное, нрав у него горячий и, если что не по нему, принимается разными звуками знаки подавать: застучит, начнет вениками шуршать, кипятком плескать, а то и заорать может... «Один мужик пошел с бабой в баню. Вдруг кто-то застукотал... И закричало нечеловеческим голосом: „Уходите скорее, а то заем!" Мужик и баба побежали домой» (Власова 1995: 45, Новг.).

• Правило шестое: не выражаться! Мат баннику совсем не по нраву: «...с бабы, которая бранила и посылала своих детей к черту, байнушко сорвал кожу с ног до головы» (Ефименко 1878: 196; цит. по: ОПСП, 170, Арх.).

Вместе с тем известны случаи, когда только матом человек и спасался. Один вот «пошел мытца. Мужчина. Уже ну после-то сямьи. Уже где ён был там — в отлучке, наверно, был, что... перьвый-то раз не попал мытца. А после всех. Только разделся... Поддал паритца, на полок залез... Вдруг приходить соседка: „А я табе

поддам!“ Взяла ковш, начала лить — а горячая-то каменка, много поддашь, можешь и задохнутца в бани! Как начала поливать, и ещё, и ещё, и ещё! И уже не продыхатца — все водой поддаёть!

— Я тя, — говорить мужчина, — по матушке!

И убегла за дверь ета соседка! И нихто там не был! Пойдеть соседка в баню, в чужу баню! Зачем — людям на каменку поддавать!

— Вот и, — говорить, — вот если бы не заругался б, там бы и задохся б!

По матушке-то грех ругатца, а оны все равно убегають, шишки» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 244–245, № 211).

• Правило седьмое: третий пар — баннику! Т. е. после двух смен мытья (в баню идти разделялись на две, реже на три смены[7]) больше уже не мылись, потому что третий пар оставляется байнушку, который тоже любит и помыться, и попариться. Для этого специально принято было оставлять на полке без креста и благословления обмылочки и воду, а уж веники и вовсе не принято было из бани уносить. Не оставишь — так обидится: «...одна воду не оставила, ни капли. Ей банная староста и привиделась во сне. „Зацем, — говорит, — воду ни капли не оставила, у меня ведь тоже дети есь“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 58, № 192, Усть-Цил.).

Если проигнорировать правило «третьего пара» и отправиться в баню, можно увидеть и услышать там немало интересного... «Одна женщина пошла в третий пар мыться. И не помылась. Пришла в *байну*,* а там крик, визг! Открыла дверь, а там дерутся! Нечистая сила! Она убежала домой голая — белье оставила» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 243, № 209). А можно и вовсе жизни лишиться, как вот с мужиком одним было: «Ну, ён пошел мытца, человек, а где ён был, что опоздал... Нет и нету. А утром пришли в баню — ляжить в жолоби (в жолобах, ета, камушки опускають в воду, чтоб воду-то нагреть). Пришли — вот ён в етом жолобу втиснутый ляжить — целый жолоб крови. И няживой. А от, мол... и сказали, что *гряхи** запарили. Нельзя никак от мытца в третий пар» (там же: 244, № 211, Новг.).

• Правило восьмое: в непотребном виде да в неурочное время в баню нельзя ходить. Что значит в непотребном виде? Ну, например, выпивши. Один такой неза-

[7] Вместо заказанного человеку третьего нередко упоминается четвертый и даже седьмой пар. В такой момент в баню соваться — дело рисковое. Время, отведенное человеку для мытья, приходится часов на 5–7 пополудни (Максимов 1994: 45), вот и поспевай. Три — число сакральное: «баня готова бывает в три каменки или в три истопля» (Криничная 1991: 18, Арх.). Обычно, как баню истопят, сначала мужики идут (это первая смена, первый пар), потом бабы с ребятишками (вторая смена и второй пар) — тут, глядишь, «наше» время и вышло. Дальше — третий пар, время мыться баннику со товарищи (иногда, считается, что в бане в эту «смену» парятся черти, леший, овинник и даже домовой). «В третий пар, говорят, черти моются. Отец пошел мыться, а в бане хвощутся, парятся. „Заходи, заходи, — кричат, — мы тебя попарим!“ Хто там парится? Все давно *ушод** с байни, это черти оставши» (Мифологические рассказы и легенды Севера 1996: 68, № 248, Новг.).

дачливый личным опытом делился: «...я как-то в баню пошел в субботу, пьяный пришел и пошел туда. Баба уже вымылась, а я един там. Ну, лег там и заснул, прямо голый. Потом просыпаюсь, дергает кто-то. Ну, слез, хочу выйти, а не дают, не пускают. Ну, стал я бабу кричать, чтоб пришла. Она прибежала, сунула мне руку, так я схватил да и выскочил, да и побежал домой, прямо по снегу голый» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 58, №193, Новг.). Так что, спасибо бабе.

Шутки в сторону, вот был еще случай: мужички изрядно приняли и понесло их в баню аккурат в двенадцать часов. Дошел ли до бани второй — не известно, а тот, который дошел, увидал там кого-то в шляпе. Шляпу он с неизвестного снял, потому как думал, что это дружок его так принарядился. Да только оказалось, что не дружок... Как он из бани ушел и шляпу ту с собой унес — совершенно не понятно. Но кто-то стал по ночам за шляпой приходить... И умер бедный мужик от разрыва сердца (там же: 69, №254, Новг.).

Что касается неурочного времени, речь в данном случае может идти о праздниках. В праздник мыться никак нельзя. «Вот слыхивала, затопили баню, стали воду носить. Сколько ни носят, принесут, нальют, вроде много. Пойдут еще, ан, а воды опять нет, будто выливает кто. И так раз пять носили, потом догадались; банный хозяин, видать, не хотел, чтоб сегодня мылись. Так оно и было. Той день праздник был какой-то, так ведь в праздник мыться нельзя. Ну, что делать, и не стали мыться, так и ушли, и баню зря топили...» (там же: 58, №194, Новг.)

Неурочным для мытья временем считаются также пятница и среда: «В пятницу и в среду — как кровью моешься: Иисуса Христа на кресте распяли [поститься надо]. В воскресенье мыться нельзя [грех]. В субботу мылись, чтобы к воскресенью очиститься и идти в церковь» (Адоньева, Овчинникова 1993: 28, №61, №62, Арх.).

Правило девятое: ночью в бане делать нечего. Ночь — тоже неурочное время. Не любит банничек, чтобы кто, припозднившись, у него после двенадцати намывался: «После двенадцати в байну не ходя. Она ведь, обдериха-то, тожы хочет отдыхать, помыться хочет. Одна женщина мылась в бане после двенадцати, дак она ее за волосы вытащила» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 60, №200, Арх.). Быть выволоченным из бани за волосы за то, что пришло на ум ночью мыться, — это просто повезло. Как правило, банник таких нарушителей забивает камнями или сдирает с них кожу...

Не очень-то верится, правда? В самом деле, человеку городскому, от деревенского быта далекому, все это даже представить трудно... Хотите ощутить убежденность тех, кто — «носители» этих правил? Читайте, перед вами фрагмент рабочей записи (собиратель, судя по всему, проявил недоверие к информации как раз в отношении возмездия за ночное посещение бани):

Рассказчик. А вот вы знаити что? От я вам что скажу... От вы мне самое

поверити! От вы попробуйти никого не брать — в байню в двянадцать часов ночи сходите. Вы самы убедитеся... Только не бярите никого. Ну, от потом узнаити!

Рассказчица. От и увидишь етых рябят!

Рассказчик. Да, если хошь ты их посмотреть!

Собиратель. Там шишки, да?

Рассказчик. Когда сходишь — узнаишь, шишкѝ там иль не шишкѝ.

Рассказчица. Так-то когды попоздней моешься: «щолк, щолк, щолк!» Ужо да защолкають.

Собиратель. Не нравится, что поздно моются?

Рассказчик. А не знаю, понравитца — не понравитца... Может, вы понравитесь! От сходите, попробуйте!

Собиратель. А зачем защелкают?

Рассказчик. А чаго защолкають? Всё, оны уже пошли гулять, а ты там полошишься, им мяшаишь. Ну от оны там табе дадуть!

Рассказчица. Камнем в лоб!

Рассказчик. От и убедитеся. От вы и записываити такую штуку и проверити — точно...[8]

Теперь, надо полагать, вы понимаете, насколько серьезно отношение к банному кодексу. В отношении упомянутых здесь шишков, т. е. чертей, напомним, что и сам банник воспринимался как сила нечистая, и моющиеся в неурочное время (в праздник, не в свою смену, в ночь-полночь) его «товарищи» легко могут быть причислены к этой категории. Всех их — кого реже, кого чаще — именуют унифицированным *черти* или *бесы* (даже о домовом, которого привыкли числить «своим», и то говорили как о бесе-хороможителе).[9]

Многие рассказывают, что, проходя ночью мимо бани, слышали «с каким озорством и усердием хлещутся там черти и при этом жужжат, словно бы разговаривают, но без слов. Один прохожий осмелился и закричал: „Поприбавьте пару!“ — и вдруг все затихло, а у него у самого мороз побежал по телу, и волосы встали дыбом» (Максимов 1994: 47).

Если очень хочется, то как раз ночью в бане и можно, говорят, поглядеть на черта. Конечно, тут не обойтись без известного ритуала: «надо зайти в нее [в баню]... и, заступив одной ногою за порог, скинуть с шеи крест и положить его под пяту ноги» (Ефименко 1878; цит по: ОПСП, 164). Вот тут-то, надо полагать, и привидится. А

[8]Запись сделана от М. В. Быстровой (79 лет) и С. И. Быстрова (53 года) в октябре 1988 г. в д. Иструбищи Холмского р-на Новгородской обл., фрагмент приводится по: Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 245–246, № 213.

[9]У С. В. Максимова (1994), например, в «Нечистой, неведомой и крестной силе» все персонажи мифологических рассказов, начиная с домового и кончая русалкой, однозначно отнесены к силе нечистой. Что же касается «беса-хороможителя», то именно так именовали домового в старинных русских памятниках, таких как «Златая цепь» XIV в. (см.: Гальковский 2000: I, 72).



Рис. 16. Адская баня (наказание грешников в аду).

про то, как надо заканчивать встречу, нигде ничего не говорится, — видимо, в этом уже нет надобности.

Особо одаренным, как вы догадываетесь, никакие ритуалы не нужны, достаточно просто нарушить правило. «Тетка рассказывала: „Утром встаю, на самовар угли надо. Серенький свет, часа три–четыре. Дверь (в баню. — *А. Н.*) открыла — ой! — ладушки захлопал, заревел, захохотал". Я, гыт, закрестилась и *взапятки**, взапятки — и убежала. „Ну, не пойду теперь сроду больше за углями... Ну, едва прибежала!" Я ей говорю: „Дак че ты в баню-то ночью? Какой тебя понес?!" „Так углей [думала] нагребу: самовар ведерный..."» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 82, № 116).

• Правило десятое: <u>в чужой бане</u> — <u>просись</u>. Банник чужих не жалует, но, если попроситься как следует, — уважит, а случись что, и оборонить может от всей прочей нечисти: «Мужик сказывал, что пришел он в деревню, а спать негде, никто не пустил. Он пошел в байну, байна-то тепла, а сперва попросился у байны, чтоб пустила ночевать. Ночью слышит, полетели обдерихи на свадьбу и зовут: „Машка-Матрешка,

полетели с нами!“ А она отвечает: „Гость у меня“. Те говорят: „Так задери!“ А она: „Нет, не могу, он у меня попросился“» (Арх., Пин., д. Шардомень, запись 1984 г.). Гость есть гость, даже если не по нраву. К чести всех духов-хозяев (будь то домовой, леший или банник) заметим, что фактически нет рассказов, в которых кто-нибудь из них пренебрег бы хозяйским гостеприимством и отказал бы в крове и защите оказавшемуся «под его рукой», пусть даже на короткое время.

Проверка банника на гостеприимство дает положительный результат даже в тех случаях, когда речь идет о роженице. Рассказывали, например, как одна «родильница в бане мылась с ребенком и напросилась: „Банная староста, пусти меня в байну, пусти помыться и сохрани“. Вот байники идут и нацали ее давить. А банная староста говорит: „Зацем давите, она ведь напросилась, идите в другую баню, там не напросились...“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 58, №192, Усть-Цил.).

• Правило одиннадцатое: если банник зовет помыться — лучше не ходить. То ли натура тянет банника «на подвиги» (что-то давненько, мол, я никого не парил), то ли просто стих найдет и захочется вдруг компании, но известны случаи, когда он сам начинает зазывать в баню «помыться», прикинувшись кем-нибудь из своих. Тут уж лучше бдительности не терять и приглашений не принимать. Правда, в большинстве случаев происходит своевременное разоблачение, и сомнительное удовольствие попариться в одной компании с банником остается, к счастью, не реализованным... Одна девушка рассказывала: «Иду мимо бани, кричать мяня: „Мань, иди мойся!“

Мать ей кричала, звала в баню, голая выскочила: „Заходи, чаго не идешь?“ ⟨...⟩ Она говорить: „Я, маменька, щас... я щас приду!“ Приходит домой — все дома! Ой, лихонько мое! Приходить домой — мать дома. Она испугалась:

— Маменька, ты ж мяня щас в баню кричала!

— Да ты что, — говорить, — в бане никого и нету. Христос с тобой!

— Ну как же, ты выскочила голая, кричишь мяня: „Иди мойся!“

Мать говорить:

— Что ты, Христос с тобой, перекрястись, — говорить, — никого в бане у нас нет. Мы сегодня баню и не топили!

— Ну, — говорить, — зашла б я, не знаю, что б было!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 247, №215).

В принципе понятно, что было бы, если вспомнить, например, как черти зазывали мужика в третий пар, обещая попарить...

• Правило двенадцатое: не хвались, банник похвальбы и бессмысленного удальства не любит: «Дак вот в байну велено бояться ходить. Тоже старинный случай. Вот *запохвас** какой-то мужик ходил в баню в Новый год. *Озорко,** ну, опасно ходить. Так его коверкали, его загнуло в дугу. „Луку гну в дугу“ — вроде как восклицало-то ⟨...⟩ Моего отца в байны выпугало. Баня не рано была, в семь часов. Отец говорит: „Я наперед пойду один, я не боюсь“. Брат Матвей говорит: „Я, Калина, к тебе

приду". Пришел отец, а Матвей уж там сидит, намылился. „Опередил я тебя", — говорит. А отец обернулся, а скамейка суха, нет никого. Он выскочил взапятки, рубаху на леву сторону одел. А это он еще сказал, не боюсь ничего, а похвальное слово ни Бог, ни черт не любят» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 59, № 199, Арх.).

«Это тоже рассказывали. Спорились парни. Один (...) говорит: „Я ночью в баню схожу и кирпич возьму с печки". Ему говорят: „Нет, не возьмешь"... И он пошел ночью. Но и только стал брать кирпич-то, нечистый тут и выскочил: „Ты что здесь делаешь? Зачем?!" Но, кого же, банник его задавил тут. Он не пришел никово. Его ждали, ждали, ждали, ждали. Пошли, а он там лежит задавленный» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 82, № 114).

Баня всегда считалась хороминой нечистой: икон там нет и крестов никаких не делается ни копотью, ни мелом. Опять же, когда мыться в баню идут — и крест и пояс снимают, дома оставляют. Вот раньше, видно, потому и говорили: «В банюшку иду да аминь на головушке несу» (Адоньева, Овчинникова 1993: 32, № 91, Арх.). Мытся-то все равно надо, можно даже сказать «должно» — кто в бане не моется, не парится, тот за доброго человека не почитается.

Не только сама баня, но вообще все, из чего в бане моются — кадки, ушаты, шайки, ковши — все считается нечистым. Даже вода: «Пить в бане воды, приготовленной для мытья, хотя бы она была чистая, — нельзя. Также вода в рукомойниках почитается нечистою и ею нельзя даже выполаскивать посуду, а не только что пить» (Ефименко 1878; цит. по: ОПСП, 164).[10]

Чистая вода или нечистая — Бог весть, а что не простая, так это точно.

Про то, как старушка через эту самую банную воду глаза лишилась, знаете? Ну, если не знаете, так дело вот как было. Та старушка до старости дожила, и все никак ей было не побабить. А страсть как хотелось. И вот, идет она раз по лесу и видит на дороге лягушку, да толстую такую. Так она этой лягушке возьми и скажи: принесешь — позови меня бабить... Посмеялась.

И вот, ночью ее будят: вставай, старая, раз давалась бабить — иди.

Приводят ее в какой-то дом, там ребенок родился, и баня натоплена. Надо ей в баню роженицу вести. Что ж, пошли они. Только родильница ей и говорит, чтобы сама она водой в бане не мылась. Ну, нельзя, так и ладно... Глаз вот правый толь-

[10] Вода в бане, безусловно, соотносится с каменкой, а значит, и с самим банником. Взять хотя бы способ получения кипятка в курной бане: накаливали камни в каменке (!) и опускали в большую бочку с водой. Кроме того, вода, особенно та, что приготавливается для ритуального мытья, не набиралась где попало и как попало. Ее особенность видна по текстам обрядовых песен и причитаний. Так, в свадебном причитании, с которым невесту приглашали в баню, о приготовленной воде говорится: «Наносили... ключевой воды холодной мы из трех ключей подземельных» (Лирика русской свадьбы 1973: 229), или: «Как у нас воды наношено с тридцати да трех колодцинов, с трех веселых быстрых реценек...» (архив автора, Каргополье), и дальше объясняется. Нет сомнений, что такая вода должна была обладать магической силой.

ко — зачесался или что — той водой промыла. Набабилась она, роженицу и ребенка в дом привела. Хозяин радушно на стол угощенье ставит, на лавке постель стелит. А родильница опять: ничего не ешь — не пей и спать не смей — не надо, мол, тебе. Если же в сон потянет, так перекрестись и молитву сотвори. Поначалу-то бабушка перемогалась, а после уж больно спать захотелось... Сотворила она молитву, перекрестилась... и оказалась в лесу, на самой верхушке дерева. Ее проходящие рыбаки сняли. Вернулась она домой. И все бы ничего, да только правый глаз у нее стал видеть то, чего нормальному глазу не видать...

Пошла старушка под праздник в магазин, смотрит и видит, как черт из-под прилавка печенье ворует! Она возьми да и скажи о том продавщице. Та в недоуменье: ей-то не видно... А черт к бабушке — скок, да и спрашивает: ты меня видишь? А она говорит, — вижу. А каким, — спрашивает, — глазом? — Правым. Тут он ей глаз-то и выткнул... И стала старушка слепа (быличка дана в пересказе, оригинал см.: Сказки Терского берега Белого моря 1970: 72–73).

Даже само место, на котором баня стоит, повсеместно почитается за нечистое. В свадебном причете о бане с большим пониманием сказано:

... На болоте баня рублена,
по сырому бору катана,
на лютых зверях вожена,
на проклятом месте ставлена

(цит. по: Максимов 1994: 44)

«Все бесспорно верят, что банища — места поганые и очень опасные, и если пожару придется освободить их и очистить, то ни один добрый хозяин не решится поставить тут избу и поселиться: либо одолеют клопы, либо обездолит мышь и испортит весь носильный скарб» (там же: 48–49). Народ, что живет в северных местностях, и вовсе пессимистичен — случись построиться на банище, так банник ни жизни, ни покоя не даст и всю домашнюю животину передушит. И ничего тут не поможет: ни деньги по углам сруба, ни муравейник посреди двора, ни относы хлеба с солью.

На банище если и можно что поставить, так это только новую баню. А чтобы не чудил и не измывался хозяйнушка, закапывали ему под банный порог курицу: выбирали, чтоб была черная, душили и прямо в перьях, не ощипывая, закапывали подарочек. Уходили потом, пятясь и отвешивая поклоны... (там же: 45–46).

С выбором банного места вообще не просто. Ведь даже перемещали баню с одного места на другое с оглядом (что, если не придется баннику по нраву?), даже специальные слова «на перевоз» банного семейства были: «Хозяин, хозяюшка, милые детушки, пойдемте со мной» (Адоньева, Овчинникова 1993: 31, №85, Волог.). А когда новую баню ставишь, тем более, в оба смотри: «не у места» окажется — начнутся проблемы. Не сразу и догадаешься, с чего. «Построили одни баню, и в это

время заболела у них дочка. А под подушкой каждое утро мать находила кусочки сахара. Уже и покупать стали сахар песок, а все равно каждое утро мать находила сахар. А девочка все хуже и хуже себя чувствует. В это время в их доме остановился старик проезжий. У него-то и спросил отец, почему девочка болеет. Тот посмотрел и сказал сходить в двенадцать часов на кладбище, накрыть стол белой скатертью и поставить на него две рюмки и бутылку водки. Причем рюмки должны быть не граненые, не с рисунком, а простые, светлые. Все так и сделал отец. Стоит и ждет. Вдруг слышит: водка наливается. Он повернулся, а никого не видит. Смотрит, а рюмка уже пустая, и вдруг кто-то говорит: „Баня у тебя не на месте". Послушался ⟨...⟩ стал разбирать баню. А девочка помаленьку стала выздоравливать. И уже когда оклад разбирал, вышла девочка на крыльцо. Видно, правду говорил он, что баннику место не понравилось» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 83, № 117).

Про обмены вдруг вспомнилось — видно, в связи с больной девочкой. Часто истории про них пересекаются с историями про проклятых. Проклятые находят себе в бане пристанище: они живут там невидимо, развлекаются и даже выходят замуж. Правда, не все: оказывается, различия в судьбах проклятых зависят от того, крещеные они или нет. С некрещеными, говорят, черти живут. Как достигнут брачного возраста, так и живут «как мужья с женами», только невенчанные. А крещеных черти замуж взять не могут — нельзя. Некрещеные-то девки навек с нечистыми остаются, нет им возврата — совсем пропащие. А крещеные, те могут к людям вернуться, если найдется добрый человек не робкого десятка и от слова своего не отступится. Чаще всего такие «знакомства» да браки случались на Святках.

«В деревне Демидовой... Кологривского уезда, один парень на Святках ударился с другим об заклад, что в полночь пойдет в баню и принесет товарищу с каменки кирпич. Так и сделал. Страх напал, когда за порог ступил, но смелый был, подступил к каменке, только взялся за кирпич, его кто-то ухватил за руку.

— Отпусти, — говорит.

— Не отпущу, — отвечает девичий голос.

Парень опять:

— Отпусти, — говорит, а у самого зуб на зуб не попадает.

— Женись на мне, так и отпущу, — отвечает голос, — после не станешь каяться.

— Да как я на тебе женюсь?..

— Ты только пообещай...

— Ладно, женюсь, — ответил парень, а сам подумал: „Мне бы только руку-то освободить, а там ищи меня, проклятая".

— Помни же, ты обещался, — сказала и выпустила руку парня.

Тот выскочил из бани, пустился к товарищам и показал обожженный кирпич, заклад выиграл. Про обещание свое и думать позабыл, ходит по беседкам и с дев-

ками играет, о невесте банной и не думает. Но та сама ему напомнила, стала к нему ночью в подоконницу стучаться:

— Что же ты обещался, а нейдешь за мной?

Парень, было, на попятную, открещиваться.

— Разве ты такой бессовестный, — говорит проклятая, — обещался и слово не держишь? Мне теперь нельзя уже там жить.

— Почему?

— А такой у них обычай. Ежели кто пообещается жениться, так ту девушку выгоняют: „Ты не наша теперь, ступай к своему жениху“. Грех тебе будет, Федор, я на всю жизнь останусь бессчастной.

Совестно сделалось парню, пожалел душу христианскую, сказал своим родителям, те к попу, и дело быстро устроилось. Ночью жених с родителями и подъехали к бане, сарафан, рубашку и одежу для невесты прихватили; из предбанья жених крикнул:

— Выходи!

В ответ слышит:

— Дайте мне рубашку и одежу.

Подали. Скорешенько оделась и вышла девушка, красоты неписанной, поздоровалась с родителями и женихом. Сейчас же в сани, на село и утром обвенчались — крещеная она была, так что без всякой задержки обкрутил поп. И такая молодица оказалась, что всем на издивленье и парням на зависть.

О Масляной молодые ездят к тещам на блины. Жена Федора говорит:

— Запрягай коня, поедем блины есть.

Муж поусомнился:

— Куда ехать, в баню, что ли?

— Правду тебе говорю, — настаивает молодая.

Федюха запряг буланого и покатил с женою на блины.

— Куда править-то?

— А куда лошадка побежит, туда нам и надо ехать.

Часа через два приехали в чужое село, и лошадка сама приворотила к воротам попова дома, откуда на улицу блажной крик ребенка слышался.

— Здесь нам и блины будут, — промолвила молодая.

Сперва сама вошла в покои, а погодя и Федор вошел: как раз к блинам поспели. Поп с маткой приветили молодых, за блины посадили, все как следует — по-хорошему. А из другой горницы ребенок кричит, дурно кричит, блажно таково. Молодая полюбопытствовала: что, мол, младенец-то у вас шибко плачет?

— А уж такая она у нас сроду, — отвечает попадья. — Семнадцать годов живет, ничего не ест и не пьет, а только все плачет да верещит. Одно всего и есть дитя, да вот какое незадачливое уродилось.

Поели блинов. Молодая и говорит:

— Дозвольте мне дите ваше соспокоить.

Вынула из зыбки младенца, взяла на руки и начала с ним ходить по горнице, где поп с маткой сидели; а ребенок так и верещит, *ячит** блажью.

— Положь его, — молвила попадья, — не уймется.

Молодая подошла к передней стене, да как кинет младенца о печь.

— Ай, что ты это? — вскрикнула попадья.

Ан ребенок уж смолк, и на полу вместо младенца валяется чурка.

— Вот кто у вас кричал, — сказала молодая, — а настоящая-то, живая дочь, перед вами стоит.

Тут все дело и разъяснилось: матка-то, когда ребенку год минул, прокляла дочку, что та ей спать не давала, титьки просила. Большое благополучие через это Федор получил. Поп-то все деньги дочери оставил. И сейчас они живут — первый дом ихний в деревне, хлеба девать некуда, полон двор всякой скотины» (Домовые 1993: 85–91; записано Ф. Нефедовым не позднее 1899 г. в Костромской губ.).

Кроме места, где некоторым выпадала возможность найти себе жену, баня вообще слыла еще и местом приобретения особых знаний и умений.

Есть, например, представление, будто сам банник или банные черти могут научить тех, кто пожелает, на гармони играть... «Кто-то научил [парня], что ходи по ночам в баню играть, учитца. И научишься. Ну ён, парень, может быть, и у колдуна спрашивал... Ён пошел. Стал ходить в байню учитца играть. И, наверно, шишок там был — потому что знаю, что вот такой рассказ, что ён и говорит [парень]:

— А что мне тябе платить за ето, что ты меня научил играть в гармонь?

— А я, — говорить, — стану раком, а ты меня вдарь ногой в ж... И все.

Видишь. Шишок раком встал — етот и вправду, дурак, согласился, который учился-то. Вдарил яго ногой, сябе ногу и выбил. А ето каменка! Шишок яго и заставил в каменку бить ногой, чтобы... вот так и был кривой! А в гармонь-то все-таки научился, правда, играть. Знаити, ето вот шишики больше от бани. Зато и говорять, что в бани ничаго няльзя» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 247–248, №216).

Редко, но бывает, что в быличках косвенно указывается на связь колдуна с банником, вот они-то нередко вместе парятся. У одного парнишки отец колдовством баловался. А сын-то возьми да и скажи, что нету, мол, никого — ни Бога, ни шишков. «Вот колдун и стал говорить: „Я грешный человек, Бога не могу показать (Бога кто может показать), а грешка я покажу, шишка... Я вперед уйду в байню, а ты после за мной приди“. Ну, малец справился, попосля его и пошел. Баню открыл... А там шишок сидит с отцом на скамейке! Вот малец назад, и белье забыл, и убег домой. И пока в армию не взяли, в баню свою не ходил мыться» (Власова 1995: 50, Новг.).

Именно в бане обычно происходило своего рода посвящение в колдуны, передавалась колдовская сила. Историй об этом известно немало, и рассказывают их,

как правило, с потрясающими воображение деталями. Вот, пожелала одна женщина принять силу от заболевшей колдуньи и в назначенный день явилась, как было назначено, в баню. А там уже все собрались: на верхнем полке старая колдунья лежит, а на лавке сидит здоровенная, в человечий рост, лягуха… глаза у нее прямо огнем горят. Третьей в бане баба-посредница. Приказали тут «ученице» донага раздеться и лезть той лягушке в пасть. Колдунья как приказала, так лягушка с лавки — прыг! и пасть распахнула — хоть на тройке въезжай… Ну, баба полезла и через задний проход вылезла. Да не один раз, а трижды! Посредница после ушла, а колдунья-то «ученицу» спрашивает: «Все ли ты видела, все ли теперь знаешь?» Та сразу же все поняла и стала с тех пор колдовать (РКВЗ, 186).

Не менее живописна и другая история о получении силы. В Михалкином Майдане был известный колдун Иван Сухин. Рассказывали, что по молодости влюбился он в девушку, что работала на скотием дворе у князя Кочубея. Так его прихватило, что решился идти за помощью к колдунье Середе, умевшей привораживать, а жила она в десяти верстах от Михалкина Майдана. «Не успел пойти, как ночью ему явился кто-то в образе Середы и зовет его в баню. Там он увидел массу „шутов"… Вылезла голова, вроде лягушки, а пасть более ведра. „Шуты" его туда втиснули. Он чуть не задохся. Потом голова его изрыгнула, и ее стало рвать. „Шуты" заставили его есть эту рвоту. Он съел. С тех пор „шуты стали за ним ходить", т. е. сделались его помощниками. Он был сильный колдун, мог на лету остановить птицу, и она падала мертвой, летом шел по реке, как по дороге» (там же).

Когда слышишь или читаешь такие истории, становится ясно, что от будущего колдуна, чтобы все перенесть, требовались недюжинная сила воли и неодолимая тяга к колдовству. Далеко не каждый был в состоянии переступить через себя и выполнить все желания нечисти.

Если судить по рассказам, сила, которую в бане получает человек, без сомнения дается ему от нечистого. Хозяин бани здесь почти никогда не упоминается, зато в который раз находит подтверждение особый статус бани как некоего контактного центра, своеобразного «перекрестка», места пересечения миров. Если колдуну даются в помощники шишки — «рабочая сила»,[11] то получает он их как раз в бане. Бывает, что в рассказах баня приобретает чуть ли не вид этакой лавочки по раздаче шишков, где на вопрос «Сколько надо?» получают ответ: «штуки три–четыре…»

[11] Иногда только диву даешься, сколь разнообразны и оригинальны названия (надо признать, не без юмора), данные народом мелким помощникам колдуна: *они, товарищи, хохлики, мальчики, гимназисты, солдатики* и т. д. Описания их «внешности» да деловитости — имечкам под стать. Одного, про которого говорили, что он «шишиков знал», попросили показать своих сотрудничков. Тот чиниться не стал и, предупредив, чтоб не пугались, вызвал… «У всех синие короткие штанки, красные рубашечки, стоят шеренгой, как маленькие человечки, пятьдесят–семьдесят сантиметров. Они как будто скачут, а не ходят. А как приказал — шум да ветер. „Я их в лес пошлю, они ходят, хвою считают. Им надо работу давать. А как надо, я их позову, так вихрь идет"» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 90, №343, Усть-Цил.).

Правда, три-четыре — числа, судя по всему, неудовлетворительные, и те, кто «на выдаче», могут заартачиться и заявить, что меньше чертовой дюжины не дают (см.: Криничная 2001: 33).

Черти, раздаваемые в бане в помощь колдунам, и банные черти в быличках, как правило, различаются. *Анчутки* беспятые (лапки у них вроде птичьих) считаются чертями банными, хотя *анчут* — это одно из наиболее распространенных названий нечистой силы и черта, в частности.[12]

Анчутки у банного хозяина, как черти у колдуна, вроде подручных, на подхвате: если наказать кого за нарушения — пожалуйста! они уже тут как тут. Рассказов про их проделки уйма, вот к примеру: «У нас такая женщина была... И она все оппа ходила мытца — никого не брала! ни дятей, никого! И она пошла в третий пар. А уж солнышко было за лес. И представляити, яе принесли мертвую! Яе защекотали! Вот ети самыи нядобрики! ⟨...⟩ А Федьку нашего с байны тоже оны выгнали! ⟨...⟩ Тольки залез на полок — как началось сыпатца: и грязь, и каменья, и всё на свете! Он с байни голый и прибяжал!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 244, №210). А вот еще одна, очень известная история: «Одна девка безстрашная в баню пошла. „Я, — говорит, — в ней рубаху сошью и назад вернусь". Пришла в баню, углей с собой взяла, а то ведь не видать ничего. Сидит и раздувает их. А полуночное время. Начала наскоро рубаху сметывать, смотрит, а в корчаге уголья маленькие чертенята раздувают и около нея бегают. Она шьет себе, а они уж кругом обступили и гвоздики в подол вколачивают. Вот она и начала помаленьку с себя рубаху спускать с сарафаном, спустила да в сшитой рубахе и выскочила из бани. Наутро взошли в баню, а там от сарафана одни клочья» (ОПСП, 381, Симб.). Совсем не так часто, как, например, в сказках, смелость да находчивость помогают человеку взять верх над банником или банными анчутками. Один «безстрашный» так зашел, а обратно не вышел, да еще и комментировал для пытавшихся его вызволить все этапы собственной гибели (там же).

Банные черти, по сути дела, представляют собой «сниженный и разветвленный образ банника» (Криничная 1991: 11). Не зря же в просьбе пустить помыться вместо банника может фигурировать черт: «Чертышко-перевертышко, пусти в байну помыться, попариться» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 70, №261, Арх.). Если при этом помнить об огненной природе банника, то странная (пусть редко, но отмечаемая в рассказах) «радужность» банных чертей и каменка, откуда они резво «высыпают», совершенно естественны. Раздуваемые угольки, если вдуматься, как раз так свой цвет и меняют: «Бабка одна рассказывала. Пошла она раз в баню, начала мыться, а из-за каменки как полезли беси, разноцветные такие.

[12] В «Новой АБЕВЕГЕ...» М. Власовой высказывается предположение, что русское слово *анчут* имеет литовские корни: *Ančiūte* — «маленькая утка», а *анчутка*, чертик, быстро передвигается (= летает) и к тому же связан с водой, болотом, как всякая нечистая сила: «очень любит воду и не упускает возможности поселиться в ней» (Власова 1995: 39).



Рис. 17. Колдунья дает мужику чертенка.

Сначала серые, потом стали синие, маленькие такие, с ладошку, а потом красные полезли и начали ее кусать...» (там же: 68, № 247, Новг.).

От банной нечисти как источника болезней читались в бане заговоры: «...Коль чисто злато серебро, толь бы чист был раб божий (имярек), ныне присно и вовеки веков. Аминь. Коль чисто куриное яйцо, толь бы гладок и чист раб Божий младенец, отойди свороба и чесота, вся байняя нечисть окаянная, вереда вся байняя, ни чесота, ныне присно во веки веков. Аминь» (заговор от чесотки; Адоньева, Овчинникова 1993: 128, № 509, Арх.).

Однако именно для него, для нечистого, топили девушки на Святки баню и ждали его париться. Если благодарить станет ожидавшую у дверей девушку и попросит чистого белья — в этом году замуж идти, а потребует гроб подать — года ей не прожить (Власова 1995: 51, Сургут.). С чертями было связано и другое святочное гаданье: идут на Святки девки с огнем в баню, снимают с себя все «замки» (снимут и пояс, и крест, расплетут косу, все пуговицы расстегнут) и ставят одну в середку, а вокруг нее «водят черту и поочередно смотрят в зеркало со словами: „Придите сорок чертей с чертенятами, из-под пеньев, из-под кореньев и из других мест“. Черти должны „показать“ суженого... Если при этом покажется, что в зеркале выходит черт по пояс, то надо „расчерчиваться“ (это опасно); если же черт является в полный рост, то девушкам грозит гибель» (там же: 50, Костр.).

К самому баннику тоже шли, чтобы узнать судьбу. Одним из наиболее известных гаданий на Русском Севере было такое: девушки отправлялись к бане с землей, взятой из-под девяти столбов забора, кидали ее на каменку и приговаривали: «Байничек, девятиугольничек! Скажи, за кем мне быть замужем?». Потом, завернув подол на голову, и обнажив ягодицы, входили пятясь в баню со словами: «Мужик богатый, ударь по ж... рукой мохнатой!». Огладит волосатая рука — жених будет богатым, безволосая и жесткая — жди жениха бедного, да на расправу скорого, а если мягкой рукой коснется — характер у суженого будет мягкий, уступчивый (Зеленин 1991: 404). В других местах считалось так: если банник ударит когтистой лапой — это к беде, а если нежно погладит большой мохнатой ладонью (шерстка на ней мягкая, будто шелковая) — к счастью (Максимов 1994: 47, Волог.). Похожий способ гаданья — сунуть в бане руку в самый дымник: «если голой рукой схватит — бедный (жених), мохнатой — богатый» (Криничная 1991: 19, Арх.).

С гаданиями в бане связана кошмарная история про то, как банник девке «кольца сажал». Дело так было: «Собрались о святках девушки на беседу, а ребята на что-то рассердились на них, — и не пришли. Сделалось скучно, одна девка и говорит подругам:

— Пойдемте, девки, слушать к бане, что нам банник скажет.

Две девки согласились и пошли. Одна и говорит:

— Сунь-ка, девка, руку в окно: банник-от насадит тебе золотых колец на пальцы.

— А ну-ка, девка, давай ты сначала сунь, а потом и я.

Та и сунула, а банник-от и говорит:

— Вот ты и попалась мне.

За руку схватил и колец насадил, да железных: все пальцы сковал в одно место, так что и разжать их нельзя было. Кое-как выдернула она из окна руку, прибежала домой впопыхах и в слезах, и лица на ней нет от боли. Едва собралась она с такими словами:

— Вот, девушки, смотрите, каких банник-от колец насажал. Как же я теперь буду жить с такой рукой? И какой банник-от страшный: весь мохнатый и рука у него такая большая и тоже мохнатая. Как насаживал он мне кольца, я все ревела. Теперь уж больше не пойду к баням слушать» (Максимов 1994: 47–48, Волог.).

Кроме предсказаний будущего, у банника кое-что особенное имеется — вещь чудесная, с давних времен народной мечтой обласканная. Про неразменный рубль от домового еще не забыли?[13] Ну вот, а от банника, говорят, можно добыть шапку-невидимку.

По одним поверьям, ее надо прямо со спящего банника снять и на себя надеть. Все это, разумеется, нужно проделать в ночь, и не в какую-нибудь, а в Пасхальную, прямо во время заутрени или сразу как обойдут с плащаницей церковь. И, главное, свечу не забыть! Весь путь (от церкви до бани и обратно) надо проделать с горящей пасхальной свечой в руке. И не дай Бог, если свечка погаснет или банник проснется прежде, чем воришка успеет вернуться в церковь, — умереть ему тогда смертью мучительной (Криничная 1991: 14). Можно, конечно, обойтись и без пасхальной свечи, только заполучить таким способом шапку-невидимку, будет, пожалуй, еще того страшнее: идти надо в баню все в ту же Пасхальную ночь, положив в левый сапог нательный крест и нож. Как зайдешь да сядешь лицом к стене, надо все проклясть, тогда выйдет к тебе из-под полка сам банный хозяин и вынесет шапку-невидимку. Говорили еще, будто тот, кому шапка далась, после Вознесения может стать колдуном (Власова 1995: 50).

По другим поверьям, один раз в год банник снимает с себя сей ценный головной убор и кладет на каменку просушить. Если храбрости набраться и в самую полночь в баню отправиться, то можно шапку-невидимку к рукам прибрать (Криничная 1991: 14). Есть здесь, правда, одна загвоздка: банник не сообщает, когда шапка-невидимка будет положена на просушку. Так что, в какую из ночей идти на дело — думайте сами, решайте сами...

[13]Между прочим, воронежские крестьяне считали, что «беспереводный» целковый, то бишь тот самый неразменный рубль, находится как раз у банника. Расстаться с ним он готов только за особого рода «подарочек»: нужно спеленать черную кошку и в полночь подбросить «ребеночка» в баню с приговором: «На тебе ребенка, дай мне беспереводный целковый!». Ну а дальше — успеть выбежать и крестом очертить себя три раза (Власова 1995: 50).

Глава 4

ВОДЯНОЙ

хозяин воды; каков из себя водяной; «и тут выхожу я — весь... пестрый и лохматый»; когда водяной просыпается, и что ему надобно; не суйся в воду, не зная...; «спасение утопающих — дело рук самих утопающих»; о богатом мужике-водяном; кто там ловит мою рыбу?; мельниковы заботы; про пчел и про мед; семейно-брачные отношения; несколько слов о водяницах и русалках

Я — водяной, я — водяной,
Никто не водится со мной,
Внутри меня водица —
Ну что с таким водиться...
Обидно, правда?!
Ах, жизнь моя — жестянка,
А ну ее, в болото!
Живу я, как поганка,
А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота!..

Песенка водяного из мультфильма «Летучий корабль» (автор — Ю. Энтин)

Если честно, то такого водяного, полного обаяния, с душой, истосковавшейся по дружбе и рвущейся в полет, можно встретить разве что в мультяшном мире. Настоящий хозяин вод, выплывающий из глубин древнего мифологического сознания, напрочь лишен налета благостности, он страшен, коварен и жесток, как сама стихия, которую он воплощает. Какое там дружбу водить!.. К водяному со всем почтением надо, потому что без воды, как известно, «ни туды и ни сюды». Еще до недавнего времени у народов, живущих «от воды», сохранялся запрет ругать свою воду (местную реку, озеро, пруд и т. п.), похулишь — так вряд ли жив останешься, а если и будешь жив, так от болезней вдоволь настрадаешься. Вот почему если и



Рис. 18. Водяной.

вырвется сгоряча или по незнанию грубое слово, так в опровержение со всех сторон сразу звучало многократно повторяемое: «У нас водушка хороша, у нас водушко хорошее...» (Криничная 1994: 9, с.-рус.).

О том, что случалось, когда нарушали запрет, видно из такой, например, истории: «Шла однажды женщина по деревне. Проходила она как раз по тому месту, где речка течет. Споткнулась она и нехорошо воду обругала. Стала она после этого сильно болеть. Старые люди посоветовали ей сходить к знахарю в соседнюю деревню. Он мог по нательному кресту распознать, какая у человека болезнь приключилась. Пришла женщина к знахарю, посмотрел тот на крест и сказал, что болезнь эта от воды приключилась. Обругала женщина однажды воду, вот и болеет. Посоветовал знахарь сходить на то место, где споткнулась эта женщина, и сказать какие-то слова, т. е. извиниться перед водой. Выполнила она все, что знахарь говорил, и с тех пор не болеет» (быличка записана в 1979 г.; Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 105, №400, Волог.).

Хотите знать, с какими словами ходили просить у воды прощения? Вот, что написано о старинном обычае испрашивать «прощение у воды» в книге этнографа XIX в. С. М. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила»: «Обычай этот покоится на том убеждении, что вода мстит за нанесенные ей оскорбления, насылая на людей болезни. Поэтому, чтобы избавиться от таких болезней, на воду опускают кусочек хлеба с низким поклоном: „Пришел-де я к тебе, матушка-вода, с повислой да с повинной головой — прости меня, простите и вы меня, водяные деды и прадеды!" — Отступая по одному шагу назад, до трех раз повторяют этот приговор с поклоном и, во все время заклинаний, стараются ни с кем не разговаривать, не оборачиваться и ни одного раза, конечно, не налагать на себя крестного знамения» (Максимов 1994: 205–206). Прощение, заметьте, просили как у воды-матушки, так и у водяных дедов-прадедов. Ну а почему при этом не накладывали на себя крестного знамения, и это считалось чем-то само собой разумеющимся, вам уже должно быть понятно, если же нет — вернемся к этому позже.

По народным представлениям хозяин воды нередко ассоциировался с самой водой. В старинных быличках водяной нет-нет да и подкатится в виде набегающего

вала чуть не к самым ногам, а то и мимо пройдет шумным потоком или уйдет-просочится тонкой струйкой, оставив по себе лишь мокрое место. Случаются даже ситуации, когда сам водяной предупреждает мужиков, чтоб не натворили глупостей, когда он появится в непривычном виде: «Подымется, пойдет на берег вал, за ним другой (...) второго не троньте — это я буду» (Криничная 1994: 9, с.-рус.). А про одного водяного, судя по всему, весьма легкого на подъем, рассказывали: «Как он уходил, то в озере не оставалось ни капли воды до тех пор, пока не возвращался назад. Но как только возвращался в свое место, то приводил назад воду и рыбу»[1] (там же: 8, карел.).

В рыбьем облике водяной, бывало, тоже показывался. Возьмет, да и скинется этакой громадной «пудовой щукой», у которой нет «наростного пера», или напоминающей налима, со всех сторон обомшелой тварью. Узнать водяного в такой рыбине помогают не только ее впечатляющие размеры, но и настораживающее явно неадекватное, как сейчас сказали бы, поведение.

Так, вопреки рыбьему обыкновению, она всегда держится мордой «не против течения, а по воды» (Влад.). Будучи замороженной, рыба-водяной оживает: «Как-то я семь карасей споймала *мордой**, зимой. Заморожены были. Домой пришла — глядь! — живые. Дед мне: „Отнеси рыбу обратно, мол, тут главарь ихний. Дедка сам и отнес в реку. Как сбухают в воду через лед и исчезли!“» (Былички и бывальщины 1991: 38, № 12, Перм.). И это еще не все. Известны случаи, когда, оказавшись пойманной, такая рыба заводит с поймавшим разговоры: «Один мельник ловил рыбу ночью. Вдруг к нему в лодку вскочила большая рыбина. Мельник догадался, что это водяной, и быстро надел на рыбу крест. Рыба жалобно стала просить мельника отпустить ее... Наконец он сжалился над водяным, но взял с него слово никогда не размывать мельницу весною» (Власова 1995: 93, Новг.).

Давайте вернемся на мгновенье к водяному из мультфильма. Теперь, когда про его связь с «водицей» все более или менее ясно, несколько слов стоит сказать про то, как согласуется мечта мультяшки воспарить с реально существовавшими представлениями о летучести воденика. Можете верить или нет — дело ваше, но те, кому

[1]Описывая теснейшую взаимосвязь водной стихии с ее хозяином, в качестве яркой иллюстрации стоит упомянуть пушкинскую сказку «О рыбаке и рыбке...». Там мастерски показано, как раз от разу усиливающаяся на море непогода отражает нарастающее раздражение морской государыни. Народ давно подметил, что по «поведению» воды можно судить о настроении ее хозяина: рябит вода — сердится водяной; тины много нагнало — так это он в сердцах волосы на себе драл, чесался; пена пошла по поверхности реки — слюни распускает; вода прибывает, на подъем идет — значит, водяной женится, свадьбу завел; мутным валом пошла вода по реке — резвится хозяин, носится на конях, гуляет... Все это естественно включается в текст мифологического рассказа: «Водяные любят иногда пошалить (...) Вощерма [река] вдруг зашумела, поднялась, вышла из берегов, и пошел по ней страшный вал, который на пути своем прорвал все плотины на мельницах... сорвал все мосты. Мужички поглядят на все разрушения по Ващерме да и примолвят: „Дьяволы эти водяные! Небось не по-нашему разгулялись со свадьбой-то, да и поезд-от, знать, через горлышко хватил; вишь, как разомчался“» (Власова 1995: 93, Вят.).

приходилось видеть водяного в рыбьем облике, утверждают, будто у него есть крылышки, летит-де над водой нечто вроде «толстого бревна с небольшими крыльями» (Волог.). Скептически настроенные умы, разумеется, находили достойное объяснение этому феномену. Рассказывали, к примеру, следующее: «Раз видели такую рыбу крылатой (в Двинской волости), видели все до единого, и ни один человек не дерзал к этой реке подходить. Нашелся смельчак, который и разобрал, в чем дело: оказалось, что ястреб вонзился когтями в огромную щуку и столь глубоко и крепко, что не мог их вытащить из рыбьей спины в то время, когда погружался в воду. Там он захлебнулся и погиб, а затем, мертвым телом с распростертыми в предсмертных судорогах крыльями, закоченел и стал появляться таким образом на щуке под водою и над водою...» (Максимов 1994: 80, Влад.).

Такой вот приключился «сеанс черной магии с непременным ее разоблачением», вернее просто разоблачение с кратким упоминанием того, что разоблачали, ведь перед нами не сам народный мифологический рассказ, а комментарий по поводу слышанного. Причем комментарий человека стороннего, чуть ли не самого собирателя. В настоящей же быличке важным оказывается совсем другое, в ней живет убежденность человека, знающего о предмете разговора не понаслышке. Так, к примеру, у слушающего или читающего описание внешности водяного, невольно возникает ощущение, что рассказывает очевидец; судите сами: «Он па всякому бывает. Высунет голову на сушу и паложит. Цветам бывает синий или, как налим, цвятной, ета летом окала Пятрова дни, кагда жаркие лучи. У няго есть два уса толька. Он пахож на рыбу с хвастом. Снизу у няго два крыла...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 54, №164, эст.)

Рыбий или птичий облик водяного и соответствующие черты в его антропоморфном облике (чешуя или рыбий хвост, птичьи крылья или перепончатые лапы) отражают древние представления о рыбе или водоплавающей птице как о «звере», живущем в воде, и соответственно являющимся «хозяином», т. е. божеством, этой стихии.[2]

[2]Водяной — существо, безусловно, обладающее способностью к оборотничеству, и следовательно, легко может принимать любое обличье. Встречаются рассказы о водяном, явившимся не только рыбкой, птичкой или человеком — «горбоносым старым стариком» (Поволжье), здоровым мужиком, «только с лица черен» (Олонец.), «длинноволосой женщиной» (Яросл.) или «недоросточком с пестрыми волосами» (Вят.), но и собакой (Арх.), свиньей (Новг.), черной кошкой (Волог.), коровой (Вят., Смолен.) и даже лошадью (Новг.). У одной женщины «...мать шла домой, подходит к деревне, а там пруд. Она глядит, тащит сила лошадь за хвост. Это чудо водяное было. Ее на берег вытащат, а она опять в воду упадет. Видно, так надо было» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 54, №165, Новг.). Сильное впечатление в данной истории производит даже не сам факт увиденного и не уверенность в «чуде», а мотивация поведения «чуда», которую дает рассказчица...

Расхаживая человеком, хозяин воды откровенно демонстрирует элементы животного облика — то у него повышенная лохматость, то коровьи рога и коровий же хвост, а то ноги собачьи или лошадиные. Вобщем, если судить по быличкам, смешанный антропо-зооморфный облик оказывается

В очерке А. Харитонова о верованиях крестьян Шенкурского уезда (1848 г.) приводится история, в которой, по иронии судьбы, именно рыбо-птичьи «составляющие» сложились в традиционном сознании в антропоморфный облик водяного: «Два мужика *лучат** рыбу. Один, стоящий на носу с острогою, снял шапку, перекрестился набожно и махнул товарищу рукою грести от этого места прочь. Когда они отплыли с полверсты от места, носовой, обращаясь к гребцу, спросил:

— Видел?

— Нет. А что?

— Да разве не видел человека: лежит на дне, и руки распустил; не мертвое тело — шевелится! Кому быть, *опричь** водяного!

Пришли мужички в деревню: „видели водяного, в озере нечисто“ и рассказам нет конца.

Дня через два, некоторые из рыболовов посмелее отправились досматривать чудо. Носовой, увидя что-то, действительно похожее на человека, лежащее на глубине двух сажен, сильно *тял** острогою. На остроге необычайная тяжесть, вынули, смотрят: огромная щука держит в зубах лебедя. Плывшего лебедя она схватила зубами и, после упорной с обеих сторон борьбы обессилевшая, она, наконец, упала на дно; а распущенные крылья лебедя в легко волнующейся воде, при свете огня, показались мужикам за движущиеся руки человека. Вот и все!» (Харитонов 1848; цит. по: ОПСП, 156–157, Волог.).

Человеческую внешность *водяного хозяина, царя-водяника, водяного дедушки, дедки водяного дьявола, водяного лембоя**[3] традиционно отличают горящий взор, необычное общее цветовое решение и потрясающее обилие растительности.

С первым отличием все достаточно просто, оно и отличием-то может быть названо лишь в том смысле, что отличает всю «иную» силу от живых. Если вспомнить описания светящихся очей домового, банника, лешего и дополнить описаниями взглядов прочих мифологических персонажей, становится ясно, что глаза водяного вполне соответствуют принятой «норме», т. е., как у всех духов, они «так и горят», «подобно раскаленным угольям», «красные, большие, в человеческую ладонь», «так

явлением нормативным. Что же касается водяного в виде полурыбы-получеловека (это когда верх как у людей, а вместо ног — рыбий хвост), ну, вроде типичного европейского облика русалки, то для такого даже особое название есть — *навпа* (Смолен.) или *павпа* (Костр., Нижегород., Том., Якут.). Второе без всякого сомнения является искажением первого, а первое, напомним, связано с понятием *навъ*, т. е. покойник, и следовательно, характеризует водяного как покойника, подчеркивает его принадлежность другому миру.

[3]Как и в случае с домовым, названия водяного могут отражать и его принадлежность привычному месту обитания (равно как и их взаимопроникновение), и его соотнесенность с миром предков (он — дед, дедушка), подчеркивая при этом его важный статус и древнее величие (он не просто хозяин древней и могучей стихии, но и владетель душ умерших, а по древним представлениям и душ, ожидающих рождения), а также отражать и более поздние, появившиеся под давлением христианских верований представления о водяном как о черте со всеми вытекающими отсюда функциональными особенностями.

и искряться, как звезды, то затухнут, то загорятся» (Власова 1995: 94; Криничная 1994: 12).



Рис. 19. Разговор с водяным.

На втором отличие нельзя не остановиться подробнее, поскольку волосатость водяного выглядит впечатляюще даже на общем фоне шерстистых домовых, банников и леших. Вот, к примеру, покажется водяной щукой. Какая, казалось бы, на щуке шерсть? А выглядит такая рыбина заросшей и замшелой, словно старый выворотень. Волос на водяном повсюду — сущая пропасть: тут и борода, и шевелюра, и «весь он мохнатый, ровно метла». В общем, чесать — не перечесать. Народ, знающий про все это, так рассказывает: «Он лохматый-прелохматый» — волосья-то предлинные, длинные... Станет он свои кудри расчесывать чесалом (гребнем), ну и *запутляется*,* потому горазд кудрявый уродился... Сучья-то чесало самое и есте, ему таким не дойдет, каким у нас бабы да девки чешутся, потому башка больно неохватиста, что твой котел... Ну вот, как он чесанет себя с сердцов-то... волосья

на сучьях и остаются ⟨...⟩ Он вытащит-то прядь, а на место ее чуть что не копна вырастет» (Власова 1995: 93, Новг.).

Имея непокорные кудри «до пят» — «только что одна личность видна, а волосы по всему» (карел.), — водяной часто и, как уже можно догадаться, не без удовольствия занимается их расчесыванием. За это, прямо скажем, не очень-то мужское занятие (обычно за расчесыванием волос застают водяниц и русалок) он даже получил особое прозвище — «кум Гребень» (Успенский 1982; цит. по: Власова 1995: 94).[4] Ныне прозвище как-то подзабылось, да оно и понятно, потому что пик популярности рассказов о гребне водяного (о том, как эта штука выглядит, о ее необычных свойствах, о случаях попадания сего предмета в человеческие руки, и о последствиях таковых случаев), по мнению исследователей, пришелся на теперь уже весьма отдалившийся от нас XIX в.

Кстати, предупредим на всякий случай, если приведется вдруг найти гребешок, лучше сразу и без сожалений вернуть его хозяину (равно как и гребень русалки), иначе нашедшего ожидает немало проблем.

Что же касается третьего отличия — своеобразного окраса шкуры водяного, то для начала надо упомянуть о переливчатости того, что его тело покрывает: «Тело такое, переливается, как рыбья чешуя, но это не чешуя...» (Сиб.). По сути дела о той же переливчатости говорят и уже приводившиеся здесь описания, типа: «цветам [он] бывает синий или, как налим, цвятной...» (Эст.) или, что объявиться водяной может «недоросточком с пестрыми волосами» (Вят.) и т. д. Эти пестрота и переливчатость легко могут сойти за этакую «побежалость» — переход от одного цвета к другому. Возможно, все объясняет специфика отношений водяного с Луной: будучи хозяином водной стихии с ее приливами и отливами, водяной не может не испытывать влияния лунных ритмов... Считается, что на молодом месяце водяной и сам молодой и соответственно волосом зелен, а когда луна на ущербе, он делается стар и сед (Максимов 1994: 82, Орлов.).

Надо полагать, что утверждение, будто на воденике «шерсть белая» (совсем как на домовом), принадлежит как раз тем, кому довелось повстречать его на старой

[4]Из образцов мирового фольклора хорошо известно, что чесание волос всегда было занятием колдовским, дающим власть над разного рода силами, в том числе над некоторыми стихиями, и, без сомнения, активно воздействующим на окружающий мир (дожди, наводнения, бури и т. п.), во всяком случае: «пока русалка чешет волосы, с них струится вода, затопляя все вокруг» (Даль 1880). Даже если оставить в стороне расчесывание волос как магический акт и связь волосатости с плодородием, не вызывает сомнения то, что гребень русалки или водяного сам по себе — предмет магический. Несанкционированное обладание им приносит обычному человеку всяческие беды и несчастья, о чем и свидетельствуют все бытующие рассказы. В одной быличке, например, у рыбаков, прибравших к рукам русалочий гребешок, в одночасье спутался невод, и лов стал невозможен, пока наконец не догадались возвратить гребень владелице (Власова 1995: 300, Орлов.). В принципе, даже просто увидеть водяного или русалку, чешущих волосы на прибрежном камне, расценивается как дурной знак: заболеет или утонет кто, год будет неурожайный, или война, и т. д.

луне (Тул.). Но о белом цвете волос или одежды мифологических персонажей и о том, что белый маркирует не только преклонный возраст и дряхлость, но и принадлежность другому миру, нам уже ранее приходилось говорить. А вот на зеленом колоре волос водяного, пожалуй, стоит немного остановиться. Столь экстравагантное цветовое решение шевелюры, бороды и всей прочей растительности на теле водяного имеет, по глубокому народному убеждению, более чем простое объяснение — тина... «Это волосы евоныи» (Новг.), «у него борода ... как трава-то растет, тина-то сама. Вот с этой тины борода длинная. Волосы большие, тоже с этой тины...» (Сиб.), «Он, верно, зеленый весь. Ну, так всегда в воды, так как же!..» (Новг.).

Итак, возвращаемся к исходному — все дело в воде, и даже цвет шкуры водяного, судя по всему, находится в зависимости от нее:

- белый — от прозрачной, поблескивающей на свету живой струей;
- зеленый — от такой, какой она бывает, когда застоится и зацветет;
- иногда синий — такая она в толще на хорошей глубине;
- и очень часто черный — как в омуте или незатянутом «окошке» трясины на болоте.[5]

Воде, как известно, вообще свойственно менять цвет в зависимости от освещения, а шкура водяного, похоже, имитирует «игру» красок, и словно камуфляжная форма помогает хозяину воды оставаться невидимым. Вся эта его переливчатость напоминает блики на воде в солнечный полдень или в лунную ночь. Кстати, лунные ночи водяному очень нравятся. В такую ночь, говорят, ему в воде не сидится, он вылезает на берег и, глядя на лунный свет, чешется и ведет сам с собой долгие беседы...

Конечно, не только лунные ритмы влияют на «жизнь» водяного. Будучи духом

[5]Синим водяного видят довольно редко (при этом речь идет не о цвете волос, а о нем самом) и этот цвет указывает на несомненную связь водяного с умершими: синим мужиком обычно называют покойника. Следует добавить к этому синяки, которые водяной оставляет на телах утопленников и которые воспринимаются как несомненные знаки насильственной смерти. Кроме водяного такие характерные следы на теле человека оставляет еще только один персонаж мифологических рассказов — домовой; и в этом случае их появление аналогично считают знаком смерти (см. об этом: Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 136). Описания, подчеркивающие черноту водяного: «он как человек, но почернее...», «с лица черен...», «черный только», «такой весь, как в черной шубе...» и т. д., должны, по всей видимости, считаться поздним, традиционно христианским решением. Они упрощают образ и максимально сближают водяного с обычной нечистой силой, в поздних быличках он все чаще принимает характерные черты черта. Тем более, что для Русского Севера, где собственно и был прежде сильно развит культ водяного, с приходом христианства именно вода становится основным местом обитания всей нечисти. Большой интерес в этом смысле представляют рассказы, в которых водяной в нелегкой борьбе за жизненное пространство призывает на помощь священника с крестом (Барсов 1874: 90). Возвращаясь к синему цвету, подчеркнем, что здесь он максимально сближается с зеленым и черным. Во всяком случае, древнерусские письменные источники знают и *синего* (синец), и *зеленого*, и *черного* беса, что подтверждает и иконография. Все три цвета естественно воспринимаются как цветовая символика того, «иного» мира.

стихийным, он в гораздо большей степени зависит от ритмов сезонных: он деятелен летом, но спит зимой, как спит под толщей льда речная и озерная вода в купе с большинством водных обитателей.[6] Эти представления намного древнее тех, по которым водяной со всем семейством в лютые холода вынужден покидать «дом родной» накануне Крещения. Говорят, чтобы не погибнуть от водосвятия, он выбирается из воды более чем на сутки, и возвращается обратно лишь тогда, когда всю освященную воду унесет течением прочь.

Просыпается водяной от зимней спячки (или перебирается на летние квартиры), когда приходит весна, когда в природе начинается новый жизненный цикл. По многочисленным «свидетельствам», это пробуждение (или новоселье) приходится ежегодно на 1 апреля (14 апреля по н. ст.), в связи с чем водяной в это время чувствует себя почти именинником и соответственно ждет «поздравлений» и «подарков».

Нередко пробуждение водяного соотносится с началом ледохода. Кто хоть раз был свидетелем того, как вскрывается река и начинается движение льда, говорит о возникающем при этом удивительном ощущении, что присутствуешь при пробуждении какого-то большого живого существа: «Вот, вдруг раздался стон протяжный... Как будто вздох и стон. А потом шелест... звенящий такой. Это Томь двинулась» (из архива автора, записано от Т. А. Голубевой, 1926 г. р., Сиб.). Водяник в этих представлениях вне всякого сомнения воспринимается как единое целое с родимой стихией.

Рассказывают, что настроение у него при пробуждении, как правило, бывает отвратительное: «с досады и голода» он крушит и ломает лед, до смерти замучивает мелкую рыбешку, а большая ищет на это время места поспокойнее. Тут уж и не очень сведущему человеку становится ясно, что неплохо бы задобрить водяного дедушку — «по сильному колыханию воды и глухому подземному стону» можно судить о том нетерпении, с каким водяной жаждет «подарочка».[7]

---

[6]Существует мнение, что водяной не остается зимовать в реке, а со всем «обозом» — с семьей, русалками и даже с прислуживающими ему утопленниками — уходит через донные провалы глубоко под землю (в «тот» мир), где и пережидает зиму, а по весне возвращается в родную стихию, в свой удел (Власова 1995: 99, Тамб.). Эти провалы, или, как их еще называют, «ходы», будто бы имеются во всяком озере и соответственно во всякой реке, и открыты для нечисти в любое время.

[7]Когда-то, чтобы умилостивить духа воды, как раз по весне ему приносили человеческую жертву: выбирали кого покраше, а то и не одного, и топили... Во многих местах, где жизнь была тесно связана с водой, представление о необходимости человечьей жертвы приобрело почти точеную формулу — *река* (озеро, море) *берет свое*. Так, большинство береговых волжских селений твердо знало: «лед не пойдет, если на реке не утонет весной 12 человек» (Костоловский 1901: 138; цит. по: ЭС, 459). А в Воронежской губ. про иссохшую к началу XX в. р. Котел ходила легенда, что эта река и существовать-то прежде могла только благодаря ежегодным человеческим жертвам, тонувшим в ней. И высохла она потому, что как-то в ее водах утонул один помещик, после чего какой-то знахарь заговорил родники, питавшие Котел, и они иссякли (Поликарпов 1912: 146–147; цит. по: ЭС, 459). Скорее всего, именно необходимость человеческой жертвы легла в основу старинного ритуала, который проводился рыбаками Онежского озера в канун Николы Зимнего (19 декабря):

В качестве «гостинца» для умиротворения пребывающего не в духе водяного чего только не использовали: лили в воду масло и вино, сыпали муку, табак, вываливали целые возы хлеба (в конце XIX — начале XX в., как правило, подпорченного), топили петухов, баранов, а то и скотинку покрупнее. У И. П. Сахарова в его «Народных праздниках» есть дивное описание того, как еще в начале XIX в., было принято устраивать водяному подношение: «Покупают у цыган самую негодную лошадь, не торгуясь, ровно за три дня (до известного срока. — *А. Н.*). В эти три дня они стараются откормить ее хлебом и конопляными жемыхами. В последний вечер вымазывают у лошади голову медом с солью, в гриву вплетают множество красных лент, ноги спутывают веревками, на шею навязывают два старых жернова. Ровно в полночь отправляются к реке. Если лед еще не прошел, то связанную лошадь опускают в прорубь; если же река очистилась от льда, то сами, садясь на лодки, стараются утопить лошадь середь реки. В то время старший из рыболовов находится на берегу реки, прислушивается к воде и даст знак другим, когда можно утопить лошадь. Большое несчастие бывает для рыболовов, если водяной не желает угощения или перешел на другую усадьбу[8]...» (цит. по: ЭС, 72).

Разумеется, дело не только в рыбном промысле — вода всем нужна, а налаживание и поддержание контактов с неуравновешенным и непредсказуемым водяным — вещь непростая и деликатная, как всякая дипломатия. Было выработано немало правил, регламентирующих отношения человека и хозяина водной стихии. Правила могли касаться режима пребывания у воды и в воде, времени и количества ее набора, установления и выполнения различных взаимных обязательств. Конечно, бóльшая

«...делают на берегу похожее на человека соломенное чучело, надевают на него портянки и рубаху и в дырявой лодке спускают его на воду. Разумеется, оно тонет. Это и является жертвой...» (Зеленин 1991; цит. по: Власова 1995: 100–101).

Как следствие описанных верований возникло нежелание спасать тонущих, ведь водяной мог и обидится на отбирающих его законную добычу. Считали, что «смерть на воде» утопленнику «на роду написана» и, если не в этот раз, так в другой он все равно непременно утонет. Думается, что поэтому наиболее частой мотивацией принесения даров водяному было: «чтоб никого не трогал», «никого не топил»: «Вот апрель, так надо ему подарки нести, бросать в реку, чтоб не трогал никого этим летом. Может, тогда и не утащит ⟨...⟩ Четырнадцатого апреля носили подарки водяному: „Храни, спасай нашу семью“. Прямо в речку бросали муку: „Храни, паси нашу семью“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 55, № 173, Новг.).

[8]Страх перед переходом водяного «на другую усадьбу» опять-таки связан с представлением о водяном-воплощении водной стихии, а значит и с тем, что в его власти все водные богатства. Уйди он на новое место, и угодья его оскудеют — исчезнет рыба, да и с самой водой могут начаться проблемы: пруд, озеро или река, станет мелеть и затягиваться «в моховины». Вот и выходило, что для рыбацкого промысла особенно важно успеть с «гостинчиком» вовремя, т. е. в течение трех дней с момента пробуждения водяного, иначе обидится и, как пить дать, уйдет. Зато если удастся его задобрить, водяной «смиряется, стережет рыбу, переманивает к себе больших рыб из других рек, спасает рыболовов от бури и потопления, не рвет неводов и бредней...» (Сахаров 1885: 45–47; цит. по: ЭС, 72).



Рис. 20. У реки.

часть правил была обращена к тем, кто в силу своих профессиональных интересов постоянно имел дело с водой — к рыбакам, морякам, мельникам, перевозчикам... Но были и такие правила, которые знал и должен был выполнять каждый.

Так например, ночь считалась неподходящим временем для походов за водой: «Ночью водичка-матушка спит,[9] нельзя водичку шевелить. Худо будет, если не вовремя ходят за водой». «⟨Если идешь ночью за водой, нужно говорить:⟩ „Хозяин и хозяюшка, разрешите мне водички взять“» (Адоньева, Овчинникова 1993: 44, № 169, № 170; Волог.).

Когда возникала необходимость набрать воды в неурочное время, а обычно такая вода — «непочатая», «молчаная»[10] — была нужна в лечебных целях, поход за

[9]Интересным представляется пояснение к запрету беспокоить стихию во время отдыха: «Вода спит ночью везде, хоть в реке, хоть в озере». Подчиняясь логике, легко можно вывести «продолжение» ряда: ...хоть в колодце, хоть в кадке, хоть в чашке или другой какой плошке. Про ночной поход к колодцу так говорили: «За водой ночью ходить нельзя, в колодце мужчина стоит, водяной...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 54, № 163, Новг.). На серьезность отношения в народном сознании к существующему запрету указывает, например, то, что крестьяне избегали подниматься ночью до «вставальной поры», чтобы испить воды, даже если их сильно мучила жажда. Причем мотивировка такого поведения шла дальше простого запрета беспокоить стихию, она указывала на страх перед последствиями другого рода: «свято место», как известно, «пусто не бывает» — вода-матушка, может быть, и спит, а вот водяной-батюшка как раз ночью-то и «заживает», и вместе с выпитой ночью водой можно принять в себя нечистую силу. А. Харитонов, этнограф и собиратель первой половины XIX в., писал по этому поводу следующее: «...мужик думает, что если он ночью выпьет ковш воды, то должен будет поплатиться за это здоровьем; он не потому опасается ночью пить воду, что она в состоянии испортить его медный желудок, нет, он этого не думает; настоящая причина страха его — какая-то темная, самому ему непонятная дума об этой воде... „Как я стану пить воду ночью, может, с этим питьем прильнет ко мне *красная* (водяная)!“ Вот, по их верованию, корень водяной болезни. Смотря на одержимого водяною, мужичок самоуверенно говорит: „верно испил ночью, не благословесь, мудро пособлять“. Покачает головой и пойдет» (Харитонов 1848; цит. по: ОПСП, 155).

[10]«Непочатой» называлась вода, которая была набрана до восхода солнца («до свету»), т. е. до начала дня, пока еще никто ее не взял. Если ее брали из реки, то зачерпывать надо было обязательно против течения, что гарантировало ее чистоту и целительные свойства (ею сбрызгивали, обливали недужного, обмывали больной орган, давали пить). Считалось, что особой целебной силой обладала вода родников и ключей, однако лечить могла и колодезная, и речная, особенно если черпали ее с того места, откуда река брала свое начало, или там, где река не замерзала даже в лютые морозы.

Черпание воды в полночь и в полдень, как и непременное использование при этом нужных слов — не единственные известные условия. Чтобы поход увенчался успехом, и вода не утратила своей «живой» силы, нередко требовалось кое-что еще, например, молчание: «Когда идешь... за водой, не надо ни с кем говорить. Кто навстречу попадет, ничего не надо спрашивать и не сказывать. Сойдешь на ключь, помолишься на все четыре стороны и задумаешь: на живое или на мертвое [к выздоровлению или к смерти]? Как на живое — *водыча** стоит, как стеклышко, светлая; как на мертвое — ключи забьют, завыскакивают оттуда с песком. Когда черпают воду, говорят: „*чарь** водяной, чарь земляной, *чарица** водяная, чарица земляная... дай мне *водычи** на доброе здоровье“ и зачерпывают воду в *вечероко**» (Попов 1903; цит. по: Торэн 1996: 370, Новг.). Вот такая вода и называлась «молчаной».

ней и само черпание воспринимались как часть ритуала и соответственно непременно сопровождались заговорным словом. Это могло быть совсем простое обращение к хозяевам воды с просьбой разрешить набрать водички, сродни только что приведенному, а могло принять и более развернутую форму, в которой ощущался уже почти глобальный масштаб: «Царь морской, царь двинской, царь пинежский, царица-водяница, не жалей водицы. Воды не убудет, а рабу Божьему (имя) здоровья прибудет...» (Адоньева, Овчинникова 1993: 96, №362, Арх.).

Переправа ночью — затея глупая по уже упомянутой выше причине. К броду выйти только разве, чтоб на водяного лишний раз взглянуть: «⟨...⟩ ночью, часов в двенадцать, хотел через реку брести ⟨...⟩ и в этой речки мне показался водяной хозяин, как есь месец пек, пловет прямо на меня, я и в гору выскочил, остранился» (Ончуков 1908: 552–553, № 273, Арх.).

Ни в полночь, ни в полдень купаться нельзя — дело это, мягко говоря, рискованное, поскольку считается, что водяной в такой час только и ждет, чтобы схватить человека и... поминай тогда, как звали! Фактически повсеместно полдень, полночь и все время «от заката до рассвета» — это время запретное, тревожить воду нельзя, поэтому не только купаться, но даже просто находится у воды — опасно. Но в действительности дела обстоят еще того хуже, потому что, по народному пониманию, водяной топит крещеный люд в любое время дня и ночи, «пользуясь малейшей оплошностью», а то и вовсе без явной причины.

К оплошностям можно отнести не только купание или появление у воды во внеурочное время, но и некоторые другие моменты, такие как ругань, упоминание черта (= водяного) и упражнения в художественном свисте у воды или на воде, а также бессмысленная бравада в любых проявлениях...

Что касается ругани, тут что ни возьми — хоть матерную брань, хоть раздор и попреки, — все попадает под запрет. Ясно, что речь в данном случае идет именно о ссорах со взаимными попреками, потому что, ругаясь и выходя из себя, человек и сам становится уязвим и оппонента своего подвергает риску — «обнажает» его, снимает с него защиту. Человек в неуравновешенном состоянии — легкая добыча для любого представителя мира «иного». А если представить, насколько просто в этом состоянии слетают с языка недобрые пожелания и, что гораздо страшнее, проклятья, становится совсем не по себе... Ну, а матерщина на всякого мифологического персонажа действует как сильный раздражитель, следовательно, «не буди лихо, пока оно тихо», не выражайся, если не хочешь нарваться на большие неприятности.

Как любой дух, охотно вступающий в контакт с человеком, водяной очень «отзывчив» — не стоит упоминать его на воде или у воды: не успеет и имечко отзвучать, а уж упомянутый будет тут как тут. В Олонецкой губ., к примеру, ходила история про то, как некая девица на переправе сказала не подумав, что не прочь была бы глянуть на подводное царство; а слово, как известно, не воробей — водяной ее тут же и забрал...

Теперь о свисте... Честно говоря, он водяному явно оскорбителен,[11] особенно, когда сбивает ему сон. Разозлившись не на шутку, он может опрокинуть лодку, если свистун плывет в ней, и увлечь нахального меломана на дно; если же тот идет по берегу, водяной не постесняется уволочь его прямо оттуда... (Харитонов 1848; цит. по: ОПСП, 154–155).

И наконец, позволим себе небольшую реплику по поводу такой неприятной черты, как свойственное людям беспричинное хвастовство, и об их неистребимой страсти к неоправданному риску. Как правило, подобные выходки не по нраву тем, перед кем бахвалятся или за чей счет резвятся. И если это характерно для человеческого большинства, что говорить о существах более могущественных? Приведем пример: «Раз шли мужики мимо речки и один из них, хвастаясь перед товарищами, вздумал переплыть эту речку три раза без отдыха. Солнце только что перешло за полдень. Он скинул рубаху и поплыл, перекрестясь, первый раз, потом второй и даже третий. Плывя третий раз, мужик не успел встать на ноги у берега, как на середине речки показался черный человек — черт, затрепал в ладоши и закричал: „Счастье твое, что за пятьсот верст смущал попа!“...» (Колчин 1899; цит. по: ОПСП, 244, Тул.).

Все в приведенной истории закончилось благополучно, и хвастун отделался легким испугом, но надо признать, что мужику несомненно повезло: счастлив оказался (может, и впрямь велика была заслуга в смущении попа), поскольку сошло ему с рук и купание в полдень, и демонстративное бахвальство. Возможно, конечно, что все обошлось благодаря упомянутому крестному знамению. Народ крепко верил в силу «чертогона» (одно из известных именований креста): к человеку с крестом на шее и осенившему себя крестным знамением, нечистому не подступиться, однако если сунуться в воду без креста и забыть к тому же перекреститься, водяной непременно утянет.[12]

---

[11]Интересно, что не только наш водяной (не говоря уж о домовом, лешем и прочих) терпеть не может свиста. Так, до сих пор в Англии, стране, известной своими морскими традициями, свистеть на воде, значит, накликать беду. Свист однозначно воспринимается там как сигнал, возбуждающий активность ветра, поднимающий бурю — беспечное насвистывание может вызвать чудовищный шторм... А у нас, русских, известно такое явление, как свистопляска, чье истинное предназначение — отпугнуть, отогнать души умерших особого рода, тех самых, которые были выделены в отдельную группу наиболее опасных и агрессивных по отношению к живым демонических существ. В их власти, между прочим, навредить посевам, пройдя по ним с дождем и градом, подобно безжалостной буре.

[12]Существовало мнение, что даже «если и утопиться захочешь, да как креста не снимешь, так не утопиться» (Новг.), вовремя перекреститься — не менее крепкая от всяких нечистых мыслей и дел оборона. Было раз: «...пошла женщина топиться и говорит: „Господи, благослови!“ А из воды голос; женщина встала, такая же, как она, и говорит: „Топиться идешь, а крестишься...“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 54, № 163, Новг.). Особенно не стоило забывать об этом любителям окунаться после парилки в холодную воду — крест в бане мог быть снят, а забывший перекреститься, разомлевший от жару-пару человек — для водяного добыча же-

В другой истории глупая похвальба стоила-таки мужику жизни. Было это в Орловской губернии, где под какой-то мельницей в *буковище** водился черт. Питался он исключительно рыбою, но более всего любил побаловаться карпами, которых было в том буковище видимо-невидимо. Жили они в норах на дне и возились в них, что твои свиньи. Мимо того буковища никто зазря не ходил — все черта боялись, даже местный батюшка, который (на всякий случай) ежегодно сваливал черту в подарок два воза хлеба. Хлеб, конечно, был гнилой, однако черту было приятно, что сам поп его уважает, одним словом, «мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь»... Так вот, нашелся в тех местах мужик один, Пахомом его звали, который стал чертовых карпов доставать. Был он не робкого десятка и ныряльщик отменный, а карпов любил не меньше самого черта. И случилось раз в летнюю пору стоять местным мужичкам на берегу и дивоваться на удачливость Пахома, таскавшего из воды карпов одного за другим. И дернуло тут Пахома за язык — возьми да и брякни, нырну-де теперь и с самого черта шапку стащу, да еще и по харе чертовой съездить кулаком пообещался. Нырнуть-то нырнул, а обратно не вынырнул... Стали Пахома искать, и вытянули наконец багром, но только был он уже неживой. Мужички после долго меж собой рядили: одни говорили, что, не похвались Пахом вытащить чертову шапку, может, остался бы жив. А другие не соглашались, думая, что черту досадно стало, ведь столько любимых карпов перетаскал Пахом прямо у него из-под носа. Однако все сходились на том, что черт Пахома подловил да и задушил. С тех пор, ясное дело, никто в буковище карпов не ловит, несмотря на то, что их там великое множество (бывальщина дается в пересказе; подлинный текст см.: Иванов 1900; цит. по: ОПСП, 282).

Есть в году определенные дни, когда купаться просто нельзя: на Ивана — опасно, в Петровки тоже, а в Ильин день (и в течение всей Ильинской недели), какие бы жары не стояли, лезть в воду — чистое безумие. Со всей серьезностью в деревнях утверждают, что больше всего «случаев утонутия» происходит именно в эти дни и недели. Понятно, что детям в это время запрещают даже близко подходить к воде, объясняя, что сам водяник «купается и играет» и «требует жертв», поэтому люди купаться не должны — «чертушка утащит» (Волог., Арх., Олонец., Сиб.). Правило, как известно, намного лучше усваивается, если его подкрепляет наглядный урок: «Мне было лет восемь или девять. Я помню, это было в Ильин день. Мужики наши кумакинские мылись в бане. У нас же в деревне бани все на берегу за огородами. Мужики напарятся и выскакивают — прямо в Нерчу ныряют. Мы, ребятишки, на

ланная и, можно сказать, сама идущая в руки. Кое-где прямо так и поговаривали, что «парное тело» водяной будто бы особенно любит... (Сургут.) Бывает, правда и так, что крест раздражает водяного, но не оказывается для него серьезной помехой — он или срывает крест с тела своей жертвы (так случилось с одним священником), или, будучи не в силах содрать крест, удавливает несчастного, затягивая *гайтан**, на котором крест висит, на его шее узлом (Криничная 1994: 42, с.-рус.).

берегу были. И вот тетка Мишиха из своей бани вышла, к нам подошла. Посмотрела, посмотрела и говорит:

— Это что же такое они вытворяют! Разве в Ильин день купаются? Сегодня Илья пророк в воду ⟨...⟩ — только черти сегодня купаются.

Сказала так и ушла.

И вот мы смотрим: на той стороне Нерчи, за Тарским Камнем, появился кто-то — косматый, черный — и давай из воды выскакивать. Унырнет — снова вынырнет, унырнет — снова выскочит. Сам волосатый, волосья длинны, черны и по самую з... Руками хлопает по воде и выскакивает.

А там же, за Нерчой, скалы одни. Кто ж там мог быть?! Человек никак не мог» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 50, №63).

Страх перед возможностью утонуть и «сесть к водяному в приказ», усугублялся представлением, что люди сами собой «от своей вины» не тонут, их топят водяные. Причем считалось, что хозяин воды утаскивает к себе не первого подвернувшегося, а исключительно понравившегося ему человека. Если вернуться к верованиям в то, что вода, или же водяной как ее божество, берет в виде утопающих причитающуюся ей ежегодную жертву, все встает на свои места.

Во-первых, понятно, что определенные периоды языческого календаря имели статус сакрального времени, когда хозяину вод обеспечивалось жертвоприношение. Ритуальное утопление — это исполнение данного «зарока», условленная дань. Со временем, по мере того, как изменялись и угасали древние представления, связанные с этим божеством, деградировала и обрядовая часть верований. Как считают исследователи, когда традиционные отношения оказались нарушенными, божество стало само брать полагающуюся ему жертву (см. об этом: Криничная 1994: 41).

Во-вторых, судя по архаичным легендам и преданиям, в жертву обычно отдавалось лучшее — божество, как известно, торговли не приемлет. Следовательно, предполагалось, что выбор должен удовлетворять божественным требованиям, должен нравиться. Христианские представления, разумеется, внесли некоторые изменения во взгляд на утопленника: смерть от воды стала трактоваться как наказание Божье, а утонувший был не просто жертвой водяного (черта), он принимал такую смерть за грехи и как умерший неестественной смертью поступал в распоряжение нечистой силы (ЭС, 459).

С обеих позиций, как с языческой, так и с христианской, утопление оказывалось реализацией предназначенной судьбы, а водяной соответственно становился ее воплощением. На такое восприятие действий водяного указывают и разнообразные сюжеты быличек. Так, в наиболее распространенном сюжете XIX и XX вв., водяного многие начинают видеть на том самом ме-

сте, где в скором времени обязательно тонет человек. Более того, он «сильно плещется», как бы поджидает свою жертву, а тем, кто его узрел, нередко удается расслышать слова: «Судьба есть, а головы нет» (Новг., Олонец. и др.).[13]

Рассказов об этом известно немало. Вот, к примеру, такой: «Дело было около Петрова дня. Стоим мы раз на палубе и видим, что кто-то выскочил из воды, а потом в воду как хлопнется и скажет: „Есть рок, да человека нет". И это сказал три раза. Дня три все так высовывался и говорил. На четвертый-то день ходили по берегу три прикашшика. Вот один прикашшик и говорит: „Ребята, я выкупаюсь!" И стал разоболокаться. Другие прикашшики стали его отговаривать и говорили, что черт недавно *дековался.** Но он говорил, что ему становится тошно. И разделся. Прикашшики не пустили его в воду, а взяли и облили его водой. Он тут же и умер...» (Власова 1995: 103, Новг.). Вот и не верь после этого в судьбу, которую не обойдешь и не объедешь. Помнится, соседка наша, почти всю жизнь прожившая в деревне девяностодвухлетняя бабка Дуня, все к случаю и не к случаю приговаривала: «И, деточка, коль суждено от воды помереть, так и в стакане захлебнуться можно...» Права, выходит, была бабушка.

Коли попадает к водяному тот, кому утонуть суждено, ему из цепких лап во-

---

[13] Есть даже такая примета: сильно плещется водяной — значит, быть утопленнику (Новг.); в чем причина его плесканий — трудно сказать: то ли не может сдержать нетерпения, то ли заранее радуется. Водяной, в самом деле, любит порезвится, пошуметь. Известно, например, что он с большим удовольствием ладошит, только обычно проделывает это не так, как леший («не рукоплещет», не устраивает оваций), а шлепает ладонями по воде — аж гул идет... Если же плещется, то это вам не ребятишки на мелководье, странное дело: как выскочит из воды и с изрядным шумом, с целым столбом брызг плюхается обратно! Самому воденику это развлечение, видно, доставляет немалую радость, а случайного прохожего, ясное дело, оторопь берет: «... иду поздно, вдруг с плота как вытянется, как в воду хлопнется!..» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 54, № 162, Новг.).

Чтобы водяной песни пел, этого вроде бы никто не слышал. а вот про его бормотанье, вздохи, шепот и крики — про это рассказывают. Встречается даже утверждение, будто водяной гукает, выкликает свою жертву. И если услышал тот, кого позвали, он непременно придет на зов, не сможет противиться. Существуют разные мнения о том, каков у водяного голос, среди них встречаются и весьма оригинальные. Например, в Тульской губ. недалеко от с. Анастасова протекала р. Упа. В те времена, а речь идет о начале XX в., берега ее были сильно заросшими, и поселилась в этих зарослях выпь. Надо сказать, что птицу эту довольно точно прозвали в народе «водяным быком». Если вам доводилось слышать рев коровы, считайте, что представление о том, как кричит выпь, вы более или менее имеете. Стоит добавить, что вопит птичка главным образом по ночам и проделывает это на протяжении всего периода, пока высиживает яйца. Так вот, видно, местным жителям прежде встречаться с выпью не приходилось, потому что никто не мог их разубедить, что это орал не водяной, на которого накатывала ночами охота поразвлечься (Максимов 1994: 80). Ради справедливости заметим, что мнение жителей с. Анастасова совпадает с распространенным представлением, будто водяной кричит выпью, в частности, когда перекликается с лешим.

дяного уже не выбраться. Даже если станут пытаться спасти такого,[14] водяной его так просто не отдаст.

В Тульской губ. рассказывали, как «в 12 часов дня молодой парень был утащен в воду водяным. Когда сбежался народ и призвал нырка, чтобы нашел утопленного и вытащил его из воды, то он нырнул в первый раз и сказал: „подожду пять минут, теперь нельзя, потому что на голове его сидит белая лебедь, которая била меня крыльями и клювом“. Через пять минут нырок вторично спустился на дно к утопленнику и вытащил. Из воды кто-то закричал народу: „Ну, теперь он наш! Насилу бедняжечка дождался, скоро ли его замучают!“ Белая лебедь, что сидела на голове утопленника, был водяной черт» (Колчин 1899; цит. по: ОПСП, 244). И в первой истории и во второй (только в ней не так явно) проглядывает идея, что человек не в состоянии противиться своему року. В первом случае ему становится так «тошно», что он не в может терпеть, а во втором — нечистая сила кричит о нем, что он «насилу бедняжечка дождался», и последнее вовсе не стоит принимать за иронию. Что же касается водяного, который защищал в виде белой лебеди свое «праведно» добытое, так это не единичный случай. Хорошо известна, например, история про утонувшую девушку, на голове которой спасатели видели свинью, и она тоже с боем защищала свою жертву (Новг.).

Однако, если срок человеку не настал или ему не суждено утонуть, водяной его не возьмет. «Один мальчик было утонул, да родители его скоро вытащили из воды и откачали. Потом спросили, как это он попал в воду и утонул. Мальчик рассказывал, что пошел с ребятами купаться в пруд, место было глубокое,[15] а он

---

[14] Прежде речь уже заходила о спасении утопающих. Помимо того, что относились к спасению отрицательно — «водяной обидится» (с.-рус.), добавим, что для самих спасателей, нырков, как их называли, их благородный труд оказывался очень опасным. Свою обиду водяной срывал прежде всего на самих обидевших — подкарауливал и старался утопить. Иногда даже использовал для этих целей самих утопленников: «Говорят, утопленник сидит на дне реки (...) на корточках, и как обмерший... хватает неловких водолазов в охапку и тем затопляет их. Искусство нырков или водолазов в этом случае состоит в том, чтобы утопленников брать сзади и за волосы и с ними вместе подняться, то есть вынырнуть к берегу...» (Забылин 1880: 280–281). Откачивать утонувшего, если и принимались, то старались не проделывать этого на голой земле, поскольку считалось, что «в таком случае придется возиться с ними гораздо дольше» (Попов 1903; цит. по: Торэн 1996: 190, Сургут.), или вообще считалось, что на земле откачать шансов нет, несмотря на все усилия (Забылин 1880: 280–281). Интересно, что сила слова, судя по рассказам, даже при откачивании утопленников могла играть ведущую роль: «На потниках утопшую качали... Откачали. Очнулась она и говорит: Вы меня качаете, а я все слышу. Кто-то из вас говорит: «откачаем» — мне легче, вода отходит. А кто кричит: «не откачаем» — я задыхаюсь...» (Еремеев 1990: 279, Сиб.).

[15] Места глубокие, омуты, которые в народе называют «темными», в отличие от привычного уху «тихого омута», как раз и есть те самые места, «где черти (т. е. водяные) водятся». И плескаться там или пытаться переплыть такое место — значит, сильно рисковать (Харитонов 1848; цит. по: ОПСП, 153, Шенкур). Как не «помочь» незванному гостю и не затащить его к себе, если тот, можно сказать, напрашивается... В сущности, мальчик сам был виноват — зачем лезть в воду на глубоком месте, не умея к тому же плавать? Хорошо, что не судьба была ему утонуть, а вообще-то

не умел плавать и пошел ко дну. Там его встретил седой старик с рогами и сказал, чтобы он посидел тут, пока он сходит в свою хату. Мальчик остался сидеть, а около него поднялся крик, шум, гам и играла музыка. Чертенята кричали, что мальчик теперь им принадлежит, а старик вышел и сказал, что мальчик им не принадлежит, так как ему не должно быть утопленником» (Колчин 1899; цит. по: ОПСП, 244, Тул.).

Чтобы достойно закончить невеселый разговор про утопленников, остановимся на еще одном очень интересном верований. Почти повсеместно в деревнях считалось, что водяной душу утонувшего берет к себе «в присягу», а тело за ненадобностью выбрасывает (Вят.) или подменяет (Арх.): «Если труп утонувшего чрез несколько времени будет вытащен посинелым, раздутым и вообще безобразным, крестьяне говорят, что это водяной подменил крещеного человека безобразным „обменом“, а тело (конечно же не тело, а душу. — *А. Н.*) взял к себе, и всякий пренебрегает трупом утонувшего, а жалеет того человека, который, по их мнению, остался у водяного» (Харитонов 1848; цит. по: ОПСП, 153, Шенкур.).

Что означает «берет к себе в присягу»? Все очень просто, утянутые становились собственностью нечистой силы, которая распоряжалась ими как хотела: утопленницы, например, делались женами водяных, и будто бы в этом статусе даже «старшинствовали» над русалками, а утопленники-мужчины со временем, что называется, наследовали хозяину вод и сами становились водяными (Зеленин 1994: 232–233).

В силу этих представлений утопленников не хоронили, так как получалось, что погребающий грешил тем самым перед Богом и мог вызвать гнев Всевышнего не только на себя и свою семью, но и на всю общину — засуху, градобитие и как следствие неурожай. Поэтому наиболее частым способом защиты всем миром от Божьей кары было действие, которое с точки зрения современного человека без всяких сомнений расценивалось бы как вандализм и осквернение могил: еще в конце XIX — начале XX в., о чем свидетельствуют этнографические данные, при наступлении весенних заморозков или летней засухи, а также во избежание градобития, без промедления отыскивалась могила недавно захороненного утопленника, удавленника или опойцы,[16] ее разрывали, а тело, как правило, оттаскивалось в ближайшее бо-

---

водяной со своими жертвами не церемонится. Чтобы лучше понять, чем могло обернуться такое случайное появление во владениях водяного, приведем вполне бесстрастное описание, относящееся к концу XIX в.: «Водяной живет в глубочайших ямах, в озерах или реках. Над теми вертит воду. Такие места называются чертовыми домовищами. Следственно, водяной живет домом, т. е. имеет семейство (...) Говорят, что и тонут люди там, где есть домовища. Водяной сперва утягивает человека в воду, потом заверчивает до смерти. Иногда же всовывает в хворост, в *верши**, под камень, сдирает кожу, свертывает голову и т. п. В конце же всего, натешившись, водяной выбрасывает мертвого» (Ефименко 1878: цит. по: ОПСП, 165, Арх.).

[16] В том, что наряду с утопленником упоминаются удавленник (повесившийся) и опойца (умерший с перепоя), нет ничего удивительного, — все они, по народному разумению, однозначно впи-

лото или пускалось по воде. Так, «во время сильной засухи 1864 года крестьяне Николаевского и Новоузенского уездов Самарской губернии вообразили, что засуха оттого, что близ церкви на кладбище зарыт опившийся. Поднялась сильная тревога во всем селе. Мужики целым селом разрыли мертвеца и утопили в тине грязного озера...» (цит. по: Зеленин 1995: 101–102). Можно привести другой случай, относящийся уже к 1910 г., когда двух утонувших в Днестре и погребенных по-христиански на кладбище в Хмелеве, выкрали из могил и бросили в Днестр, мотивируя тем, что «если на кладбище будет похоронен утопленник, то град побьет посевы» (Гнатюк 1912: 60, №695; цит. по: Зеленин 1995: 108).

Представление о том, что водяной — это ловец человеческих душ, а залучив таковую, заставляет ее себе служить, неоднократно находило применение в сюжетах, более подходящих для сказки, чем для бывальщины или былички. Такова, например, история про уведенного водяным молодого. Был, говорят, у отца с матерью единственный сын 25 годов. Надумали они его женить и невесту ему нашли в той же деревне. Все чин чином: за столами посидели-погудели, молодых в чулан почивать отвели. Только те легли, как им в двери стучат — крестовый брат молодого вызывает. Выйти — не выйти?.. Молодая жена и говорит, иди, мол, коль не надолго. По утру пришли будить молодых, а молодого-то и нет, потерялся молодой. Стали искать, да не сыскали...

Три года прошло. Приходит раз в родительский дом прохожий человек. За столом посидел, попил-поел, за беседу взялись. Спрашивает гость свекра про молодку: дочь ли, невеста ли, кто такая? Тот и рассказал прохожему про горе: как сын в свою первую брачную ночь пропал, как искали его, да все безуспешно. Ноне, мол, его как раз поминаем. А прохожий-то и говорит, что поминать живых как мертвых негоже. И отчаиваться им никак нельзя, надо поиски продолжать. Указал он им на озеро, что было в десяти верстах от их деревни, на берегу которого стоял неказистый домишко с печью. Хорошо бы, говорит, в дом тот наведаться и хлебца с собой не забыть прихватить, да протопив легонько печь, в печи-то и спрятаться. Глядишь, может, с сыном свидеться доведется.

Старик-отец недолго собирался, исполнил все, что странный гость наказывал: пришел в тот дом на озере, и в печи теплой спрятался. Тихо сидит, как мышь, и в щелку все примечает. Видит, заходит в горницу его сын, заносит узел еды всякой, стол накрывает. Денщиком, стало быть, служит он у хозяина... Вскорости появляются двое молодцов и за стол садятся. А сын им прислуживает. Поели они, выпили хорошо, поплясали да и отвалили. Остался сын со стола убирать, тут-то отец из печи и выходит: «Здравствуй, дитятко, пойдем-ка домой». А сын ему отвечает, что нельзя ему домой — и рад бы, да никак, потому что живет он у водяного в неволе.

сывались в группу умерших «неестественной», т. е. не своей смертью, а значит активных и крайне агрессивных по отношению к живым.

Вот если отец с ним пойдет, так это можно. Старик, ясное дело, согласен. Вышли они из дома, да к озеру. Немного прошли и у проруби стали — надо в прорубь идти, а старику-отцу страшно... Не посмел он в прорубь сунуться, ушел домой.

Как мать-старуха про все узнала, сама собралась — пойду, мол, приведу домой сына, не сробею. Да только с ней как с отцом вышло: не смогла в прорубь кинуться, домой ни с чем воротилась.

Отправилась тогда молодая возвращать своего мужа. Насмотрелась из-за заслонки, как он хозяевам своим прислуживает, а как те восвояси убрались, из печи вылезла. Мужик рад, конечно, однако же честно бабе объясняет, что не по своей воле у водяного и домой ему никак не уйти. А вот она, коли пожелает, может с ним к водяному отправиться. — «Пойдем, — жена отвечает, — я от тебя не отстану». Пошли. Он к озеру — она за ним, он к проруби — она за ним, он в прорубь — и она следом...

Оказались они в большом доме. Оставляет тут мужик жену на кухне посидеть, а сам идет к хозяину. А тот по нему скучает, давай укорять: что, мол, долго по Руси ходишь?.. Тут сыновья хозяйские нашли на кухне молодую и скорее к хозяину докладывать: так, мол, и так, приволок слуга в наш дом русскую бабу, жену свою, которой быть здесь никак не положено, и отставать от него она совсем не собирается. Ну, хозяину делать нечего — приказал сыновьям выкинуть обоих из воды на вольный воздух прочь. И оказались мужик с бабой на льду у проруби, он по одну сторону, а она по другую. И пошли они, благословясь, домой. Вот ведь какая баба оказалась, не сробела, достала-таки своего мужа от самого водяного... (сказка дана в пересказе, подлинный текст из: Ончуков 1909; см.: ОПСП, 344–347, с.-рус.).

Славная сказка, только вот вопрос: с чего это водяной молодого увел? Может быть, и впрямь судьба ему такая выпала, а может, и слетело по его адресу у кого-нибудь с языка недоброе слово, взял да и «отсулил» молодого. Известно ведь, что водяной «отсуленными» (т. е. проклятыми) не брезгует, забирает их к себе и «ростит». У таких-то, по-видимому, и шансов больше вернуться в мир живых. Вот что про это рассказывают.

Жил когда-то около Сандал-озера старик. И был у него сын — самое время женить парня, да никто за него дочь отдать не желал. Старику и вступило: пойду посватаюсь хоть к водянику! Отправился он к озеру и попадается ему навстречу дюжий молодец: «Ты что ль у нас свататься надумал? Невеста твоему сыну готова хорошая, не мешкайте, приезжайте». Ударили по рукам и отправился старик домой. Взял сына, дружку, соседку-колдунью, собрал поезжан и назад к озеру. Глядь, прямо с берега протянулась к хрустальным палатам водяного дорога... Вывели им невесту под фатой — чуть не обманули. Спасибо, соседка старику на ухо прошептала, что невеста не настоящая. Увидали водяные, что обман не прошел, дали настоящую и приданного не пожалели: именья всякого, серебра, золота. А соседка опять старику на ухо шепчет, чтобы просил у свата еще сани с персидским ков-

ром, лошадок рыженьких, кафтан синий с золотыми пуговицами, шапку соболью и перстень с яхонтом. Все дано было. Воротился старик домой богачом. Сноха оказалась добрая, работящая. Месяца два прожили, она и говорит свекру: «Запрягай, батюшка, лошадок рыженьких в сани с персидским ковром, надевай синий кафтан, шапку соболью и перстень яхонтовый не позабудь, да поезжай в Новгород. Есть там купец богатый — сорок лавок у него, сорок домов, — к нему ночевать попросись». Послушался старик снохи, отправился в Новгород. Стал там проситься на ночлег к купцу-богатею, а его не пускают, у ворот держат. Да вышло так, что выглянула в окно сама купчиха и обомлела: что такое, стоят у ворот их собственные сани под персидским ковром и свои же лошадки рыженькие... Велит позвать заезжего старичка, а на нем и кафтан, и шапка, и перстень — все того купца вещи! Стал купец старика расспрашивать, как, мол, его добро к нему попало. Старик им все и рассказал. Поняли тут купец с купчихой, что в снохах у старика оказалась их родная дочь, которая пропала лет пятнадцать назад... (Заонежские поверья 1910: 188–189).

Водяного традиционно представляют хозяином состоятельным, рачительным, будто бы богат он несметно: есть палаты хрустальные, серебра и жемчуга вдосталь, стада опять же немалые: и коровы есть и лошади. И за всем этим добром догляд и уход нужен. Вот и ищет себе водяной проворных слуг — таскает утопленников, заманивает живые души. А иначе, как быть? Дело известное: не сумеешь организовать, так все придется делать самому. Вон, олончане рассказывают, что водяной дедушка сам пасет своих коров на берегу реки.

Между прочим, коровы у водяного — чудо как хороши: гладкие, тучные и на удивление молочные. Особенно на Русском Севере были популярны рассказы о том, как человеку перепадало поживиться от скотьего добра водяного. Так, в округе оз. Кожаево, что близ города Никольска (Волог.), у местных жителей долго велись добрые коровки от захваченных пестрых коров водяного (Потанин 1899: 194; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 98). А неподалеку от Мегры (село в Лодейнопольском у. — *А. Н.*) было круглое озеро с островком посередине. Так по утверждению старожилов, каждое лето на нем паслись коровы водяного. Одному крестьянину удалось увести пару, и они долго у него жили. Исправно доились по два ведра в день, благодаря чему стал тот мужик богатым. Наконец, решил мужик тех коров зарезать и зарезал, но только и мясо и шкуры неизвестно куда пропали. Запало тут ему в ум, что не иначе как это дело рук нескольких вороватых мужиков с их деревни, и подал он на них прошение в суд. Только как-то осенней ночью разбудил крестьянина стук. Выйдя за ворота, увидал он небольшого человечка. Это был черт (водяной), который сказал ему, чтобы на соседей вины не валил, и в суде с ними не тягался, потому что это он, черт, забрал кожи своих коров (ОПСП, 349).[17]

[17]Как народ зарится на скотинку водяного, так и водяной иной раз бросает глаз на животных,

Разбогатеть через водяного — мысль, многим не дающая покоя. И ведь не только лошади или коровы водяного могут стать источником богатства. Ходили в народе истории о том, как какой-то мужик добывал себе с помощью водяного рожь (Колчин 1899; цит. по: ОПСП, 242, Тул.), другому, опять же не без участия водяного, удалось накопить бочку золота (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП, 347–348, с.-рус.), а третий забыл про бедность и лишения, почерпнув себе рыбьего *клеску*,* правда, сделал он это без ведома водяного. Дело, вроде бы, было так: «Один крестьянин в Пудожском уезде отправился к светлой заутрене на погост с вечера в субботу. Идти ему надо было мимо озера. Идет он берегом и видит: на другом берегу человек таскает что-то кошелем из воды в лодку. Ударили в колокол на погосте и человек вдруг пропал. Крестьянин обошел озеро, подошел к лодке и видит, что она полна рыбьим клеском. „Не клад ли?" — подумал мужик; набрал клеску полные карманы, захватил мешок и опять пошел на озеро к тому месту, но лодки уже не было. Тогда мужик пошел к заутрене. Воротился домой из церкви, захотел посмотреть свою находку, а вместо рыбьего клеску — серебро. Мужик разбогател. А тот, что сидел в лодке, каждогодно в Великую субботу кричит и жалуется на свою пропажу и грозит мужику. Мужик с той поры никогда больше не подходил близко к озеру» (там же; цит. по: ОПСП, 348–349, с.-рус.).

Не серебро или золото, и не стада коров и табуны лошадей составляли и продолжают составлять главное богатство водяного, а рыба.[18]

принадлежащих человеку. Речь не идет в данном случае о жертвенных животных, хотя, как уже говорилось, такие как раз и были когда-то нормой. Имеются в виду отдельные случаи, когда водяной просто развлекается: пугает скотину на водопое или ему приходит в голову оседлать в воде быка или корову. Животному, как известно, такой груз не сдержать — «подламывается и, увязнув, издыхает» (ОПСП, 48). Крестьянин обычно объяснял все это довольно просто: водяному понравилась животина, и он забрал ее себе. Особо же батюшка-водяной был, как считали, неравнодушен к лошадям. Даже в древнерусской литературе встречаются об этом упоминания: «Ехали через Мезень реку в лодке Нисогорской волости Фока с братьею Петровы дети на пашню свою и плавили лошадь, и выехали до полуреки, и найде на них дух нечистый водный и нача лошадь топити; они же лошадь держаху, а нечистый дух яве хождаше аки рыба велика волнами и нападаше на лошадь и за лодку хваташе, потопить хотя...» (Житие Иова Ущельского; цит. по: Криничная 1994: 45). А в рассказе из Поволжья описывается как водяной с арканом гоняется по острову за белой лошадью: «Горбоносый старый старик, волосы до пят, всклокочены, бородища по пояс, глаза так и искрятся, как звезды... Сам такой грязный, зеленый, волосы как бодяга! (...) Лошадь у водяного хорошая, так и кружится по острову, лягается, задом вэметывает, а водяной так и жарит за ней. Бегала, бегала лошадь-то да вдруг махить в середину омута, в самую глубь, и водяной — за ней» (Сказки и предания Самарского края 1884; цит. по: Власова 1995: 94).

[18]Водяная «скотинка» тоже ходит стадами, а водяной дед нередко выступает в роли безраздельного хозяина и пастуха этих стад. Говорят, что кроме рыбы он сбивает в стада лягушек и раков. «Один крестьянин видел, как водяной перегонял стадо раков из одного озера в другое, причем водяной обратился к нему с вопросом, хорошо ли его стадо» (Ушаков 1896; цит. по: ОПСП, 221). Причиной для таких перегонов, как считают рыбаки, может быть элементарный проигрыш одного водяного другому — что делать, водяные, как вся бесовская сила, ужас как любят сыграть в хорошей компании в кости. Рассказывают, например, что куштозерский водяной частенько теряет

И размеры улова, и как будет ловиться, и будет ли — все это зависит от милости хозяина рыбьих стад. Почему, собственно, и носят отношения рыбаков с водяным очень непростой характер, так как наполнены разнообразными обрядовыми действиями, строятся на массе примет, требуют соблюдения большого числа запретов.



Рис. 21. Чудо морское.

Все могло начинаться задолго до момента выхода рыбаков на лов. Чтобы знать, на что можно рассчитывать, ходили к самому ведающему рыбными угодьями на поклон: «Мамин отец на море ходил спрашивать, каков будет промысел. Мама запросилась с ним. „Вы, девки, забоитесь!“ — „Нет“. Ну, и взял с собой. Ну, и сели они в стороне. А дед сел к проруби. Самый-то донный (водяной, хозяин моря. — *А. Н.*) вышел весь в волосах. Водой весь залит — в носу, в ушах. Говорит деду: „Спрашивай, я буду сказывать!“ Дед спросил: „Будет ли промысел?“ Вода спала, донный стал сказывать. И столько заревело вокруг зверей, что страсть. Дед пришел на берег, говорит: „Будет промысел, нанимайте людей“» (цит. по: Власова 1995: 139, Терской берег Белого моря).

Хозяин вод мог предсказывать рыбакам не только удачу или неудачу на промысле: «У меня дети налажены с погонялками, так в невод они рыбу загоняют. А кому не захоцем дать, так в день только на уху наловит. А кому захоцем да по вкусу

от азарта голову и проигрывается в пух и прах богатому и влиятельному хозяину Онего. Игра, как правило, идет по крупному, ставки высоки, а онежский водяной то ли в игре более искусен, то ли отменно плутует, только спускает куштозерский дедка всякий раз не только рыбу, но и воду, и себя самого. Потеряв все до последней лягушки, он идет в батраки к могучему Онегу отрабатывать долги. А в это время, говорят, в его собственных угодьях хоть шаром покати, да и уровень воды сильно снижается. Зато стоит завершиться кабальному сроку, он возвращается домой, и Куштозеро вновь наполняется водой и рыбой (Максимов 1994: 81–82; быльвальщина была записана в 1872 г. в Вытегорских Кондушах). Это, разумеется, не единичный случай, известно, например, как два водяника-соседа — один кончезерский, другой пертозерский резались в карты. Пертозерский продулся и в Пертозере перестала ловится ряпушка.

нам, тому тыщи пудов» (Минх 1910: 21; цит. по: Криничная 1994: 25, Саратов.);[19] в его силах предупредить рыбаков о «хорошей поветери» или «большой погоде»: «Не поезжайте на море никто, потому что будет погода снова большая. И кто на море поедет, тот погибнет на море в эту большую погоду» (там же; цит. по: Криничная 1994: 20), или: «Тихо будет стоять неделю одну. Вы только успеете съездить два раза. Больше не ездите. Если вы меня не послушаете, тогда вы утонете все» (Криничная 1994: 27).

Чтобы был улов, рыбаки на Русском Севере, прежде чем закидывать сети, трижды произносили заговор: «Святые апостолы, Петр и Павел,[20] Андрей Первозванный. Верховные апостолы, первые рыболовы, помолитесь со всеми Святыми угодниками Пресвятой Госпоже Богородице. Есть на святом престоле золотые ключи: возьмите эти ключи и отомкните темный погреб рабу Божьему (имярек), пригоните мелкой и крупной рыбы рабу Божьему (имярек). Сети мои шелковые, яруса мои медовые, я здесь, рыба тут есть. Море святое, дно золотое, ловитесь, и попадайте и меня не забывайте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь» (Цейтлин 1912: 15–16).

Отваливая от причала, видно, для того чтобы хозяин не сгубил во время промысла ни души, усть-сысольские рыбаки бросали в воду столько кусков хлеба, сколько человек было в лодке. С целью задобрить водяного и в качестве своего рода «платы» за ожидаемый улов в воду рыбаками отправлялись: табак («На тебе табачку, а нам дай рыбки»), старые лапти, да еще и вместе с *онучами**, или прохудившийся

[19]Рыбаки свято верят в то, что водяной, рассердившись за что-нибудь на людей, может и не дать ничего. Так одному мужичку он прямо заявил: «Ты от меня ни одной рыбинки не получишь», а про одно из сольвычегодских озер рассказывают и вовсе удручающие в этом смысле вещи: «Есть у нас одно озеро, в которое лучше с неводами не езди, потому что водяной не дает рыбы, а накладывает полную матицу (сеть. — *А. Н.*) коневих говен» (Иваницкий 1898: 71; цит. по: Криничная 1994: 26). Нередко былички и бывальщины повествуют о том, как легко водяной может привести в негодность и столь же легко восстановить орудия лова: за ночь в клубочки сматывает невод, путает или рвет сети и т. д., и обратно их распутывает и починяет, а невод приводит в полный порядок и даже развешивает его на вешалах.

Широко было распространено и представление о том, что дети водяного помогают загонять рыбу в рыбацкие сети. Так, хорошо известна быличка про то, как один рыбак, выловив сетями мальчишку-водяного, держал его у себя. Но тот ничего не ел и, боясь, что мальчишка помрет с тоски, рыбак выпустил его обратно в воду. Не бескорыстно, конечно, — он попросил, чтобы тот нагнал ему в сети побольше рыбы, и мальчонка честно исполнил уговор (пересказ по: Власова 1995: 98, Арх.).

[20]Святые Петр и Павел упомянуты в заговоре не случайно. Посвященный им день (29 июня по ст. ст.) традиционно считается днем рыбака, а Св. Петр имеет в народе прозвище «рыболов» и считается покровителем рыбного промысла. По всему выходит, что он принял на себя функции языческого духа-«хозяина» воды и стал ведать рыбными угодьями — соответственно именно Петру стали молиться рыбаки и просить у него доброго улова. Былички свидетельствуют о том, что в народном представлении произошло даже не замещение, а своего рода слияние христианского и языческого персонажей: мужики служат Петру-рыболову молебен в Петров день, а выйдя из часовни, видят старичка — местного омутника (Криничная 1994: 20).

сапог с портянкой («На тебе, черт, обутку, загоняй рыбу!»), лили водку и «дарили» Бог еще знает что, исходя по-видимому из принципа, что водяному все сгодится. «У меня сыну пятьдесят лет. Он рыбак у меня. Так он говорит: „Там дедушка (батюшка) водяной. Чай пьете — плесните ему в реку, чего едите — тоже"» (Адоньева, Овчинникова 1993: 45, № 173, Волог.).

Чтобы не рассердить дедку и не испортить промысла, первую выловленную рыбу нередко отправляли обратно или возвращали хотя бы часть улова. А забитую острогой первую рыбу следовало закопать в землю (Волог.). Можно было окурить рыбную ловушку богородской травкой, а то и дымом свечи, что горела во время Христовой заутрени на Страстной неделе: «Сколько было в церкви народу, столько бы в моей ловушке рыбы. Все мои слова лепки и крепки! Тем моим словам рот, зубы — замок, язык — ключь, в море брошены» (Майков 1994: 138–139).

Рыбацких табу и сегодня еще бытует великое множество, а ориентированы они были в большинстве случаев на приспособление ко нраву водяного хозяина, на его «поважание». Знать надо, что ему нравится, а что нет... Вот и действуй сообразно. Известно, например, что:

— нельзя говорить, идучи на лов, куда идешь, «если сказать, что пошли рыбу ловить, нескоро с озер и выйдешь, а то и совсем туда ускочишь» (с.-рус.);

— нельзя выражать неудовольствие, тем более ругаться, если рыба сорвалась, надо пожелать ей «счастливого пути» или махнуть рукой и сказать: «не моя и была», тогда шансов больше, что не только будет клев, но и вытянуть добычу покрупнее, чем ушла;

— ловится рыбка — не считай, если будешь считать, перестанет ловиться;

— нельзя хвастаться уловом, стоит проговориться — и не видать больше рыбы: «... пока не знает никто — ловят, а как проговорятся кому мужики, ну хоть кому похвастаются, — так больше ничего и не уловить!..» (Терской берег Белого моря);

— сети нельзя чинить кое-как, а еще того хуже если невод вязан в праздники — водяной того не потерпит: снасть порвет, спутает, а рыбу всю разгонит;

— не нравится водяному, когда ловят рыбу по ночам да с подсветкою — заприметит, так с сердцов может и лодку перевернуть (Тамб.);

— на ловле лучше молчать, шумных и крикливых водяной не любит; вон, новгородцы раз отличились: принялись ловить да с шумом и криками, в общем, без должного уважения и к хозяину, и к делу — ну, и вытянули полную тоню веников... Тогда только одумались и после уж шепотом меж собой переговаривались (Белозер.);

— не стоит поминать у воды ни зайца, ни медведя,[21] а также ни попа, ни дьяка.

[21] Не знаю как заяц (хотя есть же примета: коль заяц дорогу перебежит — дороги не будет), но медведь водяному деду может досаждать и как особа, приближенная к лешему — давнему его соседу и неприятелю. Существует занятная история про то, как рассорились водяной с лешим: «В одном лесу глухое озеро было. В озере Водяной жил, а в лесу Леший, и жили они дружно

А уж Божье имечко и подавно: «Около зимника есть заездок. Дядя Степан говорил, что в этом месте много попадает рыбы, только не надо ничего говорить. У меня из рук три раза верши вышибал (водяной. — *А. Н.*). Я как увижу рыбу, каждый раз и скажу: „Ну Слава Богу, много рыбы!" И каждый раз как треснет по верши, так всю рыбу и опустит. Вестимо, водяному не любо было, что Бога вспомнил, ну он и не давал рыбы-то» (Новг.).



Рис. 22. Два бранчливых рыбака сеть волокут (один говорит: «Потяни, курвин сын!», второй отвечает: «Сам еси таков»).

Настоящий рыбак кроме серьезного отношения к табу, не обходит вниманием всевозможные приметы. По ним чего только не определишь, однако, если разобраться, все они направлены на то, чтобы достичь-таки рыбацкого счастья:

— если выходишь на лов, так надо быть сытым и иметь при себе сколько-нибудь денег;

— если по дороге услышишь от встречного «Доброе утро!» — можешь поворачивать обратно;

— если кошка перебежит дорогу — удачи не будет, а если сопровождает — быть богатому улову;

— если встретил священника — можно сразу возвращаться — улова не жди;

— если поплевать на червяка, прежде, чем закинуть — лучше будет клевать;

— если упустил первую клюнувшую рыбу — рыбалка будет неудачной;

с уговором друг друга не трогать. Леший выходил к озеру с Водяным разговоры разговаривать. Вдруг лиха беда попутала: раз вышел из лесу медведь и давай из озера воду пить; сом увидал да в рыло ему и вцепился. Медведь вытащил сома на берег, загрыз его и сам помер. С той поры Леший раздружился с Водяным и перевел лес выше в гору, а озеро в степи осталось» (Садовников 1884; цит. по: ОПСП, 341, Симб.). В этой истории противостояния хозяев двух стихий наиболее интересно то, что обе стороны оказались равны по силе. Кстати, как медведь для лешего, так и сом для водяного — то воплощение, то друг и помощник («правая рука»), то средство передвижения (леший на мишке катается, а сом возит водяного). Те, кто во всем этом разбирается, сомовину не едят (как и прочую «голую» живность — налима, угря, рака), да и ругать сома, особенно у воды, поостерегутся — услышит не ровен час дедка и за понесенную обиду непременно отомстит.

— если брать с собой на рыбалку сухой крови (носом шла — собери да высуши) — будешь много рыбы ловить, и т. п.

Между прочим, такое симпатическое средство, как сухая кровь, вовсе не самое экзотическое из использовавшихся рыбаками для обеспечения улова. Например, сушеные ящерки, подвешиваемые к поплавкам сети, тоже, говорят, хорошо помогали... А теперь, представьте на минуту, что у вас на руках оказался бесценный рыбацкий амулет — вещь верная, безотказная. Для его приготовления всего-то и надобно, что левое око убитого орла, которое необходимо *«добро мѣшать съ коровьей кровью и селезеневою, да все то изсуши, да завяжи въ синій платъ чистый...»* (Буслаев 1861; цит. по: Забылин 1880: 406). И если подвязать это сокровище к рыбацкой снасти, перед тем как забросить, можно наловить ой-ей-ей сколько рыбы...

Считается, что по выловленной рыбаками рыбе водяной сожалеет — стонет дня два «так, что слышно во всей окрестности» (Власова 2001: 101, Новг.). Оттого, видимо, и оказались такими долгоживучими представления о необходимости выкупа водяному за рыбу из его угодий. Ну, а какую именно жертву водяной предпочитает — о том не спорят, и так яснее ясного. Рассказывали, например, о неких купцах Заборщиковых (Варзуга), которым все не везло и не везло никак на лове. И вдруг разбогатели, а в округе стали замечать — начали пропадать люди. Оказалось, что купцы «ради своих уловов договор заключили с нечистой силой, с водяной русалкой в реке, что они будут ей живое мясо поставлять, а она к ним — рыбу в сети загонять» (цит. по: Криничная 1994: 29, Терской берег Белого моря).[22]

Такой договор — это ни что иное, как «зарок на голову», после заключения которого водяной сам брал себе предназначенную жертву, случайные утопленники при этом тоже считались жертвой водяному. «С их тони голова была отдана: до них кто-то на тони сидел, как будто колдун, так отдал голову того, кто на другой год сидеть будет, чтобы семга ему хорошо попадала» (там же).

Стоит ли удивляться, что удача на промысле частенько приписывалась колдовству: «необходимо знать приворот — иначе звезды будешь ловить, ракушки». Сильный колдун может с морем (понимай, с водяным) обо всем договориться. Поэтому очень часто главой рыбацкой артели избирался человек «знамый», который и должен был, если что, суметь сладить с хозяином.

Но более рыбаков нуждались в умении вести дела с водяным мельники. Легко понять, на чем зиждится народное убеждение, будто каждый мельник так или

[22] Пусть никого не смущает, что в этой бывальщине вместо водяного упоминается русалка, здесь она выступает адекватной заменой водяного, так как водяной в подобном случае более уместен. В традиционном понимании русалка, разумеется, не выступает женским вариантом водяного, скорее, таковым должна быть названа водяница, которая нередко трактуется как его жена (но на Русском Севере образ водяницы сливается с образом русалки). Что же касается водяного, то он как существо иномирное, могущее принимать любые формы, не связан ни половыми, ни возрастными рамками. Поэтому не должны показаться странными рассуждения такого рода: «Сидит на берегу девка гола и чешет волосы. По-деревенски, воденик, а по-ученому, русалка» (Криничная 1994: 8, карел.).

иначе связан с чертом. У всякого мельника главная забота — как бы не размыло, не прорвало плотину, и нет смысла задаваться вопросом, кто это может проделать лучше всех... Все, стало быть, выходит прямо по пословице: «Водой мельница стоит, да от воды и погибает». Вот и получается, что мельнику с водяным ссориться никак нельзя, а надо изыскивать какие хочешь способы ублажения и задабривания хозяина для добрососедского с ним сосуществования. И не сомневайтесь в том, что водяной у мельника частенько оказывается в соседях: ему очень нравится селиться в запрудах, к тому же очень легко регулировать ситуацию: если что не так, встает мельничное колесо (словно задело обо что — и нейдет ни в одну, ни в другую сторону), а как проблема решится, «препятствие» будто растаяло... (Максимов 1994: 83). Когда водяной мельницу опекает, она и работает полным ходом, и помол на ней хорош, а значит, и прибыток. Говорят, ломоть освященного в церкви хлеба из муки, смеленной с участием воденика да еще и в особое время (например, в ночь на Ивана Купалу), обладает чудесным свойством — съешь такой и в течение года не утонешь (белор.)

Только молоть муку ночью человеку не следует, потому что ночь — не его время. Водяному такое нарушение «жизненного» распорядка не по нраву и с наказанием нарушителя он тянуть не станет: «...там молол он ночью муку-то. И пришли — дак он в колеси там был заверченный. Так будто бы, что его домовой (читай: водяной. — *А. Н.*) запихал туды. Вот так, в эту мельницу» (Криничная 1994: 36, карел.).[23]

Мельник водяному всякие дары приносит (отправляет в воду муку, хлеб, водку, лошадиные черепа, зарывает под порог мельницы черного кочета и ржаные «*супорыжки*»* и много чего делает еще), в общем, все по «зароку», как договорятся. Только иной раз в уплату за свои ценные услуги водяной требует душу самого мельника. Даже история такая есть: одному мельнику сильно везло, потому что он за удачу Водяному душу на срок продал. А как срок вышел — платить надо, «приходит к нему Водяной за душой.

— Давай душу!

И мешок кожаный принес.

— Полезай!

— Да я не умею. Покажи мне!

Водяной с дуру и влез в мешок. Мельник, не будь глуп, гайтаном шейным его

[23]Водяной обидчиков не терпит. Если с подопечной мельницы мельника задели, поможет: от залезшего вора оборонит («словом привяжет» — «будешь стоять, покудова хозяин не придет»), а уйдет с добром — так найдет непременно, только попроси; если надо, может по указанию мельника любого его недоброжелателя «уходить». И вовсе не обязательно утопит, просто зачахнет человек или несчастье с ним какое-нибудь приключится. В общем, водяной исполнит любое желание мельника, но это вовсе не значит, что водяной мельнику подвластен, совсем наоборот, и их отношения — договорные: «Он сказал, что пошел договариваться с водяным: он был колдуном. Старик, значит, обещал водяному каждый год утопленника. Если люди будут тонуть, то плотину не прорвет. С того времени в Пертозере каждый год тонут люди» (Криничная 1994: 38).

сверху и завязал, да перекрестил. Так Водяной и остался в мешке» (Сказки и предания Самарского края 1884; цит. по: ОПСП, 341, Симб.).

Подобная наивность и даже глупость водяного встречается, как правило, в рассказах позднего времени, когда исконная сущность хозяина вод сильно подзабылась, и он стал напоминать обыкновенного сказочного черта, обвести которого вокруг пальца — не стоит большого труда. Но наряду с ними продолжали существовать и другие рассказы, в которых присутствовали и страх перед возможностями водяного, и представление о загадочных отношениях, связывающих с ним мельников.

Рассказывали, например, как «один мельник с Водяным знался и отлучался по ночам. Вот работник и подсмотри, да и спроси:

— Куда ходишь?

— Да в воду спать.

— Возьми меня!

— Изволь, только пальцем ни на что не указывай.

— Ладно.

Пошли в воду; работник подушку захватил. Идут словно не водой, а в погреб какой. Работник смотрит, а кругом рыбы многое множество. Вот и видит он кривую щуку. Он возьми и в остальный-то глаз ей пальцем и ткни.

— Что, — говорит, — тебе одноглазой жить?

Как ткнул, так и залила вода со всех сторон: на силу выплыл» (Сказки и предания Самарского края 1884; цит. по: ОПСП, 342, Симб.).

Кстати, про мельников, которые знаются с водяным, говорят, будто они не тонут. Завидное свойство, не правда ли? Зато, как считали в некоторых губерниях, мельника, знавшегося с водяным, неминуемо ждет ужасная участь — на сорок дней после смерти он становится еретиком, т. е. встает из могилы и всячески вредит живым (Вят., Самар.).

Кроме рыбаков и мельников, как бы ни казалось это на первый взгляд странным, тесные контакты с водяным имеют пчеловоды. Пожалуй, стоит упомянуть, что само появление пчел связывается в народном представлении с причудами водяного: заездил как-то дедка лошадь и загнал ее в болото, где бедная пала и была засосана трясиной. Мужики после (по его ли подсказке или по собственному почину — одному Богу известно) закинули аккурат в том самом месте невод и вытащили первый улей с пчелами. Вот от тех пчел и развелись они по всему свету.

«Божье созданьице» довольно выносливо, но «нескольких капель косого дождя достаточно, чтобы погиб целый улей», а стоит водяному устроить на реке разлив, причем совсем не обязательно, чтобы пасеку залило, как накапливающаяся в воздухе излишняя сырость приведет к невосполнимым потерям, она «составляет для пчелок сущую погибель». Суеверы из пчеловодов, желая уберечься от подобных несчастий и изрядно увеличить сбор, не задумываясь приносят водяному накануне Спасова дня (19 августа по ст. ст.) первые соты с медом «фунтов по пяти–десяти за

раз». В награду водяной будто бы дает птицу кукушку, которую пасечник должен суметь посадить в отдельный улей и никому ее не показывать, потому что стоит кукушке улететь, как за нею улетят и все пчелы. Пока же птица сидит, а пасечник держит в тайне свой «договор» с водяным, пчелы носят счастливчику мед. Считается, что этих пчел «напускает» водяной, и они не совсем такие, как настоящие пчелки: луночки в сотах выходят у них кружочками, а не крестиками, а мед, хоть его и много, бывает на вкус не хорош, не сладок (Максимов 1994: 84–85).

Звали пасечника Данила. Приехал он издалека и поселился на краю деревни, возле самой речки. Был он уже стар и ходить за плугом было ему не по силам, вот и завел большой пчельник. А кругом деревни луга заливные, разнотравье, да только нет Даниле от пчельника прибытка: то дожди зарядят, то река вдруг не в пору разольется, то холодные росы падут. И совсем было решил Данила забросить дело, да нашелся человек один, присоветовал отнести водяному перед самым Спасовым днем лучших медовых сотов. Кинешь, мол, в воду, не крестясь, через левое плечо и тикай, не оглядываясь, домой. Будет тебе потом и меду, и воску.

Послушался Данила, сделал как присоветовали. И, видно, понравился водяному его подарок — стал Данила больше всех в округе и меду и воску получать.

Понес он на следующее лето новый подарочек водяному. Только соты в речку через плечо бросил, как слышит сзади голос будто из бочки: «Ну, спасибо, добрый человек, ну, уважил, век такого меду не едал!» И хоть было Даниле сказано, что оборачиваться не след, а все ж не выдержал, обернулся... Видит, большущая щука в реке, сама черная и будто мхом поросла: «Ну, — говорит, — Данила, коли ты такой смелый, не побоялся на меня посмотреть, хочу тебя наградить. Выйдешь завтра поутру на пчельник, услышишь, как кукушка станет куковать, ты ей скажи: „Кукушка, кукушка, иди ко мне в улей, как батюшка водяной наказывал". Слетит она к тебе в улей, ты ее там закрой крепко-накрепко, улей этот в сторонке поставь да никому не показывай и никому про это не хвастай. Тогда будешь впятеро против прежнего меду получать». Плеснула щука и уж вместо нее здоровенная коряга на воде покачивается — то ли было, то ли поблазнило... Пошел Данила домой.

А на утро пришел на пчельник — кукушка кукует! Сделал Данила все, как водяной ему приказывал. И стали его пчелы столько меду носить, что только продавать успевай. Разбогател Данила.

Народ стал дивиться такой удаче: уж не колдовством ли Даниле все богатство привалило? Стали жену Данилову, Марфу, расспрашивать... Долго Марфа отмахивалась да отшучивалась, а потом и самой любопытно стало, начала мужа донимать: скажи да скажи... Данила все крепился, помнил, что не велел водяной никому рассказывать, да только против подступившей бабы долго ли держаться сможешь? Так она его упрашивала и клялась, что никогда никому ни за что... В общем, не выдержал Данила и про все жене рассказал. Ну, а у бабы нутро слабое, любопытство аж спать не дает, встала утром пораньше и скорей на пчельник — кукушку смот-

реть. Как крышку-то на улье приподняла, так оттуда целый рой и вылетел, и давай пчелы Марфу жалить. Кинулась она от них в речку и слышит, как будто из бочки голос: «Было те сладко, станет горько». Испугалась она, из воды выбралась и домой... Мужу-то поначалу ничего не стала сказывать, думала, что обойдется. Да только как дед водяной сказал, так все и сталось: начали Даниловы пчелы горький мед носить. И пришлось мужику дело это забросить (пересказ бывальщины; оригинальный текст см.: Морозов, Слепцова 1994: 85–87, с.-рус.).


Рис. 23. Утопленница.

Водяных описывают как духов семейных, живущих большим домом: жены, дети, слуги. Даже в заговоре к ним обращаются, как правило, ко всем вместе: «⟨...⟩ Царь водяной, и царица водяная с малыми детьми, с приходящими гостями...» (Олонецкий сборник 1894; цит. по: Криничная 1994: 47). «Живут они, как и мы, в избе, стряпают, едят, прядут, шьют, одним словом, делают все, как и у нас...» (Пересл.-Залес.). Иногда в рассказах речь может идти о целом поселении водяных или об отдельных семьях и даже о водяных — неженатых молодцах, которые не прочь обзавестись семьей. Жен они выбирают себе и из утопленниц, и из живых людей, и из своих водяных.

Из утопленниц жены выходят просто — сам утащил, когда купалась, или по собственной инициативе попала — вот и живет с водяным. Бывает, начинает такая «водяница» вдруг тосковать по земле, по оставшимся там родным, да только возврата ей нет, и всякая попытка уйти назад оборачивается настоящей гибелью (Арх.).

Из живых в жены к водяному чаще всего попадают «отсуленные: заругалась

мать, что девку все замуж не берут — «хоть бы водяной женился» — водяной и приехал под видом зажиточного мужика, и увез девку к себе; так она и жила себе за водяным, пока не умерла в родах (Вят.). В крестьянских рассказах XIX–XX вв. был распространен сюжет про то, как старушка-повитуха бабит у водяного, т. е. принимает у его жены роды. Водяной нередко заводит шашни с земными бабами. Раз одна вдова пошла за водой и загляделась в озеро на свое отражение: «Какая я красавица! А мужа у меня нет», — возьми, да и прокляни свою вдовью долю. А ночью все мужа-покойника во сне привечала. Время проходит, а баба-то в тяжести. Родила она и сразу, чтоб не вышло чего, ребеночка окрестила. Да только не помогло это, к ночи ребенок умер. Обрядили младенца, положили на стол перед иконой. Стало в сон клонить и мать, и пришедшую посидеть с ней старушку. Вдруг дверь отворилась, и лампадка загасла. Слышно, вошел кто-то. Зажгли женщины огонь и оцепенели: от ребенка одна правая половинка лежит. Не окрестили бы, так унес бы его водяной целиком, а так — крещеную половинку не взял, оставил[24]... (Георгиевский 1902: 58).

На своих водяные честь по чести женятся: со сватовством, с приданным — все, как у людей. Не хорош жених покажется, так могут и отказать. Вот была одна история, как породнились водяные, чьи угодья располагались у Ильинского и Пречистенского погостов. Эти погосты располагались на Водлозере (Пудога) на островах, разделенных проливами, вот в них-то и жили водяные, о которых зашла речь. У ильинского водяного была дочь, за которую посватались водяной пречистенский и водяной — владелец Кенозера. В те далекие времена Кенозеро соединялось с Водлозером и кенозерские водяные частенько навещали ильинского. Однако, несмотря на то что кенозерский водяной и жених был видный, и посватался раньше, ильинский водяной ему отказал. Он выдал дочурку за пречистенского водяного и дал ей в приданое много золота, драгоценностей и даже остров из своих владений отослал вместе с дочерью на новое место. Этот остров лежал прежде недалеко от р. Илексы, но,

---

[24]Мотив максимально «честного» дележа общих с водяным детей хорошо известен западноевропейскому фольклору. Так, немецкая баллада «Лилофея» повествует о прекрасной королевской дочери, которую сманил в свое царство водяной. Однажды ей удалось вырваться на землю, но она вынуждена была вернуться к своему супругу, ибо он предложил «развод» на неприемлемых для материнского сердца условиях — «честно» поделить рожденных в их браке семерых сыновей: трех ей и трех ему, а седьмого пополам...

> Все поделим: и ноги, и руки его.
> Ты возьмешь половину и я.
> Что ж молчишь? Неужель ты страшишься чего,
> Лилофея, дочь короля?
> Иль ты думал, мне сердце из камня дано?..
> Ах, прощайте, цветы и поля!
> Чем дитя погубить, лучше канет на дно
> Лилофея, дочь короля...

Перевод Л. Гинзбурга (цит. по: Волшебный рог мальчика 1971: 47).

ведомый петухом, прибыл к д. Большой Кул-Наволок, где и встал. Удивительный петух, говорят, по исполнении обязанностей улетел, но остров стоит до сих пор и в память о своем необычном лоцмане называется Петуньим островом. Надо сказать, что кенозерский водяной разобиделся на ильинского и больше в Водлозеро ни ногой; даже более того, чтобы не поддаться искушению возобновить старые связи, он завалил камнями дорогу, и с тех пор Кенозеро с Водлозером не сообщаются (Харузин 1889; цит. по: ОПСП, 197–198, Олонец.).

Жен водяного нередко называют *водяницами, водянихами, водявами, водяными бабами*, реже (и это позднее название) величают *шутовками*, т. е. чертовками. Если абстрагироваться от семейных историй, водяница — самостоятельный персонаж, однако по своим функциям водяная баба сливается с мужским вариантом духа-хозяина воды. Описания ее облика, как правило, скупы: большие груди, нагота и длинные волосы (то черные, то золотые), которые она, сидя на прибрежном камне, расчесывает... «Священник Заболотской церкви отец Андрей шел ночью через плотину к больному. Увидел женщину, чесавшую золотые волосы. Хлопнул ее по заду. Она сказала: „Хорошо, что на тебе сумочка [что имеет в виду рассказчик — не ясно], а то я бы тебя утащила“» (Власова 1995: 91–92, Новг.).

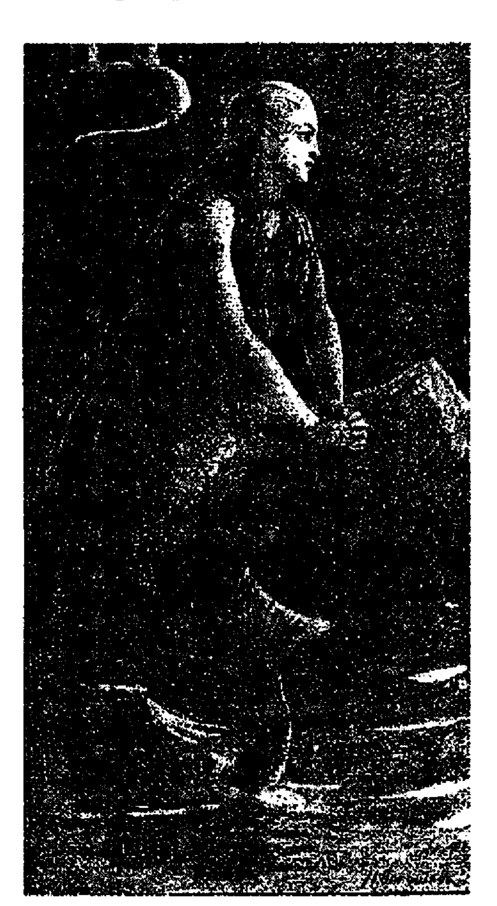


Рис. 24. Русалка.

Кроме традиционного расчесывания волос, водяница, как правило, приносит дурные вести. Говорит она кратко, но бывает, что и речи не нужны, так как своим появлением она уже предвещает неприятности. Услышать от нее что-то хорошее — редкость: «...Вот у одной женщины утонул сын. Он и плавал-то неплохо, хорошо плавал-то и времени прошло-то, пошла она стирать на реку и глядит, сидит на камне девушка, красивая, да голая, волосы черные, длинные. Она их чешет. Та [женщина] как увидела ее, и сердце захолонуло сразу. Спугалась сильно, стоит, не дышит аж. Забоялась шибко сильно. А как же, *ошарашно** ведь! Что ты! Эта русалка как посмотрит на кого, как застывши

человек стал, так и будет стоять, долго может так, да. Вот та и стоит. Вдруг русалка повертывается и говорит: «Твоему сыну хорошо, иди домой и не ходи больше сюда». И в воду прыгнула, а гребень оставила на камне. Женщина тогда опомянулась,* бросилась домой, молилась долго, много. Снилось ей все долго еще, потом прошло. А сына тело так и не нашли, глубоко больно. А хто они? А хто знает. У нас иногда говорят, что это девушки, умершие перед самой свадьбой. Они вот и томятся всю жизнь, и людям жить мешают» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 55, № 172, Новг.).

В русской традиции, скорее всего, следует говорить о совмещении образов водяницы и русалки в один. Известный Западной Европе образ юной, обольщающей мужчин девы с рыбьим хвостом вместо ног, судя по всему, нельзя считать исконным и характерным для русских и даже шире — для славянских мифологических представлений. Об этом свидетельствует хотя бы то, что само название *русалка* — относительно новое и не воспринимается как свое, звучащее естественно и привычно (т. е. по-народному), а как научное понятие, см. уже приводившееся выше: «Сидит на берегу девка гола и чешет волосы. По-деревенски, воденик, а по-ученому, русалка».

Русалка сформировалась под внешним влиянием античных и западноевропейских, проникших через литературу образов, на почве верований, связанных, с одной стороны, со стихийными духами воды и растительности, а с другой — с душами умерших, особенно тех, кто покинул мир живых молодым, не реализовав себя и не растратив отпущенный потенциал жизненных сил. Прелестный образ функционирует в народных рассказах позднего времени, но его никак нельзя считать основательно разработанным: «...Оны как человек, волосы длинные, распущены, на камне сидят и волосы чешут. И груди есть. В глыбких местах живут. Выходит утром и вечером. И попка, как у человека. Красивая, груди стоят, как у женщины» (там же: 55–56, № 174, Новг.). Получается, что волосы и грудь являются доминантой в облике русалки и соответственно бо́льшая часть связанных с этим образом рассказов сводится к заманиванию жертв в воду путем тривиального обольщения: «...Приехавши был дядя с Москвы. Пьяный пошел на речку. В костюме, одевши как следует. Ему показалась девушка красивая. Он приобнять хотел, руками так сделал — и нырнул в речку. Привиделась хорошая девушка, красивая. А он пришел, льет с него, а в хорошем костюме был» (там же: 54, 169, Новг.).

Образ «страшной» русалки воспринимается почти как родной, поскольку находится намного ближе к древней водянице: косматая, черная с отвисшими грудями, острыми когтями... Этот образ очень хорошо знаком северным и северо-восточным районам России, но он не будет чужим и для Центрального района и для Поволжья, и для Сибири. Это и водяной, и лесной дух, в котором проглядывают к тому же и черты покойников, продолжающих «жить» на земле...

«...Мать-то на пашне была, поздно поехала. А у нас братишки-то маленьки были — мне по воду-то некогда было сбегать. Думаю: „Я по огороду-то побегу на

старицу (у нас старица речку называли) — по огороду-то близко". Но, я вёдры начерпала, а она чешется там сидит, на кочке, на той стороне. А я в ум не взяла, думаю: „Михайловна перебрела и моется". Я ведры набрала и пошла. Пришла домой-то и говорю:

— И че, мама, там бабушка Михайловна моется.

А мама (она пришла):

— Че она ночью-то мыться будет?!

— Не знаю, чешется сидит на кочке.

... На третий день мама опять приехала поздно, мне говорит:

— Езжай коня поить.

Я сяла верхом на этого коня. Приехала туды, к речке-то. Гляжу — опеть чешется, опеть моется. Конь-то пьет, а я говорю:

— Ты че, бабушка Михайловна, ночью-то моешься?

Она как в воду-т — бух! Конь-то у меня со всех ног... Я уж прижалась, не упала ⟨...⟩ Приехала, маме-то говорю: Так и так...

Она:

— Ить это русалка. Тут люди тонули.

Много людей перетонуло, где русалка была, как купаются, так кто-нибудь утонет.

А это русалка... Но ее потом Сафонов убил, эту русалку. Из воды вытащил и показывал. У нее голова и руки, тело-то человечье, а ниже — хвост рыбий. Черный такой, в чешуе» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 50–51, № 65).

Но о русалках — воплощении душ умерших, об их активном времени, о том, чем они были опасны, и о том, как от них защищались, обо всем этом нужен отдельный разговор.

Глава 5

ЛЕШИЙ

хозяин леса, как он есть, его обязанности и привычки; если леший взял в оборот; всему зверью господин; не надо «к лешему!» (несколько слов о проклятых); о тех, кто с лешим «на короткой ноге»

Лес *клястной**, хозяин *частной**!
Господи Боже, благослови
в лес войти и с лесу выйтить

Добровольский В. Нечистая сила в народных верованиях

«Было это годов сорок с гаком. Возвращался я из лесу... вот как сейчас. И хотя дорогу знаю, не заблужусь, а все равно неспокойно, потому как туман поплыл. Невидучая стала погодка, самая что ни на есть лешачья... Свернул я на визирную просеку, а там человек стоит, меня поджидает. В кафтане расстегнутом, войлочной шляпе и в лаптях. Голова его в плечи ушла, в глазах — огненный перелив, а руки вперед выброшены — как бы к броску готовятся. И зубами — „клац-клац"... У меня ружье с собой было, шестнадцатый калибр. Вступаю в дипломатические переговоры: „Кто такой? А ну с дороги! Стрелять буду!". А про себя думаю: видно, кто-то надо мной подшучивает, я ведь в нечистую силу не верил, хоть и мальцом был... А в ответ — „щелк-щелк", „клац-клац". И горячим воздухом меня обдает, мягоньким таким, в коленках слабость, напряглось все внутри. „По счету "три" — стреляю!" — кричу я нечистому и курок взвожу. Если не чокнутый — убежит, напугается... А глаза его огнем полыхают, голова дергается, зубы щелкают. Выдержал я минуту, сказал „три", да и пальнул с правого ствола. Все дымом заволокло, не вижу ничего. Как бы с боку не напал, лешак этот. Ружьем на всякий случай махаю... А предмет на том же самом месте стоит: тот же балахон, брюки, лапти, а рук и головы нет. Вот те на! Подходить стал поближе, присматриваться: высокая фигура стоит человеческого обличья. Толкнул ее стволом, да и со страху назад повалился, будто пружиной брошенный. Поднялся, однако правую ногу подвину, левую подтяну, сно-

ва ружьем туда-сюда толкаю. Любопытство-то — оно сильнее страха... Ага, что-то мягкое прощупывается, будто живая плоть горячая...



Рис. 25. Лесной хозяин (Медведь-улей).

А был то обыкновенный еловый пень. Лопнувшая кора — балахон, корни — лапти, ветки — руки. И сидела в нем старая сова, клювом блох выискивала, оттого и клацкала. Остальное привиделось... А был бы я суеверным человеком, на всю жизнь повредился б от страха» (Ларин 1985: 38–39, Арх.).[1]

Сколько ходит всяких историй о встрече с лешим — даже представить трудно... Пожалуй, по своей популярности хозяин леса не уступает домовому. Отношение к нему очень неоднозначное и противоречивое, но ничего в этом удивительного нет, потому что сам леший совсем не прост и очень своеобразен. Только прозвищ, отражающих облик и занятия лешего, можно набрать по разным уголкам России более, чем с полсотни, а это, согласитесь, кое-что.

Леший, *лесовик* или *лесной* — он в лесу *хозяин, господин, большак*, в заговорах его нередко величают *лесным царем*, так прямо и говорят, когда нужно: «Царь лесной, всем зверям батька, явись сюда!» (Новг.). Он и вправду *сам*, старший над всеми лесными тварями и растениями и, между прочим, над людьми, оказавшимися в его царстве — тоже. Вот почему лешего могут называть, совсем как домового, *дедушкой, дедкой*. О высоком положении и почтенном возрасте говорят неизменно упоминаемые в большинстве рассказов борода и седина: «Лесовик или дедушко лесной, сивый весь, и борода сивая...» (Власова 1995: 203, Новг.); «Только зашли за деревья, к ним старичок и вышел с большущей бородой...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 18, №11); «...вдруг к нему старичок подходит, седой-седой, в рваной одежде, с бородой...» (там же: 19, №12, Сиб.). Только старый — вовсе не означает дряхлый (это про кого угодно, но только не про лешего). Его активности, силе и сноровке впору позавидовать. Отсюда: *вольный* (вольной), *дикий* (диконький) и *шатун* (шат) — еще одна группа лешачьих прозвищ, указывающих на его независимость, самовольность и привычку свободно бродить (шататься), где вздумается. Кроме того, в этих прозвищах присутствует скрытый подтекст: в лешем неиз-

[1] Эта история о встрече с «лешим» была записана О. Лариным от А. И. Петухова, в юности профессионального охотника, а позже известного мастера-резчика по дереву, который возродил старинное ремесло Русского Севера — изготовление щепных птиц.

менно ощущается движение, похоже, что покой и неподвижность ему просто не по нраву.[2]



Рис. 26. Чудо лесное.

Нередко он показывается очень высоким, даже просто огромным: «Леший в лесу живет, он большой *порато**...» (Арх.); «...видела как леший по деревне прошел. Он выше домов, а за ним ветер ...» (Волог.); «...вдруг видит, человек идет, большой, выше сараев, длинный. То леший был, наверно» (Арх.); «Вдруг передо мной, прямо перед моими глазами, возник мужик. Мужик-то такой огромный, что и представить-то невозможно!.. Ну, такого верзилу я еще не видела...» (Сиб.) и

[2]В самом деле, с появлением лешего поднимается ветер, буря, возникает свист, и деревья начинают гнуться и шуметь (что также ощущается как звуковое движение; кстати, эхо, которое считается голосом лешего, оно ведь тоже не стоит, а «отдается» или «прокатывается» по лесу). Сам леший чаще всего ходит, причем так быстро, что догнать его почти невозможно, — уж больно шаг размашистый... Бывает, что, изрядно шагнув, леший за порыв расплачивается штанами — рвутся бедные прямо по шаговому шву: «Ой, — говорит, — через Онего ступил-шагнул, дак подгузёнок лопнул!» (цит. по: Криничная 1993: 13, карел.). Если же леший «пребывает в покое», то динамика скрыта в самой его позе или в занятии: он может, например, сидеть, починяя лапоть (обувь сама по себе символизирует движение), может стоять в раскорячку (одна нога здесь, другая там) или застыть, уподобясь дереву, кусту или пню, который готов в миг сорваться с места и исчезнуть.

т. д. Жители Орловской губ. утверждали, что лесовой никак не меньше десяти аршин, т. е. семи метров, по-нынешнему, а то и больше. За свой немалый рост леший получил прозвища *дядя большой* или *долгой дядюшка* (Вят.).[3]

В быличках про лешего прямое именование его великаном практически не встречается. Однако то, что для лешего гигантский размер — это привычный размер, становится ясно из разнообразных деталей, которыми изобилуют рассказы очевидцев: от его шагов трясется земля, от свиста закладывает уши, и лес начинает валиться; если он берет табачку на понюшку, то всего содержимого табакерки ему хватает лишь на одну ноздрю; а из рукава от кафтана лешего мужику удается справить себе и кафтан, и пять шапок в придачу. Одна яркая деталь — и ваше представление о том, какой громадина из себя леший, готово: «Ездил мужик ночью за рыбой... Рыбы было очень мало. Идет он по реке и видит: стоит человек — одна нога на берегу, а другая на другом. Рыболов и говорит:

— Ах на эти бы нишша, да красные штанишша!

Это было в пондраву лесовому; *обрал** ногу с берега на другой и пошол, захлопал в ладоши и захохотал. И говорит: „На эти бы нишша, да красные штанишша!"

Мужик после этого поехал по реке на лодке и так много рыбы бить стал, што сроду не видал. И набил целую лодку» (ОПСП, 316, белор.).[4]

---

[3] На самом деле, леший бывает не только «выше лесу стоячего», он вполне может объявиться и размером с былинку — «ниже травы», правда такое с ним случается намного реже. «Безразмерность» лешего связана с его умением подстраиваться под окружающую обстановку: среди высоких деревьев он и сам в их размер, а на опушке среди трав он, если надо, незаметно укроется «под любым ягодным листочком» (Максимов 1994: 61). Причина того, что умение становится маленьким, не нашло достойного отражения среди прозвищ лешего, говорят, очень проста — в поля и луга он выходит редко, стараясь не посягать на права своего соседа полевика.

[4] Коронная в этом рассказе фраза чаще встречается в облегченном варианте: «Как на эти бы на ны надеть красные штаны!», но в любом случае, в ней есть ощущение испытанного живой душой потрясения от вздымающейся над рекой крутой «арки»... В некоторых быличках проскальзывает уверенность, что эта фраза — ключ к отличному настроению лешего: услышав ее, он неизменно взбадривается и затягивает песню (Волог.). На вопрос о том, что такое «ны» или «нишша», ответить трудно, поскольку даже у людей, непосредственно занимающихся исследованием мифологических персонажей, и в том числе лешим, единого мнения нет. Многие приходят к выводу, что вряд ли речь здесь идет о ногах. Объяснение, что перед нами просто звуковой набор, взятый исключительно для рифмы, нельзя считать удовлетворительным — с чего бы тогда лешему так развеселиться?

Народ всегда обладал изрядным чувством юмора и лешему в нем никогда не отказывал. Если судить по текстам быличек, тот всегда готов пошутить и ценит хорошую шутку настолько, что сказанная во время, она становится защитой провинившемуся перед лесным хозяином. Возможно, что все дело в традиционной оборванности и даже наготе, которыми отмечено большинство мифологических персонажей (напомним, что нагота — характерный признак порогового состояния и положения между миром живых и «иным» миром). И нет причин считать лешего исключением из общего правила, в рассказах нередко упоминается его «неодетость»: «идет голая образина», «леший обыкновенно волосатый и нагой» и т. д. (Криничная 1993: 15). Ну, а по логике, мысль надеть штаны должна возникать, когда оные отсутствуют.

Шажок, следовательно, у лешего не маленький, да и ножка — золушкиной не чета. Те, кому довелось поглядеть, утверждают, что оставленный лешим след вдвое превосходит обычный человеческий (лапоток-то — чуть не в сажень длиной!). Возможно, поэтому лесной хозяин частенько испытывает проблемы с обувью: то его видят починяющим свои лапти при лунном свете, то находится мастеровой, который в сердцах высказывает желание справить обувку хоть самому лешему, и леший такой возможности не упускает, причем за хорошую работу он платит не скупясь. С двумя катанщиками (валенки катали) как раз такая история вышла. Один после рассказывал, как шли они раз, не солоно хлебавши, да и подумали: «„Ще за лешой, нехто нам валешки не дает катать! Хоть бы лешой дал валешки скатать-то!" И вдруг выходит из-за стороны лешой. И спрашиваст нас:

— Куды, ребята?

— Валешки ходим, катаем, да нихто не дает нам.

— Дак пойдемте ко мне катать...



Рис. 27. «Свети, светило!..» (Леший, ковыряющий при луне лапоть).

Поймались, он и понес нас. Идет ходко, только вершины мелькают... Принес в избушку, шерсти сразу велел старушке (а у нево, должно быть, матка) принести. Она навесила полпуда и мы начали бить. А он сам обратно ушол; не живет дома, за своим делом похаживат (шерсти подсобироват, можот). Набили шерсть и заслали, и давай *юксить**, закатали валешки. Надо ночевать нам. Оба в валешок от улезли, да там и спим. По утру стали и давай стирать их.

Выстирали валешки; а у нас колодки-то едакой нетутка по ево ногам. Пошли в лес, *коргу** выкопали и принесли. Забили ету коргу, высушили валешки. Добыли коргу, валешки теперь готовы.

Лешой приходит сейчас накладыват валешки мерять. Обул валешки и заплескал:

— Ладны, ладны, ладны!

Спрашиват нас:

— Много ли за роботу возьмите?

— Сами знаете, сколько положите.

— По пятерке на человека будет ли вам?

Мы *обрадели** и спрашивам:

— Кака будем отцель выбираччя-то домой-то?

Накормили нас... [В рассказе упоминаются старушки-слушательницы, которые у рассказчика не преминули поинтересоваться, чем кормили у лешего. На что катанщик ответил, что прокорм был не плох: и «свежих *пшенисников**» и «несъиманова молока преснова»: „...вот, бабочки, не благословесь хлебеч ет да молочке-то оставляите, — он то и уносит"]. *За крошки** поймались и понес на ту жо дорогу. Вынес нас на дорогу и отпустил, а сам ушол. Пошли, табачкю закурили и песенку запели (денежки есь)» (Зеленин 1917; цит. по: ОПСП, 314–315, №21, Вят.).

Пеший ход для лешего — милое дело, тем паче, что на ногу он легок: «идет ходко, только вершины мелькают...» — на нем, как на лошади верхом. Известно ведь, что связавшегося с ним человека, а то и не одного, леший обычно «носит» на плечах или на закорках («на крошках», «на запятках», «на кукоречках»), т. е. на себе, на своей спине. А некоторым доводилось слышать, как леший совсем по-жеребячьи ржет: «...наперво цокотал, а потом заржало» (Богатырев 1916: 49, Арх.). «Лошадиный» облик лесного хозяина нет-нет, да и проступит в описаниях: «...смотрит: стоит конь. То конь как конь, то вроде как человек. Дошел он до того места — ни коня, ни человека нет» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 329, №41); «...стоит, грит, дедко, не просто дедко: вверху-то дедко, а внизу коньот» (Криничная 1993: 11, карел.). Случалось, что сам он то всадником, верховым, покажется, и конь у него — прямо загляденье! (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 39–40, №47), то возницей, да еще и прокатить возьмется «с ветерком» на своей паре или тройке (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 268, №261), а то и табуном коней пронесется, словно вихрь: «...как по лесу шарахнуло — бежит табун целый, и до нас добежали... А мы, скаже, свалились, стали воскресные молитвы читать (тогда ведь еще знали). И до нас, скаже, добежало и говорит: „Рано схватились!" Не то бы всех задавило тут...» (Криничная 1993: 22, карел.). Рассказы о таком табуне невольно вызывают ассоциации с общеевропейскими преданиями о «дикой охоте»: «Потом как полятели по небу-то от зямле! Всё какой-то наро-од, ко-о-ни! И всё уверьх! Лятять и лятять, и конца нету! Ну хто ж это?! И пропали...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 258, №238). Интересно, что узреть лешего-невидимку (бывает, что присутствие ощущается, а самого не видно) можно, если глянуть промеж ушей лошади или в хомут (Волог.).

При всей его «лошадистости», коль взбредет лешему подсесть на попутную подводу, для обычных крестьянских лошадок он оказывается непомерной тяжестью —

им даже с места не стронуть. Только дело здесь уже не в гигантских параметрах лешего, здесь очевидна его принадлежность миру иному — большинство его представителей, как известно, нормальными средствами «не свезти».[5]

Было раз: «Ехала мать из лесу, дрова везла. Все бежала лошадь. Вдруг остановилась. Не пошла и все. Не может идти. Вот не может. Запыхалася, затужилася, вся в пене. А это из-за воза. Не знаю, что такое в нем и сделалося. Ой, мать говорит, не знаю, что и делать. До деревни далеко — куда деваться. Все, говорит, молитвы перечитала, помолилась Господу Богу. Стало лучше да лучше. Я, говорит, еще почитала, да еще почитала. И увидела, говорит, как копна белая пошла от меня, с возу. Опустилася с возу и пошла. Вот, лесной, может, этой и показался. Сел на воз, так лошадь не могла и стащить. А он молитов-то не любит» (Ефимова 1997: 144).

Рука у лешего — под стать всему прочему — не изящна («пальцы, как бревна»), не мягка и настолько не легка, что в пору каменного гостя вспоминать: «...руку мне положил на плечо, я сразу бух! Настолько тяжелая рука, что сразу на сыру землю сел...» (Криничная 1993: 13, карел.). Здороваться или прощаться с лешим за руку — одно членовредительство: если не отдавит, так обдерет непременно. Вот, в Новгородской области с ребятами история приключилась: «...онны с онной дяревни... Одного звали Николай, а другого Александр. Александр остался дома, а етот пошел. Значит, отгулял, идет домой. И вдруг попадает етот Александр. И говорит:

— Здоров, Коль!

— Здорово-здорово!

— Закурить-то есь?

— Ну, давай, — говорит, — покурим!

Закурили, поговорили.

— А ты, — говорит, — где был?

— Да, — говорит, — там-то!

— Ну ладно, иди.

Сашка подает яму руку, говорит:

— До свиданья!

Коля-та как яму подал руку, Сашка яму от так схватил, так от половину руки спустил [кожу с руки]! Коля с посылкой домой пришел. Ну, ты понимаешь — наклал в брюки. Приходит к етому Сашке... А Сашка спал. Будит отца с матерью:

---

[5] В этой связи вспоминается история, как солдат с лешим вечер коротали и о лешачьей смерти беседовали: «...Тогда солдат спрашиват: „Ну што вы, помираете или нет когда-нибудь?“ — „Мы *некогда*“ не помираем, а только мы ходим по лесам, по домам, если попадетца под ноги игла — как ступим на иглу, так и помрем“. — „А как же ваши телеса убирают? Ведь вы велики?“. Тогда леший сказал: „Запрегай хоть петнадцеть лошадей и некогда нас не вывезти! И привежи курицу и петуха на мочалко, пугни их, они и уташшат; а ветер дунет и нечево и не будет...“» (Зеленин 1917; цит. по: ОПСП, 311, №20, Вят.).

— Сашка дома?

— Дома.

А он говорит:

— А, й.. твою! Как он мяня сейчас разделал!

Сашка встал, говорит:

— Ты что! Ошалел! Я, — говорит, — в онных кальсонах, и я тябя разделал!

От он сам рассказывал, Николай:

— Поздоровался, — говорит, — лапа шерстяная и когти!

И вот он пришел домой весь бледный-перебледный-бледный. От такое яму причудилось! Он яго как от лапой стиснул!..» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 254, №232).

Вообще-то леший, как и прочие упоминавшиеся мифологические персонажи, показывается не к добру: встреча с ним — верный знак грядущих неприятностей или беды. Когда в настоящем все в порядке и в будущем ничего не грозит, лешего не слышно и не видно.[6]

Человеку вечно неймется. Хоть и сказано «не буди лихо, пока оно тихо», но из любопытства или по надобности, тянет его хотя бы одним глазком на лесного хозяина поглядеть...

Если в ночь на Ивана Купалу срубить в лесу осину, да так, чтобы упала верхушкой на восток, встать на пень и, глядя меж ног на восток, произнести: «Дядя леший, покажись не серым волком, не черным вороном, не елью *жаровою**: покажись таким, каков я!», то выйдет на зов в образе мужика леший (Власова 1995: 218). Поскольку иномирному существу не проблема принять вид, какой ни пожелается, просьба к «дяде лешему» показаться не волком, не вороном и не елью, вовсе не проформа: что ни говори, а в образе мужика — оно как-то и глазу привычнее, и сердцу спокойнее, да и для общения удобнее.

С елью в данном случае все более или менее понятно: леший не только хозяин

[6] Коли лешего не видно, это не значит, что его нет. Он может ходить рядом или мимо, а человеку и невдомек. Считается, что лешего (как всякую нечисть?) видят животные, в частности собаки «двоеглазки» (это у которых над глазами есть по круглому светлому пятнышку), и могут видеть маленькие дети (возможно потому, что их зрение еще не окончательно адаптировалось к нашему миру): «Мать ушла с двумя ребетенками в лес, мать никого не видит, а мальчик говорит: „Дедушко нашего вижу, он меня ведет“. Вот и увел. Это леший был» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 48, Арх.). В том, что леший в данном случае прикинулся родным дедушкой, нет ничего удивительного: к родному-то, как известно, доверия больше. Кроме того, это еще вопрос, пребывал ли дедушка на тот момент в числе живых, поскольку леший, по вполне понятным причинам (чем владею, тем и пользуюсь), нередко принимает обличье людей умерших. Вот и рассказывают после те, которых водило: «Я ...с дедушкой и бабушкой ходил (а дедушка с бабушкой померли давно)» (Новг.) или: «...я не один ходил, а я ходил с Федором» — «Да как же ты с ним ходил, когда он уже позапрошлый год умер в городе?» (карел.) и т.д.

леса, он — его воплощение,[7] отчего и воспринимается как его органичная часть — «сам весь словый, и руки, и голова» (Арх.).

Одной женщине привелось на лешего вблизи посмотреть, так она после рассказывала: «Шла я лесом. Ето мне обязательно надо было — опоздала я, понимаити?! Ну вот. А время уж поздно. Уже чёрно в лясу. Вот. Я вижу: ой, слава Богу, еще хто-то идеть, человек какой-то мне па встречу. И я отвярнула. От так, вбок. Я говорю: „Здравствуйте!" А ён повярнулся сзади за мной. Какой ён, девочки, страшный! Какие-то пятна у яго всякии. И грибы-то толстущии! Вот так, вот так шлёпаеть! А сопить! Как лес шумить! Ну вот я как оглянула: и-и-и — ён весь во мху! От, я думаю — надо бяжать!..» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 248–249, №219).

Рассказы о лешем, появляющемся в виде черного ворона, не часты. Если и встретится, то, скорее, в чисто бытовой ситуации, например: «Ён натащит коды хлеба; когда сорока, когда ворона тащат» (Криничная 1993: 11, карел.). Однако ворон действительно считается вполне признанным эквивалентом лешего: такой облик отвечает и быстроте передвижения лешего (птица — известный символ и воплощение ветра, а леший — сам вихрь и буря), и сущности хозяина леса как хозяина «иного» мира (птичий облик души). С этим образом лешего перекликается и его волчий облик. Он появляется либо белым, как снег, волком, либо волчьим пастырем, вокруг которого волков «видимо-невидимо», «тьма-тьмущая, пожалуй до тыщи будет» (Ефимова 1997: 136). В качестве хозяина волчьих стад лешего дублирует святой Егорий: «костер разложен, а кругом волки сидят и с ними сам Егорий Храбрый» (Сказки и предания Самарского края 1884: 283, №94). Считалось, что этот святой, с одной стороны, бережет от волков домашний скот, а с другой, «что у волка в зубах, то Егорий дал» (СД, I, 497; 498). Образ Св. Егорья — волчьего пастыря, практически полностью утратил то, что сохранил более древний образ лешего: представления о волках как о душах мертвых и об их хозяине соответственно как о владыке царства мертвых.[8]

---

[7]Это единение духа-хозяина с подвластной ему стихией легко угадывается в распространенном к лешему обращении «лес честной», «лес клястной» или «праведный лес». Свободно меняя свой рост и облик, леший запросто может вытянуться елью, а то и разлечься белым мхом (Власова 1995: 204, Арх.). Считается, что леший может специально, чтобы сбить с пути, запутать человека, принимать вид дерева, у которого мох или короткие сучья расположены не с северной, как полагается, а с южной стороны. Глянув на такой «ориентир», человек выбирает неверное направление и начинает кружить... (ОПСП, 143–144). В рассказах древняя ель нередко указывается в качестве жилища лешего. Стоит срубить такую, и леший непременно отомстит обидчику: «Дядя Андрей срубил жилье лесного (вековую елку) и не рад был; над ним долго *гилился** леший и провожал его до деревни, а на другой год овин сжег у него» (Ефименко 1878; цит. по: ОПСП, 170).

[8]В индоевропейской традиции существовало представление о загробном мире как о пастбищах мертвых, и древнегреческий Элизиум (Елисейские поля), к примеру, происходит от корня *-валу-*, имевшего значение *умирать*. *Веле* — души усопших (отсюда происходят и славянские вилы), которые, согласно древним верованиям, принимали облик растений, насекомых, птиц и животных. В

Леший в виде мужичка — опять-таки явление довольно абстрактное, он ведь любым человеком может привидеться: хоть мужиком, хоть бабой, хоть чужим, хоть знакомым, а то и целой компанией...

И все же есть кое-что, что отличает его от человека, даже если он совсем «как настоящий».

Во-первых, неистребимые в облике лешего «рудименты» зверя: повышенная волосатость, даже лохматость — густой такой волос белый (или черный), иногда с зеленым оттенком, хвост опять же... Девчушки, которых леший водил, после рассказывали: «Вывел он нас на тропинку и пошел назад, а у него волосы распущенные, и шерстка, и хвост собачий, и одежды нету... думали, что приснилось, а нет...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 19, № 11). Некоторые утверждают, будто и рога, и копыта есть: «...сам на вид средних лет, из себя мужчина плотный, весь покрыт черной блестящей шерстью. Шерсть на нем вся завита кудрями и голова тоже кудрявенькая, с небольшими загнутыми витком рожками, не больше мизинца, ноги в копытах. Глядит он ласково, мягко, как добрая черная собака...» (Колчин 1899: 20, Тул.).

Вот, по поводу лешачьего взгляда, как раз и будет, во-вторых. Глазки у лешего — ох, не просты! Чтобы глядел он «ласково» да «мягко» — это большая редкость, обычно говорят: «Он страшный, у него глаза большие», «светлые», необычные глаза... «Наш отец с ним курил. А вот он поехал по дрова. Он приехал в лес. А ему этот, дедушка-то лесной, показался... знакомым мужиком-то. Он понял, что глаза не такие у него. Все поглядал на меня и говорит: „Евгений, давай закурим“ ⟨...⟩ На бревешечке сидя так на него поглядывает. Говорит, что-то глаза, говорит, не такие.

некоторых славянских традициях Велесу отведен месяц октябрь, в дни которого проводился обряд поминовения умерших. Тогда же было принято сжигать кости животных в честь Велеса — покровителя скота. Период второй половины Святок — «страшные вечера» — также имел непосредственную связь со скотом и зверьем и соотносился с «велесовыми днями». И древняя Масленица, накладываясь на римские луперкалии — «волчьи дни», тоже проходила под «знаком» Велеса. Об этом косвенно свидетельствуют сохранившиеся у белорусов древние «комоедицы» — медвежий (= звериный) праздник. У восточных славян эти дни имели непосредственную связь с культом умерших. В древнем охотничьем неолитическом обществе Велес–Волос почитался как хозяин леса, божество охотничьей добычи, и мог представляться в облике медведя. Волос — волосатый (волохатый), косматый — возможно, прижившаяся замена табуированного имени бога, равно как сохранилось и название *медведь* («мед ведающий» или «мед едящий»).

Медведь, следовательно, не случайно «носит титул» хозяина леса (он дублирует лешего, — его замена) или неизменно сопровождает лешего в его походах по лесу. Говорят, что такое взаимопонимание между ними сложилось не сразу. Свидетельством бурных выяснений того, кто в лесу главный, — это куцый медвежий хвост — лучшая его часть была когда-то оставлена в руках лесового (Вят.). С тех пор будто бы и установилось это своеобразное побратимство, тем более, что леший с медведем — два сапога пара: оба на зиму успокаиваются, оба любят пошалить, оба не прочь угоститься винцом. Говорят даже, что, коль доведется им напиться, леший немедля заваливается спать, во всем полагаясь на своего косолапого приятеля, а тот, хоть и во хмелю, но честно ходит вокруг дозором, охраняет его от водяных чертей (Афанасьев 1994: II, 336).

А мужик вроде знакомый...» (Ефимова 1997: 134). Необычными, «не такими» (не как у людей, но... как у лешего) становятся глаза пропадавших в лесу: «Глаза у девок вострые, как не наши глаза, не людские, как невидимки...» (Криничная 1993: 42, карел.). Похоже, что «глаза ... как невидимки» — это идеальное определение, поскольку представители мира живых и иного мира отличаются взаимной слепотой.[9] В идеале они не видят друг друга, противное свидетельствует о том, что имеет место некий сбой.

Возможно, поэтому леший нередко проходит мимо, не глядя на людей, «как бы не видит их, будто оставаясь в своем мире»: «Мама ей говорила, что лешие не смотрят на людей, когда они говорят с ними. „А он на нас и не смотрел, а в сторону", — заметила старшая...» (там же: 14, карел.). Он вообще не больно-то дает себя разглядывать, все время отворачивается, «рожу не кажыт» (Богатырев 1916: 50, Арх.). Может, стесняется? Говорят, что у него нет ни бровей, ни ресниц...

В-третьих, любит леший броские «аксессуары» — какую-нибудь яркую деталь в одежде, что-нибудь красненькое, чтобы глаз радовало: «А леший, он в красном колпаке ходит...» (Арх.); «одет он был в белую рубаху и подпоясан красным кушаком» (Волог.). Или вот, например: «Коренастый, шапка катаная, заломленая, пальтуха, брюки черные, валенки тоже черные, кушак перевязан красный. А на Вые, я знаю, никто, никто не носил, мужчины кушаком не подвязывались» (цит. по: Ефимова 1997: 135). Даже показываясь «коллективом», леший этой своей склонности не изменяет: народ видит то мужиков в красных кушаках или красных рубашках, то

[9] Необычный и загадочный взгляд лешего опасен для живых, — более того, гибелен. Так, мужик из рассказанной истории (тот, что курил с лешим на бревешечке, и на кого леший все поглядывал) вскоре умирает. Взгляд устанавливает связь между человеком и духом. Живой, встретившись взглядом с представителем мира смерти, оказывается в его власти (Ефимова 1997: 134). И проклятые, уведенные лешим, попадают в «иной» мир и становятся для живых невидимыми. Поскольку их принадлежность другому миру не окончательная, какое-то время они пребывают «на пороге» и поначалу даже могут «нарушать» границу, спорадически проявляясь в реальном мире. Возможно, что именно с их пограничным существованием и следует связывать наблюдающуюся «однонаправленность»: для живых они не видимы, но сами они живых видят и могут (когда это позволено) контактировать с ними. Однако норма остается нормой, и невидимки продолжают быть невидимками, пока не происходит намеренного или случайного «пробоя» границы. Так, например, в одной из быличек рассказывается о неожиданном возвращении проклятой дочери благодаря случайному стечению обстоятельств: «... Раз были они в кабаке. Отец предлагал матери выпить стакан водки, а она все отказывалась и с сердца выплеснула водку через плечо прямо в глаза своей дочери, которая невидимо была в кабаке и терлась вместе с лешим подле своих родителей. Тотчас же дочь перестала быть невидимкой и появилась перед глазами удивленных и обрадованных родителей» (Добровольский 1908: 6).

Теми же «проблемами» со зрением, судя по всему, объясняется и пресловутая лесная *морока* — двойственность ландшафта для того, кого леший ведет. Зрение сменилось, и человеку все (буераки, чаща, болото, кочки и проч.) представляется гладкой дорогой, хотя некоторые странности могут ощущаться. Но, как только граница восстановлена, человек «прозревает» и не может понять, как это он не заметил, что зашел в реку, влез на скалу, оказался в болоте, в яме, на вершине дерева и т. д.

баб или девок в красных сарафанах... Правда, стоит только перекреститься или помолиться, и любители красного цвета тут же бесследно исчезают.

В-четвертых, леший не очень разговорчив. Вступая в общение, он в большинстве случаев ведет себя вежливо, даже учтиво: «Он подходит: „Здравствуйте!" — „Здравствуйте"...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 13, №3), еще и по имени-отчеству назовет (вот откуда ему все известно?): «Выхожу, гыт, — тоже какой-то мужчина, не бянковский, а знакомый: „Здорово, Иван Павлыч!" — „Здорово, — говорю..."» (там же: 12, №2, Сиб.). В разговор вступает с удовольствием, но, стоит ему заметить, что его испугались и на учтивость не отвечают, раздражается, и тут же общенью конец: «...поклонился он мне, а я ему не ответила. Он плюнул мне под ноги и ушел — как его и не было. А на том месте, где он плюнул, яма огромная образовалась. Я теперь эту яму обхожу» (там же: 27, №23, Сиб.).

Если начало контакта оказалось удачным, беседа может продолжиться, только вряд ли она будет долгой и продуктивной. Леший не суетится, он обстоятелен, но в речах предпочитает «телеграфный» стиль: «Здорово». — «Здорово». — «Но ты че не идешь?» — «Да вот, паря, убирал скотину, да счас вот покурю да пойду». — «Пойдем, там ить дожидают нас». — «Дак пойдем счас»... (там же: 11, №1, Сиб.). Чем болтать попусту, он лучше помолчит и покурит за компанию. Хороший табачок леший очень уважает, при любой возможности напрашивается на угощение: «„У вас, — говорит, — закурить есть?" (Но просто как человек!) Я говорю: „Есть". — Курил самосад, вытаскиваю ему кисет, и бумажку-газетку, спички, подаю... Он закурил...» (там же: 13, №3, Сиб.). Ну, а случись оказия, так он и выпить не прочь: «На *Звижнев** день варили пиво ушатами. Выносили вольнему ушат... Выносили пиво и говорили: „Приходи *мотыгой** пиво пить". Он выпьет и спрашивает: „Ну что, вам теперь спеть или сплясать?"...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 51, №148, Волог.).[10]

Со склонностью леших выпить и погулять увязывали, например, хорошо известные в XIX в. в Шенкурском у. названия лесных избушек — «изба под кружалом», «изба под кабачком». На расспросы про них старожилы отвечали: «Да не знаю, батюшка, правда ли, нет ли, а толкуют, что тут из веков был кабак, да не наш, а кабак для неприятной силы, для леших; здесь они пировали свои поганые свадьбы, здесь и кумились и братались...» (ОПСП, 141).

---

[10]Лучше не просить лешего ни петь (уши закладывает, а бывает, и душу рвет), ни плясать — от пляски лесного хозяина окружающий мир рушится — буйное движение древнего стихийного духа однозначно воспринимается как эсхатологический акт, конец света. Возможно, поэтому, когда леший франтом заявляется на вечерку, важно вовремя распознать, что за гость пришел развлечься. Если не раскусить во время, вместе с разгулявшимся лешим в тартарары летит и изба, и все собравшиеся в ней вечерочники (Олонец.) (см.: Ефимова 1997: 139; Русский демонологический словарь 1995: 303).

При неожиданной встрече, когда человек в замешательстве заговаривает с лешим, помимо явного удовольствия (лешему, как уже говорилось, нравится эпатировать публику), в речах духа заметна странность — они звучат повтором, отражением, словно эхо: «Мы шли по дороге, а „он“ в лес шел. У „него“ было много уздов. У нас Маруська Карпина была бойка. Она и говорит: „Дяденька, что, ищешь коней?“ А он во весь-то лес: „Ха-хо-ха-ха! Дяденька, ищешь коней?“» (Криничная 1993: 11, карел.). А то еще было: «...Много косцов шло [навстречу]. ⟨...⟩ Им бабы и говорят, постарше-то нас: „Ой, да и косыньки-то каки хороши!“ А они тоже: „Хо-хо-хо! Ой, да и косыньки... Ой, да и косыньки...“ И так в лес пошли и все кричали и кричали. А это лесовики, наверно, были. А показалися они народом» (там же: 14, карел.).

Леший вообще звучен — он сопит-пыхтит, далеко разносятся по лесу его свист, аплодисменты и хохот. За акустические эксперименты он и получил свое прозвище *гаркун*. Гаркать, т. е. орать, он принимается главным образом с целью попугать народ, ну и чтобы самому развлечься, конечно. Иногда очень удачно выходит, нельзя не признать. Вот, например: «... у нас на Поклоннице [горе], где пионерский лагерь, там лес раньше был. Дак вот раньше, все говорят, кричало. Так и кричит: „Эй, колхозная зараза!..“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 52, № 152, Арх.).

Любит леший и песни попеть: «Пошла я в лес за реку, вдруг слышу, кто-то песни поет, красивы таки песни, про Дунай. Все захохотало, зашумело, и нет никого...» (там же: 47, № 128, Арх.). Бывает, как затянет леший долгую, выводит — аж сердце щемит: «А за рекой так длинно, дли-и-инно, очень длинно так запело. И так запело, песни не знает, а даже заунывье берё. И еще пуще ⟨...⟩ „Мама, а кто поет это?“ — „Замолчи“» (Криничная 1993: 18). Когда собственного соло ему становится недостаточно, он находит кого-нибудь подходящего для «дуэта». С одной бабой такое приключилось — и смех, и грех: «... пришла жать на паленину, а народу-то много жало. А она маленько пожала да ушла в уборную или куды на край. Ушла, а мужчина пришел да и говорит: „Вот, — говорит, — давай-ка попоем песен“. И вот мы усилися да песни пели, а там не слышат, жнут. „Куда ушла баба?“ А баба сидит, песни поет, дак только звон стоит» (там же: 31–32, карел.). Закончить, кстати, такую спевку очень даже не просто, поскольку человек пребывает как в заколдованном кругу, нет конца и все тут... Спевка завершилась, только когда бабе удалось вспомнить и запеть ту песню, с которой начали.[11] Тогда запевала захохотал и исчез. В общем, чистой воды булгаковщина.

Леший вообще большой шутник и оригинал... Любит подшутить, особливо над

[11] Аналогичный эффект «замкнутого круга» можно наблюдать и при ведении с лешим бесед. Коль случится такая оказия, люди знающие утверждают, что надо помнить первое слово, с которого разговор начался, и это слово снова сказать, как придет пора заканчивать. Тогда леший ничего тебе не сделает, исчезнет со словами: «А, догадливый!». Не запомнил слова — удавит...

пьяными. «Федька наш был пьяный — шел домой. Ну вот, и шел, и шел. А подходить к яму товарыщ — Данила, сосед.

— Федь! Ты куда идешь?

— Иду домой.

— Ну пойдем мы с тобой!

Вот идуть дорогой. И шли, и шли. Вот ён и повёл яго. И привел... к пруду к етому, к мочилу [к камню у пруда].

— Ну, — говорить, — сдявайся, полезем на пе́чу, погреемся!

Вот ён сапоги сдел, ухватился... А камень, а не печа, а ён не понимаеть, что камень! Вот ён матюгнулся, говорить:

— О Хосподи помилуй! Й.. твою! (матюгом, по матушке) Не залезть на печу!

Очутился — на камни сидить!..» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 265–266, №255). А то вот еще рассказывали: «У нас один сосед был, Сашка... Тоже шел пьяный с Борка. Ну, и с дороги сбился, то ли просто яго... Вобщем, встретился яму мужчина. Говорит: „Пойдем к нам!“ Ну, он и пошел. Вместо борковской нашей дороги три километра отошел в Падору, такое место у нас было. Он там на камушек лег и ляжит. А яму етот и говорит, мужичок-та: „Слушай, возьми ты рябятам гостинца!“ Ну, шишечек яму в карман наложили. Заячий помет етот. И принес домой! А брал как конфеты! Как натуральные конфеты! Он и сам их ел» (там же: 264–265, №252, Новг.).[12]

Водило (или *блуд*) — заслуженное прозвище. Существует несколько мнений о том, зачем это лешему надо. Есть, например, предположение, что леший уводит потому, что люди ему нужны для продолжения рода, для работы по хозяйству, для помощи в его лесных делах и т. д. Другая точка зрения сваливает все на неуемную тягу лешего к веселью — ну, нравится ему развлекаться таким образом. На контрасте с этой точкой зрения высказывается другая: леший — людоед. Будто бы в содружестве леших даже существует разделение обязанностей: одни уводят, другие уведенных откармливают, третьи готовят блюда... Среди сибирских охотничьих расска-

[12]Еда, которой в своем мире леший потчует «гостей», попадая в мир живых, как правило, перестает быть съедобной. Вынутый из-за пазухи хлеб, которым кормил дедушко, оказывается гнилушками или мхом. Румяные булочки, равно как и медовые прянички, превращаются в конский навоз...

Другой тип еды у лешего — пища, унесенная из мира живых, все то, что было «оставлено без благословения». Леший приравнивается здесь ко всем нечистым духам. В рассказах даже встречаются случаи порчи лешим оставленной открытой, т. е. без креста или благословения, пищи: «А жона и говорит лешому: «Што сам-то не садисся [есть]? — Я сытой, я, говорит, у женщин, котора молоко не благословесь выцидит, я все выпью; я напился, сытой. Потом я хоркну в крынки-то, они полны и сделаются, поедят мою хорхоту...» (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП, 304, с.-рус.).

Наконец, в качестве лешачьей кормежки упоминается в рассказах лесная ягода («бабушка, я есть хочу!» — «А ты ягодки ешь») и мясо белки или зайца: «...двенадцать ден там у лесовика выжили. Так только им и пищи было: заячья да беличья говядина. И до того девки отощали, что краше в гроб кладут...» (там же; цит. по: ОПСП, 294).

зов встречаются такие, в которых заявившийся в зимовье леший съедает сначала ужин охотника, потом собак охотника, потом самого охотника. Наконец, довольно распространено мнение, что леший, как всякий черт, «смущает» и издевается над человеком просто из любви к искусству.

Черт — не черт, а в подавляющем большинстве историй про лешачье вождение человека словно «останавливает» в самую последнюю минуту: «Все идем, разговариваем... да это таку беду идти-то! Но и падаю. Потом говорю: „Да ты куды идешь-то, ты пошто?“ Я падаю, падаю! — Раз — и его не стало, этого человека-то! Я таперече — о-о! Я вон куды попал, на утес! Ишо бы шаг — и под утес! А туды метров двадцать или тридцать! Убился бы я!..» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 11, № 1). Это застывание на самом краю, когда еще немного и... создает впечатление, будто для лешего величайшее наслаждение заключается в том, чтобы человек ощутил на своем лице дыхание судьбы...

Если взглянуть на проблему повнимательнее, водит все больше «за дело» — за нарушение нормы или правила. В лес зайти всякий норовит, но не всякий помнит при этом следующее.

• В одиночку в лес ходить не стоит, и от компании лучше не отрываться. «Ягоды на Яньострове брали. Девушки от меня и ушли. Вдруг зашумело..., да как будто сватья Маланья *рыцит**: „Вставай, пошли!“ Вздрогнула я, никого нету, а рыцять не смею. Давай еще ягоды брать. Вдруг опять: „Да пошли!“ Вижу он будто женщина, *бурак** в руке. Ой до того напугал меня... дак ажно дрожь на сердце, кровь сменилась в лице» (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП: 295, с.-рус.).

• Звать или аукать будет — не надо откликаться, уведет: «Говорят, идешь, а тебя у́кает. Говорит: „Иди-иди-иди ко мне!“ Хоть и на поле, да и в болоте. Вот и идешь не домой, а куда. А кто у́кает — не видно» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 258, № 239).

Если не уведет, так припугнет — покажется, да так, что надолго запомнится: «...кончили мы работу и шли лесом, все болтали кое о чем и смеялись. Взошли мы в лес, вдруг около болота кто-то как крикнет „Ге-ей!“ Иван Минев и говорит: „Ребята, это гаркун кричит. Давай позовем его к себе, нас четверо, что он нам сделает?“ Мы его стали отговаривать: „Ну тебя с гаркуном! Не видали мы его сроду, так и впредь чтоб не видеть!“ — „Трусы вы этаки, — взял да как крикнет в ответ лешему: Гей! Где ты там?“ А гаркун-то вышел на дорогу да еще громче *зазычал**: „Ге-эй-эй!“, да за нами следом пошел, индо валежник под ногами у него захрустел. Мы — чуть не бегом домой, прошли лес, вышли на наше поле, глядь — а посреди дороги стоит копна сена, и от нее огненные искры так и плещут во все стороны. Мы кое-как с молитвой обошли копну и пустились бежать в село: бабы сидят около ворот. Мы кричим, пойдемте, мол с нами, а то мы боимся одни-то. Бабы — смеяться, ну мы дошли до большого проулка, а гаркун-то как захохочет: „Ха-ха-ха!“, да в ладони как зашлепает и опять пошел в лес — высокий, косматый, глядеть страшно. С той

поры мы той дорогой не ходили, чтобы опять с гаркуном не встретиться» (цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 333, Влад.).

Кстати, побывавшего в лапах лешего, или отсуленного ему (о чем чуть позже) так и «тянет», тащит в лес — будь то человек или животное, и нет сил противостоять «зову». Возвращенный из лесу ребенок «как вечер, все просится: „Отпустите к дедушке, я у дедушки спал дак хорошо, да тепло так...“» (Сказки Терского берега Белого моря 1970: 360, №123). Одного парня, например, леший целую ночь водил, а на заре вывел к деревне и пообещал: «Я к тебе каждый вечер приходить буду. Как услышишь, что бык мычит, знай — это я ⟨...⟩ Его нашли, привели домой. Он ничего не говорит, только плачет. А когда бык замычал, парень подбежал к матери и говорит ей: „Держите, держите меня!“ Бык еще несколько раз приходил. Только после того как парня заговорили, он перестал приходить» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 20, №12). Если парень еще может попросить, чтобы держали и не пускали, то животину, посланную в сердцах к лешему, удержать не представляется возможным: «У нас тут у Ивана Андреевича корова еще вот в апреле месяце, еще снег был тут, стала выскакивать со двора. А Настасья ей: „Да понеси тебя, говорит, леший“. Вот так она сказала, так корову двенадцать дней искали... А пришла корова домой, двое или трое суток почевала, да выскочила и опять убежала» (Ефимова 1997: 138).

• Орать, хохотать, свистеть или шуметь — только лешего дразнить и на всякие неприятности напрашиваться. Со свистом так вообще — леший сам свистит, и вызывают его свистом. В некоторых местах считается, что свист будит спящего лешего, и он спешит явиться на зов, пребывая со сна не в лучшем расположении духа (ОПСП, 150). Можно только догадываться, что настроение у него вовсе не поднимается, когда становится ясно, что разбудили его понапрасну...

Если не принимать всерьез запрет на шумовые эффекты, то можно при случае получить серьезный урок. Рассказывали, как пошла баба в лес, понесла мужу ужинать. А солнце уже село, темно, она и принялась кричать: «Филип, Филип, иди ужинать!» Вот из ельника к ней и вышел... да только не Филипп. Она — хлоп! на землю, а он над ней шумит-свистит, в ладоши плещет. Муж чуть живу нашел и в избу привел (быличка дана в пересказе; оригинал см.: ОПСП, 296, с.-рус.).

• Не надо в лесу жадничать. За грибами или ягодами пришел — лишнего не бери, да и собирай как следует, собирать ведь тоже умеючи надо. Вот, к примеру, пойдут ребятишки по грибы и, если что не так (метут все без разбору или больше топчут, чем собирают), «выйдет, такой старичок старенький выйдет с-под корня или с земли, окликнет мальчишек: „Зачем так делаете неладно!“, если они грибы неправильно собирают. Это лесовой хозяин, он бережет, сторожит лес» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 48, №131, Новг.). Опять же воровство лесного хозяина сильно раздражает. Лесных воров застукает — начнет пугать, гнать всячески... «Раз мужики приехали ночью в лес воровать. Дело было осенью. Они

облюбовали хорошую березку и думают ее поскорее срезать, а леший (шут) сидит на ней да палочкой постукивает. Мужики смеются[13] над ним, да делают свое дело. Вот срезали березку, положили на колесню и хотят везти, а лошадь ни с места. Смотрят, дивуются. И что же? Леший с ними шутку сшутил: задние колеса переменил на передние, — лошади-то и тяжело было везти.

Зимой, однажды, леший напустил собак на мужиков-воров лесных. Так едва и уехали из лесу. — „Так вот и рвут, только ударить не даются", и гнались от лесу за полверсты» (Колчин 1899; цит. по: ОПСП, 241, Тул.).

• Шалить, озорничать в лесу нельзя — лес уважать надо. Раз, к примеру, молодежь в зимовье разрезвилась, да еще на ночь глядючи, так хозяин завернул приструнить: «Где-то по Урюму нани со скотом жили. С имя был один старик. А их, девчонок, много там было. И ребята. Но, вечером-то играли, возились. А старик этот все одергивал:

— Вы, ребята, смотрите! Вы, ребята, смотрите! После двенадцати часов не балуйте!

И вот дверь-то распахнулась — влетел человек во всем черном, а пояс красный — и искры на обе стороны! Как засвистит! И повернул, и обратно ушел. И все, гыт, припухли. Дед говорит:

— Спать! Хватит играть!..» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 45, №55).

Леший и в самом деле строг. Даже за невинную шутку, имеющую отношение к лесу или к его лешачьим делам, он может «закрыть дорогу», и будешь тогда в трех соснах блудить... Вот одна женщина рассказывала: «Раньше караулили поля от скотины, по очереди. А рядом косили. Шла я с покоса, а Феня пасла. Возвращаюсь, грибов набрала. Говорю ей: пойдем, а она: пасти надо. Ну мы и пошутили, говорили: я не приду — ты скажешь, а ты не придешь — я скажу. А говорят, шутить не надо. Вот я и пошла, и стала блудить. Хожу кругами, вижу, что сама здесь грибы собирала, насорено. А уж ночь. Меня искать пошли, с фонарями. Я слышу их, а все в другую сторону иду. Вот села на кочку и ждала. Говорю: идите на мой голос, а то все равно убегу. Так и дождалась. Вот и пошла, пошутила. А и дом рядом был. Нельзя шутить-то» (Адоньева, Овчинникова 1993: 43, №162, Волог.).

---

[13] Возможность шутить над лешим шутки — явное свидетельство деформации представлений о всесильном и страшном лесном хозяине. Утрата ощущения исходящей от него опасности привела к тому, что образ стал все больше деградировать в сторону сказочного и даже не столько волшебного, сколько бытового персонажа — «шутника» и «глупца», который сам любит пошутить, но и его без особых усилий можно обвести вокруг пальца. Свидетельство тому — появление вариаций известной сказки про вершки-корешки, где медведь и леший взаимозаменяемы.

В приведенном рассказе вторая часть явно более древняя, поскольку лесной хозяин, насылающий своих собак (могли быть и волки) на вторгшихся с недобрыми намерениями в его владения — образ вполне в рамках традиции. А первая часть демонстрирует разложение образа: над хозяином явно посмеялись, «черное дело» все равно сделали, а наказание в результате вышло слишком легким.

• В лес надо идти с чистыми помыслами. Об оставленной дома жене или любушке охотнику, например, думать не стоит, и девице своего любезного в лесу лучше не вспоминать. Фривольные мысли лешему очень даже близки и понятны — он известный блудник... Не успеет человек оглянуться, как уже будет над ним пошучено, или, что еще того хуже, окажется он в порочной связи с лесным дядькой или с лесачихой. Эти лесачихи для одинокого мужика очень опасны: начнут посещать лесоруба или охотника под видом собственной жены, и начнет у бедного «кровь сменяться» — посохнет, почахнет да и помрет (Русский демонологический словарь 1995: 296).

Рассказывали, как отправился охотник в лес и затосковал по молодой жене. И будто бы она к нему в лесную избушку возьми да и приди — соскучилась... Только понял он, что перед ним лесачиха, и давай ее рябиновой веткой охаживать. Глядь, а у него в руках его же собака... (быличка дана в пересказе; оригинальный текст см.: Карнаухова 1928: 86–87, с.-рус.).

А с одним-то мужиком, что вышло: «Моей племянницы муж. Ён бригадиром у нас был. Ну, от нас и шел. Ёна моя племянница, жонка-то явонная. Ну, идёть. И жена навстречу. Только через мост-то перяшел. А вот на мосту всегда причуживалось бывало. Ну от. Только ён через ручей перяшел — а тут сразу лясок, сосны. Ну, ёна встречаить яго. Как жонка. Ну, ухватились и давай цалаватца! Вот ён цалуить, цалуить, цалуить...

— Ну, Таня, пойдём таперя домой!

Дорога-то домой жа рядом. Ну, уж яе бярёть, ташшить, а не сташшить никак под руку!

— Да, Таня, да что у тябя! Жана, чаго ты ня идёшь?! Как удолбина стоишь!

А потом ён матюгнулся (или как он — Богу, что ль)... И ажно ташшить сосну абнёмши! И сосну целовал и ташшить яе с собой! Как быдто Таню, жонку! А это ня жонка была, а чартиха. Вот уж это правда» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 253, № 231).

• Разругавшись в лес не ходят, потому что неспокойное состояние, будь то раздражение или обида, «открывают» человека, делают его доступным. Леший на такого сам выходит и легко уводит в «свой» мир. Да и в самом лесу ругаться тоже плохо — непременно в отместку пугать начнет: «Пошла я с одной старушкой в лес. А старушка была такая матюжница. И ей, значит, не понравилось, что я беру грибы, а она не видит ничяво. Ну, я и послала, что иди вперед, а я пойду взади. Ну, она пошла вперед, а я все равно иду взаде, ломаю. И вдруг она принялась меня ругать всяким нехорошим словами. А я на её тоже:

— Катись домой, а я одна буду собирать!

И она пошла... Сперва все кричала, потом перестала. А на дороге стояла большая кочка с брусникой. И вот я эту кочку и обираю в корзинку. Вдруг слышу... Слышу, кричит:

— Катя!

Я подала голос. Я говорю:

— Баба, я здесь, иди!

Второй раз кричала, третий. Я все повторяла, что «иди». И вдруг зашумел лес, так страшно, что мне пришлось отойти от этой кочки в сторону метра на три. И передо мной сразу же таким страшным воем прошел ураган, что покамест там уже не перестало выть — не знаю, до каких пор все это выло!» (там же: 257, № 237, Новг.).

• Лешакаться в лесу категорически нельзя. Упомянуть, все равно что позвать — тут же объявится. Считается, что леший «не любит, когда часто поминают его из пустого или ругаются им. Вреда большого за это он никому не сделает, зато досыта напугает» (Власова 1995: 215, Вят.). Судя по встречающимся в рассказах высказываниям, поминание лешего наделено даже бо́льшей сакральной силой, чем матерная брань: «лучше материться, чем лешакаться», «лучше скверное слово сказать, чем лешего поминать, который везде льнет» (Ефимова 1997: 143)[14] и т. д.

И вот вам коротенькая иллюстрация к упомянутому правилу: «Нельзя лешакаться, лучше уж матюкаться, особенно, если по лесу идешь. Александра Петровна рядом жила. Так не лешаклива. А идет по лесу и лешакнулась: «Так меня подкосило, что на задницу хлопнулась». Ветер подул» (Адоньева, Овчинникова 1993: 44, № 164, Арх.).

• В неположенное время в лес не ходят — увести может или «глаза отведет» и будешь блудить. К неположенному времени, не в последнюю очередь, надо отнести праздники. Обычно так и говорят: «в праздник полесовать нельзя», и так оно и есть. Рассказывали, например, как в Казанскую (Казанской Божьей Матери день) один мужик все по бору бегал, двух лешаков догонял и догнать никак не мог, они ему знакомыми привиделись. А то еще на Духов день мальчишки за смолой ходили, так леший одного к себе забрал, братом показался и увел (ОПСП, 296, 304).

Историй про «праздничное полесованье» известно много. Вот, к примеру, еще такая: «Говорят, что в Ильин день в лес ходить нельзя. Я как-то прежде шла из-за реки и приметила на островке несколько черемуховых кустиков. А назавтра Ильин день. Я утром раненько встала. Гляжу, а соседи все сидят, никто в лес не собирается и мне не советовали. Не послушала я их, побежала, о черемухе-то все время думала.

Как шла, все тропинки, дороги приметила, вот речку перешла — и к островку. А на островке-то и ягод не видно, *боярка** одна. Солнце уже падать стало, а я и не знаю, куда идти. Страх меня взял.

[14] Запрет лешакаться, т. е. браниться, поминая лешего, указывает, как считают некоторые исследователи, на особую выделенность этого мифологического персонажа среди всех прочих — о существовании аналогичных лексем в отношении других персонажей свидетельств нет (*черт* не исключение, скорее обобщение, поскольку дает собирательное представление о нечистой силе в целом). Отсюда напрашивается вывод: леший в представлениях восточных славян был когда-то наиболее опасным мифологическим существом (см.: Ефимова 1997: 142).

А говорят, что когда человек блудит, его нечистая сила окружает. У меня перед глазами вся Шилка, вагоны стоят, а не знаю, куда идти. А так страшно: ветер дует — ну еще страшней. Я ходила-ходила, то вперед, то взад. Солнце уж закатилось, а никаку Шилку найти не могу. Уж всех святых вспомнила. Куда ни пойду — все не то. Потом вышла в ложбиночку, смотрю: вроде моя дорога и кусты те. Подхожу к ним, а *червяк-то** как зачакает в середке — я и отлетела! И не помню как. Она бы меня и жгнула, если бы не отскочила на бугорок. Сижу, не знаю, куда идти. Погода поднялась еще боле.

Потом я поднялась, гляжу сквозь кусты, а вдали по дороге Степан Чупров коней гонит, наверное, в ночное. Я и давай его рукой махать. Он подъехал, я и спрашиваю:

— А че, вода шибко прибыла?

Он и говорит: «Иди на мост, мост-то там, выше, не видишь что ль?».

А я в своем уме была, спрашивать-то боле и стыдно вроде. Уехал он, а я пошла, куда он показал, и пришла в Чапай-городок. Вон куда нечистая-то занесла! А когда домой возвратилась, бабы смеются надо мной, говорят: надо было молиться или одежду-то на леву сторону всю перевернуть, чтобы не плутать. С тех пор больше не ходила в лес в Ильин-то день» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 22–23, № 16).

В вечерние часы, равно как и на утренней зорьке, в лесу тоже делать нечего. Одна женщина рассказывала, как за морошкой сходила. Считай, и не ходила никуда: ельник тут, рядом с покосом, и морошка в нем. А самое время ужинать... «Побрала морошки в чашку да и будя брать. Рыцю: „Гаврила, где ты?“ (муж на ужин кашу варил в избушке. — *А. Н.*). А Гаврила: „Подь к избушке“. А меня в лес потянуло. А Гаврило услыхал, что не ладно рыцю и свел меня к избушке. Только спать повалились, вдруг по *фатерке** *рапсонуло**, да собачка лает: тяк, тяк... Гаврило не побоялся, три раза выстрелил, *поебушился** и все пропало. После одиннадцать годов ходила косить, никогда не видала» (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП, 295, с.-рус.).

Ну и ночь, конечно, совсем не время для лесных прогулок. Окажешься в лесу — один или в компании — здорово попугать может. Вот, например, чу́дная история, про ночную встречу с лешим: «...Дядя жил на Таканс тут, у города... Оне раньше ить груза возили, си-и-ильно возили груза. Вот они ехали, их подвод, наверно, тридцать было. И вот дорога там лесом идет. Там, в этим лесу, они все ночуют: ключ хороший. Дядя рассказывал. Мы до ключа доходим. Воза отворачивам в сторону — обязательно, гыт, в сторону. Отвернули, коней привязали, ужину сварили и ужинают... Слышим: но так идет, песни *возгудат**! Мы: „Что такое? Кто там, пьяный ли че ли напился? Пошто так *хайлат** идет?“ И вот к нам подвигатся... Подошел прямо-то. Лошади стоят, даже ушами не водят. Мы, гыт, посмотрели: руки у его, пальцы, как бревны, а сам, наверно, метра четыре вышиной, вот такой, гыт. Постоял, поглядел, гыт, и отправился своей дорогой. Недалеко отошел... Как гром шшелкат — шшелкнул! Подальше отошел — опеть песни запел и ушел. Мы утром-

то поехали: два телеграфных столба в щепки разбил. Это уж я был очевидец...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 26–27, №22).

Коли приходится в лесу ночь ночевать — проситься надо обязательно: хоть на поляну, хоть в зимовье, хоть под дерево... Даже специальные слова есть: «Пусти, Хозяин, не век вековать, а одну ночь ночевать» (три раза так сказать надо, а после укладывайся) (Адоньева, Овчинникова 1993: 43, №156, Волог.). Или так еще можно: «Пусти, лесной хозяин, укрыться до утра от темной ночки» (цит. по: Криничная 1993: 32). Попросившись, и хозяина уважишь, и на всю ночь тебе покой обеспечен — леший не хуже домового станет оберегать сон учтивого гостя. Вот рассказывали: «Пришел мужик к сосенке и *подавался**: „Сосенка-матушка, пусти ночевать". К сосне ночью приходит другая: „Поди, — говорит, — матушка умирает". Сосна говорит: „Нельзя, у меня ночлежник запущен"» (там же: 35, карел.).

Ну а не попросишься, так спать не будешь, хозяин не даст. «Вот дедушка же рассказывал. Это в его быту... он ишо молодой был. На охоту ходили. Че-то на ночлег остановились, ну и... Надо было попроситься у хозяина, а один говорит:

— Каки, — говорит, — ... тут хозяева! Я никово не верю.

Ну, старики его поругали ишо. Ладно.

...А перед этим один у них заблудился. На охоте. Они походили, постреляли и воротились ни с чем. Легли, значит, спать на этом новом месте. Вот только легли — кто поет! Поет „малинушка-калинушка...", песню. То по-соловьиному свистит. Эти говорят:

— К нам идут. Наверно, этот (охотник-то) идет. Да опеть же как он будет петь так всяко-то разно?!

А старики:

— Вот это не попросились ночевать да легли, где не надо.

Ну а потом ближе и ближе, все ближе. Старики давай отходить от дороги-то. Потом — раз! — пронеслась тройка вороных. Просвистело..., аж ветер продул» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 28, №24).

Нельзя ночью располагаться на тропе. Тропы бывают разные: их протаптывают звери или люди, по звериным и ночью ходят те, кому положено, а вот по человечьим... То, что днем является «окультуренным» пространством, ночью превращается в свою противоположность (понятно, почему «на неведомых дорожках следы невиданных...», и как «свято место пусто не бывает»).[15]

[15] Существует представление о «тропе», «следе» или «переходе» лешего, на которые попадать нельзя — для человека они губительны. Стоит пойти по такому следу или тропе, и человек уже не в состоянии вернуться, его водит: «...Ушла девка, Маруськой звали, березки копать. Нет и нету ее. А ее вольний водил. Она на дедушкин (лешачий. — *А. Н.*) след ступила...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 35, №59, Волог.). Будучи своего рода «коридорами» иномирья, они уводят попавшегося прочь от реального мира, там, где они проходят (озерца, болотца, овраги, провалы) больше всего блазнит и всякое случается: «Лешачий переход там, как к

Леший честно предупреждает, чтобы неразумно расположившийся своевременно исправился. «...Ездил ночевать он вот. Работал в аптеке, конь у него был аптекарский. И вот он ездил ночевать сюды вот, во Вьюшкову [падь]. Уеду, гыт. Сена там накошу. И вот один раз, гыт, запоздался. Ну, стало быть, уж на дороге ли где уж он его? Остановился, выпряг коня, лег. Вот, гыт, уснул, вот меня будит:

— Уйди с дороги! Отцеда уходи!

Я, гыт, думаю: „Но, да че это... (он такой это ишо мужик-то... не верит), но да че?" Я, гыт, это... доху на голову, брезент... Он потом:

— Я тебе говорю, что уйди подобру.

— Да но, иди ты!.. Че ты мне!

Он потом третий раз:

— Вот я тебе: хоть двадцать метров, да отцеда отойди, с дороги!

Я, гыт, потом-то... меня, гыт, всего затрясло. Соскочил, схватил эту телегу и под гору туды, говорит, скатил. Там лег *тажно** на телегу и проспал ниче.

Вот косили мы вместе, он все рассказывал: „Сроду я, гыт, никого, никаких не признавал, не боялся..."» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 29, №26).

Когда леший ведет себя агрессивно, «аки черт», и никак не дает спать на своей территории, тогда можно и меры принять — положить, скажем, рядышком рябиновый прутик или веточку... «Рябины леший боится. Два мужичка остались в лесу ночевать и, по обычаю, возле себя положили рябиновую палочку — если придет леший, так через нее не переступит. Ночью мужик громадного роста все разворотил вокруг, но не тронул заночевавших людей, доверившихся рябиновой ветке» (Русский демонологический словарь 1995: 336, Новг.).

Страх перед силой и возможностями лешего вылился не только в развернутую систему запретов, но и в устоявшийся набор испытанных защитных средств, в котором своеобразно перемежаются христианские молебны, языческие «относы», крестное знамение, специальные речевые формулы, молитва, мат, особые манипуляции с одеждой и т. п.

деревне идешь, озерко там, так говорят, лешачий переход, что-нибудь случается ⟨...⟩ Когда человек заблудился да через дорогу переходит, тут-то окаянный дух. *Обдумают** его да ум отбирают у него, у человека» (там же: 48, №134, Арх.). Со следом вообще интересно, поскольку есть мнение, что след, с одной стороны, — как бы эманация души, а с другой, он маркирует пространство. Следовательно, встав на лешачий след, человек начинает восприниматься сущностями иномирья как явная принадлежность их миру (см. об этом: Криничная 1993: 24–25). Если попадание на тропу или след лешего или пересечение его дороги небезопасно, то и пересечение лешим человеческого пути к добру не приводит: «...И пересек ей дорогу. И ей уж не живать на свете. Так она и умерла в этом году» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 47, №126, Волог.). Случается также, правда, очень редко, что леший сам останавливает вступившего на его дорогу и направляет обратно на верный путь, например, словами: «Милая, воротись, ты не ладна» (цит. по: Ефимова 1997: 144).

Так, отправляясь в лес, заговаривались, чтобы войти и выйти живу и здраву: «Позади меня *крес**, впереди меня крес, о праву руку крес, о леву руку крес, на буйной головы сам Исус Христос, Вышний Бог. Крес-креститель всем врагам прогонитель. Аминь. Аминь. Аминь» (Ефимова 1997: 143). Таким образом вокруг произнесшего заговор как бы создавалось «свое» пространство, которое защищало его во все время пребывания в лесу. Если не знаешь заговора, то перед входом в лес необходимо хотя бы благословиться: «Как, говорят, не благословишься, и вот лешие уж этот момент ловят...» (там же: 143).

Но если леший поймал-таки момент и ведет свою жертву, или нарушение одного из известных запретов привело к тому, что человек оказался «в плену у леса», — как быть тогда?

Иногда бывает достаточно выразить удивление: «Дак куды мы это идем?» (Сиб.), после чего ведущий внезапно исчезает. Аналогично действует упоминание имени Господня или произнесение простого «Господи Благослови!»: «Это я вам про своего свекра расскажу... Он, мой свекр, ездил в город горшки продавать. Поехал один раз, все не продал. Едет домой ⟨...⟩ Кум ему навстречу попадает и говорит: „Заезжай ко мне". Он поехал. Приехал вроде. Коня выпряг. Тепло так, а на улице зима. Он взял бутылочку, взболтал и говорит:

— Господи, благослови. — Как сказал это, смотрит: сидит он в яме, снег кругом кружит, а горшки побиты и по яме разбросаны. Он — на коня и быстрей до дому, сразу и хмель весь вышел» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 17–18, №9).

Хорошим средством от любых проявлений нечисти всегда считалась Воскресная молитва («Да воскресне Бог...»), ну, а коли никак Воскресную не вспомнить или не знаешь ее, то читай «Святый Боже» или «Отче наш»: «Молитца! Молитца [надо]: „Святый Боже" да „Отче". Отче, самое, читают наш... Я думаю, что вси знают! И теперь-то вси знают! Первая молитва все „Отче"...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 263, №249).

К молитвам, как считают некоторые, неплохо добавить еще слова заговора: «Избавь, моя молитва, от того, на кого я думаю: на шута, пусть шут погибнет, на всех врагов, пусть все враги погибнут. Как подкова разгибается, пусть так все враги, все шуты разорвутся» (Колчин 1899: 21).

Нельзя сказать, чтобы совсем были забыты и специальные присловья, призванные защищать человека от лесных наваждений и блужданий, такие например, как «овечья морда, овечья шерсть!», «шел, нашел, потерял», «буде, походил, отпусти меня домой» и т.д. (Максимов 1994: 65), и эффективные некогда отгонные формулы, типа: «приди вчера» (ОПСП, 220).

Отличной защитой от лешего может быть мат — матюги ему, как любому «иномирному» существу, сильно не нравятся. Знающие люди даже советуют: «Лешаков не лешакают, матюкать надо, они матюков боятся...» (Мифологические рассказы и

легенды Русского Севера 1996: 48, № 137, Арх.). Мат, судя по всему, средство очень эффективное, и в быличках о лешем он используется гораздо чаще, чем в рассказах о других мифологических персонажах.[16]

В одной из быличек, защищаясь от назойливых наскоков лешего (всю ночь спать не давал — распахивал настежь двери), мужчина использует удивительное сочетание набора ритуальных средств: он усиливает продуцирующую силу матерного слова продуцирующей силой хлеба, не забывает про железо и шумовые эффекты, и про левую сторону: «Только лег — опять так же обе двери открылись. Я: так твою мать! С ебухами опять встал, закрыл обе двери и ружье взял, из патрона пулю вынул, хлебом заткнул, корочкой хлеба, и положил около себя, через левое плечо. И боле никто не тревожил» (Криничная 1993: 33–34, карел.).

Случается, что матерщина лешего не задевает, а кажется ему забавной. Захохочет тогда и отстанет от человека, прочь пойдет. Как-то раз «у моря на ямах [на реке] стоял карбас с солью. Павел Коковин караулил карбас. Кто-то по грязи идет, *тяпаится**: тяп, тяп, тяп. Павел его спросил: „Кто идет?“ Тот молчит; он еще спросил, до трех раз. Тот все молчит; Павел и матюгнулся: „Кой кур идет, не откликаится?“ Лешой пошол и захохотал: „Ха, ха, ха, кой кур идет не откликается!“...» (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП, 300, с.-рус.).

Остроумный ответ сам по себе может послужить хорошей защитой. Понравится лешему, как отвечено, так и отпустит, и не станет над человеком ни шутить, ни измываться. «Две жонки ехали с сеном по Государевой дороге. Так дорога за рекой называется. Вдруг что-то спросило у них: „Чья дорога?“ А вокруг никого. Одна женка и говорит: „Божья да государева“. Тут все захохотало, загремело, по всему лесу да раздалось. Это леший тоже...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 48, № 135, Арх.). А другие двое, только уже мужики, тоже с ним славно побеседовали. «Шли мы в лес, вижу стоит мужик большой, глаза светлые. „Ты, мужик, говорю когдашний?“ — „А я говорит вчерашний“. — „А какой ты говорю большой, коли вчерашний“. „А у меня сын годовой, а побольше тебя головой“. Побаяли, побаяли, отец что-то смешное сказал. Он захлопал в *долоши** и побежал, засмеялся» (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП, 295–296, с.-рус.).

Можно потрафить лешему, назвать его как-нибудь по-свойски, как бы «в свои» записать. С одной бабой вышла незадача — она с лешим покумилась. А случилось все так. Жили, рассказывают, в деревне муж да жена, молодые еще. Перед самым жнивом родила баба ребеночка, ну и, как пришла пора жать, стали они брать младенца с собой. Повесят зыбку за кустом, да и жнут. Вот раз рассорились и в обидах-то

[16] Мат в качестве защитного средства нередко оказывается даже более действенным, чем молитва. Причем в некоторых рассказах происходит своеобразная инверсия: молитва, которой уводимый пытается защититься, воспринимается лешим как мат: «Они как молитву сотворили, а он (леший. — *А. Н.*) им: „Девки, чего вы ебушитесь: Не ебушитесь!“ И привел их в свой дом...» (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП, 296–297, с.-рус.).

до темна все жали. Мужик, наконец, бабу домой погнал, пора-де ужинать. Она и заторопилась, а о ребеночке и думать забыла. Мужик это дело видел, да решил, что баба нарочно ребенка оставила: его позлить, чтобы ему нести... И тоже не взял: пущай, мол, и я не возьму, сбегает из дому. Пришел домой. Баба ставит ужин на стол, и тут только ей на глаза попал пустой *очеп**... А где ж ребеночек? А муж ей: Где забыла, там и есть...

«(...) — Я забыла, а ты-то што же?

— Нет, ты не забыла, а на зло оставила, хотела, штоб я принес. Да не бывать тебе большухой надо мной!

Баба взвыла и просит мужа итти вместе за им (вишь боитце — нива-то была за три версты от деревни).

— Нет, — говорит мужик, — Пущай до утра. Поутру придешь, и ребеночек там, не надо и носить. Баба пошла одна — нешто мать оставит! Приходит она к нивы, а ставше нянька к этой зыбке с лес наровень, качает и приговаривает: „Бай-бай, дитятко! Бай-бай, милое! Матушко забыло, а батюшко оставил! Бай-бай, дитятко! Бай-бай, милое! Матушко забыло, а батюшко оставил!“

Ну, как ей подойтить? Подошла эдак сторонкой и говорит:

— Куманек, кормилец! Отдай ты мне робеночка!

А ен отбежал, захлопал в ладоши и закричал: „Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха! Шел, да шел, да кумушку нашел“. Гулко таково бежит по лесу, да все кричит: „Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха! Шел, да шел, да кумушку нашел!“ Вишь, любо ему стало, што кумыньком назвала.

Баба схватила робенка да опрометью из лесу» (бывальщина частично дана в пересказе; оригинал см. в: Сборник великорусских сказок... 1917; цит. по: ОПСП, 336, Пересл.-Залес.).

Иногда к развязке этой истории делаются приятные добавления: то леший куст или деревце наклоняет, чтобы куме было сподручнее зыбку снять; а то будто бы добавляет: «„Ну, раз мой крестник, я ему принесу подарок“. И корову к их двору пригнал...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 51, № 149, Волог.).

Очень действенным средством защиты от лешего считалось переодевание: «Значит, дед мне говорил: „В таких случаях розденься, вот, тряхни шапкой — в два счета, говорит найдешь дорогу“»; «На левую сторону повернула платье, надела. Пошла — тут тропинка и е, у которой я ходила-то»; «Ну вот, наголо разделась, стряхнула одежду и сразу очутилась на том же месте, где и надо было» и т. д. (Криничная 1993: 28, 29, карел.). Дело в том, что «иной» мир представлялся зеркальным отражением мира реального. Именно так, одетым наоборот, ходит в том мире леший. Объяснение большинству манипуляций с одеждой достаточно простое: если уподобиться внешним видом представителям «иного» мира, пропадает весь смысл лешачьих «трудов» — к чему «осваивать» того, кто и так уже «свой».

Выглядит это приблизительно так: «(...) Поехал он [парнишка] домой да и заблудился, хотя недалеко от дома был. Бросил велосипед, плутал, плутал. Вдруг к нему старичок подходит, седой-седой, в рваной одежде, с бородой. И говорит: „Пойдем со мной. Я тебя выведу". Потом говорит парню: „Одет ты как-то не по-христиански". Да так парень переоделся, что вся одежда задом наперед оказалась...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 19, № 12).

Вариантов того, что надо делать, предлагается много:

а) переменить верхнее платье так, чтобы левая пола оказалась сверху;

б) вывернуть все наизнанку или надеть задом наперед;

в) претряхнуть снятую одежду или выколотить ее о ствол дерева;

г) переменить лапти — левый на правую ногу, а правый на левую;

д) переменить стельки в обуви так, чтобы то, что было под носком, оказалось под пяткою, и т. д. При этом раздеваться рекомендовалось с матюгами, «ругаться вовсю», а одеваться наоборот, с молитвой и с заговором.

Отдельной «песней» в лешачьей характеристике идут истории о проклятых, которых уводит леший. Есть будто бы в сутках одна минута, когда леший забирает «отсуленное». Уже давно оборот «Иди ты к лешему!» абсолютно идентичен «Иди ты к черту!» Сказанное в сердцах «неосторожное слово» полностью отдает проклятого или проклятое (ведь не только на человека можно наложить проклятье) на милость лешего. О силе материнского проклятья уже шла речь раньше, поэтому не станем повторяться. Уведенный живет по «законам» иномирья: ест, как нечисть, в дом проникает, как нечисть — живым его и не видно: «...открывали сундук любой, брали, что нужно, поедят, где хотят, а люди не видят» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 35, № 59, Волог.). Если проклятый и становится вдруг видим, то, как и нечисть, он может принять любую, какую угодно форму, какой угодно облик: так, например, уведенная девочка вихрем ходит по деревенской улице и срывает с брата картуз, а молодая баба забегает в родительский дом собакой.[17]

Чтобы вернуть проклятого, заказывали в церкви молебны, на которые возлагали особые надежды: «...пропал восьмилетний мальчик. Ходили ребята в поле, зашли в лес, и этот мальчик все вместе был, а тут вдруг пропал. Целый день искали, не нашли. А дело все в том, что мать рассердилась на сына и говорит: „Будь ты проклят, уведи тебя леший!". Делать нечего, последнее средство в ход пустили батюшку отслужить молебен. Только свечи при этом были поставлены наоборот, т. е. вниз тем концом, который зажигается. Только что мать возвратилась домой,

[17] Уводит леший «отсуленного» за левую руку — «так положено» (там же: 35). «Левизна» как еще одна характеристика, отличающая «иной» (= противоположный, отраженный, левый) мир, уже была упомянута раньше, когда говорили о переодевании, как средстве защиты от посягательств лешего.

как сын объявился на Мурге, в 20-ти верстах от деревни. Он будто рассказывает, что его водил какой-то седой дедушка. А около того времени, как служили молебен, вывел к деревне и сказал: „Ну, иди, мне тебя больше не надо“» (Бурцев 1902: III, 82).

Тем, за кого служат молебны, приходится худо. Поначалу леший обходится с ними «по-доброму» (поит, кормит, спать укладывает), но, как только начинают молиться, он меняет стиль — обращение становится жестким, даже злым, однако возвращать проклятого леший не спешит... «Ворочать как стали — и им стало плохо: вслед их бежат, на их крычат, а они плачут, все разорвались, все пришли розные. И, скаже, нас кольями, хлыстами да вичьями, да всим. Пока туда шли, манили, *ска**, то и всего нам надавают исть да всё, кормили да всё» (Криничная 1993: 31, карел.).

Молитвы, службы, данный за уведенного обет, становятся ему защитой в мире «ином» и провоцируют его возврат обратно в мир живых: «А у ее матери завет дан был на Казанскую Божью матерь. Так он [леший] сколько раз ее (уведенную девочку. — *А. Н.*) топил — никак. Два раза подводил к озеру топить, так зачнет топить — колокола зазвонят, он и бросит. А третий раз — как зазвонили колокола, он ей размахнулся да как кинет — на берегу она оказалась. Пришла домой...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 35, №59, Волог.).

Хорошо, если оказавшемуся у лешего проклятому удается сохранить нательный крест: его не зря называют «чертогоном» — он очень помогает пропавшему. Не зная, что с таким делать, нечисть, как правило, отдает его обратно: «Иди, говорит, тебя дома ищут»... Одна проклятая девка год ходила, «хрест врос в *долонь**, на шее был, она держалась за него, потому и жива осталась» (там же: 32, №49, Арх.).

Правда, бывает, что леший, уволакивая «отсуленного», срывает с него крест, чтобы не сопротивлялся. Тогда только и надежды, что отмолят... Вот случай был, со взрослым уже человеком случилось, сам рассказывал: «Было мне лет двадцать пять, пять лет прошло, как уж женат был. Мы с отцом были на покосе возле речки Меи за селом. Я что-то сказал отцу насупротив, он осердился: „Хоть бы тебя леший унес, да нет, видно, не унесет!“. Вдруг поднялся вихрь столбом, из этого вихря явился человек и позвал меня с собой. Я догадался и не пошел, а он сказал мне: „Тебя отец мне отдал, ты должен идти со мной“. Я начал упираться, но он схватил за шнурок, на котором висел шейный крест, сорвал его и бросил на покос, подхватил меня на плечи и понес по деревням, покосам. Вижу — знакомые крестьяне сено гребут, хочу им крикнуть, а голоса нет. Семь дней мы так ходили. Он меня хотел накормить пищей, что в домах была оставлена без благословения, пробовал белку бить для меня — но я отказывался, ничего не ел. Для отца моего я в тот же час, как он выговорил проклятие, стал невиден. Собрал он людей на покосе, признался, что согрешил, отдал сына лешему. Искали меня двое суток — не нашли, стали служить молебны: Господу Иисусу, Пресвятой Богородице и Николаю Чудотворцу. Через некоторое время бросил меня леший на сеновал, там и нашли, у стены, нога-

ми вверх. Трое суток слова вымолвить не мог» (цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 313-314, Костр.).

Если благодаря молебнам оставшийся без креста проклятый начинает показываться родным, чтобы вернуть его в этот мир насовсем, его необходимо при встрече хотя бы перекрестить, а лучше того — накинуть на него крест.[18]

То, как можно это сделать, нередко подсказывает колдун: «Ну вот, — говорит, — не плачь, а поди в такой-то день, сядь под окошко и возьми крест. Как она мимо пойдет, дак ты, говорит, как кинешь на нее крест ... она останется» (Криничная 1993: 39). Известны случаи, когда уведенные сами просят креста. Вот, например: «Мальчик у нас был потерявши. Это правда было. Раньше мальчиков посылали за лошадям. Он поленился, а мать разозлилась, да и сказала ему: „Будь ты проклят!" Мальчик испугался, взял мешком накрылся и убежал. И не найти его нигде, искали всей деревней, служат во всех церквах, а его нет как нет. А дорога через лес у нас шла; как едут на возке, так лес зашумит, поклонится, мальчик выбежит из лесу, мешком накрывши, и попросится на возок, его посадят, а он просит: „Накиньте на меня крестик, плохо мне, меня мучают". А лес зашумит, и все равно черти выхватят. Он было уже мхом оброс и все мешком укрывши. Девять лет ходил.

Раз ребята пошли в лес за *гонобольно**, видят под кустом мальчик сидит, мхом обросши и мешком укрывши. Мальчик заплакал: „Накиньте на меня крестик!" Один пожалел его, накинул. А ребята испугались, прибежали домой и все рассказали. Прибегли с деревни люди, мать его, и забрали того мальчика. Принесли домой, отмыли, а пожил он всего денька три, все рассказал, как черти его мучили. Он только уйти хочет, ёны лезут сзади и волокут его к себе. В деревне Чернигово это было. А, может, нельзя было ему рассказывать, оттого и помер, что все рассказал» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 34, №57, Новг.).[19]

Колдун, знающий подходы к лешему, может для спасения заблудившего провести обряд «отведывания» или, как еще называли, «отворачивания»: делали лешему «относ» — клали на перекрестке хлеб с солью (реже в относ шли блины, пироги или горшок с кашей), его заворачивали в чистую холстинку и перевязывали красной нит-

[18]За пропавшего (человека или животное) на перекрестке может быть поставлен или положен большой или маленький крест (из дерева, палочек, прутиков и т. д.), даже было специальное выражение «бросить кресты», «кинуть кресты», «класть *жарёб*»* и т. д. Во всяком случае, о таковых встречаются упоминания в некоторых рассказах: «Говорили, парнишка однажды *гейнул**, и шишки его подхватили. Его и по елкам водили, и везде... И парнишки не увидишь. А потом поставили крёсты и его увидели. Шишки и отпустили его» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 32, №51, Новг.).

[19]В быличках действительно нередко подчеркивается запрет для побывавших «там» рассказывать о своей лесной жизни: «А он (*леший. — А. Н.*) ей заказал — ни гу-гу...» (Волог.), «...наказал ей никому не говорить, где была. Она немного сказала, так ее под амбар забило. Она и не стала сказывать...» (Волог.); «Если расскажу, — говорит, — умру» (карел.); «Стала как рассказывать, так ее стало пугать. Во сне говорил: «Не то тебе будет!» (карел.).

кой. Затем кланялись на все четыре стороны и, не крестясь, произносили: «Честной леса, просим тебя, наш хлеб-соль прими, а нашего родного возврати» (Добровольский 1908: 6).



Рис. 28. Медведь принес бабе мед.

Случается, что колдун даже вступает с лешим в «переговоры», в результате которых тот может вернуть уведенного. «Вся волость пошла искать Ульяху. Наконец, стали колдовать. Слова дали. Рыцит колдун на заре: „Нет ли девки у тебя?“ — „Есть, да не получишь“. На другу зорю опять как сзади слова дават: „Кака у тебя девка? Вот такая?“ — говорит колдун (рисует ее наружность). — „Есть“. Колдун говорит: „Чтоб была представлена и не досажена“. — „Иди домой!“ — сказал леший девке. Девка и пошла той дорогой, какой леший указал» (Криничная 1993: 30, карел.).

Леший — существо семейное: жена, дети, отцы и матери... Как же без них? «У

лешего должен быть дом... И жена у него тоже должна быть, и дети, лешанята» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 47, № 130, Новг.). Когда одну деревенскую старуху спросили, как она думает, женаты ли лешие, она ответила: «Как не женаты! Если бы не женились, то давно бы перевелись, а леших всюду тьма-тьмущая» (Колчин 1899: 19–34, Тул.).

Дом у леших на каждое семейство свой, хозяйство крепкое: скотина есть и все, что надобно. Для охраны собачки бегают... Есть, конечно, рассказы и про худое, вконец запущенное лешачье хозяйство, но для Русского Севера, например, больше характерны представления о зажиточности лешего. Рассказывали, будто пожелал раз какой-то вологодский мужик «погостить у лешова». И вот, встречает он в праздник старичка, который приводит его в дом-особняк, где стол прямо-таки ломится от всякой всячины: «и пива, и вина, и пирогов-то всяких». И принимается старичок мужика угощать. А мужик винца выпил и смекает, что, видно, к лешему он в гости попал — надо выбираться: «Спасибо, — говорит, — дедушко, на угощении, всем доволен, только ты уж, пожалуйста, проводи меня на дорогу: надо домой идти, боюсь, не заблудиться бы». Старик его повел, и всю дорогу мужик сокрушался, что заведет его леший непременно... Вот остановились, и старик ему говорит: «Теперь, дядя, не заблудишься», и исчез. А мужик у себя, на самом своем крылечке стоит (быличка дана в пересказе; оригинальный текст см.: Власова 1995: 215).

Жены у леших бывают разные. Лешачихи, например, той же породы, что и сам леший, во всем ему под стать... Некоторые видели, так набрались впечатлений: «А лешачиха красива, волосы долги. Один мужик видел. Стоит, сама высока, волосы длинны, в красном сарафане...»; «...один парень шел с пляски, дак говорит, она ходит, волосы распустила да в фартук набрала много травы, лешачиха-то»; «С игрища шел парень. Встретилась девка... больно высока. А потом стала все расти, расти. Парень перекрестился, и девка пропала» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 53, Арх.; Ефимова 1997: 147) и т. д.

Часто те, кому довелось побывать у лешего в дому, утверждают, что «жонка-то у него наша, русска, уташшона». Леший, как известно, легко хитит девиц прямо из деревни и берет себе в жены. Случается, что и не хитит даже, а сватает честь по чести. Вон, в Олонецкой губ., было дело, приехал «выторговывать» полюбившуюся девицу, ну совсем как человек: «Так славно одет был: козловые сапоги, красная рубаха, тулуп и все, как есть — настоящий купец или приказчик какой из Питера. Развернул бумажник — денег гибель, деревню покрыть можно. При нем также брат, мать и вся, значит, церемония свадебная. Ударили по рукам. Ничего мне вашего не надо, девку одну надо...» (просватанная девушка исчезает и лишь через шесть недель, ночью, приходит на минуту, чтобы отдать отцу свой крест; рассказывает, что жить ей хорошо, «только молиться нельзя») (Власова 1995: 206).

Свадьбы лешие играют с шумом, «разгульно», и прохожему лучше держаться от таких «торжеств» подальше: не приведи Господь стать препятствием веселому

поезду — в лучшем случае растопчут (ОПСП, 142, Арх.). Молодой крестьянке, повстречавшей лешачью свадьбу, явно повезло, с ней обошлись по-доброму. Она рассказывала про эту встречу так: «Едет их много, как люди точно, только что почернее наших будут...» Один старик соскочил и отвел ее лошадь в сторону. Так и держал все — а они ехали. Кто помоложе из них даже зашучивал с девушкой. А как проехали все, старик вывел ее лошадь на дорогу и уехал сам (Харузин 1889; цит. по: ОПСП, 176, Олонец.).

Чаще всего в жены к лешему попадают проклятые: «В деревне мать прокляла дочку: „Леший тя унеси“. И дочка ушла и ушла. И жила с вольним. Она много годов жила. Каждый год рожала чертей. Говорит, рожэ, сразу и убегут. Везде он ее водил, где только не водил. Сама рассказывала...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 32–33, №54, Волог.). А другая баба досталась лешему через свекровь: как та прокляла, так и унесло бедную молодку в лес. Муж, говорят, долго искал, да все безуспешно. Только через три года, как стала помирать, тогда старуха сыну в грехе повинилась. Тот мать схоронил да и отправился за женой. Зашел в *сузем**, в самую чащу — ни входу туда, ни выходу обратно. Вышел к глухому озеру. Видит: на берегу его жена белье полощет. Обрадовалась... Только, говорит, не вернуть меня, если лешим не поклонишься. Мужик дождался, когда лешие из походов вернуться, и большаку в ноги пал. Рассказал всю правду. Рассудил старший леший по чести: раз не за свою вину баба к лешим попала, велел отдать ее мужу и отпустить с миром (а двух прижитых лешачат поровну поделили: старшего она лешему оставила, а младшенького с собой к людям забрала) (быличка дана в пересказе; см.: Русский демонологический словарь 1995: 312, Волог.).

Редко, но бывает, что лешачиха в быличках описывается как некрасивая, неряшливая баба, а также говорится о том, что леший «своего дома не держится», ходит все время по своим надобностям, гуляет, где вздумается (Вят.). Возможно, благодаря этим представлениям, кое-где, например в Поморье, уродливых и нечистоплотных женщин дразнили *лешевицами*, а про самого лесного хозяина ширилась слава большого охотника до женского полу. Во всяком случае, рассказов о похождениях лешего предостаточно, а этнографам знакомы прямо-таки классические приемы «отгона» лесного соблазнителя, когда женщина на сенокосе задирает сарафан и, шлепая ладонью по голому телу, прикрикивает: «Н-н-а, леший! Ничего не получишь!» (Цейтлин 1912: 157–158, Поморье).

Традиционно же считается, что леший домовит и о семействе своем по-хозяйски заботится: все, что требуется, несет в дом... Когда жене рожать время, расстарается и повитуху разыщет, а нянька нужна будет, так и няньку приведет. «В Неноксе жила старуха *на веках**, Савиха. Пошла она за ягодами и заблудилась. Пришол мужик: „Бабка, што плачешь?“ — „А заблудилась, дитятко, дом не знаю с которой стороны“. — „Пойдем, я выведу на дорогу“. Старуха и пошла. Шла, шла: „Што этта лес-от больше стал? ты не дальше-ле меня ведешь?“. Вывел на чисто место, дом

стоит большой; старуха говорит: „Дедюшка, куды ты меня увел? Этта дом-то незнакомой“. — „Пойдем, бабка, отдохнем, дак я тебя домой сведу“. Завел в избу, зыбка *веснет**. „На, жонка, я тебе няньку привел“. Жонка у лешаго была русска, тоже уведена, утапшона. Старуха и стала жить, и обжилась; три года прожила и *стоснулась**. Жонка зажалела. „Ты так не уйдешь от нас, а не ешь нашого хлеба, скажи, што не могу *ись**“[20]. Старуха и не стала; сутки, и други, и третьи не ест. Жонка мужа и заругала: „Каку ты эку няньку привел, не лешого не жрет и *водичча** не умет, отнеси ей домой“. Лешой взял на плечи старуху, посадил да и потащил. Притащил, ко старухину двору бросил, весь *костыченко** прирвал, едва и старик узнал старуху. Вот она и рассказывала, что у лешаго жить хорошо, всего наносит, да только скушно: один дом, невесело» (Ончуков 1909; цит. по: ОПСП, 298–299, с.-рус.).

Выходит, что леший жене своей — «надежа и опора». Ну и жена, случись что, такого мужика в беде не оставит. Взять хоть известную историю про то, как Большую Лумпу (местное пермяцкое прозвище лешего) выручали: «Идет мужичек по лесу и дошол до большого топучего болота, и видит: утонул в болоте большая лумпа (громадной, большой). И говорит большая лумпа: „Мужичек, иди к моей хозяйке и скажи: «небольшая-то-ли де лумпа на большом болоте со зверем (с сохатым) да с медведем утонул»“. Пошол мужик по указанной дороге. Приходит к большому дому, входит, сидит жена на лавке, спрашивает: „Зачем пришел, мужичек?“ Он сказал, как велел ему лешой. Жена бросилась, отворила, и побежала, а потом приносит — она медведя, лешой зверя. Мужика за то угостили...» (там же; цит. по: там же, 298, Перм.).

Есть люди, которым, скажем так, по их профессиональным интересам необходим контакт с лешим (таких, кстати, уважают и побаиваются) — это пастухи и охотники, а также колдуны, через которых нередко происходит контакт с лешим.

Хороший пастух непременно с лесным хозяином знается: тот его учит, помогает ему (есть у лешего всякие пастушечьи «хитрости» и приемы). Заведи, говорили, с лешим дружбу — и никаких проблем на выпасе знать не будешь. А уж историй разных про знающих пастухов сколько рассказывали...

«Вот чудо был пастух. А он че-то читал, чо-то знал. Он один мог коров позвать. Лет тридцать пас коров. Весь день дома, а коровы сами пасутся. А он вечером покричит, а они и идут сами. Покричит: „Дочки! Э-ге-гей!“ А оны сами идут к нему. А без него ни одна не идет, только его слушались. А целый день дома, будто кто

[20]По поводу запрета есть «иномирную» пищу лучше всего высказался В. Я. Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки»: «Приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришелец окончательно приобщается к миру умерших» (Пропп 1946: 54). После такого «приобщения» возвращение в свой мир становится невозможным. «А там избушка в лесу. Баба длиннушшая тама. Дедушко говорит: „Накорми его“. А он не ест. Носился, носился, прилетает: „Жрал?“ — „Нет, не трогал ничегошеньки, даже белого хлебушка не отведал“. Опять улетел. Он опять не ест. Тут дедушко налетел. „Жрал?“ — „Нет, не жрал“. Вернул он его на крылечко» (Былички и бывальщины 1991: 83, № 55, Перм.).

вместо него пас. И каждый год одна корова пропадала. И никогда не расходились, все паслись в одном месте. Во, какое чудо пастух был. Что он знал — неизвестно» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 79–80, №301, Новг.).

Чтобы заручиться поддержкой лешего, пастух вынужден заключить с ним договор. За хороший «относ», а в некоторых случаях, за отсуленную ему скотину, леший сам или через приставленных помощников («кривых вражонков») пасет и оберегает стадо. Иногда он снабжает пастуха магическими предметами, или какой-нибудь из пастушеских атрибутов приобретает особые свойства.

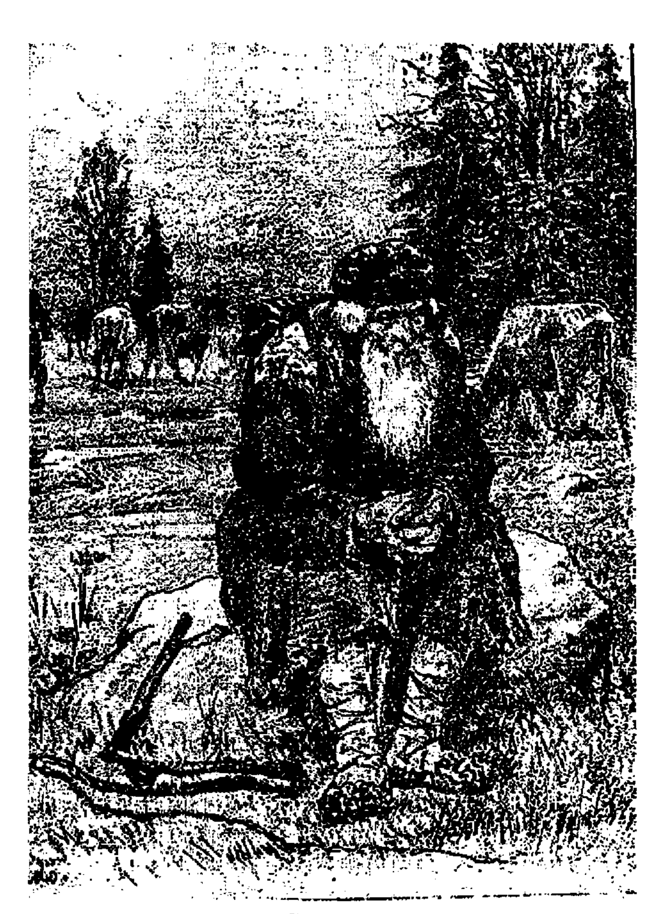


Рис. 29. Старый пастух.

«Старик рассказывал. Девяти лет наняли в Белозерске скотину пасти. 3 дня поводили. Коров шестьдесят. На третий день одного послали. Он и давай реветь. Вдруг старичок. „Что плачешь?" — „Вот батька нанял в пастухи, а коровы ушли". — „А будешь пасти?" — 3 раза спрашивает. — „Буду". Взял поясок — раньше у пастухов пояски были — что-то сказал и отдал. „Завтра утром приведешь, в лес не ходи. Утром распусти, вечером затяни, на ночь сымай". Не вытерпел, затянул, коровы в мыле прибежали. Много денег тогда заработал, скотина в сохранности была. На следующий год нанялся в ту же деревню. Затянул поясок — ничего. Только на один год был дан» (там же: 49, №141, Волог.).

Не пастух, говорят, пасет, а леший пасет. Леший — сам пастух, в чем схож, как уже говорилось, со Св. Егорьем, скот у них свой — все больше не домашние, а дикие лесные животные: «Мужик один пошел в лес, а от нашей деревни чаща была. А он глядит, бежат зайцы, а за им идет пастух и как перегнал их в лес, да как щелкнул кнутом, так у меня в глазах и потемнело...» (там же: 48–49, №138, Новг.). Для

человека лешачий кнут — вещь в самом деле опасная: «...три раза стегнул, но не больно. Мужик пришел, на третий день с тоски умер» (там же: 51, № 146, Волог.).[21]

Другое дело для животных. Похоже, что этот кнут действует на них безотказно, словно магический жезл. Видимо, в нем сосредоточена власть лешего над скотом — одним взмахом или ударом он собирает свое «стадо» и уводит его за собой. Находящиеся во власти хозяина «иного» мира животные ведут себя как и положено животным-душам. В одной из быличек мальчик говорит матери, что козы, которых пастух гнал по прогону, звали его с собой: «„Пойдем с нам". — „Сейчас, я только матке скажу". — „Так почто ты матку привел? Ты ходи один"» (цит. по: Ефимова 1997: 139, Костр.). Понимание их языка, как и само приглашение присоединиться, — недобрый знак того, что «иной» мир зовет, притягивает мальчика, готов его увести.

В лес уводит не только людей, но и скотину. Говорят, что сыскать «потеряшку» можно до шести суток. «Больше шести — уведут за лес, не найдешь» (Новг.). На случай такой потери тоже относы есть. Делают их тайно, посоветовавшись со знающими людьми — уж те научат, как надо. «У нас раз овца паслась, она вот-вот ягниться должна была. Хотела я ее домой забрать, а тут тетка какая-то проходит и говорит: „Рано еще, никуда она не денется!". А овца потом и не пришла. Ночь нету, две нету. Все измесили, не нашли. Послали в Никулкино к бабе Фене. Ночью ездили, на тракторе. Она показала, как метки-то делать. Дед сделал, да, видно, неправильно. Овца показалась соседской девочке. Пока туда бежали, она и исчезла опять. Мы опять к бабке Фене поехали. Я вот сказала: „Бабушка, так и так, показалась и опять убежала и нету". А она и говорит: „Неправильно, видно, твой дед метки сделал". Потом она наговорила хлеб-соль, потом угарочком завязала и сказала: „Когда пойдешь, на первый ольховый куст положи, маленько вправо, и иди не оглядывайся..." Я все сделала, как она сказала. В этот же день овца и вышла» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 78–79, № 296, Новг.).

Очень часто бывает, что, если не сумели взять «потеряшку» сразу, с первого

[21] Кнут у лешего необычный — он будто бы длиной «в несколько сажен», а от удара дребезжат в окнах домов стекла. Бывает, что этот кнут с успехом заменяет вица, т. е. ветка. Обыкновенной ее можно назвать весьма условно, так как в некоторых рассказах она больше смахивает на дубину. Сим кнутом (батогом), дубиной или вицей, леший легко управляется со стадом, а подвернувшегося под руку человека может покалечить. Особенно, если тот нарушает магический этикет. Так случилось с бабой, которая отправилась возвращать уведенную лешим корову и поплатилась за собственное нетерпение глазом: «Лес зашумел и вышел леший — небольшой, в сером кафтане, в шляпе, с батогом. Идет и гонит семь коров, видно у многих отобрал. Ваган (пастух. — *А. Н.*) говорил ей: „Стой, не шевелись и не говори, пока не прогонит, а твою он отхлестнет". А она не вытерпела, подумала, ведь прогонит ее корову и сказала: „Ой, ты, Красулюшка!" Леший обернулся и хлестнул ей вицей и выхлестнул глаз. Но корову отмахнул. Пришла она домой, а ваган все это уже знал и сказал ей: „Не послушалась меня, так ходи весь век кривая. Мог бы хуже, всю переломать"» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 49, № 140, Карг.). Сказанное не угроза, а истинная правда, в рассказах встречаются упоминания того, как леший в усмерть исхлестывал нерадивого пастуха.

захода, то другого шанса уже не дается. Вот было дело: «Теленка в первый раз выгоняли. Не хотел идти. Хозяйка сказала: „Чтоб тебя леший взял!“ Он и пошел в лес стрелой. Не вернулся. К дому потом подбегал, держали его, да он вырывался. Пошли к колдуну. Тот сказал пойти на *кресты**, взять, что там лежит. „Не трусь, — говорит, — взять надо“. А там куча змей на крестах. Она и струсила, не взяла. Так и пропал теленок[22]» (там же: 37, №67, Волог.).

Договор пастуха с лешим обоюден: пастух приносит лешему дары и просит его помощи, а сам обязуется соблюдать «отпуск». Это своего рода свод правил поведения, скорее даже список запретов, причем для каждого пастуха «отпуск» может быть свой. Иногда его получали от посредника-колдуна.

Обычно «отпуск» («спуск» или «слушно») зашивали в одежду пастуха, где-нибудь на груди, и он должен был носить эту своеобразную ладанку, не снимая, все время пастьбы.

«Мария у нас пастухом была, так у ней отпуск был. Однажды прибегают в деревню, говорят, пошли смотреть, в стаде волк ходит среди коров. А Мария нас не пустила, говорит, не ходите, ён ходит, ён и не видит их. Отпуск был у ней» (там же: 80, №302, Арх.).

В «отпуске» обычно указывается то, что запрещается делать пастуху, пока он пасет. Например, ему может быть заказано:

— стричь волосы и брить бороду;

— ходить босиком;

— принимать из рук еду и одежду, а вот брать их со стола и лавочки — дело другое;

— есть в лесу ягоды (кому на черные запрет, кому на красные, а бывает, что ни тех, ни других нельзя);

— ругать или бить скотину;

---

[22]Этот мотив очень распространен на Русском Севере. Объект поиска окончательно утрачивается из страха: «не смогли взять», так как находящееся во власти лешего показывается в любом виде, нередко в змеином, для человека страшном. Например, довольно часто встречаются былички, аналогичные приведенной, но только речь в них идет о ребенке. Интересен этот рассказ еще и тем, что в нем опущено нарушение материнского запрета или проклятье, зато подчеркивается необходимость не бояться и непременно брать даваемое, каким бы страшным оно ни казалось: «Со мной женщина работала санитаркой в больнице, так у ней в молодости ребенок трех лет потерялся. Она сама мне рассказывала, как это было. С ребятами убежал в лес. Они вернулись, а он нет. Не могли его никак найти. Так она ходила на Андому куда-то, к старичку одному. Он ей и сказал: „Там-то и там-то стоит копна, и чтобы там ни лежало — бери руками“. А женщина эта из Ивановского. Ну, она идет и видит, копна стоит. Откуда она взялась? Перед деревней-то они не косят. Копну она подняла, а там змея... Ой, как она переживала, что ее не взяла. Испугалась, закричала. И все пропало: и копна, и змея. Только по лесу слышно, как ребеночек побежал и заплакал. Надо было ей взять, конечно. Может, это ее сын в змея превращен был. А может, просто где рядом за копной стоял. Так мальчишку и не нашли» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 37, №66, Волог.).

— дозволять трогать свою пастушью трубу (дуду, рожок) или барабанку;

— бросать, где ни попадя, свой пастуший батожок; если нужен новый батожок, так старый надо оставить на том месте, откуда новый взят; и ломать батожок следует не на всяком месте, иначе скотину будет «ломать»;

— переходить обозначенную «границу» в лесу и т. д.

Нарушение отпуска для пастуха может обернуться гибелью: известны случаи, когда леший сворачивал шею не сдержавшему запретов пастуху, или исхлестывал его до смерти: «...да его хлыстало, у него из глаза-то уже ушло. Лесом-то глазы-то леший потушил». Если не жизнью своей, так пасомой скотинкой пастух расплачивается за допущенные нарушения: 13 рыбешек в лесу выудил — 13 коров у него медведь задрал, принес домой три мешка картошки — и трех коров не досчитался...

Отношения с охотниками леший также может строить на договорной основе, однако в этом случае чаще, чем с пастухами, наблюдается своеобразная «односторонность» — леший легко может счесть себя свободным от обязательств... Любая промашка со стороны человека чревата расторжением договора. Известно, например, что леший очень высоко ценит свои услуги, так что вынудить его, скажем, попусту гнать для охотника дичь или зверя — ошибка непростительная. Остаться после этого в живых — большая удача. Был случай, когда в подобной ситуации беду от горе-охотника отвела жена: «Мужик приказал лешему пригнать под окно лесной избушки стадо лисиц; исполнитель отправился, а мужик той порой поджидал к себе жену, которая должна была придти к нему с хлебом из деревни. Дождался мужик жены: сидят оба в избе и беседуют о домашнем. Вдруг под окном избы раздалось: „Стреляй!“. Мужик с женой посмотрели: под окном штук десятка три лисиц и между ними несколько отменных, чернобурых.

— Стреляй, не то убью! — закричал голос.

Испуганный мужик бросился от окна; жена его, более смелая, машинально спустила курок винтовки, и три простреленные лисицы завертелись. Леший доволен: труды его не пропали даром. Если б и жена, подобно мужику, струсила от угрозы, леший задавил бы его» (ОПСП, 152–153, Арх.).

В прежние времена каждому промышленнику, так раньше называли охотника, было понятно, что против воли лесного хозяина, как ни старайся, а промыслу не быть. Как-то раз один заядлый охотник ждал в засидке медведя, да засиделся за полночь, а может, еще и день тот был для охоты неподходящий... «Только ровно в полночь, слышит — затрещало. Он, говорит, приготовился, винтовку скинул, с предохранителя снял. Смотрит: вроде не видно. Ближе, ближе затрещали кусты. Я, говорит, хотел стрелить — руки не поднимаются, отнялись и все. Ни крикнуть, ни двинуться — ничего не могу. Слышу, грит..., в кустах затрещало, захохотал тут таким голосом громким:

— Что, — говорит, — не можешь стрелить? Не сможешь ты стрелить. Не сможешь и не убьешь! — Ишо раз захохотал, затрещали кусты. Он ушел.

Дед (охотник. — *А. Н.*) был бесстрашный. Но, говорит, здесь забыл про винтовку. Когда очнулся, и до дому километров пять или десять рвал из тайги только так. Прибежал, говорит, сам не свой...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 47, №58).

За хамство и проявленное к нему неуважение, леший может и вовсе охотничьей удачи лишить: «...Он и спросил меня: „Каково промышлял?“ А я ему и ответил поматерно. „Когда ты сегодни не промышлял и вперед тебе промысла не будет“, ответил он на мое слово...» (ОПСП, 301).

Не стоит забывать негласное охотничье правило: понапрасну зверье не бей, все они — подопечные лешего. За доброе к лесной животине отношение он отплачивает сторицей. Так, в одной из архангельских быличек рассказывается, как охотник, пожалев, не трогает ни медведицы с медвежатами, ни волчицы с волчатами, ни зайчихи с зайчатами. Долго ходил по лесу, потерял тропу и начал блуждать... «Тут вдруг леший пришел. „Ты, — говорит, — мое стадо пожалел, а я, — говорит, — тебя пожалею“. Взял его на спину и понес. Несет, несет, аж в зубах свистит. Стали у деревни. „Ну, — леший говорит, — свой дом узнай“. Тот и уцепился за трубу. Да и проснулся на печке, за горшок с кашей держится» (цит. по: Власова 1995: 218).

Лешему нравится провоцировать человека, нравится проверять человеческую натуру. И на контакт, как уже не раз говорилось, он идет не без удовольствия. Иной раз его опыты напоминают школярские проделки, да только все равно страшно...

«Был у нас на селе старик, страстный охотник до перепелов; заслышит он где-либо крик перепела и пробродит за ним несколько десятков верст, а все-таки непременно поймает. Пошел этот старик как-то ловить перепелов, взял сеть, перепелку и засел в барском овсе, а чтобы не прозевать утренней зари, то он распутал, расставил сеть, поставил клетку с перепелкой, а сам только глазами моргает, о сне и не думает. Вдруг в спину старика попадает ком земли, немного спустя летит другой ком, а там третий, четвертый... Старик, не оборачиваясь, говорит: „не балуй“, — ан, не тут-то было: комья все валятся и валятся и прямиком в старикову спину. Оробел он и давай Бог ноги; сеть, перепелку с собой не захватил, забыл второпях. Наутро приходит и видит; сеть скомкана, не распутаешь; перепелка убита; старик тогда и говорит: „Сумел спутать, сумей и распутать“, причем ругнул как следует черта и ушел. Через день снова приходит и видит, что сеть распутана. Подивился старик, и с тех пор шабаш ночью караулить перепелов...» (ОПСП, 274, Орлов.).

В другой истории охотник расплатился смертью за то, что прострелил лешему руку. Тот пристроился мешать: охотник стреляет, а леший дробь в ладошку ловит — только порох летит... Вспомнил охотник про медь (говорят, что только медной пулей можно в лешего попасть) да и зарядил ружье чуть ли не медной пуговицей. Выстрелил и попал. А леший ему: «Что ты мне наделал. Я бы тебе дробь-то бы отдал. Иди домой...». Отпустить отпустил, да на дорогу стегнул охотника своим

кнутом. Совсем не больно вроде стегнул, а мужик через три дня умер (см.: Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 51, Волог.).

В быличках леший предстает азартным и эмоциональным, известно, например, что он обожает играть с другими лешими, ставя на своих подопечных. Если вдруг зверье в лесу пропало — значит, считали старые охотники, не иначе как местный леший сильно проигрался... «На солонцах охотились с дедушкой. И вот все было, потом — раз! — год-два нет зверя. Дедушка говорит:

— Ну, Михаил, хозяин наш проигрался. Когда у нас (наш. — *А. Н.*) выиграт, придут опеть звери. Зверя другой хозяин угнал в другу падь. (Вроде в карты проигрался — так уже надо понять.). Но выиграт, ниче...

Вот год-два нету: или они отходят, или че ли? Глядишь, потом в этим же месте опеть начинают ходить звери.

— Паря, выиграл, — говорит, — пошли...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 45–46, №56).

Нередко рассказывается о том, как, проигравшись, леший перегоняет свою лесную животинку к выигравшему. Историю про то, как он «должок» мимо кабака гнал, небось, не знаете... В общем, дело было так: раз под вечер, часов этак в семь, заваливается в кабак человек и, не помолившись, не перекрестившись, сходу требует у хозяина ведро водки. Хозяин подает. Швырнув деньги в уплату, посетитель хватает ведро за ушки, осушает единым духом, разворачивается и выходит. Изрядно струхнувший хозяин кинулся скорее к окну и видит: возле кабака отирается с полсотни волков... Вышел к ним тот человек, вокруг себя всех собрал да и погнал в сторону леса (пересказ былички: Русский демонологический словарь 1995: 303–304, Волог.; симбирский аналог см. в сб.: ОПСП, 289).

Интересная получается в итоге картина: в народных рассказах о лесном хозяине явно преобладает представление, что «лес честной — не то что черт». В нем оказывается сосредоточено немало положительных качеств: он честен и справедлив, если наказывает, так за дело, отдает должное хорошей работе и честно выполненному обязательству, способен оценить добрую шутку, уважает находчивость и смелость, готов отплатить добром за помощь, может предупредить об опасности... Словом, в быличках он нередко описывается с изрядной долей симпатии — слишком уж многое человеческое ему не чуждо.[23] Даже, было дело, мужички как-

[23]Общераспространенными следует считать представления о том, что у леших существует иерархическая система. В каждом лесу есть свой лесной дух, который главный, он — «лесной царь» (Олонец., Костр.), «лес праведный» (Олонец.) или «атаман» (Вят.). Ему, в свою очередь, подчинены более мелкие лесовики, боровики, моховики и т. д. Леших в лесах может быть множество. Но только сам лесной царь считается по-настоящему «праведным» — он справедлив и человека без причины не тронет, чего нельзя однозначно сказать про мелких леших, которые в народных представлениях легко замещаются нечистой силой. Местный леший считается своим и в качестве

то сетовали: с лешим, мол, в прежние времена много лучше жилось, не то, что ныне...

И все же, не обольщайтесь...

Там, где стеной стоят темные леса «от земли до неба», где со всех сторон непролазная чаща, где даже в яркий солнечный день царит густой сумрак, и глохнет не только любой звук, но и всякое движение, где замирает сердце от страшного одиночества и безнадежности... там обитает леший — воплощение древнего ужаса, стихийной мощи, чуждого мира...

И потому: Дай Бог, в лес живу войти и обратно выйти.

такового может выступать помощником и защитником местных жителей, о чем свидетельствуют многочисленные рассказы. Например, такой: «Вот мы мужиков на войну провожали, и леший провожал, дак плакал и все кричал: „Я помогу вам, помогу, помогу!". У нас дедушка говорил, леший за Русь идет, хто на Русь нападе, все леший за Русь встане. Он все силы кладе, а помогать — он в войну пули откидывал. Так дедушка говорил...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 51, № 151, Арх.).

Наконец, рассуждая о природе лешего, не стоит забывать, что как стихийный дух он находится в прямой зависимости от сезонных ритмов: с первыми морозами он исчезает и вновь объявляется только по весне, когда просыпаются и активизируются жизненные силы природы (см. об этом: Власова 1995: 210).

Глава 6

ПОЛЕВИК И ПОЛУДНИЦА

кто с кого берет пример; о меже, созревающих хлебах и полуденном зное; если сказано «Ложись!»

А и густо-густо на березе листьё,
Ой ли, ой люли, на березе листьё.
Гуще нету того во ржи, пашеницы,
Ой ли, ой люли, во ржи, пашеницы.
Господа бояре, мужики крестьяне!
Ой ли, ой люли, мужики крестьяне!
Не могу стояти, колоса держати,
Ой ли, ой люли, колоса держати,
Буен колос клонит,
Ой ли, ой люли, буен колос клонит...

Жнивная песня

Жарким летом, в самый полуденный зной, проходит по ржаному полю дозором полевик. Он наг и черен, как земля, глаза у него цветом разные, а волосы точно травы (Максимов 1994: 68, Орлов.) — ни дать, ни взять, само поле поднялось и идет человеком в мареве. Считается, что полевик становится видим только в полдень, в самый жар, когда раскаленный воздух плывет и струится. Реже можно повстречать его на заходе солнца или в ясную лунную ночь. Вообще, он не любит являться человеку, и далеко не каждый может похвалиться, что видел полевика.

Рассказывают, будто выглядит он как «молодой мужик с очень длинными ногами. Очень быстро бегает. На голове у него рожки, глаза навыкат, хвост. На конце хвоста — кисть, которой он поднимает пыль, если не хочет, чтоб его видели. Покрыт шерстью огненного цвета, поэтому при быстром передвижении кажется человеку промелькнувшей искрой...» (Власова 1995: 278, Волог.). Впрочем, как и большинство мифологических персонажей, видеть полевика не к добру, равно как и слышать. Представьте, он свистит, хлопает в ладоши, и даже поет... совсем как леший. Одна



Рис. 30. Жнея в поле.

женщина сидела как-то в полночь у окна. Без огня сидела. Вдруг слышит: поет кто-то без слов и присвистывает... Глядь, а вдоль деревни несется на тройке лихих коней полевик. Через несколько дней после этого вся деревня выгорела дотла (пересказ былички, см.: Балов 1898: 88, Яросл.). Или еще вот, рассказывали: «Однажды вечером мы топили *подовин**. Вдруг ветер подул, дедко полевой в ладоши захлопал громко, громко. Я за печкой на соломе спала, кричу маме: „Кто там хлопает?“. Подбежала к маме, смотрю, а мама стоит и креститься. Ухватила я ее за фартук, прижалась к ней. Мама ворота крестит, чтобы, значит, не к нам, и все причитает: „Аминь, аминь, аминь, аминь“. Я так ничего и не видела, боялась, не знаю, какой дедко был, только слышала, что в ладоши громко хлопал» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 63-64, №217, Волог.). Очень знакомые описания, правда?

Полевик быстр и стремителен, словно порыв ветра, чем опять-таки очень напоминает лешего. Так же как и лешему, ему приписывается способность «подгонять» свой размер под окружающую растительность: «В поле идет он [полевик] с тычинкой равен, под межой хоронится, а в лес идет — с сосонкою равен» (Власова 2001: 409, Смолен.). Если лешему полагается присматривать за лесными деревьями и растениями, то полевик следит за травами, злаками, за хлебами.[1] Наконец, он, совсем как леший, космат, весь шерстью покрыт...

Вот и выходит, что леший с полевиком похожи друг на друга, как ближайшие родичи. Поэтому не удивительно, что действия одного нередко приписывают другому. Верили, например, что полевик, не хуже лешего, за скотом на выпасе приглядывает: «Полевой хозяин есть, он скотину берегет. Бобер Иваныч, пастух, лошадей пас, его вчастую видел...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 64, №221, Новг.). Нет историй о том, чтобы полевик пастушествовал на манер лешего, но увести или вернуть пропавшую скотину он мог, и об этом рассказывали. «... Один раз я на дворе обряжалася, и убежал боров. И потеряли его, не могут найти. Я спросила у бабки, а она говорит, иди возьми хлеб, три копейки, встань на дороге, по которой он бежал, и скажи: „Хозяин полевой, я тебя хлебцем и золотой казной, а ты пригони мне борова домой", — и кинуть [хлеб и деньги] через правое плечо. Сделала, вечером гляжу, боров-то пришел...» (там же: 64, №219, Новг.).[2]

Для того чтобы полевой с семейством за пасущимся скотом присматривали и никому в обиду не давали, у всякой хозяйки, конечно же, имелись соответствующие «добрые слова»: «Полевой хозяюшко, полевая матушка, с полевым малым детушком, примите скотинушку, напоите, накормите» (там же: 64, №222, Новг.).[3] Бывало, что и обход делали с ниточкой и с относом: «Когда выпускаешь коров, взять долгую нитку и на каждую животину завязать узел, сколько голов, столько узлов, и приговаривать: „Как ты, милая ниточка, крепко сидишь, так, милая животишко, крепко стада держись". Ниточку привязать, чтобы коровы все перешли через нее. Потом

[1] Именно к полевику надо обращаться за разрешением на сбор полевых и луговых лекарственных трав, поскольку все они находятся в его ведении; кроме того, он знает все о свойствах каждой травки и может подсказать сборщику, «навести» его на нужную.

[2] Интересно, что рассказчица дальше уверенно говорит о том, что борова пригнал леший. А затем тут же следует ее рассуждение о полевой, т. е. имеет место явное замещение или даже совмещение (слияние?) образов полевого и лешего.

[3] Судя по всему, была принята и ритуальная формула благодарности полевому хозяину со компанией за его доброе отношение, с которой скотину угоняли с пастбища домой, типа: «Полевой батюшко, полевая матушка, со своим малым детушкам, спасибо, что сохранили мою корову!» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 65, №223, Новг., данный текст приводится с комментарием, что эти слова говорились на выгон, однако это не соответствует их содержанию). Видимо, и для поддержания добрых отношений с полевым существовала некая система запретов, не такая развернутая, как предусмотренная для отношений с лешим, однако она практически не сохранилась, за исключением мелких деталей, как то: «Не высовывай язык, и скотина будет хорошо ходить, а будешь высовывать, так и скотина уйдет» (там же: 65, №223, Новг.).

коров обходят с иконой. А нитку собрать в кулак, положить туда хлеба, яйца, чем коров кормишь, свернуть вместе все и положить под куст, да сказать:

Полевой хозяин батюшка,
Полевая хозяюшка матушка,
Нате вам хлеба, соли,
Напойте, накормите милых животов,
Сохраните их на теплое лето»

(Адоньева, Овчинникова 1993: 59, №238, Волог.).

Очень редко, но встречаются рассказы о том, как полевого, все равно что черта, могут напустить на скотину колдуны. Скотина становится неуправляемой (прямо бесится), ее уводит, и, если не припять мер и не отыскать, уведенное животное гибнет. «От мы со своим сынком, с внучком, в поли паслися. Как загуляли коровы! Ще я-то была дюжáя! И уже ён совсем хороший. Ничего не поделаим! Спасибо у яго ружье было: выстрелил. Как выстрелил — как умерло всё! А ето как раз в полдни было. От в полдни-та тоже, говорять, худой час в полдни! От спасибо ён надоумился стрéльнуть!

Как напустють полявого, колдуньё, на животную — и стрясётца. И стяряетца. Ломаить как медведь... От ето и напущен был, что Сяргей расказывал-та (сноска на рассказанную ее сыном историю про уведенную и задранную «чертом» корову председателя. — *А. В.*) в Демянках-та корова была завалена в луже. Ето и папущено! (...) От ета полявой яе и сломал, вы поняли таперь? Яе полявой и сломал. От стада он отогнал, загнал... в куст в брядовый. Он яе там и сломал...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 270, №264).

Полевой, как и леший, может водить не только животное, но и человека. Истории о вождении полевым как две капли воды похожи на аналогичные, когда водит леший. Судите сами: «Дедушко-полевушко живет в лесу, песни поет. Женщина однажды шесть дней в лесу находилась. Слышала, когда искали, самолеты видела, людей, а голос потеряла, ответа дать не может. Дедушко-полевушко всяким может показаться: и молоденьким, и старым, даже знакомым человеком. Этот-от женщину в лесу водил[4]» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 64, №218, Волог.).

Может полевик и человека зазывать. Так же как в вариантах с хозяином леса, человек начинает слышать зов «иного» мира, когда происходит некий сбой, и граница между мирами становится проницаемой. Такой сбой может быть спровоцирован,

[4]О том, где живет полевой, можно в данном случае поспорить. Скорее всего, упомянутый лес, будучи владением лешего, для житья полевому не очень подходит, если только не идентифицировать их как одно и то же «лицо». Место полевого — в поле. Говорят, что он живет в земле, в норах, и выходит на поверхность в полдень, чтобы обойти свое «царство» и убедиться, что все в порядке. Говорят также, что сколько полей, столько и полевиков — каждому полю, стало быть, свой хозяин.

например, постоянными угрозами покончить с собой. Причем под удар в этом случае могут попадать и сам спровоцировавший, и его близкие, как непосредственно связанные с ним, и даже соседи, как часть его мира. Хорошо, если все обойдется только испугом. Однако и в таком прецеденте видели, как правило, недвусмысленное предупреждение: настойчивые «просьбы» могут быть исполнены, и потому не стоит испытывать судьбу. «От я лично с соседкой в Калинки (дяревня недалеко) — мы паслись в конях. А от мой хозяин (муж. — *А. В.*) сильно запивал. У яго была привычка пугать: „Удавлюсь! Удавлюсь!"

Ну от. И я за няго погналася в поле, он был пьяный. Сидим мы так на обеди. А время час. А в двянадцать часов дня — то же, что ночь: то и полдень. Это одно и то же: смотри-смотри!

Сидим мы, етаво, пригорюнивши. А от Иван мяня зовет:

— Мань!

Он так. Мы молчим (женщину тетей Катей звали). Опять:

— Мань!

Мы с соседкой от так глядим онна на онного, ничаго не говорим. Потом третий раз:

— Мань!

Я говорю:

— Тетя Катя, ты слышишь?

Она говорит:

— Мань, слышу!

Я говорю:

— А что! Да Ванька мой кричит!

Она говорит:

— Господи, да не удавился ли он! Дай, — говорит, — сбегаю в *гувно** (а там гувно стояло). Дай сбегаю в гувно, погляжу, с пьяных глаз либо урежетца!

Она яго бранила, что он сильно пьет. Она перяшла через реку и поглядела в гувно. Нет никого.

От ето и есь полявой. Потому что раньше старые женщины так говорили. Да. Раз позвал — значит, полявой...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 269, № 263).

Над людьми полевик все больше пошучивает, почти как леший, и говорят, что он, так же как леший, сильно не жалует пьяных. «Непросохшему» пахарю лучше поостеречься выходить в поле. Возможно, памятуя об этом, орловские мужики (как раз хлебопашцы) раз в году, обычно под Духов день, отправлялись глухой ночью куда-нибудь подальше от проезжей дороги и от деревни, к какому-нибудь рву, и несли с собой пару яиц и прихваченного у соседей старого безголосого петуха. Такое подношение следовало совершить тайно, чтобы никто не видел, иначе полевик мог рассердиться, и прощай тогда урожай... (Максимов 1994: 69).

Бывает, что полевик возьмется попугать. Конечно, не просто так, одного развлечения ради. Если разобраться, в каждом случае имеется нечто, что могло стать причиной демарша. Скажем, подвернется кто-нибудь, бродящий в его владениях в одиночку, да еще, может быть, и не во время... Одна белозерская вдова делилась с соседкой своими впечатлениями: «Жила я у Алены на Горке. Пропали коровы, я и пошла их искать. Вдруг такой ветер хватил с поля, что Господи Боже мой! Оглянулась я — вижу: стоит кто-то в белом, да так и дует, да так и дует, да еще и присвистнет. Я и про коров забыла, и скорее домой, а Алена мне и обсказывает: „Коли в белом видела, значит, Полевой это“» (там же: 68).[5]

Может он и над компанией пошутить, и при этом очень даже зло. Вот, к примеру, рассказывали, что приключилось на одной свадьбе: «Сговорили мы замуж сестру свою Анну за ловецкого крестьянина Родиона Курова. Вот, на свадьбе-то, как водится, подвыпили порядком, а потом сваты в ночное время поехали в свое село Ловцы, что находится от нас недалеко. Вот сваты-то ехали-ехали, да вдруг и вздумал над ними подшутить полевик, — попали в речку обе подводы с лошадьми. Кое-как лошадей и одну телегу выручили и уехали домой, а иные и пешком пошли. Когда же домой явились, то сватьи, матери-то жениховой, и не нашли. Кинулись к речке, где оставили телегу, подняли ее, а под телегой-то и нашли сватью совсем окоченелою» (там же: 70).

Были случаи, когда полевик из каких-то одному ему известных соображений не давал косить, жать и гнал с поля или покоса. Старые люди обычно расценивали это как явный знак грядущих неприятностей. «Я был небольшой. Поле было все полосам, конец был запущен. Саморощен клевер скошен был. Мать говорит: „Сходи, сграбь“. Я пошел грабить. Вдруг засинило, гром загремел. Он [полевой хозяин] вышел со ржи, говорит: „Уходи домой“. А я думаю, нет, я сграблю, немного осталось. Он опять: „Тебе сказано, уходи домой“. Я бросил грабли и побежал. Бабкам рассказал, оны сказали, это перед нехорошим. А был он, как мужчина, только такой седой» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 64, №221, Новг.).

По природе своей полевик не агрессивен, скорее, нейтрален. Он, как и леший, следит, чтобы представители мира живых не нарушали сложившиеся правила отношений на «вверенной ему территории», и только в случае нарушения предпринимает ответные действия. К примеру, хорошо известно, что «на межи», да еще в полдень ложиться нельзя (и место и время — самые не подходящие, и, думаю, не надо уже объяснять почему). «Один мужик лег таким образом на межу, да к счастью, не

[5]Вовсе и не обязательно, что «если в белом, значит, полевой», потому что леший, к примеру, тоже нередко появляется в белом, не говоря уже о домовом. Белый цвет маркирует иномирье, подчеркивает принадлежность носителя к «тому» миру, так же, впрочем, как и черный (банник, водяной, черт) или красный (вспомните, о необъяснимой на первый взгляд привязанности лешего к красненькому колеру, а ведь не ему одному он приписывается).



Рис. 31. Идут с покоса.

мог заснуть и лежал не спавши. Вдруг слышит конский топот, смотрить, а на него несется верхом здоровенный малый на сером коне, лишь только руками размахивает. Едва мужик успел увернуться с межи от него, а он шибко проскакал мимо и только вскричал: „Хорошо, что успел соскочить, а то на веки бы тут и остался!..“» (Колчин 1899: 28–29, Тул.).[6]

[6]Межа — рубеж, ограничивающий или разделяющий поле. Считалось, что именно у межевых ям чаще всего и можно повстречать полевика. Кроме того, по одним представлениям, *межевик* — это одно из названий полевика (для него на меже оставляли кутью из зерен первого снопа). По другим представлениям, межевики вместе с луговиками — это дети полевика. Они носятся по межам и ловят птиц в пищу родителям, а также душат спящих на межах (Максимов 1994: 69). Говорят, будто в их силах напустить на человека, отдыхающего на поле, или покрай него, разные болезни.

Полевики нередко оказываются в родственных или дружеских отношениях с другими духами, и не только со стихийными, но и с домашними. Поэтому нет ничего предосудительного, если полевик порой пользуется оказией и через подвернувшегося человека (как правило, как раз того, в чьем доме и «проживают» родичи или друзья) передает необходимые новости. Тем более, что, как правило, случается такое очень редко, а новости оказываются очень серьезными. «Шла баба полем и слышит голос: „Тетка, пожалей меня, я умираю...". — „А кто ты сам-то будешь?", — спросила она. „Это я, Полевой. Поди домой, скажи Домовому, что его брат Полевой помер...". Испуганная баба, еле переводя дух, прибежала домой и только что начала рассказывать у себя под окном окружающим, как окно вдруг само открылось и оттуда с шумом вылетело что-то страшное. Это, значит, Домовой полетел прощаться с Полевым» (Смирнов 1927; цит. по: Власова 2001: 411, Пересл.-Залес.).

Если детки полевого — луговики да межевики — душат-давят устроившихся подремать не на месте, или напускают на спящих в поле всякие болезни, то сам полевик может занедужившему помочь. И не только как хозяин трав, но и как одна из ипостасей Матери Земли, воплощение вспаханного поля. Одна женщина рассказывала про то, как ее *«зыбошного*»* ребенка излечили от *родимца** при помощи земли с двенадцати полос, с двенадцати полей: «Все ревит. Колей звали... Он был такой, месяцев пяти, может, такой был. И так его стало трясти; сначала по одному разу в день, потом — по два, по три, а потом до того дошло, что уж по двенадцати раз его стало трясти — родимец это. И вот в зыбке его качаешь, так вот он: пена-то из роту-то клубками, глаза-то укатятся, а сам он как доска вытянется, как струнка сделается. И вот его в зыбке-то этой трясет... [по врачам таскали — врачи вылечить не могли, к разным бабкам носили — тоже не помогло] ⟨...⟩ Я обряжалась тогда на ферме — коров доила. Танька Сережина и говорит: „Ну-ко, Нюрка, поди ты к нашей бабке-то: она ведь знает, — говорит, — как родимец прошел". Ну я пошла к бабке. Она и говорит: „Девушка, ты поди, возьми с ключа воды...", а сначала она: „Побежишь ты на участки-то, дак возьми земли, возьми, — говорит, — конвертик и приговаривай: "Мать сыра земля, принимай или леготы давай"". Если как к смерти, дак чтобы ребенку не мучиться, он чтоб помер уж. А как к жизни — так он выживет. Ну, вот я побежала по участкам, чтобы с поля-то брать дак, с этого конца берешь, чтобы тот конец не видно было. Берешь щепоточку земли и: „Мать сыра земля, принимай или леготы давай"... С 12-то полос надо, с 12-ти полей. Я на участки-то побежала вот, собрала землю, к ней пришла и говорю: „Анна Ивановна, я вот собрала землю-то". Она и говорит: „Девушка, ты поди на ключ сходи, ключевой воды возьми ведерышко. Ну, да ладно, — говорит, — я пойду в баню-то мыть, дак сама ключевой-то воды принесу". Надо что-то тоже приговаривать. Она на заре сходила

Самым традиционным их «подарком» обычно бывает лихорадка, появление которой часто объясняли емким «ветром надуло».

сходила и этой ключевой воды принесла. Я ей баню истопила. В баню ребенка принесла. Она помыла там с этой водой, проговорила какие-то слова. „Ты, — говорит, — встань и ребеночка-то возьми меж ноги, а я обкачу". Ну, она обкатила вот меня, стала воду лить и с меня обкатила. Коля-то у меня стоял вот меж ногах, тут, под родами-то. Ну, и у парня как рукой сняло — ни одного разочку больше; а земли-то вот она, эту землю-то, еще в чашку тут навела, да и говорит: „Ты водичкой-то этой еще все-таки пой". И по сие время, вот он с пятидесятого году, дак, ему уж скоро сорок годов, в декабре-то будет 40 годов, и ни разу не бывало — вот как старухи знают...» (Адоньева, Овчинникова 1993: 106–107, № 405, Арх.).

Если уж здоровье не вернуть, так хотя бы узнать — жить будет?.. Трактор раз под самыми окнами прошел — ребенок и испугался: ревет, худеет. Все испробовали. Ничего не помогло. Одна старушка измучившейся матери так сказала: «Давай, проденем его через межу». Пошли они в поле, прокопали межицу да сквозь и продернули. Как продели, старушка поглядела и сказала, что жить ребенок не будет, умрет. Поначалу он получше стал — мать и обрадовалась. А потом умер... (там же: 97, № 369, Волог.).

Про жену полевого — полевую хозяйку, поляху, — как про лешачиху, сведения крайне скупы, да и те, как водится, рознятся: то, говорят, красавица, то наоборот... Выйдет из кустов, на обычную бабу похожа — «простоволосая, беленькая» (Смолен.). И по характеру она будто бы и доброй бывает, и злой (Новг.). Больше про нее, почитай, ничего и не рассказывают. Чаще упоминают вместе с мужем в ритуальных просьбах, чтобы скот берегли на выпасе, чтобы помогли и пр.: «Хозяин-полевой, хозяйка-полевая...» и т. д.

Судя по одному новгородскому рассказу, возможно, когда-то были распространены представления о том, что полевая может принимать какой угодно вид и, например, уйти ветром с насиженного места, как в данном случае: «У нас аисты живут. Свалилось гнездо их, я пришла, гнездо подняла, птенцов-то поранило. Я подняла их повыше, и тут мальчишка, взял аистёнка, хотел отнести поиграть, а я ему говорю, снеси обратно, вдруг он и есть хозяйка полевая. Он его отнес, и вдруг поднялся ветер, вырвало у их дома [того мальчика] лестницу. И улетела она, хозяйка-то полевая, к лесу, и так *волла**, как страшно было» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 64, № 220, Новг.).

Говорят, от недобрых действий полевой хозяйки хорошо помогает одолень-трава, которая берет свою магическую силу как из матери сырой земли, так и из живой воды. Искать одолень надо прямо в поле: «Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень-трава...» (Криничная 2001: 278, 279–282). Вот, если трижды обойти с корешком одоленя свое стадо или налепить–навесить его коровам в шерсть — ни одна не уйдет, все будут в целости и сохранности во все время пастьбы.

Есть в поле полевая хозяйка, а прежде была еще и полудница. Путать ее с полевой нельзя, они совсем разные. Поляха «беленькая», а полудница «волосата», «черна

(лицо черно)», полевая — полевику жена, его половиночка, хозяюшка, а полудница — сама по себе, странная, страшная... Называть ее могли в разных местах по-разному: то полудницей, то удельницей (кудельницей), а то и повеличают, скажут: «мать Уделина!..».[7]

О полуднице или удельнице сохранилось совсем немного сведений. Известно, например, что полудница «во ржах живет», «где рожь длинна» (Арх.). Ходит во ржи в полдень, «в самую жаркую пору», «в самое жаркое время» и за рожью будто бы приглядывает, урожай бережет. Это добрая полудница. У нее сковородка есть, большая-пребольшая, и этой сковородой она нежные молочные всходы и сочную зелень трав от палящего полуденного солнца прикрывает. А злая полудница свою сковороду переворачивает и прижигает молоко хлебных зерен и цвет трав (Зеленин 1914: 263; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 465).[8]

В былые времена полудниц боялись до смерти. Детей ими *полохали**: «Как мы росли, нас пугали, удельница вас захватит»; «...все говорили, что во ржи есть кудельница, не ходите, ребята, в рожь. Подьте в рожь, там кудельница захватит резиновыми клещиками» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 65, № 225, № 226, карел.). Что за резиновые клещики, и откуда они у удельниц — никому не известно. Но этой своей охотой за детьми они сильно напоминают русалок,

[7]Эти названия с корнем -*(у)дел-*, похоже, указывают на большую древность почти совсем исчезнувшего сегодня образа полудницы: удел, например, и с судьбой связывается (чем Боги наделили, какой (у)частью) и непосредственно с делением, долей, мерой, частью (были же территориальные уделы) (см. об этом: Рыбаков 1993: 183). Трудно сейчас сказать, как именно удельница могла быть связана с разделом, с границами поля, однако такая связь, видимо, имела место. Известно, например, что полудница пытается заловить тех, кто жнет траву на межах (правда не известно, что она с ними делает, если поймает). А среди детских полузакличек, полудразнилок, известна такая: «Полуденица во ржи! Покажи рубежи! Хоть за нами побежи!» (Арх.). Поле, как правило, ржаное стабильно указывается как место встречи с удельницей, а в качестве одного из ее названий неизменно фигурирует «ржаная матушка» или «ржица» (Волог.). Кстати, полевик, как уже говорилось, так или иначе связан с межой — границей, разделом, он считался межевым хранителем. Интересно, что и Чур (Щур) рассматривался в этом качестве: «[Чур] почитался богом межей... Его просили о сохранении межей на полях...» (Глинка 1993: 121). Границы родовых земель, наследовавшихся от предков, считались неприкосновенными: «По поверьям многих племен, души тех, кто не уважает святости границ, передвигает межевые камни (столбы), хозяйничает на земле чужих предков, подвергаются проклятию, после смерти блуждают без пристанища, или — такие люди (души. — *А. П.*) вечно принуждены таскать камни и носиться по полям, нигде не находя покоя; или — носиться по полям блуждающим огоньком» (из комментариев к: Кайсаров 1993: 84).

В отношении как полевика, так и полудницы обращает на себя внимание полдень, который тоже является границей, временным рубежом, разделяющим и организующим сутки. И если в отношении полевика полдень просто отмечается как время его активности, то полудница потому и *полудница*... В полдень она максимально опасна, похоже, что она была когда-то хранительницей именно этой границы.

[8]В этой связи хотелось бы упомянуть *жареника* и *жареницу*, которых считали духами полей и огородов; жареник, в частности, был еще известен тем, что отпугивал ребятишек от горохового поля, чтобы не драли горох (Черепанова 1983: 28; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 178).

которые тоже сманивали и утаскивали детей в «свой» мир: «Вот полудницы, говорят, раньше в полдень ходили. Девки таки черны, долговолосы, лицо черно, одеты немножко, в руках что-то было. Они в полдень выходили, все старались закрыть двери, ставни в полдень. Они детей уносили. Никто не знал, *откуль** они придут. Жили они в лесах где-то, а то говорили, в ямки за деревней жили полудницы. Голоса у них звонки. Они людей прятали. Уйдет, уйдет ребенок — и насовсем» (там же: 65, №229, Арх.).



Рис. 32. Русалка.

В самом деле, даже в только что приведенном описании присутствуют многочисленные моменты сходства полудниц с русалками. Что касается внешнего вида, то:

— и те и другие непременно обладают длинными волосами;

— и те и другие одеты «немножко» (или одна рубашка, или сильная оборванность, или нагота);

— чернота («черное лицо») полудницы совсем не противоречит черноте северной русалки, которая вообще во многом отличается от бледных и прозрачных южных водяных дев;

— и звонким голосом, отмеченным у полудниц, русалок не удивишь — они, как известно, и петь умеют, и перекликаются (гукают), да так, что воздух звенит...

Совпадений в поведении у полудниц с русалками тоже можно отметить немало. Взять хотя бы это непонятное появление полудниц то ли из лесу, то ли из ям «за деревней» (и лес и ямы за деревней — это тот, «другой» мир, куда, кстати, и выгоняли русалок, когда наступало время их ритуальных проводов). По поводу времени — полдня — уже и говорить нечего, и так все ясно: время сакральное, об эту пору «гуляют» все. А вот о том, что в полдень в деревнях старались двери и окна закрыть, потому что полудницы «людей прятали», «детей уносили» и т. д., — сказать об этом несколько слов стоит.

Иногда в рассказах попадаются просто замечательные мотивировки. Вот, к примеру: «Она [полудница] во ржах живет и выходит в жаркую пору, ставни потому запирали. Говоря(т), они волосатые, кто видел, боялись, они щекотили, защекотят до смерти. От шестого июля до девятнадцатого не купаются, не стираются, потому что, говорят, полудницы ходят, да в окошко глядели. До полдня жнут, а с полдня закрываются ставнями, а то полудница защекотит» (там же: 65, № 228, Арх.). Все, что нужно, сказано, но так сжато, что в некоторых местах пропадает причинно-следственная связь: зачем, казалось бы, запирать ставни, если полудница защекочивает? или почему нельзя купаться или стирать (в реке), если она ходит по деревне и глядит в окна?.. Однако, на самом деле, с логикой здесь все в порядке.

Полудница выходит из ржи в полдень, в этот момент она максимально опасна. Опасна тем, что «уводит», «уносит» или «защекочивает до смерти» (так или иначе забирает в свой мир) людей и особенно детей. Поэтому уходили с поля, с улицы, а в определенный, особо опасный период — и от воды, закрывали двери и окна, потому что взгляд полудницы столь же опасен, как взгляд лешего или другого иномирного существа.[9] Когда разнообразные нечеловеческие силы активизируются, человеку лучше отдыхать. Загляните в Поучение Владимира Мономаха и прочтете там: «Спанье есть от Бога присуждено полудне...». Вам никогда не случалось за-

[9]Здесь опять же напрашиваются параллели с русалками. Так, в определенный период, в частности, на Русальской неделе и после Троицы, русалки активно объявлялись в реальном мире и почти свободно проникали в человеческое «окультуренное» пространство. На это время вводились жесткие запреты, которых особенно следовало придерживаться молодежи брачного возраста и детям, если они не хотели быть уведенными или насмерть защекоченными русалками. Напомним, что распространенное у южных русских и на Украине название русалки *лоскотуха* или *лоскоталка* происходит от глагола «лоскотать», т. е. щекотать. В частности, запреты касались пребывания у воды, вхождения в лес и поле (особенно ржаное) или даже прохождения по его краю.

даваться вопросом, отчего это в нашем отечестве с древних времен была принята тотальная сиеста аккурат в полдень?..



Рис. 33. Перед грозой.

Говорят, что утратившим чувство времени жнеям (если не уходили со жнива во время и продолжали жать) полудница принималась будто бы «вертеть головы» — бралась за голову и начинала вертеть, «пока не заболит шея» (Балов 1901: 87; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 464, Яросл.).

Но, пожалуй, самое сильное впечатление оставляет образ полудницы в недвусмысленном виде «девицы с длинной и острой косой», косящей в полдень всех, кто торчал в поле и не убрался восвояси: «...как полдень, двенадцать часов, идет полудница. Она как человек, с косой ходила и всех, кто стоит, косила. Того, кто на землю упадет, она не тронет, нет, а кто стоит, того насмерть закосит, засекет. Как увидишь, что полдень, ложись» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 65, №230, Арх.).

Глава 7

ЛЕТУН (ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ)

кто такой огненный змей; не тоскуй — нельзя; приемы бытового змееборчества; и кто его знает, чего он летает...; не все золото, что блестит; о связи огня с зарытыми кладами; стражи кладов; клады бывают всякие: о живых и некретимых; если можешь — возьми!

...С темной высоты сверкнула вдруг, падая огненной полосою, красная звездочка и рассыпалась (...) искры эти, перед тем как исчезнуть в трубе, приняли в сочетании своем вид свернувшегося золотисто-красного крылатого змея.

Кондратьев А. На берегах Ярыни

Его называли по-разному: *любак* (Смолен.), *волокита* (Орлов.), *любостай* (Тамб.), *налет* или *налетник* (Яросл., Влад.), *летун*, *летучий* или *огненный змей*, *огненный бес*, просто *огненный*, и Бог еще знает как... В его облике причудливо переплелись черты библейского змея-искусителя с чертами ходячего покойника (вампира), зооморфные ипостаси предка-пращура и владыки или стража границы «иного» мира, а также одного из древнейших символов плодородия.

Среди древнерусских письменных источников хорошо известна «Повесть о Петре и Февронии». Она датируется XV в. и рассказывает о змее, летающем к муромской княгине «на блуд». Как утверждают исследователи, в основе этой некогда очень популярной повести лежит устная легенда, народный рассказ о летающем змее.[1]

[1]Корни славянских верований в летучего или огненного змея очень древние, и, как принято в таких случаях говорить, начало их теряется в глубине веков. Рассматривать здесь хотя бы в общих чертах свойственные славянской традиции мифологические представления о таких змеях — вещь невозможная, да и ненужная. «Змеиная» тематика так разнообразна и богата, что может увести нас очень далеко в сторону, и простому знакомству с основными «героями» русского мифологического рассказа будет грозить опасность перерасти в научный трактат.



Рис. 34. Змей летучий.

«У моей-то тетки, сказать, у мужика-то сестра была. У его-то сестры взяли мужика в армию. Война же была (...) И она все плакала, все плакала, и осталося трое детей у нее. Душа земли была — исхудала!

А тогда все серпом жали. Она поздно-поздно домой ходила. Этих детей одних оставит. Ну и вот. Идет домой-то и глядит в окно: это что же такое? Яков в избе сидит в простенке. Как же он попал-то, ведь все закрыто?

В избу-то вошла, отперла сени-то — никакого Якова нету, он пропал. А это змей летал к ей... Он пропал. Потом ладно. Она взяла дойницу и пошла корову доить в хлев. Доит корову-то и слышит: по сеннику-то ходит человек! Ладно, она корову подоила, это ведро на гвоздок повесила, взяла фонарь и полезла туда, на сеновал-то. Влезла: только ноги видать, одни сапоги — человек лежит. А деверь был, его-то, значит, брат, на одном дворе жили. Она побежала туда и говорит:

— Иван, Яков домой пришел!

— Да ты что?! Война *не* кончилась (...) Что он на крыльях прилетел? Кто его отпустит? Ты, — говорит, — че это?

— Да нет, Иван, он на сарае лежит, в сене весь зарытый, только ноги видать в кожанных сапогах! — Он *тажно** пошел с ней.

Пришли — никого нету. Только место, как человек лежал.

Но ладно. Пошла домой, молока процедила. Стала ужин для детей готовить. Сели поужинали, легли спать. В кладовке спали. И он, значит, к двенадцати часам является. Является, ложится с ней.

Ночь, две — с неделю так все ходил к ней.

Потом она шарит вот эдак, пальцам по голове у него водит да и говорит: „Ой, Яша, у тебя голова-то вся в шишках!“ — Но змей! Волниста же голова-то, не как у человека. — „Ты, — говорит, — что, Паша, вот как меня взяли на войну, раз всего только в бане и вымылись. Опаршивели мы там, — говорит, — все, все солдаты... “» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 96–98, № 139).

Давайте прервем интересный рассказ и попробуем немного разобраться.

Когда-то существовали очень жесткие «правила» к оплакиванию умерших или отсутствующих, находящихся на «чужой» стороне. Жесткость этих «правил» была продиктована ныне почти полностью забытым знанием о свойствах ритуального плача, об особых функциях женщины в древних обрядах перехода и о страшной силе даже не произнесенного вслух слова. Почти во всех рассказах о посещениях огненного змея его появление связывается с непомерной тоской, постоянным оплакиванием, с неотвязными думами об отсутствующем: «Она затужила, стала все плакать о нем...»; «...очень горевала, дни и ночи думала о нем»; «стала она плакать и тосковать...»; «...а я и давай тосковать: места себе не нахожу. Так вот и хожу, как оголтелая...» и т. д. В приведенной быличке об этом вообще уди-

вительно сказано: «И она все плакала, все плакала... Душа земли была — исхудала!».[2]

Итак, сильная тоска по отсутствующему мужу привлекает к женщине огненного змея. Интересно, что это отсутствие носит очень определенный характер: чаще всего указывается, что муж умер, реже — что он забран в солдаты, т. е. поставлен в условия лиминального состояния и, значит, максимально приближен к смерти. Причем, как правило, указывается, что пребывает он в таком состоянии уже длительное время. Почти нет историй, в которых муж-лиминал, замещаемый змеем, благополучно возвращался бы к жене, и жизнь входила бы в свое прежнее русло. Обычно либо муж, которого замещают, гибнет: «После узнали, что муж этой женщины умер вскоре после поступления в службу и во время ночных посещений был уже мертвецом» (Торэн 1996: 216, Саратов.), либо умирает сама женщина, оказавшаяся во власти змея.[3]

Когда летун принимается за посещения в облике и поведении вернувшегося «мужа», можно отметить ряд странностей, которые настораживают и, если разум не замутнен окончательно, порождают в душе женщины сомнения — тот ли перед ней, за кого себя выдает?..

---

[2]Как всякое сильное чувство, постоянное пребывание в тоске по отсутствующему, словно магнит, притягивает представителей «иного» мира, действует на них как вызов. Кроме того, с какой стороны ни глянуть (что по христианским, что по дохристианским представлениям), чрезмерное оплакивание и неизбывная тоска представляются нарушением нормы и опасны как для тоскующего, так и для оплакиваемого. Поскольку души, особенно души мертвых, этот «зов» чуют, но ответить на него не в их власти, разве что привидятся во сне с просьбой не мучить, в дорогом для тоскующего облике однозначно появляется нечистый. И тем скорее он является, что тоскующий для него — легкая добыча. Поэтому былички о летучем змее обычно играют роль предупреждения: сильно не тоскуй, «не приваживай» кого не следует — не стоит будить лихо, пока оно тихо. Например, в одном из рассказов священник, к которому обратилась за помощью несчастная женщина, не только дает охранительную молитву, но и берет с нее слово не тосковать.

В большинстве быличек огненный змей летает к тоскующим по мужу женщинам, но это вовсе не означает того, что следует исключить другие варианты: «Крестьяне... верят, что огненный змей летает по свету, рассыпается в полночь на крыше дома, где покойник, является плачущим... превращается в оплакиваемое лицо» (Демич 1912: 42–43, Саратов.). Огненный змей может принять облик умершей матери (Симб.), сынишки-грудничка (Тюм.), любимой жены (Саратов.). Примером может служить такой рассказ: «И вот змей тоже летел в деревню-то к нам ⟨...⟩ И все говорили, что он к Лидке. Когда мать-то умерла, она плакала по ей. И все говорили · к ей. Потом-то он женщиной делатся ведь! Да-а! К ей когда — женщиной! Вот и разговариват, как она разговаривала, Елена-от Федоровна. Людка-то потом рассказывала ⟨...⟩ Летал. Несколько раз видали, люди...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 98, № 140).

Однако змей, посещающий жен в обличье мужа, — классика.

[3]Связь со змеем в конце концов приводит так или иначе к смерти женщины. Объяснение этому наши предки видели в демонической природе огненного змея. Еще в XVIII в. в «Абевеге русских суеверий» Д. Чулков писал: «Дьяволы летают и иссушают женщин...» (цит. по: Власова 1995: 155). Считалось, что змей не просто мучает свою жертву, но забирает у нее жизненную силу (высасывает из ее грудей молоко или кровь, и даже пожирает плоть), отчего и сближается в народном представлении с вампиром.

Во-первых, является долгожданный в большинстве случаев только ночью. И видит его только та, к которой он летает, а для всех остальных он остается невидимым или представляется в виде обычных предметов: «Выходит раз свекровь с огнем и видит, что та обнимает столб (а бабе кажется, что она обнимается с мужем). Спрашивает ее, что делает, молодуха хитрит, сказывает, что голова закружилась и оперлася на столб. Раз ночью, часов в одиннадцать, слезает с печки и начинает ставить у печки самовар. Старуха ей не дает, та идет на *мост** и хочет ставить самовар там.

— Да что ты, матушка, разве не видишь, Ваня пришел (это ее умерший муж), — говорит она свекрови...» (фрагмент былички из: Смирнов 1927; цит. по: ОПСП, 467–468, № 87, Пересл.-Залес.).

Во-вторых, ест и пьет разлюбезный, угощается, а уйдет — на столе ничего не тронуто: «Как-то ночью является он к ней; та обрадовалась, угощает его водкой и закуской (...) К утру муж ушел и солдатка к удивлению увидела, что все, чем она его угощала, осталось цело, между тем сама видела, как он ел и пил» (Торэн 1996: 216, Саратов.).

В-третьих, ночной посетитель старается максимально точно воспроизвести того, кого замещает: «Гляжу, а старик покойник стоит передо мной: шляпа черная, высокая, что носил всегда по праздникам, сапоги новые, армяк длинный и кушаком подпоясан. С той поры и начал ходить» (Максимов 1994: 184, Орлов.); а у другой бабы, видно, для пущего правдоподобия, «вошел, как был при жизни — с ружьем, и зайца в руках принес» (из сб.: Сказки и предания Самарского края 1884; цит. по: ОПСП, 466, № 86, Симб.). Однако, если учесть, что дело все происходит ночью, сам собой напрашивается вывод — возможности основательно рассмотреть вернувшегося «мужа» баба, как правило, не имеет. А потом «идентификация» происходит все больше на ощупь, совсем как в рассказываемой нами истории: «...она шарит вот эдак, пальцам по голове у него водит да и говорит: „Ой, Яша, у тебя голова-то вся в шишках!..“» А то еще оказывается, что «обнимать себя он («муж». — *А. Н.*) разрешает немного, спины-то у него совсем нет, есть только грудь, а там идет яма...» (Торэн 1996: 216, Тюм.).

В-четвертых, не может не настораживать сам способ появления ночного гостя. Как правило, в дом долгожданного никто не запускает, но он оказывается внутри, даже когда двери заложены и засовы задвинуты. При этом появлению нередко предшествует яркая вспышка снаружи: «Вот ночью сижу у окна и тоскую. Вдруг, как осветит: подумала я пожар — вышла на двор...» (Максимов 1994: 184, Орлов.) или: «...спать-то легли на печку. Потом он как до дому-то долетел, как рассыплется — искры прямо по всей избе, так и осветило! Ой, говорит, мы думам: „Изба вся рассыпалась по бревну!“»[4]

[4]В самом деле, не зря же летучего змея именуют «огненным» или «рассыпучим». Если в доме перед объектом обольщения он предстает в человечьем обличье, то передвигаться предпочитает в

(Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 96–98, №139).

Но и это еще не все. Разве не кажется странным то, что матрос, которого, скажем, взяли служить в Кронштадт, каждую ночь навещает жену в д. Смоленцево Кировской обл.? И объясняет это тем, что есть-де у него такая машина — «... с ней я могу, что хочу сделать и получить, так вот я и делаю, что днем в Кронштадте, а вечером у тебя» (Торэн 1996: 217, Тюм.). И даже если предположить, что он стал дезертиром, все равно не понять ни того, как ему удалось попасть в родные края, ни того, где он отсиживается днем, ни того, почему он скрывает это от всех близких, кроме жены... В общем, поневоле разразишься вопросами, совсем как деверь из нашей истории: «Да ты что?! Война не кончилась (...) Что он на крыльях прилетел? Кто его отпустит? Ты, — говорит, — че это?..».

В-пятых, опять же странно, что, возвратившись в родной дом, мужик видится и разговаривает только с женой и требует от нее полной конспирации: «... поздоровается, но говорит шепотом и не велит никому о себе сказывать» (Саратов.); «... куда (жена. — *А. Н.*) не пойдет, особенно к вечеру, прикочнется ли в клетку или выйдет во двор, а ее уже ждет муж и все научает: „Не говори нашим, молчи"» (Пересл.-Залес.); «...он же наказыват: „Не говори, дескать, нельзя говорить-то"» (Сиб.)... И попробуй, баба, нарушь наказ — узнаешь тогда, почем фунт лиха: «Стала она сомневаться, муж ли это, и посоветовалась с набожной старушкой. Та дала ей святых мощей и велела окропить дом святой водой. Приходит ночь, начинается скрип и стук: „Пусти, это я пришел". Солдатка отвечает: „Войди", стук продолжается, но никто не входит. Наконец раздался раздраженный голос: „Зачем ты сказала старой чертовке, что я хожу к тебе: первым с вами сделаюсь". Тут стали представляться ей невозможные ужасы: то дом трещит, как будто разрушается, то огненный клуб повиснет. Все это продолжалось до петухов, сряду три ночи; наконец прекратилось...» (там же: 216, Саратов.).[5] А вот другой солдатке не повезло: «Стали вдруг замечать,

облике огненно-змеином, о чем и свидетельствуют многочисленные отзывы впечатленных очевидцев: «Признавалась моя мама, что она того змея видела. Над горой Камешек летал. Темнялось уже... Всё извивом, извивом, рот в середине и искры от него. Рассыпался над одним домом в искры, в трубу ушел...» (Еремеев 1990: 277–278); «...мы все как напугались, присели. Искры-то как летят у него из роту! А он, как коромысло, — говорит, — летит, выгибается. Вот так все летит. А потом где-то пропал» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 98, №140). Некоторые даже дают подробное описание: «У огненного змея голова шаром, спина корытом и длинный-предлинный хвост — иногда до пяти сажен. Прилетая... он рассыпается искрами, которые вылетают как бы из решета, а летает он так низко, что бывает виден от земли не свыше сажени...» (Максимов 1994: 185).

[5]Змей, судя по всему, вообще легко раздражается и выходит из себя. Вот, к примеру, такая история: «...стали соседи поговаривать, что де огненный-то к вам в дом ходит, наверно это Ким. Стали следить родственники, да и слышат — разговаривает молодуха с кем-то ночью. Они ее спрашивают: „Что? К тебе Ким ходит?". „Нет, — говорит, — никто не ходит". Они не поверили ей, а на следующую ночь взяли и положили ее к себе спать. Настала ночь. Вдруг шум, проснулись все, а перед кроватью-то какой-то черный столб стоит. Молодуха же видит Кима. Ким-то все ее толкает,

что она разговаривает по ночам. Спрашивают: „Что? К тебе Коля ходит?" А она не говорит, так как приказал он ей ничего не говорить. Сам же он объясняет, что может только по ночам ходить. Часто было слышно ночью, как она хохочет. То было с ней целых три года. В конце концов стала она немного рассказывать своим родным про Колю. Что он ходит... Через несколько дней после этого он ее удавил» (Там же: 216, Тюм.).

Когда в душу закрадываются сомнения в том, что ходит настоящий муж, а не кто-нибудь другой, с проверкой лучше не тянуть. Как писал один известный исследователь: «Совестливая и стыдливая баба спохватится и обратится к колдуньям за советом...» Оставим совесть в покое, она тут ни при чем, ведь несчастная баба попадает в то самое положение, когда «сам обманываться рад»... С колдуньями или с кем-нибудь другим, а посоветоваться, в самом деле, вовсе не лишне. Некоторые умницы пытаются сами проверять свои догадки, но только стоит помнить, что те, к кому летает огненный змей, как правило, не в состоянии воспринимать происходящее адекватно, поскольку полностью находятся во власти летуна.

«Раз над одной избой, где вдова жила да об муже горевала, змей рассыпался. Вошел, как был при жизни... Та обрадовалась. Стали они жить; только все она сомневается, муж ли это; заставляла его креститься. Он креститься крестится, да так скоро, что не уследишь. Святцы давала читать — читает; только вместо „Богородица" читает „Чудородица", а вместо „Иисус Христос" — „Сус Христос". Догадалась она, что не ладно, пошла к попу. Поп молитву ей дал и пропал змей, не стал больше летать» (быличка из сб.: Сказки и предания Самарского края 1884; цит. по: ОПСП, 466, № 86, Симб.).

Чтобы наверняка узнать, пропадавший ли муж «оригинальничает» или и в самом деле змей летает, знающие люди советуют обратить свое внимание на ножки гостя, к примеру, «...уронить со стола [пока гость угощается] какую-нибудь вещь и затем, поднимая ее, наклониться и поглядеть: не копытами ли ноги, не видать ли между ними кончика конского хвоста...» (Максимов 1994: 185). Если проверка дала положительный результат, значит, самое время принимать активные меры.

чтобы она встала, она хочет встать, родственники не пускают, а Ким все дергает. Она так и рвется, но все же удержали ее. Ушел тогда Ким, рассердился, разбросал все по полу, пошел во двор, разогнал скотину, настегал лошадь. Корова, лошадь, куры, бараны бегают как очумевшие, озверели все, кричат. Домашние все встали...» (Торэн 1996: 217, Тюм.). Со злости, что все сорвалось, летун может попытаться выместить свои чувства на чем угодно, устраивая настоящий разгром: «А потом дрова были, цела сажень плахам, он эти дрова все (...) перетаскал и двери завалил! Все сени завалил, чтобы отворить нельзя было. Все! Все дрова перетаскал. Они утром-то встали — сени не отворяются...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 96–98, № 139). Подобные случаи выпускания змеем «пара» в быличках вовсе не редкость. Ведь даже попрекать женщину связью со змеем считалось делом опасным: не ровен час узнает змей и в гневе может спалить дом (Зеленин 1991: 417).

Главное, чтобы нечистый во время проверки не заподозрил, что его раскрыли — очень опасный это момент.

Одним из весьма эффективных дедовских (точнее бабушкиных, конечно) способов считался такой: та, к кому змей летает, как приблизится урочный час, должна была усесться либо на пороге, либо у печи, очертиться кругом, и расчесывая волосы, заправлять понемножку в рот конопляное семя... Появившись, змей непременно должен был заинтересоваться и спросить: «Что ешь?» На что спокойно следовало отвечать: «Вшей...» Змею это, будто бы, настолько не по нутру, что он «попихнет в бок или больно ударит, но с того случая больше летать не станет» (там же: 185).[6]

Родным и близким оставшихся без мужа молодок стоило держать ухо востро и приглядывать: соседи могут подсказать о начавшем летать любостае, и по самой бабе бывает заметно — худеет, бледнеет, по ночам не весть с кем шепчется... Тут важно вовремя понять, что дело неладно, потому что со змеем шутки плохи. Женщины, которых посещает летун, начинают чахнуть, сохнуть (про таких говорят: «полунощник напущен»), и либо помирают (змей их задавит), либо кончают с собой (извел-таки, окаянный, замучил). Все случаи женских самоубийств однозначно приписываются огненному змею (Максимов 1994: 185).

О том, что родные и близкие могут действительно помочь женщине справиться с летуном, свидетельствует следующая история. «У молодой бабы умер муж. Вся деревня начинает замечать, что к ней по ночам стал летать огненный змей, рассыпается над трубой ее избы овчиной и пропадает. С бабой сделалось неладное: худеет, бледнеет, по ночам все с кем-то разговаривает. Домашние, семья была большая, начали догадываться и приставать к ней с расспросами. Та в конце концов рассказала, что по ночам у ней является умерший муж, приносит гостинцы на лежанку. Глядят — а это овчиный и лошадиный помет, а баба эти гостинцы ела вместе с ним, когда приходил к ней ночью.

Семейные взялись за дело отвадить беса, принимавшего вид умершего мужа, и прежде всего стали класть на ночь бабу в другое место с двумя бабами по бокам. В то же время наняли вековушку читать псалтирь. В полночь трои сутки подряд

[6] Не менее колоритный аналог описанного способа отваживания змея практиковался на Карпатах. В основу его был положен широко распространенный в славянской традиции магический прием «забивания» невозможного еще более невозможным (по принципу: если чудо на чудо налезет, которое верх возьмет?). Оформлялось оно так. Женщина наряжала сына и дочку в свадебные одежды (вариант: сама одевалась в свадебный наряд) и устраивала праздничный стол. А на вопрос заинтригованного происходящим летуна о том, что происходит, отвечала: «Брат сестру берет». — «Но разве может быть такое, чтобы брат сестру брал?» — «А разве может быть такое, чтобы мертвый к живой ходил?» После такого каверзного вопроса посрамленный огненный змей должен был исчезнуть (СД, II, 333). И предпринимаемое действие, и сам ритуальный диалог — это яркое свидетельство большой древности славянских представлений об огненном змее: имитация инцеста, однозначное (жесткое) соотнесение природы огненного змея к миру мертвых, культу предков и т. д.

в трубе вой, стук, по избе ветер — это влетел бес к бабе. В доме никто не спал, все ждали его. Старик свекор кричал бесу:

— Я тебя, поганый, *гашником** задушу!

Его сын бранил беса матерными словами. Бес видит, что баба не одна, никто не спит, все окна двери зааминены, с шумом улетел в трубу. Гостинцы перестали являться, а после третьей ночи не показывался и сам. Так его и отвадили. Не удалось сгубить бабу» (быличка из: Смирнов 1927; цит. по: ОПСП, 466-467, №87, Пересл.-Залес.).

Как только появились первые тревожные симптомы того, что залетал к бабе огненный полюбовник (соседи видели, как над крышей рассыпался, или по бабе заметно: темнит, по ночам не спит, хохочет с кем-то, а сама худеет и тает), так, значит, и настала пора крепить оборону.[7]

Средств от летающего огненного змея известно немало (слава Богу, есть из чего выбрать).

Перво-наперво, надо убедить бедную женщину сознаться и рассказать о змее. В принципе, чем больше людей будет знать о летуне, тем лучше — власть змея над его жертвой длится до тех пор, пока женщина не расскажет об этом людям. Это распространенное представление служит доходчивым объяснением того, почему змей так требователен к соблюдению тайны.

Следующий шаг — не оставлять женщину одну, особенно в ночное время. Были случаи, когда жертву змея укладывали рядом с детьми, но такие попытки не всегда оказывались в достаточной мере действенными: «Перестали класть бабу одну, подкладывают ей ребенка. Ребенка она откидывает, не принимает...» (Пересл.-Залес.). Находящиеся рядом должны быть в состоянии активно помочь и даже при необходимости суметь применить силу. Помните, как нелегко пришлось домашним в одном из уже приводившихся нами рассказов: «...положили ее к себе спать. Настала ночь. Вдруг шум, проснулись все, а перед кроватью-то какой-то черный столб стоит Молодуха же видит Кима. Ким-то все ее толкает, чтобы она встала, она хочет встать, родственники не пускают, а Ким все дергает. Она так и рвется, но все же удержали ее. Ушел тогда...» (Торэн 1996: 217, Тюм.).

И Паша, героиня не до конца рассказанной нами сибирской былички, спаслась как раз тем, что смогла переступить запрет и рассказала о летуне, а также благодаря помощи родных: «Потом уж легла в середке к ребятишкам. Он ее стаскиват оттуль,

[7] Стоит отметить, что в общеславянских представлениях о летучем (огненном) змее можно наблюдать немалые расхождения. Отношение к нему варьируется от явно негативного (у восточных славян) до безусловно положительного (у македонцев, восточных сербов), с чем и связывается, например, полное отсутствие, в частности у македонцев, каких бы то ни было защитных мер и оберегов для женщин от летающего змея. Дело в том, что такая связь не считалась там греховной, и даже наоборот (СД, II, 331).

с койки-то. И вот она поняла, что дело неладно. А он с неделю уже ходил. Потом она позвала невестку, братову-то жену:

— *Айдате**, — говорит, — Лизавета Максимовна, ко мне спать. Вот какое дело. Ко мне, — говорит, — летат змей, и я никому не говорила. — А он *заказывал**: „Ты никому не говори! Я крадучи ухожу, не надо говорить!“ — Ага! Она до той поры и не говорила.

Вот они и пришли, спать-то легли на печку. Потом он как до дому-то долетел, как рассыплется — искры прямо по всей избе, так и осветило! Ой, говорит, мы думам: „Изба вся рассыпалась по бревну!“ А потом захохотал как да и говорит:

— Ладно, что догадалась! А то бы тебя сегодня не было! Ты бы задавлена была!» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 96–98, № 139).

• В другой упомянутой нами истории почувствовавшая неладное солдатка, если помните, отправилась к набожной старушке, которая дала ей святые мощи и посоветовала покропить в доме святой водой. Змей тогда просился, но попасть в дом (даже получив от женщины разрешение) не смог. Следовательно, следующим этапом защиты от проникшей в дом нечисти должны стать применяемые в подобных случаях обычные христианские средства, призванные закрыть для змея доступ в «свое» пространство и усилить его защиту: кропление святой водой, окуривание ладаном, отчитывание (по требнику Петра Могилы), внесение в дом святых мощей, отслуживание молебна, проставление крестов мелом или дегтем и т. д. Самой бабе, к которой летает змей, хорошо взять у священника охранительную молитву, кроме того, хорошей защитой всегда была Воскресная молитва, которую можно носить при себе как ладанку: «пишут на бумажках 40 раз псалом „Да воскреснет Бог“, и велят надеть на крест и носить, не снимая» (Максимов 1994: 185).

• Из бытовых средств (из тех, что всегда имеются под рукой), от огненного змея обычно рекомендуют:

— *дресвяный** камешек (его раскладывают по избе);

— крещенский снег;

— крест набросить;

— недоуздок, который надо накинуть на летуна;

— уже упоминавшийся ранее гашник — отстегать им голубчика, чтоб не повадно было...

Говорят также, что хорошо помогает мордвинник или чертополох, который либо раскладывается повсюду, либо втыкается в порог и во все щели со словами заговора:

Как во граде Лукорье
Летел змей по поморью,
Града царица им прельщалася,
От тоски по царе убивалася,
С ним, со змеем, сопрягалася,

Белизна ее умалялася,
Сердце тосковалося,
Одному утешению предавалася —
Как змей прилетит,
Так ее и обольстит.
Тебя, змей, не боюся,
Господу Богу поклонюся,
Преподобной Марии Египетской уподоблюся,
Во узилища заключуся.
Как мертвому из земли не вставать,
Так и тебе ко мне не летать,
Утробы моей не распаляти,
А сердцу моему не тосковати.
Заговором я заговариваюсь,
Железным замком запираюся,
Каменным тыном огораживаюсь,
Водой ключевой прохлаждаюся,
Пеленой Божией Матери покрываюся.
Аминь

(Барсов 1874б: 78).

• Невозможно не упомянуть здесь еще одно, очень радикальное средство, которое применялось непосредственно к женщине, измученной змеем: от наваждений бедняжку «могут спасти сильные, до крови, побои». Оговоримся сразу, использование сего средства — узколокальная традиция, бытовавшая во Владимирской губ. (Русский демонологический словарь 1995: 456).



Рис. 35. Змей, летавший к царице.

• Родным стоит приглядывать, чтобы баба не «вздумала» ночью сходить попариться. В рассказах про огненного змея бывает заметно его стремление заманить объект страсти в баню, откуда ему, по-видимому, проще «увести» попавшуюся живую душу в свой мир: «А он ишо потом заставлял ее баню топить, в бане бы ее задавил.

— Ты истопи-ка, Паша, баню про меня, я вымоюсь.

— Ой, да ты что, — говорит, — Яша, баню-то топить. Я же вон как поздно из поля хожу. Да приду — дома сколько дела! Когда же мне топить?

— Дак вот, когда придешь из поля-то, дома все переделашь, вот и затопи...» (Мифологические рассказы и легенды населения Сибири 1987: 96–98, №139). Заметим при этом, что баня, по некоторым свидетельствам, упоминается как наиболее подходящее место для оказания помощи (для «выправления») жертвам огненного (Торэн 1996: 216–217, Тюм.).

• Ну и, чтобы закрыть тему средств защиты от летуна, позволим несколько слов по поводу превентивных мер. Дело в том, что из всего сказанного может сложиться неверное представление, будто жертвами огненного змея становятся исключительно женщины замужние, все больше вдовы да солдатки. Это верно лишь отчасти, так как повсеместно основной причиной домогательств змея, как уже было сказано, становится чрезмерное проявление скорби и тоски по умершему или долго отсутствующему (мужу). Гораздо меньше и лишь в отдельно взятых традициях бытуют представления, что интересы змея распространяются еще и на девушек, вошедших в брачный возраст. Считается, что интерес к девице возникает у змея лишь в том случае, если она потеряла девственность, а еще, если девушкой на дороге была поднята без благословения вещь — бусы, платок, перстень, крест с загнутыми концами — «приманка», на которую змей заманивает жертву. Причем поднятая вещица может оказаться настоящим сюрпризом (змей — оборотень и легко принимает любой облик, так отчего бы ему не лечь у ваших ног пестрым платком?) (СД, II, 333, в.-укр.).[8]

Встречаются среди летунов и такие упорные, которые, несмотря ни на что, никак не желают оставить свою жертву в покое. ...История поначалу развивалась тривиально: молодой муж был взят в солдаты, жена заскучала и, по прошествии какого-то времени, начал «муж» к ней по ночам ходить. Баба обрадовалась, и никому, как водится, ни гу-гу — «муж» не велел. Соседи-доброхоты стали примечать и домашним поговаривать, что летает к вам огненный-то, смотрите, мол. Родные за молодку взялись, а она молчит, ничего не рассказывает. Приметили, что по ночам-то у нее разговоры идут, а с кем беседует — не видно. Стали тогда ее с собой укладывать. Раз в ночь весь дом переполошился, все вверх дном было — так змей за бабу воевал. Еле удержали. Принялись ее лечить, к знахарке водили, и ничего вроде — перестал змей летать.

«...Прошло несколько времени. Раз пошли днем рожь жать. Все уже разошлись, одна молодуха застряла в доме, да потом и стала всех догонять. Идет по полю, а

[8] Если опять обратиться к верованиям южных славян, то в отличие от восточных у них летающий змей пристает к девушкам намного чаще. Обычно он получает к ним доступ в результате неправильного ритуального поведения или самой девушки (нарушила запрет умываться водой, остававшейся открытой во время грозы, не участвовала в социализирующих весенних обрядах), или ее матери (клала свою девочку в младенчестве на место, где режут хлеб, где моют посуду и т. д.). Также легко змею взять девушку, если она была зачата или родилась с ним в один день. Южные славяне называют девушку, к которой летает змей «жива умряла», и смерть ее однозначно воспринимается как вступление со змеем в брак («змейова сватба») (СД, II, 331).

навстречу ей Ким. Обрадовалась она, спрашивает: „Когда приехал?“ Он ей и говорит: „Да вот сегодня только приехал, сейчас схожу здесь по делу, а ты иди согрей баню, я приду вымоюсь“. Пошла она домой, да и ну топить баню, а деверь ей и говорит: „Да что ты выдумала баню топить, надо работать, а ты здесь болтаешься“. Она и рассказывает, что приехал Ким. Тот не верит: „Опять, говорит, бес к тебе приходил“. „Нет, правда, вот он скоро придет“. Стали ждать, нет никого, так и не пришел никто.

Прошло еще немного времени, пошла она корову доить, а к ней опять Ким. Видят в доме, что ее долго нет, пошли смотреть, а она лежит без памяти. Насилу в чувство привели. Осталась без рук, без ног. Свезли ее в больницу. Поправить, однако, никак не могли; взяли ее домой. Позвали мельника, стал он ее пареной травой лечить, одну она пьет, другая в печи лежит, так и поправилась. Но через некоторое время опять огненный летать стал.

Рядом жила старуха, она и говорит: „Позовите меня, когда она будет дома“. Избавлялись от огненного так же, как и от беса, т. е. вообще от злого духа. Пришла старуха, принесла с собой „христосскую свечку“, т. е. свечку, которая зажигается лишь раз в год и то пока крестный ход обходит во время заутрени церковь. Эта свечка горела так три раза. Зажгла старуха свечку, поднесла к носу молодухи, затем вокруг головы три раза, молодуха вся почернела, губы посинели, как неживая сделалась. Потом от пота стала вся мокрая. После этого старуха смазала ей всю голову и лицо ветчиной. Домашние тоже стали после этого так делать. А бес-то ветчинного сала не может терпеть. Потому и перестал ходить к ней. Она была староверка. С тех пор больше огненный не летал. Через несколько месяцев приехал Ким, уже настоящий, с военной службы. Теперь они живут благополучно в д. Смоленцево и у них взрослые дети» (Торэн 1996: 217–218, Тюм.).

Кстати, о детях. Поскольку змей летает, прямо скажем, не для разговоров, а пребывает со своей жертвой в «плотском сожитии», то от сей связи случаются дети.[9]

[9]Такая беременность будто бы тянется бесконечно долго, бывает до трех лет, а заканчивается, как правило, ничем: либо в животе у женщины оказывается песок, либо она рождает головешку и т. п. В сущности, подобный исход вполне оправдан, поскольку существуют представления о бесплодности нечистой силы (СД, II, 333, рус.). Все это — повод задуматься о происхождении огненного змея. Быть может, не лишенной основания и даже некоторого шарма следует признать следующую версию: «Змій робитьця з простоі гадини, тілько йій треба де-нибудь пробути, щоб вона сім год не чула ні дзвона, ні чоловічого голосу. Тоді у неі почнуть рости крила и будуть рости ще сім год... тоді вже й летить людям на вред» (Демич 1912: 42–43, Тавр.). Это опять же не идет в разрез со сказанным и лишь подтверждает общеславянские представления о том, что любое существо, изжившее естественный срок жизни, безусловно, принадлежит «иному» миру.

По почти противоположным всему сказанному представлениям южных славян: от летающего змея у обычной женщины рождаются исключительно юнаки, т. е. настоящие герои, обладающие необыкновенными, но несомненно положительными способностями: огромной силой, способностью летать, знанием и умением, позволяющими им сражаться с демонами, отвращать градовые тучи и

Все они, как правило, нежизнеспособны и, явившись в этот мир, немедля исчезают — «как родился, так и ушел под пол» (Максимов 1994: 185). Повитухи, которым случалось принимать змеиное отродье, говорят, что от летуна все больше рождаются уроды или демоны: то «черненький, легонький, с коротеньким хвостиком и маленькими рожками» (рус.), то «студенистый и холодный» (з.-укр.)... «В селе Никольском у бабы от змея сын родился, черный, с копытами и глаза без век, на выкате. Мужики думали, думали, да и убили его, а после в землю зарыли» (быличка из сб.: Сказки и предания Самарского края 1884; цит. по: ОПСП, 466, №86, Симб.).

Да, не забыть бы! Летун — настоящий кавалер и дамский угодник. Он не может явиться к даме без подношения. Правда, подарочки его при свете дня превращаются, как правило, в ничто, а то и в нечто: «А он придет и узел гостинцев ей отдает. А ей некогда глядеть. Она этот узел возьмет и в ящичек, в сундук, клала. Ладно (...) А потом посмотрела, что же за гостинец, не золото ли? Стали развертывать — лошадино г... Накладено в узлах лошадиного г... Вот и гостинец!» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 96–98, №139). Или вот еще: «Он приносит лакомства и деньги, но поутру первые превращаются в камни, а последние — в черепки...» (Демич 1912: 42–43, Саратов.). Почему? Понятно, правда?.. Совсем как с «гостинчиками» лешего, которые в мире «живых» приобретают совсем иной вид...

Для вящей полноты к портрету огненного, пожалуй, следует добавить еще пару «мазков».

Так, рассказывают, будто ему (как, впрочем, большинству представителей иного мира) не свойственно нарушать данное слово. Вот «змей повадился летать к одной бабе. Прилетит к ее избе, рассыплется искрами около двора, снимет с себя крылья, заткнет их под крышу и пойдет в избу с бабой потешаться. Заприметил это цыган, украл у змея крылья и ушел с ними домой. Вышел змей из избы, стал было брать свои крылья из-под крыши, а их и след простыл. Узнал он, что их цыган унес, пошел к нему и стал просить его, чтобы он крылья ему отдал. Цыган отдал черту крылья, но с уговором, чтобы он больше не прилетал в деревню к бабе. Змей сдержал свое слово и больше не летал к бабе» (ОПСП, 255).

Ну а еще, если знаешь, как остановить и отпустить змея, от него можно узнать все, что касается будущего или того, что обычно закрыто для простого смертного: «Когда змей летает, его остановить можно; только — сказать: „Тпру!“ Тут его обо всем спрашивать можно, и он правду скажет; а когда отпускать надо, то следует

т. п. Достаточно сказать, что многие болгарские и сербские исторические лица считались рожденными от летающего змея.

Соответственно, если вернуться к происхождению летающего змея, то, по одной из южнославянских версий, он рождается от связи летающего змея с обычной женщиной: «При рождении... змея мать должна была выйти ночь нагой на крышу дома и крикнуть: „Слушайте люди! У меня родился маленький царь на земле!“» (цит. по: СД, II, 330, 331, макед.).

рубашку от ворота вниз разорвать на себе, а иначе не улетит и будет все говорить: „Отпусти! Отпусти!“ Кто этого не знает, того замает змей» (быличка из сб.: Сказки и предания Самарского края 1884; цит. по: ОПСП, 466, № 86, Симб.).

Когда речь в рассказах заходит о получении от огненного змея знаний или помощи иного рода, он однозначно представляется дьяволом, который, как водится, «работает» исключительно на договорной основе и, по окончании оказания услуг, забирает традиционную для всех нечистых плату — душу своего «работодателя». «Есть такие люди, которые продают душу нечистому. При жизни нечистый дух должен помогать такому человеку и слушаться его... В одной деревне, близ города Весьегонска, жил суровый мужик. Многие часто видели, как к нему в избу, через трубу, влетал Дьявол в виде огненного змея. Для бесед со змеем мужик уходил в другую избу, где и запирался. Всего было много у этого мужика, а все он был почему-то недоволен. Наконец приходит к нему смерть. Мужик созывает свою семью и строго-настрого наказывает, чтобы в ту избу никто не смел входить к нему, когда он закричит. Мужик заперся в другой избе, а домашние ждут. Вдруг как закричит! Все побежали в другую избу, а там хозяин лежит мертвый: глаза выворочены, язык вырван и брошен. После смерти этот колдун не один раз являлся ночью церковному сторожу, пока не догадались вбить в могилу осиновый кол» (Власова 1995: 158, Новг.).[10]

Довольно распространенным можно считать представление о том, будто огненным змеем к колдунам летает нечистая сила — деньги носит. Про внезапно разбогатевших людей даже прямо так и говорили «Им пара деньги носит» (*пара* — тот же летун, несун, огненный змей) (Русский демонологический словарь 1995: 456; 196). В некоторых областях, например в Пошехонье (Ярослав.), огненного называли просто ужом — «Не уж ли тебе деньги таскает?» — и считали, что он носит деньги не только своему хозяину, но и своим сожительницам. Видимо, в отличие от гостинцев «классического» огненного змея, дары пошехонского ужа с рассветом своего «номинала» не меняют...

В этой связи вспоминается занятная история, которая произошла с одним богатым вологодским мужиком. Надо сказать, что всем своим богатством он как раз был обязан огненному змею, или ужу. Привелось этому мужику жениться на писаной красавице. Всем баба хороша, только вот глазки странные: черные, а в зрачках будто искорки играют... Как глазом поведет — мороз по коже. И вот, представьте, надо ж

[10] Кстати, о колдунах. Есть мнение, и в этом видна еще большая деградация и упрощение образа змея, что не только нечистый в этом облике может служить колдуну, но будто бы обычный колдун может обращаться огненным змеем, чтобы завести любовные отношения с женщиной. «Один такой колдун жил с мужней женой, пока муж был в отъезде. Она забеременела и от стыда и страха удавилась. Когда односельчане, ожидая приезда станового, караулили ее тело, колдун огненным змеем прилетал к покойнице: рассыплется искрами, так что овцы по двору замечутся, коровы замычат, а он повоет, поплачет и улетит» (Колчин 1899: 51–52, Тул.).

было такому случиться, полюбилась она нечистому. И давай он к ней летать огненным снопом, ужом, и от этого змея вся семья разбогатела — стали первыми богачами в околотке! А уж им таскает и таскает всякое добро... Только баба вся исхудала, глаза совсем «обвострились». Стал мужик задумываться, понял, что неладное у него в семье творится. Принялся молебны служить по церквам, да в доме, чтобы ужа отвадить. И отвадил: прилетел огненный бес еще раз-другой, повился над домом, а в трубу влететь не смог — все святой водой окропили... (пересказ былички дан по: Русский демонологический словарь 1995: 545).

И все же функция «обогащения» в большей степени характерна не для летающих, а для «подземельных» змеев. Говорят, что у них на богатство чутье, они гнездятся как раз там, где скупые прячут свои сокровища.[11]

На Мат-острове, что в Онежском озере, водится множество змей. Про спрятанный там большой клад, ходило в народе много всяких россказней, ведь «змей без свету не живет: что ему делать в темной норке, как бы там не было золота и драгоценных камней?» (Куликовский 1902: 63).

Возможно, что «свет» или блеск подземных сокровищ обязывает: судя по большинству бытующих представлений, стражей кладов отличает если не огненный, то сияющий, сверкающий, или, на худой конец, просто светлый наряд. Так, в окружении множества змей живет *белая змея* — «всем змеям змея», которая известна как хранительница кладов. Более того, в Архангельской губ. верили, что тот, кто убьет такую змею, получит особый дар — сможет видеть сокрытые в земных недрах клады и сокровища (Власова 1995: 53).[12]

Намного эффектней белой змеи змея *медянка* (или *медяница*), которая не только почитается за одну из самых «лютых» змей (даже пословица про нее сложилась: «счастье человеку, что медянка слепа»),[13] но и заслужила грозную славу ужасного стража подземных сокровищ. По поверьям, вся она блестит и сверкает и вовсе не змеиным блеском — сама она па солнышке как серебряная, а голова у нее золотая...

---

[11]Есть новгородская быличка про богатого старика, который перед смертью спрятал свои накопления в онучи, чтобы никому не достались. Так его и похоронили вместе со спрятанными деньгами. Сыновья его наследство долго искали, но догадались-таки и разрыли в конце концов могилу, да только взять деньги все равно не смогли — ноги старика обвили большие черные змеи... (быличка пересказана по: Русский демонологический словарь 1995: 197–198).

[12]Говорят, что надо не только убить белую змею, но натопить из нее сала и смазать им глаза, вот тогда они и приобретут указанное чудесное свойство. Что касается белого цвета змеи, то здесь он проявляет себя, прежде всего, в основном значении, т. е. характеризует носителя как существо, принадлежащее миру мертвых и более конкретно — миру покойников-предков, а также указывает на его наделенность особыми свойствами.

[13]Про медянку и в самом деле рассказывают, что она слепа. Только это, судя по всему, и спасает род человеческий от ее ярости. Считается, что «прозревает» она только раз в году, как раз в день летнего солнцеворота (на Ивана Купалу) и тогда прямо-таки бросается на человека. Если верить народной молве, убить медянку можно только осиновым прутом, и то жизнь покидает ее только с заходом солнца (см.: Власова 1995: 240–241).

В заговорах от «змеиного жала» ее так и величают «золотой головой»: «я... отговариваю, приговариваю от той от лютой от медяницы, от золотой головы. Ты, змей лютый, золотая голова, выкинь свою жалу от раба Божия...» (цит. по: Власова 1995: 241, Тул.). Упомянутое в заговоре «жало» — в данном случае, всего лишь принятая традиционная формула (раз змея, значит, «жалит»). Дело в том, что про медянку ходят жуткие истории: она не кусает и не жалит человека, она пронзает его, подобно стреле, «пробивает» насквозь... Такой вот у нее способ защиты открывающихся в купальскую ночь кладов от тех незадачливых кладоискателей, которые не озаботились обзавестись одним или двумя заговорами или оберегами от змей и нечистых духов.

Жаркий блеск золота, переливчатое сияние или сверкание драгоценных камней, мягкий свет серебра... Нет ничего удивительного, что в народном представлении у зарытых в землю сокровищ природа фактически однозначно огненная. Ярким огоньком зацветает папоротник — колдовской знак всех покоящихся в земле кладов. Будто свечка горит в заклятом Городище на месте, где спрятаны добытые разбоем несметные богатства. По рассказам крестьян Гродненской губ., на одном из кладбищ, начиная с сумерек и до полуночи, появлялись огненные переливчатые язычки (цвет играл от белого до синего). Утверждали, что там лежит клад — золотые монеты, зарытые там шведами в давнишние времена. Но никто не решался его выкопать — удерживал страх осквернить кладбище (там же: 61).

На Новгородчине считали, что «огонек-свечка» может гореть там, где убитый некрещеным младенец сторожит подземные сокровища (там же).[14]

Кроме змей (белая змея, Великий полоз, медяница) и душ некрещеных младенцев, по представлениям русских, и в частности уральских золотоискателей, хранителем заколдованных кладов могла быть земляная кошка (подземная кошка) — образ, имеющий не столько мистическую, сколько естественную, природную, основу — сернистые огоньки, выходящие из земли на разломах, мерцающие как кошачьи глаза (там же: 152).

В русских народных представлениях, хранители кладов, а иногда и сами клады, могут являться в виде различных животных: змеем, кошкой, свиньей, медведем, филином, собакой, коровой, барашком и даже рогатой лошадью с чугунными копытами. И, чем меньше связь клада с нечистой силой, тем больше в их внешнем виде присутствует «огня», особенно отличаются этой гаммой клады-оборотни: желтый,

[14]Это перекликается, если помните, с уже упоминавшимся, когда речь шла о домовом, польском веровании, что душу некрещеного младенца можно заставить носить в дом богатство. У такого духа-обогатителя, если разобраться, много общего со *змеей-деньгоносицей* (или так называемой *кладовой* змеей), которая, по распространенным народным представлениям, охраняет клады и носит своим хозяевам подземные сокровища (Власова 1995: 164). У части демонических сущностей, входящих в группу детей, умерших некрещеными, проглядывают змеиные черты, как например, у безрукого и безного *игоши* (рус.).



Рис. 36. Змей — подземный владыка.

рыжий, красный (золото), белый (серебро). Клады-оборотни по своей сути, видимо, близки к воплощениям неких природных сокровищ (таких как Великий Полоз, Горный Старец, Хозяйка Горы), имеющих более древнюю основу, чем представление о дьявольском происхождении золота.[15]

Если клад «покладен» знающимися с нечистой силой колдунами, скрягами или душегубцами, к нему для безотлучного оберегания обычно приставляется всякого рода нечисть. Кладовым стражем-*приставником* может быть как сам черт, так и отошедшие «под его руку» неблагополучные покойники (убитые, самоубийцы, погибшие) или проклятые, о чем и говорится в заговорах на отыскание кладов: «... ино место опившиеся люди, ино место — проклятые, а *коли** — и сами князья бесовские» (цит. по: Власова 1995: 178). Цвет их, как и их сущность, разумеется, черный...

Где-то в Самарской губ. рыли раз мужики под дубом клад. И вот с полуночи начали вокруг дуба кружить черные кошки — глаз не отвести. Попадали мужики от головокружения, и кошки пропали. Пришли в себя, только хотели рыть — опять кошки «хороводятся», то вправо пойдут, то влево... В общем, бросили мужики свою затею. Говорили, что на том дубе повесился тот, кто клад зарыл (пересказ былички из сб.: Сказки и предания Самарского края 1884: № 112; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 228).

Даже если такой клад обозначает себя огнем, цветом такой огонь будет тяготеть к синему (бело-голубые язычки на кладбище, в месте, где зарыт шведский клад; синий огонек там, где стражем клада некрещеный младенец и т. д.). Рассказывают, правда, и такую историю. Было дело на самое Светлое Христово Воскресенье. А у одного бедняка нечем даже огня разжечь, чтоб затеплить свечу перед образами. Пошел по соседям, а те не дают — и не жалко, да по обычаю нельзя давать огня на вынос на Пасху-то. Вышел бедняк в поле, глядит — огонек светится... От, думает, может там огня дадут, и пошел. Пришел к дому, заходит, а там печь затоплена и нет никого, только на столе мертвец лежит. Помолился бедняк Богу, и давай мертвеца будить — дай, мол, огоньку. Встал мертвец, зачерпнул ковшом углей, подал мужику да и говорит: «Придешь домой, на стол стряхни». Вернулся бедняк домой

---

[15]Когда духи, хозяева и хранители кладов, являются в человеческом обличье, у них можно наблюдать прямо-таки ослепительный внешний вид (по занятию и униформа): серебряные кафтаны, серебряные башмаки, золотая шапочка (Вят.). Таково, например, описание Великого Полоза, хранителя рудных богатств и горных сокровищ, известного по бажовским Уральским сказам: «... незнакомый, одет странно: кафтан на нем, штаны — все из золотой парчи, поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, парчовый, с зеленью, шапка желтая, а справа и слева по ней красные зазорины, и сапожки тоже красные» (описание из сказки сказителя Хмелина, записано П. Бажовым в 1936 г.; см.: Тайные сказы рабочих Урала 1941: № 19; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 199). Не столь богато, но все же не без огненной символики, выглядит Дед — главный белорусский владетель и хранитель кладов: он ходит по дорогам с сумой в облике бедного нищего, и только рыжим огнем полыхает его борода и огненно-красного цвета его глаза. Встретив несчастного бедняка, Дед, говорят, лезет в свою суму и дает небоге денег...

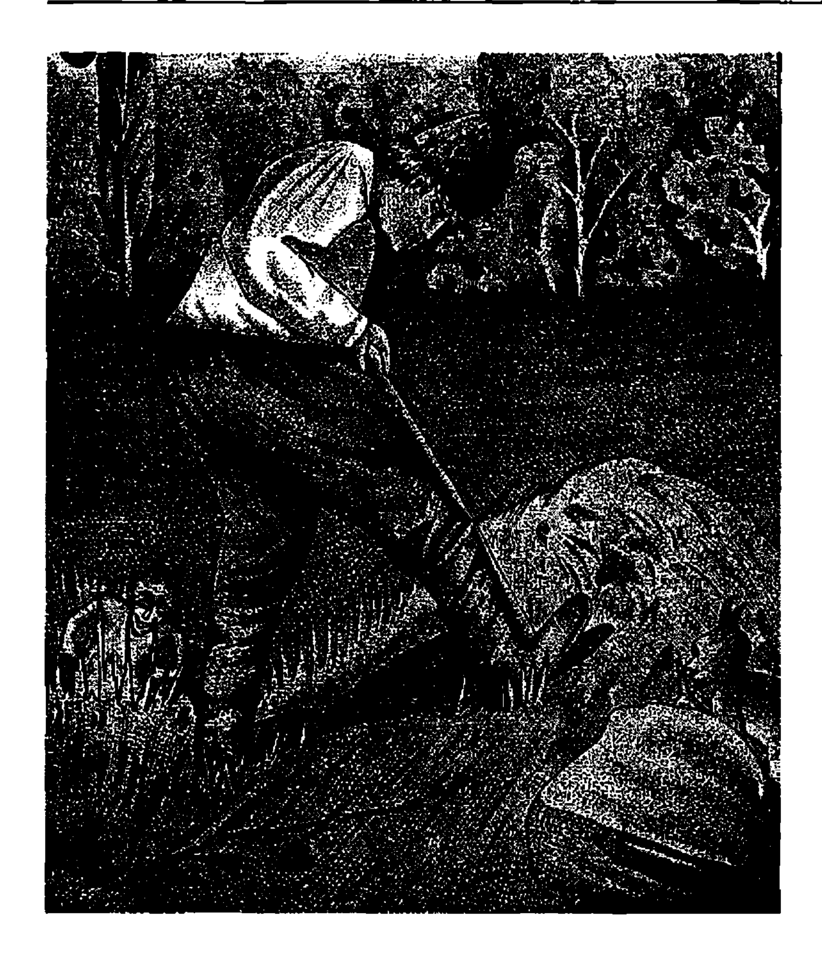


Рис. 37. Нечистая сила клады бережет.

с огоньком, вытряхнул, как было велено, угли на стол и сделался свет-огонь в избе от золота и серебра... (пересказ былички из: Ончуков 1908: № 113; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 379).[16]

[16]То, что события в этой истории происходят на Пасху, разумеется, не случайность. На Светлое Христово Воскресение и на Ивана Купалу — кладам самое время, они будто бы поднимаются и раскрываются «на просушку». Вот и видится людям: то в провале сундук, то в подвале бочка (да на ржавых цепях), то котел огромный висит, полный золота и серебра, а по краям его свечи горят... Правда, стоит подойти поближе, да сотворить молитву — и видения как не бывало. «Раз нас много народу, и мать, и все, пошли на Воловий мох за черникой... Набрали мы черники, токо домой хотели иттить — тоже от, в обед. Глядь, на сосны от такая висит... ну, как бы вам сказать, бочка. Но бочка деревянная. Клад! Никто не мог яго взять! Так он подойдет — она счас «Бух!». И в воду! И опять... Опять вылязла. На следующий день приходим в ягоды — она опять висит на етой ёлки. Но никто не мог взять, никак! Так она и осталась у воды, наверное...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 285, № 296).

Поиск клада — дело, хоть и увлекательное, но очень опасное. Тот, кому кладоискательством промышлять приходилось, может рассказать много интересного. Вот, например, известно ли вам, что клады бывают:

— «живые», т. е. те, что человеку сами являются, только надо уметь взять; часто это те самые клады-оборотни, о которых уже прежде упоминалось, и

— «*некретимые**», это такие, которым самим с места не стронуться, но они людям о себе знаки подают: во сне могут присниться, огоньком или свечечкой в ночи посигналить; такой клад искать и копать надо, да и взять его бывает очень даже не просто. Поэтому рассказов и поверий о некретимых кладах существует гораздо больше, чем о живых.

То, каким быть кладу — живым или некретимым — зависит от того, кто его закладывает.

Были, например, те, кто прятал свое, нажитое, в надежде сохранить и взять его, когда наступят более благоприятные времена. О таких кладах говорится, например, в «Росписях о кладах», относившихся ко временам Литвы, т. е. к периоду польско-литовской интервенции начала XVII в.: «На реке Хворосне есть *погост**, называемый Николой Лапотным, и второй погост — Егорий, от Николы виден. При том погосте Николы есть топи, где люди не ходят. Пониже топи — земляной вал, в концах вала лежит по камню серых, под теми камнями по кубку денег серебряных (...) При том же погосте есть два красных камня, на них выбиты петухи: один на другого глядят, под ними — по кубу денег золотых...» (Криничная 1991: 84–85; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 224). Из приведенного текста становится понятно, что такие клады прятали в местах подходящих: в топях, на кладбищах, в колодцах, на перекрестках... Кто в тех местах обитает (вам, должно быть, уже и так понятно), вот, тот и становился тем кладам хранителем.

Разбойники и грабители, не имея возможности унести с собой награбленное, зарывали клад и для сохранности «приставляли» стража — духа мертвеца. Вот на рубеже XVIII–XIX вв. во Владимирской губ. бесчинствовала шайка колдуна Рощина. Говорят, что немало им было закопано тогда кладов в Муромских лесах, и к каждому из них колдун «приставил» хранителя (оставлял на крышках сундуков отрубленные человеческие головы) и каждый клад заклял (см. об этом: Русский демонологический словарь 1995: 225).[17]

Считается, что только на Пасху и могут получить прощение те разбойники и душегубцы, кто клады закапывал, заклинал и неизбежно сам после смерти становился хранителем и рабом запрятанных им сокровищ: они вынуждены безотлучно пребывать у своих сокровищ и переносить страшные мучения от змеев, птиц и чудищ, терзающих их тела по ночам. Если клад будет найден и часть его будет пожертвована на церковь, прекратятся их страдания. В народе жили предания о разбойниках, ожидающих своих избавителей, однако, встречи с живыми мертвецами не сулят, как известно, ничего хорошего (см. об этом: Русский демонологический словарь 1995: 230).

[17] О кладах, закопанных самим Степаном Разиным, ходят предания и поныне: исчисляемые бочками, сундуками, мерами (10 пудов), лодками и Бог еще знает чем, они будоражат воображе-

Души несчастных хранителей заклятых кладов не могут найти покоя, они являются живым и просят освободить их. «Крестьянину деревни Остров однажды приснилась женщина и говорит: «Освободи ты меня от заклятия, отпусти душу мою на покояние. Вот уже двести лет я томлюсь и мучаюсь. Была я богатая, много было у меня серебра, золота и драгоценных каменьев, да злые люди убили меня, добро мое ограбили и зарыли вместе с телом на острове в болоте. Если бы только убили меня да так и оставили, я бы мученический венец приняла. А душегубы заколдовали и меня и клад» (цит. по: Власова 1995: 178, Волог.). Однако, чтобы добыть заклятый клад и освободить несчастного стража, за дело нужно браться человеку не просто смелому и отважному, но знающему заветные слова и владеющему особыми приемами.

Клады нередко зарывались с заклятьем, чтобы никому, кроме знающего, было не взять. Такое заклятье сродни волшебному ключику: вот он клад, но не исполнишь того, что в заклятье сказано, и взять его не сможешь. А что там, в заклятье, — поди догадайся...

Вот, к примеру, бывали клады, которые зарывались на голову, а то и не на одну. Это, значит, должна кровь пролиться, на сколько голов заклято, столько и надобно человеческих жертв положить. «Такой есь рассказ... Отец у мяня говаривал, тоже от бабушек [слышал] верно. От раньше деньги-то копили. Мужик накопил денег. И надо жа... Старый ён: чтобы никому не достались-та деньги-та... Пошел зарывать ⟨...⟩ А там мужик был в лясу. Порубить что-то-нибудь яму надо в лясу было... Ну, видить, что идёть старик и нясеть кого-то. Ну. Спрятался, чтоб ён яго не видел. Ён их стал зарывать... Мужик понял, главно, что деньги зарываить етот старик. ⟨...⟩ Ну от. Закапываить и приговариваить:

ние и протягиваются, как резиновые, под всем побережьем от Симбирска до Астрахани, под Жигулевскими горами и песчаными разинскими холмами (см.: Максимов 1994: 137). Но кроме таких личностей, как Разин, в народной памяти нашлось место для многочисленных «мелких удальцов» типа упомянутого колдуна Рощина. Кстати, такое сочетание — разбойничий предводитель и вдруг колдун — вовсе не ново. Представления о сверхъестественных силах атаманов разбойников были очень широко распространены, начиная с опять же беспрецедентной в этом отношении фигуры Разина ... и далее по нисходящей. Вот, к примеру, вологодское предание: «Выбрали себе паны притон в одном месте и стали из него наезжать и грабить, всего чаще по праздникам, когда народ расходился по церквам и на базары. Заберут паны что получше, а деревню зажгут. Этим они вывели народ из всякого терпения. И вот, согласились против них три волости и окружили притон так, что разбойникам некуда было деться. Стали они награбленное добро зарывать в землю в большой кадке, и неспроста, а с приговором, чтобы то добро никому не досталось. Атаман ударился о землю, сделался черным вороном и улетел. Товарищей же его всех захватили и „*покоренили*“*» (там же: 136).

Кстати, о «покоренили» (вернее, видимо, «подкоренили»)... Был в старые времена особый вид казни разбойников (воспоминания о нем хранят предания Вологодского края): у большого дерева подрубали с одной стороны корни, рычагами приподнимали и накренивали, а в образовавшуюся пустоту просовывали живого человека; после дерево опускали... Это и называлось «подкоренить». (там же).



Рис. 38. Хранитель клада.

— Хто мои деньги будить брать, сто голов человеческих пусть положит [взамен]! От тогда мои деньги пусть бяреть!

А етот-то мужик, который в лясу-та припрятавшись там, и говорить:

— Сто лапотных голов!

— Нет, сто человеческих!

— Нет, сто лапотных! — кричить яму.

Ну, старик потом согласился: ну и пусть хоть и сто лапотных! Закапываить ети деньги-то. Закопал, ушел.

А мужик тот домой прибёг, сорвал лапти и старыи — мало! Ведь на сто [штук] дялов много надо! И плел ещё. И все етых сто штук собрал и понес туда. Там ящо рубил лаптям головы-то. И еты деньги и вынел ⟨...⟩ И вынел. Так оны не каждому и достаютца зато. Оны под охраной. У нявидимых. А так оны называютца: у няви-

димых. У шишка́х оны уже под охраной!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 287, № 301).

Яркий мотив удачной подмены голов стал еще более эффектным благодаря введению в сказочных вариантах рассказа элемента неожиданного совпадения. Один совсем обедневший мужик прознал про зарытый клад и принялся копать в том месте, но все ничего не находил. Но вот однажды он услышал голос: «Что ты, мужичок, трудишься понапрасну! Клад ты можешь получить, если дашь мне голову». Пошел мужик домой и думает: в доме у него всего и голов-то, что жена, да сын, да он сам. Кого ж тут отдавать? Решил, что отдаст за клад голову сына. «...Обсказал все, вернувшись, своей старухе и напоследок говорит: „Испеки мне рыбничек, я завтра с сыном пойду рыбу удить“. Испекла ему баба пирог с мелкой рыбешкой, и мужик отправился с сыном к тому месту, где был клад. Жаль было мужику сына,



Рис. 39. «Сто голов лапотных».

но ведь и клад надо было достать. Сели они пообедать, достали рыбничек, едят. А в рыбнике рыбки все мелкие, мужик-то ест и только головы им отвертывает, в сторону откидывает. Вдруг знакомый голос: „Довольно мне, мужик, твоих голов, бери клад и иди домой“. Обрадовался мужик, взял клад, в котором было золото, и пошел домой» (Ончуков 1908: №72; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 225–226).

Заклятья, или зароки, налагаемые на клады, могут быть весьма разнообразными, например:

— «не достанься мой клад никому, кроме того, кто сто петухов зарежет»,

— «попадайся клад доброму человеку в пользу, а худому на гибель»,

— «...тому, кто в тридцати трех монастырях побывал»,

— «...тому, кто трех сирот воспитал»,

— «...никому, кроме Ивана, у которого семь братьев Иванов»,

— «...кто матерно не ругается»,

— «...надо спеть 12 песен, но таких, чтобы ни в одной не было сказано ни про друга, ни про недруга, ни про милого, ни про немилого»,

— «тому это добро достанется, кто после моей смерти тотчас же голым пропляшет»,

— «...нужно влезть на эту сосну [под которой клад зарыт] вверх ногами и спуститься точно так же вниз головой» и т. д. (см.: Максимов 1994: 140–141; Русский демонологический словарь 1995: 226).

Известна история, как «старик один в подполье клад зарывал, а сноха и видела. Вот он зарывает и говорит: „Чьи руки зароют, те руки и отроют“. На другой день старик и помер. Сноха стащила его мертвого в подпол и давай его руками клад отрывать, да приговаривать: „Чьими руками зароется, теми и отроется! Чьими руками зароется, теми и отроется!“ Ей клад и достался» (Сказки и предания Самарского края 1884: 361).

Вообще считается, что заклятые клады всего вернее добывать накануне Ивана Купалы. Зная место, запасались заранее всем необходимым: свечами «от покойника», теми, что раздаются присутствующим во время отпевания; курильницей с ладаном; а коли есть, так недурно иметь при себе и одни из кладовых цветков (папоротник, разрыв-траву или плакун), и принимались за ритуал. Место трижды окуривали, вынимали из курильницы уголь, и вздували на земле огонь, от которого зажигали восковую свечу. Держали над ее огоньком ломы и лопаты... Ну а, если был при себе цветок, можно было увидеть все, что находится под землей на глубине трех аршин... (см.: Русский демонологический словарь 1995: 236).[18]

---

[18]Цветок папоротника клады показывает, разрыв-трава все запоры и замки отпирает, а плакун отгоняет нечистую силу... Больше всего рассказов существует о чудесных свойствах папоротника: он и особое знание дает, и места зарытых сокровищ указывает, и делает владельца невидимым. Только счастья папоротник дать не в силах, даже если связывать счастье с богатством. Цветет

А что же хранители кладов? Да ничего... Если возникнет надобность, кладовой страж легко вступает в общение с человеком: гонит, заманивает, ставит условия, пугает, просит, насмешничает...

Так, например, на Городище[19] в Пасху появляется старик весь в белом, в шляпе. Он стоит с зажженной свечой в руках и ждет искателей клада. Рассказывали, что кому-то удалось дойти до свечи и клады ему открылись. Он даже набрал полные карманы, но лишь собрался уходить, как старик ухватил его за руку и не пускает: «Бери, друг, бери больше, тут много!» Еле вырвался мужик, бежит, а за ним гора —

папоротник только в Иванову ночь — зажгется огненно-алая звездочка и горит всего ничего — несколько мгновений. Вот тогда и надо этот цветок рвать, только почти все рассказы о походах за чудесным цветком заканчиваются неудачей. Потому что очень уж рьяно охраняет папоротник нечистая сила, не позволяет взять, а если взял, так не даст удержать. «...Брат у меня есть. Он какой-то такой, с чудинкой. Раз задумал в ночь на Ивана Купалу цветок с папоротника сорвать, чтоб знатким стать. Ладно, научили сведущи люди, как зачертить круг, что говорить. Упредили, что редко какому человеку тот цветок дается, что сердце надо иметь крепкое... Выпало так, что брат на своем поле, тоже на заимке. И не один, с двумя своими ребятишками. А жена-то в деревне домовничала. Настал вечер, уложил братец спать сынишек. Лес рядом с заимкой. В логовине осинник, березняк, там и папоротник растет. Зачертился брат, сидит. А ему преж говорили те сведущи люди: „Не дадут тебе сорвать цветок. Кто, кто... Дед пыхто — увидишь!" Время уж на полночь, вдруг слышит — тройка скачет! Поблазнилось или нет? Думает: „Не поддамся, не пойду на большак смотреть". Мимо проскочила та тройка, и опять тихо. У края леса колодец вырыт, а рядом колода — лошадей, коров поили. Видит: зять сестру к етому колодцу тащит топить — жили плохо, зять бивал сестру, все стращал утопить. Тащит, а она кричит блажно: „Помоги, братка!" „Вот те раз! — думает, — сестры же седни на пашне не было — заимка зятя рядом, видел, что не было". Смекает брат: это нечистый от папоротника отводит! Только выйди из очерченного круга — и не видать того цветка завстнова. Читает брат, говорит какие надо слова, сидит на месте. Слышит, опять лошади заржали — брата лошади, и жеребушка кричит. Глянул наверх, а у дороги волк уже терзает жеребенчишка. „Ладно, — думает, — пусть сожрет, не встану!" До двенадцати часов ночи уже минуты остались считанные, глаз брат не сводит с папоротника — вроде светиться уже он сверху начал... И вот как закричит в заимке старший сынишка: „Тятя, тятя, спасай!". Вспомнил: разами медведь шатался у пашни, повадился и на заимку, в избушке туес меду сожрал. Кричит, ревет парнишка лихоматом... Тут брат обо всем на свете забыл моментом, прибежал на стан. Вот тебе на! Жеребушка живая лежит, дремлет, распахнул дверь избушки — ребятишки как спали, так и спят, посапывают. Наутро зятя о сестре спросил. „Дома, в деревне баба ночевала". Вот так, караулил тот цветок брат, да не укараулил. Зарекся и после других отговаривал...» (Еремеев 1990: 273–275, Сиб.).

[19]Городище упоминается нами уже не первый раз. Это название было печально известно в Орловской губ. и связано оно с ходившими там рассказами о «Веселом верхе» и разбойничьем атамане Кудеяре. Городище — место, где в прежние времена гнездилась большая шайка разбойников. На холме, посреди дремучего леса, они весело проводили время, за что и прозвали свой холм «Веселым верхом». Их бесчинства переполнили чашу терпения, и за пролитые реки крови, дал им Господь наказание: со всем награбленным добром разбойничье логово провалилось сквозь землю, а на его месте возникло глубокое озеро. Говорят, что из всех разбойников в живых был оставлен один Кудеяр. Пребывая до ныне в страшных муках, он ждет, когда найдется человек, который не побоится и придет в Пасху на Городище. Тогда проклятый клад поднимется из глубин и достанется смельчаку, а Кудеяр освободится наконец от своих мук (Иванов 1900: 72–78; см.: ОПСП, 261–269).



Рис. 40. Клад под Купалов день.

вот-вот настигнет и раздавит. Принес он домой золото, семья с тех пор зажила богато, да только сам он вскоре умер... (пересказ былички; текст см.: Иванов 1900: 72–78; цит. по: ОПСП, 266).

Хранитель клада может предупредить (или даже припугнуть) искателя сокровищ, что клад ему не по зубам, — лучше остаться без сокровищ, но сохранить жизнь, чем найти клад и погибнуть или самому сделаться его хранителем. В общем, все по пословице: «Клад добудешь, зато домой не будешь» (Даль 1881: II). «Один мужик пошел на Городище и давай рыть, клад искать, рыл, рыл, инда пот прошиб; присел отдохнуть — глядь, а Городище на две половины растворилось, и выходит старичок да и говорит мужичку: „Зачем ты роешь, беду на себя накликаешь, я вот тоже ко-

пал, копал да сюда и попал; беги лучше скорей, а то товарищем мне будешь“» (цит. по: Власова 1995: 178, Орлов.).[20]

Поскольку кладовики по большей части находятся во власти нечистой силы, они стараются помешать ищущему клад добыть его. Например, он может устроить настоящую мороку: пойдет на кладоискателей вихрем, да так, что будто бы начнут ломаться столетние деревья. Тут уж, гляди в оба — нельзя ни отмахиваться, ни отскакивать, знай себе копай, как будто ничего вокруг не происходит. Если хоть раз отмахнешься — и клад пропал, и в самом деле изувечить может, потому что весь этот «спектакль» устроен хранителем клада. На урагане испытания не кончаются, за ветром кладовой устроит лесной пожар, а если и тут устоишь, обернется зверем и пойдет на упрямцев со словами: «Я вас съем или задавлю, задушу!» На что надо смело, не прерывая работы, отвечать: «Я сам тебя съем или задушу!» После чего, говорят, можно взять клад. Только деньги из него, если только они не «отговорены», можно тратить лишь на табак да на спиртное (Власова 1995: 179, Вят.).

Очень редко, но бывает, что подневольный кладовик помогает человеку и даже чуть ли не заводит с ним приятельские отношения. Такое становится возможным, например, в случае, если клад пролежал в земле положенное ему время, и настал момент, когда он может или должен быть взят (Вят.). Бывает, что у кладовика над «чувством долга» берут верх родственные отношения. Была одна история про хранящего клад умершего некрещеным младенца. Вырос он под присмотром своего нечистого хозяина и был «на хорошем счету», пока не повстречал своего живого брата. За то, что помог брату деньгами, провинившегося хранителя наказали — сослали его из родных мест стеречь клады «куда-то за Москву» (пересказ былички; цит. по: там же: 179, Новг.).

Живые клады, как уже было сказано, сами «выходят» на поверхность. Обернувшись животным или птицей, они бегают, ходят или летают за человеком, словно предлагаясь ему — заметь меня, возьми меня...

«К одной калужской нищенке, в то время как она шаталась по селу, приставал петух, теребил ее за подол, совался под ноги: ударила его старуха палкой — и рассыпался петух деньгами» (Максимов 1994: 143). А то «одна женщина ходила мужа пьяного искать ночью. А тут был ручей. Село было. От ручей так — и привиждаетца. Она пошла туда, в этот ручей, за мужум. И идет она, значит, а ей баран выскакивает с лесу.

— Ой, — говорит, какой баранчик (или ягненочек)! Откуда ты взялся?

Она взяла его на руки и стала говорить:

[20]К такого рода советам надо прислушиваться, потому что, кто его разберет: шутит хранитель, или не шутит... Вон, к примеру, есть же запрет ходить к кладу трижды: «Попрешься за деньгами в третий раз, то тебя кто-нибудь [понятно, кто] остановит и скажет: „Сколько я сидел, теперь ты посиди!“ Он уйдет, а ты останешься» (Иванов 1900: 74–78).

— Ба-а-асенька, ба-а-асенька!

А он:

— Ба-а-ашенька, ба-а-ашенька!

И вдруг она его свалила, и он на деньги рассыпался! Настоящие деньги! Надо было обобрать — она не обобрала. Она испугалась и бросила всё» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 284, № 294).

Не всегда «дающийся» клад в самом деле дается. Если показался, а взять не сумели, так не обессудьте... «Один уломский старик-гвоздарь шел как-то из деревни в город. Дело было под вечер. Вдруг среди поля что-то загрохотало. Оглянулся — катится бочка, а со стороны кричит чей-то голос: „Перекрести дорогу!“ Старик испугался, отскочил в сторону — покатилась бочка мимо, а в ней ясно слышен был звон серебряных денег...» (Максимов 1994: 143–144, Новг.). В той же Новгородской, только теперь уже области, а не губернии, не так давно был записан следующий рассказ: «Девчушкой пошла я в зямляпику. Как раз днем. Набрала ягод, справилась домой итти. Как смотрю... где-то хрюкает свинка! Я-то: глянь-глянь по сторонам, Ёлки зялёныи! Свиння большая, свиноматка! И с поросятам! Ну, куда же дяватца мне! Я притру́сила: думаю, свиння не кусила б мяня. Я ето, скорей-скорей там домой (...) Я домой прихожу, мамке говорю. Она говорит:

— Дура ты дура, ето тябе клад давался. А мы-то яго, говорит, — взять не можем, етот клад...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 283, № 291). Если бы старик-гвоздарь не растерялся и перекрестил бы дорогу, или девочка не испугалась и ударила б «свинню» наотмашь, рассыпались бы клады в деньги, но...

Так уж случается, что одни и хотели бы клад взять, да никак, а другие — нет, чтобы взять, да не берут. «Жила одна семья спокойно, тихо. Большая была семья. Уходят родители в поле, детей оставляют дома. В одно прекрасное время приходят родители домой, дети жалуются, что с ними барашек играет. „Какой барашек?“ — спрашивают. — „Да с-под пола“, — отвечают дети.

Просят дети достать барашка, но кто поверит? И пошла легенда по селу. Под страхом деревня стала жить. Дети припухли, играть не стали. А барашек все вылазил и играл с детьми. Золотой шарик вылазил... то золотым человеком, то барашком вновь прикидывался.

Так прошли годы. Из бань стали выходить ведьмы. В пустых домах музыка играла, черти плясали. Молодежь отсиживалась по вечерам дома.

И дошла эта весть до станичного атамана. Взял он добрых казаков и пришел деревню проверить, насколько это правда. Пришли в эту семью и начали делать раскопки. И обнаружили на глубине трех метров саблю дамасской стали и корзину с золотом. И оказалось, что тот, кто ложил клад, сделал заклинание, и что клад таким образом должен обнаружиться. И так в этом доме хозяин стал богатым купцом.

Все это было завещано предками потомству» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 288–289, №415).[21]

Встречаются среди историй про клады такие, в которых клад достается тому, кто, выражаясь словами гоголевского Хомы Брута, «не побоялся» и, вступив с кладом в диалог, произнес ожидаемые слова разрешения. «Раз... кладь положили. Сделали маленький ящичек и где-то под матку в доме затолкнули... Вот, теперь, эта старуха умерла, сын вырос, женился. И как уедет сын, молодуха останется, спит спокойно — вдруг орет кто-то:

— Отойди — упаду! Отойди — упаду!

Она спичку чиркнула, подошла: весится гробик. Когда муж приехал, она рассказала:

— Вот так и так, третью уж ночь гроб выпадает.

Страшно им стало — перекочевали в другую избу. Тут соседи собрались. С уружьями ночи караулили, но ничего не вышло. Как-то осенью зашел к ним мужчина:

— Пустите переночевать — весь перемок.

Они и говорят:

— Вон, иди, у нас изба на острове, там и ночуешь. А у нас тут рябятишек полно. А там ложись на печку.

...Он на печку лег. Вот подошла полночь. Кто-то и заревел:

— Отойди — упаду!

А он не сробел, да и говорит:

— Падай!

Вот в другорядь взревел:

— Отойди — упаду!

Он говорит:

— Падай!

Ну, упало — это гробик. Он утра дождался. Посмотрел: ага, самородки золота! Он это золото забрал, гробик с двумя–тремя самородочками принес хозяину.

— Вот какая чуда-то была. Это была кладь положена на вас, а вы боялись. Вот — получи. Если желаешь — меня уважь, а не желаешь — я и так уйду. Ну, он ему еще

[21] В приведенной быличке присутствует то, что обычно в быличках о кладах указывается крайне редко — описываются устрашающие изменения, происходящие с целой деревней, как следствие отказа брать «дающийся» клад. Получается, что и брать клад — опасно и не брать — тоже... Это и в самом деле интересная ситуация, поскольку среди рассказов про клады (в частности, про живые) можно выделить группу таких, где явно одобряется отказ брать «дающийся» клад. Причем мотивировкой, как правило, выступают добродетель и набожность: человек не желает брать неправедно нажитых денег. Этот мотив довольно широко распространен, и нередко встречается в европейской сказочной традиции, см., например, норвежскую сказку «Честно нажитые деньги», в которой паренек «отогревает» найденный клад, а потом топит в воде, проверяя деньги на праведность. Из всего клада только одна монетка и оказывается «честно нажитой», ее-то и оставляет себе парнишка. Именно она потом делает его богатым.

одну самородку дал. Этот поблагодарил и ушел. Полный карман самородков унес. Вот такая кладь была» (там же: 288, №414, Спб.).

Нередко в рассказах о кладах с удовольствием описываются интересные повороты судьбы, такие, к примеру, когда «живой» клад, обходя все преграды, упорно идет к конкретному, словно выбранному им, человеку. «Одному страннику приснилось во сне, что такому-то в такой-то деревне и в таком-то месте предназначен клад. Пришел старик в эту деревню, отыскал счастливца и указал, где найти клад. Пошли, порылись в земле и на самом деле нашли клад. Дают и страннику известную долю, но тот напрямик отказался, как ни упрашивали его. „Кому дано, тот и пользуйся, — ответил странник, — а мне не надо!" Однако при прощаньи бабы дали ему пирог, в который запекли несколько золота. Пошел старичок, подходит к реке и просит перевозчиков перевезти его на другую сторону; те перевезли его, и он отдал им за перевоз тот пирожок, в котором запечены были деньги. Перевозчики было не брали, но странник настоял. Нечего делать, взяли они пирог и не подозревали, что в нем золото; положили пирог в шалаш, а там и позабыли про него. Долго ли, коротко ли, а прошло-таки довольно времени, — странник возвращается обратно и просит тех же перевозчиков снова перевезти его; те перевозят и тут-то вспомнили про пирог и вспомнили, что они его не съели, а потому поискали в шалаше и нашли пирожок; но что за чудо? пирог, словно вчера был испечен. Отдают они его старичку, тот поблагодарил и идет в ту деревню, где был раньше; заходит к мужичку, что разбогател от клада; здоровается; все ему рады, угощают чем Бог послал, а он подает ребятишкам гостинчика, тот пирог, который дали ему перевозчики; ребятишки взяли, разломили — и вдруг посыпалось золото. Догадались бабы, что это за пирог, обо всем рассказали; удивился тогда странник и сказал: „Ну, детушки, кому предопределено владеть кладом, тот им и будет владеть"» (Иванов 1900: 70–94, Орлов.).

А то бывает еще скажешь, и прямо, что называется, как Богу в уши: «Седьмого июля на Ивана *ключок** клада ищут. Пошли как-то клад искать на Денежную горку. А одна женщина не пошла, говорит: „Бог даст, так и в окошко подаст".

Идут, видят, лежит собака мертвая. Говорят: „Давай пошутим", — ну и кинули той женщине в открытое окошко. А собака и рассыпалась на деньги...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 104, №394, Новг.).

Случается, что клады-оборотни принимают и человеческий облик. Про такие «встречи» тоже немало всяких занятных историй ходит. Как-то раз «одна женщина стряпала хлеб. Пришла к ней девка в белом. Вот, например, выкатывает она калачики али хлеб. А девка молчит да катает калачи тоже. Вот взяла она веселку (ну, которой тесто-то мешают), она девку-то ею задела, а та рассыпалась, и получилось золото, полмешка!..» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 287–288, №413).

Ну, еще одну последнюю историю передам, да и будет про клады, хватит... «От

одному, значить, такой давался клад. Он рыбу удил на Ловати. И плывёть бочка... Нет, сидить девушка на берягу. Молодая девушка. На яго и говорить:

— Пацалуй мяня!

А он и говорить:

— Что ты, — говорить, — я ведь старик, а я тябя буду, молодую, цалавать!

— Ну, — говорить, — будишь каеца!

И стала бочка! В воду плёхнулась ета девочка, стала бочка и поплыла. Ето золото, значит, яму давалось. Он бы поцаловал бы яе, и рассыпалось бы золото коло яго. Ето верно. Было такое дело...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 285, №297).

Глава 8

ПОКОЙНИКИ: СВОИ И ЧУЖИЕ

свои: отчего беспокоится покойник; кое-что о мире мертвых; этот особый 40-й день; живым — свое, мертвым — свое; что делать, если начал «ходить»;

чужие или заложные: поговорим об особо опасных или «надо жить по-божески»; традиционные меры для группы риска; смерть колдуна

> А почему покойники ходют?
> — А зависть кака-то у них
> *Из новгородской былички*
> (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 22, № 11)

Помните известный анекдот с бородой? Ну, в котором: едет, припозднившись, домой мужичок. Хоть и торопится, а подбирает на обочине попутчика: отчего не подвезти человека, ведь и надо-то тому всего ничего — до края ближайшей деревни. И ехать вдвоем в ночи не в пример сподручней.

Лошадка трусит, телега скрипит, потряхивает. И, чтобы поддержать разговор, мужичок попутчику говорит: и как это, мол, здешний народ не страшится в этакую-то темень домой возвращаться? Особливо на край деревни, где кладбище, можно сказать, рядом совсем... «Ты вот мне хошь что пообещай, а в потемках мимо кладбища нипочем не пойду, — говорит он доверительно, — потому, вишь, что покойников страсть как боюсь».

На что попутчик ему флегматично отвечает: «А чего нас бояться?»...

В самом деле, чего?

Думаю, что каждому хотя бы раз доводилось слышать несколько странноватое присловье: «Чудак покойник — умер во вторник, понесли хоронить, а он в окошко глядит», или еще того хуже: «...стали гроб тесать, а он вскочил да и ну плясать!». С чего бы, кажется, покойнику глядеть на собственные похороны или вскакивать и пускаться в пляс? Однако, как это ни странно, а истории о глядящих, ходячих, пля-



Рис. 41. Ночью на кладбище...

шущих и много еще чего делающих покойниках — «материал» не переводящийся, что называется, тема на все времена... Эти волнующие рассказы можно услышать в любом месте, было бы время, и буде речь зайдет. Причина же неослабевающего интереса к возможной активности умерших кроется, разумеется, вовсе не в чудаковатости последних.

В основе представлений о «живом» или «ходячем» покойнике лежит вера в непрекращающееся со смертью бытие. Переход в мир мертвых — это не уход в никуда, а переселение на новое место жительства, жизнь продолжается, но просто в иной форме и не здесь. О подобном восприятии смерти свидетельствуют принятые с древних времен «проводы» умершего: его подготавливают, собирают и провожают, помогая перебраться на новое место и обустроиться.

Еще не ушли окончательно в прошлое широко распространенные некогда кладби-

щенские «приклады»[1] — невысокие деревянные домики, которые устанавливались на могилах, и считались обиталищем душ умерших.

Встречаются приклады не только с двускатной крышей, но и с окошечком (карел.), чтобы покойник мог «смотреться» (новг.). Когда-то с окошечком делалась и домовина, т. е. сам гроб — вот, собственно, и возможное объяснение попавшегося в присловье заявления, будто покойник «в окошко глядит». Чистая, выходит, правда...

По сей день в деревнях, да кое-где и в городской среде, принято класть в гроб умершему сменную пару белья, а бывает, что кладут даже еще один костюм, опять же «на смену» (Фольклорный архив ИМЛИ; цит. по: ЭС, 262).

Известны случаи, когда для умершей «на сносях» беременной собирали в гроб не только нужные ей самой вещи, но и необходимый минимум для новорожденного: несколько пеленок, пару рубашечек, подгузнички... А одному умершему младенцу, по свидетельству этнографической записи 1969 г., кроме вполне понятных пеленок-распашонок, игрушек и рожка с манной кашей, — без чего никак не обойтись первое время, — уложили в гроб свитер на вырост, мужские сапоги, папиросы со спичками и даже мелкокалиберную винтовку, не вполне исправную, однако же... (Грачева 1976: 61). Могли, кстати, положить в гроб и мерку с отца, как это было принято в Олонецкой губ., чтобы, подрастая, малый мог «сверяться» и не перерос бы ненароком родителя, что было бы с его стороны нехорошо (Власова 1995: 275).

Собирающие умершего на новое житье стремились учесть все, что может понадобится уходящему: еда, одежда, необходимый для работы инструмент... Не забывали даже то, что при жизни составляло вредную привычку покойного (заядлому курильщику непременно клали в гроб кисет с табаком и трубку), а также вещи, сильно любимые покойным, то, к чему он был особенно привязан: часы, перстень и т. п. (Фольклорный архив ИМЛИ; цит. по: ЭС, 262).

С едой вообще ситуация особая. Судя по всему, *жажда* и *голод* оказываются наиболее сильными ощущениями, которые испытывает умерший. Видимо, поэтому имел такое важное значение оставляемый для умершего (на протяжении всех 40

---

[1] Такие приклады до недавнего времени сохранялись на некоторых русских и карельских кладбищах, обычно их ставили на могилу в годовщину смерти. Выглядел такой приклад как сильно уменьшенный в размерах дом, что еще больше усиливало восприятие погоста как настоящего поселения, деревни или города мертвых, некрополя в прямом смысле слова. Существуют многочисленные свидетельства, в том числе в памятниках древнерусской письменности, указывающие на некогда широкое распространение надмогильных домов-прикладов в русской погребальной обрядности. Похоже, что как раз такого рода кладбищенский домик имелся в виду и во фрагменте «Сказания о начале Москвы» (XVI в.), повествующем о преследуемом князе, который нашел себе спасение и приют на погосте: «...и нашел струбец, погребен ту был упокойный мертвый. Князь же влезе в струбец той, закрывся...». И в рериховском образе *избы смерти*, скорее всего, слились существовавший некогда способ захоронения праха на столбах, стоящих «на путех», о котором упоминал Нестор-летописец, и представления о доме-прикладе (Рыбаков 1987: 90–92, 108–109).

дней глубокого траура) прибор на общем столе. Когда-то его исправно наполняли едой — считалось, что умерший «садится» трапезничать вместе со всеми, питаясь паром, исходящим от кушанья. Ныне этот обычай, особенно в городе, выродился в наполненную водкой стопку, накрытую ломтем черного хлеба, которую ставят на сорок дней на стол в том месте, за которым обычно усаживался покойный. Отсюда и особый статус поминального стола, устраиваемого после погребения и особенно на «сорочины». С верой в сильное желание покойных угоститься пищей из родного дома связывались и непременные приношения еды и питья в поминальные дни на кладбища, где по традиции прямо на могиле, а теперь уже чаще у могилы (для чего устанавливается небольшой столик), родичи, пришедшие навестить умершего, ели, пили, непременно оставляя часть принесенного как причитающуюся ему долю.[2]

Мертвые, если следовать логике народных представлений, не менее живых нуждаются в доме, в одежде, в еде, а также *в тепле* (о чем свидетельствуют известные всем восточным славянам обычаи «греть покойников» в Святки и топить для них баню в Чистый Четверг), а также *в общении* со своими живыми родичами, для чего существовали и существуют принятые и особые поминальные дни и так называемые годовые родительские:

Дмитровская — первая суббота ноября;

Радуница — вторник на Фоминой неделе, второй после Пасхи;

Троицкая — суббота на седьмой послепасхальной неделе.

Поминальные дни служили для общения живых с мертвыми: в ритуальном плаче им сообщали важные новости, просили у них совета или помощи. По весне умерших «окликали» — «будили родителей», в Пасху с ними христосовались,[3] в Троицу

---

[2]Эти представления в деревенской среде живы до сих пор, и отношение к «угощению» умерших (прежде всего имеются в виду умершие родичи) у людей старшего поколения, т. е., знающих и соблюдающих норму, очень серьезное. Так, соседка по даче (Выборгский р-н Ленинградской обл.), женщина 76 лет, возвращаясь со сбора ягод и проходя мимо сельского кладбища, где лежат ее родители и муж, заходит к ним на могилки и кладет по горсти ягод со словами: «Нате, вам!», мотивируя свои действия тем, что они «обидятся», зная, что она мимо проходила, а не зашла и ничего им не принесла. Про то, насколько сильно умершие ожидают поминания, та же соседка сказала следующее: «Они (покойники. — *А. Н.*) сидят и ждут. Специально вот за что столик ставят и лавочку, чтобы они... Все говорят, что они выходят, садятся и сидят здесь [ждут]...». А про обильный поминальный стол ею было обронено: «У нас говорят „на поминки... с пузом ходят" ⟨...⟩ На поминках ведь что: ешь, чтобы на том свете ему (покойнику. — *А. Н.*) больше дали. Что на этом дашь, то и ему дадут» (Архив автора, запись 2002 г.).

[3]В некоторых местах жило представление, будто христосование с умершими происходит взаимно, т. е. умершие могут отвечать тому, кто пришел их поздравить со Светлым Христовым Воскресением, причем, если их спросить о чем — ничего не утаят, скажут чистую правду. У С. В. Максимова приводится рассказ одной старушки-*черничкu*: «„Я, батюшка мой, почитай, каждый год хожу на кладбище и окликаю покойничков, и всегда они мне ответ подают. Только страшно это: покойники говорят подземельным голосом и мурашки по телу у меня так и забегают, так и забегают, как только они голос подадут. Случается, говорят они глухо, тихо, а случается как скажут — словно гром ударил". — „Но всегда они вам отвечают?", — допытывался наш корреспондент. — „Всегда,

«парили», устраивали специальную баню и «прочищали родителям глаза», обметая могилы свежими березовыми веточками. В некоторых областях срубали и ставили под окнами молодые березки, деревца должны были служить временным обиталищем для наведывающихся в эти дни к родному дому родительских душ. Иначе говоря, оба мира в народном представлении еще не так давно пребывали в постоянной связи, и их взаимное общение виделось делом естественным и носило веками отлаженный, фактически нормированный характер. И не так уж сильно эти оба мира разнились — мир мертвых во многом воспринимался как отражение мира живых.

Интересно, что «тот» мир «отразил» или перенял у «этого» мира даже такую черту, как *потребность в коллективной общественной жизни*. То, что кладбище, особенно деревенское, — селение мертвых и соответственно это ни что иное как община, представить довольно просто. Но, что «жизнь» там должна протекать по общинным законам, — это представить современному человеку значительно труднее. Однако известно, например, что и сегодня кое-где в сельской местности продолжает жить обычай бросать в могилу перед опусканием туда гроба несколько медных монет. Эти деньги предназначены «старожилам» общины мертвых, иногда самому старшему из них, который является хозяином погоста, а иногда всей общине в целом, они – плата за место. Считалось, что «новенького» могут не пустить — возьмут да и «не примут» без этих денег, и тогда он станет являться по ночам живым родичам с просьбами заплатить за него (Цейтлин 1912: 161). Встречаются также леденящие душу истории о том, как припозднившемуся прохожему или проезжему довелось узреть процессию мертвецов, переходящих всем «коллективом» со старого кладбища на новое в связи с угрозой затопления «обжитого» места, как объясняет потрясенному свидетелю оказавшийся в толпе переселенцев давний знакомый.

Опять же всем миром, совсем как живые, мертвые справляют крупные христианские праздники. Так, например, «в Светлый Четверток (Чистый Четверг. — *А. Н.*) мертвецы встают из своих гробов и собираются в церковь по звуку колокола, который ударяет всего только один раз. Собравшись вместе, они становятся перед храмом. Из их среды выходит священник и громогласно произносит какую-то молитву, по окончании которой двери храма отворяются сами собой. После этого мертвецы

батюшка, всегда. Только, конечно, к ним, к покойникам-то, надо подходить умеючи, нельзя зря лезть. Чтобы с ними поговорить да побеседовать, надо вот что сделать: после причастия, в Великий Четверг, не нужно ничего есть до самого разговенья Пасхи; всю пятницу и субботу надо провести в молитве и молчании, потому, если это не исполнить, то покойники ни за что голоса не подадут. А как отойдет заутреня, то нужно идти на кладбище и, первым долгом, помолиться Богу, потом сотворить три земных поклона, лечь на землю и, что только есть духу, громким голосом закричать: „Христос Воскресе, покойнички!". — Вот на это мертвецы и откликнутся: „Воистину воскресе, бабушка". И уже после этого подходи к любой могилке и спрашивай, о чем хочешь — мертвец непременно ответ даст и никогда не соврет, всю правду скажет. Но я, одначе, никогда их не распытывала, а только похристосуешься, и марш домой: робость на меня нападала"» (Максимов 1994: 341–342, Пенз.).

входят в храм и собор священников начинает литургию. Во время литургии перед алтарем стоит ряд детей, которые держат в руках по красному яйцу, наполненному „клочем“, т. е. льняным сором. По окончании литургии мертвецы христосуются друг с другом и затем выходят из храма и по-прежнему становятся перед дверями его. Священник произносит молитву, после чего двери храма сами собой затворяются и мертвецы возвращаются на кладбище» (Балов 1903: 446, малорос.).

Как всякое отражение, мир мертвых носит отпечаток «зеркального» искажения. К примеру, время активности мертвых приходится на время пассивного состояния, т. е. сна, живых. Среди записей В. И. Даля встречается вполне резонное на этот счет замечание: ночью до петухов на кладбище покойники гуляют, не стоит ходить мимо кладбища (ОПСП, 259).[4]

Заметна эта «зеркалка» и в снаряжении покойников, так как в народе до недавнего времени было принято соблюдать оппозиционные отличия *правый/левый* (аналог — *лицо/изнанка*): полы верхней одежды, а также обувь (лапти, например) и т. д. — все то, что у живого справа налево, у мертвого наоборот.[5]

Этот принцип касается и предметов, отправляемых служить умершему в его новой «жизни»: исправные у живых вещи должны быть испорчены для того, чтобы оказаться в рабочем состоянии в мире «ином». Этим объясняется, например, и вскользь упомянутая неисправность той винтовки, что была положена в гроб ребенка.

Своеобразным отражением его жизни среди живых становится «жизнь» умершего в мире мертвых. Понятно, что представления об ожидающем в мире «ином»

[4]Если дается сноска на материалы В. И. Даля, это вовсе не означает, что речь идет о делах давних и для нашего дня не актуальных. Напротив, все продолжается. Вот, например, чудный анекдот и как раз в тему попался недавно в газете. Источник, как ни жаль, уже не найти, потому позволю себе пересказать. Решил раз мужик подшутить над кладбищенским сторожем. Ну, что за дела, право слово, навострился тот делать свою кладбищенскую работу по ночам: возится среди могил, копается и страха, что обидно, у него ни в одном глазу. Вот выбрал мужик ночку потемнее и, прихватив с собой белую простыню, перемахнул через кладбищенскую ограду. Простыней накрылся и давай на сторожа наплывать: то с одной стороны появится, то с другой мелькнет... А тому хоть бы хны. Надоело мужику дурака валять, пошел на выход к кладбищенским воротам. Только за щеколду взялся, а сторож его за край простыни — хвать! и назад. — Смотри, — говорит, — у меня! Гулять гуляй, а за территорию не выходить!

[5]Было раз на Толвус (Заонежье): пропал у жены муж. Крепко пропал — никак не сыскать было. Вот и обратилась баба к колдуну за помощью. Отправились они аккурат в канун Иванова дня к Ишь-горе. Сам-то колдун внизу остался, а бабе велел на гору лезть. Забралась баба и видит — вместо ночи там белый день, да к тому же праздник в разгаре: все пляшут, в игры всякие играют, угощаются... Заметили черти бабу, окружили и давай расспрашивать. Она объясняет: мужа, мол, пропавшего ищу. Выстроились перед ней рядами — конца и края не видно. Если узнаешь мужа — отпустим, говорят, а ни по платью, ни по голосу, ни по взгляду одного от другого отличить нельзя! Так бы и не признала баба своего мужика, если б не приметила, что у всех платье слева направо застегнуто и в лице — ни кровинки, а у одного правая пола сверху, и кровь на щеках играет, живой, значит... (Русский демонологический словарь 1995: 287).



Рис. 42. Полночный побег живого мертвеца с кладбища.

воздаяния «по заслугам» возникли в более позднее время. В рассказах обмиравших, т. е. перенесших летаргический сон, или в повествованиях о посещении во сне «иного» мира нередко присутствует подчеркивание необходимости вести правильную жизнь здесь, пока есть такая возможность, чтобы заслужить достойную участь там. Так, например, у бывшего при жизни человеком добрым и незлобивым «изобка», т. е. избушка, на том свете светлая, а у жадного и злого — темная. На манер каторжан покойники могут «отбывать» в «том» мире свои здешние прегрешения: «...так дорога и так дорога. Идут все закрывши, много их, они наказанные проходят (...) Мне такой же дадут балахон покрыться, буду муки отбывать. Цело стадо, человек, може, пятнадцать, черным покрыто, с полосам каким-то» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 30, №44, Новг.) и т. д.



Рис. 43. У постели умирающей.

Мир мертвых, «иной» мир, что очень важно, это еще и мир предков, мир родичей. Почему уход туда воспринимался и как момент воссоединения со своими. Есть потрясающая история об умирающем мальчике-сироте, который искренне радовался приближающейся смерти, так как для него она становилась долгожданным прекращением сиротства и обретением своего места среди родных и близких. Отсюда эта тяга к родовым захоронениям, к упокоению в родной земле, рядышком со своими. Через родные могилы («отеческие гробы») осуществлялась и непрерывная связь поколений: умирающая бабка, которая обещает плачущему внуку непременно «вернуться», родившись у детей его детей — чем не демонстрация живой веры (живой, потому что запись была сделана в наши дни) в реинкарнационные родовые воплощения? В самом деле, как говаривали в старину: «из *навей** дети нас *емлют**...»

Мир «иной», но свой, был довольно четко противопоставлен миру «иному» чужому, где обитали души не своих умерших или тех, с которыми не связывали ни узы родства, ни взаимные обязательства.[6]

Эта группа покойников известна своей особой агрессивностью по отношению к живым, но речь о них пойдет здесь чуть позже, когда более или менее разъяснится «картина» со «своими» ходячими мертвецами.

Начать, вероятно, следует с того, что «беспокойным» покойником может стать чуть ли не любой недавно почивший, но еще «не определившийся к месту». Определенность эта наступает на сороковой день после смерти, когда, согласно народным представлениям, окончательно решается судьба умершего. Следовательно, 40-й день обладает статусом «судного дня» и очень важен для умершего и его близких, а все время с момента смерти до сорокового дня представлялось очень сложным и опасным периодом для обеих сторон.[7]

---

[6]«Родители», т. е. свои умершие (так назывались и родители в прямом смысле этого слова, и деды-прадеды, и дети, которых именовали «малыми родителями») воспринимались как весьма активная сила. Живые пребывали в несомненной зависимости от этой силы (выражение «покойнички живых блюдут» даже вошло в поговорку): своих покойников можно было просить о плодородии своей земли и своих женщин, ждать от них помощи и поддержки во всяком деле, включая вопросы жизни и смерти. Для примера можно привести такую историю. «Знакомый, парторг, рассказывал: Я болел. Лежу в комнате, слышу в соседней комнате родственники говорят: скоро умрет. Пошел на кладбище к матери на могилу и просил (что просил, не знаю), и выздоровел, женился потом» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 20, №3, Волог.). Если помнить о том, что взятое от земли в землю же идет, иными словами «прах возвращается к праху», то не должны пугать или вызывать удивления старинные заговоры, которые наговаривались на горсть взятой с могилы земли. Они использовались «в помочь» человеку в качестве очень действенного средства и нередко брались именно с родных могил, хотя здесь скорее действует так называемая имитативная магия, когда характерное свойство одного пытаются передать другому: «...берут из кладбища землю, с могилки, кладут ее в карманчик, когда кто идет на суд, и тогда замиряются вопросы, но землю берут из свежей могилки и говори три раза: „Все вопросы утихаются, другие не загораются“» (Фольклорный архив ИМЛИ; цит. по: ЭС, 264, Калуж.).

Для скитальца, оказавшегося вдали от родины, горсть земли с родных могил становилась бесценным связующим звеном, соединяющим его с миром своих. И осыпание его могилы родной землей (хотя бы горстью) в случае смерти на чужбине, была символическим актом возвращения в свой мир. Даже в доходящих до нас отголосках существовавших прежде верований хорошо видно, что связь с «родителями» представлялась человеку незыблемой и непрерываемой, так что умершие могли вмешиваться и корректировать существование живых даже спустя многие годы после своего ухода из этого мира.

Что же касается взаимных обязательств, то известно: мертвые могут молить о живых, быть на том свете их «предстателями» перед Всевышним, а живые должны поминать умерших, молиться за них, от чего, как считается, им становится легче, так как помин от живущих для них «есть пища душевная». Сами же за себя мертвые молить не могут, вот и ждут, надеются... Пока их помнят, поминают, они «живы».

[7]Подтверждения представлениям о том, что период сорока дней является временем «перехода» — до его истечения умерший еще может вернуться, он еще не окончательно принадлежит миру «иному» — встречаются и в быличках, и в бывальщинах, и даже в сказках... Так, в начале бывальщины «Жена из могилы» (Ончуков 1909) читаем: «...потом сделалась она нездорова, стала у

В это время душа умершего поначалу неотлучно находится рядом с мертвым телом, а после погребения постоянно возвращается к тому месту, где она жила, где скорбят и поминают усопшего родные и близкие: «Да трёх дён душа на бажнице, а потом не бывает душа на спакое; и вот па усем местам её водють, иде ана жила, паказывають ей, иде ана што делала, иде грех тварила; а сверх сараку дён — куды ана, к ангелу ли надлежить али к злому духу, тут её апределють на спакой. И пайдеть па лесеньки душа...» (ЭС, 340, Калуж.).[8]

Вот, пока нет покоя их мятущейся душе, более всего покойники и ходят. Ходят, прежде всего, домой, потому что и родной дом, и сама жизнь живых все еще обладают для них большой притягательностью. Одна женщина рассказывала: «Муж у меня фураж возил, ночевал в одной деревне. Вот приехал он в эту деревню, а в доме, где ночевал, давно уж он не был. Постучал. Женщина открыла, постелила постель. Старуха и дед спят. Стала ребенка кормить. Он думал, его сноха. Утром проснулись, дед и старуха спрашивают: „Кто тебе открыл дверь?" — „Сноха". — „Она умерла!" — отвечают. — „Она мне ето сделала", постель то есть. Испугались, что задушит ребенка, еще сорок дней не было, вот и приходила. „Надо что-то делать", — забегали старшие. Так было» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 21, №6, Арх.).

Интересно, что до *«сорочин»** покойника видят обычно в его собственном обличье, как правило, в том, в чем в гроб положили («...он влез, а бабка померлая сидит у печки в голубом платье. Это ее мертвая одежа, ее в ней хоронили», «...идеть она однажды... Вдруг сидит ён на канавы, обуваетца (...) И ботинки еты ж, которыи на тот свет у яго были одет ботинки», «...смотрю — идет мать во всем том наряде, в котором ее похоронили» и т. д.): «Сестра моя умерла, два дня до сорокового дня оставалось. Иду я часов <в> десять домой, а у нас большой тополь растет, гляжу, а она на том тополе, как была одета, когда хоронили, волосы роспущены, руки расставлены, и летела. На сороковой день покойники должны прилететь, вот она и летела» (там же: 23, №13, Новг.).

ней глотка бóльна, потом ю похоронили, ёна пóмерла. Ёна жила в зéмли шесть недель, потом ёна в земли поправилась и выстала (с зéмли) ночью и пришла к своему мужу...» (цит. по: РКВЗ, 409, №55, с.-рус.).

[8]В самом деле, в ряде областей долго сохранялось представление о том, что душа попадает (взбирается) на небо по лесенке. Существовало даже особое обрядовое печенье — «лесенки», которое было принято выпекать как к сороковому дню в случае смерти, так и на Сороки (день Сорока мучеников — 9 марта по ст. ст.). Поскольку считалось, что такая лесенка помогает душе умершего попасть в рай, кое-где, в частности в бывшей Ярославской губ., в этот день устраивалось очень необычное гаданье: со свежеиспеченной «лесенкой» человек взбирался на колокольню и оттуда сбрасывал ее вниз, а после подбирал и смотрел на сколько частей печенье раскололось — на тот уровень неба, т. е. рая, гадающий и попадет после смерти (стало быть, не только в китайской, но и в русской традиции можно попасть на «седьмое небо»). Ну, а если частичек «лесенки» слишком много, значит, этот человек страшный грешник, и ему стоит задуматься о своих прегрешениях, пока не поздно...

Позже души умерших могут наведываться к родному дому в самом непредсказуемом виде — птицей, насекомым, животным или гадом. О том, кто это к ним «пришел», родным безошибочно сердце подскажет. «У меня племянника убило, так видела привидение. Выборы были в воскресенье, все ушли. Я пироги выняла, убрала, мне так плохо стало. Я легла поперек кровати, уснула. Мне и привиделось. Говорит: „Я иду в гости, а самовар не стоит". Я самовар поставила, побежала во двор. Гляжу: белка идет, глазки чернички. Остановилась. Она на меня глядит, а я на нее. Я говорю: „Васечка, иди". Она к Филимоновой избе, я во след. Домой вернулась, ревлю: „Пойдемте все на улицу, Васенька пришел". Пошли батька с маткой, искали в капусте, не нашли. Белки так в деревню не ходят днем. Это Васечка был» (там же: 23, №14, Волог.). Случается, конечно, что глазам не веришь, а душа чует правильный ответ, и без всякой подсказки: «В шести неделях, как мужа схоронила, я болела, лежала, мне горазд плохо было, а баба у меня сидела. И вдруг птичечка прилетела в дом, села мне у изголовья, похлопала крылышками и улетела. Я спрашиваю бабу, что это было, а она меня перекрестила, говорит, крести глазы-то, крести...» (там же: 22–23, №12, Новг.).

В текстах традиционных похоронных плачей, в обращениях к умершему, можно встретить просто потрясающие слова, в которых ощутимо живы древние верования в возможность души возвращаться в этот мир, навещать близких, принимая при этом любой, какой угодно облик:

...Хоть чистым полюшком лети да черным вороном,
По селу лети ведь ты да ясным соколом,
Ко крылечку скачи да серым заюшком,
По крылечку скачи да горностаюшком.
Не убоюсь того белая лебедушка,
Выду *стричу** на крылечке *переном**,
С тобою *сдию** тут доброе здоровьице...

«Не убоюсь...» — это, конечно, сильно сказано. Посещений покойника боялись, и очень боялись. Кое-где его напрямую именовали «страхом»... Боялись. Иначе, зачем было изобретать столько разнообразных средств, чтобы «не ходил», и всяких приемов, чтобы не бояться. Вот лишь малая часть из них: «После покойника пол моют только в одну сторону, ко дверям. Приговаривали: „Нету хозяйки, нету хозяйки" (речь идет об умершей. — *А. Н.*). Чтоб не пришла. К ноци уж топор и ножик можно класть под подушку, к порогу ли. Покойнику под правую подмышку хлеб да соль: „Пей да ешь, нас не пугай"...» (там же: 20, №1, Арх.). Или вот еще: «Приходов покойника боятся: просят ночевать соседей, ночью ходят по двое, кропят все святой водой...» (Власова 1995: 275). «Чтоб не допустить его до себя, надо было ночью выйти и вновь войти в избу, обхватывая себя сзади руками и говоря: „Не я тебя, страх, боюсь, ты меня бойся" — так до трех раз» (Русский демонологический сло-

варь 1995: 371). Опять же, чтобы не бояться, прикасались к ногам мертвеца, глядели после похорон в печную трубу или в щели на повети, переворачивали стол и лавки, умывались водой, в которой растворяли горстку взятой с могилы земли... Именно с этой целью в некоторых областях проводился ритуал проводов покойника: «На сороковой день все идут провожать его ... Процессия доходит до первого отвода [ворот в ограде села] (...) Все молятся Богу и затем возвращаются к прерванному обеду. С этого момента на душе у домашних становится легче: покойник был в доме в последний раз[9] и провожен „честь честью", больше он не придет, если сами они чем-нибудь не раздражат его» (Власова 1995: 275, Новг.).

С желанием не вызвать ненароком раздражения или обиды умершего связан известный обычай не говорить о покойнике худого — «о покойниках или хорошее, или ничего». Как правило, на поминках вспоминались только добрые дела покойного, а если упомнить таковые не было никакой возможности — всякое бывало — так уж лучше вовсе промолчать. Считалось, что покойник все слышит, так как незримо присутствует за поминальным столом. В некоторых местах встречается верование,

[9]Ходит немало рассказов о том, как случайные очевидцы видят покойника, направляющегося с кладбища в сторону родного дома, чтобы лично присутствовать на своем поминальном обеде 40-го дня. Можно привести, например, такую историю: «С девушкой одной пошли жать. В Интоморе еще. Рано утром. Идет мужчина какой-то по канаве, без шапки. Идет навстречу, а навстречу не попал. А потом сказали нам: сорочины были сегодня, он и шел туда. Его как раз той дорогой везли» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 21, №5, Волог.). Покойник в сорочины как бы является домой на последнюю побывку, и, устраивая поминальный обед сорокового дня, родственники тем самым устраивают его душе «отпуск» — отпускают его душу. Думали, что если «отпуска» не устроить, так непременно станет ходить...

Еще большее число историй повествует о самых разнообразных и нередко весьма неожиданных формах прощания с родными и близкими, которые избирает покойник для решающего 40-го дня. Вот, к примеру, довольно типичный рассказ: «Умер у нас дед. И вот на сорок дён пришел его друг помянуть. Выпил из стакана маленько, остальное оставил и говорит: „Это покойнику. Он на сороковой день приходит и смотрит, как тут без него живут".

Ну, ушел этот старик, а мы все спать легли. Вдруг часа в два ночи слышим: кто-то в сени шибко-шибко стучится. Отец встал, спрашиват: „Кто?" — Никто не отвечат, потом пошел. Шаги слышно — дело было зимой — и ажно снег хрустит. Пошел он к бане, к сараю, весь огород обходил. Долго-долго ходил. Потом опять шаги возле дома, и опять в сени затарабанил. Отец опять выскочил в сени, спрашиват: „Кто там!".

Хотел выйти, мать не пускат.

Утром пошел следы посмотреть — нет ничего. А снега-то ночью не было...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 270, №387).

Я и сама помню, как в сорочины моей прабабки, когда приблизился час, в который она умерла, сама собой распахнулась тяжелая входная дверь и оставалась раскрытой чуть не в течение пяти минут. Надо сказать, что дверь эта была снабжена очень тугой пружиной — настоящее бедствие для пятилетней девчушки. Оттого, видимо, и врезалось в память, как все, кто был тогда в доме, выйдя в коридор, молча, смотрели на раскрытую настежь дверь. Все попытки закрыть ее закончились ничем. Наконец, словно кто-то перестал ее держать, дверь захлопнулась, и с таким грохотом, что задребезжали в окнах стекла. Прабабушка, если верить семейным преданиям, нрава была крутого, и прощание устроила характеру своему под стать.

что и в могиле покойник продолжает слышать, ощущать боль, что он боится ударов и т. п. (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 226). При этом связь умершего с природой представлялась настолько сильной, что и чувства свои — раздражение, огорчение, удовлетворение или радость — покойный легко мог выразить через природные, в том числе погодные, изменения. Интересным в этом плане выглядит рассказ, записанный в 1988 г. на Новгородчине: «Я приехал к матери. Надо было уязжать домой. Мать и говорит:

— Сходи на братову могилку в Бродашкино, возьми сороковочку, мол, помянешь!

Ну, я и пошел (...) Пришли в Бродашкино, на могилки. Все честь по чести. Тольки пришли, я закурил... Как поднялось вихрь! Дяревья стали гнуть! И листья поднялися — засыпало нас таким винтом! По всем могилам лист понес, ну как снег. Как тьма какая. Нас етым листом засыпало.



Рис. 44. Сельское кладбище.

Я раскрыл маленькую, взял стопку влил, на могилку плехнул и кинул две конфетины. И куда что делося, я не знаю! После этого я помянул брата, полстопки яму поставил. Ну, что было у мяня там взято — там, конфеты, пяченинки было взято — на могилку положил, глазы перякрестил и пошел домой. И как все перятихло...» (там же: 298, №314).

Чем вообще можно так раздражить умершего, что он начнет ходить и беспокоить живых?

Спровоцировать покойного на посещения может, к примеру, отступление родственниками от принятых норм во время похорон или на поминках. Проще говоря, что-то сделано не так, и покойнику это не нравится. Пример: «В папины сорочины легли мы спать. Слышу — снег хрустит и шаги как бы на двор. Там сбруя висела,

на дворе — так загремела, будто ее кто-то кидает. Некому, кроме папы, быть. Ему не понравилось, что самогонку стали варить и пить до сорочин. И так вот брякало, на стороне кидало. А потом как по сковороде шарит руками на кухне. Потом тоже брякать стало...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 20, №4, Волог.).

Бывает и так, что покойника не отпели, и душа его не может успокоится. «Умерла у Анки Епифанцевой мать. Постелили спать на полу, заложили двери, все. Заходит:

— У-у-у-у, дети-то спят!

Я испугалась, Людку позвала. Она как закричит:

— Мама! — Она и растаяла.

На другой день стали бабушке рассказывать, а она не верит. Пошла с нами спать. А она опять пришла. Бабушка руками развела:

— Ой, Миланья! — А она как растаяла.

Бабушка испугалась и ночью убежала. Стали отцу жаловаться: „Не будем здесь ночевать".

А он не верит, смеется: „Неправда все".

Остался спать, а ночью она опять пришла.

На другой день поехали в город, в церкву отпевать. Отпели, и ходить больше не стала» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 270–271, №388).

Возможно, что умершего не удовлетворили поминки, устроенные близкими в память о нем. Еще обидней, если помянуть забыли или просто не стали, что тоже случается. «Вот тут-то, во, женщина живет, задумала своего мужа не помянуть, говорит:

— Хватит поминать, я его не помяну!

Приснилось у во сне: самого не видит, а ноги, — говорит, — стоят его, и прибегла ко мне в утря:

— Пойдем, — говорит, — *канун** почитаешь. Егор, — говорит, — приснился, лихо! То ж, — говорит, — на грех не загадала» (Фольклорный архив ИМЛИ; цит. по: ЭС, 340, Калуж.).

Вообще считается, что на поминки ни денег, ни продуктов жалеть нельзя, говорили так: «Покойник у порога не стоит, но свое берет... Покойник ждет помину тридцать лет!.. Если нет ничего, подаяния никакого не дал, значит — что-нибудь отымает даже, он же молится тогда: — Что ж это мне, ничего подаяния не подал? Да будь же он проклят!» (там же). На поскупившегося, не устроившего как надобно поминки, могут повалить самые различные неприятности: пожар, падеж скота и т. п. Рассказывали про это дело вот такой случай: «Говорят, что если покойник помрет, старшая голова, то обязательно нужно какую-то скотину заколоть. А у нас так получилось... Мой папа помер в марте. Думали колоть *боровчана**, а дядя говорит:

— Но ково его колоть? Ни рыба, ни мясо! — после зимы-то.

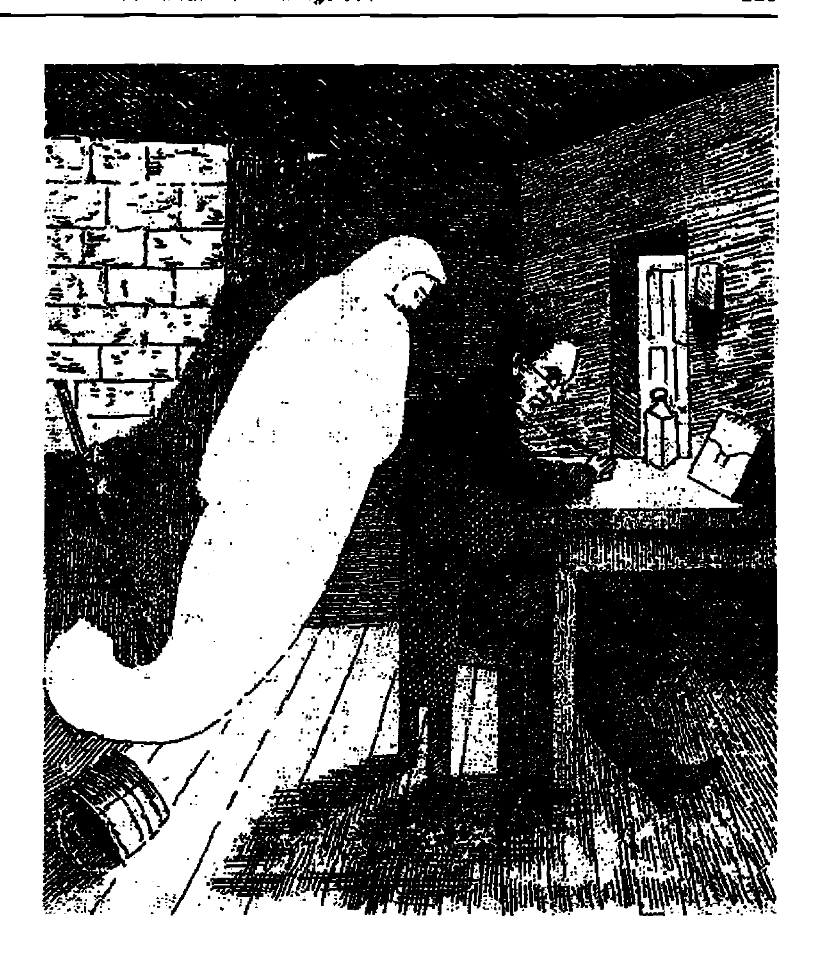


Рис. 45. Посещение призрака.

Купили мясо в лавке и похоронили отца. Ну, купили, похоронили. А стары-то люди говорят:

— Почему же вы не закололи этого бычка? Надо было заколоть, ведь он [отец] у вас голова семьи был.

Я говорю:

— Дак он сухой был.

...И только трава пошла от земли, этот бычок наелся и пропал. Покойник-то, говорят, не просит, а свое возьмет. И после этого пошло: то подавится скотина, то сдохнет. Нам и сказали:

— Надо масть сменить.

Вот вывели мы эту масть и взяли красненьких, и вот они у нас пошли» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 277, №400).

Если родные остаются глухи и слепы ко всем, даже к жестким предупреждающим знакам со стороны покойного, он станет являться им во сне[10] и будет их тревожить, и высказывать им свое недовольство, или настойчиво просить, чтобы они выполняли то, что ему надо.

И рассказов о таких посещениях во сне — великое множество, причем есть и вполне свежие, совсем недавние. Вот, например, такая история конца 80-х годов: «А от у меня племянника убило током... Так от... Ходил брат к ему сто, на могилку. Два раза ходил, а третий раз не пошел. И вот снитца ему во сне [брат]. Говорит:

— Спасибо, братец! Два разочка пришел, а теперь и не хочешь ведь меня проведывать. А ведь уже тебе и спасибо большое! Спасибо хоть меня к себе под окошечко-то принес, да и спасибо, что хоть кругом деревни-то обнесли!

Значить, его так несли [хоронить]. В Заднем Поле — он там жил, там за магазином. А родина-то евонная вот сюда, вот здесь-то вдоль идешь, проти магазина-та... Во сне-та снитца! От так» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 298, №315).

А вот эту бывальщину можно считать просто классической: «Умерла вот в Старой Руссе девочка. Этой девочке было девять лет. А они девочку-то нарядили, платье цветное, туфельки-то ей хорошенькие надели... И вдруг приснилася, матери приснился сон, и говорит этто: „Матушка, сходи ты, на той (у меня ажно дрожь)... на той улицы девочка, и пришли ты по ей [с ней. - примеч. собирателя] и мне тапки, тапочки мне пришли, нихто тут не ходит в туфлях, все в тапках. И вот ты низачем одела мне цветное платье. Вот все ходят в белых платьицах-та, а ты мне цветное одела". Вот мать-то, как она рассказала, мать-то пошла, тапки купила, как во сне-то приснилося. Пошла в тот дом, где она сказала — а ведь не знала ту улицу — и приходит в этот дом, говорит: „Сюда я попала, аль не сюда?" Бабка старая ее встречает, говорит: „Да сюда, сюда, родная моя". И лежит там тоже девочка померши, а етой двенадцать лет, и в гробу. Бабка матери той говорит: „Положьте". Рассказывает: приснился мне сон, и дочка говорит мне, сходи на такой-то улице, и дом сказала. От, мол, пришли вот по той [с той] девочки, и имя назвала девочки, точно такое имя. Положила мать в гроб тапочки, и сниться перестала» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 30–31, №46, Новг.).

В случае, если до своих по каким-то причинам не «достучаться», умерший может предпринять попытку сделать это через чужих людей: приснится и попросит передать недогадливой родне свою просьбу или требование. «Вот было, что снится

[10] Сон, как уже ранее говорилось, воспринимается традиционным сознанием как определенная мифологическая реальность. Это особое состояние, в котором человек открыт для контакта с миром «иным», и сущностям из того мира намного легче «общаться» со спящим, чем с бодрствующим, ибо и возможностей к общению больше. Похоже, например, что в историях с посещением во сне представители другого мира чаще, чем в историях с посещением наяву, общаются при помощи речи.

женщине сон, что приходит к ней мальчик, маленький такой, говорит ей: „Вот умер я столько-то лет“, ну, скоко, не помню я, и трясет денюжкой и говорит ей, мол, мать похоронила его, только денюжку дала, а поминки-то не справила, а он кушать хочет. Ну, женщина потом и спроси его: „А где твоя мать живет?“ Ну, он ей сказал, ну, она пошла и мать нашла, ей сказала, ну, мать заплакала, запричитала и справила поминки. И не являлся ей больше» (там же: 30, №45, Новг.).

Некоторые из рассказов о посещениях умершими своих близких во сне очень ярко передают живучесть представлений о продолжающемся в мире «ином» существовании: умершие там не только «ходят», но и знакомятся, и даже женятся... В общем, жизнь продолжается.

«Несколько лет назад была авария, автобус с моста свалился, и погибло много людей. Среди погибших была девушка, молодая и красивая. Вот прошло время, и мать ее видит сон. Дочь говорит ей: „Купи мне новое красивое платье, я выхожу замуж“. Но мать платье не купила. Снова ей сон снится, дочь говорит: „Ну почему же ты не купила платье, я же сказала, что замуж выхожу“. Опять мать не купила. Третий раз ей дочь во сне говорит: „Мама, я прошу ведь тебя, купи мне новое платье, я выхожу замуж“. Тут уж мать пошла и купила платье, а что с ним делать, не знает. Снова дочь во сне видит и та ей говорит: „Вот ты не знаешь, что с платьем делать. Поди вместе с соседкой, одна только не ходи, на шоссе, — и место назвала, куда пойти надо. — Стой там и жди. Пройдет первая машина, ты ничего не делай, пройдет вторая, тоже ничего не делай, а пойдет третья, ты кинь в нее платье“. Вот пошла мать с соседкой, стоят на том месте. Проходит первая машина, они ждут, проходит вторая машина, они ждут. А тут идет грузовик. Мать и бросила в кузов платье. Шофер видел, что ему в кузов что-то кинули, остановил машину и говорит: „Зачем же вы мне что-то кинули, вы ведь не знаете, что я везу. А везу я парня молодого, в Афганистане убили“. Вот так» (там же: 31, №47, Новг.).

Пожалуй, это одно из немногих оставшихся правил, которые неукоснительно выполняются и поныне — коль покойник является во сне и что-то просит, непременно выполни. Причем тянуть с этим не стоит. Однако живо также представление о том, что посетившему вас во сне покойнику там, во сне, ничего давать нельзя, особенно из рук в руки — «вынесет», заберет с собой кого-то из семьи. Про одну женщину рассказывали, что пришла к ней во сне покойница-мать да и просит, чтобы та дала ей что-нибудь к Христову дню, плохо-де им с отцом на том свете живется. А баба-то помнила, что ничего давать нельзя, и отвечает, что нет у нее ничего дать-то. Так покойница ей: «А я все равно возьму» и выгребла себе в подол все, что было в жаровне, да и ушла. А у этой женщины после дочка померла... (быличка дана в пересказе; текст см.: Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 276, №398).

«Ходить» после смерти домой принимаются главным образом те, кого можно объединить под общим названием «озабоченные». Вовсе не случайно существует

такая вещь в христианской традиции, как отпущение грехов, а в дохристианской, безусловно, имелась какая-то другая, но столь же эффективная, форма освобождения уходящего от «привязок» (ведь было же принято роженицам перед родами и вступающим в брак перед свадьбой просить прощения и прощаться с окружающими). Взятые для этой главы в качестве эпиграфа слова, что покойники ходят, потому что имеют к живым «зависть» — на самом деле, не совсем точное определение. Ходят те, у кого остались в мире живых недоделанные дела, сильно любимые родные (мать, жена, дети), кого не отпускает обещание или клятва, т. е. те, кто не смог в свой смертный час освободиться от забот и проблем мира живых.

Вполне справедлива идея, часто высказываемая в быличках и бывальщинах про ходящих мертвецов, что «по смерти покойники ходят затем, чтобы посмотреть, есть ли в доме порядок», только, судя по всему, ее следует несколько расширить, добавив «и вмешаться, активно поучаствовать, если что не так»:

— покойный дед совершает в ночи обход: «...пошел он к бане, к сараю, весь огород обходил. Долго-долго ходил. Потом опять шаги возле дома и опять в сени затарабанил»;

— мать навещает любимую дочь: «...сначала все хозяйство проверила. Идет потом прямо к квартире...»;

— ко вдовцу, оставшемуся с малолетними детишками, приходит умершая жена: «...рано утром, когда он топил печку, а маленькие дети спали. Говорит: „Ты неладно печку-то топишь, дай-ко я тебе пособлю!“»;

— покойный муж учиняет жене подробный расспрос: «...садится на сундук и заговаривает со мной. Я лежу, дрожу, а он: „Ты замерзла?“ — „Нет,“ — грю. — „Ты боишься?“ — „Нет.“ — „Сена привезли?“ — „Привезли.“ — „Дети спят?“ — „Спят. Разбудить?“ — „Нет. Не надо.“ — Так и разговаривали...»;

— про одну вдову рассказывали, что умерший муж «...встретился ей, говорит: „от я тута. Я к тебе приду“, — говорит. Вот ночью подошел к окну, молоток просит. Взяла ему молоток подала. Так в сарае он стукал, стукал, а я, говорит, сошла, как соха брошена, так и лежит. Потом стал в избу ходить. Она говорит: „Филипп, погляди Васю“ — а Вася в зыбке лежал. К ребенку-то не подошел. Другой раз пришел, сказал: „У тебя овцы кашляют, приходи сегодни на чошанский омут, там *клочок** растет, дашь им“ (...) Какой-то раз сено убирали на сарае. Сена-то много распушоно. Она говорит: „Был бы Филипп“. Тут он и оказался. Зовет: „Полезай на стог“. Она полезла, ударилась об матицу, сказала: „Господи!“ — так никакого Филиппа...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 24, №20, Новг.).[11]

[11] Со вдовами вообще все очень не просто. С одной стороны, они сами в некотором роде становятся виновницами того, что покойный муж начинает ходить, поскольку принимаются тосковать. А сильная тоска действует на умершего на манер магнита — она притягивает его, тащит в мир живых, лишая покоя и вынуждая на посещения. «У тетки в Кянде помер муж, осталось шестеро детей, она по муже и затоснула, и ей стал муж ходить, ночью колотитця. Раз придет, и другой придет, и

Семья, особенно малые дети, оставшиеся наполовину, а то и вовсе круглыми сиротками, часто становятся объектом посещений умершего родителя: «Померла у одного мужика жена. Двое ребят осталось. И вот она ночью придет, берет девчонок, наливает воды и купает. И так каждую ночь. Аж замыла детей, они такие худенькие стали. Отцу говорят утром, что их мама приходит, а отец говорит: „Как же я не вижу, как же мне узнать?" Взял золы насыпал по полу, думал ступни будут. Поднялся утром, дети спят. Ничего нет, а дети говорят: „А она нас моет, каждый день будит нас и моет." А ему-то она не показывается. А однажды утром на полу увидел ступни. И не знает, что делать...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 269–270, №386). А то еще рассказывали, как одна после родов умерла и все летала кормить свое дитятко: «... А у их кладбище, они под кладбищем жили. И вот она летит оттуда — только саван раздувается! (...) Слышат: девчонка сосет. Но и худеть, худеть, худеть девчонка-то стала... Потом он (вдовец, отец сиротки. — *А. Н.*) стал говорить старикам-то: так и так... И вот если он кого позовет ночевать — она не прилетат (...) А девочка-то умерла» (там же: 276, 399, Сиб.).

Опасения, вызванные тем, что умерший родитель (обычно речь идет о матерях) принимается навещать оставшееся в этом мире дитя, вовсе не безосновательны. Считалось, что целью таких посещений покойника было его желание воссоединиться, забрать источник тревог и забот в свой мир. Вот почему так часто в рассказах отмечается, что в результате такой родительской заботы ребенок начинает худеть,

---

третий придет. Третий раз пришел к сеням и давай нещадно колотитця, да вопитця. „Отложай, — говорит, сени, я иду робят смотреть". Тетка двери отворила в избы, сеней не отложила и говорит: „Когда бросил да покинул, тогда не жалел, а нонь нецего с тобой делать, не отложу". Сама испугалась, волосы на голове стали...» (Ончуков 1909: №58; цит. по: РКВЗ, 411, с.-рус.). Некоторые еще и Бога просить принимаются, чтобы покойный муж ходил, вымаливают: «Ена очень плакала. Очень плакала и потом стала Богу молитца, просить: „Хосподи, хоть бы он мне причудился, хоть бы мне он во сне приснился!" Ну, и, значить, ей на самом деле (...) Ей он причудился днем (...) Мы, говорить, давай назначим с тобой — вот я буду к табе ходить. Раз ты просила, буду я к табе ходить...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 305, №326). Сама рассказчица, комментируя приведенную историю, нашла очень интересное объяснение запрету тосковать и плакать по умершему и тем более просить Бога, по сути дела, о возвращении мертвого: «Может ето все привиждение, причуждение ей токо причудивалось, раз ена настолько плакала. Ёна разволнована была. И потому ей такое. [*А плакать сильно нельзя?* — вопрос собирателя] Ну, конечно, нельзя, дочь! Когда уж черясчур человек плачеть, расстроенный, может быть совсем... Это обязательно можеть такое причудитца! (...) Вот видишь, що как насколько ей мунитет такой создался от слез, от плаканий! Все Богу молила: „Хосподи, хоть бы ён ко мне приходил!" Ён и на самом деле стал ходить к ей. Що она Богу домолила, вот».

С другой стороны, как опять же объясняют сами рассказывающие, ходит в таких случаях вовсе не умерший... Но речь об этом еще впереди. А чтобы вдова не тосковала сверх меры, делали, к примеру, так: «Придя с похорон, вдову подводили к печи, которая обязательно должна быть пустой, спрыскивали водой, говоря: „Печка-матушка, возьми с рабы Божьей тоску и кручинушку, чтобы она не тосковала и не горевала о рабе Божьем (имярек)"» (цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 371).

бледнеть, и смерть его становится логически обоснованным завершением хождений мертвой — она забрала дитя к себе.[12]

«Прошел год после ее (матери. — *А. Н.*) похорон, слышу — за стеной кто-то ходит. „Кто тут?" — говорю, а он не отвечает. Вдруг дверь отворилась, входит маменька, бродит по избе и зовет: „Миша, Мишенька, пойдем со мной". А Мишей младшего братца звали; я опомнилась, крикнула, она и ушла. В тот же день занемог Мишенька, да через три дня Богу душу и отдал: мать за ним приходила, с собой взяла» (цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 467).

Конечно, не всегда все заканчивалось так печально, нередко ребенка можно было спасти, если родным или окружающим удалось вовремя открыть и пресечь посещения. Вот, к примеру, известна такая история. У одной женщины осталась на руках грудная девочка — отца этой девочки на войне убило, а мать, Варушкой звали, померла. Кладбище, на котором мать схоронили, было неподалеку. И вот, стали примечать, что покойная-то Варушка с кладбища домой ходит... То один ее увидит, то другой. Но все видавшие помалкивали, пока кто-то не проговорился, и оказалось, что многим она встречалась. Тут уж народ собрался, и пришли все к той женщине, что взяла себе девочку, да и говорят: так, мол, и так, видали, как ходит Варушка-покойница. Женщина в слезы: истинная, говорит, правда. Как час настает, открывается дверь — покойница входит и прямо к люльке идет. Девочку возьмет, грудью покормит, уложит обратно в люльку и уходит. Стали ей пенять: что ж до сих пор молчала? Ведь не покойная сама ходит, а нечистый дух это, испортит ей девочку-то.

[12]Родительская воля, как уже неоднократно здесь говорилось, продолжает влиять на детей, даже когда их разделяет граница обоих миров. Она может быть настолько мощной, что для реализации желания забрать ребенка в «свой» мир умершей матери может хватить одного единственного прихода — пришла, увидела, забрала: «Вот у меня сестра умерши... У ей шестеро осталось. Девушка (девочка. — *А. Н.*) одна из них, ходила, наверно, в пятый класс. Ковда они играли, там, около лужи, она и склонилася: „Ой, мамка там! Мамка идет!" А потом она скорчилась и потерялась (умерла. — *А. Н.*)» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 29, №41, Новг.).Иной раз, наоборот, одной воли явно недостаточно, и умершим даже приходится применять силу в попытке увести заупрямившегося отпрыска с собой. В одной из бывальщин рассказывается, как покойница-мать только благодаря удачному стечению обстоятельств не смогла увести любимую дочь: «Ночь была светлая, лунная. Смотрю — идет мать во всем том наряде, в котором ее похоронили. Сначала все хозяйство проверила, идет потом прямо к квартире, а я сижу у окна. Вдруг ветер сильный поднялся, открывается окно. Она заходит в избу и говорит: „Пойдем со мной!" А мне тогда двенадцать лет — тринадцать было. Я не соглашаюсь. Тогда она берет меня за волосы и тащит на гору. Тащила, тащила... Вдруг петухи запели первы. И она сразу же спарилась куды-то. А мой младший брат, наш середненький-от, комсомольцем был. Он был на собрании. Когда домой пришел, я стала ему рассказывать, а он не верит. На другой вечер собирается идти он, а я реву, не пускаю (...) В этот вечер все было, как и в первый раз... Она опять меня за волосы схватила и говорит: „Если не пойдешь, утоплю в речке!" Потом опять меня за волосы схватила и к мосту потащила. Стала топить. В это время комсомольское собрание кончилось, комсомольцы брату сказали, что его сестра кричит. Прибежали они к мосту — она сразу же куда-то скрылась. Потом меня стали ладить старики...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 271–272, №390).

А женщина плачет, говорит, жутко ей: «...каждый вечер окошки *залью**, и в печи, и везде, три раза перекрещу. Все обереги сделаю, ничего не помогает. Как только тот час приходит, она появляется в доме». Решили тогда, что надо ей к батюшке, чтобы отслужил по Варушке службу. Вот как молебен-то отслужили, так и перестала покойница ходить. А девочка росла атаманом (быличка дается в пересказе; текст см.: Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 300, №319).

Для родительского сердца ребенок нередко остается ребенком, сколько бы годков тому не было, и его продолжает точить беспокойство о дитяти. Так, одна замужняя женщина похоронила дядьку, бывшего ей вместо родного отца, и стала слышать его настойчивые вопросы о том, как ей живется. Дяде хорошо было известно, что жилось ей замужем за пьяницей и буяном не больно сладко, и очень он ее жалел. Видно, так и умер в беспокойстве о приемной дочери, и продолжал о ней тревожится в мире «ином»: «...От токо, как я лягу спать, все слышу, спрашиваеть дядя: „Маня, как ты живешь?“(...) И, думаю, Хосподи, ну что сто такое,— говорить,— все слышитца мне дядя, все спрашиваеть: „Маня, как ты живешь?“ Как за окном где, как где за стянам. Стала говорить кому-то, стала жаловатца ена. Ну вот, хто веруший, яе научил: „Пойдешь на кладбище, расскажи на могилке дяди, как ты живешь!“ — И я, говорить, пошла, поговорила я на могилки. Там хоть и не вижу я его... И больше не стал, правда, спрашивать...» (там же: 299–300, №318, Новг.).

Судя по всему, покойник обычно догадывается, что его посещений должны бояться, что он может до смерти напугать близких. Поэтому некоторые делают это намеренно, ведь *до смерти* — это то, чего они как раз и добиваются, а некоторые... Среди рассказов встречаются такие, в которых древнюю фигуру приходящего за живыми мертвеца сменил образ мертвеца заботливого, опасающегося своим вторжением потревожить, испугать родных. Таким, например, предстает потусторонний посетитель в следующей истории: «Однажды пришла мать с дочками из бани: накормила их и уложила спать... А ведь раньше верующие все были: она залила и заложила двор, залила дверь, на выход на улицу. Дверь сюда [в комнаты] на крючок заложила — залила. И легла к ребятишкам спать. И вдруг слышит, что по потолку кто-то заходил так тяжело. У нее волоса начали подниматься. Лежит она в таком напряжении, а по углу по стене кто-то спустился в коридор. Идет к двери. Напротив двери остановился, а она глядит на дверь и думает, что если кто-то перешагнет, то сердце сразу лопнет от страха. Он постоял, постоял около двери, по крылечку спустился, щеколдой звякнул, вышел на улицу и пошел. До утра, до рассвета она не сомкнула глаз. Думает: „Неужели я не закрыла дверь?“. И вот когда вставать уже надо, печку топить. Она пошла на двор — все двери были закрыты. Пошла и стала затоплять печь. Приходит к ней баба Лида из соседней деревни. Перекрестилась, села на скамеечку.

— Ну что, — говорит, — делаешь?

— Печку затопляю.

— А что ты в печке будешь делать?

— Лепешки детишкам.

— Я к тебе специально пришла с утра. Ведь у меня вчера был Ипат (*покойник*).

И она говорит:

— Как, бабка Лида?

— Вечером в баню собиралась, стою, открываю дверь — и входит Ипат. Под одной рукой шайка и веник в шайке, под другой белье. От порога пришел, сел к столу.

— Здравствуй, Лида.

— Здравствуй, Ипат.

Он спросил, как она живет. А она говорит, что худо и голодно. А он говорит, что это еще хорошо:

— А я зашел к Власовым ребятишкам. Вот они-то, — говорит, — на одних овсяных лепешках живут. Хотел я на них посмотреть, да побоялся напугать. Постоял около двери и пошел.

А она (мать девочек. — *А. Н.*) говорит:

— А ведь и правда он был.

И рассказала ей все. Хочешь верь, хочешь нет» (там же: 300–301, №320, Новг.).

Не менее сильной привязкой, чем осиротевшие дети, становятся для покойников их овдовевшие жены, особенно если супругов связывало большое чувство. Одна женщина рассказывала про свою соседку следующую историю. Та, видно, очень мужа любила, хоть и была за ним вторым браком. Так вот, приключилось с ее мужиком несчастье: поехал он за сеном, а конь возьми да и споткнись, телега и перевернулась, и придавила его сильно. Он провалялся совсем недолго, помер. И так она по мужу плакала, никак забыть не могла, вся прямо высохла. И начал он к ней по ночам ходить, уговаривать: собирайся, мол, Домна (а ее, вдову-то, Домной звали). Собирайся, что ты мучаешься? А она все отказывалась. И вот раз в субботу истопила она баню и полезла за веником, — глядь, а за трубой муж стоит и говорит ей с укором:

— Долго ли я тебя еще ждать буду?

Плохо ей стало, бросилась от него и упала, чуть не убилась. Слегла надолго. А как стала выздоравливать, он опять по ночам к ней ходить начал и с собой звать. Уговорил наконец.

Вот выходит она из дому, а там тройка запряженная стоит. Только села, — кони как понеслись, такое чувство, ну, будто летит она... Прямо дух занялся, потому что очнулась она: ни коней, ни мужа — стоит одна на кладбище. Прибрела домой и, видно, сил уж больше не было в себе все держать, бабам рассказала. Что уж они ей присоветовали — Бог знает, только перестал к ней муж ходить (быличка дана в пересказе; текст см.: Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 272–273, №391).

Таких историй известно немало, и самым главным в них оказывается то, что в большинстве случаев вдовы сами провоцируют умерших на хождение: тоскуют, плачут, не слушают советов и сопротивляются, не хотят, чтобы над ними были проведены ритуалы, рассчитанные на то, чтобы защитить их от посещений покойника: «По мужу я порато вопела... Когда меня скрозь гроб волочили, так я не дала себя протащить, хребтом задерживаю, пусть ходит, думаю. А потом, как прикладываться стала, я его в голые губы поцеловала... холодные. „Пусть, — думаю, — ходит, пусть ходит". А потом как ходить-то стал, так и не полюбилось...» (Ончуков 1908; цит. по: РКВЗ, 409–410, с.-рус.).

Начав ходить, мертвец почти сразу же предъявляет на оставшуюся в этом мире жену свои супружеские права. Одна соседке жалуется: «Было ето мужа схоронила, никак спокою не дает! Ходит ко мне: „Давай, говорит, со мною спать!"» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 304, №325). Про другую тоже рассказывали: «О, значит, умер один мужчина. Ну, его все похоронили, все такое. Ну, хозяйка осталася онна. Все разошлись, родня. Она онна остаетца в квартире. Ну, там пол вымыла и легла спать. И приходит к ей муж: „Я с тобой буду спать ложитца!"» (там же: 304, №325, Новг.).

Где-то в большей степени, где-то в меньшей, но фактически во всех рассказах о покойниках, ходящих к своим вдовам, содержится предостережение: нельзя по умершему сильно тосковать, нельзя желать его возвращения — к добру это не приведет. Женщина, к которой горячо любимый муж вернулся оттуда, откуда возврата нет, ходит словно во сне и, на взгляд окружающих, ведет себя странно, ведь вернувшийся покойный, как правило, виден только ей... «Тут к одной, к Настасье, ходил. Ездил вместе с ней за дровами. Нарубит, на сани складет, привезет и во дворе все сделает. Свекор подслушал: „Ты с кем разговариваешь?" — „То Федор (покойный муж. — *А. Н.*) пришел" ...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 22, №9, Новг.). А к другой бабе муж тоже заходил, и этак каждый божий день, «как на работу», без выходных и прогулов. «Жила она одна... На посидку бабки... вечерами к ней приходили. Она, значит, сидит с бабками разговаривает. И разговаривает еще вот с етым мужиком. Понимаете, который у нее умерши! Вот она сидит с ним, чай пьет, разговаривает. Ну. И воду... Идет по деревни, идет за водой. И мужик, вроде идет рядом: она с ним вот так вот разговаривает, и все! И каждый раз приходил! Ну, потом ей говорят:

— Ты давай что-нибудь делай, а то...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 302, №322).

О том, что может быть, если никаких мер не предпринимать, и гадать нечего — не мытьем, так катаньем, а будет покойник стараться свести жену с «этого» света на «тот». «От у нас жила тут наша Лелька, вдова. И у ей умер молодый муж. Не умер, а на войны японской погиб. Молодой. Она осталася, у ей был малец. И она осталась одна. И она все плакала, все плакала. И вот бывало... Он прям приходит — вот так!

Берет ее прям за горла! — „Вот идет, говорит, придет в угол, сядет, закуривает. Я гляжу — Петька!“ Потом идет и начинает ее давить. Ну от она до чего доплакала!..» (там же: 307, № 327, Новг.).

Понятно, отчего любимый муж принимается давить свою вдову — с собой забрать хочет, но имеется и другое объяснение, бывшее не менее популярным в более поздний христианский период, столь грубым действиям покойного супруга: «ходит» вовсе не умерший муж, а «ходит» в его облике нечистый: «... человеку мертвому не прийти, это только черт, он людей соблазняет, принимает облик человека, это видение, это грех...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 25, № 25, Новг.).

Приходить за любимой, за невестой или женой, может вынуждать покойника данное слово: пообещал, поклялся обязательно прийти, вернуться, жениться — и вот он я, встречай-привечай, разлюбезного... В прямо-таки вызывающем восхищение рыцарском отношении мертвеца к обещанию или клятве легко угадывается древняя вера во всемогущество произнесенного слова. Вообще, если судить по фольклорным произведениям, представителей «иного» мира отличает особое отношение к слову (более честное и бескомпромиссное, что ли), чем, кстати, нередко бессовестно пользуются герои мира живых. Что же касается сюжета «возвращающегося покойника», отметим, что он активно эксплуатировался западноевропейской балладой, которая подарила миру немало замечательных историй о мертвом женихе (или возлюбленном), приходящем, чтобы исполнить свою клятву, или получить от нее освобождение:

Мертвец явился к Марджери.
Взошел он на крыльцо,
У двери тихо застонал
И дернул за кольцо.
— О, кто там, кто там в поздний час
Ждет у дверей моих:
Отец родной, иль брат мой Джон,
Иль милый мой жених?
— Нет, не отец, не брат твой Джон
Ждут у дверей твоих.
То из Шотландии домой
Вернулся твой жених.
О, сжалься, сжалься надо мной,
О, сжалься, пощади.
От клятвы верности меня
Навек освободи!..

(шотландская баллада «Клятва верности» в переводе С. Я. Маршака).

Русскому мифологическому рассказу намного ближе вариант, характерный в

большей степени для немецкой народной баллады, чем для английской или шотландской, — жених (или возлюбленный) приходит забрать невесту (или любимую) с собой в могилу.[13]

«Одна девушка любила одного парня. Хорошо любила. Он умер, она об нем страдала. Вот она все думала и думала об ем, все сидела на лавочке, все думала, мечтала, ждала. Месяц ярко светит на небе, подъезжают к ней на карете и говорят:

— Садись, моя, поедем.

Села она в кошевку. Месяц светит, мертвец едет:

— Ты невеста моя, не боишься меня?

Она отвечает:

— Нет.

Едут дальше, а он опять спрашивает:

— Ты, невеста моя, не боишься меня?

— Нет, — отвечает невеста.

Заезжают по проулку на кладбище к могиле. Вдруг — ничего не стало, вздрогнула и тут же умерла. Значит, везде искать стали. Приходят на кладбище, а она у могилки мертвая лежит. На святки это было, месяц ярко светил, карета подъехала, и показалось ей, что это ее *сухарник**» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 273, №392).

Приведенную историю нельзя назвать в полном смысле типической, поскольку в ней полностью отсутствует то, что обычно работает в таком рассказе на усиление напряженности, взвинчивает повествование, держит его — растягивание времени: девушка уже понимает, что она на краю гибели, и лихорадочно изобретает способы оттянуть момент погружения в могилу. Чаще всего, растягивается «погрузка» вещей (приданого): одна рвет взятую с собой одежду на лоскутки и по лоскутику передает стоящему в могиле и принимающему вещи жениху; другая просит милого отмерять спускаемое *точиво**, а в качестве мерки, подает мертвецу короткую палочку: раз аршин, два аршин...; третья обрывает нитки бисерного ожерелья: «...пришли они на кладбище, он ее подводит к могиле и говорит: „Проходи". Зина его первого пропустила. А сама начала ему по вещичке отдавать. Когда вещи-то все отдала, начала по бусинке отдавать, а сама-то все рассвета ожидает... петухи запели. А Зина-то как раз уже ноги в могилу спустила. Петухи-то запели, и земля сомкнулась. Она давай кричать. Мужики мимо шли, подошли и выкопать не могли. Попа позвали, выкопали. А она и умерла, осталась со своим женихом» (там же: 274–275, №394, Сиб.).

Благодаря собственной находчивости девушке нередко удается вырваться и избежать ужасной участи живой уйти в могилу за умершим возлюбленным: «... она

[13] Именно этот сюжетный вариант был использован Бюргером для создания баллады «Ленора» (1773), которая получила в России широкую известность благодаря переводам В. А. Жуковского и П. А. Катенина.

увидела, что приехали на кладбище. И поняла, что это не жених, а мертвец из могилы ее увез. Вот он подошел к пустой могиле и стал показывать, как в нее входить надо. А девка не растерялась. Быстро сдернула шубенку, разорвала библию, сунула половинки в рукава и накрыла шубой могилу. Сама побежала. Там часовня была, она заскочила в нее перекрестила дверь за собой. Досветла дождалась. Потом ушла домой...» (там же: 274, №293, Сиб.).

Добавим еще, что «на русской почве» этот вариант сюжета включает в себя большее число мотивов: например, девушка может продемонстрировать прямо-таки шекспировские любовь и верность — добровольно и с радостью отправиться за любимым в мир «иной», или происходит проверка мужьями жен на готовность поступить a la Татьяна Ларина: муж-покойник является за своей благоверной и, хочешь не хочешь, но пора подтверждать, что за ним, родимым, хоть на край света, а хоть и за край... Умер у одной женщины муж и давай к ней по ночам ходить. А раз явился и говорит ей: все, мол, собирайся, я за тобой пришел. Собралась она, поехали на кладбище. А там он ее к могиле подводит, да и говорит: «Лезь в могилу». Баба бедная чуть жива, понимает, что плохо это, отвечает: «Ты лезь сам, а у меня вещей много, так я тебе подавать буду».

Вещи-то подает, а сама все молится, чтоб петухи поскорей пропели. Бисер просыпала, чтобы дольше собирать... Наконец, петух закричал, — глядь, а она у могилы стоит и никого.

Как домой вернулась, давай у старухи заговорами лечиться. Так он на следующий день приехал: мимо нее на коне проскакал, на ходу крикнул: счастливая ты! Вот что было... (быличка дана в пересказе; текст см.: там же: 275, №395, Сиб.).

Заканчивая разговор о мертвецах, держащих данное слово, приведем совсем недавний рассказ, который интересен еще и тем, что возлюбленные в нем как бы поменялись ролями — слово держит умершая девушка: «Рассказывали еще, что вот парень с девушкой гуляли. Забирают его в армию, а она обещалась ему писать, и говорит: „Я тебя на вокзал приду встречать в белом платье". Ну вот год проходит, писем нет от девушки. Приходит парень, а она его на вокзале встречает в белом платье. Ну и дружки его тут ... пошли в ресторан ... взял он ей красного вина, а ребятам водки. Тосты-то стали говорить, а она и пролей себе на платье, сделалось три красных пятна, на белом-то платье. Ну она, мол, говорит: „Пойду да замою"... вышла она, а ее ждут, а ее все нет. Ну, они к матери, а мать им говорит, что вы мне, мол, мозги вставляете, она год ужо как померла. Ну настояли они, свидетелей-то много, что она жива, так открыли гроб-то, а она и правда, лежит, а на платье три пятна, трехдневной давности. Вот что мне рассказывали» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 31–32, №48, Новг.).

В прежние времена, когда, по вполне понятным обстоятельствам, держать в доме тело умершего можно было весьма ограниченное время (есть свидетельства, что погребение нередко происходило даже не на третий день, не говоря уже об обще-

принятом седьмом,[14] а прямо в день смерти. Безусловно, это могло приводить, и реально приводило к трагическим ошибкам, когда живого человека, сочтя умершим, хоронили, а то, что, бывало, случалось дальше, лишь укрепляло веру в «живых» покойников и множило леденящие кровь рассказы.

Среди болгарских рассказов о ходящих покойниках попался потрясающий по своей показательности случай. Было это в небольшом болгарском селе. Раз, оставшись в доме одна, беременная молодуха решила утолить голод и сварила себе яйцо. Только она его облупила и собралась есть, тут возьми да и хлопни входная дверь. В ужасе от того, что сейчас ее застанут, увидят, как она ест не во время да еще и тайно от всех, она, не долго думая, сунула яйцо целиком в рот. И то ли сглотнула, бедная, не так, то ли яйцо оказалось слишком большим, а только встало оно поперек горла и ни туда, ни сюда...

Когда домашние нашли свою красавицу-невестку, та никаких признаков жизни уже не подавала. Потрясенные такой внезапной смертью, и горько оплакивая утрату любимой невестки, домашние подготовили тело к погребению. И вот уже покойница, облаченная в праздничные одежды, увешанная богатыми украшениями, положена в гроб, и безутешные родители, близкие и соседи с плачем провожают ее на кладбище. Печальная процессия привлекла внимание нищего цыгана, от чьего жадного взгляда не ускользнул богатый наряд умершей. С намерением вернуться к могиле ночью и разжиться всем этим великолепием, цыган провожает гроб до самой могилы и, чтобы исключить всякую ошибку, остается на кладбище до самого конца церемонии.

Спустилась ночь, и цыган взялся за дело. Раскопав могилу и открыв гроб, он при свете свечи принялся бестрепетно обирать покойницу: снял украшения, но не удовлетворившись ими, содрал еще и верхнее платье... И тут его взору предстала великолепная кованная цепочка, которую он, естественно тут же пожелал снять. Однако замочек почему-то не открывался. Тогда цыган уперся покрепче ногой в грудь покойницы и, взявшись обеими руками за цепь, дернул ее на себя, что было сил... Рот умершей раскрылся, и из него вылетело яйцо, которое ударило прямо в цыгана. И в тот же момент очнувшаяся невестка непроизвольно ухватилась за стоявшую на ее груди ногу. Цыган пережить всего этого не смог, свалился, как подкошенный, и со страху тут же помер. Ну а невестка, придя в себя окончательно, бросила на произвол судьбы своего «спасителя» и поспешила домой, наивно полагая, что домашние обрадуются, увидев ее живой и здоровой. Но не тут-то было. Услышав ее голос, поднявшиеся на стук домашние дружно ответили так: «Тебе нет места среди нас, убирайся в лес, туда, где живые не живут, убирайся за море в край, недоступный пребывающим в этом мире...» и пр. Бедная, полураздетая грабителем невестка, была вынуждена коротать ночь под соседским навесом. А какой шум подняли сосе-

[14]Напомним, что, по традиционному представлению, на седьмой день тело должно быть предано земле.

ди, когда на рассвете обнаружили на своей территории вчерашнюю покойницу! Они связали несчастную и совсем уже собирались убить, когда вернулись с кладбища посланные и подтвердили то, что было рассказано ею в свое оправдание. Невестка была освобождена и все вернулось на свои круги. Однако с тех пор окружающие относились к ней с некоторой опаской и немалым сомнением — все-таки не обошлось здесь без какой-то чертовщины... (рассказ дан в переложении; запись текста на болгарском языке можно найти в научном журнале: Български фолклор. 1990 (год XVI). Кн. 4. С. 91).[15]

Итак, чтобы покойники не ходили, не беспокоили живых, а те, к кому они ходят, не чахли и не сохли, не пугались до смерти и не отправлялись по вине умерших тем или иным путем в мир «иной», надо запомнить:

во-первых, проводить умершего как следует и поминать по совести; не тосковать и не плакать по умершему без меры[16] — живому живое, а покойнику — память вечная;

---

[15]Разумеется, что среди русских мифологических рассказов есть не менее замечательные истории. Взять хотя бы известный сюжет уже упоминавшейся здесь бывальщины «Жена из могилы», настолько эффектный, что быличка в обработке попала в ремизовский сборник «Русские женщины» (см. рассказ «Суженая», 1910 г.).

[16]О тоске здесь уже говорилось, а вот о плаче почти ничего, однако хотя бы минимум информации о нем иметь необходимо. Во всяком случае, стоит знать следующее.

1. Согласно традиционным верованиям, родителям, особенно матери, нельзя плакать об умерших детях, это грех, потому что «который младенец помер, то это Богу свечка ушла»; считали, что умерший до семи лет ребенок непременно попадает в рай, а совсем кроша становится ангелом. Кроме того, есть другое объяснение, что от родительских слез «дети уходят „глубже“», а вот когда об них не плачут, они «возносятся». Но детям по умершим родителям плакать следует непременно.

2. Оплакивать умершего, что называется, «со слезой» можно лишь до определенного момента. Таким моментом обычно считается погребение; находящегося в земле покойника тревожить слезами и рыданиями нельзя.

3. Тот, кто продолжает сильно и много плакать по погребенному умершему, совершает грех: «Говорят, что, мол, покойник будет тогда лежать все время мокрым там, если плакать дюже», что «слезы оплакивающих — тяжкий груз, который не дает умершему освободится от земных забот». В мифологических рассказах о покойниках нередко подчеркивается этот запрет, и даже существует устойчивый мотив — «матери, сильно оплакивающей потерю ребенка, удается воочию убедиться, как мучается дитя от пролитых ею слез». Вот одна из быличек на этот мотив: «Сын родный умер. А он был единственный-единственный, один. Мать со стариком остались вдвоих. И она так плакала, так плакала по етому сыну... Сил нет! (...) до чаго ж она плакала — шесть недель прошло, а она все плачет. И дальше больше... Там соседки ей говорят: „Сходи ты к священнику, посоветуйся, ну что ты, как с ума сошла!“. Ну, она и пошла... А священник ей и отвечает: „Слушай, если не боишься, то ты согласишься, ты все сама увидишь... От согласися в церкви переночавать — все сама увидишь!“ (...) Ну, он ей церкву открыл. Очартил яе. И он ей строго-настрого сказал: „С чарты не выходи! В сторону никуда не гляди... Прямо гляди на алтарь. Но, я и свечей зажигать не буду. И тябя закрою на замок...“ ...Времени там скольки прошло... Все на свети, она все на свети увидела, она всех покойников-то увидела! Ой! (...) И самым последним она увидела своего сына: мокрый идет такой, дряблый. Подходит сын к ней и говорит: „Мам, не плачь ты! Ты так сильно плачешь по мне! Ты посмотри, какой я мокрый. Как мне тяжело ляжать. Не плачь ты,

во-вторых, коль случилось недоброе и покойник «заходил», т. е. начались посещения, пугаться нельзя; стоит подумать над тем, что может служить причиной хождений и устранить таковую — пусть покоится с миром;

в-третьих, стоит помнить о том, что покойник шуток не терпит и за непочтительность к себе, за напрасное беспокойство или за озорство в его присутствии, может примерно наказать. Было раз такое дело: забрался ночью в церковь вор, чтобы с иконы дорогой оклад снять. А в те поры был в церкви покойник на ночь оставлен. И вот, значит, вор — к иконе, а покойник-то встал, да за плечи его от иконы и отвел, а после обратно лег. Вор, конечно, испугался и затих. Выждал время и решил еще счастья попытать, а покойник снова встал и отвел. Когда и по третьему разу ничего у вора не вышло, пошел он к священнику и во всем ему покаялся... А то вот еще история была: «Собрались девки да ребята на *посидку**, а один парень и говорит: „Давайте-ка я сюда покойника принесу“. А о ту пору был покойник в часовни. Парень и вправду принес его, поставил у дверей к печке. Стал покойник оттаивать и опускаться, а девки от страха кто на печку, кто в запечок забрались и велят нести его назад. А парень не хочет, говорит: „Несите сами!“ — забоялся. Покойник молчал, молчал, да и заговорил: „Кто взял, тот и неси назад“. Хоть страшно было, а надо несть. Вот парень с товарищем и понес его. Принесли в часовню, положили на старо место, а покойник и говорит: „Попрощайтесь со мной“. Товарищ, который помогал нести назад, попрощался как следует, а первого, выдумщика, покойник захватил руками за шею, и отнять нельзя было. Руки пилить хотели — пила нейдет. Так их вместях и схоронили» (РКВЗ, 291–292).[17]

мам!“. И он прошел. Ну что больше... (...) Ну, светать как стало, как там петухи пропели — ну, священник приходит: „Ну что, говорит, видела?“». — „Ой, батюшка, видела — мокрый!“. — „Вот, — говорит, — не надо плакать по нему!“» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 309, №330).

[17]Конечно, это не случайно, что рассказы о мести покойника за непочтительное к нему отношение нередко связываются с молодежными вечерками, а во временном отношении могут быть отнесены к периоду святочных игр и ряженья. Известно, что как раз на Святках молодежь (по всему русскому северу) частенько играла в «Покойника» («Умрун», «Смерть» и т. д.) — игру, окрашенную, по выражению исследователя начала XX в., не только цинизмом, но и содержащую в себе «элемент несомненного кощунства»: «...уговаривают самого простоватого парня или мужика быть покойником ... наряжают его во все белое, натирают овсяной мукой лицо, вставляют... длинные зубы из брюквы, чтобы страшнее казался, и кладут на скамейку или в гроб, предварительно накрепко привязав веревками, чтобы в случае чего не упал или не убежал. Покойника вносят в избу на посиделки четыре человека, сзади идет поп в рогожной ризе, в камилавке из синей сахарной бумаги, с кадилом в виде глиняного горшка или рукомойника, в котором дымятся угли, сухой мох и куриный помет. Рядом с попом выступает дьячек в кафтане, с косицей назади, потом плакальщица в темном сарафане и платочке и, наконец, толпа провожающих покойника родственников... Гроб с покойником ставят посредине избы и начинается кощунственное отпевание, состоящее из самой отборной, что называется, «острожной» брани... По окончании... девок заставляют прощаться и насильно принуждают целовать его открытый рот, набитый брюквенными зубами. Нечего и говорить, что один вид покойника производит на девушек удручающее впечатление: многие из них

Рассказывали еще, будто пили как-то парни пиво, трепались, хвастались, да и поспорили, что самый бедовый, которому все ничего, в церковь пойдет и лежащему там покойнику руки разожмет да из пальцев дулю сделает. Вот один и пошел. Руки-то разжать разжал, а вот как дулю стал складывать, мертвец его — хвать! и держит. Бьется парень, а вырваться — никак... Кричать начал. На крик народ набежал, но парня вызволить не могут, хоть что делай. Принялись тогда руки покойнику резать: ему режут, а парень кричит: „Братцы! Пошто вы мне руки режете?!“ Вот. Так и не смогли отнять. На третий день вместе их и схоронили... (быличка дана в пересказе; текст см.: РКВЗ, 345, с.-рус.).

Различных мер, чтобы нейтрализовать «ходящего» покойника, в народной традиции известно очень даже немало. Среди самых распространенных и действенных способов были такие:

• служили службу (заказывали молебен) в церкви, отпевали или просто ставили свечу «за упокой»: «На другой день поехали в город, в церкву отпевать. Отпели и ходить больше не стала» (Сиб.); «Ну, пошла она к священнику: „От такое дело, от так!“. Священник и говорит эта: „Дай слово, чтобы ты не плакала!“. Ну, от она молебен отслужила, дала слово. И бросил ходить» (Новг.);

• «зааминивали» в доме все возможные «ходы» для ночного гостя или «заливали», т. е. кропили по всем углам святой водой, кадили ладаном: «Была бабка, Шура Малышева. Умер у нее дедка. Вот, значит, она говорит: „Я выключила свет. Зааминила все окна, все дырочки. И вот одну дырочку я оставила, вот под полом. Ну, в подпол дырочка — от печки идет маленькая дырочка. И от я легла ночью спать. Уже задремала, слышу: ко мне на кровать кто-то ложитца и обнимает меня холодной-холодной рукой! От я так напугалась, соскочила и толкаю его. А он меня все прижимает и прижимает к себе, этот вот, ну, дедка-то. От я ему говорю: "Ты чего, говорю, пришел?"“. Села так, к стенке прижалась и начала там разным матом его ругать. А он все равно стоит! Вот я ему и говорю: „Уходи, уходи, ты мне не надо! И не приходи больше!“. Он все равно стоит! Я начала зааминивать: „Аминь, аминь, аминь!“. А он вот так стоит на меня смотрит: „Уо-о-о! Аминь-аминь-

плачут, а наиболее маленькие, случается, даже заболевают после этой игры (...) В некоторых местах та же игра... варьируется... покойника, обернутого в саван, носят по домам, спрашивая у хозяев: „На вашей могиле покойника нашли — не ваш ли прадедка?“ Находящиеся в избе, разумеется, приходят в ужас. Бывали случаи, когда маленькие ребятишки падали в обморок и долго после того бредили...» — так описывал и комментировал игру С. В. Максимов. Однако, утверждая, что все взрослое население игру в «Покойника» полностью осуждает, замечательный собиратель и исследователь фольклора противоречил сам себе, поскольку тут же в соседнем абзаце сообщал, что игра очень популярна и не только среди молодежи, но покойниками наряжаются «и женатые мужики, и притом по нескольку человек сразу, так что в избу для посиделок врывается иногда целая артель покойников...» (Максимов 1994: 249–250). Что же касается древней дохристианской основы тех «элементов несомненного кощунства», отличающих игру в покойника, думается, ее следует связывать не только с культом умерших предков, но и с представлениями о единстве жизни и смерти, а также с особыми функциями ритуального смеха.

аминь!" — говорит. Ну, язык высунут далеко так, длинный такой язык, тоже сделан от так... Пошел, пошел к печке, к дырочки, с которой пришел. И стал он туда уходить. Полез-полез-полез... Я смотрю: забрался уже до половины; до колена уже; потом ботинки одни осталися — ну, вот в дырочку-то вот в эту. Потом и ботинки эти пропали. Тьфу!..» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 303, №324);

• ставили в доме на дверях и окнах кресты мелом или копотью четверговой свечи: «...А тут петух закукарекал — он (покойник. — *А. Н.*) бросился бежать! Только сапоги и застучали. Я вскочила, свет зажгла — нет никого. И дверь, как была, — на крючке. Дочка Валюшка просыпается: „Что это вы стучать вздумали? Сапоги какие-то надели, ходите, топаете тут". — „Ничего, — грю, — дочка, спи". А сама наутро к бабке Солдихе пошла. Рассказала ей все, та и говорит: „А ты крестики, — грит, — наставь везде". С тех пор и спокойно было. Не приходил больше» (Сиб.);

• не снимали нательного креста и при случае не сробели бы — смогли бы наложить крестное знамение хоть на себя, хоть на пришедшего мертвеца: «Смотрю, лежит человек. Илюха (покойник) привиделся. Перекрестился, хвать руками — куча мха, а в это время кто-то бултыхнулся по реки. Утром, думаю, какой там мох на глине, пошел, нет ничего» (Новг.); «Сплю я... Луна в окно. Заходит [сын, который не так давно умер], во всем военном. Говорит: „Здравствуй, мама". А подойти не может. И вошел оттуда, где все заперто. Я его перекрестила, так он стал маленьким, ниже табуретки, упал и пропал» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 21, №7, Арх.);

• не ходили вечером и ночью в одиночку, только в компании — не так страшно и шансов для встречи с покойником меньше: «... ране *теплили** риги, хлеб сушили. Тяте не захотелось ночью ити, он и говорит: „Егорушка [брат рассказчицы], сходи в овин, положи дров". А овин был за деревней. А в деревне была только померчая старуха. Брат пошел в ригу, в яму накласть дров. Он влез, а бабка померлая сидит у печки в голубом платье... Сидит там, где каменьем положены стены. Брат потом говорил: „Я так и умлел! Не знаю, как и выскочил". Выскочил, домой прибежал, дома говорит: „Боле не пойду туда ночью". Тогда тятя сам пошел, с парнишками, побоялся один...» (Новг.);

• не ночевали в одиночку, уходили ночевать на сторону или звали для компании родичей, подруг или соседей: «Вот если он кого позовет ночевать - она не прилетат» (Сиб.);

• ложились ночевать рядом или между маленькими детьми: ребенок — «ангельская душка» и страха перед покойником не знает, а нечистому к ребенку не подступиться: «Так он и ходил, до сорока дней ходил. И жинке дома покоя не было. Среди детей забиралась спать. Говорит, как открою глаза, а он стоит...» (Новг.);

• бывает, что достаточно узнать покойника, назвать вслух по имени, он и пропадет: «Я испугалась, Людку позвала. Она как закричит: „Мама!" — она как растаяла

⟨...⟩ А она опять пришла. Бабушка руками развела: „Ой, Миланья!" — А она как растаяла» (Сиб.);

• не таили, не «держали в себе» то, что покойник «ходит», публичность, открытость становилась препятствием для посещений: «Если я одна живу, да что повижу, надо обязательно людям говорить, иначе *загнетут**, ходить будут. Ко мне Лексей (умерший муж. — *А. Н.*) приходит, злой, страшный, сказал, что через неделю снова придет. Я рассказала Настасье, а он опять пришел, с ножом на меня, через неделю, как сулился. Во сне все было. Убежала, больше не пришел. Надо людям говорить. Это леший, дьявол приходит...» (Арх.); кроме того, легче найти защиту — кто-нибудь что-нибудь да присоветует: «Не смогла больше в себе все держать, рассказала бабам. Те ей посоветовали что-то сделать. Что именно, не знаю, врать не буду. Только после этого перестал муж к ней приходить» (Сиб.);

• упоминание Божьего имени, божба или благословение приводят к исчезновению заявившегося покойника: «Тут он и оказался. Зовет... А она полезла, ударилась об матицу, сказала: „Господи!" — так никакого Филиппа...» (Новг.); «Я говорю: „Чего ты, Господи, привязался". — Его и следа нет» (Новг.);

• прочесть молитву и перекреститься — и все будет хорошо, защитят от всех «приходов»: «... надо молитву творить, никто не придет. Ложись благословясь, и он (нечистый в облике умершего. — *А. Н.*) никогда не придет, никакой шишок, а лягешь *набалмаш**, глаза не перекрестишь, лягешь, как свинья, и вот придут шишки всякие» (Новг.);

• можно и матюгнуть незваного гостя, мат действует на ходящего покойника как на всякую нечистую силу: «Покойники могут являться. Одни как следует, другие как кошка покажутся. Как будешь жалеть, плакать, то покажутся. Их матят: „Не ходи ко мне, чего ходишь!.."» (Новг.); «Обругай его всяко. И не будет ходить» (Новг.);

• заговоры, травы и разные знахарские средства, говорят, тоже помогают: «Бабушку я очень любила. Ну любила — просто помирала по бабушки! И вдруг бабушка эта померла. И я все по ей плакала ⟨...⟩ Ну, и стала бабушка ко мне ходить. А я рада ⟨...⟩ Один раз она пришла... А раньше амбары были (на «ногах»-подпорках. — *А. Н.*). И вот пришла она меня позвала. И вот полезла туда, и я с ей... В общем, приехали наши с поля, вечером уже, приехали — меня нигде не найтить. Всю деревню сколотили! Где бы меня не искали! Потом кто-то сунулся под этот, под амбар... Вытащили меня, разбудили... Спала ль я, без памяти ль была ⟨...⟩ Я рассказала им, что я была с бабушкой. И что бабушка ко мне ходит. Тут одна женщина и говорит: „Поезжайте, если хотите вы спасти эту девочку. От за двадцать километров отсюда естя одна бабка. Она токо может отговорить" ⟨...⟩ Бабка эта посмотрела на меня и говорит: „Ищо бы, — говорит, — раза два эта бабка пришла к ей, и вы бы ее больше не нашли. Да". И вот она что-то такое дала нам, в мешочки. И сказала: „Гони так, чтобы до двенадцати часов ночи тебе быть дома. Обязательно надо!" И вот

уже отец гнал, уж я и не знаю, как. И от мы приехали без скольки-та двенадцать. Он с этого мешочка... Вошел в дом и три раза что-то посыпал. И вот она сказала: „В двенадцать часов дожидайте и увидите, что будет!“ ... И от вдруг у нас от так изба вся, от так! Ну все — сидим, глядим: у нас и горшки, и латки, и все полетело! И все бьетца, все везде, и ... ломаетца... Ну, это было раза три перевярнулося: все стало, все на свои места. Мы сидим, и глядим, и все везде стоит нормально. И с тых пор, от до сих пор, до старости, никогда бабку во сне не видала, никогда!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 307–308, № 329);

• камешек дресвяный (рассыпающийся в песок) тоже, говорят, помогает: «Бросали дверестяной камень, тот, который кидать в печи. Возьмешь камень, да как фурыкнешь. Это тоже, чтоб не ходили» (Новг.); «Так ее научили: „Возьми камень такой, чтобы он рассыпался. Как придешь — его в дверь кинь. Кинь этот камень, чтобы он рассыпался на песок... И не будет ходить“» (Новг.);

• в порог или в притолоку надо воткнуть нож или топор, или положить «железо» под стол (под кровать, под подушку): «Ножик, кажется, торкают в стенку, чтоб не ходил-то ⟨...⟩ Вот она потом все каждую ночь зааминивала и ножик в дверь торнула там где-то в этот паз. И, — говорит, — больше ко мне он ходить не стал!» (Новг.); «Старухи-то говорят, надо нож в порог втыкать или под подушку ложить. Да я подумала: пока бегу до порога, ведь задушит. И я его под подушку. И тут нож схватила — и в мужика! Сама боюсь страшно! Но прямо в грудь ему нож вонзила — и к двери. Включила свет: нож половице, посредине лужа воды...» (Сиб.);

• осиновый кол, забитый «в головах» или в середку могилы — надежное средство от «хождений»: «А то они [покойники] ить сами заявляются. Его похоронят. Соберутся ночевать, а он приходит, беспокоит. Это его грехи земля не принимает. Ему тогда в могилу кол осиновый вбивали — он и не приходит. Видно, осина здорово влияла» (Сиб.);

• можно применить известный старинный прием против всякой приставучей нечисти — сымитировать свадьбу брата и сестры: «Но по пути-то (она идет с церквы-то, от священника), попадаетца ей тоже соседка. — „Ты где была?“ — „Ай, — говорит, — Матрена, не спрашивай! Было ето мужа схоронила, никакого спокою не дает! Ходит ко мне: „Давай, говорит, со мной спать!““ — „Дура ты дура! Пускай он к табе ходит. У табе есь дочка?“ — „Да у мяня и дочка есь, и сын. Да уж замужем“. — „Нипачом! От пойди, привязи дочку, привязи сына ⟨...⟩ молодых поставь за стол. Свечку зажги и хлеб положи. Солонку соли поставь. А сама за дверью стой. И пест держи. Как он придет, так яго пястом-то и хлобысни!“ ⟨...⟩ Шум такой поднялся страшный. Как ветер вроде бы. Открывается дверь. Он как входит, так и говорит: „А нет, — говорит, — закона-то брата с сястрой вянчать!“. А она в это время — трах его пястом по голове! „Нет, — говорит, — закона в двянадцать часов с кладбища ходить!“. И все. И перестал ходить, да» (там же: 304–305, № 325, Новг.);

• будто бы может помочь, если лечь ногами к иконам: «И вот она когда так

сделала — легла ногам к Богу. — Ён открыл дверь. Как трахнет дверью! Произошло такое шум, такое страсть, что у ей как от были телеги около дома, эти тялеги кверх погам перявернутыя! Токо сказал: „Ага! Сегодня догадалася!“ И вот с тых пор ён бросил к ей ходить...» (Новг.);

• можно сесть чесать волосы на пороге — тоже средство известное: «...бабушка научила: „Ты сядь на порог, распусти волосы, сиди чешись и щелкай семечки. А он [покойник-муж] будет спрашивать: что ты ешь? — отвечай: воши“. Так женщина и сделала. Когда она все это сказала, он плюнул и перестал к ней ходить» (Сиб.);

• а тому, кого покойник посещениями совсем измучил, знающие люди могли, например, и такое редкое средство присоветовать: «Пусть возьмет яблоко, идет на перекрестную дорогу до восхода солнца, идти и не оглядываться туда и обратно нужно. Взять с собой ржавый гвоздь и этим гвоздем двенадцать дыр (в яблоке. — *А. Н.*) на перекрестке сделать. Потом бросить все это и, не оглядываясь, рысью назад...» (Сиб.).

Разумеется, все перечисленное вовсе не составляет полного перечня возможных приемов защиты от «ходячего».

Однако все то, о чем тут до сих пор говорилось, главным образом относится к покойникам «своим», т. е. умершим «своей смертью» и, что называется, в срок. Но есть и другие покойники, вот о них и пойдет теперь речь.

Во-первых, это покойники, которых можно было бы определить как «своих», однако эти «свои» совсем как «чужие», потому что к ним относят:

а) проклятых (прежде всего, родителями);

б) умерших смертью безвременной, т. е. не в свой час и со всем «букетом» отягощающих обстоятельств, совсем как Гамлет-старший, который очень точно и доходчиво объяснил сыну за что, собственно, ему приходится терпеть адские муки: «...Я скошен был в цвету моих грехов, врасплох, непричащен и не помазан; не сведши счетов, призван был к ответу под бременем моих несовершенств...». Одним словом, в эту группу войдут все те, кто умер без соответствующей подготовки (без очищения, освобождения от грехов и земных «привязок»), кто не «получил» сопровождающих, а значит, и облегчающих переход в мир «иной» ритуалов, кто, следовательно, остался без должного погребения и поминок; а во-вторых, эту группу следует дополнить настоящими «чужими»;

в) самоубийцами;

г) теми, кто знался при жизни с нечистой силой.

Судьбы проклятых нам уже неоднократно доводилось касаться в других разделах, посвященных стихийным или домашним духам. Считалось, что проклятые похищались нечистой силой и «доживали» отпущенный им срок в мире «ином». Находясь в распоряжении нечистой силы, они постепенно сами переходили в разряд «нечистых» — становясь водяными, лешими и т. п. В редких случаях их можно было вернуть в мир живых, но, как правило, на вернувшихся оставалась «печать» другого

мира: и они либо сильно выделялись среди обычных людей и, по распространенному мнению, отнюдь не в лучшую сторону, либо долго не жили — полностью «тот» мир их так и не отпускал. К сказанному остается добавить, что после смерти проклятых земля не принимает, до тех пор, пока не будет снято проклятие.[18] Особый страх внушало проклятие материнское, от которого, как считалось, не могла освободить даже Божья воля.

Все эти представления нашли отражение даже в сказках. Так, например, в новгородской сказке «Непрощенный сын» весь сюжет только и крепится на упомянутых верованиях. «Сын матери нагрубил и она его не простила. Ен отслужил 30 лет на царской службе, потом он и помер, ну вот, как он помер, мать сыра земля не принимает его, потому что мать его не простила ⟨...⟩ [Случилось так, что другому солдату, земляку проклятого, пришлось могилу его разрыть[19]]...

Ну, он эту яму разрыл, снимает крышку (гроба. — *А. Н.*) и ставит ее в ноги дубом, повернулся и увидел, что покойник севши. Он упал за гроб на другую сторону — уж очень он испугался. Покойник и говорит ему: „Земляк, не пугайся, я тебя не трону" ⟨...⟩ [*И стал покойник солдата расспрашивать, сколько тот служит, давно ль с родины, и не знает ли, жива ль его мать? А после...*] мертвый и говорит: „Я тридцатый год лежу, и меня земля не принимает, а ей (матери. — *А. Н.*) Бог смерти не дает, за то меня не простила. Тебе, земляк, требуется землицы, ты возьми, а полковник тебе отставку выправит, и тебе полк денег даст, и ты ямщика наймешь и поедешь домой на тройке с колокольчиками, и съедешь ты домой и сходи ты к моей матери и снеси поклон. Она не поверит, где ты меня нашел, а ты расскажи и попроси, чтоб она меня простила. Если она меня простит, то Господь ей смертушку пошлет, а если не простит, ей Бог смерти не пошлет, а меня мать сыра земля не принимает. Ежели она на первые сутки не простит, приди ты на вторые и на третьи. Если она меня в трои сутки не простит, то награди ты ее своим крестом и подойди ты к ней

---

[18] А проклявший, в свою очередь, никак не может умереть, поскольку «Бог его души не принимает». Стоит повториться: проклятие — это «палка о двух концах», оно бьет и по проклинаемому, и по проклинающему. К тому же проклятие считалось делом Божьим, а не людским, и сильно осуждалось, поскольку вело к непредсказуемым и сложно обратимым последствиям.

[19] В этой сказке довольно эффектно представлено другое верование, не менее распространенное, чем представление о двойственности действия проклятия, и хорошо известное мировому фольклору — верование в магическую силу всего, что непосредственно связано с умершим (предметов, которые использовались для «сборов» и проводов покойного в мир «иной», его одежды, его тела или праха и самой земли, в которой он погребен), и может быть использовано для достижения самых разнообразных целей. ...

Конкретно в этой сказке солдату «велено» принести земли с тела покойника, той самой, которой посыпал его при отпевании батюшка. Земля нужна бабке-колдунье для изготовления приворота, т. е. будет использована в любовной магии. Интересно, что по сюжету колдунье необходима земля исключительно со свежей могилы, и говорится, что солдат как раз такую и находит. Но проклятый лежит в ней уже «тридцатый год», а могила все как новенькая... — вот и получается, что в самом деле «земля не принимает»...

и скажи: во имя Отца и Сына, аминь; если ты, бабушка, такая укрюмая, то Господь Бог вас рассудит. Ну, а я теперь ручки сложу, лягу на упокой, ты меня покрой одежкой, возьми, чего тебе надо, и зарой яму и ступай"...» (Ончуков 1909; цит. по: РКВЗ, 375–376, с.-рус.).

Вернуть проклятого могут и другие люди, если слово дадут «породниться» с проклятым, т. е. перевести его в статус «своего», и не побоятся того обещания выполнить: в одном из разделов, например, уже упоминалась женитьба парня на проклятой девушке. А могло быть и так, как в одной истории, рассказываемой в Заонежье. Жил будто бы один старик-охотник. Доживал век вдвоем со старухой — сыновья его оба померли. Кормились они охотой, потому что охотник он был неплохой, но, главное, собака у него была — не собака, а настоящий клад. Вот раз попадает ему навстречу человек, по всему видно, что не бедствует, и так приглянулся пес прохожему, что говорит он старику: продай, мол, мне собаку, а за расчетом приходи завтра вечером ко мне на Мянь-гору. Отдал старик собаку и на другой день ввечеру отправился на Мянь-гору. Идет, а по пути все про себя удивляется, откуда здесь жилью быть, ведь и дороги-то никогда не было...

Однако ж попал он к дому, и пока прихода хозяина ждал, его и напоили, и накормили на славу, да еще и в бане попарили. Вот и вышло так, что парил его в бане добрый молодец, а как выпарил старика, пал ему в ноги и говорит: не бери, — говорит, — дедушка, за собаку платы, попроси меня у хозяина. Ну, старик и пообещался. Привели его к хозяину, тот и спрашивает, чего старику за собаку надобно? Отвечает старик, что не хочет ни золота, ни серебра, а взял бы вот того молодца — детей нет, так будет вместо сына. Покачал хозяин головой, много-де просишь, да делать нечего, отдал молодца. Обрядили его в добрую одежду, да еще и денег дали на прожитье.

Вернулись они с Мянь-горы, и говорит молодец старику, чтобы деньги те старухе отдал, потому что деньги у них еще будут. И отправляет он старика в Новгород разыскать купца одного и все, что надо с тем купцом делать, подробно ему обсказал. Приехал старик в Новгород, купца нашел, на постой к нему ночевать попросился. А после ужина давай у купца выяснять: были ли у того дети?.. И рассказал купец, что был сын, да мать в сердцах про него сказала «Унеси тебя лембой (черт, значит)!», так лембой и унес. И сколь не искали, а все без толку, так сына и не воротили. Тут старик купцу говорит: есть, мол, у вас в кладовой сундук зеленый, а в нем на дне перстень лежит, с этим перстнем сына и найдете... Взяли перстень, поехали в Заонежье — признал купец молодца сыном родным, стал предлагать старику награду. Только сын за старика просить стал: нельзя старика просто так отпустить, потому что он теперь, как второй отец — ты, мол, меня породил, а он от лютой неволи высвободил. И оставили они старика у себя век доживать (преданье дано в пересказе; текст см.: РКВЗ, 295–296).

В той же стороне, в Заонежье, верят, будто можно еще воротить проклятого

в «этот» мир посредством осинового листа. Что и как с тем листом делать надо — одному Богу известно, но ходит поговорка, что заклятого человека только осиновый лист от дома отделяет...

Если проклятому покойнику еще есть возможность обрести успокоение через прощение проклявшего, то для умершего смертью безвременной, «не своей», такого шанса нет. Эти продолжают «жить» после смерти до положенного им смертного часа, «когда им приходит смерть от Бога» (Власова 1995: 277). В ожидании этого часа они, как правило, обретаются неподалеку от места своей гибели и, показываясь, пугая и приставая к прохожим, могут не на шутку беспокоить живых. Так, замерзший спьяну на зимней дороге мужик, пока его не похоронили, все озоровал — пугал знакомую бабу: «...идет домой. Чувствует, он за ней идет, бежит аж. Токо она вбежала в избу, закрыла дверь, он как закричит: „Иришка!“ Она его матить...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 21, №8, Новг.). Утонувшая поповская дочка «все кажется» — «...идешь, а она на мосту сидит, волосы чешет» (там же: 56, №178, Новг.). У одной женщины в новокупленном доме все угол трещал, так выяснилось, что дом тот «с историей»: «...я узнала, один задавивши был. Лягу спать ночью, и даже сапогами пойдет. Вот ложусь спать до двенадцати часов, ничего, а с двенадцати — бьет, колотит» (там же: 27, №35, Новг.). А то вот еще и такое люди рассказывали: «...мужик повесился. Ну, дом его перед рекой стоял, а жил этот мужик один. А он повесился, никто-никто не знал почему. Вот другой мужик-то раз с работы возвращался, проходит мимо дома, ну, того, где мужик повесился. Пошел по мосту. Вдруг слышит, за ним кто-то идет. Он обернулся, а этот мужик, что повесился; ну мужик побежал, тот за ним. Бежали, бежали, вдруг устал мужик, не может. Ну встал он, повернулся лицом к покойнику-то, упал на колени и стал креститься да молиться: с нами крестная сила. Ну покойник-то усмехнулся и говорит ему: „Давно бы так“ — и исчез» (там же: 27, №33, Новг.).

Из убитых, утопленников, опойц и всех прочих умерших «не своей» смертью, наиболее безнадежными на пути к обретению покоя оказываются самоубийцы. Самоубийство, согласно народному представлению, — тягчайший грех, поскольку распоряжаться священным даром жизни имеет право лишь Бог, как «жизни Податель», Творец и Распорядитель душ человеческих.

Встречаются рассказы о том, что в прежние времена самоубийц не хоронили на общем кладбище, а если и хоронили, то все равно отдельно от «своих», нормальных покойников, их не отпевали и не поминали, считая, что жалеть их нельзя... «Раньше было два кладбища; на одном людей хоронили, на другом скот. И вот тех людей, которые удавились, утопились, их на том же кладбище, где скот. Их нельзя даже поминать (...) Таких людей нельзя в чужую могилу класть, плохо будет тем покойникам...» (там же: 27, №34, Новг.); «А хоронили удавленников раньши... В церковь их не водили. Их под оградой хоронили. Вот ограда кругом, понимашь, что огорожено где ето кладбище: вот под оградой тольки хоронили, в конце. А

в сярёдке, где настоящие покойники похоронены — кладбище — их не хоронили. А их где-нибудь в углу, вот так, под оградой. [*А не отпевали?*] Нет, что ты! Спаси Бог удавленников отпявать! Нет! Ён же сам на сябя руки накладал, а не от Бога смерть...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 311–312, №332).

Что касается поминанья, то кое-где пользовались таким «способом», чтобы определить, надо ли поминать: на могилу самоубийцы насыпали щепотку пшеничных зерен и наблюдали со стороны — не клюют птицы, значит, и поминать не надо, за исключением Дмитровской субботы и Троицкой, дня Всех Святых. В эти дни раздавали людям специально напеченные или купленные пряники и крендельки, а богатые раздавали в память яйца (одно яйцо сорок поклонов стоит). Ну а если поклевала птица на могиле насыпанных зерен, то сыпали их туда и потом в продолжение года, а то и двух, «сколько не напостынет».

Рассказывают, что один самоубийца явился во сне и просил его не поминать, потому что от поминовений, он опускается все глубже... (Бурцев 1902: II, 183, с.-рус.).

Причины попыток совершить самоубийство народ без сомнений видит в происках нечистой силы — говорят, «нечистый искушает», «бес попутал»; эта самая сила не только наводит человека на греховную мысль, но и всячески пособляет в исполнении возникшего намерения. Понятно, что, выражаясь фигурально, кто сеял и возделывал, тот и пожинает плоды — самоубийц считали собственностью нечистой силы, говорили, что такой «черту баран» или «черту кочерга»: «На том свете черт ездит на самоубийцах, как на лошадях, или катается на них, обратив их в баранов, или же мешает ими, как кочергой, уголья в геене огненной» (Балов 1901: 82, Пошехонье).

Рассказов на эту тему известно великое множество и некоторые из них просто великолепны. Одна только история Васи Бесталанного чего стоит! Жил, говорят, в какой-то деревушке парень. Поскольку, за что бы он ни брался, во всем терпел одни неудачи, получил он прозвище Бесталанный. Отправился он раз работы себе искать, но, куда не придет, везде ему один ответ готов: нет работы, и все тут... Стало Васе так досадно, что он возьми да и брякни: прямо, мол, хоть к черту бы нанялся! А рогатый уж тут как тут, крутится, ухмыляется — «давай, Вася, наймись, наймись ко мне!». Не на попятный же идти, в самом деле... Ударили по рукам, о цене сговорились, и пошел Бесталанный к черту в батраки.

Возит Вася у черта воду. Возит на лошадках — что ни день лошадки новые — богат черт!.. Вроде как ездит Васин хозяин по ярмаркам и скупает лошадей, и не только для себя старается, а для всех чертей в округе лошадей поставляет. Ясное дело, какой же черт не любит с ветерком прокатиться?

Худо ли, нет ли, а прошел год батрачества, и просится Вася у хозяина на побывку домой: с родными, мол, повидаюсь и вернусь. Черт батрака домой пустил, денег ему дал и лошадку, чтоб до родного двора доехать. Простились, и отправился Вася домой... Вот подъезжает он к дому, а навстречу высыпает вся родня, и соседи

тоже вышли — всем интересно посмотреть, как Бесталанный домой возвращается. А Вася лихо так подкатывает, и у самых ворот лошадь свою останавливает: «Тпру, — говорит, — маточка, уморилась!». Едва только прозвучало слово «маточка», как вместо лошади оказалась Васина родна матушка... Выскочила из-под Васьки и бежать. Шум поднялся, перепугались все, а пуще всех сам Вася. Сказали ему, что уж с полгода назад, как мать его удавилась. Тут только до парня дошло, что за лошадки были у хозяина-черта... Это ж надо, приехать домой на собственной матери-удавленнице, а ведь вроде как и воду на ней приходилось Васе возить. Сробел Вася и на другой год к черту не стал наниматься (пересказ; текст бывальщины см.: ОПСП, 283–284).

Говорят, будто черт «обучает» попавших к нему лошадок-покойничков лучше бегать. Вот шел раз мужик, плотник, возвращался с отхожего промысла к себе в Богодухово, а путь из Одессы в родные места не близкий — более тысячи верст будет. Глядь, нагоняет его на тройке барин, приглашает сесть: подвезу, мол... «тройка летит, как стрела; барин все покрикивает, чтобы кучер подгонял пристяжную с правой стороны. — „Подгони, кричит, правую-то, попадью!“ Мужичок спрашивает, зачем лошадь прозвали „попадьей?“, барин отвечает, что это не лошадь, а попадья в действительности, что это я, мол, приучаю ее, чтобы лучше бежала, да и вас, дураков, скорее домой доставляла...» (ОПСП, 275, Орлов.).

Оно конечно, дело жуткое — прокатиться на попадье-удавленнице, но хоть на незнакомой, а представьте чувства другого мужика-бедолаги, которого тоже вот так на борзых лошадках к дому подбросили, а запряженными в паре оказались знакомые дудочник и прялочник — «в корню дудочник-утопленник, а на пристяжке прялочник-удавленник»...

Будучи хозяевами рачительными, черти-«конезаводчики» своих «лошадок» блюдут и, можно сказать, заботятся о том, чтобы те служили подольше и прыти своей не теряли. «От так ето недалече от нас было. От тут Гамолино у нас. Там жил дядок-кузнец... От и приехали к яму в полночь. Он *болтался**, болтался с ним: „Рябятушки, мне ня пять, у мяня вся кузница закрыта, никак мне!“ — „Ну дедушка, будь добрый, от жерябец *луздаетца**, никак нам не доехать, скользко. От мы табе скольки денег дасм!“ (*А ведь мы, старыи, деньги-то любим, прелестны деньги-то нам*)...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 313, № 335). Деньги и впрямь бесы платят, не скупясь...[20]

[20] С деньгами, которыми нечисть оплачивает оказанные ей человеком услуги, надо, что называется, держать ухо (глаз?) востро. Бывает, конечно, что платят без обмана: «...наутро в кузницу приходит — двери были открыты, так и есь. А на наковальне ляжат три рубля золотых. За работу. Что он работал. Неизвестно, хто дал. Он нашел, и все...». А бывает, что отваленная бесами куча денег при счете прямо в руках превращается в «осиновое листье» или в уголья. Но даже если и остаются заплаченные деньги деньгами, а только они не честным путем нажиты... Вот одному парнишке, молодому кузнецу, за такую-то работу — попа-опойцу подковал — тоже хорошо запла-

То ли это компенсация за покладистость, что, не чинясь, берется мастер за неурочную работу (думаю, нет смысла говорить, что необходимость подковать чертовых лошадок возникает исключительно ночью), то ли за неизменно испытываемый кузнецом стресс: «... копыта-то прижигают, когда подковы делают. Он-то (кузнец. — *А. Н.*) к ноге — раз! А конь:

— О-о-ох, Что делаишь!

Человечья нога! Ето удавленник! Он наковальню кинул, сам — тур, тур, тур! Домой!...» (там же: 315, № 337, Новг.). Таким же образом закончил ковку и уже упоминавшийся дедка-кузнец — сомлел, все бросил и домой... А парнишка, что упившегося местного попа подковал, так тот и вовсе ковать зарекся. Над ним-то черт еще и покуражился: парень то ль со сна, то ль по молодости, ничего поначалу не заметил — подковал, как было надобно, и деньги за работу получил; да только черту этого мало, ему сильных эффектов подавай! Как парень повел коня от кузницы, приезжий ему и говорит: «„Ты, - говорить приезжий, — узнал етого коня? (*хороший конь, косастый*)“. — „А, — кузнец говорить, - Бог яго знаить! У мяня своих лошадей продажных не было, а чужих я много кую! (*Что обратно, можеть, тую привяли лошадь, которую раньше ковал — а разви всех запомнишь, скольки пригоняють.*) ⟨...⟩ Кузнец от кузни повярнул головой... Поглядел — не конь, а поп Андрей! — „С ныне и до веку ходил ковать, больше не пойду. Я попа Андрея подковал! (*А ён ещё мальчиком попа, наверно, знал, в церкву ходил, когда служил етот поп*)...» (там же: 314, № 336, Новг.).

Хоть и редко, но и таким покойникам случается быть отмоленными, особенно если за дело берутся родные дети.

Вот был один такой случай. Стоял будто бы у большой дороги постоялый двор. Хороший двор, богатый. Много там всякого народу перебывало — кто лошадок покормить, кто чаю или водки испить... А был там хозяином старик, старый-престарый, годов, небось, во сто, не меньше. И был он жуткий скряга, сам все хозяйство в руках держал, и даже родные сыновья у него больше на батраков смахивали, чем на хозяйских детей — ничего без отцовского указу сделать не могли. Вот раз стали на постой на том дворе мужички проезжие, народ небогатый. Переночевали, а наутро не достало у них при расчете одной копейки. Копейка, конечно, дело пустячное, однако ж для скряги потерянная медная копейка — все одно, что рубль золотой. Только как ни приставал старик-хозяин к мужичкам, чтоб копеечку ему уплатили, да только коли нет ее, откуда же взять... Побожились проезжие, что на обратном пути непременно долг вернут, и съехали. Да только старому невмоготу стало — ни спать, ни есть не может, только о долге и думает. Не дождался старик мужичков-должников обратно, удавился с жадности за копейку.

тили, деньгами. Домой принес, матери показал, а мать-то и сказала: у батюшки (у того-то попа), мол, в церкви много денег было, вот «ён и дал батюшкиным деньгам, и заплатил ими, что не по правилу батюшка делал [обирал прихожан]».

Сыновья стариковы, а было их трое, понятное дело, догадывались, что батюшка их уж точно не в рай угодил. Вот и посоветовались они со священником, который положил им в течение восьми лет ни с кого за постой не копейки не брать, а прохожих нищих непременно даром кормить. Вот минуло восемь лет, и как-то под вечер, в непогоду, прикатили на тройке к тому постоялому двору двое важных господ... Переночевали и зовут хозяина за постой рассчитаться, а хозяин денег не берет. «Ну, возьми, — говорят, — хоть лошадку», но и от лошадки хозяева отказываются. Что ж, уехали господа. Глядь, а на дворе остался в хомуте сивый жеребец, что в тройке у проезжих коренником был — так и ахнули хозяева — что ж теперь делать?.. Подошли к коню, только хомут сняли, а вместо жеребца стоит их родный батюшка! Поклонился старик сыновьям, что послушались доброго совета, сказал, что теперь он отмолен и от мучений получил избавление. Сказал и исчез (пересказ; текст см.: ОПСП, 284–285).

Из всех выделенных нами групп «чужих» ходящих мертвецов осталась лишь одна группа, о которой еще ничего не было сказано, в нее входят те, кто при жизни знался с нечистой силой.

О страшной смерти колдунов и ведьм каких только ужасов не рассказывают... И речь здесь идет не просто о трудной смерти, отягощенной грехами и больной совестью. Все дело в том, что в час смерти колдуна та нечистая сила, что была у него в услужении, берет реванш и тешится всласть над немощным телом и охваченным паникой духом своего умирающего «хозяина».

В одном из рассказов о колдунах оказался очень интересный фрагмент — настоящая маленькая притча: один жаждущий колдовской силы и уменья мужичок пришел к колдуну с просьбой, чтобы тот его обучил. Колдун повел его к реке и дает кусок хлеба — бросай, мол, в воду. Тот бросил, приплыла к кусочку рыбка и давай его теребить потихоньку: тут откусит, там откусит... А теперь, — говорит колдун мужичку, — гляди, что с моим куском будет. И бросил. Как налетела, откуда ни возьмись, целая орава всяких гадов и давай хлеб рвать — аж вода вокруг кипит. Видишь, — сказал колдун, — когда помирать станешь, вот так тебе придется, как твоему куску хлебному, а меня вон что ждет... Так хочешь ли еще моим знаниям учиться? Подумал мужик и отказался, пропала охота колдуном становиться.

Итак, колдуны своей смертью не умирают,[21] им не дается встретить свой конец,

[21] В народе бытует представление, будто колдуны знают свой «срок»; иногда считается, что это становится им известно дня за три, а иногда они знают его с самого момента заключения договора с нечистой силой. В этой связи интересным видится то, что, по народным представлениям, знанием своего смертного часа оказываются «одарены» или очень грешные, не имеющие прощения люди — колдуны, ведьмы и пр. — которым суждены вечные адские муки; или очень праведные, кто узнает о времени своей смерти из уст святых или ангелов, и кого ждет вознесение в светлый рай. В очень ненавязчивой и легкой форме, как бы на стыке мифологического рассказа и сказки, народ сохранил представление о том, что некогда этим знанием обладал каждый смертный: «Раньше люди знали в какой день умрут, а теперь нет... Один старик изгородь городил. Раз кол всадил, два всадил —

лежа спокойно в постели: их вертит, бросает из стороны в сторону, тянет в подпол или к порогу (Пенз., Калуж.), бывает, что затаскивает под печь (Пенз.), а если они помирают в бане, так непременно стоя (Влад.). Одну бабу занесло к колдунье да, видно, в тот самый час: «старуха лежала на полу вся синяя, с пеной у рта, а рядом на холсте был положен хлеб и на нем три кучки соли» (РКВЗ, 201). Для кого были те хлеб-соль — догадайтесь сами...

Про кончину другой старухи-колдуньи рассказывали, что перед смертью сделалась она будто бешеная, так ее черт замутил, что стали ее все опасаться. А как настал ей час помереть, так: «...соскочила со своей кровати ночью и растянулась посредине избы, потом с полу встала и полезла под печку. Там она по-собачьи брехала, по-кошачьи мяукала и, наконец, под утро вылезла из-под печки и легла на пол. Народ собрался к ней и смотрит на все это с ужасом, а колдунья все еще мучится. На груди у ней собралось несметное число змей и ящериц, и все они ворочаются на ней, как масса червей в навозной куче: одни лезут в рот, другие в уши, а старуха только мотает головой да поминутно высовывает язык. Наконец, она перестала дышать, только гады производили шум. Народ видит, что старуха околела, собрался на сходку и на сходке положили старухину избу и вместе с нею сжечь. Рассказывают, что когда горела изба, в ней слышен был шум и крик, собачий лай и другие голоса. Избушка вскоре сгорела дотла, и уголья посыпались в овраг, а на том месте образовалась глубокая яма, и на дне ее долгое-долгое время водились ядовитые змеи...» (РКВЗ, 231–232, Курск.).

Зная, чего можно ждать от их кончины, некоторые из колдунов своим домашним строго наказывают, чтобы в доме жить не оставались: «...умру, так вы с этого дома уходите вон!», и чтоб не держали мертвого тела не погребенным дольше одного дня, да сами чтобы не хоронили — «что ни дайте, а кого-нибудь наймите»...

К надвигающемуся смертному часу колдун для своей «силы» (сотрудников, солдатиков, мальчиков..., одним словом, для находящейся в его распоряжении нечисти) старается найти работу потруднее, изобрести что-нибудь невыполнимое, чтоб были заняты и оставили его в покое. Эти попытки обвести «верных слуг» вокруг пальца и избавиться от грядущих мук, как правило, оказываются тщетными. Сотруднички тут как тут, они теребят умирающего, требуют себе другого хозяина: «Ты погинешь, а мы куда без тебя? Отдай нас кому-нибудь, кто бы так же, как и ты, не давал бы нам шататься без дела; мы будем служить ему так же верно, как

кое-как все делает. Ограда ветхая получается. Шел мимо прохожий: „Бог помощь! Ты что изгородь такую ветхую делаешь?“ — „А мне три дня жить осталось — так зачем крепче? Мне хватит.“ — „Ты делай для людей, пусть другие попользуются“. Тот не послушался. Три дня прошло. Он год, два живет, старик этот, не умирает. Пришлось ограду хорошую поставить, надолго. А тот прохожий — это Бог был, — он и решил так сделать, чтобы люди не знали про свою смерть. Тогда они не только себе пользу приносить будут. С тех пор мы и не знаем, когда умрем» (Русская бытовая сказка 1987: 296). Как это ни странно, но похоже, что за покорность судьбе и связанную с ней обычную лень Господь лишил человека этого знания...

и тебе служили, а без дела нам жить не приводится...» (Харитонов 1848; цит. по: РКВЗ, 266, Шенкур.). Эти представления поддерживают веру в то, что колдун не может умереть, пока не передаст свою силу...

«Одна ведьма собралась умирать; умрет, положат ее на стол, покроют, а она через минуту опять оживет и опять начинает умирать, мечется. Охает, кричит: „Нате! Нате!" Раз шесть так умирала и никак умереть не могла, пока правнук не подошел к ней и не произнес: „Давай, бабуш!.." (...) Вскоре мальчик начал поражать окружающих сверхъестественным знанием...» (РКВЗ, 217–218). Очень редко, когда кто-то из родных или близких добровольно из сострадания готов принять на себя отдаваемую силу, чаще никто не решается. И тогда умирающий колдун вынужден хитростью или насильно передать свою силу. Кого-то он застает врасплох — ему достаточно схватить за руку неосторожно приблизившегося и, проговорив «На!» или «На тебе!», совершить тем самым акт передачи силы. А кого-то ловит на неопытности и незнании. Очень часто рассказывается, как жертвами умирающих колдунов становятся маленькие дети:

• маленький мальчик принял от колдуна кружку с водой и после смерти колдуна стал слышать голоса, которые настойчиво требовали себе работы... прожил тот мальчик недолго;

• девочка получила из рук умирающей ведьмы баранку и бесы стали мучить ее по ночам, приставать с требованием работы, с трудом нашли на них управу, обратившись к колдуну;

• десятилетний внучек также по просьбе умирающего деда-колдуна подал ему веник,[22] а после взял, чтоб поставить на место, и с веничком получил от дедушки его силу; только через неделю удалось родным помочь мальчишке — нашли знахаря, который придумал задать бесам работу, оказавшуюся им не по зубам, после чего пришлось им отступиться от своего маленького «хозяина».

Говорят, что бывали случаи, когда колдун сбрасывал свою силу даже на младенца: «Колдун умирал. А ляжал в люльке рябенок моей нявестки. И колдун лучом навел, лучом ясным, и рябенок ручонками ухватился — и колдовство рябенку передал...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 347, №390).

Чтобы обойтись без передачи, но помочь колдуну умереть, ускорить его кончину, были известны разные способы. Но наиболее распространенным было открывание особого «выхода» для души умирающего:

[22]Подать веник умирающему колдуну (иногда веник подкладывают под умирающего) — один из способов дать ему освободится от мучающей его силы и, значит, помочь умереть. Завладевшая колдуном нечисть будто бы выходит из него и садится на веник, после чего веник нужно выбросить подальше, а еще лучше закопать. Только надо исхитриться сделать это так, чтобы он никому не попал в руки и не смог навредить; и ходить мимо закопанного веника не стоит, иначе может прицепиться порча. Рассказывали, как один колдун попросил веник, а после отдавал его назад, да только никто не решился взять. И тогда колдун бросил веник на пол, и веник заплясал по избе...

— разрывали над коньком солому (Саратов.);
— разбирали крышу (Волын.);
— поднимали на вершок матицу (Саратов.);
— вынимали половицу в полу (Лукоянов.) и т. д.

Большинство этих действий преследовало одну конкретную цель — выпустить душу, но так, чтобы она не могла вернуться (нетрадиционный выход затем тщательно заделывался). Существовало и другое объяснение: нечистая сила, приходящая по душу колдуна, не может вынести свою добычу через закрещенные двери или окна, ей нужен особый ход (РКВЗ, 218).

В народе живет глубокое убеждение, что не могут успокоиться именно колдуны, не сдавшие свою силу: земля их не принимает, они поднимаются по ночам из могил и бродят и даже бегают оборотнями, становятся ерестунами,[23] вампирами... Их вредоносная сила распространяется не только на людей, они способны влиять на природу, вызывая бури и устраивая страшные засухи.

Места их смерти и могилы быстро приобретают дурную репутацию мест опасных, мимо которых и днем-то лучше не ходить, не говоря уж о времени ночном...

«Мужик ночью пошел к *зароду** принести во двор лошадке ношу сена; на возвратном пути он слышит за собой топот. Оглянулся мужичок — и чуть не умер со

[23] *Ерестун*, он же *еретик*, *клохтун* или *хлопотун*, и др. — ходящие после смерти колдуны, злые и опасные, которые не дают покоя живым — вредят, пугают. В лучшем случае, они требуют себе еды и питья, одним словом, угощения, а в худшем — воспринимают в качестве этого угощения любого живого, подвернувшегося им на пути, причем свой ли, чужой ли — это им без разницы... Жили, говорят, в одной глухой деревушке два брата, был и третий брат, да только служил он тогда в солдатах. А отец их был колдун, и по смерти своей ходил домой и поедал и попивал выставляемое ему угощение. Чтоб, не дай Бог, с отцом не встретиться, уходили сыновья ночевать из родительского дома к соседу. И вот случись их брату-солдату как раз к ночи вернуться со службы домой. Входит он в хату и видит: стол накрыт — и закуска, и выпивка — а людей нет никого. «Что за притча, — думает, — видно, братья ушли гостей звать». А того, что отец их умер, он не знал. Прилег солдат на печь, устал с дальней дороги, дожидается братьев с гостями. Вдруг видит: заходит отец, усаживается за стол и ест... Смекнул солдат, что тут дело неладно, затих и ни гу-гу. Только отец вдруг говорит: «Слезай-ка с печи, давай есть!». Что ж, делать нечего, слез солдат и за стол сел. Как поели они все, что было, тут отец говорит: «Теперь я тебя есть буду...». Сын отцу отвечает: «Да я нечистый, дай помоюсь». Худо дело — надо время до петухов тянуть. И отправились они на речку, чтоб солдату обмыться. На счастье, пока суд да дело, петух прокричал, и старик-отец, ни слова не говоря, бултыхнулся в воду. Перекрестился служивый и Бога возблагодарил, что дешево отделался. Говорят, будто с тех пор колдун перестал ходить домой угощаться, только на реке около полуночи все слышатся стоны и крики... Местные считают, что это колдун сердится на своего сына-солдата, и мимо того места, как стемнеет, стараются не ходить (пересказ; текст см.: РКВЗ, 251–252).

Большинство таких историй воспринимаются сейчас, скорее, как сказки, однако не стоит забывать, что, возможно, еще не так давно, их рассказывали как былички и бывальщины, поскольку в основе этих рассказов лежит древняя вера в реальную опасность, исходящую от «чужих», агрессивных, опасных для живых, мертвецов.



Рис. 46. Жертва живых мертвецов.

страха: освещенный месяцем, за ним мчится еретик, со сложенными крестообразно руками.[24] Вот он уже близко: уж мужик слышит скрипение железных зубов его,

[24] О том, чтобы у умершего, а у колдуна особенно, руки были сложены крестом, родственники заботились со всем тщанием. Считалось, что если сложенные крестообразно руки так и застынут, не переменив положения, колдун уже не сможет ими воспользоваться. И значит, в его арсенале останутся одни зубы, хотя и этого более чем достаточно, поскольку «стальные» клыки еретика в состоянии справиться с чем угодно... Наличие аномальных зубов — характерная черта многих мифологических персонажей: тонкие и острые зубы водяного, красные у русалок, железные у шуликунов или хотя бы «рабочие» зубы вампира... Скрип или скрежет, который производит зубами живой колдун, вовсе не свидетельство испытываемой злости и не средство устрашения жертвы, как можно было бы подумать, а способ усилить свою магическую силу... Так что нет ничего удивительного в том, что еретики сильны зубами...

уже ветер наносит на мужика могильный запах живого трупа. Отчаянный мужик вбегает в первое попавшееся ему строение. Захлопнув крепко-накрепко дверь, а мужичок слыхал, что еретики сильны только зубами, он осмотрелся и узнал в этом строении собственное же свое гумно: «Он не видал, как я вбежал сюда, — думает мужичок, сидя в гумне, — не собачье же у него, у погани, чутье, да что говорить, сказано, что еретик, так...» Не успел кончить мужичок думки, как послышались толчки и вскоре древесина посыпалась на землю опилками от стальных зубов еретика. Вот уже прогрызено значительное отверстие, еще немного и еретик вскочит в дыру, и смерть мужика неизбежна...» (РКВЗ, 260).

Эта история закончилась счастливо: мужичок в отчаянии взмолился гуменнику и тот за своего вступился, спас мужика от покойника-колдуна. Однако не такая уж редкость рассказы, в которых контакт с еретиком оборачивается для человека гибелью.

Умерла у одного крестьянина дочь, и позвал он свата могилу вырыть. Угостил его перед тем, как водится... И вот в подпитии прибрел сват с лопатой на кладбище, нашел место — провал не провал, ложбинка такая, и давай рыть могилу. Да только долго рыть не пришлось, стукнула лопата — не идет работа, видно, гроб там внизу. Нагнулся мужик посмотреть, а в доске сучок выпал, и смотрит в дырку на мужика злым глазом мертвец... Не повезло мужику, раскопал он могилу еретицы. Бросил, бедный, лопату, из ямы — прыг! и давай Бог ноги. Прибежал домой, лезет на печь, а оттуда на него еретица пялится. Он скорее во двор и к яслям, а она же там и жутким смехом хохочет-заливается... С той поры начал сват сохнуть. Что ни делали, к кому не обращались — ничего не помогло. Умер сват... (бывальщина дана в пересказе; текст см.: РКВЗ, 278, Тамб.).

Есть одна просто замечательная история про паренька, которого спас от еретицы его ангел-хранитель. Было дело так... Сосватали парню невесту, а она до свадьбы самую малость не дожила, заболела и умерла. Однако ж перед смертью успела своим родителям сказать, что, раз уж не пришлось ей замуж выйти, заберет она жениха своего с собой. Пусть он по ней псалтырь читает. А парень в самом деле

В «Очерке демонологии Шенкурского уезда» (конец XIX в.) А. Харитонов (1848) так описывал типический «выход» мертвого колдуна в мир живых: «...покойник встает в двенадцать часов из гроба и ходит по жилу (по миру живых. — *А. Н.*) до первого крика петуха. ⟨...⟩ Вставший мертвец — еретик — спешит к бывшим родным; прогрызенною дверью он врывается в избу и прежде всего бросается к зыбке, если она есть в избе. Высосав кровь младенца, он за тем же обращается к прочим живым в доме. Первый крик петуха повергает его, окровавленного, на землю...» (цит. по: РКВЗ, 259–260).

Таким образом, еретик с вампиром особой разницы не имеют: и тот, и другой «заживают» после смерти и ведут по ночам весьма активный образ «жизни». А поскольку для поддержания жизненных сил им требуется постоянный источник их пополнения (= еда и питье), то они выбирают самое лучшее — кровь и плоть своих родных. Когда же запас иссякнет, сойдет любой попавшийся живой...



Рис. 47. Ерестун за трапезой.

грамотный был, ну и пошел, как позвали, читать по покойнице. Дорогой повстречался ему странник, расспрашивать стал, куда идет да зачем. Парень ему все как есть рассказал, а тот и говорит, что невеста-то была ведьмой и съест его теперь непременно. Испугался парень: как же быть, дедушка? А странник ему наказывает: станет покойница ворочаться — бросай читать и лезь под стол.

Вот настала первая ночь, все спать полегли, а парень псалтырь по покойнице читает. Как начала она шевелиться, он читать перестал и скорее под стол. Поднялась покойница, через стол перемахнула и парня везде ищет. Летала, искала повсюду, но так и не нашла. Вернулась, и прежде чем в гроб лечь, говорит: «Ну, такой-то сын, далеко спрятался, а найду! Врешь!».

На другую ночь парню снова идти читать, и опять ему странник встретился и совет дал, чтобы прятался от ведьмы под порог. Помог совет — всю ночь девка-ведьма жениха своего проискала, да так и не нашла. А парень под порогом отлежался...

Третья ночь приходит, парень идет читать. И снова попался ему навстречу добрый странник и сказал, чтобы спрятался он на этот раз на столбе где полочки положены, да чтобы псалтыри не бросал, а продолжал читать, как бы худо не пришлось. Вот в полночь ведьма заворочалась, поднимается. А парень уж на столбе сидит и читает псалтырь. Не видит его ведьма, разозлилась страшно, созывает всех своих подруг, чтоб нашли ей парня во чтобы то ни стало. Собралось ведьм — всю избу заполонили, да только не все собрались, одной подруженьки не хватает. Где, кричит покойница, где кривая?! Прилетела кривая сорокой, села на порог: чего от меня надо? — спрашивает. «Найди нам малого» — кричат. «Дуры вы, дуры, вот он, на столбе сидит». — «А как нам его взять?» — «Ищите лучинок, которые были бы с двух концов подпалены, несите сюда. Сейчас мы его возьмем». Ведьмы все в рассыпную и враз натащили целый ворох жженых с двух сторон лучин. Велит кривая ведьма лучины те поджигать и под столб, на котором парень сидит, подкладывать. Сидит парень ни жив, ни мертв — дело-то худое у ведьм спорится. Читает он псалтырь, а сам вроде как слышит, будто кто петуха кричать уговаривает, а петух говорит, что рано. Начал столб подгорать, того гляди повалится... Пропал бы парень, да только раздался крик петушиный и враз все ведьмы сгинули. А покойница лечь на место не успела, так и грохнулась головой об лавку, ногами оземь. На другой день рассказал парень обо всем, что с ним было в три ночи. Народ подивился, а родители признали, что дочь их была ведьма, потому как имелся у ней хвостик. Спас же парня его ангел-хранитель. Это он в последнюю ночь петуха уговаривал, а как не уговорил, сам петухом и прокричал... Видно, он-то парню и странником показывался и советы давал (бывальщина дана в пересказе; текст см.: РКВЗ, 229–230, Тул.).

Хорошо, когда ангел-хранитель так ревностно готов отстаивать вверенную ему душу, однако ж и человек, о чей душе так пекутся, должен для того немало потрудиться. А поскольку все мы люди грешные и далеко не всегда оказываемся достойными забот нашего ангела-хранителя, то вовсе нелишне нам кое-что знать о мерах, которые традиционно предпринимали для защиты от ходящих после смерти колдунов. А делали обычно вот что:

— если умер не дома, так его и в дом не вносили, хоронили на месте смерти;

— если умер дома, так выносили тело из дверей вперед головой, а не вперед ногами, как обыкновенных людей;

— как правило, не отпевали; если же все-таки отпевали, то в церковь не вносили, тело во все время службы находилось на дровнях перед церковью;

— по дороге на кладбище не раз и не два поворачивали гроб (то головой вперед, то ногами), чтобы не нашел дороги назад;

— бывало, что укладывали покойника в гроб ниц, чтоб не знал, где верх, а где низ, и не мог выбраться из гроба и выйти из могилы;

— подрезали под коленями жилы, чтоб мертвеца ноги не держали, причем делали это где-нибудь по пути, не доезжая кладбища; считалось, что если колдун и станет бродить, то дойти сможет только до этого места;

— подрезали опасному мертвецу пятки и натискивали туда мелконарезанной щетины;

— если на уже погребенного колдуна падало малейшее подозрение в том, что он начал ходить, односельчане раскапывали могилу, отрубали голову и клали ее мертвецу между ног, а тело затем прибивали к земле осиновым колом. Считалось, что осиновый кол в этом случае не просто лишал мертвеца силы, но разрушал костяк и «пришпиливал» его к месту, делая хождение невозможным. Ну и, конечно же, звучало при этом заговорное слово: «...Беру я, раб Божий, от дупла осинова ветвь *сучнистую**, обтешу *орясину** осистую, воткну сретнику в чрево поганое, в его сердце окаянное, схороню в блате смердящем, чтоб его ноги поганые были не ходящие, скверные его уста не говорящие, засухи не наводящие...»

Глава 9

КОЛДУНЫ, ВЕДЬМЫ И ЗНАХАРИ

Были люди в давние времена; кто есть кто; ведать — значит знать; откуда у них сила берется; еще раз о «помощниках»; сглаз, порча и тайное слово; отнимающие жизненную силу (о молоке, спорине и заломах); о том, как ущучить «автора»; они просто не могут не портить (несколько свадебных историй); оборотни по желанию и по неволе: волк, медведь, свинья, сорока и... кто еще? дела знахарские

Стану я, раб Божий, благословясь,
пойду, перекрестясь,
из дверей в двери, из ворот в ворота,
под восток, под восточну сторону.
Закрой меня, Матушка Владычица
Пресвятая Богородица, светлою твоею ризою
от колдуна и колдуньи,
от всякого злодея, супостата, злого человека...

Заговор на защиту от колдовства.

До сего момента речь шла в основном о различных духах, представителях «иного» мира. Теперь же пришел черед обратиться к тем, кто принадлежит миру «живых». Живут они, стало быть, среди людей, и в большинстве своем мало чем от окружающих отличаются. Однако их знания и возможности явно превышают знания и возможности обычного человека, ибо они обладают особой силой или, как ее еще нередко называют, «даром». Только вот использовать свой дар эти люди могли в разных целях: одни «тратили» его на добрые дела, а другие совсем наоборот...

Давайте определимся: в народном сознании существовало вполне четкое представление о колдунах и ведьмах, которые «коренным образом» отличаются от знахарей. Колдун, как правило, «трудится» добрым людям во вред, ибо силой своей обязан нечистому.[1] Про него так прямо и говорили: «...[колдун] никому и никогда

[1] В «Сказаниях русского народа» И. П. Сахарова излагается, судя по всему, заимствованное из европейских литературных источников представление о дьявольской Черной книге, как об источнике знаний (= силы) колдуна, породившее ныне подзабытое прозвище *чернокнижник*: «...люди, посвятившие себя тайным сказаниям чернокнижия, отрекались от Бога, родных и добра ⟨...⟩ В старину олицетворителей тайных сказаний оглашали разными названиями. Одних величали ку-

не делает пользы, а постоянно вред» (Балов 1901: 112–113, Пошехонье), то же, в сущности, можно сказать и про ведьм. Знахарь же, напротив, людям помогает, дар его считается полученным от Бога и идет всем творениям божьим на пользу: «[Знахари] работают в открытую и без креста и молитвы не приступают к делу...» (Максимов 1994: 146–147), «...он [знахарь] истинный христианин, он врач и благодетель для всей окрестности» (Забылин 1880: 221) и т. д.

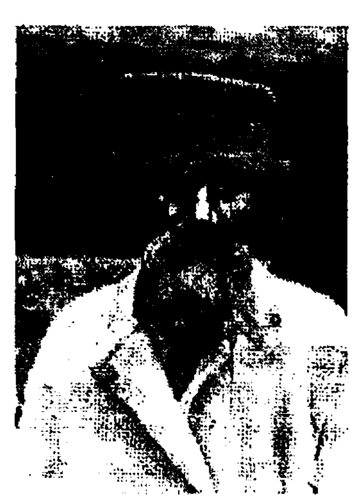


Рис. 48. Колдун.

В записях Н. А. Никитиной, собирательницы этнографических материалов по русскому колдовству, читаем: «Летом 1926 года я изучала быт... Нижегородской губ., и меня поразило, как велика там власть колдуна. Память о сильных колдунах, один взгляд которых убивал на лету ворона, и о колдунах, оборачивающих в волков свадебные *поезда**, насылавших мор на скот, живет до сих пор... Говорят, что теперь сильных колдунов стало меньше, но еще в 90-х годах прошло-

десниками, чародеями, ведунами, колдунами; других называли волхвами, ворожеями, знахарями, доками. Но все эти люди известны были под общим именем чернокнижников... Говоря о чернокнижниках, наши поселяне уверяют, что они научаются лихому делу от чертей и всю свою жизнь состоят в их зависимости. Заключая с [нечистым] духом условие на жизнь и душу, они получают от них (вернее: от него. — *А. Н.*) Черную книгу, исписанную заговорами, чарами, *обаяниями**...» (Сахаров 1997: 13). Оставим на время в стороне эту легендарную версию обретения колдовских знаний чуть ли не «из первых рук» прародителя Зла и обратим внимание на тех, кто попал в разряд «чернокнижников» — колдуны и знахари здесь в одной компании. И, естественно, возникает вопрос: как в этом случае быть с разграничением знающих на добрых и злых? Видимо, такое разделение не должно считаться исходным. Для народного сознания естественно ставить определение того, с кем имеешь дело — с добрым или со злым знающим — от того, на какие нужды направляет он свой дар. Ранее уже говорилось о присущей стихийным духам изначальной нейтральности и о зависимости приобретения ими положительного или отрицательного «знака» от человека, вступающего с этими духами в контакт. Это положение, судя по всему, применимо и к владеющим сверхъестественными силами: сама по себе сила нейтральна, но ее использование в добрых или дурных целях «окрашивает» ее обладателя в соответствующий «цвет», т. е. он обретает репутацию колдуна или знахаря в зависимости от собственных желаний и поступков. Это, в свою очередь, подтверждает справедливость того, что сверхъестественный дар обязывает своего владельца.

В плане разделения знающих на колдунов и знахарей, т. е. на добрых и злых, интересны этнографические и фольклорные свидетельства конца XIX – начала XX в., в которых колдун и знахарь предстают в качестве некоего смешанного типа: их функциональные характеристики могут совпадать, и сами они могут замещать друг друга. К тому же каждый из них по отдельности может оцениваться и как фигура положительная, и как фигура отрицательная. Наиболее ярко выраженной формой «слияния» добра и зла, и демонстрацией одновременного служения как «свету» (Богу), так и «тьме» (нечистому), пожалуй, следует считать допускаемую в народном сознании возможность быть колдуном священнику или дьякону (см., например, известные записи А. Колчина (1899) о колдуне-дьяконе, жившем в конце XIX в. в Тульской губ.).

го столетия были колдуны, слава которых гремела на весь околоток...» (цит. по: РКВЗ, 172).

Тому, что колдунов, ведьм и знахарей в прежние времена водилось много больше — «чуть ли не в каждом селении оказывается один или несколько...»,[2] — народ нашел вполне логичное объяснение: времена меняются, и жизнь соответственно пошла другая.

Взять хотя бы колдунов... Кому-то кажется, что «прежде жить было труднее, и поэтому находилось больше охотников с выгодой продать душу нечистому», другие полагают, что «попы нашли от них заклятье», а третьи вообще считают, что сама надобность в колдунах нынче отпала: «теперь много стало ученых людей, которые и предсказывают, когда ведро, когда *погода**» (Ушаков 1896; цит. по: РКВЗ, 206). Интересно, не правда ли, что альтернативой колдуну выступает именно «человек ученый»... Что ж, все справедливо — сила обоих в знании.

Колдуны — это те же *ведуны* или *знатные*, т. е. знающие (причем знающие практикующие) и, следовательно, обладающие силой, на которой держится их власть над окружающими: «[их] обыкновенно все боятся... и ругают только «за глаза» из боязни, чтобы они не сделали какого-либо вреда» (Завойко 1914; цит. по: РКВЗ, 301, Влад.). Чтобы там ни говорила осмелевшая в начале XX века деревенская молодежь, похваляясь, что, мол, колдуны теперь смирные («чуть что — сумеем расправиться»), страх перед силой колдуна был жив. И он был достаточно велик, чтобы давать пищу многочисленным рассказам о том, как человек за проявленную к колдуну непочтительность расплачивался счастьем, здоровьем, жизнью, и не только собственными, но и своих близких.

Вот, к примеру, такой случай. Он произошел в 1919 г., и, следовательно, может быть подходящей иллюстрацией того, как складывалось отношение к колдунам в начале XX в.: «Во время голода в селе Лукояновского у. комитет бедноты реквизирует у колдуньи Зыбиной 8 караваев хлеба. Пришли в ее отсутствие, взяли и ушли. Через несколько часов старуха пришла разгневанная в комитет. „Так-то ты, голубчик, поступаешь! Ну попомнишь меня!“ — обратилась она к председателю и бросила в него горсть земли. Старуха ушла, а крестьяне остались обсуждать происшедшее и решили, что председателю несдобровать. С этого дня он, молодой здоровый человек, стал хворать и через год умер...» (цит. по: РКВЗ, 203–204, Нижегород.).

Всем известно, как трепетно относятся колдуны к поддержанию своего высокого статуса, как чувствительны они даже к незначительным проявлениям неуважения. В записях той же Н. А. Никитиной читаем о другом характерном случае в Нижегородской губернии: «Собрались девушки, пряли под песни и гармошку. Марья (местная колдунья. — *А. Н.*) зашла зачем-то к хозяйке избы; девушки над ней втихомолку

[2] По словам крестьян, к примеру, только во Владимирской губ. в прежние времена одних колдунов насчитывалось что-то около 10–15 «штук», а то, может, и более — «до 50 в каждой волости» (Завойко 1914; цит. по: РКВЗ, 301).



Рис. 49. У колдуна.

подшутили, а старуха услышала. Уходя, она зачерпнула в ковш воды из кадушки, отпила и остатки выплеснула назад в кадку. Девушки, которые пили после нее воду из этой кадки, оказались испорченными. На вид они здоровы, но в церкви, во время пения „*херувимской**", с ними делался припадок. Они бились, ругались, мяукали; у них появлялась такая сила, что их еле сдерживали четверо-пятеро мужчин. Припадок продолжался, пока их не выносили из храма. На дворе они постепенно затихали и лежали ослабевшие, бледные, в холодном поту...» (цит. по: РКВЗ, 175, Лукоянов., 20-е годы XX в.).

Не менее поучительная история приключилась с одним извозчиком. Встретился ему в шинке колдун и захотел за его счет угоститься. Извозчику же то ли не досуг было, то ли он денег прижалел, а только не поднес колдуну водки, и все тут. Так

колдун свою силу ему показал: собрался извозчик в дорогу, из шинка вышел, а лошадок с места, как ни бился, стронуть не смог. Делать нечего, пришлось ему обратно в шинок идти и рассерженному колдуну угощение ставить (пересказ текста из материалов Д. Н. Ушакова; см.: РКВЗ, 212).

Случай почти анекдотический... Однако известны многочисленные истории, повествующие о происшествиях куда более драматичных. Как-то раз, например, вышло, что жених плачее денег дал мало. Плачея та была колдунья, и насчет денег она ему прямо сказала: «Мало». Ну, а мужик возьми да и брякни: будет, мол, с тебя. Решил, видно, что старуха с ним воевать не станет, да только не на ту напал — плачея ему пригрозила: «Ну потом меня вспомянешь». И как пообещала, так все и вышло. Ходит после свадьбы молодуха печальная. Свекровь приметила и давай ее расспрашивать, что да как. И та созналась: уж не одну неделю как замужем, а греха они с мужем по сию пору так и не сотворили. Немощь, значит, случилась у молодого. Стали его лечить, да только все без толку — не вылечили. И зачах потом мужик, умер... (пересказ; текст см.: Богатырев 1916; цит. по: РКВЗ, 305, Шенкур.).

Когда речь заходит о местных колдунах, в ход нередко идут рассказы о случающихся меж ними настоящих поединках-соревнованиях, устраиваемых для выяснения, кто из них больший знающий и, значит, большего почета достоин.

• «Сказывают про каких-то колдунов. Один говорит, что сейчас же может человека испортить, а другой, что может сейчас же вылечить. И перед ними... буханка хлеба. Один буханку испортил, буханка почернела, уголь. А второй говорит: „Я вылечу!" Вылечил. Буханка побелела. — „Ну-ко, разрежь!" Разрезал, а в середине черно. Вот, говорит, так и лечат. Только сверху заморят или не вылечат совсем...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 86, №327, Усть-Цил.).

• «Два [колдуна] заспорили... Один в Осокиной был, а другой — из Гляден. И заспорили, кто сильней. Видимо, у них тоже есть ето, у кого больше чертей... Тожо закупали скота-та. Вот говорит один: „У меня лягут коровы". А другой: „У Гляден"... Осокину коровы прошли, на Глядине легли, не пошли никуда. Вот так. Тожо знались... Один другого сильнее» (там же: 86, №328, Перм.).

• «У нас в дяревне жил дед. Яго звали Гришей. И пошел он в гости. Где-то в Зуях, в Зуях они сошлися. Да. И другой колдун пришел. И вот оны давай споритца. И вот наш дед и говорит:

— А ты хочешь, сейчас портки сденешь и в углу насерешь?

Вот, и етот мужик через несколько минут портки сдел, пошел в угол и давай срать в углу. Да, вот ето правда, истинная правда! О как люди знали! Только ето колдуны. Ето колдуны» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 342, №381).

• «...Вот у нас в деревне два колдуна ⟨...⟩ Вот, говорят, их на свадьбу пригласили, а они между собой поссорились. Один знат много, другой говорит: „Я больше". Один говорит другому: „Я сцас устрою над тобой. На-ка рюмоцку, выпей". —

„Давай“. Тот не трус, не боится. Выпиват. Все зубы до единого выпали. Склал да положил на стол... „Ну, — говорит другой, — теперь ты от меня выпей“. Тот рюмку только выпил, как раз его к окну и к потолку ногами подвесило. Подвесило к потолку ногами, вот так лягается и крицит: „Мне тяжело, сними меня, я не могу больше“. А тот говорит: „Наперво зубы вставь, а потом сниму я тебя“. — „Наливайте, говорит, рюмку“. Рюмку ему наверх подали, наговорил какие-то слова и говорит: „На, пей. Склади зубы в рот и пей“. Зубы встали на место. Другой и говорит: „Сцас я тебя тоже сниму“. Тоже рюмку подали, и он очутился за столом. Вот такие истории» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 86–87, №329, Арх.).[3]

Колдун, а то и не один, в деревне — дело, стало быть, обычное. Если верить многочисленным деревенским свидетельствам, знающим мог оказаться и сосед, и ближайший родственник, то есть свой человек, хорошо знакомый, с которым Бог знает сколько времени бок о бок прожито. Одна женщина рассказывала, как теткасоседка в один прием научила ее вежливости. Зашла как-то тетушка посумерничать и засиделась. Поздно уж, хозяйку в сон клонит — сил нет... «Я не могу лежать, она спати не ложится и домой не идет. Я и легла, пристала. А тетка-то: „Ксеньюшка, меня спровожай“. А я говорю: „У меня есть сну-то“. Она как ушла, я глаза *расчеперила**, до утра никакого сну нет. Она пришла утром спроведать: „Ну, каково спали?“ — Я говорю: „Ты ушла, я не засыпала“. — „Ха, ха, ха, у тебя не бывало, у

[3]Разновидностью рассказов о колдовских состязаниях стали в деревенской среде истории о сильных колдунах, которые могли «отколдовывать», т. е. исправлять, причем не только собственных рук дело, но и чужое колдовство. Надо сказать, что для слабого колдуна «исправительная работа» сильного может закончиться весьма печально, так как снятую порчу обычно возвращают автору. Так, например, в Болховском у. Владимирской губ. рассказывали, как один колдун через залом наслал болезнь на ребенка. Родители обратились за помощью к колдуну из соседней деревни. Тот взялся отколдовать, причем спросил, желают ли они, чтобы он «сделал» виновнику на смерть (тогда тот и трех дней не проживет) или на смех (три дня будет кататься, кувыркаться по улице). Родители не пожелали ни того, ни другого. Тогда колдун нашел залом, выдернул его и, бросив в ближайшее болото, забил осиновым колом. Ребенок на другой же день выздоровел, зато сразу слег колдун, наславший на него болезнь. Разузнав поскорее имя отколдовавшего, он обратился к нему за помощью. Тот велел найти в болоте пробитый им залом и вынуть кол. Только выполнив предписание, колдун смог избавиться от приключившейся с ним болезни (вольный пересказ истории из Тенишевского архива 1898; см.: РКВЗ, 197).

Колдун в данном случае обошелся с собратом довольно-таки мягко, однако этот случай нельзя считать типичным. Гораздо чаще бывает, что, взявшись отколдовывать, колдун пресекает зло в корне — или жестоко калечит наславшего порчу, лишая возможности колдовать в дальнейшем, или попросту его уничтожает. «И такой от еще случай был. У дядюшки одна корова сгибла, да, а вторая заболела. От он пошел в Малехово... к колдуну. — „Ладно, — говорит колдун. — Я приду завтра уже!“. Ну, он приходит. Да. Корова заболевши. Он поглядел. Сейчас, говорит, она [испортившая корову] сюда придет, мол. Придет за молоком к тебе (а у их свои коровы тоже). Ну, сперва, говорит, не давай, а потом дай! Ну, являитца Валя. — „Андрей... Дай молочка! Коров выпустила и забыла подоить...“ До дому Валя дошла. — „Я сейчас ее, — говорит [колдун], — приберу!“ И она умерла. Да. — „Я, — говорит, — ее сейчас! Хватит ей чудить!“» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 330, №357).

меня ночевало". И больше после этого всё, стала кажного провожать» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 93, №352, Усть-Цил.).

Был случай, когда сватья родичам коров портила, — уж больно хороши, видно, были коровы, а то, может, почету ей от родственничков не достало, кто знает... Да что там сватья, рассказывали, как сестра на братниной скотинке свои силы пробовала, а матушка-старушка доила по ночам коровок у сына, и так ловко, что хозяевам наутро с бедной животины ни капли было не выжать...

Или вот с женщиной вышла такая история: не приглянулась она чем-то бабушке мужа, и та «сделала» молодым «на разлуку». Мужик помучился, помучился и собрался-таки уходить. И ведь, что интересно, — нет жены, так истоскуется весь, а как она домой придет, так говорит, видеть ее не может, все ему вместо жены пестрая змея мерещится... Бить начал. Разве ж это жизнь? Разошлись, конечно. И все родная бабушка сделала: не по ней оказалась молодка, так изломала собственному внуку судьбу, не пожалела...

Другая женщина, сибирячка, рассказывала, как по молодости она соседа-колдуна обидела. Вышло все, можно сказать, ненароком, а как он за ту обиду отплатил — ей до сих пор помнится: «Мы вон в тех домах жили... Оттуда я пришла замуж-то... невестки у меня две были, а я уж как младшая была. Приходит этот старик. Ну, ить ишо молодуха, да не хозяйка, правду надо говорить. Хоть и до вас доведись: есть в дому хозяин, надо же приклоняться к кому-то. Не сам же ты хозяйничаешь, а тобой распорядятся как... Он приходит да говорит:

— Молодуха, подай мне вина.

Я говорю:

— А я вином не командую, *никово**.

Он говорит:

— Ты подашь или нет?

Я говорю:

— Сказала, не подам никово. Иди к ей (невестка была), подаст дак подаст, а я не подам.

А свекровка сидит да и говорит:

— Она ишо не хозяйка.

А он просто сусед и все. Ну, как сусед и сусед. Ну и все. А мы ишо не венчалися ⟨...⟩ Он потом и говорит:

— Что, не подашь?

— Нет, не подам.

— Ну и попомнишь меня. Попомнишь. Да ишо как попомнишь!

⟨...⟩

Ну и че? Свадьбу-то стали играть-то. Надо ехать венчаться. И вот, где эта водокачка-то стоит, до моста-то, до кустов доехали — кони стали и все. Стали и

стоят. Вот пляшут с ноги на ногу и никуда! Никуда не идут и никово! Потом старик же подошел, какой-то прутик выломил, этих коней жгнул, этот прутик дал: „Не ругайтесь“. Поехали, доехали ⟨...⟩ ...надо к венцу идти – на меня дур навалился какой-то: ноги отнялись, руки отнялись. Я на ноги стать не могу. Вот не могу стать! Дурочка сделалась. И вот хоть ты что хошь! ⟨...⟩ К налою подвели. Поп-то спрашиват:

— Дружелюбно ли нет вы венчаетесь?

Ко мне подойдет, а я говорю:

— Нет!

⟨...⟩ И венчать не соглашаются никово. ⟨...⟩ Деверь к нам подошел:

— Венчайте, — говорит, — с ей че-то получилося. Совсем она не така была.

Ну вот никак! Потом тут старуха кака-то взялася, повела меня, увела в сараюшку... Разула меня, каки-то мне стельки наклала, деньги... Я пойти-то пошла, а все равно... Как дурочка, сделалась и все... Ну че? Так и получилось, как он [колдун] сказал...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 200–202, №295).

Эта соседу-колдуну вина не налила, а другая соседа-колдуна жареной картошкой не попотчевала, так тоже на всю жизнь урок получила: «...Картошку жарила в печке. Он заходить:

— Ванихфатьевна, те меня покорми, дай картошечки.

Она картошки не дала, еще его поругала.

По ягоду пошла, а он и говорить:

— Ну, иди по ягóду, Бог с тобой, иди.

Она только из двери вышла... видит: пташечка маленькая тут перед ней летаеть ⟨...⟩

— Ты иди-ка! Че это пристала!

⟨...⟩ Она шла, и шла, и шла — она тут перед ней летить и летить, эта пташечка. Пришла, *голубицы** — ой, синем-сине! Ступить негде!.. Наклонюсь — никого нет. А эта пташечка все перед ней да перед ней. ⟨...⟩ она за ней идеть. Она впереди летить и летить. Солнце зашло — она за деревней, за пять километров!.. А оттудава до дому пришла ночью ⟨...⟩

Вот он какой был! Страшно! Это не дай Бог! Ей-богу, я сама на неделю голодом останусь, а его покормлю...» (там же: 229, №334, Сиб.).

Не уважить, не угостить, не дать желаемого... Во всем можно отыскать причину для обиды и наказать обидчика, чтоб другим не повадно было. Как тут не бояться, если задеть колдуна легче легкого, а силу свою продемонстрировать — для него чуть ли не удовольствие? Некоторых колдунов и без всяких причин тянет себя показать, потрясти народ своими возможностями... Про одного такого, например, чего только не рассказывали...

«Вот сядет [человек] на *гобец**, у печки, и сидит, как мертвый, — хоть кто. Тихон [колдун] подойдет, по носу поколотит и говорит: — Убирайся! — Тот встал и — в дверь, просто вышибат!

Потом говорит:

— Хотите, скажу, чтобы на воротах повесился — и повесится?

— Но, зачем же!

Захочет, чтобы козуля из тайги прибежала — вот она, у крыльца! Выйдет на крыльцо — и убьет, занесет!

За границу ходил, никто его не мог убить. Стреляют, а он стоит. Семеновцы не могли расстрелять...

Обойдет *табор**, и никто туда не войдет...» (там же: 228, №332, Сиб.).

Зная про такие страсти, кто может быть уверен, что против колдуна устоит?[4]

Рассказывают, как однажды (дело было зимой 1887 г.) в небольшое с. Песчанка Саратовского у. занесло знахарку из близлежащего городка. Село оказалось местом весьма прибыльным, поскольку там нашлось немало желающих у знахарки полечиться. И вот, осмотревшись и оказавшись женщиной оборотистой, знахарка объявила, что готова враз повывести из Песчанки всех колдунов и ведьм, которых, как ей удалось заметить, развелось в упомянутом селенье, что собак нерезаных. И оказать столь ценную услугу местному обществу она была готова всего за 10 руб. Поразмыслив над заманчивым предложением, общество ответило отказом: «Мы дадим 10 рублей, да их души лягут повинностью на миру; так пусть лучше останутся» (Минх 1890; цит. по: РКВЗ, 285). Вопрос по сути дела риторический: чем, если не страхом перед колдовской силой, объясняется «практичное» нежелание жителей села лишаться своих колдунов и ведьм?

Было в прежние времена предание, будто колдуны и ведьмы «завелись» сначала в Киеве, и уже оттуда разбрелись по всей земле. Видимо, не вполне доверяя возможности колдунов «заводится» просто так без причины, народ нашел еще два–три варианта объяснения того, как становятся колдунами и откуда берется колдовская сила. Если изложить вкратце, получается такая картина:

— бывают колдуны «прирожденные», от рождения[5] обладающие колдовскими

[4] По народному представлению, все же есть особая категория людей, на кого колдовские чары не действуют. Это первенцы. Интересно, что преимущество первородства распространяется и на животных, в частности, на собак. Колдуны и ведьмы сами могут оборачиваться собаками, причем в таком облике они для обычных собак, необоротней, не уязвимы, окажись вокруг хоть целая свора. Однако собак-первенцев, т. е. первыми появившихся на свет у впервые щенящейся суки, они боятся и старательно обходят стороной дворы, где таких собак держат. Говорят, что даже их лай оказывается страшен, особенно для ведьм. Поэтому они при первой же возможности стремятся выкрасть щенка-первенца, чтобы разом избавиться от возможных проблем.

[5] Представления о существовании прирожденных колдунов распространены в народе мало, мешает убежденность в нечистом источнике колдовского знания. Кроме того, серьезным аргументом против их существования является мнение, что родится колдуном нельзя, ибо «нечистый не мо-

знаниями; их меньшинство, и их не надо смешивать с наследственными колдунами; — большинство же становится колдунами, перенимая знания у других колдунов, или, без обучения, заключив договор с нечистой силой напрямую.

Прирожденным колдуном считают родившегося от колдуна или ведьмы, подразумевая неизбежную «дурную наследственность» — яблоко от яблоньки, как известно, далеко не падает — что может родится от соития человека и дьявола?.. Случается, что прирожденным колдуном оказывается ребенок, проклятый собственной матерью еще в утробе. И незаконнорожденного, родившегося от третьего поколения незаконнорожденных, живущих вне брака, тоже считают прирожденным колдуном, в ряде областей такого называют «рожак», в других — «самородок». Говорят, он появляется на свет уже отмеченным, так как у него есть маленький хвостик.[6]

Наследственными колдунами считаются те, которые получают колдовскую силу от родича-колдуна, как бы наследуя ему, поскольку это происходит обычно перед

жет погубить души невинного младенца» (Ушаков 1896; цит. по: РКВЗ, 206–207). Ребенок — душа ангельская, и нечистая сила не в состоянии заставить его творить зло, однако может отнять у него разум. Так, например, в Калужской губ. считали, что ребенок «на всю жизнь останется дурачком», если колдун попытается передать ему свое колдовство. Этому представлению несколько противоречат многочисленные истории, в которых именно ребенку колдун передает свою силу, правда, в большинстве этих историй ребенка приходится спасать от атакующей его нечисти. Но об этом уже говорилось в главе 8, об опасных мертвецах.

[6]О хвостах, имеющихся у колдунов и ведьм, представления довольно противоречивы: то они есть, то их нет. Вообще, хвостик, который был бы у колдуна с самого рождения, упоминается в рассказах очень редко, зато о хвостике ведьмы говорится часто, он несомненно подтверждает то, что это настоящая природная ведьма. Одна старуха рассказывала: «К счастью, в наших местах ведьм почти нет, а если и есть, то не так опасны. Вот за Курском их много. Я была молодой девушкой и работала там с двумя своими подружками на *бакше**. День был жаркий, и мы втроем в обеденное время пошли купаться на речку Слопу. Купаемся этак, а поодаль от нас купается девушка, только одна. Она с нами работала на бакше, и все наши работницы ее звали ведьмой — „природной ведьмой, с хвостиком". Я и говорю подругам: „Поймаемте ее и посмотрим — правда ли, что у нее есть хвостик". Поплыли мы к ней вдоль речки, а она заприметивши нас, пустилась наутек. „Не уйдет, – говорю я, — от нас всех!". Гоняли, гоняли, насилушку поймали и стали ее осматривать. Увидели у ней назади небольшой хвостик, с указательный палец, весь в серенькой шерсточке, как раз похож на заячий. Вот какие бывают природные ведьмы» (Колчин 1899; цит. по: РКВЗ, 225, Тул.).

Существует также мнение, что у колдунов, которые не являются рожаками, тоже может начать отрастать хвост. Расти он будто бы начинает с момента первого применения колдуном колдовской силы, и впоследствии, видимо, в зависимости от частоты и качества ее использования, хвост может достичь весьма «почтенных» размеров.

Что касается отмеченности колдунов («Бог шельму метит»), — хвост не такая уж обязательная отметина, гораздо чаще предостерегающими «знаками» считаются уродство, хромота, рыжий цвет волос, косоглазие или слепота и разные другие врожденные или полученные в результате болезни недостатки, — «они вообще-то все страшны, эти чудны-то люди...». Нет смысла объяснять, что человека, отмеченного подобными «знаками», следует опасаться, но, что особенно интересно: если у человека вообще отсутствуют какие бы то ни было отметины, — это вовсе не означает, что душой он чист и светел, он вполне может оказаться страшным злодеем, но только окружающие об этом ничего знать не будут... (РКВЗ, 267–268).

смертью последнего. Умирающему, чтобы передать, достаточно взять наследника за руку и сказать: «на тебе», «возьми» и т. п., или отдать ему предмет, в котором заключен колдовской «дар». Правда, есть тут некоторая загвоздка: похоже, что для совершения передачи нужна готовность обеих сторон, как сдающего, так и принимающего, сделать это против воли, судя по всему, невозможно.

О том, что колдун, не передав свою силу, никак не может умереть, мучается долго и страшно, всем хорошо известно. Но, несмотря на это, его дети, внуки или другие ближайшие родичи, которым колдун желал бы передать колдовство в наследство, вовсе не жаждут это наследство принять. Так, например, в 20-х годах XX в. в Лодейнопольском у. пастух-колдун Петр Борисов вынужден был отказаться от давней мечты передать свою силу родному сыну — сын-красноармеец никак на это не соглашался. Видимо, совсем отчаявшись, колдун попытался предложить ее И. И. Козьминскому, сотруднику музея Антропологии, собиравшему тогда в этом районе этнографические материалы (РКВЗ, 182).

Довольно частая в рассказах про колдунов ситуация: родственников, желающих принять колдовскую силу, не находится, и колдун или передает ее подходящему на его взгляд чужаку, или обманом всучивает наследство любому случайно подвернувшемуся, даже ребенку. Одна старуха, получившая «знание» именно таким образом, рассказывала: «Был дедушка у них... колдун. И вот он, когда помирал — шибко долго помирал, не мог помереть. Как вот кто в избу зайде... он:

— Нате! Подойдите ко мне! Нате! — Но уж все знают, че он колдун, там сыновья, невестки. Никто к нему не подходит, уходють. А я, гыт, была девчонка, може, лет там девять мне было, я забежала хлеба кусочек взять, а он:

— Хвеня, подойди ко мне! На! — я, говорит, подошла, он меня за руку взял — я все знать стала!

⟨...⟩ Но, грит, ничего не соображала ⟨...⟩ ...думала, че он давал, а он за руку мене взял, мне все передал... А ему легче помереть. Он помер» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 256, № 365).

Может колдун скинуть свою силу и на неживой предмет. Любой, кто возьмет затем этот предмет в руки, примет с ним вместе и колдовской дар. Так, другой колдун, тоже пастух, только уже из Михалкина Майдана (Нижегородская губ.), славившийся своей силой на всю округу, отказался «сдать» ее кому-нибудь из близких, хотя племянница его очень об этом просила. Даже лежа на смертном одре, он не расставался со своим пастушьим батожком, никому его не давал. Племянник, вынувший батожок из холодеющих дядюшкиных рук, неожиданно для себя самого сделался колдуном... А колдун из Ямбургского уезда пожелал передать свое колдовство *миру**, но не сошелся в цене и спустил все с веника на воду (Зеленин 1917; см.: РКВЗ, 183).

Наиболее широко распространено в народе представление о том, что колдовству можно научиться. И хотя считается, будто наученный колдун не может сравниться

по силе с колдуном прирожденным, все же способ обретения колдовской силы через ученичество самый известный.



Рис. 50. Колдун, указывающий ученику полезать в печь.

Итак, колдовство можно перенять у какого-нибудь колдуна, который не прочь взять ученика. Бывает, что колдун отказывается учить, но чаще он очень даже не прочь подготовить себе преемника, особенно, когда человек приходит к нему сам в надежде изменить свою жизнь, ощутить власть над людьми, получить желаемое...

На стадии передачи простейших приемов колдовства все проходит гладко, и проблем, как правило, не возникает: «...напоил, накормил и говорит: «Возьми от меня колдовство, будешь барином жить (...) ему все рассказал, как всех травить, чтоб вси его боялись, вси *стихи** ему рассказал. „Теперь иди, — говорит, — в гумно, влезай в дверь, и будет все хорошо...“» (Мифологические рассказы и легенды Русского Се-

вера 1996: 80, №305, Новг.). Хорошо-то оно хорошо, только сам момент посвящения в колдуны для большинства оказывается испытанием непосильным — от посвящаемого требуют отречения от Бога, от отца и матери, от всего своего рода «от 12-ти колен»; заставляют снять нательный крест, встать ногами на икону или стрелять в нее из ружья; велят лезть в пасть чудовищного существа — свиньи, собаки, жабы, и черт знает, что еще проделывать...

«Жили два кума: один колдун, а другой нет. Неколдун и говорит колдуну: „Научи меня, кум, колдовать“. — „Если будешь исполнять все, что я тебе ни скажу, и отречешься от роду, то и будешь уметь колдовать“. — „Исполню все“, — ответил тот. „Так слушай: завтра, как встанешь, возьми икону с божнички и беги на перекресток; там на самой середине перекрестка положи икону вниз ликом и стань на нее ногами и стой, пока не придет к тебе „ён““ (черт. — *А. Н.*). На другой день мужик так и сделал, как говорил кум. На перекрестке ему не пришлось долго ждать. Он слышит голос сзади себя: „Исполнил ли все то, что я тебе говорил?“. — „Исполнил“, — отвечает мужик. „Ну, лезь сюда!“. — Мужик обернулся и увидел сзади себя большую собаку с разинутой пастью. Испугался он и взмолился: „Да Господи, куда же я полезу!“. Собака тотчас провалилась, а мужик, не сделавшись колдуном, пришел домой и стал чахнуть. Почах, почах, да через год и умер» (Колчин 1899; цит. по: РКВЗ, 224, Тул.).

Получить колдовской «дар» можно и без учителя-посредника, напрямую заключив договор с нечистой силой. Согласно этому договору, в распоряжение колдуна поступают так называемые помощники, которых он обязан обеспечивать работой и волен использовать на любую свою надобность. При этом он должен помнить, что по смерти сам поступит в распоряжение этой нечистой силы. Заключение договора происходит не вдруг и не сразу, будущему колдуну обычно приходится изрядно потрудиться: в течение нескольких ночей ходить к перекрестку, в баню или на кладбище, вызывать там Сатану и просить у него помощи, многократно отрекаясь, как уже было сказано, от всего святого и самого дорогого. При этом он дает расписку кровью, «которую кладет себе на голову; расписка исчезает: ее берет себе сам Сатана» (Тенишевский архив 1898: папка 2546, №193): «Ну, это говорит... черт: „Вот, давай распишися, что отдам душу свою“. — „Ладно“. — „И чтобы была и семья вся моя“...»[7] (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 346, №389).

[7]Описание всего того, что должен проделать неофит, не оставляет сомнений в однозначно черной «окраске» колдуна. Взять хотя бы известные записи из Тенишевского архива (1898), которые перечисляют все этапы посвящения в последовательности и в подробностях: «Желающий стать „виртником“ (так... называют самых сильных колдунов, чары которых почти неизлечимы) должен проделать следующее: нужно пойти в глухую полночь, лучше всего осенью под Семин день, к „расстоням“ (распутью), где расходятся непременно шесть дорог в честь нечистых духов: первого — Вельзевула, князя тьмы, второго — духа хитрости, третьего — духа лжи, четвертого — духа болезни, пятого — духа сглаза, шестого — духа злобы, — и, став посредине, вызвать одного из них. Когда дух явится, то желающий быть виритником, повернувшись на левой ноге, должен сказать:

О «помощниках», которые оказываются в распоряжении колдуна или колдуньи, речь заходила и раньше, поэтому нет необходимости рассказывать, как они могут выглядеть, где и как их получают, или заново перечислять все их возможные названия. Замечу только, что отношения между колдуном и его «подчиненными»[8] не

„Я желаю быть виритником; что мне для этого нужно сделать?" Нечистый учит его: „сначала нужно принести на распутье" в жертву неощипанного петуха со стоячим гребнем, которого нужно украсть у попа в то время, когда поп служит в церкви обедню. При этом петух не должен кричать. Виритник крадет петуха и опять в полночь является на „распутье"; он должен употребить все силы на то, чтобы петух не кричал. Если петух запоет, черти разорвут виритника на клочки. Взяв из рук виритника петуха, нечистый разрывает его на шесть частей и разбрасывает их на шесть дорог. В это время виритник говорит: „Жертвую тебе, господин мой, слугу божию, делай с ним что хочешь, а я верный раб твой" ⟨...⟩ Раздается оглушительный свист, визг и топот. Все шесть духов налетают на жертву, съедают ее и затем исчезают. После этого нечистый дает виритнику шесть петушиных перьев из хвоста, пережженных на адском огне, и приказывает их съесть. На следующую ночь виритник опять идет на распутье и несет с собой овцу. Нечистый и ее разрывает на шесть частей и разбрасывает по шести дорогам. На этот раз виритник съедает жареный овечий хвост. На следующую ночь нечистый приказывает ему принести с кладбища человеческих костей. Непременно принадлежащих его родственникам ⟨...⟩ Нечистый толчет их в порошок и отдает виритнику, чтобы он употреблял, когда будет „портить". Прежде всего он должен испортить этим порошком самого дорогого человека в своей семье; если он его пощадит, нечистый может погубить его самого. Затем он должен снова придти на распутье и принести свою рубашку. Нечистый ее сжигает, затем надрезает на его левой руке рубец и, взяв крови, пишет условие, по которому виритник должен принадлежать ему душой и телом при жизни и по смерти, в случае же измены — он сгорит, как его рубашка. После этого нечистый берет золу от его рубашки и засыпает ее в надрез на руке. Теперь человек становится виритником» (цит. по: РКВЗ, 184–185, Орлов.).

[8]Кто кому на самом деле подчинен — это даже не вопрос, из рассказов о колдунах хорошо известно, насколько несвободен оказывается колдун, получивший помощников. Кроме того, вся эта «подневольная» нечисть отлично разбирается в натуре своего хозяина: окажись тот малоопытным и мягкотелым, она моментально нащупает «слабое звено» и будет использовать его в своих целях, пока не измотает вконец и не возьмет над человеком верх.

И постоянная забота о том, чтобы помощники были заняты, становится для колдуна настоящим наваждением — «...не дашь работу, они тебя *затерющат**, жива не будешь». Говорят, что черти «приступают» к колдуну с требованием работы каждый 10-й и 40-й день. Соседка одной колдуньи рассказывала, как та выходила на гумно и оттуда слышались ее вздохи: «Не лазьте, не лазьте! И на плечи-то, и на голову!.. Всем дам работу...» Про другого колдуна рассказывали, что по утрам в праздники, когда весь честной люд шел в церковь, он шел в баню или в овин, из которых начинали разноситься голоса и звуки гармони. Односельчане, качая головами, объясняли все это безобразие тем, что «это он своих шутов потешал». Его сын, не меньше батюшкиного славившийся как сильный колдун, в праздники тоже не в церковь ходил, а в лес. Жена на него, говорят, тогда страшно ругалась: «Погоди, окаянный, будешь нянчиться со своими чертями, издохнешь в лесу!» То ли слова те были сказаны, что называется, «Богу в уши» (т. е. от души, в нужное время да в нужном месте), то ли момент настал, когда не смог колдун чертей своих ублажить, а может, просто срок ему вышел, но только однажды нашли его в лесу мертвым...

А еще рассказывают всякие страсти про новолуние. Говорят, будто в это время помощники имеют возможность пусть не в полную силу, а потешиться над хозяином или хозяйкой: колдуна они таскают за бороду, да так рьяно, что того и гляди отвалится, а ведьме «пересчитывают» зубы, причем не мелочатся — стараются вышибить их вместе с «салазками», т. е. берутся за всю челюсть (РКВЗ, 244, Орлов.).



Рис. 51. Ведьма, подкармливающая своих помощников.

так просты, как на первый взгляд кажется. Например, колдун, как правило, лишь в самый момент смерти узнает о том, каков подлинный облик той бесовской силы, что находилась у него в услужении.

Даются помощники исключительно для дела: колдуны посылают их «народ смущать», сеять раздор, возбуждать всяческие недуги и т. д. Стоит только напустить помощников на человека или на скотину, и начнет скотина бесится, а человек разболеется — станет его всего ломать да выкручивать, будет метаться, рвать на себе одежду, кричать... И если колдун не отзовет своих чертей — пиши-пропало.

Поскольку помощники, требуя работы, надоедают своему хозяину постоянно, колдун, чтоб «отшатилась» нечистая сила, норовит изобрести для них что-нибудь позаковыристее: приказывает им собирать рассыпанное семя или рассеянную по полю муку, носить зааминенным решетом воду, чтобы залить воткнутый в землю кол, вытягивать до нужной длины старую деревянную колоду, посылает веревки вить из песка и пыли, или отправляет в еловый лес хвою пересчитывать[9], всю...

«Он колдун. Шишки́ к яму ходили за работой: ...где что кого поделать, где

Ну, а что помощнички делают со своими хозяевами, когда тем приходит конец, про то даже упомянуть страшно...

[9]Надо сказать, что с последней задачей помощники справляются легко, если только во время работы не встретятся им крестообразные сучья. Тогда, говорят, они счет враз забывают и вынуждены, хвост поджавши, вернуться к хозяину с извинениями (Влад.).

кому что начудить. Ну от... А дал им работы: семя мяшок рассыпал. Так ну, за онну минуту оны побрали ето семя. Опять нет спокою мужику: опять работы давай.

— Да, — говорить, — от я надумался... Таперя хоть мне спокой есь. С пяску им дать вяревки вить. От хорошо таперь мне! Спокой хоть оны дають — не могуть свить вяревки! Хоть спокой мне таперь.

А семя побрали (в болото-то высыпал мяшок) как... за онну минуту побрали!

Да! От как нет шишкув! Есь!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 345, №386).

Вообще про поразительную активность этих самых шишкув и про то, как колдуны с ними управляются, много всякого рассказывали. Вот случилась в 1924 г. в Валдайском у. такая история. Привезли, значит, к больному колдуна. Тот посмотрел, пошептал-полечил, и сел чай пить. Чай-то пьет, да больно странно себя держит: с рукава что-то сдувает, кого-то от чашки отгоняет, ворчит: «Оставьте, отвяжитесь, будет вам! Дома напою!». Как чаю отпил, и надо хозяйке его назад везти, просит он у нее в дорогу восьмушку льняного семени: мальчики, мол, все приставали ко мне за столом, а я им чаю так и не дал, и теперь могут они нас по дороге съесть, потому как голодные да злые. Я им семени льняного по дороге набросаю — пусть берут, а дома все верну, не бойся. Они его не едят...

Так после уж хозяйка рассказывала, что стоило им въехать в лес, велел ей колдун лошадей гнать, а сам, привставши, принялся бросать на обе стороны льняное семя. Бросает и кричит на весь лес: «Жрите! Жрите!». Лошади так неслись, что женщине даже оглянуться страшно было, но она слышала, как мальчики лезут на воз и тянут с него сено... Только когда они проехали лес, колдун коней придержал и сказал, что мальчики, наконец, отстали.

Приехали они в деревню, завел колдун женщину в дом, на теплую половину, а сам на холодную идет. Через полчаса возвращается с восьмушкой семени, отдает хозяйке и говорит: «Спасибо, что дала, а то бы они нас съели! Теперь поезжай, не бойся. Они здесь».

Вернулась женщина домой благополучно (история дана в пересказе; текст см.: РКВЗ, 191).

Что касается колдовства в действии, то, по народному представлению, на колдуна «будто что накатывает»: «Прет из него эта сила, беда тогда попасться ему на глаза, — родную дочь испортит». Опасаясь подвернуться колдуну в такой момент, односельчане даже мимо его окон старались не ходить, ведь «не ровен час, попадешь ему на глаза... одним взглядом испортит»[10]

[10]При описании внешности колдуна его глазам, как правило, уделяется особое внимание: то они «юркие», то какие-то «мутные», то, наоборот, «блестящие, пронизывающие» и горят, как огонь, а, если приглядеться, в них будто «струйки» текут — это «ангели кверху ногами сдаются (кажутся) (вариант: не ангелы, а мальчики! — *А. Н.*)». Судя по всему, именно в глазах колдуна народ видит если не сосредоточение, то знак пребывающей в нем силы. Так, в одном польском предании колдун

(запись Н. А. Никитиной; цит. по: РКВЗ, 189–190, Лукоянов., Нижегород.).

«У нас в Хмелинках, рассказывают крестьяне, колдунов на половину деревни — страх как много! И колдуны все мелкие: кто куклы в хлебе вяжет, кто скот портит, кто какую-либо одну болезнь наводит на баб или мужика и пр. Многие умеют из них только хорошо сглазить всякое дело, так что после их глаза ничего путного не выйдет...» (Колчин 1899; цит. по: РКВЗ, 241, Тул.). Известное выражение «берегись, как глаза» вовсе не пустое сравнение, опасность оказаться сглаженным была в народном представлении реальной и вызывала неподдельный страх, тем более, что многого тут вовсе не требуется. По деревенским дворам и сегодня ходят безыскусные истории про сглаз, как про самое обычное дело:

• «...У меня вот Клава родилась. Дак хоть бы кто чужой пришел, своя же пришла, братанова жена. Я ее [Клаву] положила так на подушки, она лежит, а она [невестка] говорит:

— Ой-е-ей! Ты че ее на подушку-то бросила? Хоть бы закрывала ли че ли.

Я говорю:

— Че ей сделается?

Она ушла — девка реветь, и реветь, и реветь, и реветь... А потом бабка пришла, изладила, кого-то попрыскала, и девка не стала реветь.

А она [невестка] потом сама же... и говорит:

— У меня глаз чертовский. Своего-то ребенка, ежли мокрый дак родится, дак мне не показывают...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 137, №196)

сам вырвал и зарыл свои «очи», потому что все, на что бы он ни глянул, оказывалось безнадежно испорченным...

Кстати сказать, уже упоминавшийся выше виритник — это не просто «самый сильный колдун, чары которого неизлечимы», виритником называли, как правило, колдуна «с особо ядовитым взглядом». Рассказывали, что если, не приведи Господь, такой рассердится на деревню, то может истребить ее полностью в течение месяца. И даже пролетающие над деревней птицы будут падать на землю мертвыми (Гольцман 1996: 121).

Много рассказов, подтверждающих представление о колдовской силе, как особом знании, и о том, что присутствие этой силы (= знания) видно по глазам колдуна: «У ково струйки в глазах, у тово не учись. Я видел пьянова мужыка (он спросил): „Хочеш я тебя словам научу?" Я посмотрел: в глазах эдаки струи. Я и сам знаю, потом спросил, что этот за человек, а хозяйка сказала: „Он нехорошый, с нехорошым (с чертом. — *А. Н.*) знается..."» (Богатырев 1916; цит. по: РКВЗ, 303-304, Шенкур.). Пожалуй, самое четкое определение связи глаз колдуна с его колдовской силой удалось обнаружить в белорусском веровании, согласно которому колдун колдует как раз, «когда кроў яму вочи зальецъ, когда нячистая сила к голове подступиць, у головы ударицъ...» (цит. по: РКВЗ, 190).

В таком состоянии, когда на него «накатывает», колдун действует словно в забытьи или в помрачении: воля его оказывается в полной власти у нечистой силы, и сопротивляться охватившему его желанию вредить колдун в такой момент не может, а если и попытается, то, как правило, это приводит его к гибели.

Страх перед взглядом колдуна породил своего рода ответное представление, что колдун будто бы и сам избегает смотреть в глаза собеседнику без особой на то надобности...

• «Он... говорил, признавался: „Мне лучше не смотреть на мокрого жеребенка, на теленка, что только родились. И не хочу худа сделать, а все равно глаз такой — пропадут тот же жеребенчишко и телок"...» (Еремеев 1990: 271, Сиб.).

• «Однажды ко мне племянница приехала, а Паланья (соседка, местная колдунья. — *А. Н.*): „Дай мне твою девку посмотреть". И только ушла, как девке плохо стало, и рвало, и метало, насилу спасли...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 82–83, № 313, Новг.).

От недоброго взгляда, т. е. от *сглаза, прикоса, призора, урока,* могли происходить самые разные болезни, начиная от внезапного насморка или кожного высыпания и заканчивая необъяснимым недомоганием, быстро сводящим в могилу. Сглазить можно все, что угодно и кого угодно,[11] но, как спра-

[11] Легко заметить по приведенным в тексте примерам, что особенно подвержены сглазу маленькие дети (то же относится и к животным), видимо, в силу своей слабой защищенности. Чтобы усилить защиту ребенка в верованиях любого народа существовала развернутая система запретов, а также имелись самые разнообразные приемы и средства, известные с глубокой древности и не забытые до сих пор. Возможно, некоторые из приведенных ниже способов защиты покажутся читателю несколько экзотичными, а некоторые — очень даже знакомыми:

• маленького ребенка старались не выносить из дома на люди, во всяком случае, не показывать его чужим (хотя бы до истечения первых двух месяцев), а колыбель или кроватку непременно занавешивали;

• новорожденного предпочитали заворачивать в пеленки из чего-нибудь старого, уже изрядно ношеного родителями исподнего (в рубаху, например), причем даже лучше, если в дело шла вещь не стиранная, еще хранящая тепло и запах родительского тела;

• над дверьми, на стене или на воротах дома, где требовалась усиленная защита, рисовали фаллос или обозначали его знаками; а на детскую шейку еще со времен античности принято было вешать амулет с аналогичным изображением (в Британском музее хранится такой, он был найден в турецком городе Тарсусе, изображение на нем весьма символично — два фаллоса в элегантных костюмах распиливают огромный глаз);

• черной, красной, желтой, белой или голубой краской на ребенке (на его лице, руке или ноге) ставились отметины (точки, звезды, крестики и т. п.), способные, как считалось, защитить его от дурного глаза; именно с этой целью в Персии детям тушью чернили ресницы, а в Индии подводили сажей глаза;

• у славян был в ходу другой известный прием: почувствовав опасность, мать облизывала лицо ребенка и утирала его своей нижней юбкой, или просто прятала его у себя под подолом;

• родители объясняли детям, что, в случае чего, можно сжать кулаки (в Испании, Ирландии, Британии это принято было делать так, чтобы большой палец находился под остальными) или сложить фигу, хотя бы и в кармане (защитный знак, хорошо известный всей Европе), а в том, чтобы скорчить рожу человеку, не вызывающему доверия, конечно же, нет ничего предосудительного;

• мальчика как более ценного, наряжали девочкой; а чтобы уберечь от дурного глаза любого малыша, не делая различий по полу, достаточно надеть на него какой-нибудь предмет одежды наизнанку (рубашку или носочек) или задом наперед и т. д.

В 1853 г. в Вестнике Русского Географического Общества был опубликован рассказ священника Руженцева о традиционных для крестьянства мерах защиты против дурного глаза. И пусть в этом рассказе речь шла конкретно о Смоленской губ. (надо сказать, что старая обувь в качестве защитного средства от порчи была хорошо известна многим народам), ценность его в другом, — в максимально четком изложении самой «техники» сглаза. «По многим домам моего прихода, едва

ведливо замечено, «больной выздоровеет, а тот, кого сглазили, никогда...»

В понимании русских наиболее «глазливым» представляется глаз темный, черный или карий: «бойся черного да каряго глаза», «черный глаз опасный», «черный глаз да карий глаз, минуй нас» и т. д. На самом деле, цвет здесь решающего значения не имеет. Все гораздо проще и вместе с тем намного сложнее: среди русских (особенно северных) человек с черными глазами встречался редко, он воспринимался как нарушение нормы, как чужой и, значит, опасный. У тех, кто привык к черным, но не привык к серым, голубым или зеленым глазам соответственно как раз такие и станут считаться источником опасности. Если помнить при этом, что практически во всем мире глаза считаются зеркалом души, отражая все чувства, испытываемые человеком, все силы, владеющие им... По всему выходит, что не глаз у *порчельника** черен, а душа его черна, ведь даже просто глянуть на человека, животину, растение или вещь, подумав при этом недоброе (призавидовать, пожелать для себя, пожадничать), и, считай, все, уже оприкосили...

«Один раз я пришла из бани. Платья носила безрукавы, сыну дала грудь, а тут сосед пришел, а у меня грудь была бела, он и оприкосил. Грудь заломило у меня всю. Церный человек, прикосливый ⟨...⟩ Прикос, это обдумывают как, съедят как человека, оговорят, он и заболеет. Одумать и целовека могут и корову оприкосить. Подумат кто: „Во как работат он ловко“, вот и одумат...» (там же: 92–93, Арх.).

Не только глаз, но и слово (как мысль изреченная, вслух выраженное чувство), разумеется, — это средство порчи, особенно если произносится такое «словечко» человеку в лицо, в глаза: «...А по всякому сглазить можно. Бывает, что подумают про себя, а бывает, что в глаза скажут ⟨...⟩ Сглазили меня однажды. Ездила я в Русу, приехала я с Русы, и сразу у меня все заболело. И врач приходил, и ничего. Ну, потом отговорили. Ну, это вот женщина со мной в автобусе ехала и прямо в глаза мне что-то сказала. А я вот до сих пор, как про ту женщину вспоминаю, дык зевать начинаю. А она мне прям в глаза так и сказала, а что сказала, дык я этого не скажу...» (там же: 92, №348, Новг.).

В «Русской народно-бытовой медицине» у Г. И. Попова есть запись рассказа, потрясающего своей безыскусностью и безусловной верой в силу *прикоса* или *оговора*. Мать, потерявшая сына, объясняет причину его смерти: «Это они, значит, с ребятами поехали в ночное лошадей стеречь. А вы сустретились с ними, глянули на моего-то, засмеялись это про меж себя, да и говорите: „Вишь, малый-то какой, на

ли не в каждом, при входе в дом глаз невольно встретится с старыми лаптями... На вопрос мой, для чего висят у них старые лапти, отвечали: „Вишь ты, как взойдешь на двор, да видя такие лапти, уже и подумаешь о них... Стало быть... с первого раза глаз и сломишь над лаптями, тогда уж не сглазишь во дворе ни скотины, ни в избу пришедши сидящих за работою баб, ни ягнят, ни телят...“ У одного огородника вокруг огорода на каждом почти колу висит по старому лаптю... „Всякий, как прийдет, — объяснил огородник, — сперва глядит на лапти да дивится ими, а на капусту не глядит и не дивится: а то б давно ее не было: либо червь съел ее, либо какие мошки навалились, и кочаньев-то не было“» (Гольцман 1996: 120).

кукушечку похож". Ен тем же вечером воротился: в ночном, значит, его взяло, вступило ему в голову, в животе начало гореть, денечка четыре промаялся, а там Богу душу отдал». — «Что же, ты лечила его?» — «И, да, што там лечить; люди не присудили, потому, говорят, это у него с оговору, все одно, никакое лекарство не поможет»[12] (цит. по: Торэн 1996: 327).

Испортить словом — обычное дело. Причем, что человеку навредить, что скотине, что вещь испортить — все без разницы... Рассказывали, как один колдун «обозлился на свою лошадь и сказал: „Штоб тебя *воќи* потўзали*!" Лошадь он скоро пустил на пастбище, и волк выдрал у нее кусок задней ноги. [Колдун] тогда сказал: „Хорошо еще, что я не сказал, штоб совсем зарезали!"» (цит. по: РКВЗ, 178–179, Слуцк.).

В рассказах нередко упоминают порчу, насланную по ветру: «Колдун зайдет на ветер так, чтобы ты стоял под ветром, и пустит на тебя ее с этим ветром» (Вят.). Говорят, чтобы сделать это, колдуну вполне достаточно знать имя своей жертвы и «поймать» нужный ветер: «Ветер дунет внезапно, и ты попадешь, токо бы на твое имя она (колдунья. — *А. Н.*) вздумала нахряпать. Значит, все! По ветру пустит, ты идешь — на тебя нанесло, все!» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 129, №185). Этот способ наведения порчи очень наглядно объясняет механизм возникновения повальных болезней, носящих в народе название «поветрий». Известно, что у пожилых женщин, например во Владимирской губ., было принято «заамнивать» внезапно возникший в поле или на лугу вихрь, при этом «некоторые старухи... приказывают своей неопытной молодежи рот закрыть: „Закрой рот!", полагая, что в вихре колдуны напускают разные болезни» (цит. по: РКВЗ, 302, Влад.). Хоть и считается, что порча «по ветру» падает прямехонько на того, кому предназначена (колдун, как было сказано, «делает» на имя), однако это не исключает возможности свалиться этой порче на любую удачно подставившуюся голову, а то и не на одну: «...напустит на одного, а слово по ветру никого не разбирает, так порча на того перейти может, у кого имя сходное» (Адоньева, Овчинникова 1993: 144, №575, Арх.). Про таких, испорченных случайно, говорили, что они «вбрели» (Ряз.).

Кроме сглаза и насылки болезней по ветру в арсенале у колдунов существовали и другие, весьма разнообразные способы порчи. Среди них были широко известны:

а) *Кила* — грыжа, опухоль или шишка, нарыв, без всякой причины появляющиеся на так называемых притошных местах (на лице, в горле, в заднем проходе или

---

[12] Это «и, да што там лечить..., все одно, никакое лекарство не поможет» объясняется (но, конечно же, не оправдывается) устоявшимся представлением, что порча в большинстве случаев не излечима. Хотя в ряде мест (например, в Пензенской, Тотемской, Вологодской губерниях) считалось, что порча может быть двух типов: первый тип — порча временная, т.е. болезнь, сделанная на некий срок (например, на несколько лет), от такой можно и выздороветь; второй тип — порча навек или до смерти, и от такой порчи спасения нет (см.: Торэн 1996: 312).

на половых органах), причем все это сопровождается «невыносимой болью и необъяснимой тоской» (Яросл.). Килу обычно «насаживают»: «Я те ужо насажу кил, так будешь меня знать...» Для насаживания частенько используется все тот же ветер: «На вечерней заре выходит колдун на перекресток, делает из теплого навоза крест, обводит его кругом чертой и посыпает каким-то порошком, что-то нашептывая. Оставшуюся часть порошка кидает по ветру, и если хотя одна крупинка этого порошка попадет на человека, то у него через три дня непременно появится кила» (Торэн 1996: 313, Пенз.).

б) *Хомут* — опоясывающие боли вокруг тела. «Крестьяне уверены, что если больного «хомутом» раздеть, то на животе и спине его окажется красная полоса» (Вят.): «...Ну, примерно, одела на живот — прямо вот так получатся посинет все и рубец, и потом смертельно, если не хватисся, то все!» (Сиб.). На что только хомуты не надевали!

И на ужс упомянутый живот — колдунья девчонке позавидовала, как ловко она с другими ребятишками ягоды брала: «Она на меня и надела. Но я потом ночью-то заболела и заболела, лихоматом ревела. На коленочках ползала! Вот здесь все, как ножами, изрезало...» (Сиб.);

и на грудь — обозвал парень сгоряча старуху-хомутницу, вот она на него и надела: «...Он говорит: „Че-то не могу я, грудь всю сдавило“. Ну а мать-то сразу: „Ты где вчера был?“. — „Там и там“. Ну, она давай на эту...давай старуху поносить! Рубаху-то растегнула ему — у него полоса красная. Ну че, поноси не поноси ⟨...⟩ У него потом начали волосы вылезать. Как дурак становится. Она потом не красна, а кака-то фиолетова, желта, полоса-то. Кровь идет носом, давит его. И ночью стало, и днем давить...» (Сиб.);

на губу — парень девку задел, обидел свою же родственницу, она и испортила: «...мне вон куды надели! На губу ⟨...⟩ Зазудела, зазудела и пошло ⟨...⟩ Вот я день... тут нарыват. Ой, говорят, то-друго... Вот нарыват. Прет и все! Дак исть-то надо. Я вот сюды затолкну, с правой-то стороны, сглотну-ка кусочек ⟨...⟩ Вот те день, вот те два. Меня подменяют (на работе. — *А. Н.*): видят, что у меня... На четвертый день *взнику** нет!..» (Сиб.);

на нос — парень девушку прогнал, выбросил из клуба с репетиции, спектакль молодежный ставили, а она хомутницей оказалась: «...вот чувствую, у меня нос зазуделся. Поцарапаю маленько, опять зудится. А потом у нас там была... девка такая озорная, — она как захохочет: „Данилка, у тебя нос-то с картошку!“. Ой-ей, действительно: взял, а он у меня не входит в руку-то ⟨...⟩ Домой я прибежал. Ну, лег, никак не могу уснуть: горит просто огнем жгет нос! Я старшего брата: „Матвей, Матвей!“ — „Че?“ — „У меня че-то с носом“. Он посмотрел: „Ой-ей, дак ты че? Это же у тя, наверно, хомут. Ты где с кем спорил?..“» (Сиб.);

даже на жизненно важный орган и то хомут надеть можно: «Крышу крыли, а мужчина захотел пописать, с *посома** и пописал. А тетка какая-то видела. Она

сказала: „Нельзя!“ А он только посмеялся. Тогда она сказала: „Ничего, найдешь!“. И он распух...» (Новг.).

Были будто бы в деревнях такие мастерицы, что надевали хомуты на все — и на людей, и на животных, и на вещи, «лишь бы имя знать»: «Братище коней поил. И одна девка взяла коня ведром ударила: „Ой, вас, волков, не передождешь“. Но и теперь, братище коней гонит, а я им сено кидать начал (...) смотрю, а у коня *пуздря** чуть не по земле тащится. А глаз нет — все вот так стекло, что страшно глядеть (...) А с етим хомутом лошадь живет только сутки. Понял?» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 259, № 372); «... как-то меж старухами спор зашел. Одна и говорит: „Я могу и на редьку хомут надеть“. Взяла редьку. Кого уж она там пошептала — только на редьке кругом, кольцом почерпело...» (там же: 148, № 208, Сиб.).

в) *Икота* или *кликушество* — «...болезнь така. Болеет, болеет человек, а потом заговорит. У кого говорит, у кого матюгается. Икотницы (колдуньи, специализирующиеся на насаживании икоты. — *А. Н.*) напускают. Говорят, кака-то муха, вроде муха в рот залетела. Сначала запозевают, запозевают, потом заревут, заматюкаются. Говорят, икота ревет.

Икота на ту букву заходит, на како имя. Если ты Александра, а ты Анисья, может прийти.

Один мужик икоту спустил. Женщина вином торговала, а ему не дала, и он ей зло поимел и икоту спустил. „А будешь ковшом пить и не рада будешь“, — сказал. И с тех пор пока она вина не выпьет, ничего делать не станет. И кричит икота: „Вот мы как погуляем!“. Сама икота кричит.

А жонка болела с головой, говорили, что икота тоже. Она пойдет, пойдет, и вот слезла в колодец и крицит оттуда. Как она не упала, не вымокла! Мы долго в колодце воду не церпали. Вот сядет кушать и говорит: „Ой, нисколько еды нет“, — а сама ест, ест...

Чтобы узнать, кто икоту посадил, напоят блевотными травами, а как попросит пить, скажут: „Кто у тебя батюшка?“. А икота скажет, кто, так вот и вынудят, и узнают, кто у икоты батюшка, либо матенка, кто насадил то есть» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 95, № 362, Арх.).

г) *Удар* или *касание* — способ передать порчу, некогда широко используемый колдунами Ярославской, Вятской, Орловской, Владимирской губерний. Рассказывали, например, как колдун, сильно рассердившись на одну женщину, схватил ее за плечо, и с того момента она заболела. При встречах он непременно ее окликал, и та сразу падала и начинала биться (Пенз.). В другом случае знахарка (читай, колдунья) испортила молодую женщину, «будто бы в шутку», потрепав ее по плечу (Орлов.). Третью испортила баба (тоже, видимо, колдунья), дважды хлопнувшая несчастную по плечу, когда вручала ей пасхальное яйцо: «ту сейчас же и подрало, словно кто под кожу влез...». Вера в порчу через касание или удар настолько распростране-

на, что крестьянки тех мест при встрече с колдуном старательно избегают любого возможного с его стороны прикосновения (Торэн 1996: 323).

д) *Подброс* или *относ* — порча через оставленную или подкинутую вещь. «У меня была подружка, она замуж вышла на хутор. Она вышла из дома вон, каки-то яйца лежат. Она убрала их и заболела, и умерла...» (там же: 77, №291) — типичнейший пример указанного способа порчи. Вместе с оставленной или подброшенной вещью можно было получить самые разные недуги, начиная прозаическими бородавками и кончая смертельным исходом.[13]

Крестьянка Орловской губ. рассказывала: «Еду я однажды, гляжу, узелочек. Я, вестимо, бабье дело, и подняла. Поглядела: рубаха, крест, пояс, шапочка и угольки. Положила в сани, еду. На возвратном пути нагоняю старуху Мышину, прозвище ей такое, посадила ее и рассказала про находку. Старый-то человек не то, што мы, глупые, как ахнет, руками-то всплеснет, да и закричит — неси скорее туда, где подняла: это, баба, на дурное! Отнесла, но с той поры я не баба стала: тоска, еды лишилась, ни дети, ни двор не милы. С год мучилась, пока на человека не попала, который наговорил и снял. А другая наша сельчанка яйцо у колодца подняла и с той же поры на голоса зачала кричать, дотоль кричала, поколь на тот свет не пошла» (Торэн 1996: 332).

Это далеко не все из того, что умели делать колдуны. Нам еще предстоит вернуться к некоторым специфическим приемам колдовства, которые, в частности, отличают ведьм. Но прежде давайте вновь обратим внимание на вербальную магию — самое время упомянуть об особой категории знающих, о которых говорили, что они «знают слово».

[13] Уверенность в возможность испортить человека или «передать» ему свои болезни через оставленный или подсунутый предмет породила дожившие до настоящего времени известные всем бытовые запреты, типа «не тобой положено — не бери» (достаточно вспомнить ершовского конька-горбунка, провидчески предупреждавшего своего упрямого хозяина, чтоб не брал себе найденного пера жар-птицы: «много-много неспокою принесет оно с собою...» — это как раз потому, что от чужой вещи следует ждать прежде всего неприятностей).

С приемами защиты от этих самых неприятностей, которые можно получить через вещи, дошло до нас и представление о «выкупе» за опасные дары: получая в дар острые предметы (ножи, вилки, иголки) или особые знаковые предметы (носовой платок, кошелек) и т. п., заплати символическую плату, ибо за что заплачено, то (и через то) испортить нельзя.

Аналогичный принцип передачи-приема через оставленную вещь широко использовался в лечебной магии: относы одежды (рубашки, пояса и других личных вещей) больного на перекресток — кто возьмет оставленную вещь, примет на себя и недуги, мучающие хозяина той вещи. Сохранились не только описания и свидетельства об имевших место случаях такой передачи, сохранились также заговоры с намеренной переадресовкой болезней тому, кто просто поднимет или возьмет в пользование магически обработанный предмет, кстати, это могло относиться к еде и питью. Интересной иллюстрацией к последнему замечанию может послужить сохранившееся в общеевропейских верованиях представление о том, что допивающий вино за тяжелобольным освобождает его от грехов, так как принимает их на себя (ЭС, 335–336).

Этих людей, с одной стороны, окружающие признавали за колдунов,[14] потому что, как ни крути, а им известно нечто — особое слово, которого другие не знают. С другой стороны, колдунами и колдуньями их называли очень редко, поскольку кроме этого самого особого слова, они ничем больше от остальных людей не отличались. Тем более, что известное им слово обладало, что называется, узкопрофильным действием, так как работало исключительно на объекты одного рода: «собачье» слово, которое действовало только на собак, «курье» слово — на кур, «лошадиное», «змеиное» и т. д.

В Орловской губ. в с. Богодухово жил крестьянин годов тридцати с небольшим, и звали его Ананий Хаулин. Так про этого Хаулина шла слава, что одним взглядом он самых злых собак укрощал, делал их тихими, будто овечки. Говорили еще, будто в новолуние с ним случались припадки, ну и глаза у него были такие карие с темным оттенком и блестящие...

Как-то раз ехал он в Орел и вез попутчика, который затем свидетельствовал, что на протяжении всего пути в 50 верст со всех встречных деревень к Хаулину сбегались собаки и «провожали» их возок чуть не до самого города. Когда попутчик спросил, нельзя ли как-нибудь избавиться от честной компании, Хаулин лишь глянул на свой «почетный эскорт» и «что-то пробурчал», после чего все собаки с визгом разбежались. Вдругорядь он на спор вызвался отвязать злющего цепного пса, обещая, что тот, ласкаясь, как щенок, пойдет за ним, куда бы ему ни пожелалось. Спор он, разумеется, выиграл... Бывало, что Хаулин приводил за собой на двор пять–шесть псин, которые обретались там, мешая домашним, до тех пор, пока отец Хаулина, утратив всякое терпение, не подносил наконец сынку водки. Тот выпивал и в мгновение ока, «пробурчав что-то», освобождал двор от надоевших всем постояльцев... Собиратель А. И. Иванов, лично знавший Анания Хаулина, не раз пытался уговорить того открыть тайну своей удивительной власти над собачьим племенем, но Хаулин все отказывался. Он говорил, что получил тайное слово от умиравшего странника, и что, если кому расскажет, так сам сразу же эту силу потеряет (Иванов 1900; см.: РКВЗ, 256–257).

Крестьяне той же Орловской губернии не без удовольствия рассказывали про одну бабку, явно владевшую «курьим» словом: «Была у нас на селе старуха, назы-

[14]Среди вариантов того, что именно получают колдуны в дар от нечистой силы для колдовства (Черную книгу, чертей-помощников, магический предмет и т. п.), есть заветное всесильное «Слово». С таким по мощи может соперничать разве что всемогущее слово Господне, поскольку оно представляет собой ключ, своеобразный пароль, объединяющий и подчиняющий всю разрозненную нечистую силу, для преодоления препятствий любого рода. Перед этим Словом спадают все запоры, распахиваются запечатанные двери, меркнут и теряют силу самые сильные заговоры и заклятья, и даже церковная служба не всегда приводит к должному успеху (Завойко 1914; цит. по: РКВЗ, 300, Влад.). По-видимому, как раз вера в существование такого Слова и наложила отпечаток на особое отношение к тем, кто «знает слово». И пусть «лошадиное» слово тому страшному Слову не чета, но принцип действия у них, в сущности, один и тот же...

вали ее ведьмой. Вся ее премудрость состояла в том, что она, бывало, залезет под куриную насесть, закудахчет курицей, а потом и тащит целый подол яиц. Черт ей яйца приносил...» (Иванов 1900; цит. по: РКВЗ, 256).

На кошку будто бы тоже свое «слово» было. Сидят раз за столом сват да сватья, чаевничают. Сватья-то у свата спрашивает, показать ли тебе чудо? — Что ж, покажи, сватья. И она «...кошке: „Но-ка, иди-ка, тащи мышь!“ — Кошка: „Мяу-мяу“ — дверь отворил, кошка пошла. Притаскиват мышь. Жъву! Но, она [сватья]: „Ты не ту притащила, каку я тебе велела!“ — Кошка: „Мяу-мяу“ — назад побежáла. Притаскиват другу мышь. „Я тебе сказала, каку тащить мышь. А то ты кого притащила? Утащи на то же место, где она была! — Вот видел, нет?! Вот ты заставишь тащить кошку мышь?!“. Он говорит: „Но ты, сватья, дока дак дока! Таких, — говорит, — мало“» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 169–170, №240).

И про тех, кто знал «змеиное» слово, рассказывали немало удивительного. Например, вот такая история: «У нас тут есть один... Он знат! Вот езли он где косит, ты не будешь косить. Не будешь: как коснешь — так змея, как коснешь — так змея... Укусила одного парня:

— А мы, — гыт, — счас узнаем.

Он осиновый колышек поставил вот так..., че-то махнул так. А потом: ш-ш-ш-ш — так ползут все — и на этот колышек, быстренько ползут! А одна взади, еле-еле... Он говорит:

— Э-эх, ты виновата! Всех взади идешь. Но-ка, иди-ка сюда. Иди, — говорит. — Я счас тебя...

А как раз была в... чаше смола (знашь, смолу гонят?).

— Вот иди! — Она потихоньку... А они навились все на колышек. И все вот так головы подняли и жала-то так...

— Эти, — говорит, — не виноваты. А вот ты виновата. Но, иди... — Она потихоньку ползет: она виновата! Он:

— Ты виновата? — говорит.

Она:

— Вш-ш, вш-ш...

— Лезь, — говорит, — вот в эту смолу. Вот тебе наказ. Больше ты не будешь кусать.

Вылезла оттэдава, так отряхнулась и тут же калачом легла. А он ково-то тут имя наговаривал:

— Больше не кусайтесь! — Этот мужчина. У его кака-то палочка осиновая. Он тут же косил с нами рядом. [*Один из присутствовавших попросил отпустить змей*]. Он че-то палочкой раза два махнул — они пошли. Но... страшно! Они прямо вот такие жирные, рябые. И вот так пошли. А бить не стал:

— Не надо, — гыт, — их бить. Нам жить надо, и имя жить надо.

И больше ни одной на покосе не было» (там же: 234–235, №339, Сиб.).

Можете иронизировать сколь угодно, но даже на такую мерзость, как домовый клоп, похоже, имелось «слово»: «... мужик пришел, говорит, давайте клопов выведу, только не хохоците. Что-то наговорил, клопа́ да и пошли прямо в окошко поездом, друг за дружкой. Женщина-то, у которой выводили, говорит, мы не выдержали, да и захохотали, а они тут же обратно побрели, все поворотились» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 82, №310, Арх.).

Да и человеку супротив сильного слова, как правило, не устоять... Вот рассказывали: жил в прежнее время в с. Благовещенском, что в Вологодской губ., дед Василий. Так «бывало, мальчишки начнут рыбу из сети вытаскивать и к его подберутся. Дед Василий скажет: „Ничего, моя рыбка никуда не уйдет!“ Мальчишки и с места сойти не могут и заплачут: „Дедушко, отпусти, миленький, не будем больше“. Он их и отпустит, они рыбку всю побросают, да и убегут. Вот как колдовал» (там же: 85, №325).

А еще, говорят, так бывало: едут, к примеру, дед с внуком, воз пшеницы везут. Уже смололи на мельнице и домой возвращаются. Засветло им никак не успеть и заворачивают они ко двору, просят хозяина: «Пусти нас ночевать». — «Заходите». Они, естественно, о возе беспокоятся, надо бы завести воз-то во двор... А хозяин рукой машет: ничего, мол, пусть стоит, где стоит. Если что случится, я вам свое отдам. Ну, ладно. Заночевали. Встают по утру и видят: пять мужиков с мешками на плечах вкруг телеги ходят, а уйти не могут. Хозяин выходит и каждого мужика хлоп! — ладонью по плечу: «Спасибо, — говорит, — за службу!» И вот, они мешки побросали и ушли... (пересказ текста из: Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 222, №322).

Случались дела посерьезнее и пострашнее. Колдун один овдовел, говорят, и стал молодую девку сватать. Ну, а какая девка за немолодого-то вдовца, да к тому же за известного колдуна по доброй воле пойдет? Ясное дело, что ни в какую она не соглашалась. Так он пришел к ней, достал платок и лоб свой утер, а после тем же платком ей лицо вытер: «Как платок тот этот сохнет, так и ты по мне сохни». И пошла за него... (пересказ; текст см.: Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 82, №309, Арх.).

Помнится, ранее у нас уже заходила речь о хвостах, которые отличают некоторых колдунов и колдуний, а особенно ведьм, от обычных людей. Так вот, относительно этих самых хвостов... Может, они у некоторых и маленькие, размером «в палец», как у зайчика, но у большинства ведьм хвост имеет отчетливое сходство с хвостом коровьим (см.: РКВЗ, 208). Почему, — не сложно догадаться, ведь одним из самых распространенных представлений, живущих в народной среде, стало представление о том, что ведьмы отнимают у коров молоко...

Одному крестьянину довелось наблюдать, как соседка с подойником в руках зашла в их хлев, как в свой собственный, и принялась доить корову, только что пригнанную с пастбища. Корова у них была *ведерница*,* но вот уже в течение несколь-

ких дней почему-то перестала давать молоко. Догадавшись что к чему, схватился мужик за ружье и пошел разбираться... Только собрался выстрелить, вдруг корова с соседкой раздвоились: две коровы и две соседки по разным углам — в которую стрелять? Опустил ружье, и одна пара исчезла. Так и развлекались: ружье изготовит — картинка двоится, ружье опустит — одна соседка доит одну корову... В общем, кончила непрошеная «доярка» доить и ушла спокойненько из хлева (РКВЗ, 212).

Всеми правдами и неправдами добывает ведьма молоко:[15] сама доит, с соседей за мелкие услуги платой берет, нечистая сила в «лице» змеи-молочницы ей молоко носит... И все мало, все ей хочется больше, и на чужое молочное изобилие ее зависть берет — коли отнять не может, так непременно испортит если не саму скотину, так удой от нее (или все прокиснет, или свернется, а масло с того молока будет не взбить, как ни старайся). Говорят, что и каплей уворованного поделиться — для ведьмы как ножом по сердцу; и даже если сама примется молочком угощать, много все равно не выпить, как ни пытайся, потому что она его завораживает. У одной ведьмы нашли как-то аж две полные бочки молока, а своих коров у нее не было. Откуда, спрашивается?

Раз в году, в день святых Силы и Силуяна (30 июля по ст. ст.), эти «страстные охотницы до молока» опиваются им чуть не до смерти и обмирают. Старые люди, говорят, что смотреть на то, как ведьма обмирает, страшно: «... под ней и земля трясется, и в поле звери воют, и от ворон на дворе отбою нет, и скот нейдет во

[15] Почему молоко, зачем оно ведьме? Дело в том, что молоко, а также кровь и роса, — субстанции, в которых человек с древнейших времен видел воплощение жизненной силы и залог плодоносности скота, людей, земли. И именно эта способность ведьм отнимать жизненную силу, забирать ее себе, пользоваться ею в своих интересах и вызывала у людей естественное возмущение и протест.

Кстати, целебную для здоровья Ивановскую росу ведьмы старательно собирали, порой совмещая этот сбор с отниманием молока у пасущихся коров. И кровью ведьма тоже не брезгует и, подвернись такая возможность, отцедит и не поморщится. Молоко можно взять от коров, а можно и от кормящих матерей; кровь же ведьма предпочитает молодую (от здоровых и сильных парней и девок) или еще того лучше детскую, младенческую... Тем более, что вцепляться в горло дитяти ей для этого не обязательно, можно взять и на расстоянии: «Сперва она днем подходящего ребеночка выглядит, а ночью, на него загадавши, через сучок у себя в сарае и кровь из этого младенца выпускает. А отец с матерью и не знают, отчего их дитя сохнет и бледнеет...» (Кондратьев 1993: 389). Естественно, что и коров доить тоже можно в «безопасном режиме», без суетливой беготни по чужим хлевам («стоит ей только очертить круг на земле с заговором и в центре его воткнуть нож. Молоко... задуманной ей коровы потечет из него само собою...» (Забылин 1880: 240)), но только это не всякой ведьме под силу и, судя по всему, дается не сразу. Чтобы получить возможность доить на расстоянии ведьмы выкликали (закликали) чужих коров по кличкам, получая таким образом (через имя) над ними власть. Замеченных или даже заподозренных в этом занятии называли закликухами и очень осуждали. Добавим к сказанному, что отнимание молока, равно как и его порча, считалось страшным грехом, за который, как свидетельствуют тексты духовных стихов, прощенья нет.

двор, и в избе все стоит не на месте» (Сахаров 1997: 255). Чтобы отучить мерзавку охотиться за чужим молоком, лучшего момента и не сыщешь. То, на что в обычное время, из-за страха перед ведьмой, было не решиться, как правило, приберегается измученными крестьянами на этот день: они врываются в дом к обмершей ведьме и, нашедши ее в состоянии полного бесчувствия, жгут ей пятки соломой. После такой процедуры, очнувшиеся ведьмы будто бы до коров уже не дотрагиваются и на молоко даже не смотрят.

«Упражнения» ведьмы в доярском деле бесследно не проходят: между ведьмой и выдоенным ею молоком возникает своего рода связь. Так, например, если попытаться отнятое молоко вскипятить, ведьма испытывает страшные мучения, словно у ней «внутри все кипит» (Перм., Саратов., южн. рус.); попытки взять ножом масла, сделанного из такого молока, приводят к тому, что из масла выступает или брызжет кровь (Новг.) и т. д. Наконец, увидеть всех местных ведьм разом можно, если прийти на Пасху в храм с кусочком Четвергового сыра или с щепочкой от гробовой доски — сыр надо положить за щеку, а через дырочку в щепочке надо смотреть в сторону алтаря. В тот момент, когда священник провозгласит: «Христос Воскресе!», обладатель сырного кусочка увидит, как все, присутствующие в храме ведьмы, повернутся к алтарю спиной, а на головах у них окажутся подойники; ну а тот, кто будет смотреть в дырочку в щепке, сможет безошибочно опознать всех деревенских ведьм по кувшину с молоком, стоящему на голове каждой (Власова 1995: 77).

Не менее традиционным ведьмовским занятием считалось отнимание у хлеба *спорины*. Спорина или спорость — это все та же жизненная или плодородная сила, которая содержится как в хлебе (продукте), так и в хлебе, вызревающем на ниве, и в самой земле, дающей урожай.

Что касается испеченного хлеба, то у всех европейцев до недавнего прошлого был в ходу обычай крестить хлеб и перед тем, как в печь посадить, и сразу как его из печи вынут, не говоря уж о том, что теста без молитвы и креста не творили: «Раньше народ, знаешь, какой набожный был! У нас бабушка, когда хлеб в печь сажала, все ковриги крестила по семь раз, семь раз крестила... чтоб Господь дал, а то нечистый дух может за хлебом у печку идить... Тогда зажигает солому сухую и кладет вот так вот [по краю противня], чтоб огонь облетел все корвиги! Оттуда вытаскивает — хлеб из печки, вот сейчас вытащит лопаткой, кладет так брусок, моет, крестит и накрывает сразу... полотенцем или там скатертей старой, чтоб никто его не тронул» (Фольклорный архив ИМЛИ; цит. по: ЭС, 58–59, Калуж.). И за столом, прежде чем хлеб «ломить» или резать, его трижды крестили.

Что касается хлеба, вызревающего на поле, ведьма может забрать урожай себе, делая *прожин*, или испортить его, делая *заломы* и *закрутки*.

Прожин, говорят, ведьма или колдунья делает специальными ножницами, которые будто бы привязывает для этого к своим ногам. Обойдет такая поле и прожнет (выстрижет полоску) или срежет по нескольку колосьев в разных местах и с собой

унесет, а вместе с ними унесет с чужого поля и спорину.[16] Колос на поле с прожином ростом и густотой может даже более, чем удаться, только умолот с него окажется никакой: у соседей с того же количества выйдет пять мер, а тут и полторы не станет. Тогда повезет огорченный крестьянин все собранное зерно к мельнику, чтобы тот заменил его на не порченное. Потому что у мельника можно найти и «рожь от праведной души» (люди-то к нему молоть всякие ходят) и так называемую скотскую долю (зерно, что мелют крестьяне лошадям в корм), обладающие свойством восстанавливать «выпутую спорину» (РКВЗ, 268).

Залом или закрутку (= куклу) ведьма делала так: захватит в пястку колосья, скрутит их или переплетет, будто свяжет, и заломит, прижмет верхушками к земле, символически лишая злаки возможности расти и наливаться. Как этот залом сохнет и блекнет, так и все поле сохнет и блекнет... — вот и испорчен будущий урожай.

Бывает, что залом или закрутка делается не столько с целью испортить именно урожай, сколько для того, чтобы навредить данному крестьянскому хозяйству в целом или даже извести крестьянина и его семью. Поэтому к залому относились очень серьезно, полагая, что без риска для жизни его нельзя не только вырывать, но даже просто трогать.[17] Лучше всего было сжечь залом прямо на месте, не прикасаясь. Ну а если непременно нужно было его убрать, звали для этого или знахаря, или священника. На крайний случай можно было извлечь залом и самому, но только не голой рукой (Боже упаси!), а или подцепив кочергой, или захватив его, как щипцами, расщепленным осиновым колом.

В Орловской губ. про залом, или куклу, как его называли в тех местах, рассказывали следующую историю. Пришел к одному священнику крестьянин с жалобой, что у него в хлебе оказалась завязана кукла. Поле у того крестьянина было что надо, копен на двенадцать, и бросать его из-за завязанной куклы было ужас как жалко... А попробуй не брось, если через это самое колдовство можешь запросто жизни лишиться. Пошел священник с ним, обошел поле и сказал, что тот смело может жать, и ничего ему не будет. Не успели они с мужиком с поля вернуться, как

[16]Спорина с чужого поля «переходила» к ведьме, умножая ее урожай, следующим образом: сделав прожин на поле, ведьма его словно помечает, и, как хлеба подойдут, начнет нечистая сила ведьме с этого поля зерно в закрома таскать. Вот и получается, что она урожай с того поля себе забрала (Яросл., Тул., Орлов.).

[17]Известны рассказы о том, как случаи самодеятельного вырывания или случайного скашивания заломов приводили к тяжелым заболеваниям и заканчивались смертью. В одном таком случае мужик обнаружил залом во ржи, сорвал его да и повесил у себя в амбаре под конек. Мать ему пыталась отсоветовать, чтобы худого не вышло, но только мужик не послушался. И вот уже осенью пришел к их дому какой-то прохожий старичок, и вроде как залюбовался амбарчиком, попросил открыть, чтобы поглядеть, как там и что... Открыли амбар, старичок походил, по сторонам поглазел, улучил момент и хвать! — сорвал залом да и был таков: «Чего я добивался, то и нашел. Теперь помни себе!». Мужик за ним погнался, но догнать не смог. А на другой день вдруг скрутило его, стал он жаловаться на живот, открылся сильный понос, и на четвертый день мужик расстался со своей любимой матушкой навеки (РКВЗ, 234).

приходит к батюшке другой мужик и просит приобщить (святых тайн) больную жену. Свалилась-де ни с того, ни с сего, еле дышит, вот-вот помрет. А священник отказывает, да еще и стыдит: грешно и стыдно, что жена твоя такими делами занимается, убирайся, мол, от меня — пса не причащают.

Ушел мужик, ничего не сказал. Баба его долго еще болела, мучилась будто бы страшно и только на Масляной, наконец, померла. Приезжает теперь вдовец к священнику опять, просит, чтобы тот указал, где могилу копать. Батюшка и тут благословения не дает и велит копать могилу не на кладбище, а в Каменном Бору, был такой верх от кладбища в двух верстах. Мужик, конечно, закручинился, но батюшка ни в какую, да еще ему и выговаривает, что за женой плохо смотрел — вон, сколько зла людям понаделала, как же можно такую с крещеными хоронить?.. После разрешил-таки выкопать могилу на кладбище, но только в самом нижнем углу, у канавы, где никого не хоронили.

Выкопал мужик могилу, но прежде чем хоронить, надо ведь покойницу в церкви отпеть, как полагается. И вот приходит дьяк к священнику за ключами, чтобы церковь открыть и покойницу внести, а священник и ключей не дает, и отпевать отказывается, даже дьяка разругал: «Если вы, — говорит, — с пономарями не знаете, так я-то знаю, пса в церковь не носят. Пойдите, отпойте, как знаете, а я не пойду и в церковь не позволю нести. Да возьмите все за похороны: и деньги, и пироги, и вино».

Так строго за куклу осудил священник бабу, что дьячок с пономарем отпевали ее на улице. Значит, куклу завязывать грех непростительный (РКВЗ, 233-234; случай произошел в с. Ломовом Орловской губ. еще при крепостном праве).

Говорят, что напакостившей ведьме или колдуну прямо-таки невтерпеж, так и тянет зайти к потерпевшим и удостовериться, что все «сработало» как надо, полюбоваться на результаты: «Она испортила если, то ей не терпится: обязательно придет в этот дом, где испортила. Так раз и вышло.

Пришла и сидит. А я ухват кверху ладом поставила, она уйти-то не может. Вот встанет:

— Но, дева, идти надо... — а сама тут же сядет.

Как на *шипишке** сидит. Потом уже попросила:

— Век не буду. Отпусти.

...Ей не терпится» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 183, № 263).

Ухват рожками вверх — отличное средство, чтобы поймать автора порчи и либо заставить исправить содеянное, либо пусть слово даст, что больше портить не станет. В ухвате ведь и форма сама по себе хороша — настоящие «рóги», да еще остриями кверху — «Ох, не любит нечистый, когда ему кукиш кажут...», и материал самый что ни на есть подходящий для этого дела. В сущности любой острый металлический предмет — топор, нож, ножницы или игла — своевременно и на нужное место



Рис. 52. Ведьма.

пристроенный, может взять портежника в плен. И даже если тому удавалось до времени скрывать свои наклонности, это самый верный способ обнаружить и вывести на чистую воду любого колдуна, любую ведьму.

«У нас механиком здесь Миша Димов (...) Он как-то ко мне забегат и смеется, значит. Мужик такой здоровый.

— Данила, ты знаешь у нас Розаниху-то?

Я говорю:

— Знаю. — (Старуха).

— Она колдунья.

Я, мол:

— Откуда ты знаешь?

— Испытал, — говорит.

Я ему:

— Дак чем ее испытать-то надо?

— А мне, — говорит, — там один старичок: „Вот если кто колдун придет гостить, ты, говорит, возьми ножницы в порог воткни. И он не уйдет, пока эти ножницы не вытащишь“. А я, — говорит, — захожу домой, на обед приехал. Ага, Розаниха сидит. А слыхал, что она колдунья-то. Я, — говорит, — потихоньки у Шуры там ножницы (у жены) взял и в порог воткнул. Воткнул и забыл. И это... Уехал опять на работу.

Это в четыре часа. Он до шести часов работал. Приезжаю, она, говорит, сидит. А это... Жена-то, Шура-то, говорит:

— Старуха-то сдурела ли ково ли? Одно ревет: „Отпустите меня!“ — да и только. А я ее че, привязала ли че ли?!

Он потом:

— Я, — говорит, — вспомнил: ⟨...⟩ да ить я ножницы-то не убрал. Только, — говорит, — их выдернул, так она — только задница мелькнула — убежала»[18] (там же: 182–183, №262, Сиб.).

Понятно, что прошедшая подобную проверку ведьма в другой раз поостережется идти «гостевать». И желающему убедиться, что он имеет дело с колдуном или ведьмой, не говоря уже о том, чтобы поймать портежника и обезвредить, придется опираться на известные приметы и использовать иные способы, подходящие для разоблачения тех, кто занимается колдовством.

Кроме странных глаз колдуна и пресловутого хвоста у ведьмы, а также различных врожденных и нажитых физических изъянов, стоит обращать внимание на то, сколько у кого теней: у кого окажется не одна, а целых две тени — верный признак, что видите перед собой колдуна. А также быть осторожнее с теми, кто предпочитает вести на публике вслух жаркие диалоги с самим собой. Кстати, об изъянах: если хоть одного зуба не хватает, значит, можно не волноваться — перед вами уже не кол-

[18] Похоже, что самим колдунам и ведьмам это средство хорошо известно и, возможно даже, что они считают, будто это в порядке вещей и для всех остальных. Потому что встречаются рассказы, в которых «запертые» таким образом колдуньи искренне обижаются и даже позволяют себе пожаловаться, например, родителям на детей, учинивших сие беззаконие: «Вот у Хрулевой-то Женьки мать-то была, старуха-то. Она пришла к Ивановым-то... А ухват-то есть вытаскивать из печки — они взяли его и с парнем поставили кверх ногами ⟨...⟩ — Ну, — гыт, — мы счас ее испытаем. — Взяли и поставили. Ей надо идти — она до порогу дойдет, да опять сядет, до порогу дойдет, да опять сядет! Ну, потом матери и говорит *ихой**:

— Абрамовна, вот Клара твоя да Колька всю меня, — гыт, — истыкали вилами. Вот *бесстужи** дак бесстужи.

А она говорит, Абрамовна-то:

— Дак они когда тебя?

— Дак когда... Сейчас вот под бок тычат и тычат меня» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 183, №264).

дун и не ведьма.[19] Выбитый зуб, в кровь расквашенный нос, сломанная конечность и т. п., навсегда лишают портежника возможности заниматься любимым делом.

С посещениями церковных служб можно легко попасть впросак, потому что и колдунам, и ведьмам случается захаживать в храмы и даже выстаивать службы. Причем бытует мнение, что они могут даже проявлять в этом особое рвение: и к алтарю поближе встанут, и свечей побольше накупят. Только свечи в поганых руках все время норовят увалиться и погаснуть, и приходится их зажигать опять и опять.

Один из известных приемов спровоцировать приход колдуна, зафиксирован собирателями еще в середине XIX в.: надо в продолжение всего Великого поста каждый понедельник рубить дрова и откладывать всякий раз пару поленьев, сохраняя их на чердаке до самой Пасхи; а во время пасхальной заутрени всех их надо собрать и затопить ими печь. Считается, что колдун непременно явится попросить огоньку (РКВЗ, 178). Ну а ведьму, особенно ту, что отнимает молоко у вашей коровы, вызвать на дом еще того проще. Достаточно надоить у облюбованной ею коровы хотя бы ложку молока и вылить его на сковородку, как «начнет оно поджариваться... явится тот, кто корову доил, и обязательно что-нибудь попросит. Как явится — ставь ухват рожками вверх...» (Еремеев 1990: 23; 278, Сиб.).

По мнению старых людей, «кто знал от нечистого, тот не мог не делать зла» — что ж, очень справедливо подмечено. Особо показательными в этом отношении оказываются истории про то, как колдуны портили свадьбы. Этих историй — море разливанное, но есть среди них одна, которая как нельзя более ярко демонстрирует, насколько зло ко злу обязывает, и попытка не подчиниться нечистой силе кончается для колдуна смертью.

Случилось это в Калужской губ., выдавал старик-колдун внучку замуж. Очень ему было жаль портить внучкину свадьбу, но не было сил удержаться. И вот упросил он сноху запереть его в чулане на время, пока будут в доме приехавшие за невестой бояре, а как увезут невесту венчаться, чтобы тогда она его выпустила. За заботами и суетой забыла сноха про запертого свекра и вспомнила, когда уж целый час прошел сверх урочного. Отперла она дверь и нашла колдуна мертвым... (Ушаков 1896; пересказ; см.: РКВЗ, 190).

Все в судьбе человека должно происходить в должное время, тем более такие важные поворотные моменты, как свадьба. Даже пустячное, на взгляд неискушенного человека, вмешательство в свадебное действо могло привести к непоправимым изменениям в судьбе молодых и иметь непредсказуемые последствия для обоих

[19]Записан случай, когда подозреваемый в колдовстве крестьянин рассказал, сидя в праздничной компании, как у него недавно выпал зуб. Одна из находившихся там женщин облегченно вздохнула и сказала, «что долго они от него дрожали, теперь, наконец, можно чувствовать себя поспокойнее» (Сидоров 1997: 38). Полным или неполным набором зубов может объясняться и распространенное представление о том, что колдунов, моложе девяти лет не бывает, поскольку в этом возрасте обычно заканчивается смена молочных зубов на коренные (там же).

родов в будущем. Можно добавить к этому, что человек в момент перехода (а свадьба — как раз один из обрядов, помогающих человеку совершить переход в новое состояние) оказывается на пороге двух миров совершенно беззащитным. И значит, он представляется легкой и оттого особенно желанной добычей для сил зла. Так что, совсем не зря жениха с невестой столь тщательно оберегали от всех возможных видов порчи, а свадебному поезду желали, чтобы «скатертью была дорога», и чтобы все «шло гладко, как по маслу», чтоб свести-соединить молодых «без сучка, без задоринки»...

Старинная свадьба была не простым обрядом, это был громоздкий, сложный обрядовый комплекс, проходящий по четко выстроенной «лесенке» из многочисленных ритуальных действий. В старину говорили не «играть свадьбу», а «рядить свадьбу» (ряд с-по ряду, честь по чести), подчеркивая всю важность соблюдения очередности составляющих ее ритуалов. Если судить по текстам, два момента, относящихся к доминанте свадьбы — венчанью, особо привлекали колдунов: дорога к венцу и дорога из церкви в дом жениха, на княжеский пир. Случалась порча свадьбы и в другие моменты, но происходило это гораздо реже, так, что можно считать их единичными случаями. Время до и после венчания оказывалось для порчи самым подходящим по следующим причинам.

Во-первых, в дороге жениха и невесту не защищают родные стены, они максимально доступны. И сама дорога как нельзя «лучше» подходит для движения по ней находящихся в переходном (пограничном) состоянии, поскольку тоже в некотором роде становится границей. Следовательно, для жениха с невестой в этих поездках кроется двойная опасность.

Во-вторых, отправляя жениха и невесту в дорогу, родные стремятся предусмотреть любую мелочь, которая была бы способна защитить молодых, однако все предусмотреть невозможно.

В-третьих, любой свадебный поезд предполагает ограниченное число сопровождающих лиц, что опять же означает ослабление защиты. Кроме того, те, кто находится в тесном контакте с переходящими, сами оказываются под ударом, так как незащищенность, открытость новобрачных распространяется и на них.

В-четвертых, понятно, что в дружке, который везет жениха с невестой, видят прежде всего не распорядителя, знающего в совершенстве свадебный обряд, а облеченного особой властью колдуна. Но, кто знает, насколько велика его сила? Ведь, случись чту, вся ответственность ляжет на дружившего,[20] а устроивший ему провер-

[20] Дружкой (от «дружить», т. е. соединять, связывать) называли человека, выступавшего главой свадебного поезда жениха, отправлявшегося за невестой. На него обычно возлагалась обязанность везти новобрачных в церковь и оттуда в дом к молодому на княжеский пир. Он регламентировал время пребывания бояр жениха в застолье в доме невесты, вел княжеский пир и, в сущности, держал под своим контролем весь сложный свадебный день, распоряжаясь большей частью его многочисленных ритуалов. Но главной задачей дружки была защита жениха и невесты

ку пожнет лавры: и мощь свою лишний раз продемонстрирует, и соперника уберет, и обывателям напомнит, кто есть кто. А для колдуна устраивать «поединок» с другим колдуном, как известно, дело привычное...

«Я это слышал, а сам не видел ⟨...⟩ А вот внизу деревня... Вот там... свадьба была. А там соседняя деревня через Газимур [реку]... Дак он, в общем, этот старик, обозлился че-то, ну и вот, не на броду, а выше брода две хворостины сломал и пустил по воде... А дружка-то, как чувствовал все равно: жениха, невесту, всех пропустил вперед, а сам сзади остался. И конь у него упал ⟨...⟩

Вот он посмотрел, откуда они приплыли, и кинул туда — забыл, как называется, наподобие плети ⟨...⟩ — ломат на две половины, одну половину в эту сторону кинул, другую — в ту. И старик-то этот (пацаны-то видели), старик этот весь позеленел, побелел, его тянет в разные стороны, старика-то. Он кричит этим пацанам-то:

— Помогите! Дайте мне пучок травы!

Ну, они напугались: его тянет в разные стороны, он не может ничего с собой сделать, этот старик. Дружка к нему подъехал на коне и смотрит на него. Пожалел его, траву сорвал, дал ему, а тот ее рвет, ну и сразу ест, ест, ест... Потом меньше, меньше, меньше тянет, и не стало его тянуть ⟨...⟩

А этот старик там много делов наделал, его никто не мог победить. Никто не мог, а вот, видишь, один такой выискался ⟨...⟩ И потом этот старик ушел с этой деревни: как побежденным считал себя. Ушел, не слышно, не видно...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 214, №311).

(да и всего свадебного поезда) от возможных неприятностей и прежде всего от порчи. Поэтому никому не покажется странным такое наименование дружки как *знатной*, говоря проще, дружка сам должен быть сильный колдун. «В селе Рыбалка невесту брали. Человек пятнадцать нас прикатило. Ну, приехали, все чин-чином. Только сели — и разом ослепли все. И жених ослеп — порчу напустили! Отчитал я молитву — и отошли... Это дядя невесты порчу напустил — ага, умели в старо время... Уж и не знаю, в шутку он или по какому злому умыслу, дружку ли проверить, силен ли...» (Еремеев 1990: 13, Сиб.). Так что, дружка на свадьбе фигура центральная, чуть ли не важнее самих молодых — слишком уж многое от него зависит. С него и спрос велик, и почет ему велик, да и риск для самого дружки тоже велик, поскольку для многих местных колдунов его статус — предмет зависти, а свадьба, которую он дружит, неизбежно становится «полигоном» для испытаний завистниками собственных возможностей и его.

Если дружка оказывался плох, про такого с горечью говорили: «Ему собак дружить, а не крещеных людей!». Зато каким уважением пользовался тот дружка, которому не раз удавалось с честью самому выйти из выпавших на его долю передряг и вывести из грозящей беды подопечных молодых вместе со свадебщиками. Такого окружали почетом и за большую удачу почитали залучить на свадьбу собственных детей или ближайших родичей. Разве не лучшая награда для дружки услышать, как говорят: «Я вот хорошо с мужем прожила, потому что дружка хороший на свадьбе был»?.. Но, к слову сказать, такие дружки, что прошли огонь, воду и медные трубы, отлично знали цену и себе и другим дружащим: «Он... до девяноста раз был в свадебных дружках, знал всякие отпуска ⟨...⟩ После сам рассказывал: „Я только одной свадьбе уступил. Уступил без ссоры. Сошел с кошевки, снял шапку и пропустил встречный [свадебный] поезд. Тот дружка и постарше, и познаменитей: „Пожалуйста, проезжайте... Скатертью дорога. Ни ямки вам, ни раската!““» (там же: 11, 12, Сиб.).



Рис. 53. Колдун на свадьбе.

Колдуны были чуть ли не первыми, про кого вспоминали, сговариваясь о свадьбе: кого из них надо позвать непременно, кого можно не звать, куда посадить, чем угостить и прочее. Всех колдунов все равно не уважишь — вон их сколько! Поэтому приходилось идти на риск... Причем со всех сторон худо выходит:

— если пару колдунов позвать, того и гляди, чтобы не начали ссориться и упражняться в колдовстве прямо за свадебным столом, выясняя, кто сильнее;

— одного кого выбрать, так, не приведи Господь, если сочтет, что нет ему должного почету и впадет в раздражение;

— а никого не позовешь, так хуже не придумать, — непременно посчитают за оскорбление, что их не пригласили, или что пригласили не их, и тогда держись...

«Вот я расскажу. У нас свадьба была — пять человек померло, пять человек!

Жених, невеста, две провожатки и невестин брат ⟨...⟩ Решили свадьбу играть, а его не пригласили, этого, Кирик Захарыч его все называли. Он все дружкой ездил. Но и вот, его не пригласили. Потом свадьба отошла, а на третий день делали вечерку молодежь: жених вечерку отдаст, молодежь отпляшет и больше оне его не касаются. Но, тут поплясали. Я в этот момент тут был. Теперь домой прихожу ⟨...⟩ только уснул — мама приходит, меня спрашиват:

— Ты, Коля, спишь?

Я говорю:

— Сплю.

— Ты у Архипа-то [жениха] был на вечерке?

— Был.

— А че там случилось?

Я говорю:

— Ничего не случилось.

— Как? Там ить все померли: Варвара померла, невеста, Архип помер, Маруська с Наташкой и Варварин-то брат помер.

— Я не слыхал.

— Все ить убежали. Говорят по всей деревне.

⟨...⟩ Но, наутре пришли... Но он (дружка, который дружил. — *А. Н.*) туда — как на свадьбе был. Приехал туды ⟨...⟩ теперь перепрягат пару и... к Кирику. К Кирику прибегат:

— Вот, Кирик Захарыч, тако-то дело...

— Это, поди, у Рюмкина? (он уже знал!)...

— У Рюмкина.

— Но, дождут, не торопись. Дождут, дождут. Да у меня ехать-то не в ком (не в чем. — *А. Н.*).

— А я привез катанки и доху.

Но, сял, приехал. Теперь, когды приехал, надо ладить, а он — закусить да выпить. На свадьбе, знашь, закуски всяки. Закусил, выпил. Теперь, значит, они все мертвы лежат. Вот на потниках катают жениха. Общество здесь, все мужики и бабы. Ложку ему в рот засадют — он поглядит — невесте... Им губы-то все срезали! Но вот, качают, че же — други сутки! Поглядит и опеть... Опеть мертвый. Невесту, жениха, провожаток — всех это... Но ладно...

— Но, Кирик Захарыч, будь добрый.

— Э-э-э, дождут, теперь я приехал! Че? Не помрут! — А он же наделал это (вот раньше это шаманство было). — Дайте отварной воды стакан.

Он стакан взял отварной воды, *линули** ему, он берет ножницы. Пришел. На жениха:

— Он вперед умер?

— Он. — Прыснул водой на того.

Жених встал, как ни в чем не был. Пришел к невесте — прыснул — невеста пошла! Пошел к провожаткам, на туе и на другу! Со стакана воды все встали. Дак у них всех рты изрезало ложкам-то, а оне здровеньки! Вот че было...» (там же: 206–207, № 298, Сиб.).

Конечно, к умерщвлению молодых колдуны прибегали не часто, но и без этого, как только они не изощрялись, чтобы испортить свадьбу, какими только средствами не пользовались — читаешь свидетельства и диву даешься!

Свадьбы стопорили: «Ехали с церкви. Свадебный поезд длинный такой, лошадей много. Бабка высунулась в окно, и лошади стали. А тут ехал мужчина сильнее ее. Сказал ей: „Уберись!“ Она убралась, и лошади пошли» (Новг.); «...поехали венчаться. Как все равно загорожено — встал коренной. Никуды! И вся свадьба — никуды. Ой, бьют его мужики, да оглобли-то изломали...» (Сиб.); «Вот, говорят, к венцу подъезжают молодые, один колдун подходит, говорит: „Три-девять пудов горох“ Надо, чтоб в струцке гороха девять горошин было. И вот етот струцок наговорят: „Три-девять пудов горох, три-девять пудов жених, три-девять пудов невеста, не взять коням с места“. Положат етот струцок в повозку или в сани, где молодые сидят, и кони не могут взеть. Кони рвутся, пока им, колдунам, все не покорятся, все кони на месте стоят» (Арх.).

Свадьбы ломали: «Случалось, иной знахарь (здесь: колдун. — *А. Н.*) перекинет рукавицу поперек свадебного поезда — жди беду, поломается свадьба...» (Сиб.); «...ну, вот стали они под венец. Они посмотрели друг на друга и вдруг побежали в разные стороны... Ну, ловили их, долго ловили. Поймали... Она-то, невеста, болела долго и скоро умерла, а он жил долго. Вот как делали. Они друг на друга поглядели, как будто волки. Ей кажется, будто он волк, а ему кажется, будто она волчица...» (Новг.).

Над свадьбами строили насмешки: «Была семья у нас богатая. Стал сын жениться. Свадебный поезд снарядили, поехали. А ехать мимо речки. Там каждый, как приедет к речке, остановится, ж... помоют и едут к венцу. А кто с холма это видел, ухохотались. Вот какую насмешку могут сделать» (Новг.); «Едут три свадьбы к венцу; навстречу мужичок с работником. Работник был самородный колдун, и говорит он хозяину: „Дядя, аль подшутить над свадьбами?“ — „Валяй!“ — отвечает хозяин. Поднял работник ком земли и бросил за первыми поезжанами. Свадьба остановилась; поезжане скинули с себя всю одежду и голые стали чесаться спинами. Тогда хозяин говорит: „Довольно!“ Махнул работник платком: поезжане живо оделись и поехали себе. То же самое проделал работник и со второй свадьбой. „Ну, шути и над третьей!“ — говорит мужик. „Нет, над этой шутить нельзя!“ — отвечает работник. „Почему?“ — „Да тут едут честные поезжане, впереди их сама Божья Матерь на огненной колеснице, а в первой свадьбе был один колдун, а во второй два!“ И пошел хозяин с работником домой, но только держать его не стал, а по совести расчел...» (Орлов.).

Просто портили, без затей: «У моего отца спортили свадьбу. У него была невеста, кроме мамы, — хромая. Он от нее отказался, вот она и спортила свадьбу. Украла кашу, а потом ходила поперек свадьбы [т. е. поперек пути свадебного поезда] и нитки *цкала**. Так и получилось. Сначала хорошо жили, а потом стали худо жить...» (Арх.)

Наконец, оборачивали свадьбы волками: «Была свадьба лет сорок тому назад. Поезжан было человек двенадцать. Без этого числа редко случается свадьба. Приехали от венца и сели было за стол, как вдруг все поезжане загудели из-за стола: кто в окно, кто в дверь. И какой страх на всех напал, как все переполошились, — просто сказать нельзя! А они-то завоют, завоют и кто куда. Заколдованы были волками 12-ть человек на семь лет, и через семь лет вернулись домой только три мужика, а остальных волки разорвали. Из трех уцелевших мужиков был наш деревенский и он все рассказывал: как он волком был и как бегал с настоящими волками. „Попадешь, бывало, — говорит он, — в их стадо и ложись всегда под ветер, а на ветер ляжешь — сейчас учуят человечину и разорвут. Они много так наших разорвали. Бегаешь, бегаешь, поесть все ищешь; настоящие-то волки падаль жрут, а мы не ели падали, все живых — барашка, теленочка... Иногда память приходит: в свою деревню забежишь, к своему двору подойдешь и думаешь: вот скажу, кто я таков. Как вдруг собаки залают, на улицу выйдет кто-нибудь, закричит, заулюлюкает, — совсем не можешь образумиться и порснешь куда-нибудь от деревни подальше, в лес или в овраг". Оборотень этот повадился ходить под ригу и там лежать. Домашние его и подумали: „Не наш ли это сердечный?" — и положили на то место, где он ночью лежал, ломтик хлеба. Утром посмотрели, а ломтя нет: он съеден. На следующую ночь положили больше хлеба, и это он съел. Так его они (домашние) кормили, пока он не превратился опять в человека. Прошло семь лет, волчья шкура у него треснула и вся соскочила: он стал человеком. Крест, как был у него на шее, так и остался, да клочок серенькой шерсти против самого сердца» (Колчин 1899; цит. по: РКВЗ, 227, Тул.).

В большинстве рассказов XIX в. случаи оборота свадебного поезда в волков, медведей или сорок упоминаются как дела давние, живущие лишь в воспоминаниях: жуткие истории про то, как находили под шкурами убитых волков то янтарные бусы (знать, угодила под охотничью пулю сама обороченная невеста), то шитые пояса (тут уж не понять, может это жених был, а может, кто из поезжан свое отбе́гал)...

Говорят, будто колдун, для того чтобы оборотить свадьбу, «перекапывает едущему поезду дорогу небольшим ровиком: едва наедет поезд на это углубление, как лошади падают мертвыми, а люди убегают в зверином образе» (РКВЗ, 122). Если оборачивание происходит не в дороге, а во время свадебного застолья, «колдун с известным приговором втыкает в стол или в матицу нож, и все свадебное собрание обращенное в волков, перескакивает через стол и убегает в лес» (РКВЗ, 198). Но существует и еще более древний, можно сказать, классический способ, когда кол-

дун использует специально изготовленный для этого пояс. Чтоб приготовить такой, берутся ремень да мочало и скручиваются под нашептывание заклятья (на весь свадебный поезд обычно требуется столько ремней и мочал, сколько в поезде лиц). И вот, кого колдун таким поясом опояшет, бегать тому волком, покуда сей поясок не перетрется или кто-нибудь не сорвет его с бедняги хоть случайно, хоть намеренно.[21]

Жили, говорят, два брата. Один, Григорием его звали, был человек женатый, а другой, Кузьма, в холостых ходил. Приспело время, женился Кузьма, да только вышло, что зажила его жена с деверем, с Григорием то есть, а с мужем — нет как нет. Дальше больше, решила она мужа извести, чтоб не мешался. Сходила к колдуну, и дал ей колдун пояс. Вот этим-то поясом она мужа и хлестнула, как домой пришла. Вмиг сделался он собакой, и прогнала его злая баба с подворья вон.

Бежит, значит, кобель наш по деревне, а мальчишки в него камни мечут — не видали еще такой собаки.[22] Насилу от них ушел и добежал до какого-то пастбища. Пастух его приветил, хлебца кинул, и остался оборотень у пастуха. А тот и рад — хоть и неказист пес, а хлеб свой честно отрабатывает. Заглянул как-то на пастбище прохожий человек, богатым мужиком оказался. И вышел у них с пастухом спор, да на большие деньги — на сто рублей: сможет ли пастушья собака коров от медведя оборонить, али как... Договорились проверить. Отошел мужик в лесок, да и оборотился сам в медведя, и попер на коров. А пастуший-то кобель принялся коров оборонять, да так успешно, что мужик медведем еле от него ноги унес. И пошла про пастушьего пса слава...

Услыхал про хвостатого умницу купец один и приехал на него поглядеть, а коль приглянется, так и купить. Были у того купца проблемы — что ни ночь, все деньги пропадают, вот и решил он хорошую собаку завести. Пастуху и расставаться с псиной жаль, и отказать богатею несподручно, в общем, помялся да и отдал. Напоследок купцу наказал, чтобы кормил собаку тем, что сам есть будет. И стал пес-оборотень у купца жить. Как нагрянули ночью в купеческий дом воры, пес дождался, чтобы вынесли они ящики с деньгами из комнат вон, и поднял шум... И опять, значит, псу и слава, и почет.

Дошли слухи о купеческой удаче до самого государя. Он купца к себе зовет и хочет купить у него такую замечательную собаку. Не хотелось купцу собаку отдавать, да только как тут откажешь... Продал. И слова пастуха не забыл передать, чтобы кормили тем же, что сами есть будут. Все честь по чести. А у государя своя голов-

[21] Интересно, что и избавить оборотня поневоле от звериного облика можно также при помощи своего собственного пояса: снять его с себя, навязать на нем узлы, с каждым узлом приговаривая: «Господи помилуй», и надеть его на того вовкулака (так называют того, кто ходит в звериной шкуре по злой воле колдуна). Тогда волчья шкура спадет и человек освободится от заклятья.

[22] Пожалуй, в том, что ребятишкам не доводилось прежде видеть такой собаки, ничего удивительного нет, — странность оборотня-собаки заметна, например, по его ногам, которые продолжают «гнуться» как у человека, т. е. «коленками вперед».

ная боль — пропадают наследники, причем прямо из колыбели. Прежде трое было, а теперь уж один остался и, главное, не понятно, кто берет. Вот и взял он собачку, чтобы последнего оборонить. В первую же ночь пес отличился. Постлали ему в углу коврик, да только не стал он на ковре лежать, прямо под колыбелью устроился. Ночь настала, во дворце все уснули. В самую полночь отворяется окно и влетает в покои ворон, шасть к колыбели и хочет ребенка унести. А собака уже тут как тут и ворона так прижала, что ему и не вырваться. Пес ворону говорит: оставь, мол, ребенка, не то живым не выпущу, и остальных ребят, что прежде украл, верни... Тому и деться некуда, пообещал. Тряхнул его пес пару раз для острастки и отпустил. Слетал ворон за украденными детишками, а как последнего вернул, на прощанье псу говорит: Ну, ладно, Кузька, я тебе припомню... Колдун оказался ворон-то, опознал оборотня. Ну, наутро во дворце шум, радостные крики... Наградил государь пса золотым ошейником и началась для него с тех пор не жизнь, а сплошной праздник.

Затосковал, заскучал наш кобель от такой жизни и, улучив момент, сбежал. Куда подался? Ясное дело, в родные края. На свое подворье заглянул, а там жена... Мигом признала, кто домой заявился и опять его поясом — хлесть! Обернулся тут бедный Кузьма воробьем и полетел...

Долго его носило, пока не замерз вконец и не пристроился с отчаяния отдохнуть на какой-то оконнице. Но окно ему подвернулось не простое, прямо к тому колдуну угодил, что вороном летал и царских детей воровал. Тот его заприметил, да только сразу в горницу запускать не стал: посиди, мол, Кузенька, прочувствуй, как это, когда совсем худо приходится... Как ты мне страсти задавал, когда детей отымал, не помнишь ли?.. После сжалился: окно растворил, воробья впустил и вернул Кузьме человечье обличье.

Как собрался мужик домой идти, дал ему колдун от себя пояс и сказал: «Домой придешь, хвостни поясом и жену, и брата — из нее кобыла будет, а из него жеребец». Так Кузьма и сделал (РКВЗ, 425–427).

Оборачивая людей в животных или птиц, колдун или ведьма, разумеется, занимаются порчей, и, как правило, именно с целью испортить человека или животное они становятся оборотнями сами. Бытует мнение, будто оборотничество больше свойственно ведьмам, нежели колдунам: они и проделывают это чаще, и разнообразия у них больше: сорокой, собакой, свиньей, жабой, кошкой, кобылой... чем угодно обернуться могут, не говоря уж о превращениях в разные предметы. Это мнение не совсем справедливо, поскольку и до нашего времени сохранились рассказы об оборотничестве колдунов, а в основе своей это явление оказывается гораздо более древним, чем оборотничество ведьм.[23]

[23] Чтобы оборотиться в то или иное животное, колдун отправляется обычно в лес, находит подходящий пень и, воткнув в него нож, трижды перекувыркивается через него. Иногда считается, что можно и без пня обойтись, втыкая ножи прямо в землю, причем количество ножей варьируется от одного до двенадцати; расходится также и мнение о том, вверх острием или вниз острием в



Рис. 54. Нападающий оборотень.

Причиной для оборота нередко становится тривиальное хулиганство — обычное для колдунов и ведьм желание поизмываться над человеком, ну и лишний раз испытать свою силу. А приключись у того человека от пережитого болезнь или что похуже, это ведь колдуну или ведьме только на руку... И все же большую часть народных рассказов про оборотничество составляют истории об актах целенаправленной порчи, о методичном преследовании и изведении конкретного человека из мести или ненависти.

Перечислим теперь, в кого или во что могут оборачиваться колдуны и ведьмы (перечисление, конечно, не полное, а так — серия иллюстраций из попавшихся в рассказах случаев).

1. *Волком* — «Тут у нас охвотник жил, удовец. И женился на удове с сыном. И у самой ей глаз черный, а на сына и глядеть страшно. И кажну ночь сын из избы прочь. И уцуял охвотник, что стал кажну ночь волк коло их избы выть. Вот под цистую субботу взял он топор, да святой водой смоцил и ноцью, жоне не говорясь, сторожить стал. О полночь прибежал белый волк, сел середь двора и почал выть.

землю следует втыкать ножи. Судя по всему, справедливым надо считать мнение Д. К. Зеленина, видевшего во втыкании ножа острием в землю направленное ритуальное действие — требование от земли силы для превращения.

Охвотник выскочил, да топором лапу обрубил. Волк завыл, да не в лес, а в избу. Охвотник за ним, а в избе смотрит — на лавке сын лежит, а мать ему руку вяжет» (РКВЗ, 326).

2. *Медведем* — «У папы на глазах человек в медведя оборотился. В воды вошел человек, а вылез медведем, в лес ушел, сказал одежды его не жгать. А они сожгали, он и остался медведем. Он пояс только не снял. Пошел в стадо, коров задрал, какие люди ему неприятность сделали. Его убили, а на нем ремень...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 89, № 339, Арх.).

3. *Собакой* — Был раз такой случай. Женили парня, и как-то вскоре после свадьбы пошли в гости к новой родне. А бабушка того молодого жениной родне чем-то не глянулась. И после того гостеванья признавалась: «Иду я пьяненька проулком, иду и песни пою. Вдруг навстречу собака большая, а у нее большие хорошие уши... Положила мне лапы на плечи и стоит. Гоню, отмахиваюсь: „Окаянная, отпусти! Сгинь!". Она меня сильней душит, дышать уж нечем! И начала я тут, в страхе трезвом, молитву читать. Разом канула, как провалилась та большая собака... После, как подошла к своей калитке, обмыслила, что это такое было со мной. Ну, пьяненька, а все же я в памяти... сдогадалась наконец, вона что это было...» (Еремеев 1990: 276, Сиб.).

4. *Лягушкой* — «Крестьянка... при доении своей коровы на пожнях постоянно замечала какую-то черную лягушку, которая каждый раз оказывалась сидящей под коровой в напряженной позе. [Она], рассердившись избила лягушку, проткнув ей бока вицей. ...у женщины из той же деревни заболели бока; на одном ее боку даже открылась рана» (Сидоров 1997: 30, д. Конша, коми).

5. *Кошкой* — «У нас соседи были, две снохи... Одна высо-окая была ростом, а друга низенькая. Одна, наверно, че-то знала и другую выучила. Обои колдуньи были ⟨...⟩ Так они вот, эти снохи, они переделывались и кошками... Как-то отец встал ночью на двор, ночью, глянул в окно — зимою — они, две кошки, одна маленька кошечка, другая повыше — и они друг вот на друга вот так вот прыгают, толкачики делают, на дороге...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 172, № 243); «...ночью на двор пришла кошка и начала мяукать. Помяукала немного — и вдруг обратилась в простоволосую бабу в одной рубахе и начала доить корову в кожаный мешок...» (РКВЗ, 225, Тул.).

6. *Свиньей* — «У нас тоже случай был... С Сережкой с этим. Мы там собирались на вечерку. А он проводил девку, идет обратно — чушка захрюкала. Вот чушка привязывается и привязывается... Он еще: „Ну, чушка, отойди от меня". — Ножик вытащил и взял и уши ей обрезал. Приходит на вечерку-то и рассказыват: „Я какой-то чушке сейчас уши обрезал". Мы еще похохотали. А назавтра говорит: „Я своей матери ухи обрезал". Я говорю: „Да как?" — „Вот, — гыт, — мать утром не встает, не встает. Потом платочком повязана выходит": „Ой-ой, у меня зубы болят". А потом посмотрел: у нее хрящи на этих местах, где уши-то обрезал. Хрящи". Он у нее

спрашиват: „Это че у тебя, мама?“ — „А вчера на сенокосе была да вот литовкой обрезала“...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 157–158, №225).

7. *Лошадью* — «...однажды молодежь увидела странную лошадь, которая не имела хвоста. На это обратили внимание ребята и стали ее мучить своими шалостями. После этого лошадь взмолилась человеческим голосом: оказалось, что это была колдунья[24]» (Сидоров 1997: 29, с. Усть-Выми, коми); «Молодежь гуляет вечером, а там одна старуха... то она чушкой сделатся, за имя гонятся, то лошадью сделатся. За имя бегат. Один там их старик научил: „Вы, — гыт, — поймайте ее. Лошадью будет бегать — окружите ее и поймайте. Не бойтесь. И приведите ее к кузнецу, чтоб подковал ее.“ Но,



Рис. 55. Ведьма, оборотившись свиньей, преследует парня.

[24]Оборот ведьмы или колдуньи в лошадь, как правило, имеет связь с тем, что их излюбленным развлечением становится катание верхом, причем выбирают «рысака» подюжей — конюшего, философа (вспоминайте гоголевского «Вия») или солдата: «Бывало, ведьма возьмет уздечку, набросит ее на солдата, засядет на него верхом и катается вплоть до петухов...». Ну, а случись поменяться местами, ведь не все коту масленица, тут-то и оборачивается голубушка лошадью — видно, так бегать сподручнее, а может, нет сил уздечке противиться: «...долго не думавши, ведьма берет уздечку, подходит к нему и хотела было набросить ее на полковника, но тот изловчился, да и выхватил уздечку и накинул ее на ведьму, сел на нее верхом, да и ну катать, да плетью угощать, благо ведьма обратилась в лошадь. Ездил, ездил полковник, а там приехал в кузню и велел кузнецу подковать лошадь. Подковали; засел полковник опять; ездил, ездил, потом подъехал к хате, слез. Стегнул плеткою и стала лошадь опять ведьмою; тут он еще раз стегнул бабу, та забилась на печку, лежит, стонет и охает...» (Иванов 1900; цит. по: РКВЗ, 246–247, Орлов.).

так и сделали...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 159, №228).

8. *Птицей* (обычно сорокой) — «Это мне свекровь рассказывала. Один женился, а его мать невестку не полюбила. Невестка в положении ходила. Пришло время рожать, прилетают сороки. Ну вот, они прилетели, усыпили невестку и вытащили ребеночка (...) а потом сами-то улетели. Утром невестка просыпается — тяжело ей что-то очень, тяжело и живота нету (...) Первого ребенка так, и со вторым така же история. Это все свекровь подстраивала, она же невестку-то сильно не любила. ... Третья беременность была. Она плачет и просит мужа не уходить, боится, дескать. Он грит ей: „Ложись и спи. Не бойся, я приду, чтоб меня никто не видел, и спрячусь". Пришел, спрятался под койкой, зарядил ружье... Подошло время, двенадцать часов ночи. Прилетают эти сороки. Перва подходит свекровка и начинат... И огонек уже на шестке развели.[25] Сын, как только она вытащила ребенка (он еще живой был), подстрелил ее...» (там же: 151, №21, Сиб.).

9. *Колесом* — «...катится навстречу колесо. Большое такое, прямо ему под ноги. Он взял то колесо, как дал его топором, колесо покатилося домой к суседам. Он пришел домой, а у суседки все пальцы перебиваны...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 334, №366).

10. *Копной* — «У той же Нефедихи муж Андрей в молодости шибко матерился. Видно, как-то обидел бабу-оборотку. Шел вечером, а сумерешно... Видит, стоит у *заплота** копна. Мужик торопится, глядь, а копна проулком за ним. Налетела темным ветром, схватила и начала мять. Сильно так помнет — отпустит. И так несколько раз до самого дома. Уж у калитки дома Андрей. Обернулся, а копны и в помине нет! Отдышался, подивился, понять ничего не может. То-то и оно, что трезвый шел! Рассказывали, что оборотка-копна и вовнутрь затягивала. Свалит и катит. Вроде пустая, а валит с ног и катит, катит, все отобьет...» (Еремеев 1990: 277, Сиб.).

Кроме умения оборачиваться в разных животных, птиц или предметы, имеется у колдунов и ведьм еще одно завидное свойство — способность вовсе делаться *невидимкою*. Это свойство с давних времен не давало спать спокойно некоторым деятельным натурам.[26] Правда, большинство желавших научиться несколько осты-

[25] Колдуньи летают по ночам сороками к беременным женщинам, к тем, кто совсем на сносях, и воруют еще не родившихся детей. Считается, что они в птичьем облике проникают в дом через печную трубу (почему и требуется от хозяек не оставлять печную трубу незакрытой на ночь) и, напустив на женщину крепкий сон, вытаскивают из нее ребеночка, жарят его и съедают. Так же они могут поступать и с еще не родившимися телятами. Чтобы не сразу обнаружилось содеянное, на место вынутого ребеночка ведьмы заталкивают непрогоревшую головешку. Кстати, такой головешкой они пользуются и для наведения на бедную беременную тяжелого, чуть ли не беспробудного сна — обведут кругом и бабе никак не проснуться. Поэтому с такой головешкой связывают другой запрет: не оставлять в печи на ночь не прогоревших головней и не выбрасывать их на улицу; такую, если попадется, надо непременно обколотить кочергой, чтобы рассыпалась в угольки и пепел.

[26] Другим известным в народе средством становиться невидимым считали цветок папоротника,

вало, узнав поподробнее, что для этого надо сделать. А надо всего ничего: поймать и убить черную кошку, и, разварив ее основательно, найти среди костей кость-невидимку; для чего придется встать перед зеркалом и каждую кошачью косточку брать в рот. Как попадется та самая, так сразу видно — отражение в зеркале без ошибки подскажет... (РКВЗ, 305).

Считается, что колдуны-оборотни, принявшие образ животного, чтобы причинить вред человеку и, например, изувечить его, сами без вреда переносят наносимые им побои или раны. Так во Владимирской губ. ходила история о том, как подстреленная и окровавленная собака-оборотень дня через два-три будто бы явилась снова и совершенно невредимой, чтобы искусать намеченного ею человека. Эта история входит в явное противоречие с постоянно встречающимся в рассказах об оборотнях мотивом нанесения оборотню тяжкого повреждения (искалечено тело, отрезаны уши, отрублены лапы, и т. п.). Как правило, в результате такого повреждения колдун- или ведьма-оборотень умирает, а если и остается жить, то навсегда теряет способность к оборотничеству: «Сказывливал солдат. „Мы пойдем на караул, сядет [ведьма] на спину и носи ее“. Они удумали, спугнули палкой с дыркой, що глас вышып (так, что глаз вышибли. — *А. Н.*). Она: „Мне глазу не жалко, а слова-то не пристанут, не обворотиться мне больше“» (Богатырев 1916; цит. по: РКВЗ, 303, Волог.).

Из различных способов защиты от оборотней на первых позициях стоят:

— Крепкий удар, так, чтобы сразу показалась кровь — «Если ударишь ее (ведьму) в крофь, то обворотиться не может».

— Удар такой, чтобы выбить зуб или вышибить глаз, о чем уже было сказано выше.

— Наконец, удар наотмашь, можно и рукой, только бить тогда следует непременно левым кулаком и, предварительно послюнив безымянный палец, иначе колдун или ведьма могут напасть сами. Но лучше бить слегой (вариант: колесной осью), причем бить надо по тени и при каждом ударе считать: «раз! раз! раз!» и т. д., не слушая оборотня, который будет стараться сбить со счета, заставить бьющего сказать «два!». Если такое случится, тут же невесть откуда появится второй колдун-оборотень и тогда человеку несдобровать.

добытый в Иванову ночь. Его кое-где прямо так и называли «цветок-невидимка» (*чветок неведем*). Даже ходила история про одного пастуха, который вовсе не собирался добывать цветок папоротника или обрести способность становиться невидимым. Просто попал ему в лапоть этот самый цветок, а мужик ни сном, ни духом про то не ведал. И сразу начались проблемы: пока домой шел, все голоса слышались, которые требовали, чтобы немедленно вернул взятое обратно... а что надо вернуть, ему-то невдомек. А еще хуже стало, когда домой пришел — всех домашних переполошил — он с ними разговаривает, а они его не видят, шарахаются... В общем, только когда разулся и вышвырнул в сердцах лапти за порог, стали его вдруг видеть. Уже позже, когда он понял, что с ним такое было, принялся пастух свои лапти перетряхать, но волшебного цветка не нашел. Видно, выпал из брошенного лаптя и где-то на дворе затерялся...



Рис. 56. За приворотным зельем (Флепушка).

Столько времени потратив на разговор о кознях колдунов и ведьм, мы обязаны хоть немного сказать о знахарях и знахарках, тех, кто «пользуется среди населения уважением и известностью иногда на многие десятки верст». Их нередко называют просто бабками или дедами, у них нет дипломов о специальном образовании, но, опираясь на богатый жизненный опыт, на знания, полученные от своих дедов и бабок, они лечат деревенский люд и скотину от всяческих болезней (в том числе и от порчи), и нередко помогают там, где официальная медицина бессильна.

Как лечат? А всяко: при помощи трав, заговоров, умелых рук и многого другого..., но, главное, с Божьей помощью. Не обращали внимание на то, как начинаются многие заговоры? «Встану я, раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота...». Кстати, знахарские заговоры, в народном

представлении очень часто смешиваются с молитвами. Про знахарей, так же, как и про колдунов, говорят, что они «знают», «щупят» (т. е. шепчут), или «знают слово», но это знание со знаком «плюс».[27] Как и у колдунов, знахарское знание передается, как правило, по наследству, путем долгих лет ученичества. Как и у колдунов, оно держится от посторонних в строгом секрете, даже встречается объяснение, будто действующая знахарка не может раскрыть свой секрет и передать заговор первому встречному, иначе и сама она потеряет силу, и заговор перестанет быть действенным.

Знахари, прежде всего, лечат, за что их нередко, особенно знахарок, называют «лекарками», «лечейками», говорят, что они «целят», «ладят». Это потому, что лечат они, главным образом от тех болезней, которые человек или животное получили благодаря стараниям ведьмы или колдуна, т. е. от разных видов порчи. Тем паче, что колдуны, надев кому-нибудь порчу, нередко сами снять ее уже не могут. Вот и приходится искать того, кто в состоянии несчастного порченного «изладить». В народных рассказах хранится память об удивительных случаях знахарской практики.

• «Вот у нас бабушку... моей матери мать... Тоже она вот, за кого ее хотели сватать-то, она за него не пошла. А вот вышла за дедушку. Но и прошел, наверно, год. Поехали к своим да загуляли... И вот она оттуда приехала — живот болит, и болит, и болит. Живот болит и растет. Че поест — ее рвет. Ну, а раньше же врачей же ведь не так было: все эти шептуны... Она к врачам-то, правда, обращалась, ниче у ее не могли признать. Это бы счас — рентген и все. И он ее повез к (знахарю. — *А. Н.*). Она только зашла, (знахарь. — *А. Н.*) сразу говорит: „О-о, девка, тебя капусткой угостили". И вот на капусте че-то сделали — у ей рыбина жила в животе (это уж моя мать рассказывала) ⟨...⟩ Он ково-то ей наладил на воду, она выпила. И велел налить в чисто ведро воды и сести на ведро — и она вышла, обыкновенная рыба. И вот он сказал: „Пять лет не то что на людях — даже дома капусту нельзя ись. Если, — гыт, — капусту будешь ись — снова будет..."» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 191).

• «А это тоже, наш, куэнгский — с ним было ⟨...⟩ А ему хомут пахряпали на зубы. Он этому ничему не верил. В карты играл — ое-е-е! Но че, бегат, мóчи нет! Она, покойница [знахарка]: „Костенкин, давай излажу-то!" — „Но те к чертовой матери! Че, поможет!" Но ладно, бегат. Вот он бегал, бегал ⟨...⟩ Она, значит, сходила,

[27] Старинное предание говорит о первом Знахаре, который обладал знанием одних только «добрых» трав, посеянных Богом на пользу человеку. Ему будто бы были открыты все тайны природы, он понимал речь матери-Земли и слышал, о чем говорят травы. Жил он как праведник, счастливый и своим волшебным знанием, и тем добром, которое он приносил людям. Но, сделавшись стариком, под влиянием соблазнов дьявола, он захотел вернуть себе молодость и тогда-то познал «злыя травы». Узнав их, стал не только оказывать помощь, но и творить зло. Так и пошли по белу свету знахари... — чем не достойное объяснение того, почему в современном понимании понятия «колдун» и «знахарь» смешиваются?

ниче не сказала ему и на часк изладила. „Но, иди, Костенкин, чай пить!" — „Какой тут чай? Я без ума! Мозга на лоб лезут, совсем выворачиват глаза!" — „Дак попей, может, от горячего-то лучше будет". Но, теперь он чаю хватил — оне у него пуще прежнего. Она говорит: „Дак пей еще, может, лучше будет". Он стакан выпил — оно перекрутило, потом легче, легче — отпустило. Отпустило когда, он, значит: „Дак ты че, ково в чай-то месила ли ково ли?" — „Дак никово не месила" — „Дак отче же лучше зубы-то стали". Ниче сначала не говорила, потом сказала все же: „Вот, — гыт, — отково лучше-то стало — изладила я на чай-то" — „Да не может быть?" — „Вот не может... Ты бы, — говорит, — загнулся. Еще бы с час и все — и хоронить бы пришлось тебя!" Но, лучше стали зубы» (там же: 186–187, Сиб.).

• «Воду, как обмыли покойника, в большой передний угол, к дому на улицу льют. Этой водой и плохое можно сделать... Раньше овсяная была мука. В воду наболтают, намешают, получалась такая болтушка, тяпушка. И на сенокос когда ездили, делали. Одна сделала такую тяпушку на воде с покойника и напоила женщину после родов, и та заболела. Говорит, я лежала, ничего не понимала. Муж повез на лошаде к знатку, знахарю. Он-от и говорит: „Истопи баню". В первый день он намыл с приговорами... Говорит ей: „Ложись на пецку". „Не будите. Сколько может, [пусть] столько и спит". И три раза он мыл в бане. Знахарь сказал: „Ели не будете мстить, я покажу вам, кто сделал такое с ней". Наливает воду в блюдо большое. Они наклонились над блюдом, он их накрыл, свецку поставил сбоку. И в этой воде увидели они эту тетку, как она воду, которой покойника мыли, льет из бутылки и ложит муку в цаску...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 81–82, № 308, Арх.).

• «...Иду с фермы, идет женщина, она зла на меня. Я бегу, говорит: „Фу, красна рожа, когда ты сдохнешь, тебя и смерть не возьмет!". Я пришла домой — не встать, пошли волдыри. Кой-как сошла до бабы Фени. Баба Феня говорит: „Ночуй у меня. Уснешь сразу — легче будет, а нет — то все". Наговорила на красное вино. Утром просыпаюсь — легко-легко сделалось, как что-то развязало. Она мне на дорогу наговорила на соль, и в тряпочку, и туда уголек. Третий наговор приняла к ночи. Все волдыри куда-то делись» (там же: 93, № 351, Новг.).

Даже свадебную порчу и ту знахарь может помочь снять, на что у него есть свои приемы.

• «Меня с хозяйкой в свадьбу испортили ⟨...⟩ У меня в брюхе жила нечистая сила мышью: как зачнет, бывало, она там ползать по кишкам, живот и станет дуться, того гляди, лопнет. Я уж и гашник, и пояс распущу, да без памяти по избе катаюсь. А тоска, во какая бывала: чисто перед смертью. А как зачнет к глотке подползать, так чую, как в шерсти ворочается, тут, во... Кабы не один человек, давно бы меня эта нечисть доканала. Присоветовал он мне коренья пить, от порчи девять их, а самый главный Адамова голова прозывается, потому что она прям, как голова человечья и образину имеет такую, даже борода есть. Этот корень надыть было

напослед всего пить, и дюже тяжело мне сделалось: ни пить, ни есть, а гадина в брюхе еще злее лазить стала. Мать и жена за попом послали, причастить меня. Тут с обеда зачал я блевать и как раз, как попу приехать, еще пуще натошновал и выблевал мышь, мышь как есть, в шерсти, и сразу мне леготно стало» (Торэн 1996: 318, Орлов.).

От других болезней, не связанных с деятельностью колдунов и ведьм, знахари тоже лечили.

• «Заболела раз у меня нога, распухла, почернела, где почешешь, там нарыв вскочет, а потом провал. Так от колена до лапы было 12 нарывов. Обращался в больницу, давали ихтиоловой мази и другие лекарства — не помогало. Жена говорит: „Это у тебя волос". Я не верю. Вот давай попробуем позвать бабку. Она сказала, чтоб ногу погрузили в теплый щелок ⟨...⟩ Вот одела она меня как покойника во все чистое, белое, ничего суконного или овчинного не надела [чтобы шерсти, т. е. волоса, в одежде не было]. Сел, ногу опустил в воду со щелоком и заснул. Просыпаюсь, вынул ногу. Жена стала находить в щелоке волосы; белые, черные, всякие, разной длины. Такое количество этого волоса 11. Жена сказала: „Ты только не удивляйся, а то он выходить не будет". Вот тут мне и пришлось поверить в волос. Сидеть нужно ночью, в тишине, чтобы ничего не стучало, не бренчало, кошку выкидывают, часы останавливают, чтобы не тикали. „Волосатик" шума не любит и выходить не будет. В щелок кладут „нешитую" иглу и серебряное кольцо или серебряный гривенник для чего не знаю. Стала нога улучшаться проходить. Пошел я к врачу. „Ну вот значит помогает?" „Только не от тебя", — подумал я. Вылечился и с тех пор не баливал. „Волос" есть, пришлось убедиться на факте» (там же: 151–152, Костр.).

• «Баба... скот словом лечила. Черви заводятся у лошадей, у коров и мучают летом скотину. Придут, бывало, к нам. Так и так, пожалуйста... Начнет баба обязательно выспрашивать: „Вы их шевелили чем-нибудь?" — „Нет". — „А какая масть у коровы?" ...Брала баба суровую нитку, навязывала узлы и читала наговор. И выпадали черви...» (Еремеев 1990: 264, Спб.).

Могут помочь знахари и против насланной колдуном или ведьмой «домашней нечисти»: тараканов, клопов, мышей и крыс. Был, например, случай, когда знахарь, совсем как знаменитый гамельнский крысолов, утопил в реке целую прорву мышей: созвал их свистом в очерченный им на берегу круг, и согнал затем кнутом в воду (Ушаков 1896; цит. по: РКВЗ, 221).

Для изгнания из дома тараканов и всяких прочих паразитов знахарку звали обычно к Пасхе: возвращаются хозяева от заутрени с пасхами, а бабка, взявши веник, принимается усиленно мести к дверям, покрикивая: «Прусаки, и тараканы, и всякая гадина, выходите вон из избы — Святая Пасха идет!», и трижды машет веником за порог. Ну, а когда хозяева совсем на подходе, она, как можно дальше отшвыривает веник от дверей дома, как бы указывая направление для спешно

собирающейся в дорогу «избяной нечисти». Для усиления проведенного ритуала, знахарка непременно давала хозяевам наговоренных трав (сушеных цветов тысячелистника и чернобыльника), наказывая, чтобы положили в тех местах, где усатых развелось больше всего.

Обращаются к знахарям и в тех случаях, когда человеку надо узнать будущее, свое или близких, узнать о пропаже людей, скотины или вещей.

• «В Карпогоры сын поехал, а я говорю, там люди знатки, не испортили бы. А он *потерялся**. Дядя говорит, хочешь скажу, где сын-то. В таз воды налил, а там река течет, и в кустах труп-тело лежит. Знаткой был дядя-то...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 93, №353, Арх.).

• «Потерялась телушка тут у однех. Так невестку и отправили к старику... Невестка пришла к старику, а он уж знает, зачем она пришла: „Что телушка потерялась? Не беда. Ступай домой, а она у дверей будет“...» (там же: 78, №292, Волог.).



Рис. 57. Знахарка, собирающая травы в Купальскую ночь.

• Если кто болен, так чтобы узнать, проживет ли он еще год, приносили знахарю какую-нибудь вещь того человека — рубашку, чулок, полотенце и проч., чтобы погадал — бросил вещь в реку в ближайший праздник (на Троицу, в Духов день или в Яблочный Спас). Говорят, «если вещь потонула — ее владелец должен был умереть в течение этого года, если же плыла — это знак, что хозяин ее проживет еще год» (ЭС, 372, юго-западная Россия).

А травы? Без трав какой знахарь?.. Ведь именно за эти знания их называют зелейниками и зелейницами. Им про каждую былинку знать надо: не только от чего она помочь может, но и где растет, и когда, и как ее брать надо, чтобы согласна была свою силу на нужное дело отдать. Так что, сбор трав — тоже работа не простая, «по словам знахариц, травы должно рвать на Ивана Купала, между заутренней и обедней, совсем нагому, какой человек родится; и не бояться ничего, что можно при том увидеть: „Чертям не больно любо, как рвут травы“. А как станешь рвать, то попросить матушку сырую землю, чтоб она благословила нарвать с себя трав для всякаго надобья; надо ничком упасть на матушку сырую землю и молвить такия речи:

Гой земля еси сырая,
Земля матерая.
Матерь нам еси родная,
Всех еси нас породила
И угодием наделила;
Ради нас, своих детей,
Зелий еси народила
И злак всякой напоила
Польгой беса отгоняти
И в болезнях помогати.
Повели с себя урвати
Разных надобьев, угодьев
Ради польги на живот!

Рвать травы надо одному и так, чтоб и близко никого не было» (Майков 1994: 101–102).

Вот такие они, дела знахарские...

Ну, а по поводу оборотничества, порчи и прочего колдовства и ведьмовства, приведу напоследок мнение деревенской молодежи 20-х годов XX в., считавшей так: «Бабам ночью не спится, зуда-то берет, вот они и выдумывают разную муру-то...»

Глава 10

ЗАГЛЯНУТЬ СУДЬБЕ В ГЛАЗА

Про всякого рода гадания; удивительные странники; вещие сны

Ну что сказать, ну что сказать?
Устроены так люди —
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет...
(стихи Л. Дербенева к муз. фильму «Ах, водевиль, водевиль!..»)

Вы помните, чем начиналась баллада В. А. Жуковского «Светлана»? Правильно, сценой всевозможных святочных гаданий:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны

(Жуковский 1986: 133).

Гадать было можно не только в крещенский вечерок, были еще и купальские гадания (на Ивана Купалу), и троицкие, и пасхальные, и масленичные... А если

иметь в виду общеславянские календарные привычки, то можно добавить к уже перечисленным гадания, совершавшиеся на Юрьев день (23 апреля по ст. ст.), на 1 марта, на день Св. Люции (13 декабря по ст. ст.), и это тоже будет далеко не весь список. Да и крещенский[1] вечерок — всего лишь один вечер в целой череде длинного гадательного периода, называвшегося Святки.



Рис. 58. Светлана.

Святки, длившиеся две недели — от Рождества (с 24 на 25 декабря по ст. ст.) до Крещения (с 6 на 7 января по ст. ст.), — оказывались (и продолжают оставаться таковым) самым длительным и насыщенным периодом гаданий. Это особое время, когда окружающий человека мир стоит на пороге новой жизни, переходит в новое состояние, он меняется и потому видится непредсказуемым и страшным. Именно в это время человек как частица этого мира может внести свою лепту в его упорядочение, повлиять на его выстраивание из хаоса, вмешаться в работу разрушительных и созидательных сил. Для чего и существовали различные обряды, дающие человеку возможность входить с этим силами в контакт, и гадания из их числа.[2]

[1]У крещенского вечера действительно репутация самого что ни на есть гадательного. Говорят, будто все, что загадано и предсказано в этот вечер — непременно сбудется, обязательно исполнится. Объясняется это тем, что гадания давно уже связываются со всякой чертовщиной, а Святки — для чертей раздолье, а крещенский вечер последний на Святках. Вот нечистая сила и резвится во всю перед переходом от открытой деятельности к длительному периоду скрытой, «подпольной» работы. Можно сказать, что на Крещенье у нечисти случается последний, самый мощный всплеск активности...

Кроме общеизвестных календарных гаданий существуют разные формы бытовых гаданий, связанных как с переходными моментами человеческого бытия (во время похорон и поминок, крещения и венчания), так и с различными проявлениями повседневной жизни (с переездом, с растапливанием печи, выпеканием хлеба, выметанием мусора, началом тканья и т. д. и т. п.), которые на самом деле известны не менее календарных, и используются чуть ли не чаще, чем календарные.

[2]В такие опасные переходные периоды граница между различными мирами (между миром живых и миром мертвых, между миром культурным, антропогенным, и природным, стихийным, миром «своим» и миром «чужим»...) оказывается очень зыбкой, условной, легко проницаемой.

Когда-то время Святок очень четко делилось на две части. Первая часть, до Нового года, была посвящена умершим родичам, обожествляемым, святым (откуда и название Святок или Святых вечеров): в это время их ждали, стремились накормить, обогреть, максимально ублажить. В ответ ожидали от них помощи и покровительства в будущем году как в обеспечении доброго урожая и приплода домашней живности, так и доброго влияния на будущее людей рода — заключение браков, рождения детей, здоровья и пр. Умершим как существам другого мира открыто знание грядущего, кроме того, они и сами могут оказывать влияние на формирование судьбы представителей своего рода.

А с Нового года, от Василия Кесарийского (1 января по ст. ст.) до самого Крещения, начинались Васильевские вечера, именовавшиеся в народе Страшными: «Еще ныне у нас Страшные вечера да Васильевские...» — пели под окнами колядовщики. Страшные, потому что «в ночь под Новый год бесчисленные сонмы бесов выходят из преисподней и свободно расхаживают по земле, пугая весь крещеный народ. Начиная с этой ночи, вплоть до кануна Богоявления, нечистая сила невозбранно устраивает пакости православному люду и потешается над всеми, кто позабыл оградить свои дома крестом, начертанным на дверях жилых и нежилых помещений. В эти страшные вечера, говорит народная легенда, Бог на радостях, что у Него родился Сын, отомкнул все двери и выпустил чертей погулять. И вот, черти, соскучившись в аду, как голодные, набросились на все грешные игрища и придумали, на погибель человеческого рода, бесчисленное множество развлечений, которым с таким азартом предается легкомысленная молодежь...» (Максимов 1994: 267).

Конечно, в христианском понимании, гадание — грех,[3] ибо судьба человека в руках Божиих, и пытать о ней — все равно, что воровато лезть к Богу в карман, — человеку о божьих промыслах знать не положено. К тому ж, любому понятно, кту именно является на призыв гадающей — в принятых словесных формулах открыто звучит вызов нечистой силы: «Черти, лешие, бесы, дьяволы, приходите ворожить!» (Костр.), «Лешие, лесные, болотные, полевые, все черти, бесенята, идите вы сюда, скажите, в чем его судьба? Будь ты втрою проклят! (называется имя стоящего в кругу)» (Костр.), или: «Черти, к нам, чертенки, к нам! Вокруг круга ходите, к нам не заходите!» (Арх.).

У большинства европейских народов так или иначе подчеркивается эта открытость, готовность к контакту — ворота между мирами распахнуты... И именно поэтому, что ни скажешь — все будет услышано, что ни спросишь — на все будет отвечено.

[3]В работе Л. Н. Виноградовой приводится древнейший фиксированный текст приговора из Силезской рукописи (Каталог магии Рудольфа), датирующейся XIII в., который, безусловно, относит гадания к обычаям «сатанинским». В разделе «О чародействе девиц и жен неразумных» (наличие такого раздела и само название — все говорит о соответствующем отношении к теме. — *А. Н.*) читаем: «Готовят воду и вместе с гребнем, овсом и куском мяса ставят со словами: приди, сатана, искупайся, причешись, своему коню дай овса, ястребу мяса, а мне — покажи мужа моего» (Виноградова 2000: 334).

Чудную зарисовку того, чем (в мягком варианте) могло обернуться приглашение суженого и какова могла быть реакция на гадание нормального православного христианина, даст рассказ орловской крестьянки Ефросиньи Рябых: «... Задумала суженого вызвать — страх захотелось мне узнать, правда ли это или нет, что к девушкам ночью суженые приходят. Вот я стала ложиться спать, положила гребенку под головашки и сказала: „Суженый-ряженый, приди ко мне мою косу расчесать". — Сказавши так-то, взяла я и легла спать, как водится, не крестясь и не помолившись Богу. И только это я, милые мои, заснула, как слышу, полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял, посадил на кровати, сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой расчесывать. Чесал, чесал да как зацепил гребенкой за косу, да как дернет — ажно у меня голова затрещала. Я как закричу... Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а отец огонь вздувать. Вздули огонь, отец и спрашивает: „Чего ты, Апрось, закричала?" — Я рассказала, как я ворожила и как меня кто-то за косы дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери — не видать ничего. Пришел в избу, взял кнут и давай меня кнутом лупцевать — лупцует да и приговаривает: „Не загадывай, каких не надо, загадок, не призывай чертей". Мать бросилась было отнимать — и матери досталось через меня. Легла я после того на постелю, дрожу вся, как осиновый лист, и реву потихоньку: испугалась, да и отец больно прибил. А утром, только я поднялась, — вижу, голова моя болит так, что дотронуться до нее нельзя. Глянула я около постели своей на земь — вся земь усыпана моими висками [волосами]. Вот как „он" меня расчесывал. Стала я сама расчесывать косу, а ее и половины не осталось — всю почти суженый выдернул» (там же: 241–242).

Из приведенного примера следует, что с чертом шутки плохи, и гадать надо умеючи...

Итак, чтобы «предаться» гаданию, «легкомысленной молодежи» необходимо знать кое-что, а именно: *когда*, *где*, *как* и *что* нужно делать.

На вопрос *Когда* можно гадать? частично ответ уже получен: конечно же, вовремя — на Святках, например, в тот же крещенский вечерок (но после Крещения — ни-ни! и не помышляйте); что касается времени суток, лучшими для гадания считаются поздний вечер и ночь (хотя, есть еще полдень, а также вечерняя и утренняя заря). Восточные славяне, например, были убеждены, что в Святки «гадать можно только до первых петухов», особенно в канун праздников. Русские, в частности, «объясняли этот тем, что праздничная церковная служба изгоняет бесов, поэтому к их помощи следует прибегать накануне» (вот вам еще одно пояснение, отчего Крещенский вечерок).

На вопрос, *Где* можно гадать? читатель, ознакомившись с предыдущими главами этой книжки, думаю, в состоянии ответить сам. Конечно, в местах нечистых (в заброшенных домах, в нежилых помещениях, типа бани, овина, чердака или сеней), а также в таких, которые считаются пространством пограничным, где легче



Рис. 59. Гадание. Оракул-чародей.

установить контакт с представителями «другого» мира (печь, порог, ворота, река (прорубь), поле, лес, перекресток и т. д.).

На вопрос *Как* надо гадать? ответим так: гадать лучше под руководством людей знающих, или получив от них подробную инструкцию, или с их участием. Они знают, что нужно сделать для установления контакта (развязать все узлы, открыть замки, снять обувь, снять крест и пояс, зажмуриться и т. п.) и какие меры принять для защиты от нечистой силы (очертиться, зачураться, взяться за мизинцы, надеть на голову горшок и т. д.).

Святочные гадания всегда были многочисленны и чрезвычайно разнообразны. Но в большинстве своем они дошли до сегодняшних дней как гадания о браке и будущей семейной жизни, и представляют собой привилегию вошедших в брачный возраст девушек (обычный у женщин ответ на вопрос. Приходилось ли Вам гадать? –

«... была в девках, так гадала»). А когда-то считалось обязательным гадать всем миром, не делая исключений по полу, возрасту или статусу. Как ни странно, это хорошо сохранилось в гадании с подблюдными песнями — наиболее, казалось бы, адаптированном для гаданий о браке. Но речь об этом пойдет чуть позднее. Надо полагать, что лишь в XIX в. окончательно сложился запрет гадать женатым и замужним (определившись, судьбу не искушают), в преклонном возрасте (уже все определено, разве смерти просить) и юным созданиям, еще не достигшим брачного возраста (форсировать ничего нельзя), ибо ни к чему хорошему это привести не может. Гадания о браке все равно так или иначе — это гадания о судьбе, следовательно, в них предусматриваются возможные варианты (богатство и бедность, счастье и несчастье, дальняя сторона, смерть и т. д.).

Большинство существующих гаданий можно условно разбить на группы по способу достижения результата:

1) гадания, направленные на то, чтобы **увидеть** свое будущее (в том числе и суженого/суженую) во сне, в воде, в зеркале и т. д.;

2) гадания о будущем **по приметам, знакам** или символам;

3) гадания **по предметам**, чтобы по аналогии с выпавшим определить характер, качество того, что ждет впереди; к этой группе можно присоединить и гадания, связанные с обращением за информацией о будущем, например, к баннику, чтобы дал почувствовать, каким оно будет;

4) гадания, направленные на то, чтобы **услышать**, и по услышанному определить собственное будущее и, что гораздо реже, будущее своих близких; сюда войдет и такое известное гадание, как «спрос имени»;

5) наконец, гадания, связанные с **«вытягиванием» жребия**, к которым следует отнести и многие хозяйственные гадания, и знаменитые подблюдные песни.

Прежде чем перейти к примерам для каждой группы, надо бы напомнить наиболее важные сентенции для особо ярых поклонников и поклонниц гаданий:

во-первых, горькое правило «за все надо платить» никто в отношении гаданий не отменял;

во-вторых, мудрость замечания, что «во многом знании — многие печали» (а неведенье и в самом деле — благо) опять же в отношении гаданий ощущается чрезвычайно остро.

В самом деле, гаданием занимались с древнейших времен, но занимались, говоря современным языком, люди компетентные, потому что гадание всегда было делом не безопасным. Всякий раз, когда человек предпринимает попытку проникнуть в запретную «зону» Судьбы, он оказывается абсолютно беззащитным и должен помнить об этом и соответственно должен быть готов заплатить даже «по высшему разряду», т. е. умереть. Кроме того, вопрошая судьбу, человек получает указание на один-единственный путь, не оставляя места для вариантов — вот уж поистине «кузнец своего счастья»...

Сказанное ни в коем случае не противоречит тому, что говорилось о принятом прежде поголовном участии в гадании. Потому что гаданием в те времена безусловно руководил знающий, кто-то из старших, и отношение к судьбе человека было тогда другое — частная судьба была частью судьбы родовой, судьбы общины. Можно добавить, что и отношение к жизни или смерти тоже было иным, не таким, каким мы видим его сейчас.

Итак, первая группа гаданий, где все рассчитано на то, чтобы увидеть свою судьбу:

а) в явившемся образе (во сне, в воде, в кольце, в зеркале) или

б) в закодированной, символической форме (застывшие «фигурки» олова или воска, тень от смятого и сожженного кома бумаги).

В первом случае, в зависимости от того, на кого гадают, может выйти явный образ суженого или близкого человека (лица не видать, но детали одежды, что-то характерное в облике будет зна́ком, исключающим всякие сомнения). Моя бабушка, нагадавшая себе таким способом деда, вспоминала, что во сне видела кого-то в студенческой тужурке и фуражке. Лица не было видно — яркое солнце светило идущему в спину, а вот тужурку с фуражкой она разглядела хорошо. И именно их она сразу узнала в гардеробной, когда дед впервые оказался у них в доме.

Наиболее опасным, «страшным», считалось гадание с зеркалом, вернее с зеркалами, так как для такого гадания обычно «создавали» бесконечный туннель, направляя одно на другое пару зеркал. Так вот, страшным это гадание считалось потому, что в образе суженого из зеркального туннеля выходил к гадающей нечистый дух, и промедление из любопытства или страха грозило смертью. Особенно, когда гадающая ждала суженого отужинать, ну, как в той же «Светлане» у В. А. Жуковского, если помните:

Вот в светлице стол накрыт
Белой пеленою;
И на том столе стоит
Зеркало с свечою;
Два прибора на столе.
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой:
Стукнет в двери милый твой
Легкою рукою;
Упадет с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою»...

Накрывая стол к такому ужину, намеренно избегали класть рядом с тарелкой



Рис. 60. Гадание с зеркалом.

нож (по идее, и вилку тоже класть не следовало), чтобы нечистый дух не воспользовался бы сим предметом не по назначению. Некоторые из гадавших до усаживания за стол и не доводили: как появится, оглядят, да и зачураются поскорей. Те, что посмелее, старались затянуть общение до того момента, когда суженый вынет что-нибудь — платок, кисет и т. п. — и только тогда кричали «Чур меня, чур!», чтобы тот, кто зашел в образе суженого, исчез, а вещица осталась бы «на память».[4]

[4]Одна такая умница умудрилась оставить у себя аж офицерскую саблю. Правда, ничего хорошего из этой истории в результате не вышло. Случилось все будто бы в самом начале XX в.



Рис. 61. Гадание на картах.

с барышней из весьма приличной семьи. Гадала она несколько иначе, не с зеркалами, а с разметанием горницы в Водосвятие. Тоже, сразу скажем, не безобидный способ погадать: когда все православные собираются на молебен на реке, в самый момент крещенской службы, нужно размести веником горницу на пополам, на чистую (метется с молитвой) и на нечистую половину (метется с проклятиями и поминанием черта) — как черту́ провести; встав затем на чистой половине лицом к границе, вызвать суженого, который должен тут же войти и встать перед гадающей... Возвратимся к нашей истории: девица так и поступила, и успешно получила от явившегося саблю, которую и припрятала у себя в сундучке до лучших времен. Через полгода вышла она замуж за армейского офицера, точь-в-точь похожего на того, которого лицезрела во время своего гадания. Прожили они года два почти счастливо, а на третий год съехались к ним на Святки друзья и знакомые, и разговор, конечно же, зашел о гаданиях... Гости немедля разделились на два лагеря: одни (дамы и барышни) утверждали, что гадания — это сущая правда, другие (мужская часть присутствующих),

Замешкавшихся с зачуранием девиц находили, бывало, в беспамятстве: иногда со следами удушения на шее, иногда лишившимися языка или рассудка, а случалось, что и дух из них вон. Сметливые стали брать с собой на дело петуха: сама в зеркало глядишь, а петух — под мышкой. Случись что, даванёшь его посильнее — он и заорет, а видение исчезнет...

Что же касается второго типа гаданий, когда перед гадающей или гадающим оказываются не ясные образы, а разные символы, скажем, немалую роль тут играло воображение и умение отгадывать скрытый смысл увиденных знаков. Иногда эта задача представлялась настоящей головоломкой, а иногда образы выходили яснее ясного. Как, например, случилось лет двадцать назад в одной девичьей компании, слившейся в едином порыве гадать в последний святочный вечер. Одна из собравшихся пришла на вечеринку как раз после сдачи научного коммунизма, и (честное слово!) каким бы способом она ни пыталась погадать в тот вечер, все время выходил один и тот же рогатый образ... тьфу!

Рассказов про гадания с целью увидеть свою судьбу существует великое множество:

• «Ставили два зеркала, одно спереди, другое сзади, чтобы зеркало в зеркало было. А перед собой ставили стакан с чистой водой, а на дне кольцо обручальное. Терпение нужно большое, чтобы ждать. Мне в кольце парень появился в белой рубахе с накладенными рукавами, в *шкирах** и босиком. Совсем незнакомый. Это мне муж явился.

Потом так и было. Приехал к нам в Знаменку парень, жил по соседству, всегда босиком ходил. Как пришел он к нам в шкирах да в рубахе с накладенными рукавами, я так и захохотала:

— Жених явился!..» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 294, №425).

• «Была у нас девка с одним глазом... Она, Катюшка-то, зеркало взяла, две свечи с церквы поставила, матерநо венчально колечко в стакан бросила и против зеркала поставила. А сама рядом села. И надо, чтоб тихо-тихо было. А мы сидим на койке все.

Ну вот, зеркало потемнело. Она нас тихонько позвала. В зеркале колосья, трава

что все это чистая ерунда и бабушкины сказки. Хозяйка долго, молча, слушала, но когда хозяин присоединился к партии сомневающихся, вышла из-за стола и вернулась в зал с саблей в руках. Вы не верите, сказала она, тогда вот вам история... И она рассказала о своем гадании и в доказательство предъявила саблю. Нет смысла описывать реакцию гостей, расспросы, ахи-охи и все прочее. Вечер закончился печально, потому что, когда гости разъехались, хозяин вошел в покои жены с предъявленной саблей, объяснил ей по-военному кратко, что она поступила дурно, завоевав его руку и сердце с помощью дьявольских козней, велел ей молиться и зарубил несчастную той самой саблей... (похожая святочная история приводится у М. Забылина (1880: 28–31)).

заколыхалась, выходит из нее мужчина в пинжаке, шляпе, с тростью, а брови и ресницы у его густушши-густушши.

Катюшка уехала в Нерчинск, вышла там взамуж. Я ее мужа-то увидала: хоть и без трости был, а по бровям, ресницам я его сразу признала» (там же: 294, №426, Сиб.).

Увидать в зеркале свою судьбу могли попытаться не только девушки: «Когда гадаешь, зеркало нать навести на свечу. Антошка Андреев посмотрел в зеркало. „Ой, — говорит, — какой синий мужик!“ — и бросил зеркало. Домой пришел, заболел, две недели поболел... Поболел и помер» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 97, №374, Арх.).

«И ребята наши гадали. Вот почесаться перед зеркалом, поклониться, и возьмите поставьте водички и свою расческу положьте, вилки вот так поставьте. И суженую свою позовите, чтоб пришла. Вот зеркало положьте под подушку, родные мои. Вот легли, диван-то разобрали. Геша был и Вася. Легли и погадали. Геша, он никогда не ругается, как начал ругаться во сне: „Уйди, уйди, уйди!“ Я рот затиснула, чтобы не разбудить его. И Вася что-то заборомотал. Наутро им говорю: „К вам суженые были пришотцы, девки“. От Геша и пристал к женщине, к замужней и с мужиком. Он и говорил: „Уйди!“ Все так и пришлось» (там же: 99, №377, Новг.).

• «... Гадали, в кольцо глядели. Стакан, ставишь стакан на белую бумагу или на белую скатерть там... и две свечки зажигаешь, и в стакан опускаешь обручальное кольцо золотое. И вот и смотришь туда, пока чего покажется, чего ты загадаешь... Я вот смотрела, я загадывала на брата. У нас брат погиб, [пропал] без вести в войну... Ну я и загадала: если жив, то покажися он мне живой, а не жив — то уж... Ну и показался. Смотрела, смотрела, и потом ⟨...⟩ большое толстое дерево встало вот так передо мной... и вот... человек, плечом прижавшись к этому дереву, шинель так как обычно скручена, вот так вот... стоит, прижавшись. Лицом не повернулся. Значит, он еще жив был. А так и не вярнулся...» (архив автора, запись 2001 г., Твер.).

• «Самые отчаянные и пожилые девушки выходят в лунную ночь на реку послушать в прорубь. Нянюшки стелют воловью шкуру. Девушки садятся слушать и смотреть в воду. Которая выйдет в этот год замуж, та увидит своего суженого в воде точно в таком наряде, в каком он придет на сговор; которой же сидеть в девках, та только услышит один стук из воды» (Сахаров 1997: 100).

• Про гадание по тени от жженой бумаги так рассказывали: «... на сковороду, оборачиваем другим (другой стороной. — *А. Н.*), бумагу стискиваем и жгем. Зажгем вот и к стенке. Вот бумага тоже хорошо показывает. Если уж кому бугры — смерть, или кресты будут. Вот моему сыну, бывало, два года все время гадал, и все время кресты — бугры, кресты — бугры, кресты — бугры. И вот видишь, зимой вот так и получилось, умер он» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 97–98, №375, Новг.).

«...Бумагу зажжешь, что будет мне в году. Замуж выйдешь или помрешь. В другой раз правду. Другой раз венец выгорится, а кто помрет, ну вылитый гроб выльется» (там же: 99, №377, Новг.).

Вторая группа гаданий по приметам, знакам выделена здесь более, чем условно, исключительно для большей упорядоченности. Потому что и гадания, чтобы увидеть, и гадания, чтобы услышать, и гадания по предметам, и те, что связаны с жеребьевкой, в сущности, — это гадания по знакам, приметам и символам. Ну, а в этой группе гаданий все внимание сосредоточивалось на расшифровке «поведения» объекта, на который загадывали. По нему и судили, делали вывод о том, что ждет гадавшего в предстоящем году. Историй, рассказывающих об этом типе гаданий, скажем прямо, немало. Вот некоторые из них, отобранные по наиболее часто встречающимся или по знакомым каждому объектам.

- Классический способ гадания по башмачку: «Бросают башмаки через ворота на улицу, потом выходят сами на улицу и смотрят: в которую сторону он обращен носком, там и быть замужем. Худой признак для девушки, когда ее башмак лежит обращенный к домашним воротам: в этот год не быть ей замужем» (Сахаров 1997: 99). Почти «золушкинский» вариант развития событий: «Пад Новый год валинак брасали чириз забор с наги. Валинак падкидáють: куда носам валинак упадеть — в той старане твой жыних. А тут жы рибята тожэ эти валинки подхватáють. Вот и астанишься в адном валинке, в адном чюлке — ни атдають никак» (Морозов, Слепцова, Гилярова, Чижикова 2001: 130, Ряз.).
- Гадали по «корабликам» и по тому, как горели в этих «корабликах» восковые свечки: «Берут скорлупы грецких орехов, режут восковые свечи на маленькие кусочки, вставляют в скорлупы, пускают плавать в чашку, наполненную водою. Потом каждая из девушек зажигает свечки своей скорлупы. Здесь замечают: которая потонет, та умрет незамужнею; у которой скорее сгорят свечки, та прежде всех выйдет замуж, а у которой будет гореть долее всех, той не бывать замужем» (Сахаров 1997: 100).
- Под Новый год ходили в хлев или овчарню и обвязывали поясом овец и коров, а наутро каждая из гадавших смотрела: если овца или корова с ее поясом станет головой к воротам, значит, в этом году девушку ждет замужество, если же задом — еще год в девках сидеть...

«Один раз стали наши девки гадать, пошли в *овчарух*,* обвязали овечек поясами, да и ушли в хату. А ребята поразвязали овец, наловили собак, обвязали их поясами, да и пустили в овчарух.

Пришли наутро девки — глядь, а вместо овец, собаки... И что бы вы думали, повышли те девки замуж, и у всех до единой собачья жизнь была» (Максимов 1994: 268–269, Курск.).

Было еще гадание на лучинках, довольно известное, если вспомнить старинную игру «Курилка», ну, там еще поют: «Жив, жив курилка, жив, жив, душилка...».

В ней использовался тот же принцип, что и в этом гадании (правда, в игре его еще и развили — тлеющую лучину передавали по кругу из рук в руки все сидящие на вечерке, у кого погаснет — тому водить или выполнять желание «обчества», т. е., по сути дела, получалась игра в фанты). Ну а в гадании это был способ, например, узнать проживет ли девушка начавшийся год. Для этого каждая гадавшая «взяв в руки березовую лучину, бежит к роднику реки или к колодцу, мочит эту лучину и возвратившись домой зажигает ее на огне; у которой скоро загорится она, то это знак долгой жизни, а у которой не загорится вовсе, т[а] умрет; у которой будет гореть с треском и гореть не особенно ровно, то в течение года гадающая будет хворать» (Забылин 1880: 20). Если гадали на всю семью, то проводилось гадание уже иначе: «На Святки лучинки нащипають и их втыкають [на сараи]. Если упадеть твая лучинка, то ты умрешь иль там мать, атец — там сколька в симье есть чилавек, на всех лучинку тыкають. Вот если все стаять, год будуть все жывыя» (Морозов, Слепцова, Гилярова, Чижикова 2001: 128, Ряз.).

Гадали также по льду и по снегу. По снегу судили о [масти] суженого — старинное гадание: «... выносят воду <оставшуюся после вынимания колец под подблюдные песни> на двор, и каждая из девушек, отливая несколько этой воды под верею, берет горсть снегу. Приходя в покой, смотрят: какого цвета снег, таков будет и суженый» (Сахаров 1997: 99). А по льду гадали на здоровье каждого, точнее, как и с лучиной, на жизнь/смерть в наступившем году. Проделывали все это так: каждый из семьи наливал себе ложку воды и выносил в сени, на мороз и поутру смотрели, как замерзла вода. Если лед застыл выпукло, «горочкой», то быть здоровым весь год, а если провалом, да еще и темный какой-то лед, значит тому, на кого застыло, года не прожить. По застывшему льду в старину гадали и на жизнь, которая ждала девицу в замужестве — гадали на количество будущих детей: «Наливают с вечера в рюмку воды, опускают кольцо и выставляют на мороз. Перед сном нянюшки приносят рюмку и смотрят: сколько бугорков — столько родится сынков, а сколько ямок — столько дочек» (там же: 100–101).

• Вроде бы был еще и такой способ погадать, чтобы узнать: выйти или не выйти в наступившем году замуж. Святки Святками, а в бане все равно мылись. Так вот, вымывшись, выскакивала девка из бани вон и валилась в снег, и оставался в снегу четкий отпечаток девичьего тела. Вечером все одно не видно — зимой-то рано темнеет, а утром ходили смотреть: есть на отпечатке след мужской ноги, значит, в этом году замуж идти, ну, а если нет следа, значит, сидеть еще в девках... Кроме того, по самому следу определяли за кем замужем быть: от сапога след — за богатым жить, в лаптях — за бедным (Арх.).

Третья группа гаданий — гадания, направленные на то, чтобы узнать суженого через представительствующие его предметы, или по аналогии: какова собой вещь окажется — такой и муж попадется.

• Вот, к примеру, на гребне гадали: расчесывались гребешком на ночь, да как

следует, и, прежде чем лечь, вывешивали гребешок в сенях со словами: «Суженый-ряженый, приди кудри чесать!», а утром проверяли нет ли на гребне волос. Если есть, то быть девке замужем в этом году непременно. А главное, по цвету и типу волос можно было судить о том, каковы особые приметы будущего жениха: брюнет будет или блондин, «гладенька» будет головушка или кудревата.

• Практически повсеместно там, где стояли бани, было известно гадание: девушки впотьмах стайкой отправлялись к баннику, чтобы тот через прикосновение дал знать, какого жениха ждать. Причем в уже упоминавшейся здесь рязанской традиции, к баннику частенько обращались, как к самому жениху: «В баню руку сунут: „Суженый-ряженый, ухвати меня голой рукой, будь мне женихом!"», реже формулировка была несколько иной, но само обращение оставалось: «Сужэный-ряжэный, пакажы мне жыниха, какой он будить?» Если возьмется за руку голой рукой, значит, жених будет бедный, а если лохматой («в варижки») — это к богатому. Записана прямо-таки душераздирающая история о том, как однажды в бане оказался подслушавший девок мужик «...он, падлец, взял (...) ды патащил иё туда. И у ней разрыв сердца, и девка памярла. Угу. Эта девка умерла за то, што иё „враг" патащил туды, в этую, в баню-ту...» (Морозов, Слепцова, Гилярова, Чижикова 2001: 128, Ряз.).

В северной русской традиции это гадание было известно в несколько более измененном виде: девушки подходили к дверям бани, или к волоковому оконцу, и, встав спиной, завернув подол на голову, просили банника коснуться обнаженной части тела: «Суженый-ряженый, погладь меня!» Огладит банник мягкой, мохнатой лапой — жених будет богатый, жизнь счастливая; ударит когтистой — быть беде или муж попадется с характером; а голая да холодная «рука» сулит бедность. Тут тоже ходили истории про то, как в баню забирались парни и зло проказничали (см.: Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 357, № 407).

• Гаданий по принципу «какова вещица, таков и женишок» тоже было много. Например, рассказывали про такое: «Ловили камушки на Новый год. Вот побежали с беседы в пролубь, река неглубока, достанем: какой камень, такой и жених — гладкий или с уголками. И робята тоже побегут — кака жена будет...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 99, № 378, Новг.); или так еще делают: «Ходят в темноте в дровяной сарай, берут полено из поленицы и потом в покоях смотрят: если оно гладкое, то муж будет хороший; а если кому попадется суковатое, особенно с трещинами, то он будет дурной и сердитый» (Сахаров 1997: 99).

Четвертая группа гаданий, рассчитанных на то, чтобы услышать, чуть ли не самая многочисленная: слушали под окнами и у ворот, у окна, в форточку, в печку, слушали на перекрестках, слушали у проруби, в нежилом доме и... в общем, где только не слушали.

• «Девки... всей *беседой** побежали в нежилой дом слушать. Ну и заворожились: если замуж выйду, дак стаканом забренчите, а умру, дак гроб затешите. Вот

слушают. Их четверо. И одна была кривая. Ну и вот, эти как заворожились все – стаканам-то забренчало! Они и правда все вышли: а ей [кривой] – гроб затесали, доски тешут и кидают, тешут и кидают!

Мы, говорит, как дунули, опереживам! Друг дружку сталкивам, падаем! ⟨...⟩ Вот бежали, дак бежали! Прибежали, ну, ничего — беседа же. Стали опять сидеть.

А она ⟨...⟩ потом умерла. Не вышла замуж, в девках умерла...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 295, №427).

• Есть история про то, как в гадании принимала участие маленькая девочка. Она гадала не на себя, и получилось, что услышала судьбу других людей из их деревни: «Ой, девки, расскажу, как слухать ходила. Я сама маленька была. Вот пришли мы в избу. Девки-то мни и говорять: „Глаза закрой". Сидим, слухаем. *Однысь** слышу: чегой-то как *залалайдало*,* и бубенцы зазвенели. Ой, девки, испужалась я! А потом, немного погодя, свадьба в деревне нашей была. А на свадьбе старуха стара была. Дочь-от ейна домой пошла, а ю на свадьбе оставила. Старуха стара да выпимши, да и упала с лестницы, а там кол был. Да она об энтот кол да и стукнись. Да и померла. Четыре дня на морозе лежала, думат отойдет. Ан нет. Старуха померла, да и счастья в семье энтой не было. На свадьбе горе, и всю жизнь невеста промаялась. Вот-от послухали! Стук — дак старуха померла, разбилась, а бубенцы — дак свадьба...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 96, №371, карел.).

• Гадание могло, например, помочь решиться на важный шаг, круто меняющий судьбу человека: «На хмельник еще ходили. От нам сюда уехать... От где хмель растет, раньше же у домов много это кольев, жерди высокие... и хмель так и обвивается, высоко растет. И вот на этот хмельник тоже пришли, загадали. А мы собиралися уезжать сюда, уже были завербовавши... а че-то забоялися и [сразу] не поехали... ⟨...⟩ Ну вот, пошли мы на хмельник слушать, я и загадала, если уедим, надумаим если уж, то, значит, что-то такое: или поезд загуди, или... Вот. А не уедим, значит, тихо, ничего... Стоим это мы, стоим у хмеля-то... загадала я. А станция-то от нас восемь километров. И вот, как рядом... Как загудел паровоз! Знаете, как раньше-то гудели... Ой! Все. Мы уехали...» (архив автора, запись 2001 г., Твер.).

• Парни наравне с девицами ходили слушать: «...теперь моей сестры деверь пошел ворожить. Это надо на росстани, а росстань недалеко была, три дороги. И вот мы между имя и ворожили. Он только упал [*надо снег набрать, протрясти в переднике, упасть и слушать*] и — вот тебе нате! — послышалось, как есть вот фуганком: дзю! дзю! — и вроде доски бросают, вот так вот, тешут, рубят, как вроде кто плачет. Ой. Прямо шкуру обдират! (мороз по коже. — *А. Н.*).

⟨...⟩ Пришли мы и матери рассказали. Мать говорит:

— Неужели ты, сват, уйдешь на службу, тебя война захватит да убьют тебя? Это не к добру-у эдак-то слышать...

⟨...⟩ А [*деверь тот летом, во время покоса*] ехал, упал с воза — готово, умер...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 295–296, №428).

• Существует интересный способ гадания с тараканом, только не смотреть,[5] в какую сторону побежит, а надо было слушать: «На *сухрестках** тараканов ловили. Выпустишь тараканов, кружишься за ними, кружишься на сухрестках-то. Закружишься и бросишься в снег. Лежишь, слушаешь, где колокола звонят, в тую сторону замуж и выйдешь...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 99, №377, Новг.).

• Рассказывали про гадание с иглой. Когда игла, брошенная в жернова, выговаривала имя суженого: «Мололи, в жернова кидали иголку и мололи в жерновах. От она, до чего домелешь, она выговаривает, как человек. И имя говорит или там вот что даже иному на три буквы. Три буквы только и говорит...» (там же: 97, №375, Новг.).

• О будущей семейной жизни можно было гадать по звукам, которые «издавали» бросаемые в прорубь камни: «А потом ходили еще камни кидали в пролубь. Вот высечем в речки там пролубь, возьмем камень из байни, с каменки, горячий, и когда его в эту пролубь, если зашипит... в пролуби, шумно будет, значит будет злая свекровь, шипучая будет. А если на мужика — шипучий, будет шипеть. А если не будет — значит хороший, ласковый. Темно ж в байне, выбираешь какой-нибудь камешек, да чтоб поглаже, чтоб не зашипел, ну вот и кидаешь в эту пролубь...»[6] (там же: 98, №377, Новг.).

---

[5]Там, где шла речь о различных способах увидеть суженого-ряженого, мы даже не упомянули про гаданье с тараканом, а между тем был такой способ. Причем он был довольно распространенным: гадающая приносила на росстань таракана и, посадив его «на распутье», ждала, в какую сторону рванет насекомое (в ту, значит, и замуж идти). Одна женщина вспоминала забавный случай из собственной практики, когда, вопреки всем ожиданиям, замерзший таракан никуда не побежал: «...лежит, подлец, и лапы раскинул» (архив автора, запись 2001 г.).

Был где-то еще один способ увидеть жениха с заворачиванием или завязыванием таракана в рукав рубашки: с ним «в компании» надо было и спать ложиться, предварительно попросив показать во сне жениха: «...Словишь таракана, в коробок его спичной засунешь и ентот коробок в рукав завернешь. Ну, матушка, как рукав катаешь, токмо с коробком. Как закатала, так уж больше ни с кем не говоришь, а как спать лягешь, так говоришь-то: „Таракан-таракан, приведь ко мне жениха во сне“. И вот ты знаешь, во сне-то жених придет, ты его беспременно увидишь...» (Добровольская 2002: 60–61, Яросл.).

[6]Как раз такой тип гадания о судьбе и имелся в виду, когда в быличках рассказывалось о найденной в бане невесте, которую суженый, взяв за себя, освобождает от родительского проклятья. Помните, парень идет на спор взять камень с каменки... «Запохвас» — это уже поздняя мотивировка, на самом деле, ночной поход в баню за камнем обусловлен: парень идет за необходимым предметом для гадания на брак. И то, что вместо камня его рука натыкается на девушку, которая требует, чтобы парень пообещал взять ее замуж, все это оказывается знаком судьбы. Получается, что судьба, когда наступает подходящий момент, находит сама... Вот и неотвратимость судьбы и судьбоносный момент.

• А знаете, как снег пололи? Вот так: «Возьмем в заднюю полу снегу, да и трясем, да и приговаривам:

„Полю, полю я бел снег
За батюшкину за хлеб, за соль,
За матушкино благословленьице.
Залай, залай собачка
У свекра на дворе,
У свекровки на печке"...» (Новг.).

Обычно снег пололи (или трясли), чтобы узнать, откуда следует ждать сватов, если издалека, так хоть с какой стороны: «Вот все девчонки: „Пойдемте снег полоть!" И отправимся. Надо иттить па перекресни, где вот дорога идет одна туда, другая сюда, на перекресток. Одна *нарывает** снег задом, подолом, другая эту но!, но! — ногокает, погопяет, снег в подоле и сунется. Где собака *гымнет*,* туда и замуж выйдешь. Ну, хохочем, хохочем, но мне нигде не давалось, чтоб собака гымнула далече. Ну где ж я б услышала, если далече, ну куда-нибудь вдаль выйдешь. Мне все говорили, что вдаль выйдешь...» (там же: 98, № 377, Новг.).

А у одной девушки гадание вышло не на себя, а на родного отца: «Вот мы пошли с подружкой-то на перекресток снег-от трясти. Фартук так одели и пошли-от. Ёна мне снегу поклала в фартук-то, круг очертили, снег-то трясти стали. Ой, мы тогда испугались, ой испугались! Слушали-то, а где-то далеко-далеко будто кто крыльцо скоблит. Звук-то такой, как крыльцо скоблят. А мы-то испугались и ну домой! А того году у нас умер тятя, дак как гроб-то делали, дык доски так вот и скоблили, и звук такой-то и был. А мы-то и не поняли и убежали ⟨...⟩ Ну вот я-то батька протрясла, вот никак не забуду» (там же: 97, № 373, Волог.).

• Можно было не только снег, но и мусор трясти в фартуке: «Кум у меня был. *Курат** на самое Рождество он говорит, пошли, мол, в кучу весь мусор оберешь, в фартук, в подол насыплешь, трясти будешь, и загадаем. Вышли часов в одиннадцать вечера, вот стали и начали задумывать: — если я вот весело проживу, то гармошка заиграй, а плохо, так стукни что. Вдруг перед нами как разбейся что. Мы: „Чур полно!" Так полгода прошло, ему всю голову расколотили...» (там же: 99, № 378, Новг.).

Бывало, что с мусором ходили на росстань слушать имя суженого, вернее, не то чтобы имя, но как раз так случилось у рассказчицы: «...Я где-то услышала, что надо сор вымести в комнате и его ⟨...⟩ в *запоне** на росстань вытащить, бросить и послушать, что где.

А у нас за рекой вот тут, на берегу-то, дедушка Степашка жил. Старенькой он, у него бабушка Степашиха, ишо была жива. Я вымела это утром-то рано (до свету надо), вымела скоре́, а мама-то заметила, что я ворожу. Вымела сор, склала в запон и пошла сюды — тут у нас вот так дорога была, так дорога и сюды дорога. А я между

их-то вышла на мысок-то, сор-то бросила да и стою, слухаю. А дедушка Степашка стоит во дворе кашлят. Коням сено бросал (...)

Потом я пришла, а мама-то меня спрашиват:

— Че, сворожила? Кого выворожила?

— Ой, ниче не выворожила. Дедушка Степашка кашляет во дворе.

А она надо мной [смеется]:

— Ну, бабушка Степашиха умрет, ты за дедушку замуж выйдешь.

Как счас помню, а я не взлюбила: ну, че же, я почто же за дедушку замуж пойду?!

А правда, вот вышло же имя у меня — Степан же» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 298–299, №431).

К этой же группе относятся и гадания, которые прямо были ориентированы на спрос имени, — к ним относились, например, бег с кокорой, блином или шанежкой, и даже прозаическое, всем известное окликание прохожего.

• «...Жениха-то я выворожила, правду... Это в Новый-то год первый блин испекешь и беги с ём на росстань. Вот я вылетела! Блин-то испекла не сама, а тетка.

— Беги скорей! — говорит.

И я полетела на росстань. А у нас работник жил, табун все рано поил. Его звали Минька. Но, вылетела, а он гонит табун-то поить. Я пришла и говорю тетке:

— У меня будет работник муж-то.

Она говорит:

— Никово не работник, а у тебя Митя будет.

Он Митя и вышел. (...) Один раз только поворожила — сразу и выворожила» (там же: 298, №430, Сиб.).

• А с окликанием прохожего все очень просто. Для этого гадания девушки выходили поздним вечером к калитке и, завидев первого прохожего (или проезжего), спрашивали: «Как ваше имя?». Он отвечал, и считалось, что точно такое имя и будет у жениха, а заодно с именем ожидали тех же стбтей и красоты, какими обладал прохожий (Забылин 1880: 16).

Можно было не только имя у первого встречного или прохожего спросить, но и загадать на него: быть или не быть замужем в наступающем году: «...Вот *кокору** такую спекут, и эту кокору на голову кладут, в коляду, и бегут с этой кокорой по деревне. Если попадет [навстречу] парень, то замуж выйдешь, а если попадет мужик или женщина замужняя, то не выйдешь, а молодая там девка, то гулять будешь.

Вот как-то сидим мы. А в деревне такая вот была Вера. Схватила кокору-то и бежит в шубке. А у нас Леша такой сидел, рядом сосед. Мы говорим: „Леш, погляди, Вера-то бежит с кокорой". Он ей навстречу. Она под горку, на речку. На реку прибежал он, ее нагнал, кокору-то взял. Она: „Ну вот, Лешка отобрал у меня кокорину,

давайте, девчонки, все съедим эту кокорину". Девчонки-то уж тоже на реку прибежали. Разломали они эту кокорину, съели. Вера и замуж за этого Лешку вышла. Во как хорошо гадали» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 98, № 376, Новг.).

Пятая группа гаданий включает в себя такие, в которых ключевым моментом оказывается жеребьевка: тут были и счет (чет–нечет), и выборка из некоторого числа различных предметов, и кормление курицы и петуха, и еще многое другое. Сюда же относились знаменитые подблюдные песни.

• Вот, к примеру, гадание на чет и нечет: «А частокол, это и сейчас меряют. И я своим все рассказываю, как гадали. Говорю, идите, Новый год, хватайте частокол. Если попарно схватите частокола, то женитесь, а если непопарно, то не женитесь...» (там же: 98, № 376, Новг.).

• А так «закармливали» курицу или петуха: «...пускают в середину круга, составленного из колец или перстней, принадлежащих разным девушкам. Чье кольцо, перстень или серьгу клюнет птица, та выйдет замуж в течение этого года» (Забылин 1880: 17).

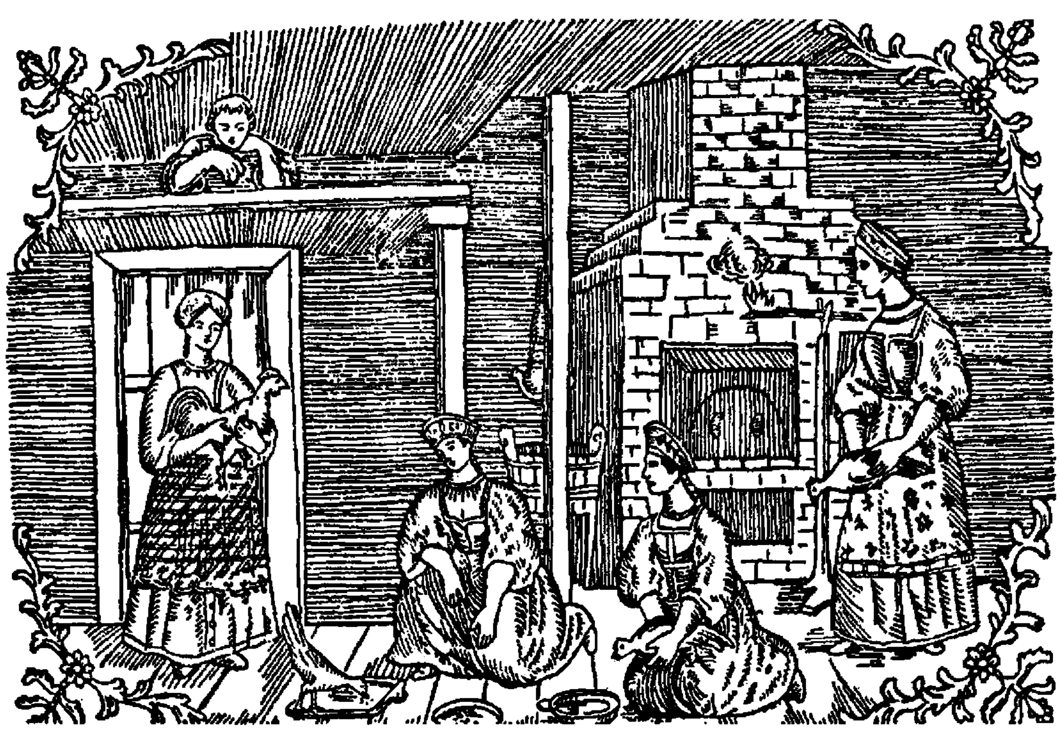


Рис. 62. Гадание с курицей.

• Гадание с кормлением курицы могло выглядеть иначе: «„Лавили кур, станавили эта пшаницу, воду, зеркала и кальцо. Клали на заслоне, пасриди избы, а куры из падпечка выходять. Вот чья курица выйдить первая и куда ана клювнёть“. Зерно сулило богатую жизнь, воды — мужа-пьяницу, кольцо — скорое замужество, зеркало — мужа-щеголя, ну, а если курица принималась рыться в золе, значит, муж будет „табакур“» (Морозов, Слепцова, Гилярова, Чижикова 2001: 131, Ряз.).

• Бывало, что и курица была не нужна, гадающая сама с завязанными глазами брала со стола первый попавшийся под руку предмет. Это могли быть: хлеб, полено, нож, уголь, камень, глина, ножницы и др. Обычно предметов на выбор предлагалось не более четырех, а набор в разных деревнях варьировался. Хлеб означал богатого мужа, полено — плотник будет, нож указывал на «ножовый» (видимо, резкий, конфликтный) характер будущего мужа, уголь прогнозировал кузнеца, камень — каменщика, а глина — горшечника, ножницы обещали мужа — портного и т. п. (там же).

Ну и, наконец, подблюдные...

Это удивительно, но буквально до наших дней сохранился очень старый вид гадания, известного в разных местах под различными названиями: «хоронить золото», «метать кольцо», «блюдо (или перстни) трясти» и т. д., но самое распространенное из названий — это «подблюдные песни», потому что такое гадание обязательно сопровождалось специальными песнями.

Уже давно этот способ считается исключительно девичьим, и по цели его проще всего определить как гадание брачное, но есть свидетельства, что в «потряхивании блюда» могла участвовать вся деревня: все, сколько было людей, собирались гадать о будущем. В большое блюдо складывали перстни, кольца или «сережку из ушка», а если у кого не было украшения, так годились и наперсток, и пуговица, — лишь бы брякало. Потом блюдо накрывали платком (а бывало, и не накрывали) и, потряхивая, вынимали под пение каждому его предмет и его судьбу:

Благослови, Боже, нам перстни затресть.
Ой люли!
Нам перстни затресть, нам песни запеть.
А чей перстенек, того и песенка.
Кому вынется, тому и справдится.

Пели все, а один «избранный из них, кто постарше, конечно, тот уж на лету должен хватать в блюде то, что положено...». Подблюдные — небольшие по объему песенки, которые, как куплеты одной длинной песни (сколько предметов на блюде, столько и подблюдных), исполняются на один напев и с единым для всех рефреном. У рефрена же особое значение, он как бы подчеркивает неизбежность, обязательность предсказанного: «Кому мы спели, тому добро, Кому вынется, Скоро сбудется, Скоро сбудется, не минуется!» или «Кому вынется — тому сбудется, Тому сбудется —

не минуется!». Так что, кому какой жребий выпадет — так ему судьба назначила, и по-другому — не быть. В каждой подблюдной песне содержится свой законченный «сюжет», символ, который ни что иное, как закодированное персональное *предсказание судьбы*

— *к скорой свадьбе*:

А ты сей, мати, мучицу, пеки пироги,
Слава!
К тебе будут гости нечаянные,
Как нечаянные и неведомые.
К тебе будут гости, ко мне женихи.
К тебе будут в лаптях, ко мне в сапогах!
(Мудрость народная 1994: 218);

— *замужем не быть, в девках оставаться*:

Венички-пошумельничики,
Еще повисят,
Еще пошумят.
Диво, лилё, ладо мое
(там же: 227);

— *к богатству*:

Растворю я квашенку
На донышке,
Слава!
Я покрою квашенку
Черным соболем,
Опояшу квашенку
Красным золотом,
Я поставлю квашенку
На столбичке.
Ты взойди, моя квашенка,
С краям ровна,
С краям ровна
И совсем полна!
(там же: 226);

— *на разлуку, к дальней дороге*:

Стоят санки
У крыльчика,
Всем санки
Снаряжены:

Они сами катятся,
Они сами ехать хотят,
Только сесть в санки
Да поехать
(там же: 228);

— *к несчастью, к смерти*:

Сидит петух
На воротиках,
Голос ду неба,
Косы ду земли
(там же: 229);

— *к богатому замужеству*:

Уж кличет кот кошурку в печурку спать:
„Ты поди, моя кошурка, в печурку спать:
У меня, у кота, есть скляница вина,
Есть скляница вина и конец пирога,
У меня, у кота, и постеля мягка!“
(Обрядовая поэзия 1989: 106)
(вот откуда знаменитая пушкинская «милей кошурка сердцу дев...»)

Судьба могла приходить к человеку и нежданно-негаданно. Появлялся у дома «случайный» прохожий, человек неприметный, странник, и предсказывал.

• «Вот по Белозерскому тракту в Череповец первый только перелесок проедете, так тут была раньше сторожка. Жили муж с женой, девочка. Пришел старичок, посидел да и говорит: „Девочка-то у вас хорошая, но она, — говорит, — семи годов в колодце потонет“, — и сказал, в каком месяцу и какого числа. Ей семь годов исполнилось, а уж родители ждут этот день. А колодец вот у окна был. Грит, заколотили колодец. А она гуляет. Сами сидим у стола, смотрим в окно. Она все гуляет. Подошла к колодцу, крышку подергала — край приколочен, другой — приколочен — легла на крышку и тут померла» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 26-27, № 31, Волог.).

• «...Приехал горшечник ночевать в деревню к нам. Старик вышел и говорит:

— Хозяйка заболела. Родит скоро.

— ...Лучше будет, что я останусь ночевать.

Остался он. Вдруг хозяйка стала мучится, а мужчина и говорит:

— Родится мальчик, да недолго жить ему!

Как прорицатель говорит.

— Дедушка, выйди, не говори так!

И вышло. Родился мальчик, до семи лет дожил. Стал на санках кататься, а на дворе колодец был. Он в колодце и утонул. Вытащили его, да уж поздно» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 353–354, №400).

Странники — вообще люди особые, ведь сам Христос и многие святые хаживали странниками по земле, на людей смотрели, веру проверяли, помогали... И, конечно же, они знали будущее, а значит, могли предсказывать и даже нарекать судьбу.

Странник воплощает в себе тип святого, одновременно пребывающего в миру и над миром, сильного знахаря, человека знающего, способного лечить словом, и пророка, которому открыто будущее: «Вижу, что у вас ко мне вера есть!.. За это и вам поведаю тайну, которою крепко дорожите: я давно хожу по белу свету странником, а странничать пошел по повелению Самого Иисуса Христа; послан для того, чтобы посмотреть, как живет народ православный — спасается, как грехи на нем владеют, чтобы научить, как от грехов избавится. Не странник я, а пророком называюсь» (Щепанская 1995: 143, Пенз.).

Пророк, проповедник, посланник Бога, святой или знающий человек — по сути дела, это символическая идентификация с высшим началом, которая порождает высокую степень влияния такого человека на окружающих, на всех тех, с кем он, походя, контактирует.

И даже если это не человек дороги, не странник, но странный, и живет «не так, как все», на таком благодаря этой странности (и чуждости) оказывается печать знания, влияющей силы, печать судьбы. Причем на самом деле ореол отмеченности вполне мог существовать лишь в представлении окружающих — мало ли самозванцев и проходимцев знает история... Но в народной среде продолжают жить рассказы о людях странных, почти блаженных, которым ведомо будущее и которые могут предсказывать судьбу всякому, кто умеет слышать.

• «Был у нас старичок Максимушка. В лесу в изобке жил. Печечка маленька, иконки у него были, лампадочка теплится... ⟨...⟩ А другие говорили, что не было у него печки. В избе камни большие. Если замерзал, начинал камни ворочать. И зимой тоже. Как холодно, он камни ворочал, ему и тепло ⟨...⟩ А уж чем питался, уж не знаю. Старичок старенький, к нему ходили спрашивать, он присказывал...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 109, №417, Твер.). Про то, как это все происходило, слагались многочисленные истории, вроде этой, например: «У нас на хуторах был мужчина, четверо детей у него, а жена померши. В деревне была женщина, он посватался, она согласилась. Она уж пожилая была. Она пошла к нему, к Максимушке, прежде чем согласилась, выходить — не выходить, ведь все-таки четверо. Он ей говорит: „Ожерелье, ожерелье, ожерелье“. А что это „ожерелье“, мы и не знаем. Она еще трех или четырех от него родила, вот и „ожерелье“» (там же: 110, №417, Твер.).

Из приведенного примера видно, что упомянутый Максимушка «говорил не явственно, потом уже догадывались», похожими на загадки выходили и все прочие его

предсказания. Так пришедшим узнать о больном отце, поправится ли, Максимушка сказал, что поправится: «у церкви стоит дом, от всего лечит. А там никакого дома не стояло, погост был. Отец и помер» (там же: 109, №417, Твер.). Также предсказывал и другой деревенский гадатель Омеля, который тоже «открыто ничего не говорил», так что «понять его не каждый мог», но предсказывал много... «Раз парень болел чахоткой. Надел новую шубу, пошел к Омеле, а тот взял веник макнул в канаву да покадил, как поп, что умрет. А парень рассердился на него, пришел домой и говорит: „Никого он мне не сказал, только обрызгал меня грязью, шубу испортил". А через несколько дней парень умер» (там же: 110, №418, Новг.).

Оба, и Омеля, и Максимушка, поведения были странного, оба «присказывали» неявственно, однако именно эта «зашифрованность» и делала в глазах окружающих их предсказания истинными. Потому что, как уже говорилось, в традиционном сознании форма иносказания (символа или загадки) являлась для гадания, а значит и для предсказания, нормативной.

Для желающего узнать свою судьбу у гадателя существовали, если можно так сказать, негласные правила этикета. Так, например, отправляясь за предсказанием, нельзя относится с недоверием или презрением к речам предсказателя, тем более сомневаться в его возможностях, потому что он непременно узнает об этом, и хорошо, если просто попеняет на недоверчивость, а то может и обидеться, и тогда никакой помощи не жди: «Два парня пошли к Максимушке, жениться или нет, какую судьбу скажет. Шли по дороге, один другому: „Что нам Максимушка поболтает?" Вот пришли. Максимушка говорит: „Проходи, ребята". „Ты, Максимушка, скажи судьбу". А он вышел в сени, потом входит с квашней, молчит и так ее болтает. Так они и ушли» (там же). Нельзя также жалеть того, что несешь гадателю в оплату. Подношение должно быть честным и от души. Про того же Максимушку рассказывали: «...Мать и одна баба пошли к нему спросить... Шли и думали, надо ему что дать или не давать. Мать не пожалела ему что дать, а другая пожалела. Пришли, [Максимушка] и сказал той: „Не надо мне ничего, уходи. Не надо мне твово"...". А в другой раз девица к нему ходила спрашивать. Денег в семье совсем не было, мать ей чуть ли не последний пятак отдала. Так он ее встретил, все, ради чего она шла, сказал, да напоследок велел, чтобы „денежку" домой несла, „мне не надо, нету ведь денег у вас дома". А по словам рассказчицы, тех пяти копеек он не видел — „так знал"» (там же: 110, №417, Твер.).

Бывает и так, что судьбу предсказывают мертвые. Причем особое время и специальные обряды для контактов с ними оказываются в таком случае не нужны. Уже не раз говорилось о том, что мертвые вмешиваются в жизнь живых, что на правах прародителей они могут изменять будущее своих детей и внуков или предупреждать их о грядущих в их судьбах изменениях.

• Явившийся во сне умерший предсказывает будущее: «...Вот иду я с отцом своим (он ведет дочь по „тому" свету. — *А. Н.*), отец мне так и говорит: „Выйдет

Алевтина замуж, а ты за Алевтинина деверя замуж"»; «...Видит баба во сне: дед [две недели как умерший] за ней приходит ⟨...⟩ Приходит в комнату. Одно окошечко. „Здесь, — говорит, — будем жить". — „А нам скучно будет". — „А мы мальчика с собой возьмем". Умерла она и мальчик умер. Не скучно им» (Лурье, Тарабукина 1994: 24, Твер.).

• Явилась умершая и просила отдать ей ребенка, а не получив, предсказала ему смерть: «...вот родился у женщины сын и было ему три месяца. Вот ночью уже, она спит, и вдруг кто-то в окно ей: тук-тук. Ну, она встала, открыла окошко и вдруг видит, что женщина така в белом платье и платке и просит, дай мне, мол, водицы. Ну, дала она ей напиться, ну и говорит ей покойница-то: „Отдай мне твово сына". А эта-то, мать-то говорит: „Нет, не отдам". Ну, покойница-то ей и скажи, что через восемнадцать лет он сам к нам придет. И точно, вот ему восемнадцать лет исполнилось, ну он и умер» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 26, №30, Новг.).

На принципе, что мертвые могут предсказывать, «стоит» такое известное явление, как спиритизм. Кто из нас хоть раз в жизни (в шутку или всерьез) не поучаствовал в спиритическом сеансе? Помнится, кто-то из знакомых рассказывал при мне, как, будучи в развеселой компании, он вызывал дух бедного Александра Сергеевича Пушкина (бедного, потому что, как мне думается, Александру Сергеичу в этом отношении сильно не везет, и занимающиеся спиритизмом никак не дают душе великого поэта почивать спокойно). Видимо, в связи с назойливостью вызова, или с изрядной подогретостью компании, а, может быть, задаваемые вопросы были глупы и неприличны, но дух Пушкина оказался в общении резок и раздражителен. А самого докучливого из всех он просто грубо отослал, продемонстрировав при этом мастерское владение русским языком...

В роли предсказателя могут выступать и разные мифологические персонажи, например, домовой или банник. Давно, в какой-то молдавской сказке встретился сюжет, в котором мающийся бессонницей хозяин наблюдает, как к пущенному им ночевать странничку всю ночь стучатся звезды, чтобы узнать судьбы народившихся младенцев:

Старый вещун,
Знатный колдун,
Знаешь, аль нет —
Родился на свет
Новый человек,
Что сулит ему век?..

Так и в наших быличках водяной или банник предсказывают судьбу появившихся на свет младенцев: «Мама рассказывала: пришел как-то в дом дедушка. „У вас, — говорит, — в деревне роженицы-то есть?" А раньше рожали в байне, в байне

[роженица с ребенком] живет, пока не поправится. „Так сходи, снеси что-нибудь". Раньше все носить что-нибудь должны были. „Да ведь нет ничего". — „А ты посмотри. Не бойся, я здесь посижу, ничего у тебя не возьму. Сходи в амбар, *попаши** в сусеках". Пошла, наскребла ведро муки, напекла оладушков. „Иди, сходи, в байну, ничего не бойся, я здесь посижу". Пошла. Заходит в одну байну. Видит, роженица лежит, ребенок в корыте в воде. В другой байне на ребенке веревка лежит, в третьей — ребенок лежит на пистолете. Зашла еще в одну байну, там просто настоящий ребенок. Пришла домой. „Ну как, видела? Не испугалась?" — „Видела, ты говорил не бояться, так и не боялась". — „Вот это каждому своя смерть на роду. Тот, что настоящий, тот своей смертью умрет. Тот, что в корыте — от воды, утопнет, другой удавится, а третьего убьет што". Вот это банный (банник. — *А. Н.*) и был» (там же: 27, № 32, Волог.).

• К домовому-дворовому обращались, чтобы узнать о судьбе мужа, пропавшего на фронте: «Пришла гадалка переноцевать, на две ноци. У Марии у Аксютовой в избе остановилась. Мы уж упросили ее, узнай нам про скотину, да про мужа мне — на войне был. Говорили ноцью с хозяином. С мамой ходили. А она [гадалка] вызывает. Хриплый старик, меж хлевами, не казался, голос только. А гадалка и плюет: „Дальше слюны не ступит". И хлеб кидает — подарки. „Я пришла, подарки принесла" — в каждый угол по куску. А руки завязали ей, вот так за спиной: „Как мне воли нет, так и ему". Говорит: „Ну, теперь спрашивай". Скотину кормить было нецем. Я: „Как скотину докормить?" — „Докормишь, скотину я люблю" — по два раза повторил кажное слово. „Доцка сцастливая будет". — А потом говорит: „Шабаш". Все правда. У каждого целовека есть свой хозяин. А про мужа сказал цто жив. Я потом всегда его о цем-нибудь просила» (там же: 26, № 27, Арх.).

• Говорят, что и лешего спрашивали, обычно это делал знахарь, который задавал лешему разные важные, но всегда конкретные вопросы, а тот отвечал. Знающие люди утверждали, что лешего спрашивать можно было не более трех раз, после чего леший исчезал. А полученные от него пророчества разносились затем по округе: «Олешка с Падуна спрашивал ходил у лешего, а тот сказал, что он (один из местных мужиков) не прйде с фронта домой» (Криничная 1993; цит. по: Виноградова 2000: 348, карел.).

Исследователи считают, что подобная система ворожбы «конкретный вопрос — конкретный ответ» свидетельствует об изрядном нарушении нормы традиционного гадания: уже не «слушать» ходили, а ходили «спрашивать»...

А еще судьба приходит в снах. Все знают, что бывают сны, которые сбываются — «сон в руку» (как увидел, так все и вышло), «вещий сон» (сон-предупреждение, полный скрытого смысла, он снится к чему-то... Только вот, к чему?). И даже есть специальные сонники для разгадывания снов, и есть люди, которые умеют сны толковать...

• «Служил я в армии. У нас был человек один, он здорово эти сны разгадывал. Я ему говорю:

— Я вот такой сон видел: у меня мама пришла и увела тятю. Надела на него черну шинель, папаху.

— Тебе, — говорит, — вот письмо придет — он помер.

И верно: мне письмо пришло, что он помер. Как он угадывал, я не знаю...

Я говорю:

— Ты как знаешь?

— Я, — говорит, — сонник читал.

А какой это сонник?

Ишо мне рассказывал:

— Потеряешь каку одежу, жалеть будешь, то значит, кто-то в роду помрет.

Но, правильно, ли нет ли?» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 299, №433, Сиб.).

• «Сны надо разгадывать так: увижу покойника — неприятности; девчонок — удивление; доски, сруб, цветы — к покойнику.

Сон вижу такой подозрительный: будто тетя Фрося у нас в гостях и дядя Саша умерший. И ён ляжить на кровати подвыпивши. А мой [муж] пьеть пиво. Я вырвала у его бутылку:

— Дай Саше!

И Саша жену облил пивом — облил горем: посадили на три года внука-то, Славика.

Сны — предвестники жизни [= судьбы]. Но все равно не уйдешь от худого...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 357, №408, Новг.).

«Видела сон. Вот этот сон мне сбылся. Вижу во сне: выпали все зубы во рту. Ой! Стала перед зеркалом и вот так вот вставляю их, так вот цокну — зуб приживет. А один зуб никак не прижил. Так он даляко там — ну, думаю, а его и не видно, что его не было. А была война. Все свои пришли (вернулись с войны. — *А. Н.*), мои родственники. А один родственник пришел и умер. Сердце отказало. И вот одного я потеряла. А он родственник — моей тетки муж, считай, что это далекий родственник (...) Вот сон мой и сбылся...» (Лурье 2002: 38–39).

• «Я в сны вообще-то не верю. Вот только один раз случай был. Приснился мне сон, что брату построили сарай длинный-предлинный. В одной половине дрова пиленые, в другой — пшеница. (А пшеница-то — к слезам). И тут приходят плотники и давай этот сарай наполовину делить, пилить, значит. Я у брата спрашиваю:

— Зачем сарай-то распиливают?

А он мне отвечает:

— А мне и этого хватит.

Я ему утром-то говорю: „Ты на мотоцикле-то на своей осторожней езди".

Вот как раз три дня прошло, и убился он на нем, на мотоцикле-то. А те плотники, что сарай-то во сне распиливали, те ему гроб-то и делали» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 299, №432).

• Время, судя по всему, снам не помеха. Вот рассказ про женщину, которая по сну восемнадцатилетней давности нашла тело своей утонувшей дочери: «Старушонка живет одна в Могоче... А я жила в Борщевке. И вот совпаденье како! У нее в пятьдесят четвертом году утонула дочь двадцати лет. И сон ей приснился, когда девке два года было. Будто я и эта девчонка в корыте едем по Шилке, и вдруг корыто перевернулось и девку-то унесло, а я осталась. ...И вот девка-то утонула. Искали, искали ее. И не нашли. И мать сказала: „Не ищите ее, я сама найду". После трех дней пошла искать. Идет и вспоминает сон, который восемнадцать лет назад видела. Смотрит: кусты! Отодвинула их — и увидела девку...» (там же: 301, №438, Сиб.).

• «А еще видел. Будто пошли с сыном Николаем подле речку. Идем будто с ним, а зверек выскочил — бурьян нарос — трава заколыхалась. Я бросился, Николай меня за руку схватил: „Погоди, тятя, я сам, а то ты упадешь в яму". — Побежал и исчез. И через год умер» (там же: 300, №436, Сиб.).

Со сном связываются сотни, если не тысячи примет, и большинство из них продолжают «работать» и в настоящее время, и не только в деревенской, но и в городской среде. Поскольку язык снов — настоящий язык иносказаний, их разгадывание или толкование — дело непростое, требующее умения, знаний, пришедших с опытом: «Поживи с мое-то. Столько снов увидишь. Я вот когда с тобя была, и не знала что к чему снится-то. Мне-то все мать да бабка рассказывали-растолковывали, я и упомнила. Теперь вот, матушка, сама знаю — к чему снится-то: „Вот болезнь у тобя, и тобе снится, что ты дом строишь, — близка смерть, значит, а здоров — так хлопоты будут"; „Вот свадьба снится. Женатый ты — к измене, жена, видать, на передок слаба аль мужик гуляна, а если холостой ты — к печали"; „Во ужик присниться, лучше б он тобе, мужик твой пущай печалится, что краля у его на сторону гулят, а коль ему снится — так ты ж его пилишь. И тебе не радость, и ему огорчение"» (Добровольская 2002: 63, 66, Яросл.).

Принципы толкования снов могут быть очень разнообразными:

по *тождеству объектов*: «Когды тебя покойник во сне зовет — это к смерти»;

по созвучию: «Вот тут мне корова снилась — ходит и ходит. Мать говорит — „корова к хворобе снится, корова — хвороба, примета верная", „девица снится — к диву", „река — к речам", „вино — виновату быть"»;

метонимия — тоже подходящий принцип: «Вот как-то мне снится, что песок я копаю, и много уже, яму вот выкопала. Проснулась-то, думаю: „К чему?" А бабка говорит: „Помрет, видать, кто. Кому-то ты могилу копала"»;

самым популярным оказывается принцип обратного, *перевернутого значения*: «плакать во сне — предвещает радость», «видеть гроб — к свадьбе», «песни слу-



Рис. 63. Лубочная обложка сонника.

шать — жалобы на родных и близких», «нищего видеть — к богатству», «беременную — к смерти», «сердиться, ссориться с кем — это к примирению» и т. д.; все снотолкования взяты из (Добровольская 2002: 55–69; ЭС, 424–425).

Бывают, конечно, и индивидуальные толкования, про которые обычно говорится: когда мне снится такой сон — это к тому-то...

Ну, и помнить надо, что вещим считается сон «с четверга на пятницу», и более всего такой, что приснился «под утро»; воскресный сон и праздничный исполняются только «до обеда», а не исполнились — значит, ложные, вранье. Если приснился «плохой» сон, погляди, проснувшись, в окно — уйдет, или расскажи его — и не сбудется. Хороший сон по этой причине рассказывать никому нельзя.

Глава 11

ЧЕРТ

«Богу молись, да про черта не забывай!»; как нечистый православных мутит; про чертова барана и какой бывает икота; джентльменский набор — карты, водка, табак и бабы; несколько полезных советов...

Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел ятесковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт...

Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством



Рис. 64. Черт, держащий в лапах человеческую душу.

Он чуть ли не всюду, почти вездесущ, один из самых популярных персонажей народных сказок, поверий, мифологических рассказов, влезший в литературу (от древнерусской до современной) и во всевозможные виды искусства, прочно осевший в повседневной разговорной речи, несмотря на давнее и более чем обоснованное табу упоминать его в открытую...[1]

[1] В самом деле, удивительно, насколько велик и разнообразен «фонд» бытующих в русском языке выражений, так или иначе связанных с чертом; функционирование такого богатого пла-

Черт — обобщенное воплощение всей нечистой силы. И хоть принято считать, что «имя ему легион», но, как справедливо утверждает народная молва, «бур черт, сер черт, все один бес». В поверьях под его именем выступают домовые, банники, лешие, водяные и прочая нечисть, потому что различие между перечисленными духами и чертом практически утратилось.[2] Иными словами, общераспространенным стало представление, что «черти живут в разных местах, как то: в домах, лесах, водах, овинах, банях и гумнах; называются они лесовиками, домовиками, банниками и овинниками...» (Власова 1995: 340, Смолен.).

В некоторых народных преданиях описывается, как валилась с небес на землю низвергаемая архангелом сатанинская сила — «аки мелки дождь, продолжавшийся

ста лексики и идиоматики породило даже «специальный» собственный глагол — *чертыхаться*. Запрет упоминать, произносить вслух имена духов, сверхъестественных существ и всего имеющего сверхъестественную силу, чтобы эти существа не услыхали своего имени и, в раздражении за «ложный» вызов, не сделали зла произнесшему... (на самом деле, никакой не ложный, ибо, раз вспомнил и произнес, значит, нуждаешься, потому и призываешь). А дальше просто — «кликни, себя не заставлю я ждать...» [Такие] существа способны слышать свои имена, где бы они ни были произнесены... Отсюда и всяческого рода принятые оговорки, типа: «Не к ночи будь помянут», «Не при вас будь сказано...», «В добрый час сказать, в худой промолчать» и т. д. Кроме того, ляпнешь раз, ляпнешь два, и как привяжется — не отвяжется. Запрет значим вдвойне для наиболее уязвимых — для детей и женщин: «... матери и няньки запрещают детям поминать черта, причем сами называют его „лукавым, черным" или „он", или „сам"..., особенно тяжким грехом считается, если черта поминает женщина: „когда женщина *черканется**, под ней земля на три сажени горит"» (ЭС, 177).

Еще и сегодня многие деревенские жители предпочитают использовать в обыденной речи местные распространенные названия черта, соответствующие или характерным чертам его внешнего облика или его сущности: *нечистик, рогатый, невидимка, некошной, недобрик, шут, шиш, лукавый, окаяшка, грешок, враг* и др., мотивируя это совершенно традиционно: «Слово *черт* произносить грех, не то он привяжется и будет причинять зло» (цит. по: Власова 1995: 343, Волог.).

[2]Высказывается мнение, что это обобщение проходило, если можно так сказать, в несколько этапов: во-первых, после принятия христианства словом «бес» (т. е. «дух, демон в самом общем понимании») стали обозначаться самые различные силы «дохристианского происхождения»; затем, начиная с XVI–XVII вв., произошла постепенная замена названия «бес» на название 'черт' с параллельным усилением в образе характерных признаков духа зла, антипода Бога; наконец, в XIX–XX вв. понятие *черт* «получило очень широкое значение, покрыв целый ряд отдельных более узкоспециальных образов» (Токарев 1957; излагается по: Власова 1995: 340, 341).

Здесь необходимо сказать несколько слов о легионе. Нет никакой ошибки в том, что легион указывается в выражении «имя ему легион» именно как имя. Точное обозначение численности подразделения римской армии (легион — шесть тысяч человек) упоминается тут в обобщенно-множественном значении. Само это выражение («имя ему легион») было заимствовано из библии и «первоначально относилось именно к нечистой силе». Хорошо известна притча о том, как Иисус изгнал бесов из одержимого, «перекинув» их на стадо свиней. Тогда и сложилась из реплик фраза, став одним из фразеологических символов множественности: собравшись приказать нечистому оставить несчастного, Иисус спросил его: «Как тебе имя?» И получил ответ: «Легион», — «потому что много бесов вошло в него» (Лука, 8, 30). Остается отметить, что в русском языке нашелся оборот, не только указывающий на неисчислимость чертей, но и обладающей замечательной экспрессивной оценкой, — *до черта*! (Мокиенко 1986: 169–170).

шесть недель»: кто упал в лес — стал лешим, кто в воду — водяным, кто на дом — домовым... «Много ей пало в тартарары, в озера, реки и в леса, а еще больше осталось на воздусях...» (оставшиеся на небе черти так и продолжают там жить, только отделены от ангелов глухой каменной стеной (Тул.)). А свалившихся на землю было так много, что, во избежание раздоров и вражды, нечистая сила очертила свои владения особым кругом; кому из людей не ровен час доведется за ту черту заступить — нельзя тому выйти, невозможно избавиться от дьявольского наваждения...

Разобраться во всех имеющихся чертях, бесах и демонах представляется трудом неблагодарным и практически непосильным, разве что опереться на своего рода народную «табель о рангах» нечистой силы: «Черт, Дьявол, бес, Сатана — сим вымышленным особам простолюдины определяют разные степени и достоинства и уверяют, что черт смущает, бес подстрекает, Дьявол нудит, а Сатана знамения творит для колебания крепко в вере пребывающих» (Чулков 1786; цит. по: Власова 1995: 341).

В принципе, все они худо-бедно, но различаются своим внешним видом, разумеется, когда пребывают в своем собственном облике, не подделываясь под кого-нибудь из знакомых и не выкаблучивая, как небезызвестный булгаковский воробушек.

Увидав черта в его истинном виде, человек легко может лишиться жизни, а если не жизни, так разума. Рассказывают, как одному крепостному художнику барин сделал заказ: нарисовать ему беса, как он есть, без прикрас. Стал художник Бога молить, чтобы помог ему изобразить нечистого, «как он есть», потому что видеть такового ему не доводилось, и даже представить себе его он не мог. И вот, слышит он вдруг голос: «Раб Божий, встань, ступай в баню, там увидишь черта и портрет с него нарисуешь». Встал художник, взял бумагу, карандаши и пошел в баню. Сел там и ждет. Тут в предбаннике стук, вой поднялся — он так и обмер, но слышит, говорит ему кто-то: «Раб Божий, не убойся», и выставилась из-за двери рука по плечо, толстая, мохнатая. Дрожит художник, а сам рисует... Затем нога показалась, которую он тоже срисовал. «Раб Божий, не умри!» — Выставилась из-за двери вся дьявольская рожа. Срисовал все художник и вон пошел. А вслед ему голос: «Раб Божий, не смотри на картину, сверни и отнеси барину, а сам прочь уходи, не то плохо будет». Пришел художник к барину, отдал заказ и поскорее за дверь... Настало время обеда, а барина нет. Ждали его, ждали, не дождались. Пошли за ним и видят: стоит картина, а перед ней барин мертвый лежит (пересказ; текст см.: Сборник великорусских сказок... 1917: № 133).

Своим традиционным обликом (по вполне понятным причинам) черт «наследует бесу» (Власова 1995: 342). Это мохнатое существо темной (черной, синей) шерсти с хвостом, рожками, копытами и когтями, иногда имеются и крылья. Бывает, что вместо копыт или когтей упоминается так называемая гусиная пята (что, кажется, равносильно полному отсутствию пятки вообще) — тогда и выходит «анчут беспятый». Глаза черта горят, будто уголья, а голос может быть и сиплый, и зычный, и

даже «каркающий». Черти бывают кривыми, хромыми и лысыми, правда, последнее может компенсироваться остроконечной головой («шишом»).[3]

Дьяволу, как и Сатане, приписывается темный, черный, цвет, поистине великанский рост («иже до облак доседаше высотою») и очень громкий сиплый голос. Но излюбленным дьявольским обликом является не человеческий, а змеиный (там же: 141). Что же касается Сатаны, то у народа наряду с суждениями о нем, как о коварном и сильном духе зла, никак не забывается его начальная ангельская природа. Более того, самыми разработанными, подробными описаниями образа Сатаны отмечены народные варианты повествования о миротворении и мироустройстве, где Сатана предстает в потугах быть равным Богу.[4]

[3]Кривизне, хромоте и прочим физическим недостаткам черта крестьяне находят простое объяснение: большинство чертей получило увечья, когда нечистая сила валилась с небес на землю. Впрочем, существует и другая версия. Дело в том, что у владыки ада нрав, похоже, суровый и вспыльчивый. За плохо исполненную или не исполненную вовсе работу чертям от него изрядно достается: он бьет их, швыряет о стены ада, обрывает им хвосты и т. д. Если учесть немалые размеры Сатаны (о нем обычно говорят, как об исполине), нет ничего удивительного в том, что полно хромых, слепых, безухих и бесхвостых чертей.

Кроме вышеупомянутых физических недостатков, отмечающих нечистую силу, в народных рассказах (теперь, правда, гораздо реже) встречается и такая древняя демоническая черта, как отсутствие спины («спина корытом», «ззаду кишки висять», «усе видно внутреннэ»).

[4]Основываясь на этих народных рассказах, некоторые исследователи начала XX в. видели в участии Сатаны в процессе творения мира подтверждение свойственного народу дуалистического мировоззрения. Из разных вариантов народного повествования о творении мира приведем здесь лишь такие, которые могут показаться наиболее интересными, так как объясняют и происхождение нечистой силы, и получение ею вотчины. Начнем, пожалуй, с последнего: «До сотворения земли все было покрыто водой, а под водой, на огромной глубине, была земля. По воде плавали два духа, как два пузыря — Бог и нечистая сила...» Велел Бог нечистому нырнуть и достать земли. Тот сделал, как было велено, но часть земли утаил во рту: «... Погляжу, как Бог станет творить землю, и я сотворю свою землю и стану в ней начальником». Бог благословил землю, что отдал ему нечистый, и земля стала расти; стала расти и та земля, коя во рту была у нечистого, — и стало ему рот оттого распирать, туго стало у него во рту. Вон он и начал землю изо рта выплевывать: как плюнет — болото станет, побольше плюнет — большое болото станет, поменьше — маленькое. Так он и наплевал по всей земле болот. Бог отдал ему болота во владенье: от этого в болотах теперь нечистые живут» (Новг.).

По другому рассказу, Сатана — «существо вроде человека», появившееся из «харковины» (плевка) Бога... Достал Сатана со дна моря земли по повелению и благословению божьему, и «Бог велел Сатане ровнять землю, а он наделал гор, оврагов, болот и т. п. Бог и спрашивает: „На что ж ты суродовал землю?", а он [Сатана] отвечает: „Я для пользы сделал и тебе и себе: залезает мужик с возом, али так не в силах забраться на гору или выбраться из болота, ну и будет тебя просить: „Господи, поможи", вот тут и помогай, а не поможешь, так я помогу". Бог согласился с этим. Вот потом размножились люди, и приходит черт к Богу, и называет себя товарищем. Бог и говорит: „Какой ты товарищ, ты меня господином звал". А он и говорит: „Не только товарищ, но и местник — могу делить добычу с тобой". Бог и говорит: „Какую?" — „Посылал меня в море, я песку достал, а из него и земля сделалась". — „Какое ж тебе дело?" — „От земли и человек составился, а стало быть, и человека должно делить пополам". Бог думал, думал, как от него отвязаться. Черт и говорит: „Я не буду тебя утруждать, давай — живые будут твои, а мертвые мои". Бог как-то не похватился, что душа в человеке бессмертная, и говорит: „Ну, пусть твои". Вот отчего в ад-то по-

В лесных чащах, на заглохших, заросших озерах, где самая топь да трясина, и куда никогда не ступала нога человеческая,[5] вот там черти и живут. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что живет *у черта на куличках*, он-то имеет в виду, что где-то далеко, но вы-то знайте, что это означает «на болоте» (кулички или кулицки — болотные кочки). Живут черти семьями, имеют жен, детей и сродственников, и всем им их родимые мокрые места очень даже нравятся.

В одной из губерний, возможно, в Пензенской, ходил рассказ о том, что заселение болота чертями было насильственным и предпринято Господом в карательных мерах:... когда черт спрятал за щеку часть добытой со дна моря глины, какой-то архангел донес на него, и пришлось черту глину выплюнуть — и образовались горы и озера. В наказание Бог посадил черта в самый глубокий овраг, наполнив его вонючей водой и глиной. Вот и сидят теперь черти по оврагам и болотам, и даже слышно бывает, как они там стонут, хохочут и визжат...

пали! Ну и мучились, пока Христос пришел — Он и вывел [умерших из ада]» (Твер.) (оба рассказа приводятся по: Власова 1995: 315; 316).

Того, что болота — одно из излюбленных мест обитания нечистой силы, мы коснемся чуть позже. А вот появление Сатаны из плевка Бога — очень интересный вариант объяснения того, откуда есть и пошла нечистая сила. Ибо существует представление, что все черти произошли от Сатаны, «а Сатана уж так весь свой век живет, не переводится» (Новг.). В некоторых губерниях Сатану считали для чертей «старшим дедушкой», который будто бы прикован глубоко под землей цепями, но руководит всей нечистью, «дает советы и требует отчета» (Ряз.).

[5] Может и ступала нога, да только не долго — трясина засасывает и следа не оставляет... Очень, очень опасны для прогулок все эти мочаги, ходуны и топи... прямо-таки чертовски опасны. Наши народные пословицы и поговорки просто изобилуют указаниями на связь черта с болотом: «было бы болото, а черти найдутся», «навели на беса, как бес на болото», «вольно черту на своем болоте орать», «гнилого болота и черт боится», «не ходи по болоте, черт уши обколотит» и т. д.

Обколотит — не обколотит, но сбить с дороги, заманить поближе, затащить в трясину и утопить — это, пожалуйста: «От я помню ета... у нас такой Гараська был дед-та. В Демьянках (...) А яго завяли! Пьяный шел с Клинов. Праздник. Подвыпивши. И двое робят встретились. В гармонь играли, песни пели, яго под руки завяли — в лощину, в кусты. Разули на портянки. Да в такое болото завяли, что яму не вылезть было. Мы всей дяревней яго спасали, етого деда.

Говорить:

— А меня привяли под руки два каких-то. И с гармонью, и с песням. И взяли мяня: „Пойдем с нам!" Вот я и пошел с им. Какие-то робяты, молодежь. Завяли в сту лощину и говорять: „Разувайся!"

Ён и разулся. И завяли яго в болото. Потом как захохочуть, похохотали, в ладони похлопали и ушли.

Ён потом кричал дурной бядой. Мы ходили в бор. Слышим только: кричить Гараська. С такого-то болота яго еле вытащщили! Завяли!..» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 265, № 253).

Про болотные огоньки, которые заводят усталых путников, еще не забыли даже в Европе. Эти огоньки — души, не нашедшие успокоения, говоря по-нашему, души заложных. Так что, европейские верования с восточнославянскими в этом совпали, ведь самоубийц — утопленников, висельников, опойц и прочую загубившую себя братию — у восточных славян было принято стаскивать, сбрасывать в болота, поближе к их хозяину (кто, как не черт, виноват в том, что человек наложил на себя руки). Уж он-то найдет им применение...



Рис. 65. Водяной черт.

Болота, как и бездонные провалы, если помните это из главы о водяном, имеют проходы к центру земли, одним словом, ведут в самый Ад. Так вот, по некоторым представлениям, черти живут именно там. Правда, иногда делается маленькое уточнение: в аду живут «насылыные», т. е. самые лихие черти, и их не так уж много, а обычные нечистые живут везде и вот их-то великое множество. По описаниям, Ад представляется местом неуютным — темным, холодным; пещер там будто бы много, река протекает широкая, огненная, на которой стоят котлы с кипящей смолой, и развешаны, разложены повсюду всевозможные орудия пыток... Здешние бесы занимаются наказанием грешников сообразно с их прегрешениями. Воров, к примеру, подвешивают за руки и за ноги спиной к огню — ноги ходили красть, руки крали, спина носила... Ну, и так далее (Русский демонологический словарь 1995: 45).

Всю нечистую силу отличает любовь к метаморфозам. Так, например, считается, что черт может принять какой угодно облик:[6] то прикинется рыбкой, птичкой, зверушкой всякой; то обернется клубком ниток, камнем, ворохом или копной сена; то человеком, до мелочей похожим на вашего знакомого, родственника или соседа, то монахом или священником, а может и бабой...

Есть даже такое представление, в частности, у вологжан, что все, на самом деле, зависит от цели, которую преследует нечистый: «Если нечистому, черту, надо испугать человека, то он является в виде страшного зверя; если „самусить" (совратить)

[6]Считается, что все же существует некоторое ограничение в числе образов, что могут принимать нечистые. Речь идет о некоторых животных, представляться которыми нечисть вроде бы избегает, причем делает это, с позиций народной логики, по вполне объяснимым причинам:

— например, коровой черт оборачивается крайне редко, и все потому, что корова для крестьянина самое дорогое и полезное домашнее животное, и вообще, «подобному перевертышу и самая глупая баба не поверит»;

— и петухом черт будто бы «не дерзает» прикидываться, потому что петух — вестник приближения дня, солнечного света, ненавистного всей нечисти;

— голубями тоже не прикидывается, ибо всем известно кто «удостаивал принимать на себя образ этих милых и ласковых воркунов...»;

— наконец, черта в образе осла никому не доводилось видеть, так как «со времен явления Христа на землю, стало известным, что сам Господь благоволил избрать осла для своего победоносного шествия во святой град, к прославлению своего божественного имени и учения» (Максимов 1994: 12–13).

Есть еще одно животное, которого, как считают крестьяне, черт откровенно недолюбливает. Это... козел, который, в сущности, представляет собой чертового двойника. Рассказывают, как черт, увидев, что Бог создал человека по своему образу и подобию, откровенно ему призавидовал. Захотел сделать то же: «...написал (боюсь, что ударение на и. — *А. Н.*), да и вдунул свой дух. Выскочил козел рогатый — чорт его испугался и попятился от козла. С тех пор он и боится его...» (ОПСП, 394, Симб.).

А теперь замечательный пример того, как черт, прикинувшись невинной овечкой, глумился над человеком, пугал просто так, для собственного удовольствия: «Дед Иван ставил сети рыбачить. Ехал домой вечером. А за ним ягненок увязался. Бежит и бежит. „Наверно, отстал", — подумал дед. Положил на телегу, пологом прикрыл. Смотрит: а лошадь-то в пене!

— Что ж это такое? Бог с тобой. Неужели ты тяжело везешь пусту телегу?

А ягненок как соскочит и захохочет! И побежал вперед, в речку упал. А деду речку переезжать надо. Пока ехал, все молитвы собрал. Аж крови в зубах (губах. — *А. Н.*) не было. Сильно испугался!» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 104–105, № 152).

Чтобы максимально усыпить возможную подозрительность и подобраться к человеку поближе, черт мастерски оборачивается человеком, причем ни пол, ни возраст, ни габариты не вызывают у него никаких затруднений. Не желая постоянно попадаться на многочисленные уловки изобретательной нечисти, народ взял себе на заметку несколько простых, но неизменно срабатывающих «ориентиров», чтобы, случись что, суметь определить, с кем имеешь дело. Итак, черта, принявшего человеческий облик, выдают: а) горящие глаза, б) зычный глас и в) неистребимые хвост, рожки и копыта, которые он старательно прячет, но убрать совсем не может; г) тень, конечно же: у человека тень есть, а у черта нет тени; д) может кое-чем помочь и одежда — любят нечистые украсить себя чем-нибудь ярким, красненьким (шапка, пояс, рубашка и т. п.) и, как у лешего, у черта не та пола (правая) подоткнута. А впрочем, как утверждается во многих рассказах, черти очень ловко прикидываются, так что нет никаких сил уличить их в обмане и остеречься.

на худое дело — в виде человека; коли подурачиться, поглумиться над людьми — то в виде кошки, собаки и т. д.» (Власова 1995: 342, Волог.).

Кроме виртуозного владения искусством превращения в кого и во что угодно, у черта есть способность становится невидимкой. Был, например, такой случай: шли как-то женщины по полю и услышали, будто кони бегут и колокольчик звенит... И все ближе, ближе!.. А нет никого — кругом поле чисто. Испугались они, и бежать. В дом ввалились и бабушке рассказывают: так, мол, и так, скачет кто-то за нами, а никого не видать. Вот бабушка взяла воды, нашептала и давай на углы лить и на дверь плеснула. Как на дверь-то плеснула, заскакивает черт — копыта конские... Только и сказал:

— Ну, хитра бабушка!

Повернулся, седлал дыру в полу, прыг! — в нее и исчез... (пересказ текста см.: Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 105, №153).

Невидимость черта, это не та незаметность (невыделяемость) среди людей, которой, как уже было сказано, тот владеет мастерски. В действительности, это то самое сосуществование разных миров, когда в обычном состоянии (в обычное время и в обычных условиях) они могут пересекаться, но оставаться незаметными друг для друга. А взаимная или односторонняя видимость (полный или частичный контакт) наступает тогда, когда происходит намеренное или случайное нарушение нормы обоими сторонами или одной стороной. Но об этом нам уже приходилось говорить в других главах. Надо признать, что черт бессовестно пользуется (в своих целях, разумеется) всякой возможностью проконтактировать с человеком...

«Вот нынче беси есть али нет? Я была маленькой, а брат был старше меня на двадцать лет, так вот он рассказывал. Он был небольшой, с дедушкой ходили в Архангельскую. Шли по городу, и старичок встретился нашему дедушку знакомый, а глаз один выбитый, кривой. Ну, а наш брат небольшой был и интересно показалось.

— А что, — говорит, — дедушка, у него глаз кривой?

А дед и говорит:

— А вот отчего глаз кривой. Он был раньше гармонистом, молодый, и вот, — говорит, — все тоже ходили гуляли, пили с товарищами, а вот один и привязался к нему: „Поедем, — говорит, — с тобой на танцы“, — гармониста и зазвал. Он с има согласился ехать. Ну вот он его привез *тамотки*,* в комнаты, просторы хорошие, к богачам как бы, и все там танцуют пары за парами. Ну, он сел на стул и стал играть, а эти танцы иношли. И вот одна барышня его омахнула хвостом — платьем по глазу стегнула. А он как глаз *прокуксил*,* протер — а глазом видит: не люди, а беси с рогамы, с хвостамы, и сидят не в комнате, а на болоте, на *клоцках**. Ну и он как этот глаз закроет, не смотрит тем — и все как народ, танцуют, играют все, с тем больным посмотрит — а беси! И так ему страшно стало, он запросил товарища:

— Отвези ты меня домой назад, — говорит, — что-то мне плохо!

Ну вот, тот сперва поунимал, а потом и согласился. Ну вот, он его посадил в повозку, тройка лошадей подопряжена под повозкой, и вот повез. И он, (гармонист), захотел посмотреть, на чем везет, тем-то, больным глазом поглядел, — а не карета, а елка, и он сидит на елке, а вместо лошадей три человека запряжены, грешника, а на елке бес с рогамы, с хвостом, на вершинке, и этих людей нахлестывает, они храпят бедны. Ну вот, и глазом тоже смотрит. Куда его везут. И привез и распростились на тот раз. Потом как пойдет на рынок-то, так тем глазом и видит нечистоту ту. Они уж там и тащат, и воруют, а где-ка стронут, прольют, чтобы ругались... А он товарища-то и увидел:

— Здравствуй, товарищ!

А тот и ожегся:

— Ты как меня видишь?

Ну, а он с простоты и говорит: „Вот так-то и так-то, я как был у тебя, меня одна дама хлестнула хвостом по глазу, так я с тех пор и вижу вас, вижу все, что вы проделываете!" Тот как размахнется, стегнет ему по глазу, чтобы не видел, у того и глаз вытек. „Тут в обморок я упал, тут меня подобрали", — он и сказывает старику, дедушку нашему. Ну, тут подобрали, глаз залечили, так и остался кривой. Ну, а дедушко брату-то рассказывал, Григорью, а Григорий после службы мне сказывал, большой уже был, а я в девках была»[7] (Сказки Терского берега Белого моря 1970: 356–357, № 118).

Эту невидимость или виденье не того, что есть на самом деле, а того, что предлагают видеть, можно назвать одним словом — *морока*. Заморочить или отвести глаза — очень давний, излюбленный прием у чертей. Они могут просто морочить, чтобы помучить, попугать человека, а могут и довести до настоящего греха, непоправимого и страшного.

Вот, к примеру, один рассказывал: «За лошадями я смотрел. Раз пришел на двор, что такое! Все лошади должны быть спутаны, а две распутаны стоят. А они только прикинувши лошадям. Я к им, оны от меня, я не отступаю. Лны меня водили, водили, вывели на Соченску делянку. Когда петуны запели, я вижу Соцко, вот тошнехонько. Прочел я воскресную молитву: „Господи, наставь меня", пошел домой,

---

[7] Среди европейских, в частности британских, аналогов вспоминается история про Черри из Зеннора, которую наняли в чудный дом в няньки странному малышу, и в обязанности которой входило каждое утро смазывать глаза малыша мазью из хрустальной коробочки. При этом ей строго-настрого запретили использовать эту мазь для собственных глаз. Запрет, конечно же, был нарушен, причем из праздного любопытства, и Черри стала видеть мир эльфов. Как только нарушение запрета раскрылось, ее вернули домой, но она так и не смогла оправиться от своей потери -- трудно, заглянув в другой мир, жить затем одними воспоминаниями...

Но можно не ходить далеко за параллелями – в главе 5 этой книги рассказывалось о повитухе, принимавшей роды у жены лешего и попользовавшейся ненароком для собственных глаз водой, что была заготовлена в лешачьей бане. Помнится, что там тоже был запрет и женщина очень недолго пользовалась чудесным даром виденья.

и в тех местах, где мне до того виделись, ни овса не было, ни березовых пеньев, это они все представили. Пришел, а лошади все на месте спутаны, как я и делал. Это они меня водили» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 75, №283, Новг.).

А другого мужика так нечистые заморочили, что он собственного сына убил. «Сын ему зайцем показался. Так он схватил еще чужое ружье и стрельнул, а это человек, сын. Это ему черт глаза отводил. Сын-то с хлебом шел. Ему сказали: „Иди, снеси хлеба отцу, матери". А кругом ведь народ. Народу-то сын видится. Все есть на свете. Разве у него руки-то поднялись бы — еще первенец сын был. Мы думали Васька [мужика Василием звали] после с ума сойдет, повесится — так горевал. И ведь не пьяный был, трезвый» (там же: 75–76, №285, Волог.).

Что чертям надо? — довести человека до греха, ввергнуть в отчаянье, напортить, навредить, устроить так, чтобы он погубил свою бессмертную душу и попал в их цепкие лапы надолго, по возможности навсегда. Став при самом творении мира врагом человека, Сатана и порожденное им племя продолжают исконную борьбу зла с добром,[8] так что существование нечисти протекает в неустанных заботах о преумножении своей силы как в качественном, так и в количественном отношении. Но если в народных рассказах конца XIX — начала XX в. случалось встретить заявления, что черти стали переводится, что прежде нечисти было гораздо больше, и даже, что теперь эта нечисть заклята неким святым, то в современных рассказах нередки рассуждения совсем неутешительные. Мало того, что «таперя ничаго не стало, никаких чудясов», «раньше чудилось, теперь не чудитца» и т. п., так и объясняется это

[8]В народе живет убежденность, что все сущее находится в постоянном взаимодействии и развитии. Не существует жесткой границы, разделяющей добро и зло, и следовательно, нет ничего неизменного, данного раз и навсегда. Многочисленные народные предания, легенды и сказки включают в свои сюжеты идею возможности человеку самому выбрать свою судьбу (не без Божьей воли, конечно), и не только человеку...

Ангел может преобразиться в духа зла, в повелителя тьмы, и другие ангелы принимаются служить ему, как это случилось в легенде про Св. Касьяна, чей день отмечается 29 февраля, раз в четыре года. Рассказывают, будто Св. Касьян был когда-то светлым ангелом, но соблазнился на посулы нечистого и перешел на сторону Сатаны. Кажется, именно он и выдал Сатане планы Господа низвергнуть всю сатанинскую силу с неба в преисподнюю. Потом Касьяна стала мучить совесть, ему захотелось вернуться к своей прежней небесной жизни, вновь приблизиться к Богу. Господь внял раскаянью и вернул грешника на небеса, но только прежней веры ему уже не было, и был к Касьяну приставлен ангел-хранитель, который держал его в цепях и бил его тяжелым молотом в лоб по три года кряду, а на четвертый пускал на волю (по: Максимов 1994: 288, Волог.).

Но, как ангел может уподобиться черту, так даже самый последний чумазый чертенок имеет шанс стать светлым ангелом: «... раз чертенку дали приказ пакость какую-то сделать, а он и не исполнил. Ну, ему сейчас под железные прутья должно воротиться. Испугался он и давай Бога молить: „Господи, коли ты меня от железных прутьев избавишь, никогда пакостничать не буду!" Бог его и не оставил: спрятал чертенка в церкви, под плащаницу. Черти его и не могли найти, бросили искать. Стал после этого черт ангелом и возрадовались и на небе и на земле» (Сказки и предания Самарского края 1884: 251).

тем, что «таперя мы сами шишки!» и «теперь черт пришел на землю. Он переборол все»...



Рис. 66. Черти веселятся с мужиком.

В черте, в его происках деревенский люд видел причины всех своих горестей и неудач. Нечистый всегда находится рядом, он только и ждет, чтобы ввести человека во «смус», толкнуть на неблаговидный поступок, заставить его согрешить. Причем, как справедливо подмечено, тут «довольно и одному коготку увязнуть, как вся птичка пропала»... Хотя, случается и черту отступать, не солоно хлебавши. Вы только почитайте, какая дивная вышла история на тему плохой погоды и свойственной нам привычки ругать ее: «Шел мужик в церкву. Ну, а Скресёнье [воскресенье]. Как раньше всегда — как Скресёнье или праздничек какой — в церкву надо... А погода худая, и дожж, дожж. Ну, наверно, мужик-та веруппий был. Ну, раз ужс в

церкву, так и в церкву, ну ён идёть-идёть... От скольки ён там до церквы не дошёл. Попадаетца яму человек на дороги:

— Мужик! Заругай погоду! Заругай погоду! (Надругайся над погодой, что худа погода.)

Но всё погода-та ведь от Бога, нихто не можеть яе перенять! ⟨...⟩ И понял мужик-та, конечно, верушший — понял, что иду в церкву, а буду ругатца. И, главно, на погоду, а погода от Бога. И говорить:

— Погода — Божья воля!

— Я табе сто рублей дам, только сругай погоду!

— Не, деньги мне твои не надо, — говорить, — а погода — Божья воля!

Потому что видить, что согрешишь. Ведь у Боженьки молитва идёть, а ругатца-то грех. (А вобще на погоду — разве погоды, быдто, не оттого-то прислана, а идёть же ена от Бога, с нябес).

Ну, вот пришёл он в церкву, отмолился. И потом батюшки говорить:

— Батюшка, а что мне сегодня привиделося!

— А что?

— А я ишёл, — говорить, — сюда, и попался мне человек на дороги. Просил: сругай погоду, сто рублей давал!

— Посылай, — батюшка говорить, — посылай ко мне, я сругаю за сто рублей!

Видишь, батюшка согласился за деньги погоду ругать! Ну вот.

Мужик домой-то пошёл. Ён опять на етом мести стоить, етот человек. Опять говорить:

— Мужик, сругай погоду!

— Нет, погода — Божья воля. А вот, — говорить, — иди к етому батюшки, ён за сто рублей сругаить погоду табе!

А етот-то:

— Ха-ха-ха! (хлоп-хлоп-хлоп — в ладоши). — Поп-то давно, говорить, мой! А я хотел, кабы ты-то был мой!

Эво, вишь, ён знаить, что мужик верушший. И хотел мужика во время службы, что служба идёть в церквы смустить. Чтобы мужик согряшил, не помолившись, а согряшил больши...»[9] (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 310).

[9] По поводу ругани, которая считается грехом... Черт подначивает человека «сругаться», а потом «как зачнешь ругаться, он подскочит и толкает, ругайся, дескать больше» (Новг.) и не отстает... Особенно остерегались ругаться в таких местах, где черту свойственно находится — на перекрестках, в нежилых или пустых строениях, у воды... «На росстанях каждый старик и старуха крестятся, и помилуй Бог сругнуться. Потому, говорят старухи, всякая беда может случиться...» (Волог.). Ругань, как правило, то же чертыханье, и, следовательно, ассоциировалась с призываньем нечистого. «Один странник недавно на ярмонку приходил и говорил: „Не бранитеся, матушки, не злитеся, бисы не призывайте. Я девять мисяцов мучился (видимо, ругался перед тем немало). Черти-то, бисы-то мине и говорят: „Ты раб наш“. Велели крест снять, да, как спать лягу, так душить начинают, в окно лезут, зубы кажут, когти, и дом точно го-

Конечно же, черта не зря называют искусителем, он мастер своего дела и умеет проигрывать, надеясь в скором будущем взять реванш: не сегодня — так завтра, с этим не вышло — так выйдет с другим... Правда бытует мнение, что все происходит не абы как, и «люди искушаются по прямому предписанию из преисподней и по особому выбору самого Сатаны». И будто бы добыванием человеческих душ занимаются самые искусные черти, «у которых наука искушений доведена до высокой степени совершенства в течение бесчисленного ряда лет неустанной и неослабной работы» (Максимов 1994: 13). Вот и выходит, что он всегда рядом, всегда под рукой, вернее, за левым плечом. Но и об этом у нас уже заходила речь. Что, в левом ухе звенит? Это, как объясняют люди знающие, он летал сдавать Сатане ваши грехи, сделанные за день, и теперь прилетел назад, и снова на стороже, и неустанно нашептывает на ушко, и соблазняет, и наводит на греховные мысли...

Взять, к примеру, самоубийство. Тягчайший грех, и довести человека до самоубийства — идеал, высшая цель дьявольских происков. Способов для этого у нечистого неисчерпаемый запас — можно хоть напрямую, хоть в обход, чтобы донять человека, подвести к заветной черте и легонечко подтолкнуть... Женщина рассказывала о том, как искушал нечистый ее мать, подталкивая к самоубийству: «Вот. От худой жизни хотела задавиться мама моя, Александра Яковлевна Волнухина... Снится [ей] сон: приходит черт, и с веревкой. Он говорит:

— Давись!

Это во сне ей. Ну, она схватила меня, приходит. А бабушка говорит:

— Александра, ты чего?!

— Маменька, да вот мне *бласнился** черт!

Она [бабушка] говорит:

— О Господи, доченька, да ты, наверно, задумала чо!

Она [мама] говорит:

— От хорошей жизни не задумаешь, а от этой жизни всего задумаешь!

И вот, *взглядь**, а он у порога и стоит. Стоит и меня манит! Ну что делать?! Я как закричала! А бабушка и говорит:

— Ты чего, Александра, чего?

А она говорит:

— Дак чего! Он у порога стоит!

— Дак ты хоть перекрестись! Да есть ли у тебя крест-то?

Она говорит:

— Есть!

— Да вот на ты свой, а я свой одену!

рит, все трешшыт, трешшыт"...» (Сказки и песни Белозерского края 1915; цит. по: ОПСП, 449. белор.).

Но ругань ругани рознь, матерная ругань могла послужить настоящей обороной от черта...

Я, говорит, хочу перекреститься. Мне как кто палкой бьет! А потом перекрестилась, а он потерялся. Бабушка говорит:

— Давай Саша, подои коров: вон все пошли соседи, погнали — и ты вместе!

Вот она согнала всё туды, куда нады, а обратно идет — и поднялся ураган.[10] Вышли вот на поле (сейчас-то строится дом). Вот от этого места, от Басутина, как поднялся ураган! Говорит, кто шел со мной, все и потерялись. И вот само, как поворачивать сюда к Басутину, дом-то, и вот здесь, значит, сразу же меня как подхватили — и через дорогу! И сразу дверь открылась, и мене, говорит, бросили прямо об стену эту. Да всё» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 309).



Рис. 67. Черти искушают.

Если удастся нечистому заронить в чью-либо голову идею наложить на себя руки, то так просто он уже не отстанет, заботливо примется эту идею укреплять и выращивать, подталкивая человека к действию. И не случись в такое время рядом кто-нибудь, способный помочь справиться с искушением или хотя бы дать мудрый совет, так быть беде...

Рассказывали, например, как «один молодец с малых лет приобык к водке, да так, что когда стал хозяином, и некого было бояться, пропил все на смех людям, на пущее горе жены и детей. Насмешки и ругань не давали ему прохода.

[10]Кстати, об урагане, вернее, вихре... С одной стороны, черт сам любит вихрем ходить, с другой, вихрь — излюбленный способ нечистой силы передвигаться.

Говорят также, что летом, когда у чертей с чертовками случаются свадьбы, как раз таким вихрем, пылевым столбом и видится человеку чертовский свадебный поезд. Если бросить в этот вихрь нож, вихрь исчезнет, а нож потом будет в крови. Для людей, оказавшихся поблизости, такой вихрь будто бы грозит всевозможными недугами. Добавим еще, что свадьбу справлять черти норовят в самое, что ни на есть, неподобающее время, например, в ночь под Воскресение. Случилось раз какой-то крестьянке возвращаться в субботу вечером из бани. Все вокруг тихо было, и вдруг, откуда ни возьмись, послышались бубенцы, крики, хохот, свадебные песни, и как в тумане показался свадебный поезд. «Господи, грех-то какой под праздник!» — произнесла женщина, и видение мгновенно исчезло (Русский демонологический словарь 1995: 585).

— Дай-ка я удавлюсь, опростаю руки. Некому будет и голосить, а еще все будут рады! — подумал молодец про себя, а вскоре и всем стал об этом рассказывать.

Один старичок к его речам прислушался и посовстовал:

— Ты вот что, друг, когда пойдешь давиться или заливаться (топиться), то скажи: душу свою отдаю Богу, а тело черту. — Пущай тогда нечистая сила владеет твоим телом!

Распростился мужик со своими, захватил вожжи и пошел в лес. А там все так и случилось, как быть надо. Явились два черта, подхватили под руки и повели к громадной осине. А около осины собралось великое сборище всякой нечисти: были и колдуны, и ведьмы, и утопленники, и удавленники. Кругом стоят трясучие осины, и на каждой сидит по человеку, и все манят.

— Идите поскорее: мы вас давно ожидаем!

Одна осина и макушку наклонила — приглашает. Увидали черти нового товарища, заплясали и запели на радостях, кинулись навстречу, приняли из рук вожжи, захлестнули на крепкий сук — наладили петлю. Двое растопырили ее и держат наготове, третий ухватил за ноги и подсадил головою прямо к узлу. Тут мужик и вспомнил старика, и выговорил, что тот ему велел.

— Ишь, велико дело твое мясо, — закричали все черти. — Что мы с ним будем делать? Нам душа нужна, а не тело вонючее.

С этими словами выхватили его из петли и швырнули в сторону.

В деревне потом объяснял ему тот же старик:

— Пошла бы твоя кожа им на бумагу. Пишут они на той бумаге договоры тех, что продают чертям свои души, и подписывают своей кровью, выпущенной из надреза на правом мизинце» (Максимов 1994: 15–16).

О том, что происходит с телом удавленника, во всяком случае, на что идет его кожа, теперь понятно. А на что годится душа самоубийцы уже говорилось и не раз — по традиционному народному представлению, самоубийца «черту баран» или «лошадь», на них нечистые сами ездят, попутчиков катают, возят воду и тяжести...[11] Так что, черт без устали занимается добыванием для нечисти чернорабочей силы: весь оставшийся «не дожитым» положенный срок, самоубийцы отрабатывали у нечистых.

«...Это тоже бабушка Анна Алексеевна рассказывала. А ей один кузнец.

Вот, значит, одна удавилась женщина. ...Ну, вот ему она будет крестна, этому

[11] Стоит напомнить, что, кроме самоубийц, в «чертовы бараны» попадают все те, кто совершил поджог или убийство «по злой воле» (по наущению дьявола), а также те, кто оказался в несчастье «от неравновесия душевных сил переходного возраста. Все душевнобольные и ненормальные суть люди порченые, волею которых управляет нечистая сила, кем-либо напущенная и зачастую наталкивающая на злодеяние — себе на потеху. Тешат эти люди черта — делают из себя для него „барана“...» (Максимов 1994: 17).



Рис. 68. Черт верхом на грешнике-самоубийце.

кузнецу-то. И вот прошло уже это порядочно время. И вот приезжают в одиннадцать часов.

— Будь добрый (на паре коней), подкуй мне лошадей!

— Да, — гыт, — темно. Где же буду я... как ковать?

— Нет, будь добрый, подкуй! Большие деньги я тебе... хорошие деньги заплачу.

Но, он пошел ковать. Ногу-то поднял, копыто-то — там человечья нога-то! А голову положила на оглобли, плачет. Это его же крестна! Черти на ней ездят, катаются за то, что она удавилась. А второй конь — какой-то сродственник тоже. Подошел, хотел ковать — у него и руки-то опустились...» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 110-111, №162).

Было бы при этом несправедливо оставить без упоминания и тот факт, что в народном сознании присутствует своеобразная «вилка» в представлении о том, можно ли вызволить душу самоубийцы и сократить «отрабатываемый» у нечистой силы срок. С одной стороны, считается, что молиться за самоубийцу нельзя, даже поминать его в молитвах запрещено, но, с другой стороны, его род (дети, внуки и правнуки) могут отмолить душу самоубийцы, правда, весьма своеобразным способом: кормить, поить, кров давать нищим и прохожим, приветить не только человека, но и зверя, и птицу.

Один мужик наниматься шел, ну и сругнулся на дороге от души, потому как нигде его не брали... Так его (черти) на тройке нагнали и на работу взяли в единый миг. Работу дали — только подивиться, считай, «из пустого в порожнее» наоборот: «На... тебе этого коня, запрягай в бочку и вози воду: из этого колодца наливай, а в этот колодец выливай. Из колодца в другой. (Понятно теперь, откуда ведется приговорка «на сердитых[12] воду возят»?)

[12] На сердитых или на «сърцатых», как сказали бы болгары, т. е. с сердца, глубоко обиженных,

Как бедному напятому удалось избавиться чуть ли не от вечной службы (а не ругайся!) — это другой вопрос. Но, когда оказался он на той самой дороге, где ругался когда-то, что не брали никуда в работу, конь, на котором он воду возил, вдруг сказал напоследок: «Возможно, ты, — гыт, вéрнесси вперед мене. Сходи к нам, где я жил. Там мои живут теперь правнуки. Вот ты сходи к им и скажи (...) Пускай они меня поминают двадцать лет кажный день... Кажный день, чтобы помин шел двадцать лет ровно. Чтобы не обижать ни птицу, никакого там зверя, ни пёса. И може, где какой зверь бежит — кидать мясо, хлеб кидать, птице все надо кидать, чтобы все поминали. Кто éде, кто йде — всех зазывать, всех кормить...»

Выполнил мужик поручение и отмолили правнуки деда — через двадцать лет вернулся старый конь в родные дворы, перестал быть конем и, сдав грехи священнику спокойно помер (там же: 109–110, № 161, Спб.).

Черт не обязательно творит зло собственными э-э... лапами, он часто действует через своих «проворных слуг» — колдунов и ведьм. Но, поскольку все предпочитает держать под контролем, нередко поселяется прямо у них: и ему хорошо — к народу ближе, и им подспорье — «добрый» советчик всегда под рукой. Правда, с тех советов расцветают по округе склоки и судебные иски, множатся ссоры и драки, а там и до убийств и самоубийств недалеко...

Но, разве не этого и добивается нечистая сила?

Вот, к примеру, случилось однажды, что пропали у мужика деньги. Был старик хозяин деньгам, лежали они в кисете на божнице, да только вот пропали, нет их и нет... По разумению, оно так вышло: внучата-малолетки папили кисет-то да закинули, и в лоханку с водой попали. А воду из лоханки скоту выпили, и корова (она ведь плохо прожевывает) кошелечек-то проглотила. Хватился старик денег и давай на невестку, «...на молодуху, на сынову жонку:

— Ты унясла, и ты унясла!

Ну как же, на кого же нибудь надо грех покатить, раз уж деньги пропали! Потом *вот**... Ён все ругался, и молодухи уже житья не было! Ена:

— Задавлюся, какое ж ето житье, всё бранитца, свекор бранит — куды ж!

Потом ён ряшился:

— Поеду к колдуну, к гадателю. Погадаю.

Гадать тоже, говорять, грех. Поехал. И внучонка взял с собой ехать... Ну, от ён промерз, схадши. Дед взял, приехадши-та, ну вот на печку мальчика посадил. (...)

Гадатель там оставил старика, а сам прибяжал... во вторую половину избы, подпол открыл и спрашивает:

— Скажи мне, хто деньги у старика унес? Молодуха?

А грех [т. е. черт] из-под пола отвячаеть:

наложивших на себя руки со жгучей на сердце обиды... Вот почему говорят, что нельзя допускать в себе ни уныния, ни обиды — это смертные грехи.

— Ой, молодуха не тронула, а корова рыжая съела деньги. Корова съела их... А ты не говори хозяину. Скажи, что молодуха. Пускай. Она хочет давитца, пускай она задавитца. Нам будить молодая лошадь, мы будем ездить на ей!

(Видишь. Им нада молодая лошадь — гряшки так и радуютца, что хто задавитца!) Ну вот.

А мальчик-то слышал. Вот старик приехал домой — опять на молодуху. А мальчик говорить:

— Не, дедушка, не ругайся! Я слышал, какой-то дяденька под полом гадателю сказал, что корова рыжая съела деньги. А мама не трогала денег!

А кабы не был етот мальчик взят... Мальчик бы, может быть и не слышал — а нельзя, ён младенчик-та бязгрешный! Гряху-то нельзя було уже таить (...)

Нямножко дед задумался:

— Задавитца, дети останутца...

Взялся, собрался корову резать. Требух когда вывалили... стал искать и нашел деньги! А то б так и ничаго — стал бы все журить молодухе. Куда молодуха детца! Так и в петлю полезла б. А грех, черт, тут и рад!» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 308).

Огромную ценность для дьявола, кроме самоубийц, представляют проклятые, оммéны (обмены) и заспанные. О проклятых, уже многократно упоминавшихся в других главах, напомним только, что они нередко оказывались в положении обменов, особенно, когда проклятым был маленький ребенок, за которым к тому же недостаточно хорошо присматривают. Чтобы совершить обмен, черту много не надо, хватит и того, чтобы дитя было ему обещано [послано к черту], а там уж удобный случай представится. Скажем, чихнет малец, и останется без пожелания здоровья — самое время сменять...

Раз залез вор к богатому мужику — за жеребцом пришел. Затаился во дворе и ждет, чтобы хозяева уснули, и вдруг видит: крадется по двору черт... Не сробел вор и спрашивает: зачем, мол, чертушка, пожаловал? — А ты зачем? — Да вот, за жеребчиком пришел... — А я, говорит, за ребенком пришел. — Да, как так? — Да так, матери спать хотелось, а ребенок кричал, ну, она и бухнула: чтоб тебя черт взял! А мне это на руку...

Взял черт у сонной бабы ребеночка, подходит к вору и говорит: подержи, мол, брат, а я обратно в избу сбегаю и положу там, что-нибудь на место ребенка. Только смотри, ничего не говори, если вдруг ребенок проснется. Пока черт в избе возился, ребенок у вора на руках возьми да чихни! Вор на это, как водится: «Здравствуй, ангельская душка!» Черт вернулся, а ребенка взять не может — поругал, поругал вора да и убрался восвояси. Ну, что ж... Пристроился вор с дитятей на сеновале, баюкает. Наутро в доме плач: умер у богача сыночек — не дышит. Тут-то и входит в избу вор, Богу молится, здоровается и говорит: «Не плачьте, ударьте мертвого ребенка о печку трижды — он и оживет». Подивились все. Но совету последовали...

И стала вместо ребенка осиновая чурка. А вор на сеновал сбегал и принес спящего малютку. И пока все вокруг ребенка ходили, рассказал без утайки все, как было: как воровать пришел, как черта повстречал, что ему черт сказал и что сделал, и как ему случилось младенца от лап черта избавить. Отдали на радостях хозяева жеребца вору и угостили на славу. С тех пор забыли в этой семье говорить на детей: «чтоб вас черт побрал!» (пересказ; см.: ОПСП, 285–286).

Не совсем «омменом» (когда замаскируют воровство, а когда и нет), но приобретением безусловно более чем удачным и дорогим оказывается для нечистой силы выкраденный некрещеный младенец[13]...

В самом деле, черти, как правило, не просто забирали «отсуленное» (как, к примеру, это свойственно лешему), но подкладывали на освободившееся место или фиктивное «дитя» — чурку, горелую головню или что-нибудь в этом роде (вспомните банника), или собственного чертенка. Для чего это проделывается — даже козе понятно: через такой подлог можно в считанное время извести всю семью. В народных рассказах об обменах, совершенных чертом, довольно часто фигурирует «страшный ребенок», который для начала принимается вытворять такое, что и в дурном сне не приснится...

Вот обменили одной, а она и не ведала. Лежит сокровище в зыбке, спит, а хозяйка по дому хлопочет: работы немало, мужик-то один, а и хлеб, и дрова, и сено,

---

[13] Можно сказать, что как раз из-за такого неудавшегося чертям приобретения пострадала за веру сама святая Параскева. Во всяком случае, об этом во Владимирской губ. рассказывали замечательную легенду. Была будто бы матушка Параскева простой бабой и ходила повивать (т. е. повитухой была, помогала в родах). И вот, лежит как-то Параскева на печи с мужем своим и «... *баит** ему: „Теперь бы, баит, кто-никто позвал бы меня на повой, а то давно я не была на повоях-то“. А муж и говорит: „Напрасно ты, баба, ходишь по эфтим самым повоям-то: там всяко может случится, пожалуй, еще согрешишь“. А матушка-то Прасковья и говорит ему: „Эй, мужик, только ходи с молитвой да делай, как Бог велит, так и не будет ничего“. Лежат это они на печке да уговариваются, — ан, глядь, входит к ним в избу какой-то парень и баит: „Тетка Прасковья, пойдем к нам на повой“. Дело было ночью, Прасковья не разглядела, что за парень пришел к ней, встала с печи, оделась и пошла с ним. Парень привел ее в баню. А в бане-то на всех полках и повсюду сидят черти. Испугалась Прасковья, хотела было убежать да одумалась: если, мол, Бог не попустит, так черти не съедят. Сказала этак-то матушка Прасковья, помолилась Богу и стала опрастывать. А старшой-то сатана и баит ей: „Смотри ты, баба! Повивать повивай, а только чтобы без молитвы, а не то я тебе такого перцу задам!..“ *Одначе,** матушка Параскева не испужалась и, как только девка опросталась, погрузила с молитвой ребенка в воду и тихонько, чтобы не видали черти, надела на него крест. В это самое время пропели кочета, и баню вдруг как вихрем подняло: все окаянные и девка пропали, а матушка Прасковья осталась с ребенком одна. Вяла это она ребенка, принесла домой, а муж опять на нее напустился: „Эй, баба! Говорил я тебе, чтобы ты не ходила. Молись теперь Богу, чтобы он заступился за тебя и спас от чертей...“ Только черти на том не помирились, и задумали они за то, что Прасковья взяла у них ребенка, сделать ей штуку: стали они смущать царя, чтобы он замучил Прасковью. А царь-то был нечестивый. Призвал, это, он матушку к себе и стал ее улещать, чтобы она покинула хрестьянскую веру, а когда на эти царевы слова Прасковья согласия не дала, он взял да и велел отрубить ей голову. Это случилось в пятницу, поэтому и зовется мученица Парасковья „Пятницей“» (Максимов 1994: 426–427).

да и скотины раньше помногу держали... «Напоила ребенка и пошла скот убирать, жена-то. Но (...) ребенок спит. Мужик приехал, давай обедать. Она вытащила чугунку [чугунок], а на косте́ мяса-то нет, одна кость гола... Но, мужик поругался, чай попил (...) На другой день два куска положила — и эти обгрызены. Рассказала, старухи и говорят:

— А ты седня поставь [горшок в печь], да не гоняй [скотину] поить-то. Коров выгони, а сама под окно встань.

И вот только встала, глядит: заколыхалась зыбка вовсю, из зыбки вылазит дядька, взял вилку, нож, обгрыз кость — и опять в зыбку.

Она не идет в избу-то, боится. А тут мужик пришел, она и говорит:

— Я в избу не пойду. Там мужик в зыбке сидит.

Старики собрались, один и говорит:

— Иди ломай девять тычин, шесть пучков.

И шесть стариков пришли. Ну и вот. Вытащили его, кладут на пол. Двое держат, один дует [бьет розгами]. Вот уж третий взял — он и заревел. Не по-русски, а *по-иманьи*.* (...) А как пятый-то взялся — он давай реветь не по-кошачьи, и не поиманьи, а еще хуже. И вдруг дверь открылась — и женщина схватила ребенка-то! И как заругается:

— Ты моего ребенка недокармливала, недопаивала, да еще и бить вздумала! Вот твой — забирай. А это мой. — И исчезла.

Оказалось, что это чертовка была, детей-то и поменяла» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 111, № 163).

Положение обменышей, которых при счастливом стечении обстоятельств еще можно вернуть в мир живых, на поверку оказывается не многим лучше проклятых, ведь возвращение может так и не наступить, и весь отмеренный обмену человеческий век придется провести в услужении у нечистой силы. Ну а, как известно, с волками жить — по волчьи выть...

Кстати, на положении проклятого, в смысле обещанного, «отсуленного» черту, может оказаться ребенок, о существовании которого обещавший не подозревал. Это классический сказочный сюжетный ход, когда человек «оплачивает» некую услугу иномирного существа, обещая отдать то из своего имения, чего он не знает.

Жил когда-то купец. И никак не мог он найти такого плотника, который бы выстроил ему дом, какого душа просит. И вот однажды, когда сидел он в своей конторе и печаловался, пришел к купцу старичок и стал расспрашивать его, отчего он так грустит и на судьбу сетует. И, когда купец рассказал ему о своей недостижимой мечте, старик сказал, что есть у него плотник, который построит купцу его дом-мечту. Но в уплату за работу он попросил отдать ему то, о существовании чего купец в своем хозяйстве не ведает. Купец был богат и имущество имел изрядное, но хозяйствовал с умом и, подумав, что нет такого, о чем бы он не знал, согласился на условие старика. Вернулся купец домой и узнал, что жена родила ему сына и дочку.

Схватился он тут за голову и горько заплакал: «деточки мои милые, отдал я вас старику в уплату!»

А стариком приходил сам черт. Выстроил он купцу, как обещал, его дом-мечту — красивый, просторный, всем на удивление, а детей купеческих взял к себе в услужение. Девочку, как выросла, сделал своей женой, а мальчика выучил и заставил охотой заниматься... (ОПСП, 257).

Выше вместе с проклятыми и обменами нами были упомянуты и так называемые заспанные. Заспанными называли деток, кого уставшая от дел и забот мать взяла к себе в постель и, заспув, нечаянно придавила своим телом. Лишить жизни собственное дитя — мысль об этом уже сама по себе является неизбывным страданием. Однако все это усугубляется тем, что, по распространенному в народе представлению, душа такого ребенка считается погибшей: она помещается в темном месте и навсегда лишается света. Пожалуй, не много найдется на свете более мучительного для матери, чем сознание, что по твоей собственной вине твое дитя не узнает Царствия Небесного.

Но даже в такой, казалось бы, безысходной ситуации народная вера находит для несчастной выход. Она может попытаться «отмолить» душу ребенка, если не побоится и (с позволения священника, конечно) встанет на три ночи в храме на молитву. Об этом «непосильном для женской природы» испытании рассказывают ужасающие подробности: «Лишь только наступит ночь и женщина, оставшись одна в церкви, встанет на молитву... позади [нее] поднимается хохот и свист, слышатся топанье, пляски, временами детский плач и угрозы. Раздаются бесовские голоса на соблазн и погибель:

— Оглянись, — отдадим!..

Кричит и ребенок:

— Не мать ты мне, а змея подколодная!

Оглянуться на тот раз — значит, навеки погубить себя и ребенка (разорвут черти на части). Выдержать искушение — значит, увидеть своего ребенка черным, как уголь, которого на одну минуту покажут перед тем, как запеть вторым петухам.

На вторую ночь происходит то же самое, но с тем лишь различием, что на этот раз ребенок не клянет свою мать, а твердит ей одно слово: „Молись!“ — После первого петуха появляется дитя на половину тела белым.

Третья ночь — самая опасная: бесы начинают кричать детским голосом, пищат и плачут, захлебываясь и с отчаянными взвизгами умоляя взять их на руки. Среди деланных воплей до чуткого уха любящей матери, храбро выдерживающей искус, доносятся и нежные звуки мягкого голоса, советующего молиться:

— Матушка, родная ты моя! Молись, молись, — скоро замолишь.

Пропоет третий раз петух — и дьявол бросает перед матерью совершенно белого ребенка, т. е. таким, каким она его родила.

— Теперь ты мне родная мать — спасибо: замолила! — прокричит дитя и мертвым, но спасенным, остается лежать на церковном полу» (Максимов 1994: 22).

Болезни, по народному представлению, также — дело «рук» дьявольских. Особенно те, которые касаются души — их вне всякого сомнения насылает на человека или сам нечистый, или те, кого он использует в своих целях, — колдуны и ведьмы. Чтобы перестать в этом сомневаться, достаточно услышать икотницу, выкликающую имя посадившего ей болезнь, или текст колдовского заговора, представляющего собой насыл «помощников» для того или иного вида порчи...

Интересно рассуждают о приступах икоты[14] сами крестьяне, близкие болящих. Эти рассуждения не оставляют сомнений в том, кто выступает причиной, «источником» болезни: «У сынка уж то, что говоруха отстала, а почалась „немуха", нет у него молвы, как у людей, а только рык да крик подобно лесному зверю, — волку бы, что ли сказать. Худо у таких то одно: из „немухи" сама „смертна" нарождается. Бьется, бьется ин человек, — почнет его ломать справа налево всякими судорогами, а в них и сама смерть приключается. Ведь сто бесов животы гложут» (Торэн 1996: 210).

Рассказывали про одну кликушу, на которую так было напущено, что бес не выходил из нее до последнего ее вздоха. Дочь кликуши наблюдала, «как перед смертью вздулся у матери живот и началась черная рвота, вместе с которой вышел черный лохматый червячок с палец толщиной и в четыре вершка длиной. Едва он успел скрыться под печью, как матушка скончалась» (Русский демонологический словарь 1995: 242, Калуж.).

Бес, забирающийся в человека, — вполне естественная для традиционного сознания причина болезни. И то, что он выходит из человека в виде черного лохматого червячка, целой кучи лягушек или еще чего-то такого, чего и описать-то нельзя, — этому никто не удивляется, могут только посетовать: вот, мол, до чего колдуны додумываются, или как она, нечистая сила, над человеком изгаляется...

К тому же, многие болезни традиционно имеют вид разных демонических существ, начиная с древнейших инсекто-, зоо- и антропоморфных образов[15] и кончая сравнительно недавними и легко узнаваемыми образами чертей...

«Я заболел с потерей сознания. Все уходили жать, я один в доме. Постель на

---

[14] Порчу икоту (или кликушество), которую колдуны чаще всего насылали «по ветру», в народе делили на три типа: на *говоруху*, когда больной говорит или выкликает; на *немуху*, когда больной лишался способности говорить, а только издавал невнятные, отрывистые звуки; и на *смертную икоту* — человек «бьется, бьется и помирает» (от конвульсий).

[15] Достаточно вспомнить многочисленные истории о чуме или холере в виде страшных старух, пробиравшихся в селения; о лихорадках, пристающих к человеку в виде двенадцати диких дев, «дщерей Иродовых»; о коровьей смерти; о бесе «притке», вызывающем в человеке сильные болезненные судороги, и о порче, залетающей в рот мухой... Не говоря уже о разных известных воплощениях болезней: ежом могла объявиться корь, бабочкой — лихорадка, лягушкой — оспа, и т. п.

лавочке у окна, окно открыто, дверь на замке. Лежу. Чудится, открывается дверь, смотрю, сажусь ⟨...⟩ ...идут целое сонмище чертей, голые, шерстнатые, с рогами, с хвостами, с копытами. А я думаю, дальше матицы вам не пройти. Они лезут по стенке, как тараканы, и не могут. И ушли. Бабушка пришла. Я рассказываю ей, десятка три-четыре было, лезли к матице. Давно это было, молодой я был, а вот помню» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 71–72, № 266).

Выгнать беса, заставить его выйти из больного — это не каждому колдуну или знахарю под силу. Известна, например, типичная история, как наученный колдун пытался изгнать беса из какой-то одержимой и прямо-таки замучил несчастную: «...плевками и заклинаниями он пытался заставить беса выйти из ее тела, указывая то на глаза, то на руки, то на живот... Руки пухли, глаза вздувались, живот ходил ходуном, бесноватая страшно кричала, но бес не вышел из нее, напротив, к старому добавился новый. Больная только тогда освободилась от них, когда ее отвели к природному колдуну (по воззрениям терских казаков, родившемуся „с зубами"), тот сначала изгнал большого беса, направив его в реку, а потом маленького» (Терские ведомости. 1891; цит. по: Русский демонологический словарь 1995: 51).

При всем том нельзя забывать, что болезни в народном представлении, как и многое другое, посещают человека по божьему попущению, потому как без Божьего соизволения вообще ничего с его созданиями (каковым является и человек) приключиться не может: «без Божьей воли и волос на голове человека не падает». Следовательно, многие болезни (особенно эпидемические, вроде холеры или тифа) даются человеку Господом в наказание или на вразумление.

«— Чашу вина? Белое, красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

— Покорнейше... я не пью...

— Напрасно! Так не прикажете ли партию в кости? Или вы любите другие какие-нибудь игры? Домино, карты?

— Не играю, — уже утомленный, отозвался буфетчик.

— Совсем худо, — заключил хозяин, — что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны исключения. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный стол, попадались иногда удивительные подлецы! Итак, я слушаю ваше дело...» — Ну, конечно же, это буфетчик Варьете Андрей Фокич с деловым визитом у Воланда.

В этом фрагменте булгаковского текста с гениальной простотой перечислены все, за исключением табака, средства, изобретенные и используемые нечистой силой в борьбе с человечеством — игра, вино (водка) и женщины.

Пойдем по порядку, начнем с игры. С азартной игры, где главное — деньги...

В игре для чертей никакого удержу нет и законов тоже: все проигрывают, что есть за душой (а душа им полагается, настоящая, почти такая же, как у людей)

(Максимов 1994: 10). Кто с ними играть сядет — держи ухо востро: в два счета обдурят, и если даже выиграть случится, выигрыш «оплатят» сполна и золотом, которое наутро окажется угольками, камушками или листвой... Возвращался раз мужик домой, да поздно, почти ночью. А тропа мимо бани шла. И вот смотрит: в бане-то свет горит. Заглянул, а там мужики в карты режутся на деньги. Ну, он и зашел, сел играть и много выиграл... Как домой попал, не помнил, — сразу спать завалился. А на утро его баба будит: «Где шлялся?!» Он принялся рассказывать, что, мол, денег много выиграл. Лезет в карманы... а там одни листья от веника (пересказ былички; текст см.: Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 72, № 268, Новг.).



Рис. 69. Денежный дьявол.

Бывает и так, что через непомерную любовь к деньгам человек смерть принимает, а черту только того и надо... Жил, говорят, один скряга. Денег имел великое множество, но из скупости никому их не давал, при себе держал в сундуке. Старость пришла — смерть не за горами. Заперся скряга один в избе, сундук открыл и принялся деньги есть: золотые рубли заглатывает, жует ассигнации, давится... Так

и помер. Нашли его сыновья, положили мертвого под святыми и позвали дьячка по умершему псалтырь читать. В самую полночь является в образе человека нечистый, берет покойного скрягу на плечо и велит дьячку, чтоб подставил полу. Тот подставил, а черт давай трусить покойника — полетели в полу деньги... «Деньги твои, кошелек мой!» — промолвил он напоследок, взял скрягу поудобнее и стал невидим (из сказок А. Н. Афанасьева; пересказ дан по: Русский демонологический словарь 1995: 591).

Что ж делать, коль люди так падки на деньги, постоянно нуждаются. Человеку надо, а черт уж тут как тут, всегда готов деньгами ссудить — в общем, «спрос опережает предложение». Ну, а в обмен на деньги, конечно же душу давай. Тут уж по-всякому случалось, бывало, что и черт ни с чем оставался. Вот, например, было раз дело: «мужик у черта денег просил; ну тот дал взаймы.

— Когда же отдашь?

— Да я тебе душу отдам.

— Когда же к тебе придти?

— Да через три года.

Пришел чорт через три года.

— Ну, давай, мужик, душу!

— Погоди, дай, пообедаю.

Пообедал.

— Ну, как же будем душу вынимать?

— Она сама выйдет, погоди.

Вылез из-за стола, потянулся, да как п...

— На, лови!

Чорт руки растопырил и диву дался — что это у него за душа: вкруг носу вьется, а в руки не дается.

— Ну, у меня другой, — говорит [мужик], — нет. Ступай!» (ОПСП, 391).

О том, что черти сторожат клады и с большой неохотой расстаются с ними, до последнего не желая делиться с людьми, мы говорить здесь не будем. Хотя и здесь речь идет, в сущности, все о той же игре, где ставками, с одной стороны, — несметные сокровища, а с другой — вечная душа. Мы перейдем теперь к табаку...

В народе считают, что, куря, человек уподобляется дьяволу — весь в дыму, и пахнет плохо, и болезни можно нажить всякие. В происхождении табака много темного... Разногласий в народных рассказах про это — уйма: то вырос табак на могиле брата и сестры, совершивших инцест; то из головы евангельской блудницы (Вят.); то из тела убитой громом свихнувшейся чернички (Пенз.)... В общем, или из могилы, или (есть еще и такой вариант) по наущению встреченного каким-то помещиком неизвестного черного охотника (Максимов 1994: 10–11).

Обычно черт не прочь выкурить с прохожим табачку, причем, такой халявщик! — так и норовит сделать все «за чужой счет»: ты ему и табак свой дай, и цигарку



Рис. 70. Сатана — первый винокур.

своими руками скрути, ну и разговором развлеки... «Вот было. Все старик сидел в водогрейке, сторожил скот. Вдруг приезжает на вороной лошади, в военной одеже, вроде как проверяющий, ввечеру поздно. Старик говорит ему: „Вы посидите, а я пойду посмотрю, все ли у меня в порядке". Тот попросил закурить. Старик дал ему махорку, а тот: „Нет, ты мне сверни". Старик свернул, тот закурил. Старик вышел, пост-то проверил, лошадь того погладил, холеная такая была, как барыня. Вернулся в водогрейку, поговорили. Тот на двор и не пошел проверять. Сел на лошадь и уехал. А утром только сторожевы следы нашли, а лошадиных нету...» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 72–73, № 271, Новг.).

Иногда доходит до смешного. Раз, как рассказывают в Калуге, померла у черта теща. И решил нечистый помянуть ее получше: собрал всех грешников по этой ча-

сти — курильщиков и нюхальщиков табака. Сидят, значит, грешники, чертову тещу поминают... Курильщик он ведь как: курит-курит да и сплюнет. Черт увидал такое и велел всех курильщиков взашей гнать — заплевали, мол, покойной теще все ее ясные очи. А вот нюхальщиков всех оставил, потому что нюхнет нюхальщик табачку — и слеза его прошибает... Хорошо получается для поминок-то чертовой тещи... (Те же калужане, придерживаясь старой веры (Мещовский у.) сложили насмешливую поговорку: «Наша троица в табаке роется», намекая на то, что нюхальщики роются в табакерках тремя пальцами, и как раз теми, которые слагаются для крестного знамения) (Максимов 1994: 11).

Ну, а теперь несколько слов о пьянстве окаянном...

Во многих российских губерниях и, особенно среди староверов,[16] бытовало глубокое убеждение, что вино и, конечно же, водка — дьявольское изобретение. О том, как «зарождалось» винокурение и как проходила апробация, орловские крестьяне рассказывали следующую историю: «Черт изобрел вино. Он сделал снаряды, стал гнать водку, напустил по всему небу дым. Апостолы перепились. Тогда Бог прогнал дьявола „в три шеи". Он провалился со всем своим паровиком — с этого времени и образовался и первый винокуренный завод на земле» (Померанцева 1975; цит. по: Власова 1995: 365). В новгородской версии все вышло несколько иначе: проштрафившийся «чертенок избежал наказания, обещав Вельзевулу души соблазненных им людей. Он нанимается в работники, по его наущению строится винокуренный завод. Чертенок прощен, а водка осталась в миру» (там же).

---

[16]В духовных стихах говорится, что семена чая, кофе, табака и картофеля были вынесены из преисподней и рассажены повсюду по дьявольскому наущению, чтобы не допустить на земле воцарения Сына Божия. Узнав о том, Сын Божий предрек:

Послушайте-ка вы, верны-праведны,
Кто из моих Божьих людей
Будет курить табак,
Пить чай и кофе и есть картофель,
То как бы он ни молился,
Как бы ни постился,
Хотя бы как свеча теплился,
А быть ему в отпадшей силе

(Стихи духовные 1991: 300–301). Ср. со старообрядческими приговорками: «Кто кофе пьет, того Бог убьет; кто пьет чай, тот спасения не чай» и т. п.

Что же касается пития водки, то считалось, будто «для пьяниц черти приготовляют особого червя, белого, величиной с волосок, — кто проглотит его делается горьким пьяницей» (Максимов 1994: 26). У Н. Майкова даже рассказывается, как это проделывали: «Берут червей, зарождающихся в пустых винных бочках, высушивают их и кладут в вино, над которым читают следующее: „Морской глубины царь, пронеси ретиво сердце раба (имярек) от песков сыпучиих, от камней горючиих; заведись в нем гнездо оперунное. Птица Намырь взалкалася, во утробе его взыгралася, в зелии, в вине воскупалася, а опившаяся душа встрепыхалася..." Начитанным вином поят того, кого хотят испортить» (Майков 1994: 97–98, № 245).

Сам черт выпить никогда не прочь и, судя по всему, даже дух варящегося самогона ему чрезвычайно приятен. «Бабка рассказывала, видела она черта. В Троицу это было. Шла она с кладбища, а мужики самогонку варили в доме. А он большой, черный, с рогам, на крыше сидел за трубой и нюхал все[17]» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 70, № 257, Новг.).

Пьянство, приписываемое в народе проискам нечистого и почитавшееся за настоящее бедствие, представлялось при этом чем-то вроде душевного заболевания (получившего название «хмелевик» или попросту «запой») или разновидности порчи, потому что, как водится в таких случаях, «пьяный постоянно поминает черта». А для того чтобы явиться «по вызову», как известно, черту бывает вполне достаточно и единичного упоминания его имени. Мысль, что пьяница «допускает до себя» черта, отдает себя в его власть, находит подтверждение в известном речевом обороте «допиться до чертиков», так как возможность видеть чертей — явный знак незащищенности человека, его доступности и как следствие нездоровья (ср. с пояснением к «хмельным шишам» из словаря В. Даля: «хмельные шиши — опойная горячка, когда грезятся чертенята» (Даль 1882)).

Начальная податливость «чертиков» — «что скажу, то и сделают», незаметно для пьяницы перерастает в настоящую борьбу за власть, и тогда агрессивность, напористость нечистой силы начинает его пугать, а потом доводит до отчаяния. Моя мама, проходившая в середине 50-х годов медицинскую практику в Казанской лечебнице для душевнобольных, вспоминала о некоторых интересных случаях и, в частности, не раз упоминала историю шеф-повара знаменитого казанского ресторана «Татарстан». Этот человек не смог совладать с собственными запоями и сам «сдался» на милость врачей, чтоб не сдаться на милость тех самых чертиков. Находясь на излечении, он не только любезно делился с практикантами секретами приготовления блюд национальной татарской кухни, а был он настоящий профессионал, но

[17]Вовсе не случайно черта сравнивают с трубочистом. Разумеется, основой для сравнения в первую очередь оказываются цвет и чистота, но печная труба — это основной путь черта в человеческое жилье и обратно. В одном рассказе черт просто взял и поселился в трубе, и выгнать его оттуда, представьте себе, удалось только с помощью водки, правда, не без специфической закуски и доброго «тоста»... «У крестьянина деревни Костина из печной трубы на крыше стало пламя выкидывать. Сперва мужик подумал, что это от сажи, накопившейся в трубе... Сажу вычистили, а пламя нет-нет да и вылетит. Стали и соседи приступать: „Ты что же, Спиридон, печи-то не исправишь? Ведь эдак можно и деревню спалить..." А пламя все продолжает выкидывать. Решили, что это нечистый пошаливает. Обратились к знахарю... Он взялся выжить нечистого из трубы. Велел мужику купить бутылку водки, принес с собой стаканчик и корочку хлебца, посыпанную четверговою солью. Влез знахарь на крышу. Там он уселся на трубу, раскупорил бутылку, налил стаканчик и выпил. При этом он проговорил: „Во имя Отца" — и закусил корочкой. Вторую — „Во имя Сына" — и закусил корочкой. Третью — „Во имя Святого Духа" — и вылил в трубу. Такую же штуку он проделал во второй и третий раз, пока вся бутылка не была выпита. Черт, сидевший в трубе, поневоле был напоен водкой, которая на этот раз ему пришлась очень не по вкусу, и с треском вылетел из трубы» (Власова 1995: 344, Новг.).

и личными впечатлениями о разных фазах протекания упомянутой «опойной горячки». Он рассказывал, как вначале его забавляло собственное могущество: мотну головой — и черти прыгают на сковородку, подмигну — и тащат мне кастрюлю... А потом вдруг понял, что на кухне ресторана он перестал быть хозяином, и стало ему страшно. Когда он чудом избежал смерти от летящего ему в голову топорика для разделки мяса, он понял, что дольше тянуть нельзя и отправился в клинику.

Возможно, ввиду живучих в народе представлений о полной подчиненности пьяного нечистому («Смелым Бог владеет, пьяным черт качает»), ходят многочисленные рассказы о том, как черт «пошучивает» над пьяными: «водит», «носит», «толкает» и т. д. Хоть многие из этих историй описываются с отличным пониманием юмора ситуации, но все же не стоит забывать, что цель чертовского промысла — загубленная человеческая душа. Ведь опойца, т. е. умерший с перепою, для нечистой силы все тот же заложный, и значит, бегать ему лошадью, возить седоков, пока срок не подойдет...

Летит по проселку тройка, а по обочине тащится прохожий, большой пьяница. Поравнявшись, останавливает кучер коней и предлагает подвезти. Завязался дорогой у них разговор: какие лошадки резвые... так не простые лошадки-то... Оказались лошадки недавно помершими (не своей смертью, вестимо), горькими пьяницами — священником, дьяконом и дьячком, с которыми седок не раз пивал в одной компании. Изумился тут пьяница, кучера спрашивает: «Неужто на том свете на людях ездят?» — «А как же, — отвечает нечистый, — разве будем баловать? Куда же нам девать таких!» — «Господи!» — вырвалось у седока... Мигом все пропало: и тройка, и кучер, а сам пьяница очутился сидящим на высокой плотине над омутом (ОПСП, 230).

Пьяница — черту игрушка, его легче обмануть, легче к греху склонить. Жил в одной деревне парень. Одинокий был, но жил в достатке и у соседей в чести. И вдруг принялся пьянствовать, да так, что через неделю родимую деревню поджег... Поймали его мужики (взяли со спичками в руках), скрутили и наладились в волость везти.

На задах поджигатель принялся с односельчанами прощаться — остановился и заголосил: простите, мол, православные! Сам не ведаю, как такой грех приключился, и сказать не могу, один поджигал или со товарищи... Помню только, как сунул мне кто-то в руки зажженную спичку. Думал, цигарку прикурить дает, а он руку мою взял да и подвел под чужую крышу. Незнакомый был человек, черный весь. Я руку отдернул, а уж крыша горит... Собрался спокаяться, а он мне шепчет: «Побежим от них!» Догнали меня, с ног свалили и связали. Оглянулся — половина деревни горит. Простите, православные!

И так он просил, что многих односельчан в слезу вогнал — ну разве такими бывают лиходеи? Ясное дело, черт попутал! Совсем уже собрались его всем миром

простить, да староста застращал, что всем за него отвечать придется. Сослали его на поселенье...[18] (пересказ; см.: Максимов 1994: 14–15).

Вот так.

А теперь хватит о пьянстве и пьяных, дошел черед до последнего упомянутого средства в лапах дьявола — до прекрасной половины человечества.



Рис. 71. Аллегория прелюбодеяния.

О падкости самих чертей до женского пола (при таком раскладе бабы в народе вообще почитаются за создания весьма слабовольные и, следовательно, легко поддающиеся на дьявольское искушение) всем хорошо известно, причем с давних времен и повсеместно. Охотятся черти как на девок, так и на замужних баб, и на вдов.

И, хоть любая вымороченная душа для черта находка, все же с девками оно «классом выше» выходит. Почему, — дело ясное: девка-то в брачном возрасте находится, и если загубить ее в этом состоянии, в лапах у нечистого окажется душа высококачественного заложного. Такая и служить будет дольше и, опять же, отчаяннее, а значит, и агрессивнее (про русалок-то, небось, еще не забыли?). Вот и бьются черти, смущают девок и днем, и ночью:

«Раз проснулась я ночью, глядь, а на шкафу кто-то сидит. Пригляделась — военный, зеленая гимнастерка, фуражка, такой красивый молодой парень, смотрит на меня и улыбается. Я фыркнула на него, исчез. Я до сих

[18] Аналог этой истории интересен еще и тем, что нечистый здесь явно стремится заполучить душу попавшегося на его приманку, и лишь родимый мат спасает подгулявшего мужичка: «В праздник Никола гулянье. Шел мужчина с праздника, а кто-то говорит ему: „Эй!“ И он: „Эй!“ — отвечает. Тот говорит: „Тимофей!“ А этого мужика Тимофеем звать. Говорит тот: „Давай зажжем!“ Зажгли. „А ну-ка, подвинься!“ — и в огонь его толкает. Тогда он спохватился, стал ругать того, материться. Тот и исчез. Это шишок и был» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 74, №277, Новг.).

пор забыть не могу, какой красивый, и улыбается» (Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 74, № 275, Новг.).

Искушают, конечно, обещая замуж взять, — на честные намерения во все времена клевало чаще. Ну, а где девицу можно встретить, да так, чтобы успеть перекинуться парой слов, себя показать, приглянуться? Вот и отирались черти франтами на гуляньях, заявлялись на вечерки... «Это не сказка. Вот молоденька дявчонка пошла на бяседу. После Рождества. Ну, а раньше как? Заставляли прясть матки дявчонок. Пока початок не напрядешь — так домой не пойдешь (так отругает же мать, конечно). Ну, вот она сидит, прядет, значит, так, на бяседы. Ну, дак это все разошлись — она остается так вроде бы одна ⟨...⟩ ...приходит к ней парень и говорит:

— Вот, значит, мне сорок початков напрядешь — замуж возьму. А не напрядешь — не возьму! ⟨...⟩ Он ей верятлна принес, сорок верятён:

— Вот, — говорит, — тебе сорок верятён и... Напряди!

Так она что сделала: на кажно верятёнышко по крестку намотала. Вот так, крестко́м. Оденет куделину, намотает — положит. Намотает — положит. Сороковое верятено стала мотать... Являетца парень.

— Нет уж, — говорит, — догадалася! Я б тябе, — говорит, — прибрал.

[Вопрос собирателя — *Куда?*]

Задавил бы, да и все. Точно! ⟨...⟩ А девке малец понравился. Ну, она и пряла...» (Традиционный фольклор Новгородской области 2001: 289, № 305).

А то еще такая история была. Размечталась девка о женихах: «Вот, — говорит, — мне бы хоть какого, я б за него пошла!» «И через недолго появляется жених.

— Пойдешь, — говорит, — за меня замуж? Вот я такой-то, такой-то...

— Пойду.

Но и пошли. А у нее был брат... Отца с матерь не было. Пошла. Вот идут.

А раньше все „благословесь“ было. Вот к одним пришли — это она потом рассказывала — три невестки коров доят. Подоили. Эта вылеёт молоко, втора свое, потом третья. Он [жених] девке говорит: „Вот видишь, эта не благословясь вылеёт. Пей!“[19]

Я, говорит, пила-пила, потом он стал пить. Выпили.

⟨...⟩ Теперь идут... Какой-то праздничек. Теперь, идут люди с иконам. Оне их видят, а этих, чертей-то, не видать. Эту девку-то с этим... (*Интересно, что девка, как давшая слово, согласившаяся на брак с чертом, приравнивается к нему, считается такой же. — А. Н.*) У ее брата [принимавшего участие в процессии], у этой девки-то, фуражка упала.

— Ты, — говорит, — видишь, один только твой брат нас увидел и с нами поздоровался. Вишь, нам поклонился ⟨...⟩

[19]Тут-то девушка и могла бы смекнуть, кто ее нареченный, так как отличительной чертой нечисти и всех, кто у нее в услужении (проклятых, обменов и т. п.), является «привычка» брать все, что оставлено, не благословясь, питаться всем тем, что оставлено хозяйками без благословения, без креста, без молитвы.

— Ковды будет свадьба?

— Да вот товды свадьба...

Там было гостей полно, на свадьбе. Теперь, когда к венцу-то пошли... а там, когда венцы-то надеют, то надо перекреститься. Но, она, теперича, когда к венцу-то подошли, ей венец-то подают в руки-то, она крест-то положила — и никого не стало, а перед ней — петля!..» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 112, №164).

С бабами все гораздо прозаичнее и проще. Стоит бабе загрустить об отлучившемся на заработки или недавно померщем муже, — и вот уже близкие и соседи начинают примечать ее странное поведение — знать, заходил-залетал к бедняжке с визитами нечистый. Что бывает, когда зачастил огненный змей или «живой» покойник, а также про известные методы борьбы с ними, — обо всем этом уже говорилось, и не раз. Опасную и ужасную связь нередко удается благополучно разорвать: как только происходящее выплывает наружу, кому-нибудь да удается прекратить безобразие, и спасти несчастную женщину. Но бывает и так, что история завершается печально — окружающие спохватываются слишком поздно, и от посещений нечистого баба быстро чахнет, словно из нее выкачивают жизненные силы, и умирает, но, как правило, не своей смертью.[20]

«Недавно в деревне Мальцеве умерла женщина Марья с огромнейшим животом. Родные передают, что когда они стали ей укорять, что она гуляет (распутничает), она им рассказала следующее: „Когда Костю (мужа) взяли в солдаты, я сильно тосковала. И вот стал по ночам ходить ко мне мужик, ликом и всем, как Костя. Живот-то и стал расти!“ Народ уверяет, что это ходил к ней лукавый» (Власова 1995: 343, Новг.).

А другая баба овдовела и стала по мужу сильно тужить: из избы уходит, по задворкам скрывается, а на людях сидит как одеревенелая — хоть топором руби. Стали домашние за ней присматривать, чтобы рук на себя не наложила, да не углядели — кинулась головой в колодец, там и нашли... «Добрые люди ее не обвинили, а пожалели: „Черт смутил, скоро поспел, в сруб пихнул: где слабой бабе бороться с ним?..“» (Максимов 1994: 16–17).

Рассказывают, правда, такие истории больше характерны для сказок, а не для мифологических рассказов, что и черту случается «проколоться» на бабе: та или

[20]Место такой несчастной положено среди заложных покойников, ведь как самоубийца или умершая не своей смертью жертва дьявольских притязаний остается без отпущения грехов и очищения, без приличествующих «умершему в Бозе» сопроводительных молитв и без достойного погребения.

Кроме того, случается, что от преступной этой связи рождаются «...черные, глупые и злые дети», живущие очень недолго... Мать одной из вологодских крестьянок рассказывала, как привелось ей принимать у женщины чертенка: «Катается что-то черненькое, маленькое, а как поразглядела — увидала хвостик, а над лобиком махонькие рожки... пуповину все-таки отстригла» (Померанцева 1975; цит. по: Власова 1995: 353).

ловко обманет, или попадется вдруг такая, от какой сам нечистый спасается «опрометью, добровольно и навсегда»...

Легко нащупывая человеческие слабости, нечистый часто использует женщину для сведения с пути истинного честных христиан (причем особое удовольствие он испытывает, коли удастся соблазнить не обычных людей, но особ церковного звания, давших обет безбрачия, и праведных старцев)...

«Жил в лесу труженик, тридцать лет трудился он Богу и сколько ни старалась нечистая сила — никак не могла его смутить. Стали черти промеж себя думать, что бы такое ему сделать; думали-думали, и вот как ухитрились. Оборотился один нечистой странником и пошел мимо кельи труженика, а другой ему навстречу, напал на него словно разбойник и давай душить. Труженик услыхал шум и крики, схватил



Рис. 72. Искушение старца-пустынника бесом.

топор и бросился на помощь; только глядь: пустился разбойник бежать от него в сторону, а другой чорт, что был странником, лежит да охает, едва дух переводит. „Помоги, — умоляет, — доброй человек! возьми в свою келью, пока с силами соберуся. Совсем было задушил окаянной!" Взял его труженик в свою келью; пожил нечистой день и два, и говорит старцу: „Спасённое твое дело! много в нем благодати! Хочется и мне потрудиться; оставлю жену и детей и пойду к тебе под начало". Вот стали они вместе трудиться, дни и ночи стоят на коленах и кладут поклоны. Еще старец иной раз устанет и вздремнет, а новой труженик совсем не знает устали. Прошло сколько-то времени, и стал нечистой говорить старцу: „Не добро нам вместе трудиться, пожалуй, лишнее слово скажешь или друг дружку осудишь. Давай перегородим келью надвое и станем жить всякой в своей половине". Так и сделали. Раз как-то захотелось старику посмотреть, что делается у соседа; крепился он, крепился и не выдержал. Влез на перегородку и просунул голову; смотрит: стоят на столе бутыли с вином и разный скоромныя ествы, а за столом сидит чудная-чудная красавица. „А, так ты за мной подсматривать!" — сказал нечистой, — схватил его за бороду и перетащил на свою сторону. „Выбирай теперь любое за свою провинность: хочешь — вина выпей, или мяса съешь; хочешь — блуд сотвори. А не то, брат, прощайся с белым светом; у меня коротка расправа!" — „Как быть? — думает старец, — что мне сделать? Если мяса съем — теперь пост, будет большой грех; если блуд сотворю — грешнее того будет; выпью лучше я вина". Выпил один стакан, и сам не знает, от чего вдруг повеселел; а чорт уж другой ему подставляет. Выпил и другой, и третий, и забыл про свое спасение: наелся скоромнаго и блуд сотворил. „Пойдем теперь воровать! — говорит нечистой — Заодно уж грешить; семь бед — один ответ". Пошли ночью в деревню, залезли в кладовую, и ну забирать что под руку попало. Чорт нарочно как застучит: такого грохоту наделал, что хозяева проснулись, тотчас схватили старика и посадили его в тюрьму. А чорт в ту ж минуту неведомо куда пропал. Наутро собрался народ и присудил повесить вора: „Этих старцев жалеть нечего; они не Богу молятся, а только норовят в клеть забраться!" Привели вора на базарную площадь, встащили на виселицу и накинули петлю на шею; вдруг откуда ни взялся нечистой, стал к нему под ноги и начал его поддерживать. „Что, — спрашивает, — небось испугался?" — „Как не испугаться! — говорит старец, — смерть моя приходит". — „А ну, посмотри: не увидишь ли чего?" — „Вижу: обоз идет". — „А велик?" — „Да так велик, что один конец уж давно проехал, а другаго еще и не видать!" — „С чем обоз?" — „Со старыми, дырявыми лаптями". — „Это, брат, те самые лапти, что мы оттоптали в трудах и хлопотах, чтобы как-нибудь тебя смутить. Не видишь ли еще чего?" — „Вижу: болото огнем горит, а в огне котлы кипят". — „Так и мы с тобой будем жить!" — сказал дьявол и столкнул старца с своих плеч. Так и погиб он на виселице смертию грешника» (цит. по: Народные русские легенды... 1990: 126–127).

А вот еще одна история, как с дьявольской подачи один архирей чуть было

не женился. Рассказывают, как однажды в каком-то монастыре инок зачерпнул в колодце без молитвы ведро воды. По дороге споткнулся и все разлил. Вернулся обратно и снова почерпнул и опять без молитвы. А возвращаясь, на том самом месте, где разлил воду, увидел плачущего ребенка. Пожалел инок дитя и привел в монастырь.

Стал мальчик воспитываться при монастыре, научился грамоте и письму, и нашлось ему место в скриптории, среди книг и рукописей. Вот, занимаясь раз переплетом монастырского евангелия, взял он и вписал в евангелие слова: «разрешается законный брак владыке», т. е. архирею. И случилось так, что попало вскоре это самое евангелие к одному архирею. Прочитал он вписанные слова и принял их за истину, и решил жениться. Стала на архирейскую свадьбу собираться вся епархия. И в числе многих отправился один дьячок. Шел он пешком из мест отдаленных, притомился и остановился заночевать в какой-то избе у самой дороги...

В самую полночь поднялся вдруг шум, ветер — налетели в избу нечистые, и старшему своему принялись отчеты давать: кто из них что успел сделать. И вот один стал хвалиться, что живет ныне при архирее и до того соблазнил его, что он собрался жениться. И жалеет нечистый об одном — не сможет он быть на венчании во время херувимской — больно уж тошно в такой момент находиться в храме. Подслушав это, решил дьячок архирея из дьявольских сетей вызволить.

Пришедши в город, добился он с большим трудом у владыки аудиенции и все, что услышал, ему рассказал. Приказал архирей запереть ворота храма во время херувимской и никого не впускать и не выпускать. И лишь раздалось на клиросе «иже херувимы», взвился тут стоящий при архирее монах-переплетчик с криком под купол, прошиб свод и вихрем вылетел вон. Тут уж архирей вполне убедился в том, что это был за монах, жениться раздумал, а книгу, что ввела его в заблуждение, велел сжечь (пересказ истории; текст см.: ОПСП, 230).

За истинного благодетеля рода человеческого почитали крестьяне Илью-Пророка, считая, что его стараниями очищается мир от нечистой силы. Стоит лишь отдаленно прогреметь выезжающей на небесный простор колеснице святого, как черти во всю прыть разбегаются и прячутся кто куда: лезут в человечье жилье, залегают на межи, скрючиваются под шляпками ядовитых грибов (такие называют еще в народе «яруйками»), проворно юркают за людские спины[21]...

---

[21] Чтобы не заскочил нечистый (кошкой или собакой) в дом, принято было в грозу и двери, и окна зааминивать, не сделаешь этого — всякое может случиться: «... Жили мы с теткой. Четыре сестренки нас было, маленьки были. Играли на улице. И вдруг — гроза! Пошли в дом. Зашли, смотрим: в углу что-то белое чудится, то белое, а то вдруг черное. И вдруг окно как распахнется, гром грянет — все черное на окно потянуло, а на окне человек стоит, маленький, толстый. Мы как закричали:

— Тетка, черт на окне!

Она прибежала, упала на колени и давай молитву читать. Прочитала, а он и исчез» (Мифологические рассказы русского населения Сибири 1987: 104, № 151).

Весьма живописными представляются в народной интерпретации сцены «поединка» Ильи с нечистью, когда сам сатана, застигнутый грозным воплощением «гнева Господня», хитрит и изворачивается, «чтобы избежать могучих ударов. «Я в христианский дом влечу и сожгу его», — грозится сатана. А Илья гремит ему в ответ: «Я не пощажу дома, поражу тебя». И ударяет в ту пору своим жезлом с такою силой, что трещат небесные своды и огненным дождем рассыпаются каменные стрелы. «Я в скотину влечу, а в человека войду и погублю их, я в церковь Божию влечу и сожгу ее», — снова грозится сатана. Но Илья неумолим: «Я и церкви святой не пощажу, но сокрушу тебя», — гремит он опять, и все небо опоясывает огненной лентой, убивая скотину, людей, разбивая в щепки столетние деревья и сжигая избы и святые храмы...» (Максимов 1994: 398).

Не только сам Илья, но даже так называемый ильинский дождь (дождь, выпавший в этот день) оказывается для чертей средством страшным, несущим верную гибель и расстраивающим их козни — вот отчего в народе повсеместно принято умываться ильинским дождем, чтобы избежать вражьих наветов, напусков и чар.

То же мощное воздействие на нечистую силу, какое имела гроза, и прежде всего раскаты грома, приписывалось и колокольному звону.[22] В народе жило глубо-

---

В деревенской среде до сих пор помнят о том, что черти бросаются от Ильи за широкую человеческую спину, в надежде, что даже если Илья и заметит, то пожалеет и не станет бить в человека — божье создание все же... Надежды на милость сурового старца немного (все мы грешны!), отчего и принято, если бьет молниями рядом, креститься, креститься: «Свят — свят — свят!» От крестного знамения черт из-за спины (или плеча) уносится прочь.

По другим, уже упоминавшимся нами представлениям, черт, вернее, дьявол за левым плечом человека пребывает постоянно: «...ко всякому человеку, при его рождении, приставляется черт и ангел. Оба они не оставляют человека ни на одну минуту, причем ангел стоит по правую сторону, а дьявол по левую. Между ангелом-хранителем и дьяволом-соблазнителем стоит постоянная вражда. Каждый их них зорко следит друг за другом, уступая первенство сопернику лишь в зависимости от поведения человека: радуется, умиляясь, ангел, при виде добрых дел; осклабляется, хохочет и хлопает в ладоши довольный дьявол, при виде послушания его злым наветам. Ангел записывает все добрые дела, дьявол учитывает злые, а когда человек умрет, ангел спорит с дьяволом о грешной душе его...» (Максимов 1994: 26–27). И гадает народ над очередной жертвой грозы: или чересчур распалили грозного Илью дьявольские ухищрения, или слишком велики оказались в его глазах прегрешения того человека. В свете этих представлений понятным становится, отчего это в народной среде убитых грозой то причисляли к святым, то признавали за страшных грешников (примером может служить история Артемия Веркольского).

[22]Правда, вечерний звон тут как-то в счет не идет, так как считается, что он призывает всех призраков (умерших) к выходу в мир живых, и только крик петуха прогоняет их обратно. Но это о душах умерших, а что касается непосредственно чертовских привычек, то в этой связи стоит вспомнить весьма справедливое замечание, что «свято место пусто не бывает». В самом деле, чертей так и тянет к местам, казалось бы, для них никак не предназначенным, — на погосте, среди крестов, в церкви, на колокольне... По поверьям новгородских крестьян, черт прямо-таки постоянно торчит на колокольне, спускаясь только на время звона, «при третьем ударе колокола». А в церкви по ночам нечистая сила словно сменяет вахту — служат свои службы как добросовестные верующие... Одного незадачливого мужика (и что его, спрашивается, погнало ночью в церковь?) занесло на такую службу — еле ноги унес: «Шел раз мужик ночью и видит: церковь стоит, освещена, и в церкви

кое убеждение, что во время благовеста, после третьего удара, вся бесовская сила проваливается в преисподнюю. На Украине происходящие с бесами в этот момент «конвульсии» последовательно упорядочивали, говоря, что «первый удар колокола приводит бесов в оцепенение, при втором они в смятении бросаются во все стороны, а при третьем — исчезают». Потому у украинцев и было принято осенять себя крестным знамением только при третьем ударе колокола.

Божьего имени боятся нечистые и от молитвы бегут (в тяжелых случаях звали священника отслужить молебен)... Но здесь уж, как говорится, каждому воздастся по вере его. Очень чтили и читали чуть что Воскресную молитву — лучшую, наиболее действенную против всякой нечисти, и носили на груди ее список: «Да воскреснет Бог и расточатся враги его...», как ладанку, спасающую от все и вся (Власова 1995: 356, Волог.)...

Кто ж не знает поговорку «боится, как черт ладана», отсюда и другая: «ладан — на чертей, тюрьма — на воров», вроде бы подтверждающая высокую эффективность сдерживающего действия этой пахучей смолы на нечистую силу. В доме, где, как предполагалось, пошаливает нечистая сила, совсем не лишним считалось покурить (т. е. покадить) ладаном. Маленький кусочек ладана нередко зашивали с молитвами в лоскуток и в качестве амулета (отсюда, разумеется, и само название *ладанка*) привешивали на тот же шнурочек, на котором висел обычно нательный крест, усиливая защитную функцию последнего. Правда, в народе известна и такая пословица: «ладан на вороту, а черт на шее»...

Крест почитался чертогоном, и таковым предстает он и в молитвах: «...Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сошедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата...»; «...Враг-сатана, отшатнись от меня на сто верст — на тысячу, на мне есть крест Господень! На том кресте написаны Лука и Марк, и Никита-мученик: за Христа мучаются, за нас Богу молятся...» (Максимов 1994: 27). И нательный крест, постоянно находящийся на человеке, и изображение креста — знак, который ставили мелом или копотью четверговой свечи на стенах, дверях и оконницах дома, а иногда и на домашней утвари, всегда признавались за весьма действенное средство защиты от посягательств нечистого. Хорошая хозяйка считала своим долгом обновлять такие знаки каждый год...

Той же силой обладает и крестное знамение. Деревенские бабы пребывают в твердом убеждении, что бесы «доступают» до человека, попадают к нему внутрь

служба идет. Двери растворены, он вошел и стал молиться: только глядит, а у попа и у причта лица какие-то неподходящие. „Нечисто что-то", — думает себе. Стал мужик к дверям пятиться, задом. А это были нечистые. Увидали они мужика, кинулись за ним из церкви. Глядят нечистые: из церкви ни одного следа нет, а только в церковь. Поискали, поискали да и бросили» (Власова 1995: 345, Симб.).

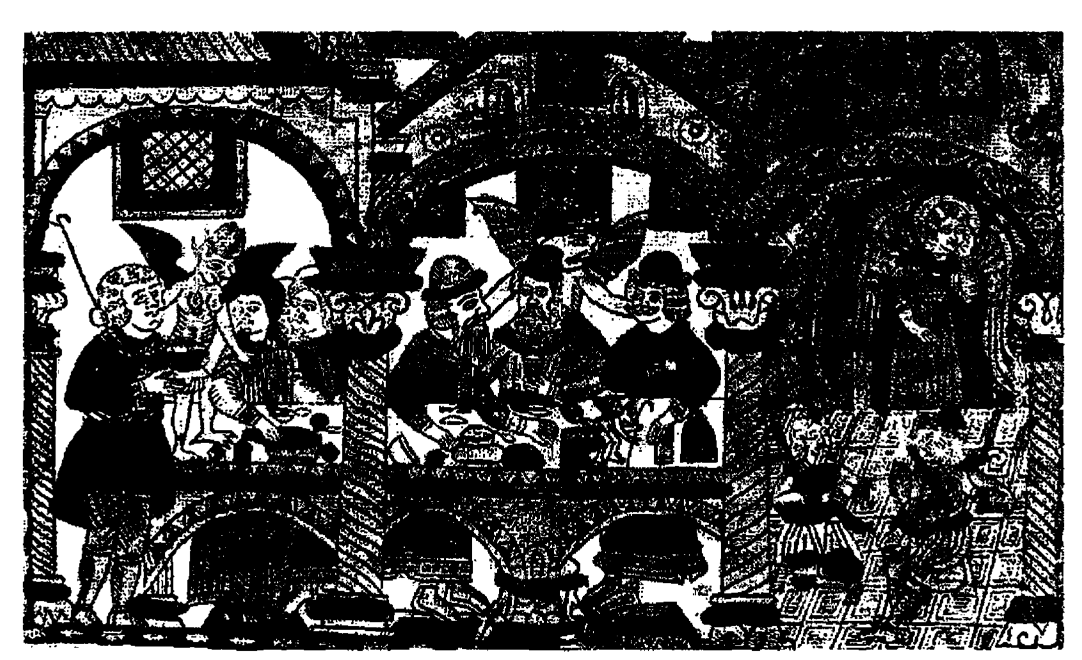


Рис. 73. Трапеза нечестивых.

(отчего и случаются икота, кликушество и прочие случаи порчи) через неперекрещенный рот во время еды, питья или зевания. Особенно, если за трапезу человек принимается, не благословясь, и ест-пьет то, что было оставлено незакрытым (т. е. прежде всего без крестного знамения). В деревнях повсеместно принято покрывать всякую емкость для питьевой воды дощатой крышкой, тряпицей или по крайней мере парой лучинок, положенных «крест-накрест, чтобы черт не влез». «Если оставить на ночь непокрытый сосуд с водою, то черти непременно войдут в него, а если оставить в бане воду, после того как вымоются люди, не зааминить ее, то черти будут мыться этой водою...»[23] (Власова 1995: 344, Новг.).

[23]На первый взгляд, можно решить, будто черту настолько необходимо помыться, что он использует для этого первую попавшуюся воду. Отчасти это верно. Потому что существует даже легенда, повествующая о встрече некоего святого (в поволжском варианте упоминается Андрей Блаженный) с бесом, грязным до ужаса. На благожелательный совет святого пойти к реке и обмыться бес ответил, что к реке его не пускает ангел, который, кстати, велит (!) ему идти в первую попавшуюся избу и обмываться там в непокрытой (и не огражденной крестным знамением) кадке с водой. «Туда я и направляюсь теперь, — закончил будто бы бес, — мы все там всегда обмываемся» (Максимов 1994: 7). На самом же деле, именно таким путем черти распространяют среди людей болезни, и именно таким путем, коли удалось обмыться в воде питьевой, нечистые вселяются в человека...

Известна ли вам история про беса Потаньку? Нет? Ну так вот она: ставила одна баба опару. Замешала ее, не благословясь, и прибежал тогда бес Потанька и в ту опару сел. А баба-то вспомнила, вернулась, да опару-то и перекрестила — не выйти Потаньке, заперт крестным знамением в опаре. Процедила баба опару и опарины (а с ними и Потаньку) вывалила на улицу. Собрались на опару деревенские свиньи и давай Потаньку рылами перепихивать, а ему никак не вырваться... Через трое суток выбился кое-как и бежать. Прибежал к товарищам, а те: «Где ты был, Потанька?!» -- «Да будь же она проклята, баба! Опару замесила, развела, не благословясь, а я пришел да и сел. А она-то взяла да и перекрестила, так насилу вырвался через трое суток... Да теперь никогда в жизни моей не сяду в опару!..» (пересказ; текст см.: Народные русский легенды... 1990: 119–120, Перм.).

Вот на этом чертовски заманчивом обещании давайте и остановимся.

СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

диал. — диалектное
зд. — здесь
искаж. — искаженное
локальн. — локальное
межд. — междометие
непр. — неправильная форма
перест. — переставлено
прост. — просторечное
разг. — разговорное
устар. — устарелое
спец. — специальное

Айда́те! — от *межд. прост.* 'айда' — пойдемте

ба́ить — *непр.* от 'баять' — *устар.*, *диал.* говорить
ба́йна — *диал.* баня
бакша́ — бахча, баштан
бесе́да — то же, что и вечёрка или посиделки, *зд.* компания
бессту́жи — *непр.* бесстыжие, бессовестные
бла́сниться — *непр.* от 'блазниться' — мерещиться, водиться
блюдова́ть — *непр.* блядовать, гулять; *зд.* о мужике: таскаться по бабам
болта́ться — *зд.* объясняться, отказываться
больша́к — старший, главный в доме, глава семьи, хозяин
большина́ — величина
большу́ха — старшая женщина в доме, главная, хозяйка
боровча́н — *локальн.* годовалый бычок
боя́рка — *локальн.* несъедобная ягода, скорее всего, волчья
буко́ви́ще — место под мельничным колесом, где вода вымывает омут
була́ный — масть лошади: желтая окраска корпуса, но темная окраска ног, гривы и хвоста
бура́к — лукошко

веде́рница (о корове) — дающая ведро, т. е. 10 л, молока в день
ве́снуть — висеть
верея́ — столб, на который навешивается полотенце (створа) ворот
верша́ — сеть
вечо́роко — *диал.* ведерко
взапя́тки — пятясь, задом наперед
взглядь — *непр.* глядь
взник — *зд.* взнику нет, т. е. глаза на свет не глядят

вóвки — *непр.* волки
водúчча — водиться, в смысле управляться, ухаживать за кем-либо
водúца — *диал.* водица
возгудáть — *зд.* заводить (песни), запевать
воп — от 'вопить' — крик, ругань
вóять — *зд.* выть
вплóть (ставить) — вплотную
вьюн — *зд.* водоворот
вьюшка — задвижка в печной трубе для прекращения тяги воздуха

гашнúк — ремешок, реже — шнурок (от штанов)
гайтáн — шнур(ок)
гéйнуть — *зд.* пропасть, исчезнуть
гúлиться — насмехаться, издеваться
гобéц — *непр.* голбец
голбéчник — название домового по месту обитания: голбец — запечье, иногда отгороженное место между печью и полатями, припечье или даже подпечье
голубéц — *непр.* голбец
голубúца — *локальн.* голубика
гонобóль — *локальн.* голубика
горéще — чердак, верх
грях (грех, грешок) — черт
гувнó — *непр.* гумно
гы́мнуть — *зд.* взлаять, загавкать

дéковáться — резвиться, издеваться, дурачиться
долóнь — *перест.* длань, ладонь
долóши — ладоши
домовúт(ушко) — название домового по ведущей функции: обустраивает, вьет «гнездо», т. е. дом
доможúр(ушко) — название домового по ведущей функции: заботится о богатой, сытой жизни, поскольку 'жира' — жизнь, 'жировать' — хорошо жить, сытно
дорóжúха — *зд.* идущая по дороге
дресвя́ный (камешек) — рассыпучий, род песчаника, с треском рассыпающийся в огне

éмлют (имать) — берут, извлекают

жаровáя (ель) — высокоствольная, прямая ель; а также ель с мелкослойной древесиной, дающая много жара при горении
жарёб (класть) — жребий кинуть, класть или ставить крестики из палочек на росстани

завязáться — *зд.* завестись
загнéтка — зольник русской печи
загнетýт — от 'гнести' — давить, мучить, *зд.* замучают
зазычáть — закричать
закáзывать — *зд.* запрещать

за крошки — закорки
залалайдало — зашумело, застучало
залить (двери, окна и т. д.) — *зд.* окропить святой водой
заплот — плетень
запон — передник
запохвас — на спор, из похвальбы, с целью похвалиться удалью, бесстрашием
запутляться — *зд.* о волосах: запутываться
зарод — стог, скирд, большая кладь сена или хлеба продолговатой формы
затерющить — замучить, извести
Звижнев (день) — Воздвиженье (12 сентября по ст. ст.), праздник Воздвиженья Креста Господня
зимовейка — зимовье
зыбка — колыбель, от 'зыбать' — колыбать, качать
зыбошный (ребенок) — младенец в колыбели

избной — название домового по месту обитания: изба — дом, в котором есть печь
иман (по-иманьи) — *локальн.* домашний козел
имя — *зд.* им
ись — *непр.* есть
ихой — *искаж.* ихней, т. е. их

канун (читать) — вообще молебен, панихида, а в данном случае, моленье в память об умершем
клеск (рыбий) — чешуя
клоцки — *диал.* кочки
клочок (колочок) — кустарник, растущий в низких заболоченных местах
клястной — заповедный
коли — *зд.* когда
ключок — не совсем понятно, возможно, что при воспроизведении записи случилась опечатка: не «ключок клада», а «ключ от клада», тем вероятнее, что речь идет о походе в лес на Ивана Купала и, значит, скорее всего, за травами-ключами (за папоротником, разрыв-травой и др.)
кокора — плоский хлебец круглой формы, лепешка (иногда даже тип ватрушки, но начинка — не творог, а каша)
комяга — выдолбленное из колоды корыто для кормления или поения скота
корга — коряга
костыченко — хребет, костяк, все кости
крес — крест
кресты — перекресток, росстань
кросна — ручной ткацкий стан, нитяная основа при тканье
курат — *непр.* аккурат, т. е. точно, как раз
кут(ь) — угол, место за русской печью, отгороженное от горницы
кутиха — хозяйка кута, запечья, жена домового

кутýз — ящичек для хранения коклюшек, булавок и ниток, иногда с прикрепленным к крышке валиком для плетения кружев

лáстоцка — *искаж.* ласочка, ласка
лéмбóй — *локальн.* водяной черт или, шире, нечистая сила
линýть — налить, плеснуть
луздáться — оседать, спотыкаться, *зд.* подскальзываться
лучи́ть (рыбу) — *локальн.* бить рыбу острогой при лучинном огне ночью: на носу лодки ставится «коза», на ней разводится огонек

мир — община
модовéйко — *перест.* домовейко, одно из названий домового
мордá — плетеная верша (род рыболовного приспособления), лозовая плетенка с двойной воронкою
мост — пол, настил (в избе, в сенях)
мотыгóй — одно из обращений к лешему

набалмáш — кое-как, без соблюдения принятого порядка
на векáх (о человеке) — в очень преклонном возрасте, древний
нáви (навь) — *зд.* мертвые; когда-то у славян Навью именовался мир мертвых вообще, и мертвые соответственно назывались навями; позже так стали называть только агрессивных и опасных мертвецов
нарывáть — *зд.* насыпать
некогдá — *зд. непр.* никогда
некрети́мый (клад) — недвижимый, который нельзя двигать или который сам не сдвигается
ни́ковó — *локальн.* ничего

обáянье — (от 'обаять' — оговорить) оговор, заморочить словом, заговор
обдýмать — *зд.* обмануть, запутать, завести ум за разум
обрадéть — обрадоваться
обрáть — взять, убрать
ови́ник — дух-хозяин овина, сарая для просушки хлеба в снопах
овчарýх — овчарня, кошара
однáче — однако
однýсь — однажды, раз, вдруг
озóрко — страшно, боязно
онýчи — портянки
опомянýться — опамятоваться, прийти в себя
опри́чь — кроме
ория́сина — палка, кол
откýль — откуда
отнóс — вещь или съестное, положенное «в дар» на определенное место для избавления от порчи, несчастья, болезней и т. д.
оттýль — оттуда

очéп — длинная гибкая слега, прикрепляемая одним концом к потолку, на другой конец которой вешают колыбель
ошарáшно — удивительно, непонятно, пугающе

палени́на — выжженное место
перéное (крыльцо) — по-видимому, речь идет о крыльце с навесом
печýрок — небольшое углубление в боковой стене печи
повéть — крытое помещение над сараем или над хлевом, сенник, чердак
повóйник — традиционный женский головной убор, наподобие мягкой шапочки, облегающий голову и закрывающий волосы; трансформировался из полотенечного головного убора, так как 'повивать' — заворачивать, обматывать
погóда — *устар.* непогода, ненастье
погóст — вообще: село с церковью и кладбищем, сельский приход; нередко — просто кладбище
подавáться — *зд.* попроситься, предложить себя на постой
покорени́ть — то же, что 'подкорени́ть' — захоронить под корнями дерева (о таком способе казни см. в тексте)
подови́н — нижняя часть овина, яма под сушилом, где разводится огонь
поды́збица — он же подпечек, пространство под печью
поебуши́ться — выругаться матом
пóезд (свадебный) — кортеж, процессия, ряд едущих друг за другом возков
покури́ть (можжевельником) — *зд.* покадить
полóхать — пугать
попахáть — вообще: поработать; *зд.* поискать, поскрести, перетряхнуть
порáто — много, в большом количестве
порчéльник — (от 'портить') колдун, наводящий порчу, он же портежник
посáдом (всем) — кучей, скопом, массой
поси́дка — посиделка, то же, что и вечерка
пóсом — чердак, поветь, помещение под потолком
потеря́ться — *локальн.*, *зд.* умереть
потузáть — покусать, подрать
прокýксить (глаз) — прочистить, отморгаться
пýздря — (о животном) брюхо
пшенóсник — *непр.* пшеничник, пшеничный хлебец

рапсонýть — садануть
расчепéри́ть — *разг.*, *зд.* о глазах — раскрыть, распахнуть, вытаращить
ригáчник — дух-хозяин риги, сарая для сушки снопов и молотьбы
роди́мец (родимчик) — судороги; однако существует представление, что родимец может проявлять себя по-разному (плачь, пение, локальное почернение кожи, тремор и т. д.)
рыцáть — *диал.* от 'рычать' кричать
ря́сный (ладан) — *непр.* росный, т. е. ароматическая смола растительного происхождения

свитка — верхняя мужская или женская одежда из сукна, распашная, наподобие армяка или кафтана, бытовавшая у русских в XVIII–XIX вв.
сдию — *непр.* сделаю, *зд.* «сдию доброе здоровьице» — поздороваюсь
сергач — хозяин, вожатый медведя (название пошло от города Сергача или Сергачского у. Нижегородской губ.)
ска(е) — говорит(ь)
соловый — масть лошади: при желтой окраске головы и ног у лошади светлая или белая окраска гривы и хвоста
сорочины — сороковой день после смерти
стайка — хлев
стих — *зд.* заклинание
стóжиха — хозяйка стогов, полевая
стостнуться — стосковаться
страва — ритуальное угощение
стричу — *непр.* встречу
сузём — лес непроходимый, темный
супóрыжки (ржаные) — по-видимому, речь идет о сдвоенном колосе, так называемой двойчатке, являющейся символом плодородия
сухарник — *зд.* друг любезный, ухажер; тот, по которому сохнут, от которого на сердце сухота
сухрéстки — перекресток, росстань
сучнистая — (о палке) суковатая
сысой — название домового по месту обитания: 'сыса' — печь, т. е. живущий в самой печи

табор — табун, кошара
тажно — тогда
тамака — там
тамотки — там(-то)
теплить (ригу) — протапливать, поддерживать тепло, просушивать
точиво — полотно, ткань
тял (глагол в 3-м л. ед. ч. прош. вр.) — *зд.* ткнуть, ударить
тяпаться — шлепать (по грязи)

ушод(ци) — *непр. прост.* от дееприч. 'ушедши'

фатéр(к)а — квартира

хайлать — кричать, орать
херувимская (песнь) — молитвословие «Иже херувимы...», исполняемое во время обедни при торжественном начале литургии верных, когда открываются Царские врата
хотéрка — *непр.* фатерка

целовальник — продавец в питейном заведении, кабатчик
цкать (нитки) — скать, т. е. скручивать шерсть в нитку при прядении

чалый — масть лошади: голова и ноги у лошади рыжие, а по корпусу равномерно распределены белые волосы

частно́й — *непр.* честной
ча́рь — *диал.* царь
чари́ца — *диал.* царица
червя́к — змея
черкану́ться — чертыхнуться
черни́чка — *зд.* черница, то же, что монахиня

шамшу́ра — женский головной убор, на манер мягкой шапочки
ша́нечка — *непр.* шанежка, т. е. сдобная лепешка
шипи́шка — шиповник, *зд.* колючки
шишо́к — одно из наименований черта
шки́ры (шке́ры) — *диал.* шаровары

юкси́ть — *спец.* скатывать, придавать форму валенку

я́чить — орать, блажить

ЛИТЕРАТУРА

Адоньева С. Б., Овчинникова О. А. Традиционная русская магия в записях конца XX века. СПб., 1993.

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. (репринт издания 1868 г.). М., 1994.

Балов А. В. Очерки Пошехонья // ЭО. 1898. №4.

Балов А. В. Очерки Пошехонья // ЭО. 1901. №4.

Балов А. Колокольный звон в народных верованиях // Живописная Россия. 1903. №142. С. 445–447.

Барсов Е. В. Обзор этнографических данных, помещенных в разных губернских ведомостях за 1873 год // Труды этнограф. отдела РГО. М., 1874а. Т. XIII, кн. 3, вып. 1. С. 77–83.

Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах // Изв. ИОЛЕАЭ. М., 1874б. Т. XIII, кн. 3.

Берегинь А., Берегинь Н. Магическая сила вашего дома. СПб., 2000.

Богатырев П. Г. Верования великоруссов Шенкурского у. // ЭО. 1916. №3–4. С. 42–80.

Бурцев А. Е. Обзор русского народного быта Северного края. Т. I–III. СПб., 1902.

Былички и бывальщины / Сост. К. Шумов. Пермь, 1991.

Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000.

Власова М. Н. Новая АБЕВЕГА русских суеверий. СПб., 1995.

Власова М. Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. СПб., 2001.

Волошина Т. А., Астапов С. Н. Языческая мифология славян. Ростов н/Дону, 1996.

Волшебный рог мальчика. Из немецкой народной поэзии / Пер. Л. Гинзбурга. М., 1971.

Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. I, II (репринт издания 1913 и 1916 гг.) / Гл. ред. Т. А. Агапкина. М., 2000.

Георгиевский А. Народная демонология // Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 4. Петрозаводск, 1902. С. 53–61.

Глинка Г. А. Древняя религия славян // Мифы древних славян. Саратов, 1993. С. 85–140.

Гнатюк В. Знадоби до української демонології. Т. II, вип. 2 // Етнографічний збірник. Львів, 1912.

Гольцман Е. Е. Дурной глаз и порча. М., 1996.

Грачева Г. Н. Человек, смерть и земля мертвых у нганасан // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.

Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1880–1882.

Демич В. Ф. О змее в русской народной медицине // ЖС. 1912. Вып. 1. С. 51.

Дмитриева С. И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М., 1988.

Добровольская В. Е. Суеверия, связанные с толкованием сновидений в Ярославской области (По материалам экспедиций второй половины 1990-х годов в Пошехонской и Переславль-Залесский районы) // Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты / Сост. О. Б. Христофорова. М., 2002. С. 55–69.

Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях // ЖС. 1908. Вып. 1. С. 3–16.

Домовые / Сост. и вступ. ст. С. С. Атапина. СПб., 1993.

Ђорђевић Т. Р. Природа у веровању и предању нашега народа. Књ. 2. Београд, 1958.

Еремеев П. В. Обиход: былички. М., 1990.

Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губ. Ч. 2. М., 1878.

Ефимова Е. С. Поэтика страшного в народной культуре: мифологические истоки. М., 1997.

Жуковский В. А. Избранное / Сост., вступ. ст. и прим. И. М. Семенко. М., 1986.

Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян: Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994.

Забылин М. Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880.

Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии // ЭО. 1914. №3–4. С. 81–178.

Заонежские поверья // Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: 2-е изд. М., 1910.

Звонков А. Очерк верований крестьян Елатомского у. Тамбовской губ. // ЭО. 1889. Кн. 2. С. 63–79.

Зеленин Д. К. Великорусские сказки Пермской губернии. Пг., 1914.

Зеленин Д. К. Великорусские сказки Вятской губернии // Зап. РГО по отд. этнографии. Т. XLIV. Вып. 1–2. Пг., 1917.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

Зеленин Д. К. Избранные труды: Статьи по духовной культуре. 1901–1913 / Вступ. ст. Н. И. Толстого; сост. А. Л. Топоркова; подг. текста Т. А. Агапкиной; коммент. Т. А. Агапкиной, Л. Н. Виноградовой и др. М., 1994.

Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки / Вступ. ст. Н. И. Толстого; подг. текста, коммент., указатель Е. Е. Левкиевской. М., 1995.

Зеленин Д. К. Избранные статьи по духовной культуре. 1917–1934 / Сост. А. Л. Топоркова; вступ. ст., подг. текста и коммент. Т. Г. Ивановой. М., 1999.

Иваницкий Н. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // ЖС. 1898. Вып. 1.

Иванов А. И. Верования крестьян Орловской губернии // ЭО. 1900. Т. XLVIII, №4. С. 70–110.

Кайсаров А. Славянская и российская мифология // Мифы древних славян. Саратов, 1993. С. 23–84.

Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины // Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. Вып. 2. Л., 1928. С. 77–97.

Карнаухова И. В. Сказки и предания Северного края. М.; Л., 1934.

Кляус В. Л. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговорных текстов восточных и южных славян. М., 1997.

Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии // ЭО. 1899. № 3. С. 1–60.

Кондратьев А. А. На берегах Ярыни // Сны. СПб., 1993.

Костоловский И. Из народных суеверий, примет и обычаев Еремейцевской волости Рыбинского уезда // ЭО. 1901. № 3. С. 135–138.

Криничная Н. А. Мифологические рассказы и поверья о бане и баеннике в контексте фольклорной традиции: персонаж в пространственно-временном измерении // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1991.

Криничная Н. А. Лесные наваждения: мифологические рассказы и поверья о духе-«хозяине» леса. Петрозаводск, 1993.

Криничная Н. А. На синем камне: мифологические рассказы и поверья о духе-«хозяине» воды. Петрозаводск, 1994.

Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. Т. II: Былички, бывальщины, легенды, поверья о людях, обладающих магическими способностями. Петрозаводск, 2000.

Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. Т. I: Былички, бывальщины, легенды, поверья о людях, обладающих магическими способностями. Петрозаводск, 2001.

Куликовский Г. И. Из Олонецких легенд // Олонецкий сборник. Вып. 4. 1902.

Ларин О. И. Поклонись дереву / Предисл. Ф. Абрамова. М., 1985.

Лирика русской свадьбы / Издание подг. Н. П. Колпакова. Л., 1973. (Сер. Литературные памятники.)

Лурье М. Л. Вещие сны и их толкование (На материале современной русской крестьянской традиции) // Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты / Сост. О. Б. Христофорова. М., 2002. С. 26–43.

Лурье М. Л., Тарабукина А. В. Странствия души по тому свету в русских обмираниях // ЖС. 1994. № 2. С. 22–26.

Майков Л. Н. Великорусские заклинания / Послесл., прим. и подг. текста А. К. Байбурина: 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1994.

Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994.

Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. Собраны в 1861–1888 гг. // Записки РГО по отд. этнографии. Т. XIX, вып. 2. СПб., 1890. С. 13–29; СПб., 1910.

Миролюбов Ю. Сакральное Руси // Миролюбов Ю. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1996.

Мифологические рассказы русского населения Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987.

Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и авт. коммент. О. А. Черепанова. СПб., 1996.

Мокиенко В. М. Образы русской речи: Историко-этимологические очерки фразеологии. СПб., 1986.

Морозов И. А., Слепцова И. С. Забавы вокруг печки: Русские народные традиции в играх. М., 1994.

Морозов И. А., Слепцова И. С., Гилярова Н. Н., Чижикова Л. Н. Рязанская традиционная культура первой половины XX в.: Шацкий этнодиалектный словарь // Рязанский этнографический вестник. Рязань, 2001. №28.

Мудрость народная: Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 3. Юность и любовь: Девичество / Сост., подг. текстов, вступ. ст. и коммент. Л. Астафьевой и В. Бахтиной. М., 1994.

Народные русские легенды А. Н. Афанасьева. Новосибирск, 1990.

Обрядовая поэзия / Сост., предисл. В. И. Жекулиной и др. М., 1989.

Олеарий А. Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636, 1639, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. М., 1870.

Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 3. Петрозаводск, 1894. С. 302–346.

Ончуков Н. Е. Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губернии). СПб., 1908.

Ончуков Н. Е. Северные сказки // Зап. РГО по отд. этнографии. Т. XXXIII. СПб., 1909.

Поликарпов Ф. Нижнедевицкий уезд: Этнографические характеристики // ЖС. 1912. Вып. 1. С. 146–147.

Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975.

Попов Г. И. Русская народно-бытовая медицина. СПб., 1903.

Потанин Г. Этнографические заметки по пути от г. Нильска до г. Тотьмы // ЖС. 1899. Вып. 2. С. 189–195.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.

Резанова Е. И. Материалы по этнографии Курской губернии // Курский сборник. Вып. 3. Курск, 1902.

Рейли М. В. Жанр былички (комплекс запретов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1999.

Русская бытовая сказка. Л., 1987.

Русские народные картинки / Собрал и описал Д. А. Ровинский. Т. I–III. СПб., 1881.

Русский демонологический словарь / Автор-сост. Т. А. Новичкова. СПб., 1995.

Рыбаков Б. А. Рождение богов и богинь // Мифы древних славян. Саратов, 1993. С. 146–243.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987.

Садовников Д. Н. Сказки и предания Самарского края // Зап. ИРГО по отд. этнографии. Т. XII. СПб., 1884.

Сахаров И. П. Сказания русского народа. Русское чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. СПб., 1885; М., 1997.

Сборник великорусских сказок архива РГО / Изд. А. М. Смирнов. Вып. 1. Пг., 1917.

Сидоров А. С. Знахарство, колдовство и магия у народа коми: Материалы по психологии колдовства. СПб., 1997.

Сказки и песни Белозерского края / Зап. Б. и Ю. Соколовы. М., 1915.
Сказки и предания Самарского края / Собр. и зап. Д. Н. Садовниковым. СПб., 1884.
Сказки и предания Северного края / Зап., вступ. статья и коммент. И. В. Карнауховой; предисл. Ю. М. Соколова. М.; Л., 1934.
Сказки Терского берега Белого моря / Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л., 1970.
Смирнов М. И. Культ и крестьянское хозяйство в Переславль-Залесском уезде // Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведческого музея. Вып. 1. Переславль-Залесский, 1927. С. 91–106.
Сомов О. М. Кикимора // Литературная сказка пушкинского времени / Сост., вступ. ст. и коммент. Н. А. Тарховой. М., 1988. С. 85–94.
Стихи духовные / Сост., вступ. ст., подг. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова. М., 1991.
Тайные сказы рабочих Урала / Сост. Е. М. Блинова. М., 1941.
Тенишевский архив = Материалы этнографического бюро князя В. Н. Тенишева о крестьянах Центральной России: 2-е изд. Смоленск, 1898.
Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX в. М.; Л., 1957.
Торэн М. Д. Русская народная медицина и психотерапия. СПб., 1996.
Традиционный фольклор Новгородской области. (Сер. Памятники русского фольклора: Сказки. Легенды. Предания. Былички. Заговоры. По записям 1963–1999 г.) СПб., 2001.
Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
Ушаков Д. Н. Материалы по народным верованиям великорусов // ЭО. 1896. № 2–3. С. 146–204.
Харитонов А. Очерк демонологии Шенкурского уезда // Отечественные записки. СПб., 1848. Т. IV. С. 132–153; Т. LVII. С. 132–149.
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии // ИОЛЕАЭ. 1889. Т. LXI: Труды этнографического отдела. Кн. IX, вып. 1. С. 123–138.
Цейтлин Г. Знахарства и поверья в Поморье // Изв. Архангельск. об-ва изучения Русского Севера. 1912. № 4. С. 156–163.
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983.
Чулков М. Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч. М., 1786.
Щепанская Т. Б. Кризисная сеть (традиции духовного освоения пространства) // Русский Север: К проблеме локальных групп / Ред.-сост. Т. А. Бернштам. СПб., 1995. С. 110–176.
Юст Юл. Баня, лечение и обычаи // Русский быт по воспоминаниям современников: XVIII век. Ч. 1. М., 1914.

Kolberg O. Dzieła wszystkie. T. I–III. Wrozław; Poznań, 1961–1985.
Zibrt C. Staročeské výrocní obyčeje, pověry slavnosti a zabavy prostonárodní. Praha, 1889.

СОКРАЩЕНИЯ

ЖС — Живая Старина (периодическое издание)

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук

ИОЛЕАЭ — Изв. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии (периодическое издание XIX в.)

ИРГО — Имп. Российское географическое общество (в ряде случаев дается как РГО — Российское географическое общество)

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом)

ОПСП — *Даль В.* О повериях, суевериях и предрассудках русского народа: Сб. СПб., 1994

РАН — Российская Академия наук

РКВЗ — *Даль В.* Русское колдовство, ведовство, знахарство: Сб. СПб., 1994

РМ — Русский музей

РЭМ — Российский этнографический музей

СБФ — Славянский и балканский фольклор. Народная демонология: Сб. науч. трудов. М., 2000

СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995; Т. 2. М., 1999

ЭС — Энциклопедия суеверий. М., 1995

ЭО — Этнографическое обозрение (периодическое научное издание)

Арх. — Архангельская губерния, область

Белозер. — Белозерский уезд

Брест. — Брестская губерния, область

Влад. — Владимирская губерния, область

Волог. — Вологодская губерния, область

Волын. — Волынская губерния, область

Вят. — Вятская губерния, область

Гомельск. — Гомельская губерния, область

Калуж. — Калужская губерния, область

Карг. — Каргопольская губерния, область

Киев. — Киевская область

Костр.	— Костромская губерния, область
Курск.	— Курская губерния, область
Лукоянов.	— Лукояновский уезд
Лен.	— Ленинградская область
Нижегород.	— Нижегородская губерния
Новг.	— Новгородская губерния, область
Овруч.	— Овручский уезд, район
Олонец.	— Олонецкая губерния
Онеж.	— бассейн Онежского озера
Орлов.	— Орловская губерния, область
Пенз.	— Пензенская губерния, область
Пересл.-Залес.	— Переславль-Залесский
Перм.	— Пермская губерния, область
Петерб.	— Петербургская губерния
Пин.	— бассейн реки Пинеги
Помор.	— Поморский край
Пошехон.	— Пошехонская губерния
Псков.	— Псковская область
Ровен.	— Ровенская область
Ряз.	— Рязанская губерния, область
Самар.	— Самарский край
Саратов.	— Саратовская губерния, область
Свердл.	— Свердловская область
Сиб.	— Сибирь
Симб.	— Симбирская губерния
Слуцк.	— Слуцкий уезд
Смолен.	— Смоленская губерния, область
Сургут.	— Сургутский край
Тавр.	— Таврический район
Тамб.	— Тамбовская губерния, область
Твер.	— Тверская губерния
Том.	— Томская губерния, область
Тул.	— Тульская губерния, область
Тюм.	— Тюменская область
Усть-Цил.	— Усть-Цильма
Харьк.	— Харьковская губерния, область
Шенкур.	— Шенкурский уезд
Эст.	— Эстония
Якут.	— Якутия
Яросл.	— Ярославская губерния, область

белор.	— белорусский
болг.	— болгарский
в.-пол.	— восточно-польский
в.-укр.	— восточно-украинский
далм.	— далматинский
з.-укр.	— западно-украинский
карел.	— карельский
лит.	— литовский
луж.	— лужицкий
макед.	— македонский
малорос.	— малороссийский
о.-слав.	— общеславянский
пол.	— польский
рус.	— русский
северн.	— северный
серб.	— сербский
словац.	— словацкий
с.-рус.	— северно-русский
укр.	— украинский
чеш.	— чешский
эст.	— эстонский
южн. рус.	— южнорусский

губ.	— губерния
д.	— деревня
кр.	— край
н. ст.	— новый стиль
обл.	— область
оз.	— озеро
повсем.	— повсеместно
р-н	— район
сб.	— сборник
с.	— село
ст. ст.	— старый стиль
у.	— уезд
цит.	— цитируется

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

*Фактически все представленные лубочные иллюстрации были отобраны из фонда коллекции лубка XIX–XX в. библиотеки фольклорного отдела ИРЛИ (Пушкинский дом).

К главе 7. Летун (огненный змей)

К главе 8. Покойники: свои и чужие

К главе 9. Знахари, ведьмы и колдуны

К главе 10. Заглянуть судьбе в глаза

К главе 11. Черт

ОГЛАВЛЕНИЕ

Научно-популярное издание

Никитина А.В.

РУССКАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ

Подписано в печать 01.08.2013.

Электронное издание для распространения через Интернет.

ООО «ФЛИНТА», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, комн. 324. Тел./факс: (495) 334-82-65; тел. (495) 336-03-11.
E-mail: flinta@mail.ru; WebSite: www.flinta.ru.